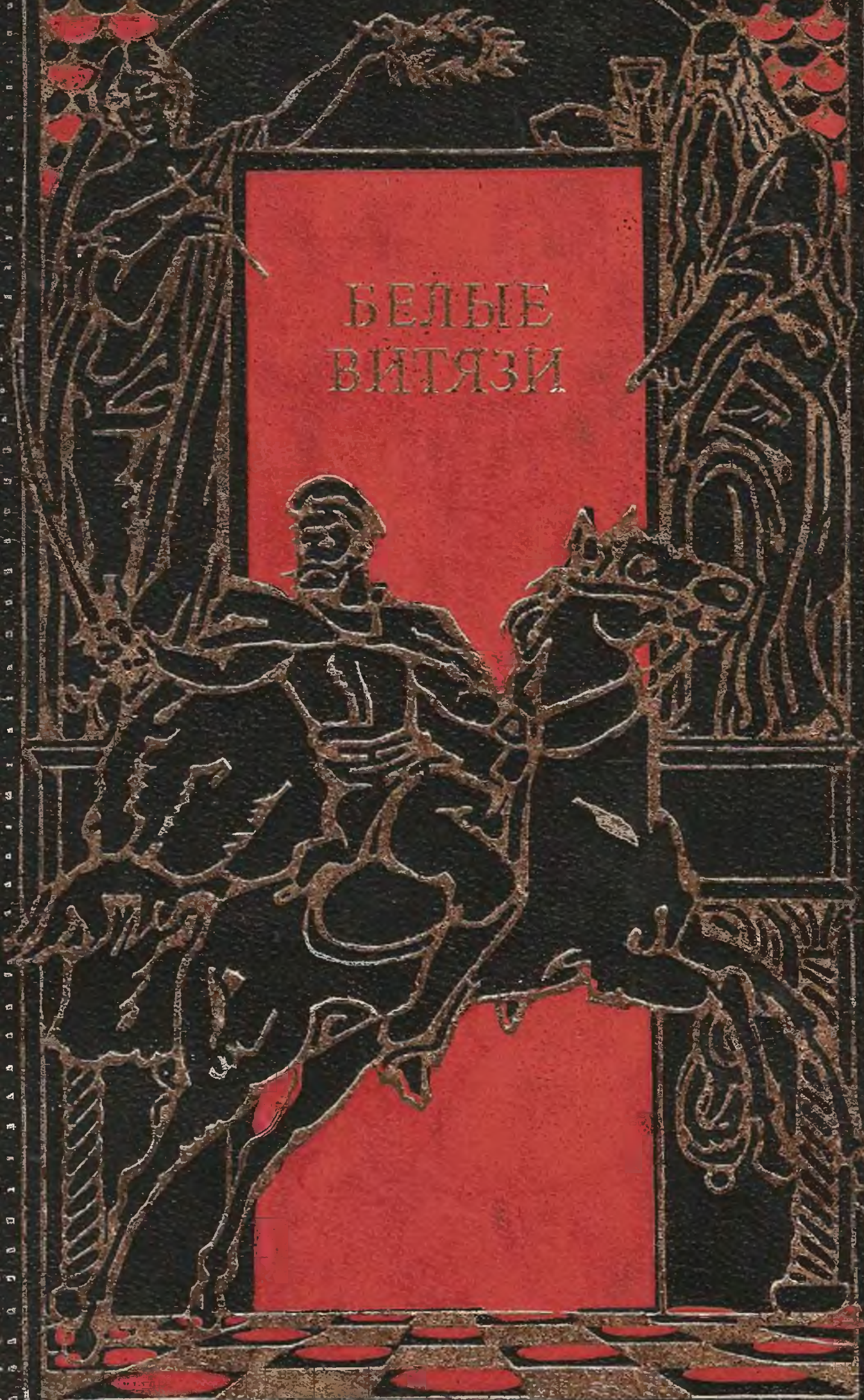


БЕЛЫЕ
ВИТЯЗИ









ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

**ВЕЛИКИЕ
ПОЛКОВОДЦЫ
РОССИИ**

**МОСКВА
«НОВАЯ КНИГА»**

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

БЕЛЫЕ
ВИТЯЗИ

МОСКВА
«НОВАЯ КНИГА»

Серия основана в 1993 году

Белые витязи: П. Н. Краснов. Атаман Платов. В. И. Немирович-Данченко. Скобелев. Исторические романы.— М.: Новая книга, 1996. — 528 с. («Всемирная история в романах»: «Великие полководцы России»).

Два исторических романа, включенные в этот сборник, посвящены прославленным полководцам русской армии.

Атаман Платов, в молодости возглавивший легендарный поход на Индию, прерванный из-за смерти императора Павла I, вошел в историю как герой Отечественной войны 1812-го года. Имя атамана, храбрость, воинское умение и везение, приводило в ужас противников.

О подвигах и личности генерала Скобелева повествует второй роман. «Полководец, Суворову равный», отзывались о Скобелеве в академии. Походы в Коканд, присоединение к Российской империи Туркестана, защита братьев-славян в балканских сражениях под Плевной, на Шипке, долгое стояние русских войск под командованием Скобелева под стенами заветного Царьграда, Константинополя, векового стремления России — вот лишь некоторые эпизоды увлекательного рассказа Немировича-Данченко, знавшего и дружившего с прославленным воином.

ISBN 5-8474-0204-X

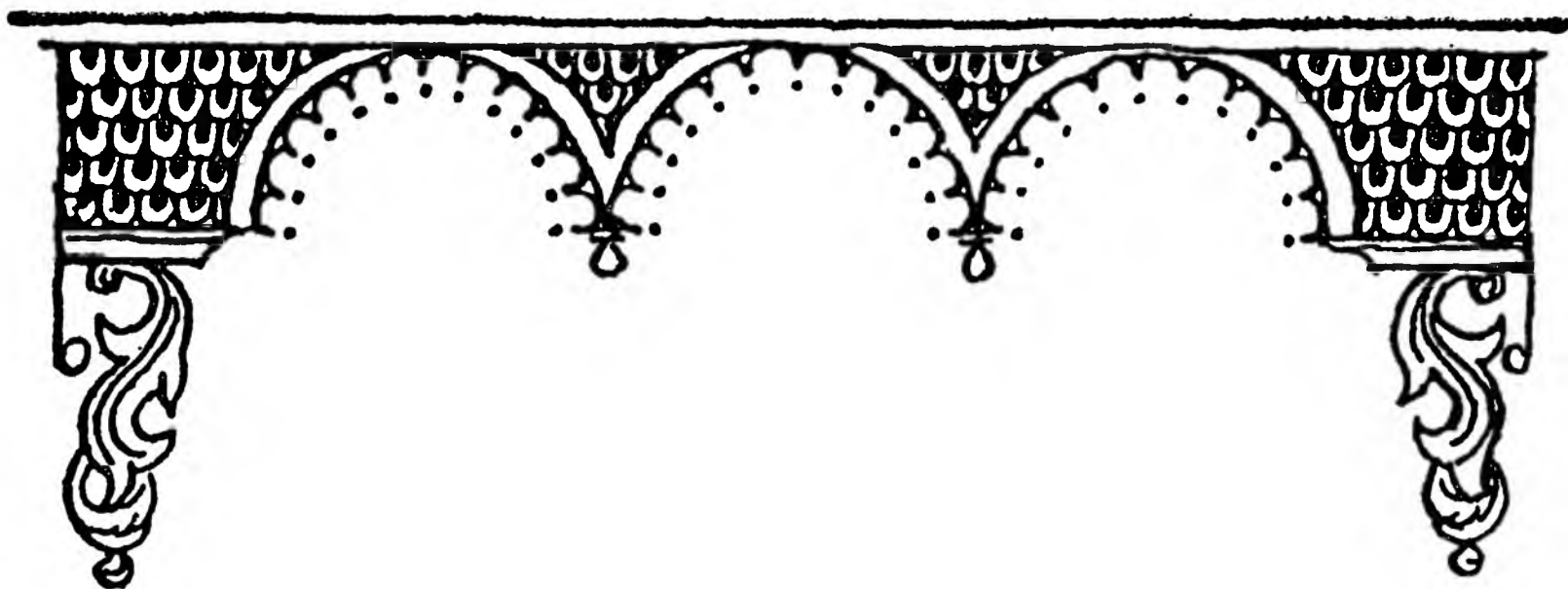
ISBN 5-8474-0197-3

- ❶ Составление В. Козаченко, В. Нежданова, С. Тимченко, 1996
- ❷ Оформление Н. Егоров, 1996
- ❸ Название серии «Всемирная история в романах», «Новая книга», 1993

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНЕТАХ

П. Н. КРАСНОВ

АТАМАН ПЛАТОВ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

...С французами у нас колеблется и так и сяк, но кажется, война будет неизбежна, знайте это для себя, ибо есть о сем секрет...

*Письмо Платова к Кирсанову,
17-го августа 1811 г.
из Спб. Военно-Ученого Архива.
Дело № 1835*

Зимой 1811 года в одной из изб Старочеркасской станицы за сулеей вина собралось знатное общество. Два седоусых полковника — Сипаев и Луковкин, в расстегнутых мундирах, есаул-атаманец и молодой казак, не по форме, по-домашнему одетый, бледнолицый и худощавый, по фамилии Каргин, Николай Петрович, сидели на накрытых коврами лавках, судили и рядили о разных делах, время от времени окуная длинный ус в самую середину серебряной кружки или бокала заграничной работы.

Иногда дверь отворялась, и Марья Сергеевна, жена полковника Луковкина, входила с подносом, уставленным чарками с вином и наливкой, и, кланяясь в пояс гостям, обносила их винной брагой, приговаривая нараспев:

— Чарочка-каточек, катись ко мне в роточек, чарочка-каток, катись ко мне в роток.

Тогда гости брали чарки и быстро осушали их, мощно крякая и рукавом шитых мундиров утирая усы. Один Каргин не пил. При каждом появлении жены Луковкин хмурил брови и сердито смотрел в сторону. А появлений

таких, надо думать, было уже немало, по крайней мере, лица гостей покраснелись, споры стали оживленней, речи звучали громче

— Я тебе говорю, Федор Семенович,— хватая за рукав Луковкина, говорил Сипаев,— что это не мир, а позор для России! Что «они» под Фридландом глупили, так это не есть оправдание, чтобы мир заключать. А Тильзит — безобразие! И наш Матвей Иванович то понял.. Ты слышал, чай, что он во дворце сделал?

— Ну? — сердито спросил Луковкин.

— Когда ему, значит, в Молдавскую армию отъезжать, был у Коленкура большой обед..

— Стой. Что за птица такая Коленкур?

— Вот то-то что птица! Бонапартов посланник при нашем дворе.

— Так. Ну, дальше?

— Да, так вот был у него большой обед по случаю получения портрета Бонапартова в короне и с порфирой, Барклай был, еще много знатных персон собралось. Ну, а Матвея Ивановича ты знаешь — он ведь как ляпнет, так топором ровно обрубит, да на всю залу при этом. Голосок-от, значит, командный. Вошел он в залу, огляни портрет, да и молви: «Эким шутком написан...» Ну, сам знаешь, какая тамоха* поднялась. Шу-шу, шу-шу, то, другое, третье.. Коленкуру.. а тот, французская лиса, сейчай и до государя. Так и так, ваше величество, оскорбление и прочее. Мы, говорит, дружеской державы, вы, говорит, братьями именуетесь, не могу, говорит, допустить такой позор для французской короны..

— А, ты, егупетка подла**, — сорвалось с языка молчавшего до сих пор и сидевшего в углу атаманского есаула.

— Государь осерчал. Послали за Матвеем Ивановичем. Является: кавалерия на груди, бриллиантовая сабля, что матушка Екатерина пожаловала, у бедра, — словом, со всем причиндалом. Говорил ты то и то? — спрашивает государь. «Говорил, государь. От твоей царской милости не скрою. Я давно отказывался от его иноземной хлеба-соли. Мы не рождены для супов; щи да каша солдатская еда наша» Вот каково отпалил.

* Т а м о х а — суматоха, беспокойство, т а м о ш и т ь с я — беспокоиться. (Авт.)

** Е г у п е т к а — характерное ругательство (Авт.)

— Важно. Его взять на это. «Притворный» он человек. Слыхал, ведь Дон под турецкого султана отдать хотел

— Брешут.

— Видно, не брешут, коли в крепости сидел Матвей Иванович.

— Так то облыжно говорили, с того и сидел.

— Нет, брат, дыма без огня не бывает!

— Слушайте,— тихо, озираючись, сказал Сипаев,— а вы думаете, Черкасск-то зря перенесли на новое место? Что там — ни земли, ни воды — гора, пустота, пакость одна. А ведь перенесли, да и только, и разговору нет Смекаете зачем?

— К имению Мишкину ближе ездить, недалече лошадей гонять,— мрачно молвил есаул.

— Ах вы, фармазон вы настоящий. На своего шефа этакое подозрение!

— Мне предположительно, что просто не смекнул Матвей Иванович, что там худо будет, вот и перенес он нашу столицу. Военного ума да хитрости у него палата, а гражданской сообразительностью, видно, Бог обидел.

— Тоже фармазон,— сказал Сипаев.— А невдомек вам, что для того удалил он нашу столицу от реки и от моря, от дорог на Россию, чтобы удалить нас от невоенного влияния России, чтобы сомкнуться в тесной казачьей семье и не принимать иногородних* обычаев! — с жаром воскликнул седоусый полковник и ударил кулаком по столу.

— Вздор,— громче прежнего сказал Луковкин,— полки наши расползлись, как сильные котята от матери, по всему миру крещеному. Сегодня в Вихляндии, завтра под немца, в Итальянском королевстве были — сам ты пьешь из венецских бокалов, что привез из Лозанны, дочь твоя по старине ли воспитана? С любым казаком заговорит, и белоручка при этом. Клавикорды ей выписал, французинку приставил, лопочет на заграничный манер... Да и сам Матвей Иванович — ристалища да погулянки делает, из «стенки» забаву устроил! Какое же тут охранение. Поздно!

— Он хорошее переймет, а худого не тронет.

— Не тронет. Что посты-то блюдет да штаны широкие носит, то и казак! Нет, казак, по мне, не в штанах; казака

* Все неказики (преимущественно русские) носят название иногородних. (Авт.)

хоть гусаром выряди — он все одно казак, и все... Теперь вот чекмени пошли форменные, шитье дали, кивера, что же, разве хуже с того стали казаки? Попомни, в седьмом году под Алленбургом, на Пассарге, разве Степан Федорович Балабин не вел на победы их? — кивнул Луковкин на атаманского есаула, который самодовольно покрутил ус. — А Рассеватское дело в Турции, а под шведом?

— Все это верно, но только зря мы приняли шитье это да кивера великороссийские. Сегодня кивер, а завтра в регулярство писать станут. Вот ты говорил про Матвея Ивановича, что недалекий он человек, нет, он дальше нашего видит. Он это знает. Он и рейтузы наденет, а солдата из казака не позволит сделать.

— Ладно Прикажут, и сделает

— Матвей-то Иванович?. Ты посмотри на него. Да спроси любого казака про него. Это обаятельный человек. Что, малолетка, Николай Петрович, верно я говорю?

Вспыхнул весь Каргин. Никогда не доводилось ему со стариками беседовать. Встал он с лавки и нежным, певучим голосом заговорил:

— Атаман наш? Жить за него и умереть. Видал я его еще мальчиком. В голубом мундире, на сером коне проезжал он по Черкасску. Я в айданчики с Петей Кумшацким играл. Подъехал ко мне — а я шапку снял. «Добрый казак будешь — служи!» — сказал, да так глянул! Всего меня светом так и озарило — и ясно, и истово хорошо стало у меня на душе. Так бы вот и служил, все и служил! И турка бы бил, и француза, и всех, всех, кто враги!

— Что же не служишь? Ведь восемнадцатый пошел?

— Куда. Девятнадцать по весне будет. Отец не велит. Учили меня много. Немца и Француза приставили, а теперь, говорит, в университет в Москву отвезу — образованные люди, говорит, на Дону нужны. Ну, а мне куда же. Супротив отца пойдешь разве?

— Конечно, идти не след, — сказал Сипаев.

— Вот еще «письменный» человек — его отец, — кивнул Луковкин на Каргина. — Так ты в Платова влюблен? А Маня Сипаева?

Пуще прежнего вспыхнул молодой казак, даже слезы выступили на глаза.

— Ишь, краснеет-то как! Словно девушка-невеста.

— Ну, не мучьте его, — промолвил атаманец, — мы с ним в заговоре. Ведь да?

— Да, если бы вы были такой добрый!

— Ладно, ладно,— махнул рукой есаул и опять прислушался к спору стариков.

— Тильзит,— хрипло кричал Сипаев,— позор! Фридланд — поражение! Да-с.

— Фридланд — ошибка в выборе позиции и славнейший день всей кампании.

— Славнейший! Бреши! Ты вот спроси у атаманца, что после-то было. Бегство, позор. Да... Вот спроси, спроси Зазерскова.

— Что я буду спрашивать,— громовым голосом на всю избу кричал Луковкин,— российская победоносная армия никогда не бежала. А что позиция была выбрана плохо...

— Нет. Не позиция, а то, что рано нам с Бонапартием биться — он сила!

— Однако в Италии мы били его. Сам был, знаешь.

— Эка хватил: в Италии! В Италии Александр Васильевич Суворов — сила был. Сокол!

— А нонеча — Платов.

— Платов и Суворов? Атаманы-молодцы, послушайте — ну, не спятил ли старец с ума?

— Спятил?! Ты глаза-то налил да и говоришь: «Спятил!»

— Не ты подносил; свое пил.

— А ты пей, да разум не теряй. Суворов — это гений на весь мир!

— Постой, Суворову-то что, лет семьдесят было, да притом он русский, ему ход давали, а Платов опальный, да еще казак.

— Это верно,— сказал Зазерсков,— казаку ходу нет и не будет.

— Бреши! Ермака Тимофеевича за Сибирь Доном пожаловали!

— Да видал он его? А? А где выборный атаман? Пугачев-то чего боялся, забыл? В регулярство писать думали.

— Фармазон!

— Нет, коли на то пошло — сам ты фармазон. Сейчас видать верховую сипу*.

— Эй, Алексей Николаевич, зачем лаешься — грех.

* С и п а — характерное ругательство низовых казаков, которое применяется к русским офицерам. (Авт.)

И долго еще шумели бы казачьи половники, да дверь отворилась, впустив за собою струю пара, и черноволосый и черноусый, в зеленом мундире с Екатерининской медалью на шее, вошел генерал-майор Иван Кузьмич Крутов. Сняв папаху, запорошенную снегом, с черной головы, он весело крикнул:

— Замолчи, честная станица!

Спорщики замолчали и поднялись навстречу лихому донскому генералу.

— А, ваше превосходительство, честь и место!

— Манжете* и пивате?

— Есть немного. Не побрезгуйте, ваше превосходительство. Эй! Марья Сергеевна — вина!

— Челом бью хозяйке,— сказал Крутов и поклонился в пояс жене Луковкина.

— Ну, что, по старине? Чарочка-каточек?..

— По старине, Иван Кузьмич,— развязно улыбнулась казачка.

— Ах, старина, старина! — вздохнул Крутов.— Последние времена настали, а тут по старине, говорите. Комету видали?

— Ну, что же комета? Это от Бога.

— От Бога-то от Бога. Да был я сейчас у Хрисанфа Павловича Кирсанова. Сказывал мне: письмо он от атамана из Питера получил. Пишет, с Наполеоном у нас и так, и сяк, однако готовьтесь, и чтобы коши** исправны были, об весне как бы не в поход.

— Вона! — протянул Сипаев, а за ним и Луковкин повторил то же восклицание.— А у нас-то и полки по станицам распущены... Плохо дело. Опять скомплектовывать будут.

— Наши уже собираются на Красный яр,— сказал есаул-атаманец.

— Ваши! Ваши в первую голову... Ну, довольно об этом! Война так война. А у вас что за сбор?

— Это наше кумпанство.

— Ну, где кумпанство, там и пьянство, а где пьянство — там и веселье. Верно?

— Верно,— в голос ответили гости.

— Ну-ка, есаул, ваших александровских песенников не-

* От французского *m a n g e r* — есть, кушать.

** К о ш — обоз; от него же — кошевой атаман. (Авт.)

льзя ли? Скомандуйте-ка, батюшка.

Есаул поднялся.

— Слушайте, дорогой, еще бы и за Балабиным послать,— сказал Луковкин,— да, может, и других, кто дома, а, на огонек? А у нас икра есть ловкая, да звена два осетринки, да кто не постится — хозяйка моя живо индюка бы зажарила. А и индюк же ва-ажный! Сам Наполеон такого не едал.

Не прошло и полчасика, как небольшая полковницкая изба стала наполняться народом. Пришли офицеры-атаманцы, пришли старые полковники, а несколько минут спустя дверь в соседнюю комнату открылась и на фоне стены, сплошь увешанной коврами, сбруей и старинным оружием, показались синие кафтаны атаманских песенников.

Высокий, черноусый урядник тряхнул кудрями и, обернувшись к казакам и высоко подняв плетъ над головой, вдруг сразу оборвал ее книзу — и дружно хватили песенники:

Чарочка моя, серебряная,
На золоте расписанная.
Кому чару пить — тому здраву быть;
Пить чару — Ивану,
Здоровому быть — Кузьми-ичу,
А мы ему здравия жа-ла-им,
За его здоровьице пьем-гуляим,
За его дела, за хорошая.
За его дела прокричим ура,
Ура, ура, ура, ура!

Громовым «ура» наполнилась горница. После Крутова пели «чарочку» хозяину Луковкину, потом Сипаеву, Балабину, Зазерскову,— даже молодого «вольного» Каргина и того не забыли...

И не прошло и полчасика после прихода песенников, как под звуки рожков и тарелок, под залихватскую песню про панну-паненочку седой Сипаев отхватывал вприсядку, стоя напротив Зазерскова, который так и гремел шпорами по дубовому полу горницы и, распахнув грудь узкого чекменя, показывал вышитую рубашку и черную волосатую грудь...

Кругом с бокалами и стаканами толпились молодые и старые офицеры, а залихватский напев разносился по горнице, заставляя дребезжать стекла, изукрашенные морозным узором.

Каргин встал потихоньку, протискался сквозь ряды казаков-песенников и вышел на улицу.

Прежде всего поручив зазевавшемуся у ворот хлопцу вызвать есаула Зазерскова, он приказал принести себе шубу.

Ночь была тихая, морозная, звездная. Темно-голубое небо величаво раскинуло покров свой над землей, покрылось мириадами звезд и звездочек и, блестя и искрясь, отразилось тысячью бледных точек в снежном покрове туманной земли. Тихо все в станице. Ни фонарей, ни панелей. С боков наезженной по глубокому снегу ухабистой дороги протоптаны тропинки, где вдвоем с трудом можно идти. Впрочем, у полковницкой хаты сделана даже дорожка и песком посыпана — словно чуял полковник, что нетвердыми ногами будут расходиться гости по скользкой дороге.

Станица и спит и не спит. Тихо на улицах. Брехнет собака раза два, и опять тишина, и опять ничего не слышно. Только лунный свет струится сверху и обливает зеленоватыми тонами и крутые крыши, и белые стены казачьих мазанок. Но станица живет. И эта внутренняя жизнь сказывается в ярком свете, льющемся из окон, в красных четырехугольниках, что клинами легли по улице, показывая, что всюду своя жизнь, свое общество.

— Ну, что, молодой? — хлопнув Каргина по плечу, сказал есаул-атаманец. — Слыхал, война, говорят, будет?

— Дай-то Бог! — с жаром отвечал молодой казак.

— Не гневи Бога! Трудно казаку на войне — с нею всех потянут, а поклепам конца не будет. Кто ни воруй, кто ни мародерствуй — непременно на казака скажут. Потому такое убеждение: воры казаки.

— Да ведь и то правда. Наш брат ловчей на этот счет будет. Регулярные, те мешковаты; тот пока соберется да оглянется, а казак уже и взял...

Приятель помолчали немного.

— Слушай, Николай, неужели ты так и решился против отца идти на службу, вместо того чтобы в университет?

— Да. Решил, и твердо решил.

— Плохо твое дело. Без родительского благословения кто тебя примет?! А потом и то рассуди: к чему тебе воевать. Мало нашего брата гибнет во славу Тихого Дона?! Одним больше, одним меньше — войску прибыток не

ахтительный. А ты у нас по всему Черкасску разумник — о двух языках разговоры разговариваешь, сказывают, до звезд доходил, какая планида что обозначает, знаешь, — тебе надо непременно идти в Москву — там в университете ты все превзойдешь, пойдешь по гражданским делам... Все чиновник у нас свой будет казак...

Зазерсков помолчал немного и потом продолжал:

— Я много видал и городов, и людей. Помню, в Пруссии были, в Туретчине, под Оренбург ходили. Видал я Варшаву, видал я поляков там — всякий народ себя знает. Спросишь у них, у офицеров ихних, кто теперь царь — назовут, скажут и кто раньше был, и как тогда люди жили, какие были законы, куда ходили, с кем торговали — а у нас... Что старики помнят — знаем, и то всяк по-своему толкует, потому что всякий себя умней других считает. Слыхал сейчас — Платова рядят и так, и этак; один говорит Фридланд — победа, другой — поражение.

— А по-твоему, как?

— По-моему... Да и сам не знаю. Что потом быстро отступали — верно, а что было, почему отступали — почему знаешь.

— Ты думаешь — ты в армии будешь персоной? Нет, шалишь, брат, — песчинка, нуль... Среди генералов-то наш Матвей Иванович еле приметен, а по Дону-то ровно солнце красное светит. Но дальше слушай — ну, кто мы такие, донские-то казаки? Немец он немец, у него вера немецкая, и язык свой, и все, а мы? Говорим по-русски, вера православная, а назовешь русским — обижаемся. Вот и справься здесь. Ах, был бы умный-то у нас да ученый человек, до всего дотошный — он бы все это досконально разъяснил. Во Франции, говорят, такую машину изобрели, что летать можно, а у нас на Дону-то слыхал ли кто? Брось, Николай Петрович, свою затею служить — служба многому не научит...

— Слушайте, Аким Михайлович, ну как бросить? Что, я дерево, что ли? Кругом кишит жизнь. Об весну-то в степь выйдешь, а она так и звенит, и переливается от топота коней — то казачьи полки учатся. А как пойдут с ученья да по станице с гиком да с джигитовкой проскачут — аж захолонет все во мне, и бьется, бьется мое сердце... Или вечером соберутся старики на рундучке — полковники, есаулы — и говорят между собой про Бонапарта да про Платова, а мне хоть бы единым глазком посмотреть их да

познать ту славу, которой гордятся казаки по Дону! А теперь в вольном-то платье, девушки надо мною смеются: казак, а не служит. И правда, смешно это... И не хорошо — неловко. На днях Марья Алексеевна и та посмеялась надо мною. «Вы, — говорит, — может, и на коне сидеть-то не можете...» Что ж, легко это мне? — с дрожью в голосе закончил молодой казак.

— Что же делать. Если отец не хочет...

— Что мне бачка?! Бачка боится, здоровьем я не силен — выправлюсь еще! Да, знаете, Аким Михайлович, как явлюсь я к бачке с Егорьем на груди да хорунжим, а может, и сотником — ей-Богу, простит. Засну я — а во сне так битвы и снятся. Атакой идут казаки: дротики повалены, копья грозно так горят — проснешься, дрожишь весь, и страшно, и хорошо, и сладко мне...

— Проси бачку. Разрешит, и к нам тебя Балабин возьмет; нет, не будет благословения — никто не возьмет — сам знаешь: отца твоего уважают по всему войску — против него никто не пойдет.

— Ребриков взял бы меня наверное.

— Неужели он до сих пор в ссоре с твоим отцом?

Молодой казак молча кивнул головой.

— Не в том у меня затруднение. Коня у меня нет, нет седла, нет всей справы казачьей.

— Ну, коли за этим дело стало — не беспокойся, я ссужу тебе и коня, и справу, и все...

— Правда, Аким Михайлович! Господи, какой вы добрый... Век буду обязан вам! То есть... — Каргин задыхался от счастья. — Я не знаю, что мне и делать, так хорошо теперь, значит, могу я успокоиться? Да? Совсем? И к Ребрикову в полк? Да?

— Обещал, так сделаю. Знаю, кто вас мутит тут всех... все вон кто!

Зазерсков показал на красивый двухэтажный дом неказачьей стройки, с тесовой крышей и с крылечком, с двумя пушками у входа. Домик был темный, и только два окна были ярко освещены. Из-за спущенных штор виден был свет, и лились дребезжащие звуки старых клавикорд.

— Послушаем, — сказал Каргин, схватывая руку есаула и крепко сжимая ее.

— Ну, вы слушайте, а я мешать не стану, — сказал Зазерсков, пожал руку своему молодому приятелю и пошел дальше, ворча себе под нос ругательства против всех баб.

А Каргин долго смотрел ему вслед, и, когда наконец фигура есаула скрылась за поворотом, он быстро подошел к окнам и жадно прильнул к мелкому полузамерзшему переплету рамы.

II

Полно, брат-молодец,
Ты ведь не девица,
Пей, и тоска пропадет!

Кольцов. Русская песня

Марья Алексеевна Сипаева воспитывалась совсем не так, как казачка. Отец ее, с Суворовым ходивший в Италию, приставил к ней гувернанток — немку и француженку, на московский манер, с неимоверными трудностями доставил из Милана клавикорды и учил Марусю жить открыто и не боясь показывать свою девичью красоту.

Но не прельщали Марусю Вольтер, Мольер и Руссо, не нравились ей старинные рыцарские романы, и нехотя читала она отцу статейки «Северной пчелы» да «Донских ведомостей», что выписывал старый полуграмотный полковник. Она больше любила слушать таинственные восточные сказки, что рассказывала ей старуха туркиня; татарский язык предпочитала французскому, а на клавикордах вместо Моцартовых творений по слуху играла то заунывные, то удалые казачьи песни. Бублики и сухари, вишневка и сливянка, индюки и сазаны были дороже ей уроков грамматики, и, когда отца не бывало дома, книжки забрасывались, и француженка с немкой часами возились у плиты с молодой казачкой, поучаясь русской кухне, или учили ее делать стриццели и всякие шманд и пфефферкухены. Эта наука живо давалась Марусе, не то что грамматика, сольфеджио и таблица умножения.

Не любила Маруся сидеть за книжкой или играть гаммы. Ее тянуло и во двор, где любимый петух Журдан разгуливал по усыпанной песком земле, где лежал на цепи ручной медведь, где борзые кидались ей навстречу, а с конышнями раздавалось громкое ржание.

И как же хорошо знала она лошадей! Сама и на ковку пойдет, сама и овса задаст, и напоит, и накормит, и за

чисткой приглядит. Но приедет отец, и опять болит голова, склоненная над рваненькой книжкой, и часами твердит она: «Que j'aime, que tu aimes, qu'il aime»*. И скучно, и душно ей в роскошной гостиной. Раздражают ее бронзовые часы над печкой, что тикают так ровно и мерно, не нравится ей и штучный паркет, специально для залы привезенный из Варшавы; не люб и портрет отца, писанный масляными красками, в мундире, с воротником, глухо застегнутым, с медалями и крестами... Все это наводит на нее страх и уныние.

Сипаев почти не принимал молодежи. Старик Иловайский, Балабин, Луковкин — вот кто составлял общество отставного полковника.

Из более молодых хаживали Зазерсков, да с недавних пор появился Каргин.

Зазерсков считался смышленейшим казаком, и притом храбрейшим. Он командовал сотней в атаманском полку, и Георгий, Владимир и Анна, а также золотое оружие с надписью «За храбрость» доказывали, что немалую трепку имел от него Заиончковский с польскими уланами на реке Пассарге в Пруссии и Песлевон-паша с турецкими ордами на полях Рассевата, Рущука и Систова. Хоть и не очень старый, но бывалый был казак.

Лицо у него было сухое, обветренное, нос длинный, прямой, усы рыжеватые, повисшие вниз, бороду он брил, но редко, а потому щеки его всегда были иссиня-черные. Страстью Зазерскова было «забить буки» — особенно молодежи. Скажет ему кто-нибудь слово, а он в ответ — «да я знаю» и расскажет историю, либо с ним бывшую, либо достоверно ему известную, и никто не знал, где у него была правда, где так, обманно, он говорил.

Маруся побаивалась его зорких глаз, его острого, смелого языка. Другое дело Каргин. Застенчивый, робкий, красневший при каждом бранном слове, молодой казак нравился Марье Алексеевне своими таинственными, полными нежной прелести рассказами. То расскажет он ей, что в книжке прочел, то вдруг станет объяснять, как и что будет с людьми после смерти, да так ясно все доложит, будто и сам умирал да с того света вернулся.

Нравился Каргин Марусе и своими русыми кудрями, что кольцами вились над белым лбом, нравились ей и се-

* Что я люблю, что ты любишь, что он любит (фр.).

рые глаза его, всегда куда-то устремленные, и сильные белые руки, и нежные усы, закрученные в иголку.

При таких мыслях Маруся краснела обыкновенно и читала акафист Богородице, которому научила ее старая монахиня и который спасал от греховных мыслей. Но и акафист не всегда помогал. Пойдет Марья Алексеевна в церковь, увидит в углу стройный стан Николая в старинном зипуне на алой шелковой подкладке и зардеет вся, и опять в мыслях усы щекочат нежную щеку, а губы шепчут слова любви — и краснеет и молится Маруся до седьмого пота, а спасенье не всегда приходит, и дьявол порой и в церкви в сердце свою власть проявляет.

Сердце вещун. Сердце сердцу весть подает. Недаром так сильно бьется оно в груди у казака, недаром искрометные стрелы мечут его задумчивые порою глаза...

Но стыдно любить. Любить можно только мужа. Правда, Руссо что-то писал, а бачка рассказывал — но то у басурман, а у христиан сказано одно: жена повинуйся мужу — и только мужу. Вот если бы Николай был мужем... И об этом думать нельзя. Как родители порешат, так, видно, и будет — иначе-то как же.

Только не в ладах отцы их. Алексей-то Николаевич видеть не может письменюгу Каргина, а Каргин оскорбил его на кругу среди стариков, покоровши неправильным будто бы расчетом с казаками да какими-то бриллиантами, будто бы взятыми силком у русской графини, проживавшей в Италии во время войны. Кто прав, кто виноват — Марусе где же рассудить. Она знает, что весь дом, да и вся домашность их, с военной добычи взяты — так разве добычу-то брать грех? Вон и Иловайские так, и Луковкины, да и все — либо царь землей пожаловал да крепостными на вывод, либо с войны возок червонцев приволокли...

Не любит бачка Каргина еще и за то, что он не служил нигде, и презирал военное ремесло, и сына своего по письменной части готовил — ну, это его дело... Одно плохо: Каргин сватов не зашлет, а бачка на письменюгу Николая и так-то смотреть не хочет. Положим, Николай говорил как-то, что уйдет на службу и вернется сотником, а университет ко всем чертям отправит, да то сгоряча, а против отца разве пойдешь?

Нет, против родительской власти ничего не сделаешь, да и Николай больше насчет мечтаний, и вряд ли до дела дойдет у него.

Так думалось Марусе зимними вечерами, когда сальные свечи нагорали на клавикордах, сверчок немолчно трещал за печкой, бронзовые часы с рыцарем однообразно тикали, отмеривая время, а из дальних горниц неся равномерный храп; то храпели гувернантки, да пленная туркиня, да своя «баушка» Домна — великая искусница до пирогов, бубликов, инжиру да нордеку*.

Смолкнут клавикорды, склонится русая головка на высокую грудь, и бегут думы одна за другой, то веселые, семейственные, то тоскливые, грустные, одинокие...

Встряхнется, и унылый напев — «ой, что-то скучно, что-то грустно мне, тяжело на свете жить» — просится на белые клавиши, рвется в молодую, ищущую воли душу казачки.

Но не на то она рождена. Ей некогда мечтать летом, когда ее распоряжений ждут хохлы-косари, москали-плотники, когда и скотный двор, и верховые и рабочие лошади, и волы, и овцы, и вся домашность, все управление имением ей доверено... Когда не раз садится она в черкеске на высокое кавказское седло и на резвом иноходце несется в поля смотреть на уборку... Ну, а зимой, когда умолкнет шум полей и мирно настаиваются наливки, а варенье в больших кадках стоит занумерованное и заклеятое, индюки висят в особых клетках и откармливаются к святкам, — есть время помечтать и подумать не об одних бубликах и пирогах, а и о русских кудрях, и нежных усах...

Вдруг шум и стук под окном заставили вздрогнуть и встрепенуться молодую девушку.

— А, вражий сын, под окнами девок шататься — я тебе! Ах, едят тебя мухи и с родом твоим и с племенем, ах ты, егупетка подлая, чиста остропузая! Письменюга несчастная! — слышался хриплый голос ее отца с пьяными нотками в интонации. — Либо в дом, либо вон! Я полагаю, что это он от кумпанства рыло воротит, а вон оно что, к девушкам пробираться... Нет, брат, шалишь! Так не уйдешь — ну, айда за мной.

— Я, пан полковник...

— Что, пан полковник? Чего, пан полковник — не-ет-с, как не уважить дорогого гостя, пожалуйста ко мне..

* И н ж и р — винная ягода; н о р д е к — прохладительный напиток из арбузного сока. (Авт.)

Мощный удар отпер дверь, засуетился дежурный хлопц, снял шубы, и Алексей Николаевич вошел в столовую, ведя за руку Каргина.

— Гей! Люди! Маруся... Ожогин... чертово семя — где вы? Огня!

Но уже статный казак в чекмене и высоких желтой кожи сапогах вносил драгоценные серебряные канделябры, а сзади несли скатерть...

— Ну, Маруся,— поцеловав пьяными устами дочь, сказал Алексей Николаевич,— принимай гостя дорогого, сажай на место браное, ставь нам вина заморские, хочу трапезовать до утра. Ну и мед же у Луковкина. Собака, а не мед. Такого меду и в Польше не пивал — это ж сила!

Маруся, туркиня и молодая полногрудая девка из крепостных быстро ставили серебряные блюда на белую камчатную скатерть, доставали бокалы и сулей с вином.

— Цимлянского и потом — этого, знаешь,— коньяк, что прислали из Наполеонова царства!

Каргин молча сидел, как в воду опущенный.

— Ну! Здоровье Государя Императора!

— Я не пью, пан полковник.

— Не смеешь — здоровье Государя! Пей — враг те в душу!

Взглянул чистыми своими глазами Каргин на Марусю и залпом осушил высокий бокал. Все зажгло, завертело кругом с непривычки у молодого казака.

— Здоровье атамана Матвея Ивановича Платова.

Не стал перечить молодой казак — выпил свой бокал.

— Вот люблю. Молодчина! Это добрый казак, а не письменюга злосчастная. Ну, теперь закусить. Маруська, чего дашь?

— Есть, бачка, у нас индюк, уточка есть, осетрина, стерлядка...

— К черту эту деликатность! Вали шамайки. Ух! Хорошо соленькой шамайки после выпивки — освежает. Эге, брат, что хмуришься. Хочешь казаком быть, пить учись, что за казак, коли не пьет!

— Я пью, пан полковник,— робко ответил Каргин.

— То-то. Вот она и шамая. Бери рыбину-то — да ты руками ее, руками! Вот так! — говорил захмелевший старик, погружая зубы в жирную спину копченой шамайки.

— Ну-ка, здоровье Буонапартия.

— Бонапарта пить не буду.

— Врешь! Почему так? — хитро подмигнул Сипаев Каргину.

— Потому что он злодей, шельма, Наполеон-король..

— Вона! А после Тильзита он наш первый друг, и Платов ему свой лук подарил.

— Про то мне дела нет

— Не хочешь?

— Не стану пить.

— Пей! Чертов сын! Тебе говорю.

— Зачем лаяться, я не слуга ваш,— с достоинством заметил Каргин.

— А, ты вон как! Фармазонствуешь... Ну ладно, неволить не стану,— мягко проговорил полковник,— это нам решительно наплевать — за Буонапартия пью один.

Старик выпил, наполнил бокал и, ядовито щуря глаза, тихо заговорил:

— Два года тому назад стоял я с полком в Швеции.. Есть там обычай, чтобы девушки пили, и хлопцы их здоровье провозглашали... Маруся, сядь, мой ангел.

Маруся нехотя присела на угол табурета,

— Подымут вот этак бокал и скажут: «Skål-min skål, din skål och alla vakra flickor skål» *, ну, молодой казак — skål, — за здоровье всех прекрасных женщин!

Молча выпил свой бокал Каргин, и новое что-то почуял в себе: голова будто и его, и не его, и комната не та, и все не так, как было. Туман заволакивал стены, стушевал предметы, пьяное, хитрое лицо Сипаева скрылось в этом тумане, голоса звучали глухо, и он не разбирал, что кругом делалось. Он понял наконец, что ему дурно; в голове его мелькнуло сознание всего неприличия такого случая, он покрутил головой, хотел прикоснуться рукой до лба, но руки словно налились свинцом и не хотели повиноваться его воле.

— Пьян,— сказал Сипаев,— и пьян, как свинья. Жогин! Уложи его спать в оружейной — пусть проспится. Эх, казак, казак! А пить не умеет...

Каргин чувствовал, что его подняли под руки с места, чувствовал, что повели куда-то, но он переставлял бессознательно ноги и шел покорно за провожатым. В густом тумане, закрывшем все предметы, мелькнуло перед ним бледное лицо Маруси — и опять туман, и опять ничего не видно...

* За здоровье — мое здоровье, ваше здоровье и за здоровье всех прекрасных дам (шведск.).

Кто-то положил его на лавку, кто-то подложил ему под голову мягкую подушку, чья-то нежная рука водила по его горячему лбу, давала ему выпить холодной воды. Дальше Каргин ничего не сознавал — он впал в тяжелый, пьяный сон, без сновидений, без сознания времени и места...

Маруся взволновалась. Ее Николенька — такой бледный, такой больной... Еще не умер бы. Бывали такие случаи. У них служил хохол Дуб, на свадьбе напился, заснул, да больше и не просыпался. А Ляховецкий, учитель музыки и лучший скрипач, приехавший из Варшавы, тоже пил, пил до одури и один раз так выпил, что Богу душу отдал. Эти мрачные воспоминания про местных пьяниц наполняли тоской бедное Марусино сердце.

Она и водой поила, и мятного чая заварила, и кваску изготовила, и отойти не решалась от пьяного казака. И люб он был ей, хоть и пьяный. Что же, она привыкла ходить за пьяными! Бачка-то сколько раз выпивал, да и гости его не раз валялись под столом, да еще старые, грязные, лысые да седые. А тут молодой, красивый, со спутанными русыми кудрями, с полуоткрытыми розовыми устами...

Душно стало больному. Стал он хвататься за грудь, расстегнуть захотелось кафтан. Сама расстегнула крючки Маруся: куда и девичий стыд пропал. Да и не посмотрела она на высокую да на белую грудь казака — ей что за дело до нее, выздоравливал бы только ее красавец, милый ее, ненаглядный да радостный...

И долго, далеко за полночь сидела молодая казачка над Каргиным, сидела бы и дольше, да пришла старая ясырка * и погнала ее в ее горницу.

— Стыдись, мать моя, казак полураздетый да пьяный лежит, а ты сидишь над ним, девическое ли это дело, куда ты свой стыд потеряла, куда упрятала свою совесть? Ах, срамница, срамница. Ну хорошо, бачка пьян, а ведь добрые люди увидят, то что они скажут...

— Он не умер, Ахметовна?

— Умер?! Да что ты, мать моя! Ишь винищем проклятым-то так и разит, так вот и напоило всю горницу... Духу-то мерзкого, что понабралось. Проснется — и как с гуся вода! Ну, ступай, мать моя.

И ясырка за руку вывела Марусю из оружейной комнаты...

* Я с ы р к а — пленница. (Авт.)

Долго, страшно долго спал Каргин. Бледное зимнее солнце высоко поднялось над горизонтом и забросило свои лучи в маленькую горницу, заиграв на клинках дорогих ятаганов и сабель, брызнуло золотыми точками по тонкой резьбе самопала и, отразившись на старом шлеме, пустило зайчика на тесовый потолок.

Медленно приподнялся Каргин после тяжелого сна, приподнялся, оглянулся и понять не мог сначала, где он и что с ним. Голова трещала по всем швам, во рту и внутри начиналась такая тоска, что хоть умри. Он выпил залпом две кружки квасу, приготовленного чьей-то заботливой рукой, и как будто лучше ему стало. И сразу воспоминания вчерашнего дня нахлынули и охватили его. И это тяжелое пьянство, и тосты полковника, и его безобразное поведение, и ухаживанье Маруси — все встало так ясно перед Каргиным, будто все это сейчас только было. Стыд и сознание несмываемого позора закрались в душу молодого казака, с отчаянием схватился он за голову и бросился вон из горницы как был, в одном расстегнутом кафтане, без шапки и без шубы, добежал до дома и заперся в своей комнате.

Под вечер крепостная сипаевская девка принесла молодому панычу, от панны Марии, шубу, папаху и короткую записку. На ней аккуратно было выведено: «Зачем убежал, не простившись? Нехорошо»..

Захолонуло что-то в сердце у Николая Петровича, и неясные мечты затуманили его голову...

III

...Граф Матвей Иванович Платов был росту большого, волосы имел темные, глаза навывлет серо-голубые, отменно быстрые и зоркие, так что в дальности зрения едва ли кто мог с ним равняться, лицо вообще приятное, мина благоприветливая, талия прямая, стройная, в походке легок, осанкою величествен..

Жизнь и подвиги Платова. Смирного

В одной из комнат двухэтажного петербургского дома, на широкой мягкой постели, закрывшись по грудь одеялом, лежал немолодой с виду человек. Бойкие, смелые, проника-

тельные глаза его были открыты — он не спал. Усы, черные, слегка всклокоченные, спустились книзу; поредевшие к вискам, но совсем мало поседевшие волосы сбились беспорядочными прядями, сбегали на лоб и на уши. Росту человек этот был среднего, сложения крепкого. Изжелта-красное лицо его носило отпечаток вынесенных бурь и непогод. У самой постели, распяленный на стуле, висел генеральский мундир войска Донского, со многими русскими и иностранными орденами

Человек, недвижно, запрокинув руки за голову лежавший на постели в поздний дневной час, был войсковой атаман войска Донского, генерал от кавалерии Матвей Иванович Платов. Привыкнув на войне проводить ночи без сна на аванпостах, в бесконечных рейдах, поисках и набегах, Матвей Иванович и в мирное время не мог изменить боевых своих привычек. До четырех, до шести часов утра, до самой зари сидел он, занимаясь делами по управлению войска, а чуть светало, ложился спать — и чуток, и краток был сон его. Просыпался он в восемь, в девять часов, но, чтобы дать отдохнуть измученному телу, продолжал лежать, соображая план действий на день: что надо сделать, когда и как исполнить. И теперь, в январский морозный день 1812 года, лежа на кровати в петербургской квартире, он обдумывал свои дела.

«Зван я на обед к императрице Марии Федоровне,— думал Платов.— Это часам к четырем надо прибыть в Зимний дворец. Господи! до чего ты возвышаешь человека! Думал ли я когда-нибудь, играя в Старо-Черкасской станице в айданчики *, что буду знаменитым атаманом. Да, сподобил Господь! — Взгляд Платова скользнул по орденам мундира, по богатому генеральскому шитью воротника... — Да, можно сказать,— а ведь чуть не сорвалось... » И вспомнил Платов свою молодость, ординарческую службу у Потемкина, пышных вельмож. Ловок, хитер и угодлив был Платов. Умел он красным, острым словцом вызвать улыбку на лице своего шефа, умел лихо исполнить «порученность», умел из самой сечи неприятельской вырвать бунчук или знамя. Персидский поход графа Зубова припомнился ему. Молодой вельможа, только что вошедший в милость, неопытный в военном деле — и Платов его постоянный наставник и учитель.

Тонко подавал ему советы казачий полковник. Он думал все, что «сам» совершал стратагемы! «Шалишь,

* А й д а н ч и к и — нечто вроде русских бабок. (Авт.)

брат!..— тонкая усмешка кривит губы Платова, но сейчас же сбегает, и грустное выражение принимает лицо атамана.— Наказал Господь за суетные мечтания... Умерла благодетельница матушка Императрица — новые пошли порядки. Того и гляди в регулярство записали бы казаков, а тут прельщают соблазнами... Немилостив новый царь к старым вельможам!.. Многих погнал уже, нет различия, нет пощады никому! Сегодня вельможа, а завтра каторжник сибирский... А тут полковники, есаулы, простые казаки. Так и льнут, так и льстят — и самый-то умный, и достойнейший, и то, и другое,— а Орлов атаман-старикашка, куда ему войском править». Занесся мечтами молодой генерал. И виделся ему Дон иной, новый... Столица на горке, дома каменные, дворцы. Казачество не мыкается по походам, а сидит по станицам. Табуны коней бродят в высокой траве, достигшей роста человека; виноградники поросли по балкам, и казаки богатые, не истощенные войной без добычи, а обогащенные поисками... «Только куда поиски-то делать? Да, сама история губит войско Донское — видно, такова судьба казачества».

И опять болью сжимается сердце Платова.

Вспоминает он свои увлечения.

Написал письмо турецкому султану, и письмо то было невинное совсем, но нашлись злые люди, сделали донос. Отозвали Платова с Дона. И пошли скучные дни в Калуге, в незнакомом городе, среди людей, косо, подозрительно смотрящих на донского генерала. Тяжелое было времечко! Потом вдруг схватили его. Фельдъегерь такой нелюбезный, мрачный, ни слова не сказал, везли долго и бросили в мрачный и сырой каземат Петропавловской крепости. Все, казалось, погибло тогда для Платова. Тоска изгрызла душу, болезнь истерзала тело. Думал, ума решится он в этой мрачной яме, думал, погибнет совсем. Мундир изорвался, по телу пошли пролежни, глаза потухли от страданий. Познал Бога, познал, что значит смирение, гордый донской генерал.

«Господи, благодарю Тебя, что извел меня оттуда», — шепчет Платов, ежась на мягкой постели при одном воспоминании о казематской койке... Под ночь это было, в сырой ноябрьский вечер. Нева еще не встала, и глухо плескались ее волны, облизывая мрачные гранитные стены. Холодно, сыро в каменной клетке, совсем конец пришел от озноба. Дверь отворилась. Вошли люди. Давно не

видал людей близко Платов, даже страшно стало. На казнь, верно!.. Что же, на все воля Божья! Вдруг оказывается: во дворец требуют.

Вспомнилось Платову, как в рваном, старом мундире войска Донского — где же другой найти в Петербурге — вошел он в высокий зал дворца.

Полумрак в императорском кабинете. Государь стоит над столом, «планщик» сбоку, карты разложены.

— Видишь эти карты? — спрашивает государь.

Смотрит Платов, и туман застилает ему глаза. Что еще надумали новое со мной делать? Отвык он от свечей тоже Глазам больно.

«Бухара», «Хива» прописано

Государь объясняет. Говорит мягко, лаская, словно и не было сырого, смрадного каземата, словно и не рваненький мундир петропавловского узника сидит на донском генерале. Платов слушает, а свои мысли рвутся в нем, и радость свободы, радость движения охватывает его. Смекает он, что снова понадобился для похода на Индию.

Слыхал ли он про такую страну? — спрашивает Государь.

«А бес ее ведает, где такая есть Индия!»

— Слыхал,— говорит.

— Вот полки с Орловым поведете.

— Слушаюсь, Государь...

Краска заливает лицо Платова при воспоминании, как в небритую, жесткую щеку поцеловал его Император. Поход по грязи, в весеннюю распутицу. Нет провианта, казаки худые, изболевшиеся, лошади подтянутые, не пройдешь далеко. Пасха у Мечешного. Звон колоколов в самую страстную пятницу, известие о смерти Императора Павла и одновременный приказ вернуться домой. Вспомнили про казаков...

И снова слава! Слава больше, чем при матушке, подарившей бриллиантовую саблю!..

Шибко бьется сердце Платова при воспоминании, как его произвели в генерал-лейтенанты и назначили атаманом войска Донского.

Но Платов теперь не тот. Это не молодой человек, гордый своим донским происхождением, гордый победами своих предков. Он не мечтает больше о свободе и воле для своих детушек. Нет, нельзя бороться с Русью, сильна стала «Москва». Надо хитрить. Суворов пел «кукареку» во дворце, в одной рубашке ходил по лагерю — и это

обращало внимание на него... И вдруг Платов, и читавши немало, и знававший умных людей, говорит: «Планщик», «Аршава», «Шейларан» — опять тонкая усмешка кривит его губы.

«Ладно,— думает он.— Строганов атаманцами моими командует под Рассеватом и в Пруссии и получает кресты за их подвиги, те кресты, что мог бы я получить... И друг за то он мой. Не имей сто рублей, а имей сто друзей, Кутузов меня недолюбливает за Турцию,— да он уже в архив сдан, плесенью оброс, не выплывет, а Милорадович и особенно Багратион — друзья мои и приятели. Есть протекция, а с протекцией и детушкам хорошо будет...»

И обращаются мысли Платова на покинутый Тихий Дон Иванович. Там теперь стройка идет, Новочеркасск воздвигают, собор делают. Не будет больше весенних наводнений*; круглый год улицы будут сухи. «Кто понял меня, почему я там на песчаном холме строю хоромы, строю славу войска Донского, его столицу... Никто!.. И история вряд ли поймет! Я знаю, говорят, к Мишкину** поближе Платов строится... Пускай говорят, я — выше этого». Платов дергает сонетку — камердинер во фраке и белом жилете, в штиблетах вносит ему кофе и ставит на столике.

Второй час дня, надо вставать.

— Был кто?

— Никак нет, ваше высокопревосходительство. Ординарцам лейб-казацкого полка прикажете являться?

— Нет. Петр Николаевич пришел?

— Только сейчас вошли. Одеваются.

Петр Николаевич Коньков — протеже Платова. Он взял его семнадцатилетним юношей в свой полк, во вторую войну с Наполеоном, 1807 года, пожаловал урядником, а за Руцукские набеги сделал хорунжим и прикомандировал к себе в бессменные ординарцы. Платов полюбил Конькова за быстрый ум, за смелые ответы, за лихую езду,

* Старочеркасск, лежащий при устье Дона, подвергался ежегодным наводнениям; наводнения эти разоряли черкасских жителей и побудили Платова перенести присутственные места к слиянию рек Аксая и Шузлова, где и теперь стоит Новочеркасск. Место сухое, пыльное и безводное, до проведения железной дороги торговля прозябала. Причина выбора этого места Платовым и поныне неизвестна. (Авт.)

** Мишкино — имение Платова и его загородный дом. (Авт.)

за почтительность, соединенную с воинской выправкой.

Платов подумал немного.

— Пошли его ко мне.

— Слушаю-с!

Платов надел сапоги со шпорами, надел широкие шаровары, сел на постель и задумался. Легкий звон шпор заставил его очнуться. Вошел Коньков. Это был высокий и стройный офицер, совсем молодой и очень красивый. Маленькие усики легкой тенью пробивались на верхней губе, волосы вились с боков, а сзади коротко, по-регулярному были острижены, глаза смотрели бойко, самоуверенно и победоносно. Войдя, он поклонился Платову и, вытянувшись, стал у притолоки. И уважение, и какое-то обожание видно было в его глазах, когда, ловко вытянувшись и прижав левой рукой саблю в жестяных ножнах, он смотрел прямо в глаза атаману.

— Нигде не напроказил вчера? — спросил Платов.

— Нигде, ваше высокопревосходительство, — ответил казак и, чувствуя, что разговор пойдет не по службе, слегка согнул левую ногу.

— А где был?

— В балете, спектакль так прозывается, ваше высокопревосходительство...

— Баловство! Находишься ты у меня по театрам. Избалуешься, я вам скажу, это нехорошо.

Коньков чуть улыбнулся, услышав это «я вам скажу», приговору, постоянно повторяемую Платовым.

— Никак нет, ваше высокопревосходительство.

— Что, никак нет. Я вам скажу, не казацкое это дело. Мы не рождены ходить по паркам да сидеть на мягкой мебели, охота да война — вот наша забава. Опять у Клигельши пропадал?

Коньков чуть покраснел.

— Эх, вижу, что влюблен! Что же, я вам скажу, худого нет. Без бабы все одно не проживешь. Только лучше бы свою взял... Ну, да погоди, я тебя пораду. Что лучше любишь, с бабами хороводиться или воевать?

Не задумался хорунжий, живо ответил:

— Воевать много достойней, ваше высокопревосходительство!

— Ну, знай, война будет об весну наверно.

— Слава Тебе, Господи!

Усмехнулся Платов.

— Чему радуешься?

— Как же, ваше высокопревосходительство, первое дело — Егорий, второе — золотая сабля, всякому лестно.

— Смотри не возносись. Бог этого не любит. Будь скромней. Хочешь кофе?

— Благодарю покорно.

Камердинер внес еще чашку.

— Ну, отстегивай шашку да садись. Вот в чем дело. Завтра утром получишь от меня пакеты на Дон. Что рожито строишь — служи. Будет побывка — вернешься и найдешь все еще лучше прежнего! Один отдашь Адриану Карповичу Денисову * — секретный, другой дай полковнику Лазареву **, третий Кирсанову и скажи Денисову на словах, что исполнение потребую скорое и неукоснительное. Сегодня я дома обедать не буду, во дворец зван, а ты можешь сходить, куда хочешь, простись хорошенько — кто знает, может, до войны и не свидишься... Завтра лошадей запасай к ночи — я в это время сдам тебе пакеты. Ну, ступай, да смотри не балуйся...

Задумчив и грустен вышел молодой казак.

— Шинель! — крикнул он и, надевши шинель, подтянув высокий кивер с помпоном на боку на правое ухо, подвив чуб, вышел на улицу...

Война или свадьба! Ах, Ольга, Ольга, что ты наделала!

IV

Die ihr's ersinnt und wisst
Wie, wo und wann sich Alles paart?
Warum sichs liebt und küsst?
Ihr hohen Weisen, sagt mir's an!
Ergrübelt was mir da,
Ergrübelt mir, wo, wie und wann,
Warum mir so geschah? ***

Bürger

В жизни каждого или почти каждого человека бывает такое время, когда про него говорят: «Он влюблен». До-

* Адриан Карпович Денисов был во время войны 1812 г. наказным атаманом и управлял всеми делами войска.

** Полковник Лазарев был правой рукой атамана. Сохранилось много писем, адресованных ему Платовым.

*** Вы, мудрецы, глубоко и много ученые, которые проникли во все и все знаете — как, где и когда все соединяется в пары? Зачем любовь и зачем поцелуи? Вы, великие мудрецы, скажите мне это, поведайте мне, что со мною случилось, — поведайте мне, когда, как и где и зачем со мною это случилось? (*Бюргер*) (нем.).

сужие люди даже выдумали признаки влюбленности, подразделили ее на категории, как болезнь, указали средство ее лечения — разлуку... Но далеко не всегда помогает и спасает это средство. Есть такая категория любви, от которой ничто не спасает, и самая жестокая разлука только усилит ее. Это бывает в тех случаях, когда человек нашел наконец свою симпатию, когда сродство душ сказалось в них. Не знал молодой казак и не думал никогда, что найдет он сродственную душу на далеком севере, в холодном Петербурге.

А вышло так. Ведь любил он и раньше, и ему покружила голову Маруся Сипаева, и он отойти не мог от Наташиной юбки — одно время даже сватов хотели посылать в дом хромого дьячка. Но быстро улетучивались белокурые и черноволосые образы, и не тянуло Конькова даже побывать у них, не тянуло взглянуть на них, похорошели ли они или нет.

И любовь та была странная — хотелось их видеть и обнимать, но больше манила веселая беседа с товарищами, чарка доброго вина. Они хорошо кормили бездомного казака, они терпеливо слушали его рассказы про походы, но они ничего не давали ни сердцу, ни уму. Или не умели они, или не хотели сказать слова: «Люблю», и если некоторые прельщались мундиром и молодостью его обладателя и произносили это роковое слово — нерадостно звучало оно, и уста, протянутые для поцелуя, целовали холодно, а красивое личико не умело покрыться румянцем и, стыдливо потупившись, упасть на высокую грудь. Или они корчили из себя какую-то неприступную невинность и брезгливо вырывались из рук казака, или слишком скоро отдавали свои ласки, свою любовь, чтобы так же скоро охладеть и полюбить другого.

Несмотря на свою молодость, несмотря на свои двадцать лет, Коньков был опытен в любви и, казалось ему, охладел к ней. Да и как не охладеть! Кругом слышал он, что любовь не казацкое дело, что баба помеха на службе, что глупо жениться служилому казаку, а его все считали лихим офицером, лучшим ординарцем атамана.

И думалось ему, что и без любви к женщине весело. Он так любил своего атамана, тем странным обожанием, на которое способны чистые молодые люди, обласканные начальниками; он любил свою лошадь, любил себя. Он любил в отсутствие Платова надеть полную форму,

заломить высокий кивер на правое ухо и часами любоваться на красивую грудь, на стройные ноги, по которым изящными складками ложились чакчиры, любил выйти на улицу и, закрутив усы, пройтись, позвякивая шпорами по Невской перспективе, любил зайти в английский магазин, купить духов и надушиться так, что старик атаман браниться станет, любил, собравши лошадь и глубоко опустившись в седло, в лансадах подъехать к фронту, любил всенародно в Александровском саду в Новочеркасске звонким тенором завести удалую песню, любил, чтобы девушки на него смотрели, а товарищи гордились его лихо-стью... Он жил от обеда до обеда, от прогулки до прогулки. Грамоту знал он мало, книг не имел. Правда, из любви к искусству научился в седьмом году от пленного француза болтать по-французски, достал от Маруси даже несколько книжек французских — но это делалось в пору увлечения Марусей, а миновало увлечение, и книжки ушли, и от знания языка остались смутные обрывки и воспоминания.

Вечером, поспав после обеда, Коньков решительно не знал, куда деть время, и атаманский хорунжий чаще всего шел в избу товарища, куда приносилось вино, и беседа о совместных подвигах, мечты о новых и новых победах уносили их далеко. Не раз за этими беседами склонялись на грудь победные головушки молодых казаков и вповалку засыпали они до утра по лавкам и полатам. Привыкли они все к войне, привыкли к удалым рейдам и набегам и ночью, и днем, привыкли днем не спать на походе, а ночью мерзнуть на аванпостах, и скучно им было в мирное время без тревог и опасностей. Иногда в избе тренькала гитара, пиликали скрипки, и молодые голоса пели песню, собирая прохожих под окнами. Под вечер товарищи его часами стаивали на околице, на базах у амбаров и клетей, ожидая краснощеких Матрен и Аграфен из русских крепостных или из простых казачек и на соломе, покрытой рогожей или шинелью, под теплым южным небом проводили ночи любви. Не любил таких свиданий Коньков. В любви искал он равноправности, искал полной взаимности, не понимал он ни силы денег, ни силы убеждения, ни даже силы брака, силы установившегося обычая. Ему казалось, что нельзя заставить отдаться без любви, что это будет позор и разврат, что это неуместно Богу.

И хотя и любило его много девушек черкасских, хотя сипаевская белошвейка Груня не раз стреляла в него кари-

ми глазами и не раз, захмелевшего, выводила на базы — не находил в той любви Коньков тех наслаждений, про которые кричали ему товарищи.

Рано разочаровался он в любви, видя в ней одну грязь, отдался службе и стал избегать женщин. Этот переворот случился в нем на девятнадцатом году его жизни, когда его вдруг полюбил Платов, приблизил к себе и взял в ординарцы.

В 1810 году прямо из молдавской армии приехал Платов в Петербург и поселился на Большой Морской улице. Много имел знакомых в столице Платов. Редко обедал он дома, еще реже проводил он у себя вечера. То позовут его к какой-нибудь графине или княгине; приедет, пообедает, а после обеда любил Платов порассказать про свои походы и приключения, а говорил он медленно, часто повторяя: «Я вам скажу». Повторяя и распространяясь, заговаривался старик часто за полночь. Скучно было сидеть ординарцу в своей каморке: поговорит с казаками, посмотрит в окно, глянет на часы, а всего только десять минут прошло.

Вышел однажды на улицу Коньков, прошелся раз, другой, и явилась у него привычка гулять по Морской да по Невскому. Узнал, что есть в Петербурге театры, где дается комедийное и пантомимное действо, на манер вертепа, но только во сто раз лучше.

Знакомый офицер, лейб-казак, научил казака, как взять билет, как пойти и где сесть, и собрался Коньков смотреть на спектакль.

Давали балет.

«Срамота одна,— подумал Коньков, как увидел танцовщиц с голыми руками и ногами, с полуобнаженной грудью,— туда ли я попал? Может быть, здесь мужчинам и быть-то негоже». Оглянулся кругом. Нет, мужчин много, и рядом с ним старичок маленький, седенький сидит. Седая бородка коротко острижена, усы торчком торчат, и волосы короткие, густые, ершиком. И рядом с ним девушка, брюнетка, в черном платье. У старика Владимирский крест на шее, надо думать — важная персона. Звякнул под стулом шпорами хорунжий и обратился к старичку с учтивым вопросом:

— Скажите, ваше превосходительство, что сие действие изображает и почему девицы, которые на сцене пляшут, непригоже так одеты?

Старичок стал объяснять. Он говорил неясно: не то по-русски, не то нет, не разберешь.

Внимательно и почтительно слушал хорунжий — и понял одно, что представляют «балет», и что в «балете» можно и неприбранным быть, и что слово это означает — танцы.

«Вот бы нашим старикам да старухам показать, — усмехнулся Коньков, — анафеме бы весь театр предали».

— А вы откуда изволите быть? — спросил старичок.

— Я с Дону, донской казак. *Un cosaqua du Don*,* — применил свои знания Коньков, думая, что так будет понятнее. — *Filleicht sprechen sie auch deutsch?*** — обрадовался старичок, услышав французскую фразу.

Слышал, много слышал в седьмом году, в Пруссии, такой язык молодой казак, однако говорить не умел.

— О, *nein!**** — ответил он и потупился. — Улыбнулась молодая девушка и робко взглянула на казака. Нахмурился хорунжий.

«Все одно баба!» — подумал и стал разглядывать занавес. А темные глаза так и жгут его, так и пронизывают. И чувствует их взгляд, сквозь сукно даже чувствует молодой хорунжий. Вот глядит она на голубой лампас, вот белый с желтым и черным помпон на кивере разглядывает, на шпоры взглянула, вот глядит на усы, на кудри.

«И чего ей надо?» — думает Коньков, и рука уже закрутила усы, подняла на висках волосы выше... И вдруг покраснел казак. «Фу, как это глупо!» — подумал он и хотел было уже выйти, да подняли занавес, и кончилась пытка.

В следующем антракте старик сам заговорил.

— А у вас на Дону разве нет театра? — спросил он, обращаясь к казаку.

— Никак нет, ваше превосходительство, — учтиво сгибаясь, ответил хорунжий.

— Как же вы развлекаетесь? Вам скучно, должно быть?

— Не скучно, ваше превосходительство. Мы на охоту ездим, ходим друг к другу, поем песни, играем.

— А давно вы в Петербурге?

— Вторую неделю. Я с атаманом Платовым приехал.

* Донской казак (*фр.*).

** Может быть, вы говорите и по-немецки? (*нем.*)

*** О, нет! (*нем.*)

— О, der berühmte Platoff! * Очень уважаю этого человека.

Подкупили эти слова казака, и стал он еще любезней и почтительный со старичком, а на барышню хоть бы посмотрел.

— У вас здесь много знакомых в Петербурге?

— Никого,— коротко ответил хорунжий.

— Ай, как гадко. Это очень скучно, такой одинокий и молодой.

— Да, мне не весело,— искренно сознался казак.

Нагнулась дочка к отцу и что-то по-немецки сказала ему на ухо.

— Позвольте узнать, как вас звать.

— Петр Николаевич Коньков, хорунжий.

— Позвольте я вас с дочкой познакомлю.

Поднялся хорунжий, красный как рак, даже пот мелкими каплями на лбу проступил. Хотел он поцеловать маленькую ручку, но барышня отдернула ее, и казак остался ни при чем. Пуще прежнего смутился Коньков.

— Вы простите,— пробормотал он.— У нас... так водится... если особое уважение, то в ручку...

— Да? Пустяки... Впрочем, если хотите, то целуйте...

А сама до слез покраснела, но руки не дала...

Опять подняли занавес, и разговор прекратился. Прощаясь, старичок пригласил к себе казака, сказал, что он живет в Шестилавочной, в собственном доме, что зовут его Федор Карлович Клингель, служит он в сенате и действительный статский советник.

Коньков усадил в сани отца с дочерью и побрел потихоньку домой.

Все это рассказал вечером атаману ординарец.

— Что же,— сказал Платов,— дело хорошее, я вам скажу!.. Клингель... Клингель... Я вам скажу, я припоминаю эту персону. Ты говоришь, кавалер и действительный статский советник. Брезговать этим не след. Надо всегда иметь знатных покровителей. Опять, если девица славная да хорошая — все веселее пойдет питерское-то житье. Надо, я вам скажу, тебе сделать им визит.

— Чего изволите, ваше высокопревосходительство?

— Говорю тебе: сделай им визит, то есть кратковременное посещение. Что у нас сегодня?

* О, знаменитый Платов! (нем.)

— Пятница, ваше высокопревосходительство.

— Ну вот, послезавтра, в воскресенье, надень-ка ты полную форму да и явись к ним часам к двум: я тебя увольняю. Побеседуй о погоде, посиди с час, и тем ты, я вам скажу, докажешь, что ты образовательная и со светским лоском персона, и не уронишь достоинства донского офицера.

— Слушаюсь, ваше высокопревосходительство.

Так и сделал Коньков. Без труда разыскал он в Шестилавочной, по правой руке от Невского, дом Клингеля. Дом оказался каменный, двухэтажный. Крыльцо выходило на улицу, и, войдя в него, Коньков очутился в больших, каменными плитами мощенных сенях. Старик лакей вышел и вежливо спросил:

— Как доложить прикажете?

— Хорунжий атаманского полка Коньков, скажи.

— Слушаю-с.

Лакей беззвучно поднялся по лестнице, а Коньков с любопытством осматривал строение. Широкая каменная лестница в один марш поднималась во второй этаж. Там шел каменный коридор направо и налево, и в глубине были двери. Направо жил сам Клингель, налево — жильцы.

Старичок скоро вернулся.

— Их превосходительства дома нет, а барышня вас просят.

Подумал секунду Коньков.

«Что я буду с барышней делать, а впрочем, разве казаки когда отступали?» И, решительным движением скинув плащ, атаманец быстро поднялся наверх.

В просторной, в три окна, зале сильно пахло цветами. Белые, розовые, лиловые и желтые гиацинты, красные тюльпаны и нежные нарциссы покрывали все подоконники и наполняли корзины, стоявшие перед окнами, распространяя сильный аромат. Полы, выкрашенные в желтую краску, были прекрасно навощены, красного дерева клавикорды занимали полстены, на которой висели портреты старичков и три каких-то иностранных пейзажа. Мебель была обита кожей и казалась тяжелой и дорогой. Девушка с косынкой на плечах усмехнулась и, сказав: «Сейчас доложусь», убежала из комнаты.

Весеннее яркое солнце, так как стоял конец марта, ударяло в окна, ложилось на пол и, казалось, играло тысячами разноцветных пылинок. В больших простеночных зеркалах во весь рост отразилась стройная фигура

казака, его тонкая талия, стянутая синим кушаком, и чакчиры, длинными, ровными складками падавшие на шпоры. Отразились и бойкие серые глаза, и русые кудри, и маленькие усы.

Вдруг дверь отворилась, и быстрыми, легкими шагами вошла Ольга Федоровна Клингель.

Солнце точно померкло перед нею и не смело светить, потому что другое, более яркое солнце заглянуло в душу казака и озарило своим теплым, ясным светом ее всю. Тепло и радостно стало вдруг на сердце Конькова, и исчезло его отвращение и страх к женщине: что-то нежное забилося глубоко-глубоко, в левой стороне груди — там, где приготовлено место для Георгиевского крестика.

«Но о чем говорить с такой важной персоной, как смотреть в эти ясные, чистые глаза, дышащие кротостью и невинностью, как перебить этот нежный голосок, что щебечет словно малая птичка на заре, звеня и переливаясь в голубом сиянии неба?»

Оторопел и растерялся казак.

Как говорить? О чем говорить? О погоде — учил атаман...

— Папы дома нет, но я очень, очень рада, что вы не забыли нас! Ну, дайте же вашу руку. Я много слыхала про казаков. На днях даже книжку прочла: «Подвиги казаков в Пруссии», сочинение господина Чуйкевича. Очень хорошая книжка. Вы читали?

— Нет, не читал.

— Ну, садитесь же. Как же вы не читали? Почему вы не читали? Вы разве мало читаете? Ах, а я так люблю чтение! Больше всего! Я все-все читаю. Вот эта книжка — она всего две недели как из типографии вышла, а она уже у меня, и я прочла ее. У нас знакомый есть, он в цензурном комитете служит, он нам все-все приносит. Хотите, я покажу? Там и карта приложена.

И девушка проворно встала и пошла достать книжку.

«Ишь ловкая какая да проворная! — подумал казак. — Ровно казачка. И простая. Наши-то первый раз дуются, дуются, просто не знаешь, с какого бока подойти».

Через минуту Ольга вернулась. В руках у нее была небольшая книжечка, переплетенная в желтую кожу, с золотым тисненым орлом, окруженным гирляндой листьев.

— Вот и план, видите.

— Ишь ты, как ловко сделано! — сказал Коньков. — Ва-ажно! Вон, гляньте: Пассарга, река Алле, вот Алленбург, жаркое было дело!

— А вы разве участвовали в нем? Вы такой молодой!

— Шестнадцать лет вступил в службу в атаманский полк казаком и за арьергардные дела после Фридланда произведен в урядники и приближен к атаману,— не без гордости отвечал Коньков.

— Боже, да вы совсем еще мальчик!

Коньков покрутил ус.

— Какие молодцы казаки! Балабин..

— Наш командир! Лихой, скажу вам, полковник. Под Рассеватом в прошлом году, мы в Молдавии были тогда Ночью собрал наши сотни, копыта обвязали соломой, чтобы о камень не брякнуло, да поехали по балке к турецкому стану! Темень, зги не видно Тучи бегут, Дунай плещется, а над селениями огни так и горят... Мы ближе и ближе. Часовой нам попался — впереди в дозор ехал Каймашников, урядник, сабля сверкнула, так, тюкнуло что-то — слова сказать не поспел, и на месте готов. Оставил под горкой Балабин наш полк, а сам со мною на горку взобрался. Весь стан, как на ладони, видать. Огни горят, над огнями турки сидят, пушки их стоят.. Считай, говорит, их батальоны, Коньков. Сосчитали Только собрались идти, а тут прорвалось небо, и луна на нас глянула, а под нами — шагах в двадцати — пикет турецкий, человек десять.. В сражениях бывал, лицом к липу сталкивался с неприятелем, а такого страху не знал, как в тот час..

— Ну и что же? — охваченная волнением казака, спросила Ольга Федоровна.

— Ничего, Бог миловал,— со вздохом сказал Коньков

И вдруг нахлынули вереницей воспоминания о боях и сражениях, и позабыл казак, где он и с кем, и полились рассказы о схватках, о переправах вплавь, о бешеных атаках и далеких поисках, об умном, славном, любящем казака атамане, о верном коне Ахмете, что не раз выручал в сече, что скакал быстрее оленя, которому сто верст отмахать нипочем, который руки лизал и радостным ржанием приветствовал своего хозяина..

Внимательно слушала питерская барышня пылкие речи казака — и ненавидела она с ним Песлевана-пашу и Наполеона-короля, а любила она и атамана Платова, и сотенного Зазерскова, что все говорил: «Да я знаю» и о казаках пекся, как о родных детях, любила и коня Ахмета, и вестового Какурина.

Видно, и правда есть сродство душ, что так скоро русская немочка, тихенькая и скромная, первая ученица

французского пансиона для благородных девиц, дальше Ораниенбаума никуда не ездившая, так хорошо поняла пылкие речи казака, сражавшегося и в Турции, и в Пруссии, чуть не ребенком во время войны прошедшего поперек всей Европы.

Не десять, не двадцать минут сидел визитер, а сидел уже третий час, и все говорил и изливал он в простой, откровенной беседе свою душу перед этой девушкой, которую первый раз увидел, которую совсем не знал... Часы пробили три, четыре, и близилось время к пяти; в соседней комнате звенела посуда под руками прислуги, накрывавшей стол, а казак, удобно усевшись в покойном кресле и положив на накрытый скатертью стол свой кивер с голубым верхом, все говорил, говорил. Он рассказывал и про детство свое, и про донские песни, про полк, про товарищей, рассказывал про кутежи и про пьянство, про охоту на лисиц черно-бурых, про Марусю Сипаеву, сказал даже, что женщин ненавидит он и презирает.

— А меня? — спросила Ольга Федоровна.

Вспыхнул казак и замялся:

— Не знаю...

По счастью, дверь отворилась, и в залу вошел старичок. По лицу дочери, оживленному и радостному, догадался он, что беседа шла по душе, что казак ein guter Kerl*, и приветливо поздоровался с донцом...

— Обедать время, — сказал он, — Петр Николаевич, оставайтесь с нами. Садитесь, пожалуйста.

«Ну как остаться? Атаман сказал: десять, двадцать минут посидеть — а он, нате-ка, три часа отмахал, как минуту. Но как и отказаться?»

Остался Коньков. И ел он и суп из кореньев, и пирожки слоеные, и вареную ветчину с горохом, и вкусные пышки. Пил чай, пил ликер и коньяк — и еще больше от того развязался у него язык.

Заметила Ольга Федоровна, как зарумянились от коньяку щеки и заиграл огонек во взоре у хорунжего, и незаметно отставила хрустальный графинчик в сторону. Не хотелось ей портить хорошего впечатления, которое произвел на невинную душу ее молодой атаманец.

В восемь часов вечера ушел Коньков домой.

Темно еще не было; народ по улицам все еще суетился, а он шел пешком, не желая брать извозчика, и шагал по

* Добрый малый (нем.)

Невскому, глядя на магазины,— и хорошо было у него на душе, а почему хорошо, он и сам не знал.

С той поры, вот уже два года, как почти каждый день входил Коньков в дом на Шестилавочной. Знакомые Ольги Федоровны находили это сближение «компрометантным», но девушка не хотела оттолкнуть разговорчивого, бесхитростного казака, тем более что после него ей претили петербургские франты с вычурными манерами, с напыщенной речью. Отец смотрел на Конькова так же симпатично, как дочь, и молодые люди дружески сошлись.

Они вместе читали книги; нежным сопрано пела она ему романсы, пела знаменитый модный вальс, играла на клавикордах и как-то раз, разучивши потихоньку одну песню, встретила его с лукавой усмешкой, подошла к клавикордам, и нежный голос раздался по зале:

«Поехал казак на чужбину далеко, на добром коне вороном он своем, свою он крайну навеки покинул, ему не вернуться в отеческий дом»,— пела девушка.

И вдруг заплакал, слезами, как баба, заплакал Коньков.

— Что с вами?..— участливо спросила она.

— Не знаю, ничего. Скучно мне... Грустно.. Старуха ясырка мне предсказала, что не будет мне счастья на земле, хоть много будет хороших минут.

— Полно, глупости какие! Разве вы несчастливы со мной?

— Счастлив... Да долго ли счастье это продлится? Уеду я на Дон, и забудете вы своего казака.

— Почему вы это так говорите? Знаете, вы огорчили меня своими словами. Я к вам такую нежность чувствую, какой еще никогда ни к кому не испытывала. Нехорошо это...

— Да что ж,— улыбнулся ясной и горькой улыбкой Коньков,— разве пошли бы вы, сенаторская дочка, за простого казака? Разве променяли бы вы эти хоромы на простую нашу избу, разве стали бы вы жить, занимаясь хозяйством, как живут наши жены...

— И не надо мне так. Слушайте, Петр Николаевич, если бы любили вы меня так, как я вас люблю...— начала Ольга Федоровна, но казак перебил ее:

— Я люблю вас больше, чем вы думаете. Когда я любил только свой Тихий Дон, любил полк, своих товарищей, атамана, томила грудь мою разлука с ними и ненавидел я Петербург. А теперь.. Разве теперь хоть тень этой нена-

висти осталась... Мне хорошо в вашем доме, так хорошо... Просто и уходить неохота. Хотите, я выйду в отставку... Но что я тогда делать буду?... Только и умею я, что укрощать диких лошадей, да стреляю из лука, а больше ничего. Будь у меня богатые имения, собери я добычу на войне — ну, тогда еще можно было бы жить помещиками, но у меня ничего нет, решительно нет ничего... Я живу милостями атамана, живу тем, что он мне дает!

— Дорогой мой, сокол мой ясный, ничего и не нужно! Служите своему Государю, и я с вами служить буду. Пойдете вы в поход на войну, а я пойду сестрой милосердия, и проживем мы с вами хорошо. Разве не могу идти я на войну? Разве хуже я той девушки, что кинула родительский дом и ушла с Бонапартом сражаться?!

— Вы лучше всех! Неужели возможно такое счастье?

Коньков быстро схватил ее руку и поцеловал ее крепко-крепко. Слово то пробежал по их жилам; Ольга порывисто приподнялась и смело и крепко поцеловала его в губы, потом улыбнулась доброй и странной усмешкой и прижалась щекой своей к высокой груди казака. А он покрывал ее густые черные волосы поцелуями страсти, и кипела и бунтовала в нем кровь.

Дверь скрипнула и приоткрылась. Как от громового удара разлетелись оба они в разные стороны, оба красные, взволнованные. Ольга оправилась скорее.

В дверях, приветливо улыбаясь, стоял молодой человек, Карл Иванович Берг, чиновник сената, двоюродный брат Ольги. Вышитая красными и желтыми шелками подтяжка яркими полосами бросалась в глаза. Потом были видны худощавые ноги, обтянутые серо-желтыми рейтузами, маленькие лакированные сапоги с кисточками и фрак, забавно сидевший на нем.

— Ах, как вы напугали меня. Разве можно так входить?

Вялое, бесцветное лицо Берга оживилось и покраснело.

— О, я не знал, что вы не одна. Я не предполагал, что у вас сидит казак.

Злоба сверкнула в глазах Конькова; ноздри нервно раздулись, и вспухла синяя жила на лбу. Он встал и тяжело оперся на саблю.

— Позвольте вас познакомить,— сказала Ольга Федоровна.— Друг моего отца Петр Николаевич Коньков, а это мой двоюродный брат Карл Иванович Берг.

Берг развязно сел, не подав руки казаку.

Коньков нахмурился.

— Ольга Федоровна, выйдите, пожалуйста, из этой комнаты.

— Петр Николаевич, ради Бога, оставьте, не надо ничего делать? Что вы хотите?

— Я хочу,— резко отчеканивая каждое слово, заговорил Коньков,— вышвырнуть вон этого негодяя!

— Негодяй?! Я негодяй, Ольга Федоровна! Я буду жаловаться на ваш папаша! У вас в доме опасно бывать. У вас не дом, а казачий постой! — петушился Берг.— Я ухожу! Да, я ухожу! Что же мне делать. Я не могу идти на сильный! Я умный — у меня ума палата, но грубый физический сил — это дворник и лакей...

— Сам ты лакей! Егупетка подлая! Вон! — громовым голосом крикнул Коньков.

Сжался, съежился, точно в комок, немец, двоюродный брат, и выскользнул в дверь.

— Я этот попомню, я буду отомщать! — крикнул он в дверь.

Коньков долго не мог успокоиться. Только присутствие любимой девушки удержало его от расплаты за дерзость тут же, на месте. Он нервно, порывисто дышал, высоко поднималась и опять опускалась его грудь, а глаза беспокойно смотрели куда-то в сторону.

— Что вы наделали, Петр Николаевич? Ведь это ужасный человек, этот Берг. Он вам сильно может повредить.

— Мне? Лишь бы вас, мою ясочку, не тронул, а у меня защита,— указал казак на саблю,— всегда при мне.

— Зачем доводить дело до оружия. И так немало крови льется по миру, зачем еще затевать домашние распри... Одно скверно. Он видел, как вы меня обнимали... Да, видел...

И вдруг сразу вся сдержанность ее пропала; бессильно опустилась голова Ольги на грудь, и, ломая руки и обливаясь слезами, откинулась молодая девушка на спинку дивана в бессильном, тяжелом горе.

— Позор! О, позор!.. По-озор...— медленно проговорила она, привстала и опять упала, продолжая рыдать.

«Пойдет теперь эта сорока звонить по всему городу! Бог знает чего порасскажет»,— думала Ольга.

Коньков прошелся раза два по комнате. Он все мог выносить; всякое страдание готов было претерпеть, не боялся он свиста турецких пуль, не боялся рева ядер и ше-

леста гранат, не боялся визга картечи и отчаянных криков янычарской пехоты, и не билось у него сердце ни в поисках за неприятелем, ни под вражескими пушками, ни в бешеной атаке. А тут, при виде, как в отчаянии, ломая руки, плачет хорошенькая женщина, при виде лучезарных глазок с покрасневшими веками, залитых слезами,— забилося, сильнее забилося сердце в могучей груди, и впервые узнал он, что значит тревога.

— Послушайте, Ольга Федоровна...— мягко и нежно заговорил хорунжий.— Ведь я ваш жених! Хотите, всему свету завтра объявим... хотите, и свадьбу завтра скрутим. И нет тут никакого позора, не о чем тут горевать.

— Как нет!..— голосом, полным отчаяния, возразила Ольга Федоровна.— Не утешайте меня. Лучше молчите.. Ничего мне не надо...

И снова рыдания.

— Ну, выпейте воды. Вот вам вода.

Ольга Федоровна отпила глотка два воды и, охватив своими нежными ладонями щеки казака, порывисто поцеловала его.

— Ах, не так о себе беспокоюсь я, голубок мой ясный, как мучит меня тревога за вас. Вы не знаете Берга! Это подлый и мстительный человек. Он этого так не оставит. Два раза делал он мне предложение, но я оба раза ему отказала... Теперь увидел... Он убьет вас, Петр Николаевич... Или гадостей вам наделает!

— Ну, если только это — бояться нам нечего! Я за себя постоять сумею...

Успокоилась Ольга Федоровна от ласковых слов, от могучих объятий. Полегчало ей на сердце. И опять начались у них разговоры, стали они делать планы будущего..

И хороши, заманчивы были эти планы!

А неделю спустя с грустной вестью пришел Коньков к Ольге Федоровне.

Платов поручил ему отвезти важные бумаги в войско, так как идут разговоры о войне. Слышно, что Император недоволен континентальной системой, что дядю его, герцога Ольденбургского, неправильно обидели, и много еще чего болтали в петербургских гостиных.

Люди полегковернее говорили, что Наполеон — это и есть антихрист, обещанный миру, что это тринадцатый год сплошной войны, что восстанут брат на брата и сын на отца... А тут появилась еще, словно назло, комета.

Разговорам и толкам, на раутах и обедах, на визитах и вечеринках, конца не было. Ничего не говорила об этом только влюбленная парочка.

Горючими слезами плакала Ольга Федоровна, прижимаясь к высокой казацкой груди, крестила по сто раз, благословляла его, целовала и в губы, и в глаза и руки ему целовала; и ласкала она, и нежила его, и ухаживала за ним, как мать не ходит за родным сыном.

— Возьми, голубок, на дорогу,— на прощанье сказала ему Ольга, подавая корзину.— Все меня вспомнишь. Тут и пирожное, и пирожки — сама пекла, и бутерброды тебе понаделала — кушай, родной, на здоровье...

Укрепили эти ласки Конькова. Бодро пошел он домой, свернул по Мойке и переулками стал выбираться к платовскому дому.

Была уже ночь. Редко поставленные фонари с масляными лампочками чуть мерцали. В темном лабиринте переулков его нагнали два человека. Они говорили по-немецки.

— Dieser? * — спросил один у другого.

— О, ja. **

— Я сразу боюсь. Я лучше на хитрость пушусь.

— Мне что. Здесь неудобно. Адъютант Платова — особа. Полицеймейстер! Еще за измену сочтут, а я лучше за городом. Мне казак его говорил: завтра поедет на Дон.

— Gut, ich hoffe also auf Sie... ***

Коньков обернулся.

Прямо против него стоял Берг и еще какой-то человек. Коньков сделал шаг вперед, но преследователи юркнули под ворота, и хорунжий одиноко продолжал свой путь.

Платов давно вернулся из дворца и был сильно не в духе. Пришлось потихоньку раздеться и лечь до утра, а собираться уже днем.

Долго молился за свою ненаглядную Олю Коньков. Потом лег, стал было уже засыпать, как вдруг непонятная тревога охватила его; ему стало страшно, тоскливо страшно чего-то. Он стал горячо молиться — но тревога только усиливалась, и до утра боролся он с ней и не мог победить ее.

* Этот? (нем.)

** О, да (нем.).

*** Хорошо, итак, я надеюсь на вас... (нем.)

... Мы не рождены ходить по паркам да сидеть на бархатных подушках, там вовсе можно забыть родное ремесло. Наше дело ходить по полю, по болотам да сидеть в шалашах, или лучше еще под открытым небом, чтобы и зной солнечный, и всякая непогода не были нам в тягость. Так и будешь всегда донским казаком.

Слова Платова

У Платова имелись причины быть не в духе. Во дворце с ним произошел случай, о котором, наверное, Бог знает как будут говорить в петербургских гостиных, и, во всяком случае, посмеются над донским атаманом, — а кому приятна насмешка? Положим, Платов недурно вывернулся из неловкого положения, еще раз доказавши свой ум, природную сметливость и остроумие.

Неприятное приключение, быть может, уже забыто, но злые языки, — а их так много в Петербурге, — осудят атамана, и это может многому повредить.

Во дворце у Государыни Марии Федоровны собралось общество. Большее число гостей были свои, придворные, искушенные опытом светской жизни, — один Платов был чужой, нелощеный. За столом он очень понравился Императрице своими бойкими и интересными рассказами про Дон, про войну, про Наполеона. Платов был в ударе. Он не тянул, не повторялся, как обыкновенно, а даже любимая его поговорка: «Я вам скажу» — звучала так мило и так кстати, что сходила совсем незаметно, а его остроты были так удачны, что им мог бы позавидовать сам Билибин, известный остряк-дипломат.

Государыня много и весело смеялась, придворные вторили дружным хором; Платов рассказывал, жестикулируя и увлекаясь все более и более...

После обеда в самых изысканных выражениях откланивался Платов Императрице.

— Не забывайте же меня, атаман. Вы так мило рассказываете...

— Помилуйте, ваше величество, — ловко сгибаясь, отвечал Платов. — Могу ли я...

Но тут роскошная, усеянная бриллиантами, жалованная еще матушкой Екатериной сабля задела за постамент

драгоценной вазы, ваза дрогнула, нагнулась и полетела на пол, задевая другую, третью...

Смутился Платов, хотел исправить свою ошибку, хотел отскочить в сторону, да что сделаешь на проклятом паркете!

Поскользнулся атаман, зацепился шпорой за ковер и упал бы, наверное, упал бы со всеми своими регалиями и орденами, да Императрица схватила его за руку и удержала от падения.

Сильно смутился Платов, смутился, но не растерялся.

— Ваше величество,— громко и смело сказал он,— само падение меня возвышает, ибо дает случай поцеловать ручку премилосердой монархини, моей матери.— И со словами этими он свободно нагнулся и поцеловал милостиво протянутую руку.

А потом, обернувшись к смеющимся придворным, широко и просто взмахнул рукою и, указывая на черепки разбитых ваз, сказал:

— Вот, говорят, казак, чего не возьмет, то разобьет Первого я не знаю, а второе и со мною на деле сбылось! — И, отвесив низкий поклон, Платов вышел из залы...

Императрица осталась довольна, что ее гость выпутался из неловкого положения, придворные тоже не имели возможности смеяться, но... Но что-то все-таки неприятно кололо Платова, и долго не мог еще он успокоиться.

Далеко за полночь сидел он у себя и писал письма, мусоля и грызя гусиное перо, тщательно выводя тяжелой рукой каракули и подписывая «генерал-лейтенант Платоф» * .

И против воли суровостью веяло от письма к своему заместителю на Дону Адриану Карповичу Денисову, более опытному, более образованному, обладавшему военными талантами. Далеко не без умысла, опасаясь соперника в столице, поручал ему Дон на случай войны атаман Платов.

Остальные письма атамана вышли мягче, ласковей. Случай во дворце стушевывался, начало являться соображение, что, может быть, петербургские кумушки станут толковать его в пользу казака-атамана.

* На всех бумагах Платов подписывался с буквой «ф» в последнем слог.

Погасли последние фонари, и куранты на Петропавловском соборе проиграли пять ударов, когда, кряхтя и охая после нелюбимой работы, от которой делался у него «вертеж» в голове, улегся Платов на постель и заснул тяжелым старческим сном.

Он проснулся поздно.

Коньков успел уже сходить на Лиговку в почтовую станцию и заказать лошадей, успел явиться к коменданту и выправил подорожную, а Платов все еще не просыпался. Проснувшись, он лежал долее обыкновенного, тщательно обдумывая: все ли ясно написано им на Дон и не упустил ли он чего. За заботой о войске мало-помалу исчезли неприятные впечатления дворцовой истории.

Под вечер Конькову приказано было собираться. До станции его должна была доставить платовская тройка, а там ехать приходилось на перекладных.

В восемь часов вечера, как было приказано еще накануне, казак, закутанный в плащ, в дорожном кивере и старом чекмене, вошел к Платову.

— На пакеты...— сурово сказал Платов.— Да хранит тебя Господь Бог на твоём пути.— Он набожно перекрестил молодого казака. — Хорошенько исполни свою «порученность», не балуйся ни в Москве, ни в Воронеже. Исполнив порученность, явись в полк. Ты мне теперь там будешь нужен. Я вам скажу, как бы весной не сцепились опять с Бонапартом. Больно «претензий» много заявляет, сил нет от его нахальства...— Платов помолчал немного.— Сердечные дела справил? Не бойся... Сильно заговорится твое сердце — сам сватать пойду, заупрямится — Государыню попрошу... Хоть и не люблю я «иностранцев»... Ну, еще раз с Богом! — Перекрестил своего ординарца Платов, поцеловал еще и еще раз и повернул к двери.— С Богом! Кланяйся моим атаманам-молодцам!..

Мороз был здоровый. Сквозь холодный плащ порядком продувал северный ветер молодого казака. Платовская тройка быстро летела по сумрачным улицам Петербурга. «Подди! Подди!» — кричал кучер, а денщик коньковский ежилась на облучке, обеими руками придерживая клингельскую корзину.

Вот и почтовый двор. Вышел смотритель с фонарем, засуетились ямщики, стали выводить лошадей, казак Какурин сносил узелки и кулечки в почтовые сани.

— Жалко, раньше не прибыли, ваше сиятельство. Попутчик вам был бы. Тоже до Москвы и далее подорожная прописана. Вместе-то и веселее, и дешевле бы ехать было.

— Нет, я один больше люблю,— сказал хорунжий, просмотрел подорожную, ощупал на груди пакет с бумагами, посмотрел пистолеты и вышел на улицу.

Косматые почтовые клячонки топотали ногами на морозе, нетерпеливо желая бежать; взглянул на столицу Коньков последний раз, смахнул рукавом набежавшую было слезу и вдруг быстро пошел назад к городу. Навстречу ему, закутанная в платок, быстро шла стройная женщина, а сзади другая. Не надо было говорить молодому казаку, что это Ольга Федоровна — сердце подсказало ему это раньше, чем рассмотрели глаза.

Она кинулась в объятия хорунжему.

— Милый, прощай, дорогой! Не тоскуй! Я тебя так люблю...

— Ах ты, лихая ты пташка моя! Как же ты, одна?

— Нет, Груня проводила меня... Слушай, красавец мой, исполни одну мою просьбу.

— Хоть сто, хоть тысячу...

— Закутай свою грудь платком этим. Сама связала для тебя. А вязала, все думала — поедешь куда, накроешься и вспомнишь свою Олю.

Нахмурился Коньков.

— Нежности... Глупости бабьи! — пробормотал он.

— Ай, как нехорошо! Так-то ты меня любишь...

— Ну, прости, моя радость.

Ольга Федоровна сама завязала платком грудь казака, застегнула плотнее плащ, крепко-крепко поцеловала.

— Ну, с Богом!

— Не горюй, моя ласточка, скоро вернусь! — набожно перекрестив ее, молвил казак, прыгнул в сани, тронули лошади, зазвенели бубенцы, поднялась снежная пыль столбом из-под ног пристяжных, и полетела тройка мерять версты через всю Русь бесконечную.

А Ольга Федоровна, вернувшись домой, стояла у окна и с тоской смотрела на снежинки, что крутились и падали на землю,— и уносились мысли ее далеко в пустынное поле, где воет ветер, где безлюдно кругом и где далеко-далеко, черной тоской несется звенящая тройка, унося надолго все самое дорогое, самое радостное в ее жизни...

VI

...Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, разбросанно и неприятно в тебе; не развеселят, не испугают взоров дерзкие дива природы, венчанные дерзкими дивами искусства..

Гоголь Мертвые души. Гл. XI

Велика, беспредельно громадна широкая Русь. Чрез горы и леса, чрез города и деревни, чрез села и поселки бежит бесконечная дорога, то вздымаясь на холм, то стуча по бревенчатому мосту.

Мелькнет обоз с сеном, соломой, кулями, покажутся мужики, закутанные в серые сермяги, попадется встречная тройка, постоялый двор, кабак с елкой, полосатый шлагбаум и часовой подле, домишки с мезонинами в предместье, дом губернатора, сиротский или уездный суд, каменный желтый собор и повалившийся набок заборик рядом, вежа съемщика — и опять дома и домишки, корявая березка за заборчиком, надпись «вхот всат», и опять пошли леса и поля, бесконечные и однообразные.

Вот солдаты стоят по деревне. Видны красные шапки; у колодца лошадей поят; где-то сигналы учит несчастный трубач, мелькнули дежурные при сабле и опять ничего, опять степь, безлюдье и ширь, ширь матушки-Руси, бесконечной и могучей. Иной ямщик попадется молчаливый, иной весь перегон тянет в нос тоскливую песню, иной, свернувшись с козел, спросит, откуда, куда и зачем едете, и что говорят про войну, и то правда ли, что Александра-царь с Наполеоном дружит, другой и дальше пойдет, спросит: люди ли казаки? и правда ли, что они детей едят и жен не имеют? Усмехнется Коньков на невежество, начнет рассказывать про богатство донское, про вольную волюшку, глядишь, там и станция близко, смотритель в громадных очках глядит подорожную, записывает в книгу. Проезжий помещик дымит чубуком, гусарский корнет в звонком ментике и еще двое губернских господ понтируют за залитым чаем и вином столом. Поздоровается с хорунжим корнет, скажут слова два, и опять только и слышно: «Углом... Нет, брат, семпелями нельзя... Девятка бьет. Ладно...»

И опять степь.

То вьюга завывает кругом, лошади вязнут и бредут шагом, то яркое солнце светит, и глазам больно от

розоватого блеска снегов, от бесконечной сверкающей белой пелены, то, наконец, темная ночь нависнет, бредут далеко собаки, где-то огни горят, и скрипит длинный обоз по дороге.

Быстро сменяются впечатления, особенно работает ум. Пейзажи, непрерывно меняющиеся, разнообразные в самом однообразии; новые лица на каждой станции, мимолетные встречи и знакомства за стаканом чаю, за кружкой меда, за щами и говядиной... Петербург, любовь за спиною, а впереди родина, которую давно не видал, товарищи, полк, веселая, разгульная, бесшабашная казацкая жизнь.

Ни на минуту не остановился в Москве ординарец донского атамана, снял кивер, перекрестился на Иверскую, у Кремля помолился и поехал дальше.

То, да не то пошло за Москвой. Раздались поля больше вширь, часто стали по холмам и пригоркам сверкать макушки церквей, реже стали леса. И зима та, да не та. И холодно, а солнце будто ярче светит, больше согревает. Воздух будто легче, свежее.

День и ночь гнал ординарец, торопясь отвезти нужные бумаги в войско. Но устали молодые кости, захотелось вздохнуть, подышать свежим воздухом, поговорить хоть с проезжими. И случай к тому скоро представился.

На втором перегоне от Воронежа, на одной из глухих степных станций, за маленьким столиком сидел человек в вольном платье и пил чай. При входе хорунжего он поднялся, взглянул пристально ему в лицо и низко поклонился.

— Кажется, мы встречались? — сказал он, не совсем чисто выговаривая по-русски.

«Хоть убей — не помню», — подумал хорунжий, рассматривая лицо, покрытое веснушками, с бесцветными серыми глазами, с рыжеватыми усами и большой плешью на голове.

Коньков нерешительно подал руку. Вольный с чувством ее пожал.

— Конечно, встречались! — уверенно воскликнул незнакомец. — И даже скажу вам где: в Шестилавочной у Федора Карловича Клингеля... Помните, я играл в карты со стариком, а вы за барышней ухаживали. Славная девушка!

Прояснилось лицо у хорунжего, как вспомнилась ему чуткая и отзывчивая его невеста.

— Вы сильно торопитесь? — продолжал незнакомец.

— Я... нет... Видите, я ехал почти месяц день и ночь и вот утомился немного, башка трещит, хочу отдохнуть чуточку.

— Хороший план. Хотите закусить? Виноват, ваше имя и отчество?

— Петр Николаевич Коньков, хорунжий.

— Барон Иван Феликсович Вульф. Садитесь, у меня в погребце дивные вина есть, и все заграничные. Есть, правда, и медок липецкий, собака, а не мед. Вкус, чистота — кристалл.

Призадумался было хорунжий. Давно обещал он невесте не пить, да и Платов просил быть повоздержней, но трудно удержаться... С дороги пить хочется, а гость достал уже из погребца хрустальные рюмки, и прозрачное ароматичное вино льется в них.

— Здоровье Государя!

Чокнулись проезжие. Ожгло всего Конькова дивное вино. И захотелось выпить еще и еще, захотелось щегольнуть тем умением пить много и свободно, чем прельщал он всегда черкасских приятелей.

— Здоровье славного атамана Платова и всего великого войска Донского! — поднимая бокал, воодушевленно сказал он, и слезы выступили на глазах его, как вспомнил, что Платов сватов готов посылать за его невестой.

— Охотно, охотно пью за вашего знаменитого атамана. Не раз любовался я им, когда проезжал он во дворец... А теперь выпьем за прелестную Ольгу Федоровну Клингель!

«Ишь, собака, говорит-то как важно!» — подумал Коньков и залпом выпил бокал.

Что это? Никогда с ним того не бывало, чтобы с трех бокалов пьяным напиться. И вино-то будто бы не так чтобы очень крепкое. А между тем... Да, он пьян, он пьян, как свинья, пьян, как никогда еще не был, пьян до бесчувствия...

Лицо барона, сидящего против него, то принимает ужасающие размеры, то съеживается, и корчится, и смеется.

— Петр Николаевич, что с вами? Устали, видно, с дороги... Выпейте еще — это вас освежит и подкрепит.

С трудом поднес рюмку к устам казак, выпил и как сноп свалился на лавку.

— Ну-с,— проговорил барон с подленькой улыбкой,— «будем посмотреть» — так ли вы идеально исправны, как думает про вас ваш атаман и как говорит про вас кузина моего друга... Бедненький, — притворно-жалостливо произнес он, наклоняясь к недвижному казаку,— уж не умерли ли вы с перепоею... Не отвесил ли злодей аптекарь больше, чем нужно... Ах, как мне жаль вас! Однако и действовать пора...

Он расстегнул чекмень казака, стянул шаровары и сапоги, потом, сняв свое платье, аккуратно и бережно сложил его в головах у Конькова и, надевши его форму, стал ощупывать карманы. В шароварах нашел он кисет с несколькими золотыми, в чекмене надушенный платок с меткой О.К. и, разочаровавшись в своих поисках, хотел уже начать ощупывать казака, да схватился за кивер и на дне его заметил большой, аккуратно сложенный пакет.

— А, вон оно где! Теперь конец! — сказал он.— Нет, Берг умеет мстить! Это здесь, а что в Петербурге! И дурак же Платов, что с такими бумагами посылает юнцов. Через неделю Наполеон прочтет его планы относительно Дона и не оставит меня без награды.

И негодяй прищелкнул языком от удовольствия и даже подпрыгнул. Потом, надевши кивер и плащ, закрыв лицо по брови воротником, он вышел во двор.

— Лошадей!

Засуетились ямщики, зазвенели бубенцы, и самозванный хорунжий помчался в далекие степи.

Вошедший в станционную избу смотритель нашел там сильный беспорядок. Раскрытый погребец валялся на полу, на лавке, под образами, лежал недвижно бледный человек, а в головах его было сложено вольное платье.

«Что за притча такая! — подумал старик,— Лицо как будто у офицера такое было, а платье гражданское, да и офицер уехал давно. Чудно, со старческой слепоты, видно, мне так показалось... Ишь, бледный какой. Пьяный либо больной. Не дышит совсем. Плохо дело».

Смотритель нагнулся к молодому человеку, и действительно он не дышал. В ужасе, что на его станции совершено преступление, кинулся он вон из избы, распространяя по хутору весть, что приезжий барон умер и неизвестно от чего.

Вскоре вся комната, где лежал Коньков, начала наполняться народом...

VII

...Но что будут делать офицеры, не имеющие понятия о планах и не умеющие обращаться с ними, да и часы, по бедности наших офицеров, немногие могут купить...

Записки атамана Денисова.

Русская Старина. Т. XI

Наступил март месяц. Весна стала по Дону. Широкой полосой разлился он по балкам, затопил Старочеркасскую станицу и зашныряли по ней челноки, развозя казаков по улицам, словно гондолы в Венеции, зато в Новочеркасске — сухо и пыль даже показалась. Зеркальным озером стал разлив кругом, отразились в нем дома и деревья, и как острова стали одинокие хаты упрямых старочеркасцев. «Да, — соглашались передовые казаки, — прав наш атаман, что увел столицу нашу с родного пепелища, но почему поставил нас здесь, на безлюдном холме, далеко от кормильца Дона, далеко от богатого моря. Почему не в Ростовской бухте, а здесь вот, вдали от торговых дорог, должен стать первый город Донского войска? Ведь затмят его своей торговлей Ростов и Таганрог, станут богаче его, и только собором, атаманским дворцом да присутственными местами будет выделяться Новочеркасск перед другими городами всевеликого войска Донского»...

Неужели правда, чтобы стать ближе к Мишкину, где пасутся атаманские табуны и разрастается сад атаманский?

Хоть и упорно носится слух этот по Новочеркасску, но не вяжется как-то представление о преследовании личных интересов с величавым, могучим образом героя-атамана.

Скорее, по глупости, по недальновидности, но неужели Платов глуп? Как может быть глупым человек, из простого казака ставший атаманом войска Донского! Как можно заподозрить в недальновидности человека, остроумием и хитростью которого восхищается вся Европа! Одно говорило в его пользу — это что два века разоряли ежегодные наводнения старочеркасцев, а только Платов рискнул перетянуть казаков с насиженных гнезд. Один он не сробел поселить донцов на новом месте, не рассуждая, удобно оно или нет! Разве для этого не надо ума? Но почему же тогда выбран для столицы этот холм, окружаемый жалкими Аксаем и Тузловом, которые несудоходны, а в летнее, жаркое время и совсем высыхают? Почему силком сгоняли

туда казаков? Почему прекратили землекопные работы, которые оградили бы Старочеркасск от постоянных весенних наводнений, а стоили бы дешевле, чем перенесение города на новое место?!

Все эти вопросы волновали черкасское общество не менее, чем надвигавшаяся война. Казаки все еще лелеяли мечты, что поставят столицу у устья Аксая, при Доне, где было и возвышенное, и бойкое место, все думали, что Платов «поблажит» и оставит свою мечту — и по-старому центр войска будет в Старочеркасске, где был он почти двести лет. И неохотно строились казаки по Тузову и Аксаю, неохотно подчинялись они требованиям новой, правильной разбивки домов, улиц и переулков...

Немногие поняли идею великого атамана.

Понял Зазерсков, генерал-майор Иловайский понял, поняли еще некоторые люди старого закала.

Не любил Платов ни «письменюг», не любил торговых казаков. С грустью видел он, как год от года плошают казаки, мельчают кони и богатырская потеха — охота и кулачные бои — отходят в область преданий. Конскими ристалищами, своими атаманскими охотами, борьбой против всего регулярного, солдатского, наконец, перенесением города в уединенное место, где ничто не соблазняло бы и не совращало казаков, пытался Платов вернуть казакам их старинную лихость, их вековую любовь к приключениям, поискам и походам, их любовь к военной славе, к коню, не кормильцу-пахотнику, а боевому товарищу...

Но не в силах, не во власти Платова было дать казакам арену для воинских потех. Русь-матушка в могучем росте захватила в мощные объятия свои и Кубань-реку, и крымские степи, и строго запретила донцам шалить по Волге да по Синему и Хвалынскому морям.

Анахронизмом являлись поиски и набег. Ермака наградили царством сибирским, а Емельян Пугачев и Кондратий Булавин, которым тоже «не было от силушки их моченьки», — нашли бесславную смерть на плахе.

Не в Новочеркасск надо было переносить донскую столицу, а выводить все войско Донское на Аму-Дарью или на Амур, чтобы поставить их там пионерами русской цивилизации, охранителями русских интересов и русской силы. Но войны, с одной стороны, а с другой — слишком большая ответственность не дали развиваться в мозгу Пла-

това этой идее, и мечтал он уединением столицы отдалить ту минуту, когда казак обратится в мужика!

Наполеоновские войны, вся эта бранная эпоха начала XIX века, дали возможность казакам доказать всему миру, что они достойны уважения, достойны любви к себе и забот...

Тяжела была весна 1812 года для всего донского казачества. Каждый день прибегали от Платова курьеры с предписаниями готовиться к походу на Неман.

Кряхтя и охая, садились старые полковники, ветераны екатерининских войн, на косматых маштачков и комплектовали полки.

По всем станицам шло оживление. Полковники, согласно получаемым инструкциям, требовали однообразной и форменной одежды. Чекмени должны были быть у всех синие, однобортные, застегнутые на крючки, чакчиры того же сукна с широким лампасом, кивера барашковые с длинным цветным шлыком и этишкетом. Цвет шлыка, лампаса и выпушек на рукавах и воротниках должен был быть по полкам — красный, желтый, оранжевый и лиловый... Пики должны были быть красные, сабли одинаковые, ружья кремневые, драгунского образца.

Так требовали полковники, но требования их оказывались «гласом вопиющего в пустыне», и на смотрах полк горел как маков цвет. Попадались желтые, красные мундиры, попадались мундиры иностранных полков, в минувшие войны отбитые у врагов...

Иные щеголяли в черкесках, иные надевали короткие гусарские куртки, были и высокие и маленькие сапоги, были даже просто валенки. Рядом с кровными арабами, турецкими и персидскими конями стояли свои, доморощенные коняки, косматые, толстомордые и грустные.

Офицеры, да что офицеры, сами полковники не знали команд. Одни командовали: «С Богом! Ступай!», другие: «Ну, трогай!», третьи по-регулярному: «Марш»... Урядников опытных, бывалых было мало. Зато среди безусой молодежи много было бородачей, уже смотавшихся в седьмом году на Неман, много было людей, знавших Дунай не хуже Дона и на практике изучивших артиллерию и фортификацию. Зато попадались такие люди, что без компаса находили страны света: восход, закат, сивер и полудень, что с первого слова запоминали и повторяли, не коверкая, даже такие мудреные слова, как: Мариенвердер,

Фалькенштейн, Фридрихсгафен и пр., что чистым французским языком спрашивали: «*Qui vive?*»* и спокойно отвечали «*soldat*»**, что на карьере шашкой разрубали барана, а пикой попадали в брошенный пятачок и без прома-ху стреляли.

С одеждой и амуницией хлопот было много. Войсковая канцелярия, вняв воплям полковников, доставила ленчики, кожу, сукно всех нужных цветов, мерлушку, дало на руки полковым командирам и деньги, но мастеров... не дало.

Кто помоложе — смутился. «Письменюга» Каргин, полвека просидевший за книгами, а с 1805 года бывший учителем в Новочеркасском окружном училище, и совсем растерялся. Туда, сюда, тыц-мыц — ничего не поделаешь. Сукном завалена вся канцелярия, полковой писарь ежедневно пишет приказы, которых никто не читает, щепы сохнут в амбаре, а казаки пьянствуют на станичном майдане. Совсем закрутилась голова у бедного «письменного» человека.

И совета спросить не у кого. Сосед Сипаев злейший враг его — разве пойдешь к нему за советом?!

Но не в характере казака оставлять товарища в беде.

Поздним мартовским вечером, когда туман навис над черной грязной степью, зашлепали конские копыта под окнами каргинской избы, раздался суровый голос: «Поддержи лошадь», застучал в сенях кто-то тяжелыми сапогами, отряхивая степную грязь, что комьями поналипла на голенища, дверь отворилась, и в комнату вошел Сипаев.

Каргин сидел в расстегнутом чекмене и что-то писал. Нехотя встал он и застегнулся. Он понимал дисциплину и помнил, что Сипаев был старший.

— Ну, пан полковник, бросим вражду; дулись, сердились, бранил ты меня, корил взяточничеством да грабежами попрекал — Бог тебе судья.

— Я ведь и ошибиться мог, Алексей Николаевич. «*Errare humanum est*»***,— говорит латинская поговорка, «несть человек, иже умрет и не согрешит»,— сказано в Писании. Прости мне на милость.

— Я не сержусь. Как с полком?

— Плохо, Алексей Николаевич. Никак не управлюсь. С войска выдали голые щепы, а у казаков седел нет..

* Кто идет? (*фр.*)

** Солдат (*фр.*).

*** Человеку свойственно ошибаться (*лат.*).

Сукно получено — чекмени некому делать отдать. Давать швальнистам на сторону дорого, да и когда-то управятся они. А тут через месяц идти к Гродну, да к маю там быть — сам Платов смотреть будет, а ты сам знаешь, что он за человек. Живо подтянет, коли что не так.

— Кабы через месяц идти — не пришел бы я к тебе вызволять тебя из беды, еще бы посмотрел, как ты «письменный» свой ум напрягаешь... А то через две недели поход, а в две недели тебе, видит Бог, не управиться одному.

— Как через две недели?

— А так. Очень просто. Получен приказ.

— Да как же? Ведь сказывали, в середине апреля...

— Ну, а теперь сказали — в конце марта.

— Но ведь я ни одного ученья не успею сделать?! — в отчаянии, хватаясь за голову, воскликнул Каргин.

— И не надо!

— Боже мой! Ты шутишь?.. Как же не надо?!

— А так. Очень просто. Ну, слушай. Ты только хозяйство справь, а там не беспокойся — полк сам собою будет не хуже других.

— Станный ты человек. Само собою ничто, кажись, на белом свете не делается!

— Ну, вот. Ребенок — раз.. Ты его и не хочешь, да он у бабы родится, а казачий полк — два. Как по щучьему велению сформируется.

— Эх, не до шуток мне, Алексей Николаевич!

— Да я и не шучу. Ну, утро вечера мудренее. Вижу, совсем раскис человек. Прикажи ты мне постель сделать, коня прибрать, казака моего покормить да вечерять готовить. Да покличь сюда сотенных да вахмистров...

— Но у меня нет сотенных.

— Как нет?! Ведь есть же старые казаки, есть офицеры войска Донского?

— Есть-то есть. Да молоды очень. Все мне юнцы попались — пятнадцати да восемнадцати лет — все хорунжие, первый раз в полку.

— И ни одного старого?

— Есть один.

— Кто?

— А знаешь — есаул Зюзин.

— Ну, знаю. Где же он?

— Он при канцелярии.

— Напрасно. Его перед строй. С хорунжими твоими дядьки из старых казаков наверное есть?

— Кажется, есть.

— Кажется... Я тебе говорю — наверное есть. Какой же отец, какая мать юношу-сына отпустит на войну без провожатого — старого, бывалого казака.

— Так толку-то что из этого?

— Как что? Неужели, «письменный» ты человек, не сообразил еще?

— Эх, брат. Голова кругом. С книгами-то много легче.

— Вот то-то оно и есть. Иной раз добычу возьмешь, так не даром же? не зря? А за труды праведные — так полагаю?... Ну, слушай: завтра дядек вместе попытаем, да у кого дядька поопытней, тем и сотни давай. В два месяца, да особенно коли война будет, не узнаешь свою молодежь — любо-дорого посмотреть будет.

— А обмундирование, а снаряжение?... — оживая, спросил Каргин.

— И это придет. Подожди. Вот нам водочку подали, вот и таранька, а после езды-то по этой гадости важно пьется...

— Ну, на здоровье. Не обессудь на плохом угощении.

— А что угощение! Саме казачье. Водочка да рыбка, чего же еще больше.

— Постой, и бараний бок с кашей подадут.

— Ну, чего ж лучше. Спасибо. А завтра чуть свет за работу. Не вру — доволен будешь и увидишь, как все легко делать с этим народом. Да, брат! Казаки ведь — не солдаты! Понял ты-то аль нет?

После ужина Сипаев лег на Сеннике, приготовленном для него, и заснул крепким, здоровым сном усталого, измаявшегося за день человека, а Каргин почти до утра ворочался на постелии думал он, что устроится его полк, и не верилось ему в возможность что-нибудь сделать с этим пьяным сбродом.

Чуть брезжил свет и станица спала крепким сном, когда по улице побежали урядники, а за ними и молодые безусые хорунжие, громко крича: «Которые люди Каргина полка, выходи, пешки, на майдан и становися в две линии».

Зашевелилась станица, потянулись люди по грязной дороге, и вскоре шестьсот человек стали в две шеренги на майдане против москалева кабака. Иные, не проспавшиеся

после вчерашней выпивки казаки стали сзади, пряча всклокоченные волосы и опухшие лица за спинами товарищей односумов.

Хорунжие стали впереди, и сзади каждого, шагах в трех, расположились пестуны — старые казаки с крестами за Браилов, Фридланд, финляндский поход и даже за Измаил. Сановито глядели суровые старцы, выпятив грудь, увешанную медалями, и зорко следили за панычами, чтобы все у них было по форме и в аккурате.

Ведь на станице сказывали: приехал к Сипаеву бригадный половник, дюже сердитый, — вестовой его вечером в кабаке говорил, что в полку их народу немало перепорол, да что еще дальше будет...

Стоном стонала станичная площадь от тысячи голосов, которые кричали и перебивали друг друга, передавая свои впечатления. Грязные губастые лица, в киверах и папах, были оживлены, и во многих углах спор грозил перейти в драку.

В это время вдали показались две фигуры: одна высокая, статная, другая чуть сгорбленная, не имевшая воинской выправки. Серебряное дорогое шитье так и сверкало при бледных утренних лучах, и донские полковники, медленно вытягивая ноги из грязи, подвигались по улице.

— Замолчи, честная станица! — крикнул, выходя вперед, старый лысый есаул со многими медалями и крестами, и дребезжащий, звонкий голос его разнесся по всему майдану.

Шум перекатился, подобно волне, крикнуло еще два-три голоса, кто-то кому-то угодил кулаком по ребрам, раздалось ругательство, вздох, а потом голоса стихли.

Мертвая тишина воцарилась на площади; казаки повернули головы в сторону полковников и зорко оглядывали приезжего Сипасва.

А он спокойно, будто и не для него сделалась эта тишина по майдану, будто и не ему командовали: «Смирно», шел рядом с трепетавшим от непривычного вида строя Каргиным и продолжал свою беседу. Дойдя до середины строя, он снял кивер, поклонился казакам в пояс и зычно крикнул:

— Здорово, атаманы-молодцы!

Все старые дружно ответили «здравия желаем, ваше высокоблагородие», молодые чуть призамялись.

Пройдясь вдоль фронта и зорко поглядывая на казаков, Сипаев узнавал многих ветеранов

— Что ж не со мной? — обратился он к высокому, как коломенская верста, казаку. — Ведь в Финляндии со мною был.

— Не довелось, ваше высокоблагородие. Как ваш полк-от откомплектовали, я больной в те поры лежал. Оправился, а меня к ним записали.

— Ну, выйди вперед. Ты хороший казак — будь урядником.

— Покорно благодарю.

Пройдя до конца строя, Сипаев познакомился с хорунжими, оглядел их дядек, спросил, кто какого роду, и по дядькам да по старым кумовским знакомствам роздал им сотни, полусотни и десятки. Собрав дядек отдельно, он погрозил кулаком этим заслуженным старикам и сказал:

— Смотри, ребята, коли ежели что не как-либо что, а что-либо как — заporю! Ей-Богу, не посмотрю, какие на ком регалии, а заporю, и все!

— Постараемся, ваше высокоблагородие! — в один голос ответили пестуны.

Потом началась разверстка сотен. В сотню шли земляки-одноланишники, во взводы, десятки и звенья — казаки-односумы, что одной сумой пользовались, что из одного котла хлеб, соль ели. Разверстав сотни, Сипаев приказал полковому писарю и офицеру, которого наименовал «квартирмейстером», поделить сукно и щепы поровну на пять частей, по числу сотен, вызвал в каждой сотне шорников, седельников, портных и чеботарей — оказалось, что под мощным влиянием гулко-го голоса, что звенел и переливался по майдану, добрых две трети вчерашних пьяниц оказались прекрасными ремесленниками.

— Господа сотенные командиры, задайте работу, — обратился Сипаев к хорунжим.

— Да они ничего не умеют еще! — сказал было Каргин, но полковник перебил его.

— Ничего ты не знаешь, не порочь свое офицерство! Они прекрасные служаки.

Хорунжие, сопровождаемые пестунами, разошлись по сотням. Сотни обступили их кругом, и каждый как умел держал к ним речь, увещая служить как возможно лучше и не оставлять их, своих начальников, в трудные минуты.

— Постараемся, постараемся! Будьте благонадежны! — кричали казаки.

По окончании речи выступили вперед седовласые дядьки и начали толковать с мастерами.

— Да ты шил ли когда-нибудь, Мохамед несчастный? — спрашивал, шипя беззубым ртом, пестун.

— Шил, дяденька Иван Егорыч, я знатно шил. Малолеткой у немецкого портного обучался, — дребезжал молодой голос.

А в другом углу слышались восклицания:

— Ты приструги-то так не накладай — оно этак-то поспособней будет. Постой, я зараз покажу — на, гляди — во как!

— Ага! Ладно, смекаю. Оно из-под исподи надоть. Ну, ладно. И этак можно, нам все единственно!

— Ну, нам больше нечего делать, — сказал Сипаев, обращаясь к Каргину. — Пойдем обедать, уже время. А после обеда лошадок посмотрим да оружие. — И, обращаясь к казакам, он громко крикнул: — Замолчи, честная станица!

Опять не сразу смолкло. Где-то урядник толкнул легонько в зубы. «Ишь, заболталась, сорока!» — сказал сердито помощник сотенного, кто-то еще звонко выкликнул: «Подборы не дюже!» — и площадь затихла.

— Атаманы-молодцы, послушайте! Зараз пойдете на обед, а после обеда ведите коней показывать на обротке и неси всяк свою справу.

— Слушаем, ваше высокоблагородие! — гулко ответили казаки.

Закипела работа в полку. Вчерашних пьяниц узнать нельзя было. Тут строгаи, там шили, мяли кожи, резали ремни, станичная кузница бойко работала стремяна, откуда-то появились дорогие кавказские, серебром набранные уздечки, мундиры шились чуть не по мундиру в день, и крепко и прочно шились, домашние зипуны и пашетуки укладывались в седельные подушки на время похода. Сипаев уехал, осыпaeмый благодарностями Каргина, а в полку кипела работа, и вчерашний забитый, не знавший, за что и как приняться «письменюга» поднял голову и только покрикивал, разгуливая по мастерским да указывая, что так, что не этак.

И, к несказанному удивлению Каргина, под руководством пятнадцатилетних сотенных командиров да урядников, полк в две недели обшилсЯ по форме, по форме остригся, снабдился седлами и оружием и совсем готов был к походу.

Накануне выступления к Каргину опять заехал Сипаев. Каргин не знал, куда его усадить, чем угостить. Но это был

не прежний забитый Каргин, у него и тембр голоса был не тот, он не унижался так перед своим благодетелем.

— Ну, брат, как вести думаешь? — спросил Каргина старый полковник.

Каргин живо достал из сундука недавно выписанную из картмейстерской части карту и показал на дорогу.

— Вот по этой дороге. Высылаю авангард на три версты: впереди головной отряд, сзади — тыльный.

— У, мучитель! Ну зачем так? Что, разве война у нас? враг кругом?.. Пойдешь всем полком, ну, как ты в это тяжелое раннее время прокормишь и людей и лошадей? Где тебе столько фуража дадут?

— А как же?

— Веди по звеньям. Собери полк и скажи: к первому апреля быть в Белостокской области у Добровольщины — вот и все. А там будь без сомнения — урядники и бывалые казаки и без тебя все, что надо, сделают. И в раз придут куда надо. Тут у них и сметка выработается, и как раза два поголодают, научатся, как и с жителем обращаться, где силком брать, где хитрецей, где просьбой, а где и купить надо. Весь полк деревня не прокормит, а десять, пятнадцать человек с удовольствием примет. Обещай им, что кто в срок в Добровольщину не прибудет — запороть до смерти. Будь спокоен — такая смекалка явится, что без компаса и без ландкарты добредет куда надо. Для проверки назначь несколько пунктов. Да пускай не всех сразу, а по сотне, по две в день.

— А не разбегутся? — боязно спросил Каргин.

— Ах ты, письменюга, и впрямь письменюга! Ну, были ли пример, чтобы казак со службы бежал? И русского-то беглого на деревне не ахти как примут, а казака и совсем со свету сживут. Ну, прощай! Смотри не мудри, больше свободы: казаки у тебя — не солдаты!

— Ну, бывай здоровенек! Спасибо на добром совете.

— Не на чем.

Полковники расстались.

И на другоой день потянулись «партии» Каргинского полка, от селенья до селенья, питаясь чем Бог пошлет, как птицы небесные, не имея ни провиантских, ни фуражных денег, но довольствуясь «от жителей, а жители, по свойственному русским гостеприимству, радостно принимали казака в свою хату, слушали его замысловатые, фантастические рассказы про горы «высоченные и страшные», что

доводилось им проходить, про горы «игольные и сахарные», откуда сахар везут, про белую арапию и двуголовых людей, про колдунов и чертей. Иная заслушавшаяся хозяйка и не замечала, как чисто вылизанная после щей ложка исчезала в голенище высокого сапога, а торбочка с овсом, заготовленная к посеву, ссыпалась в кормушку добру коню... Благословениями и добрыми пожеланиями провожали казаков при отъезде, и проклятия сыпались на чубастые головы, когда на другой день оказывался недостаток взятых на память вещей.

И так стекались к границе Варшавского герцогства пятьдесят полков, сила с лишком в девяносто пять тысяч человек и лошадей...

VIII

— Ну, наварила на Маланьину свадьбу...

Старая казачья поговорка

Всякого человека, приезжавшего в эту пору в Черкасск из Петербурга, встречали бесконечными расспросами, что говорят о войне, о Наполеоне, да точно ли правда, что не объявили еще войны, может, дерутся уже давно, да нарочно про то не пишут. Правда ли, что комета может зажечь землю, и верно ли, что в Петербурге образовалась новая вера, к которой многие важные персоны пристали, и поклоняются мертвой голове и треугольнику. Брешут или точно говорят еще и про то, что питерские по-русски не говорят и Наполеону подносят адрес и изменяют России; летал ли Наполеон в Париже на особой машине на манер мыльного пузыря и правда ли, что у нас нет главнокомандующего?

Таковыми праздными вопросами был осыпан, между прочим, и штабс-ротмистр лейб-казачьего полка Рогов, прибывший за сменной командой из Петербурга.

Молодой штабс-ротмистр являлся в Черкасске персоной и отлично понимал это. Он носил узкие чакчиры, на манер регулярных, красный мундир, особенно подкручивал усы и брил бороду так же, как брил ее Император Александр, оставляя небольшие баки. Но quod licet Jovi,

non licet bovi *, и донские старики и старухи косо смотрели на российское брадобрейство и вычурные манеры штабс-ротмистра.

Рогов держал себя очень важно. Армейским офицерам он подавал два пальца, а иных удостаивал только кивком головы. Кое-кого из не ушедших еще с полком атаманцев он почтил своим посещением, но больше пребывал в домах знати, где водились хорошенькие дочки с большим прилагательным.

В сущности, Рогов был добрый малый и вовсе не фат, но такова натура человека. Забалуи его судьба, и он сам нос задерет, а в Черкасске как-никак он был первым кавалером...

Старые полковники и есаулы, которые могли сделать ему некоторое «ассаже», были при полках, на походе и на границе. Иные уже растягивали свои полки кордоном от Суража до Добровольщизны, самые старые не пользовались большим авторитетом в глазах Рогова, называвшего их старым хламом, а зеленая молодежь восторгалась его манерами и спешила их перенимать и запоминать его выражения.

К величайшему несчастью молодого Каргина, так и не ушедшего по вялости характера на службу в полк, лейб-казачий штабс-ротмистр постоянно торчал в доме Сипаева, и увлекающаяся Маруся Сипаева не могла отвести восторженных глаз с гвардейского казака. Уже одно то, как он говорил «*mademoiselle*», утворя «*l*», приводило ее в сладостный трепет, и нежные усы и сладкие разговоры Каргина бледнели перед длинными надушенными усами Рогова и его красивой болтовней.

Каргин охал и вздыхал, бросал красноречивые взгляды на Марусю, но она не замечала или не хотела заметить, как бледнел и худел молодой казак.

Благодаря присутствию Рогова, в доме Сипаевых было много гостей, и Николай Петрович даже объяснить не мог с жестокой Марусей.

— Ну, что атаман? — спрашивали Рогова как-то под вечер.

— Атаман?! Да, атаман... атаман ничего. Ездит во дворец. Кажется, будет назначен начальником легких войск. В большом фаворе у вдовствующей императрицы, побил у нее всю посуду.

— Как так?

* Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку (*лат.*).

— Саблицей своей двинул, ну и побил.

— Ах ты, Боже мой милостивый! — с ужасом всплеснула руками Марусина тетка, старуха Анна Сергеевна. — Ну и что же?

— Ничего. Как ни в чем не бывало! Сказал только: «Казак чего не возьмет, то разобьет» — и все.

— Экий молодец! — воскликнула Анна Сергеевна.

— Мужик просто! — сквозь зубы процедил Рогов.

— Находчивость-то какая! Просто прелесть! — не унималась старуха, грызя тыквенные семечки и сплевывая их в тарелку. — Ну, а что племян мой, Петя, поделывает?

— Коньков-то?

— Ну да. Ординарец-то платовский. Молодчина казак. Поди-ка, расту-то в нем теперь — косая сажень! А глаза такие зеленые! Любло молодца — проскакать ли с джигитовкой, стрельнуть — это первое дело! И до девок неохоч, настоящий казачина!

— Неохоч? Ой ли, тетенька, восхищаетесь племянником зря... В немку, слышать, влюбился.

— В немку... Ой, врешь? Испытуешь? Грех тебе Петеньку моего обижать!

— Зачем мне обманывать, parole d'honneur *, влюблен в немку-балетчицу...

— Это что за слово такое? — быстро, с тревогой спросила старуха. — Не слыхала никогда.

— Как бы вам объяснить попонятней. Ну вот что на святках голые пляшут перед народом.

— Господи Боже мой! С нами крестная сила! Да неужели же есть в Питере такие срамницы!

— Есть, тетушка. Петя-то ваш и влюбись в такую да предложение ей сделай!

— Да неужто предложение! Атаман-то, старый дурак, чего смотрел!

— Атаман сам сватом, слышно, будет.

— Сватом. Это за голую-то девку?

— Ну, тетушка, зачем так. Ведь он не век голая ходит, дома-то наряжается, как и вы!

— Кубелек ** носит? Да?!

— Ну зачем непременно кубелек. В Санкт-Петербурге вы кубелька и за сто рублей не сыщете.

* Честное слово (*фр.*).

** К у б е л е к — национальный головной убор. (*Авт.*)

— Ну а все-таки, как она? Не совсем путаная? А? Девичий стыд не потеряла? А? Матушку-то свою выведет со стыда? После свадьбы-то в обед, как дело будет? Вы, девушки, не слушайте — у вас ули золотом должны быть завешаны.

Как маков цвет зарделась Маруся, хотя и не много поняла из быстрых, сбивчивых расспросов Анны Сергеевны.

— Не знаю... Не думаю. Я с ее двоюродным братцем знаком. Бергом прозывается, он в сенате служит, так он мне сказывал, что ее и не принимают нигде. Совестно такую шельму, значит, и родственницей объявить.

— Ах, Петя, Петя! Родной мой, вот оно что значит, без отца-то да без матери быть да в Вавилон этот проклятый попасть! Слушай, Маруся, отпиши ты ему, непутевому моему, весточку, что нет ему тетушкиного благословения на брак с этой ба... бар... бил... тьфу, черт ее — не запомню.

— Балетчицей! — подсказал Рогов.

— Я-то неграмотна. В наше время девок так не держали, чтобы музыку, да книжки, да с казаками гулять, ну, зато и греха ни одна на себя до брака не брала! А нынче-то! Эх, правда, видно, конец века приходит!

— А дозвольте вас спросить, — вдруг раздался из угла густой бас соборного протодиакона, до сей поры мирно дремавшего в углу, — таким девицам нет отлучения от церкви? Или, может, их анафеме предают за таковое неблагоразумное поведение?

— За что же, отец диакон, ведь Сам Христос простил блудницу?

— Лжеучение и ересь. То блудница, а то... — диакон замялся и, чтобы переменить разговор, спросил о столице: — А что Санкт-Петербург большого размера будет град?

— Немалого, отец диакон. Станиц наших с сотню вместе, а то и более.

— Ну?! — с сомнением протянул диакон. — А река, Невою прозываемая, много хуже Дона будет?

— Лучше, отец диакон, шире и глубже.

Пуще прежнего засопел недовольно диакон. Помолчал немного и продолжал:

— А Государя Императора Александра Павловича изволили лицезреть?

— Сколько раз видал, отец диакон, и во дворце да и так.

— И благочестивейшую Государыню Императрицу Елизавету Алексеевну тоже изволили наблюдать?

— Видал и Государыню-матушку нашу.

— И весь царствующий дом и святейший правительствующий синод тоже видали?

— Видал, видал,— небрежно кинул в ответ любопытному диакону Рогов и отошел к Марусе.

Вся так и зарделась она при виде петербургского гостя. И о чем говорить и как говорить, не знает. Однако не показать же ей этого, не признать же, что Дон хуже Петербурга.

— Очень вы восхваляете Петербург, поди-ка там и девушки лучше наших. С нами, деревенскими дурами, вам и говорить не захочется.

— К чему так, Марья Алексеевна? Есть в Петербурге славные девушки, но у нас на Дону они много лучше.

— То-то хорошие. Это что неприбранные в балетах пляшут. Срамно просто слушать, что говорите такое...

Услыхал Каргин, что не очень-то ласкова с гостем Маруся, и подсел поближе. А то раньше все у притолоки больше жался.

— Бывают, конечно, всякие...— промолвил штабс-ротмистр и покосился на Каргина. «Семинар, верно,— подумал он.— Еще, поди, из духовного звания. Пожалуй, тоже выпрашивать станет, видал ли я святейший правительствующий синод! Ну народ!»

— А скажите, пожалуйста, monsieur Рогов, что же поделывает теперь Коньков, он мой хороший приятель? — обратился Каргин к штабс-ротмистру.

— Что?.. Он поехал сюда... Да, именно... сюда, на Дон. Мне сказывал Берг, с ним что-то случилось. Проиграл казенные деньги, запил ли где, не знаю. Только что-то грязное, нехорошее. Вообще, знаете, парочка вышла бы хоть куда.

— Ну полно, полно, бреши, бреши, да зачем поклеп-то взводить на невинного человека,— перебила его тетушка Анна Сергеевна.

— Ей-Богу, тетя, так. Отлично помню, Берг мне говорил так. Да и почему же его до сих пор нет здесь? Он гораздо раньше меня уехал из Петербурга и уехал по курьерской подорожной.

— Так что случилось, вероятно. Но чтобы Петя Коньков проиграл казенные деньги или пьян был, да

я никогда тому не поверю. Помилуй Господи! Он такой честный и правильный казак.

— Не знаю, тетя. Берг...

— Немчура, одно слово. Немцу выгодно клепать на казака. Ну, увлечься девицей он мог! Что же, былъ молодцу не в укор. Да точно ли девица такая плохая! Не верится, чтобы к гулящей бабе Матвей Иванович сватов для своего казака, а пуще того — для ординарца своего засылать стал. Полно. Тоже сказано: не всякому слуху верь!

— Как хотите, тетя! Мне-то ведь все одно,— равнодушно протянул Рогов.

— Как все одно,— зашипела старуха.— Стыдись, сын мой, так говорить! Все одно! Как может это быть так?! Ведь ты донской казак и он донской казак. Значит, заступиться ты за него должен был. Сказать этому Бергу-то — не ври, немец проклятый, твоего короля Бонапарт съел, так ты клепать на казака вздумал, подлая тварь... Вот твой ответ должен был быть каков! Не зря же говорит пословица: «Казак казака видит издалека!» Бедный Петрусь, где-то он теперь!..

С минуту все молчали. Рогов из печатных пряников сложил слово: «Люблю», показал Марусе и быстро смешал их. Вспыхнула Маруся, слезы показались на ее серых глазах.

Каргин тоже видал это. Встал он из-за стола и вышел из комнаты. Слезы душили его. Ему хотелось плакать и рыдать без конца. О чем плакать? О том, что он не служилый казак, что нет у него формы красивой, что не смел он говорить при народе, что робок и застенчив он был, как красная девушка?

Терзался он теперь о потерянном счастье, о Марусе, которую так трудно было привлечь к себе и которую он безвозвратно потерял.

А Маруся смеялась в ответ на шутки Рогова, на бойкий, остроумный рассказ его про столичную жизнь, и забыла она своего старого друга, Николая Каргина.

«Недурна бабенка,— думал тем временем Рогов,— нет, петербургским куда до нее, далеко. Формы какие! Свежесть лица. Стан настоящий казачий. Ну и табуны, что бродят по Манычской степи, село Высокое, густо населенное крепостными малороссами, с выборным старостой, республика французская в миниатюре, это тоже невредно будет похудевшему роговскому карману».

IX

В поле то было, в полюшке,
Во широком было раздольице.
Не сизые орлы солетались —
Два братца родимые съезжались.
Они родною роднею сознавались,
Белыми руками обнимались,
Горячей слезой заливались..

Старая казачья песня

- Ну! Ну! Ожги! Ой-ох!.. Важно! Акимов!
- Нет, Акимов не допустит — увертливый казак.
- Глянь-ко еще.
- Ишь, славно бацнуло.
- Просите, братцы, лучше пардону
- Эй, Пастухов, проиграешь!
- У, дура баба, сам подвернулся.

И опять жжж, жжж... Словно пчела жужжит. Громадное поле, насколько глаз может видеть, уставлено кострами казачьих пик, ружьями, лошадьми на привязях и покрыто казаками. Здесь кучкой, там шеренгой, тут поодиночке, а где немолчно идет жужжание — там большой толпой кругом, впереди пик, впереди лошадей.

Там атаманцы в «жука» играют.

Белокурый, худощавый, стройный и гибкий Акимов стоит, расставив ноги на полтора шага. В пояснице он полусогнулся, руки сложены ладонями вместе и поднесены ко рту, он, не сходя с места, так и юлит корпусом, издавая при этом жужжание на манер пчелиного и то приподымаясь, то опускаясь и склоняясь чуть не до самой земли — он «жучок». Партнеры его стоят справа и слева, тоже на расставленных ногах. Правый, высокий, черноволосый Пастухов с молодыми усами, касается своей левой ногой правой ноги Акимова, левый, Панфилов, касается своей правой ногой левой ноги «жучка». Руки у них на свободе, и ими они усиливаются ударить «жучка» по щеке. Но «жучок» не дается: чуть только взмахнет рукой Пастухов, Акимов уже склонился низко-низко и жужжит под самым ухом Панфилова. Норовит Панфилов ударить — Акимов жужжит Пастухову. А сам то и дело то левой, то правой рукой бьет по щекам своих партнеров — не зевай, значит У Панфилова щека уже припухать стала от мощных ударов «жучка».

Толпа кругом разношерстная. Тут и красавцы-атаманцы в синих мундирах, щеголеватые и выправленные, и армейские казаки полков Луковкина, Каргина, Иловайского, Карпова и других в цветных шлыках и лампасах, в домашних пашетуках и зипунах, и башкиры в рысьих шапках, и симферопольские татары в остроконечных, обшитых мехом шапчонках, и тептеры * в длинных полосатых халатах с луками и колчанами. Красивые губастые донцы выдвинулись вперед, а позади них видны косые глаза и желтые лица татар и башкир. При каждом ловком ударе лицо Акимова хитро улыбается и торжественно звучит жужжание, но зато кисло выглядит лик проигравшего — в толпе всякий раз хохот

— Ох-хо, хо, хо, хо! — грохочут донские и атаманские громче всех, на басовых нотках.

— И-их, хи, хи, хи! — сипло заливаются татары и калмыки, и по желтым их лицам от удовольствия струится пахучий пот. Круг незаметно сдвигается тесный, задние напирают на передних, передние подаются вперед.

— Ну-ка, Акимов, еще! Э-эх, ловкий парень!

— Что, брат, Пастухов? «Видно, звонил кобель к заутрене, да оборвался!» **

Мрачно глядит Пастухов на сострившего.

— Не, братцы, бросьте. Иде же вам с Акимовым сладить. Они ж — до всего дотошны!

В толпе раздается дружный хохот.

— То-то остри. «О святках свинью запрягали да в гости ездили!»

— Сказал тоже!

— И-их, братцы мои. Акимов ладно бьет. Кабы француза так-то!

— То-то! Француз, он, братцы мои, подюжей будет, нежли Панфилов.

— Подюжей? Ой ли? А не брешешь?

— И брешет, наверно! Француз — он перво на бульоне воспитан, а второ в детстве их в оранжерее держат, ровно цветы у нашего генерала.

— Фастаешь! *** У вашего генерала, окромя куста шиповника да бальзаминуса, ничего и нет!

* Тептеры — стрелки-лучники.

** Каждая станица на Дону дразнится особой поговоркой. Сказать ее станичнику — сильно обидеть его (Авт.)

*** Хвастаешь. (Авт.)

— Ну ладно...

— Посторонись, посторонись! — раздаются голоса сзади, и в толпу протискивается несколько донских офицеров. Игра идет своим чередом.

— Ну, довольно! — кричит атаманский сотник. — Ишь Панфилова-то как обработал.

— Да я бы, ваше благородие, — говорит весь мокрый от пота, довольно улыбаясь, Акимов, — его и не так обработал еще, да левой рукой бить неспособно!..

Сконфуженный Панфилов прячется в толпе.

— Ну-ка, крячку! — кричит кто-то из казаков. Круг раздается шире. В середине вбивают кол, на него надевают петлей фуражный аркан, другой конец привязывают к ноге бесконечно длинного казака Кошлакова. Кошлакову платком завязывают глаза и дают в руки плеть. Точно так же на другую фуражирку привязывают ногу другого казака с «крячкой», то есть двумя палочками, одной гладкой, другой зарубленной. Глаза у него тоже завязаны. С «крячкой» пошел расторопный казак Зеленков.

Осторожно крадется Зеленков, прислушиваясь к дыханию противника.

— Кря-кря! — раздается в тиши — толпа теперь напряженно молчит. Кошлаков кидается по слуху, но Зеленков уже отошел, и удары плетью сыплются по воздуху. А за самой спиной опять трещат щепочки — «кря-кря!». Новая попытка и новая неудача. Зеленков ходит, осторожно поднимая ноги и едва ими переступая, боясь зацепить за веревку противника. Но, не видя ничего с завязанными глазами, он подходит чуть не вплотную к Кошлакову и слушает у самой спины партнера, Кошлаков затаил дыхание. В толпе легкий смех; шиканье водворяет тишину. «Кря-кря», — робко, неуверенно и несмело крякает Зеленков, Кошлаков обрушивается на него всей тяжестью, оба падают и начинается потасовка. Из толпы подбегают казаки и развязывают обоим глаза. В толпе идут долго разговоры про игру.

— Слух надо особенный — дыхание слушать и сообщать.

— Мешают! Толпа-то — тыща человек! Где же услышать-то.

— У кого уши хороши, услышит.

— Так это надо лошадиные уши-то иметь.

— Ну, сказал тоже! И лошадь в такой толпе не разберет!

— Ну-ка, братцы, песню новую!

— Гей, кто песни играет, выходи — его благородие заводить будет.

Живо появились песенники и стали в круг около сотника.

— Ну, слушайте, ребята, и запоминайте — новая.— И сотник нежным тенорком запел:

На границе мы стояли,
Не думали ни о чем,
Только думали, гадали
Приубраться хорошо;
Приубраться, приодеться,
На границе погулять.
Вдруг последовал указ:
Во поход скоро идтить,
За Неман, за реку.
Как за Неманом-рекою
Француз бережком владел,
Француз воин, француз храбрый,
А теперь — несчастный стал!.

И как ни в чем не бывало под теплым июньским солнцем раздалась казачья песня, новосложенная, примененная к новым обстоятельствам. И никто из этих высоких чубастых людей и не думал, что там за лесочком, что чуть синее вдали, растянулась цепь аванпостов, что блещут там копья казачьи и нет-нет пронесется протяжное «Слушай...» А за этой цепью идет пустое, мертвое пространство и что там такое за ним, за той деревенькой, что чернеет на косогоре, за блестящим изгибом реки...

Знают это одни только казацьи партии, что днем и ночью рыщут вблизи неприятеля, что не раз видали роскошно одетого короля неаполитанского с блестящей свитой, в числе которой были мамелюк и арап, проносящегося вдоль французских аванпостов.

И какое дело теперь казакам, что генерал Заиончковский сводит кавалерию польскую к берегу, что быстро готовят понтоны и мосты, вот-вот наведут, что не сегодня завтра обрушится двухсотсорокатысячная армия Наполеона на русских и первым, кто примет ее удары, кто прольет свою кровь, будут они, казаки.

Им и горя мало, и весело звучит казацкая песня, переходя из напева в напевы.

Вдруг песня оборвалась, остановилась.

— Кто это едет? — спросил молодой хорунжий, приглядываясь вдаль по дороге.

— С аванпостов, верно, кто, ваше благородие.

— Аванпосты там, а едут оттуда — у, дура-голова!

— Тогда, може, и на аванпосты,— не смутился казак.

— Будто бы нашего атаманского полку.

— Атаманец и есть,— поддержал зоркий сотник, Балабин, начальник атаманских охотников.

— Куда бы ехать? В передовой цепи у нас Ребриков и Карпов, а это наш.

— Ваше благородие, да ведь это хорунжий Коньков.

— Бреши! — строго остановил Балабин.— Коньков-то, почитай, третий месяц, как помер.

— Ну как же, ваше благородие, и конь их, Ахмет. Ужли я коня не узнаю...

— Похож, Иван Степанович.

Всадники нажали шенкелями, привстали на стременах, и через минуту Коньков слезал уже с лошади и обнимался с товарищами.

— Ты жив?

— Жив, братцы мои, жив! Что перенес на России, того и в турецком плену не испытаешь.

— Ну, рассказывай!

— После. А теперь скажите мне, где атаман?

— В Гродно.

— Надо сейчас ехать являться к нему.

— Да зачем? Отдохни с нами. Новую песню послушай.

— Эх, братцы! Не до песен мне теперь! Жутко, во как жутко идти до атамана.

— Он не примет.

— Аль не в духе?!

— Да кто же его разберет! Вчера каргинский полк смотрел, уж и пушил, пушил его, я думал, полк отнимет. Нет — отошел.

— За чего же его так? Худой вид, что ли, у полка?

— Вид? Нет, вид как вид — ни худо, ни хорошо. Обыкновенный полк, да и только, а сам-то Каргин, сам понимаешь, «письменный» человек — ну, и не того, не так чтобы гладко командовал. А лавой недурно даже ходили.

— Ну, чего же больше! Однако прощайте, братцы, во как хочу развязаться с атаманом.

— Ну, с Богом!

Коньков тронул лошадь и со своим казаком поехал дальше по пыльной дороге.

— Фу-у, да и похудел же наш хорунжий, истосковался, бедняга! — сказал атаманский урядник ему вслед.

— А ты думаешь, легкое дело три месяца мертвым быть да воскреснуть! Тоже без пищи!

Урядник только сплюнул на сторону и ничего не сказал глупому казаку.

И долго не начинались песни, и долго длилось молчание. С Дона приехал человек, донские вести привез — интересно послушать, что, как на Тихом Доне, как степь поднялась, высоко ли, и хлеба как пошли... Да и все хоть посидеть, потолкаться с человеком, что с Дона приехал, с тихого, с радостного, с дорогого Дона Ивановича.

Да, похудел, сильно похудел и изменился Коньков за это время.

Х

Терпи казак — атаманом будешь.

Казачья пословица

И было с чего похудеть молодому казаку. Кроме перенесенного приключения, болезни и страданий, немало пришлось испытать платовскому ординарцу за это время... Да, немало и очень даже немало!

«Порученность» Платова не была исполнена вовремя. Правда, бумаги не пропали, они застали и нашли своих адресатов. Вульф украл подорожную, свидетельство Конькова да еще кое-какие бумаги, а пакеты, самые важные, завернутые в кожу и туго привязанные к груди крест-накрест вязанным Ольгой платком, остались при ординарце донского атамана. Но бумаги запоздали, и Коньков в срок не явился к Платову.

Достойное ли это дело для донского казака? Ведь Платов пять раз справлялся о нем, а он и весточки о себе подать не мог!

Но и это бы еще не беда.

Перед атаманом он оправдается. Атаман пожурит его, и конец. Без сомнения, взбучка будет — но ведь он не виноват, что был болен, что лежал так долго...

И Платов простит — он добрый и умный.

Но как пережить, перенести те вести, что дошли «из верных источников» до его слуха в Новочеркасске? Как снести это?.. Если это правда только?

Но, конечно, неправда. Разве Оля может, да и дом их разве похож на такой, где все позволено? Это просто бабьи сплетни, брехня одна, да и только. Оля его чистая, Оля его непорочная, ясная, святая его Оля! Об Оле недаром он молился каждый вечер, молился и просил у Всевышнего даровать ей счастье. И как просил! Вон в Писании сказано: «Скажи с верой горе: сдвинься и подойди, и подойдет». А у него не было разве веры?

А если?

Атаман все разъяснит. Рогов, фатишка, мог сбrehнуть зря для красного словца. Тетушка Анна Сергеевна натурально раздула историю — она же не может без этого. Ну, так вот и пошло. А атаман правду скажет. Зачем ему лгать, зачем обманывать. Если худая молва про его Олю дошла до Рогова, значит, она ходит по всему Петербургу и коснулась ушей атамана. А чуткие эти уши, особенно чуткие до всего того, что касается его милых детушек, то уже знает он досконально! Еще часок-другой, и улетят сомнения, и Оля, чистая, как кристалл, святая и непорочная, станет его путеводной звездой, его дамой сердца во всю эту кампанию. И храбро, смело, истово будет сражаться за свою даму сердца атаманский хорунжий. Вверит себя ее молитвам, и не побоится он ни сечи кровавой, ни вражеского огня, ни страшных атак, ни огнедышащих батарей. Украсится грудь его орденами, во имя ее полученными, прибавится слава и войску, и ему, и, вернувшись с войны, заживет он с ней счастливо и найдет в ней награду за все тягости, за все лишения казачьи!

А если правда! Если правда, что изменила ему его маленькая пташечка, что не ему одному светит яркое солнышко и не его одного называют дорогие уста своим казаком? Если сам Платов подтвердит роковое известие!

И тогда не поверит казак молве!.. Останется она для него ясная, чистая, неизменная... Но забудет он ее; забудет наружно, забудет навек и будет искать и найдет славную смерть в боях за родину от сабли французской. Еще большую славу заслужит он Тихому Дону, но слава эта будет куплена дорогой ценой — ценой его жизни! И, умирая, он повторит одно имя — имя своей Ольги — Ольги верной и неизменной...

С такими мыслями подъехал на вороном своем Ахмете Коньков к Гродно, разыскал дом атаманский и поднялся по лестнице в его горнипу.

Не было страха в выражении лица его от ожидания атаманского гнева, не было дрожи в коленях. Не боялся он встретить сердитого атамана, но боялся лишь услышать роковую весть, боялся потерять свою драгоценность.

Был тихий, теплый вечер. В церквях служили всенощную, торговля была прекращена в лавках. Жида, постоянные жители Гродно, куда-то поубрались, и на улицах попадались только солдаты и казаки. Платов тоже был в церкви. В вере в Бога, в молитве церковной Платов находил лучшее отдохновение от трудов и тяжких мыслей.

Долго смотрел из окон платовской приемной на улицы засыпавшего города Коньков, и разные мысли были на душе у него. Надежда боролась с отчаянием.

Вскоре раздались шаги и кряхтение. То подымался Платов. Коньков недвижно замер у притолоки, взяв кивер по форме, касаясь пальцами лампаса. И поднялась высокая грудь, и смело смотрит взор его вперед.

Зорко оглянул Платов ординарца, и дрогнуло что-то в лице его. Не разберешь только что: радость или гнев.

— Здорово! — хмуро проговорил он и прошел в свою горницу. За ним прошел его казак, и все смолкло.

Шибко билось сердце Конькова от ожидания.

Платов был сильно не в духе. Генерал войска Донского Краснов был назначен в отряд младшего его чином генерала Шевича; недовольный Платов заступился за своего подчиненного и отписал к Ермолову письмо, где просил разъяснить ему: «Давно ли старшего отдают под команду младшего, и притом в чужие войска?»

От Ермолова был получен едкий ответ.

«О старшинстве Краснова я знаю не более вашего,— писал он атаману,— потому что из вашей канцелярии еще не доставлен послужной список этого генерала, недавно к нам переведенного из черноморского войска. Я вместе с тем должен заключить из слов ваших, что вы почитаете себя лишь союзниками русского Государя, но никак не подданными его»...

Письмо это Платов читал в своей канцелярии перед многими донскими полковниками. Все были жестоко возмущены. Правитель дел и особенно адъютант атамана войсковой старшина Лазарев советовали возражать Ер-

молочу. Но Платов не рискнул бороться с сильным человеком и сказал своему правителю дел:

— Оставь Ермолова в покое. Ты его не знаешь: он в состоянии с нами сделать то, что приведет наших казаков в сокрушение, а меня в размышление.

Отделался этой загадочной фразой Платов, но не легко было у него на сердце. Сильно болела обида в нем, а понимал он, хитрым и изворотливым умом своим понимал, что надо ему съесть, проглотить без остатка эту обиду, а иначе еще будет хуже его «детушкам».

Переодевшись в халат на беличьем меху, крытый синим сукном, он приказал позвать Конькова.

Молча вошел хорунжий к атаману.

Устремив на него испытующий взор, старик начал:

— Какой ты чиновник, какой офицер войска Донского, к которому имеешь честь принадлежать, когда не радеешь о славном имени, которое носишь на себе, когда забываешь Бога, отца и мать своих славных?! Тому ли учили предки твои? За то ли видишь на себе монаршие милости? Или всегда я должен за вас всех отвечать? Стыдись, господин мой, надо во всем знать честь и бояться Бога! Где кутил ты, где пьянствовал и безобразил столь долгое время? Отвечай, господин мой!

— Не кутил и не пьянствовал я, ваше высокопревосходительство,— тихо отвечал Коньков, и понемногу голос его стал возвышаться, и смело заговорил он: — Опоенный зельем, ограбленный злыми людьми, искавшими из корысти или из других причин погубить меня, лежал я больной на станции, а потом задержан был через одного жестокого помещика, имени которого я и помнить не желаю... В одном виноват перед вами, ваше высокопревосходительство, что тогда еще, в Петербурге, не рассказал вам, как имел я случай оскорбить одного знатного господина...

С минуту помолчал Коньков. С духом собрался, а потом начал и толково и ясно рассказал все как было. Как угостил его «неизвестный немецкий незнакомец», как с его зелья впал он в тяжелое сонливое состояние.

— И казак мой, Какурин, был тоже опоен и разбитый, с проломленной головой еле дышал в моем тарантасе. Я поздно проснулся. Едва не двое суток лежал; по мне уже молитвы читать собирались. Очнулся я и был так жестоко слаб, что малейшее движение кидало меня в пот и начинался новый обморок. Однако, ощутив платок, что крест-

накрест проходил по моей груди, и увидав, что пакет с бумагами вашего высокопревосходительства цел,— я воспрянул духом. Смотритель ходил за мной плохо. Меня перенесли в избу, положили рядом с казаком моим на полатах и редко даже давали есть. С того, мне кажется, мы медленно и оправлялись.

Внимательно слушал своего ординарца Платов.

— Недели через две, однако, почуял я в себе силы настолько, что мог подняться. Тогда пожелал я надеть свое платье. Оказалось, что немец унес мой кафтан и чакчиры, предоставив мне свой костюм, но так как имел он куриные ножки и узкую грудь, то и не мог я натянуть на себя его вольного платья. Несмотря на это очевидное доказательство, что я есть хорунжий войска Донского и лицо потерпевшее, смотритель, да и никто не желал нам верить. Смотритель попрекал меня и казака моего, тоже раздетого, в дармоедстве, называл беглыми крестьянами и требовал плату за харчи и постой. А у нас ничего не было. Проезжий помещик, которому были мы представлены и у которого я, как офицер войска Донского, просил защиты, к несказанному нашему удивлению, признал в нас беглых холопей своего соседа, но согласился взять к себе для работ и дать нам мужицкую одежду...

«Терпи казак — атаманом будешь»,— подумал я и почел это за лучшее, чем сидеть на скудном довольствии у грубого смотрителя. И притом лелеял я надежду, что смогу своим образованием и знанием языков доказать свое происхождение.

Но... но помещик и слушать нас не стал. Нам назначили сначала работы при доме его, а потом стали гонять на пахоту. Всем холопам его я доказывал свою историю и несчастье. Многие жалели меня, но нигде не мог я найти себе защиты. Тогда я примирился с своей судьбой и стал измышлять планы бегства. Нас держали, как беглых, строго и никому не показывали, полагаю, потому, что боялись, что будем мы открыты и отобраны от неправильного помещика.

И пришла мне тогда знатная идея. Были у того помещика на конюшне сильные и крепкие лошади — и задумал я тогда, что не грех их украсть. С ними, думал я, как-никак и порученность исправлю я вашу, и не уроню звания донского офицера. Посоветовался я с Какуриным. Сей преданный слуга мой сильно задумался. Трудно украсть

коней из-под замков и запоров, под которыми их сберегали, да и конюха спали всегда на конюшне, и строгий приказ им был отдан: пуще глаза беречь дорогих коней. Однако говорится: «Голь на выдумки хитра». Вот мы и надумали. В те поры у помещика набивали новые перины, и на дворе, в особо устроенном ящике, было насыпано страсть сколько перьев. Хлопцы конюшенные были народ не дюже умный и до всяких историй послушать охочий. Под вечер зачал я им рассказывать, где были и что видели. Сказал я им, что и покойников видывали, и упырей, и вурдалаков в Молдавии встречали.

— А може,— спрашивают хохлы,— пан-казак и самого черта видал?

— Видал, говорю.

— А який такой на вид?

— А ровно, говорю, человек, перьями обросший, а рога-то бычьи.

— Ось, говорят, який страшный.

— Нет, говорю я, черт не страшный, а дюже веселый — он насчет пляски первый затейник.

А Какурин сидит тут да смекает, значит, как бычачьи рога достать надо. А у барины были рога с тура. В кабине-те висели, а я думаю, достанет чертов сын или нет?

Достал! Стало смеркаться, стража на ужин пошла. Мы сказали: «Не хочется».

Поснимали мы свое платье, сложили на полатах, как быть следует, положили вместо себя кулечки и накрыли их зипунами. А сами в чем мать родила выскочили во двор, достали мазницу, чем колеса мажут, и ну друг друга намазывать. А потом к ящику перьяному, да в перьях и выкатались. Умора — какие страшные стали, а Какурин рога достает да скрипочку; подвязали мы рога, глянули в колодезь, да самым страшно: такой вид сверхъестественный стал. А уже темно совсем было. Прошли мы на конюшню и залегли наверху, на сене; лежим. Тихо все, а сердце-то так вот и бьется и трепещет... Прошло не более как с полчасца времени, скрипнула дверь, вошла стража, принесли фонарь, достали замусоленные картишки, и ну играть в носки.

А я возьми да на скрипочке и пискну тихонько.

— Слыхал,— говорит,— Остап?

— Не, это так только попричтилось.

— Попричтилось и есть! — И замолчали.

А я опять — и завожусь мы наверху на полу, замяукай и завожусь. Лошади захрипели, бьют ногами, беспокоятся.

— С нами крестная сила! — шепчут хохлы и играть бросили.

А я тем временем на скрипочке уже форменно казачка нажариваю, а Какурин прыгнул да насандаливает по коридору. И в дугу изогнется, и рукой поманит, а сам ровно тетерев чуфыкает. Повалились мои хохлики, позакрылись с головами свитками, лежат, ровно окочурились. А мы сверху — да к коням, надели уздечки, сняли запоры — и во двор. Собака было тьякнула, да сама оторопела, поджала хвост да в конуру забила, а мы ворота настежь да с места в карьер и пустили.

Сбежало суровое выражение с лица Платова. Ласково улыбался он своему ординарцу во время рассказа, и когда дошло дело до казачка, то громко и неудержимо расхохотался донской атаман.

— Так, говоришь, казачка наяривает?! Ну, молодцы! Ну как, я вам скажу, не любить донских казаков! Ну, распотешил, Петр Николаевич, страсть распотешил. А далее — так в перьях и до Черкаска?

— Никак нет, ваше высокопревосходительство. Отъехали мы верст, надо полагать, поболее полутора за ночь. Кони совсем уже приставать стали, да тут в озере и обмылись, а потом напали на двух мужиков и отняли платье...

— Ну, спасибо, голубчик! — ласково сказал Платов. — Да что ты такой пасмурный? Я вам скажу, не след донскому казаку невеселу быть. Не сегодня завтра война начнется, а где же казаку и потеха, как не на войне? Или ты, государь мой, на меня обиделся, что пожурил тебя понапрасну. Я вам скажу, грех на старика обижаться!

— Смею ли я, ваше высокопревосходительство, сердиться на вас. Вы одни можете утешить меня.

— А что такое, голубчик?

— Как был я в Новочеркаске, ваше высокопревосходительство, то был там лейб-казачьего полка штабс-ротмистр Рогов и сказывал, будто невеста моя нареченная сбилась с пути истинного. И не знаю я — то правда или нет?

— Ничего я не знаю, государь мой. Не след казаку накануне битвы думать о бабе. Не казачье это дело, — и зорко глянул атаман на своего ординарца, глянул, словно насквозь прожег, и смягчился.

— Бывал я в одном доме. Клингели, отец с дочерью, тоже туда хаживали. Последний раз, с месяц тому назад, сижу я у них, звонят — Ольга Клингель. А старуха хозяйка гневная встает и говорит лакею: «Не принимать». А потом мне пожаловалась: «Все, говорит, ваши казаки ее избаловали».

Как плотно побледнел молодой казак, покачнулся даже и вышел из комнаты атамана...

Не мила ему жизнь! Не мил белый свет.

Темно в атаманской приемной, тихо. Чуть тикают часы, да внизу, слышно, жильцы возятся, спать собираются.

«Так это верно?! Казаки избаловали... Не казаки, а казак. С его легкой руки пошла гулять Оля. После его пылких поцелуев захотелось еще и еще. Век целоваться. Порядок известный. Все бабы на один лад скроены! Вот и Оля оказалась не лучше других... Но с кем же, с кем она целовалась?!» И силится вообразить себе Коньков Ольгу в объятиях другого и не может никак, и вместо того иная встает перед ним сцена. Видит он Ольгу с искаженным страданием лицом, и бледные губы шепчут: «Позор! О, позор!..»

«Нет, не могла согрешить моя Олечка, не могла моя голубка сизокрылая обмануть меня; не могла, никак не могла! Из-за него пострадала она! Увидал их тогда вместе проклятый Берг и пустил про бедную, беззащитную девочку худую славу!»

И склоняется молодой казак перед образом, и жарко и горячо молится он Всевышнему за свою дорогую, ненаглядную Олю

— Господи! — шепчут его уста.— Дай ей счастья, Боже, Боже мой! Если виновна она перед Тобой, накажи меня за нее — я во всем виноват. Пусть бесславно погибну я в этой кампании, пусть умру не на поле брани, а в госпитальной койке! Боже, Боже мой! Я так свято и чисто люблю мою Олю, мою лучшую драгоценность, мою радостную голубку, сохрани ее во имя нашей горячей любви. Ты сам заповедал любить. Твое жаркое солнце, твой бледный месяц, тенистая гущизна аллей садов и мягкая мурава лесов разве не говорят они — люби! люби! И я люблю ее так свято, как только могу я любить! О, Господи, отыми ее от меня — отдай другому, пусть только она будет счастлива.

И долго, долго молился молодой казак, и облегчила его молитва... Усталость взяла свое, и крепко заснул на лавке ординарец атамана войска Донского.

Ночь уже переваливала на вторую половину, когда, запыхавшись, вбежал наверх лейб-казак и разбудил Конькова.

— Ваше благородие, доложите атаману. Ен наступает...

Быстро собрался и вышел со штабом Платов. Ночь была пасмурная, ветреная и после теплой постели, казалось, холодная.

Где-то далеко за городом пощелкивали выстрелы, нарушая ночную тишину, то стреляла пехота маршала Даву, начавшего бой с аванпостными казаками.

Обрывки серых туч носились над городом. Солдаты, казаки и офицеры выходили на улицы, и у каждого, как и у Платова, было одно на уме — слава Богу, началось!

XI

..26-го июня у самого местечка Кореличи неприятель показался со стороны Новогрудка в трех колоннах кавалерии, но, быв встречен стремительным нападением казачьих полков во Фланги его, не мог выдержать одного и расстроенный обратился опять к Новогрудку.

*Рапорт Платова.
Военно-Ученый Архив. 1835*

Через два часа после этой тяжелой ночи по армиям читался следующий приказ:

«Приказ нашим армиям.

Из давнего времени заметили мы неприязненные против России поступки французского Императора, но всегда кроткими и миролюбивыми способами надеялись отклонить оные. Наконец, видя беспрестанное возобновление явных оскорблений, при всем нашем желании сохранить тишину, принуждены мы были ополчиться и собрать войска наши, но и тогда, ласкаясь еще примирением, оставались в пределах нашей Империи, не нарушая мира, быв тожко готовыми к обороне. Все сии меры кротости и миролюбия не могли удержать желаемого нами спокойствия. Французский Император нападением на войска наши при Ковне открыл первый войну. Итак, видя, что никакими

средствами, непреклонными к миру, не остается нам ничего иного, как призвать на помощь свидетеля и заступника правды, Всемогущего Творца небес, поставив силы наши противу сил неприятельских. Не нужно напоминать вождям, полководцам и воинам нашим о их долге и храбрости. В них издревле течет громкая победами кровь славян. Воины! Вы защищаете веру, отечество, свободу. Я с вами. На зачинающего Бог.

В Вильне. 1 июня 13 дня 1812 г.

Александр».

Громовое «ура» прокатилось по всему побережью Немана, немецкие генералы спорили и шумели, совещаюсь о том, что предпринять и куда двинуть армии. Избрать ли фланговую позицию и запереться в крепости-лагере Дриссе, или смело ударить на врага, или заманить неприятеля в глубь России, втянуть его во все ужасы народной войны и истребить и уничтожить.

Ничего этого не знали казаки. От края и до края сверкали казачьи пики. По одной дорожке бежали партии, по другой тропинке шли патрули, а в лесах и перелесках маячили фланкеры. Но никто и ничто не проникало за эту завесу, и свободно спорили и совещались русские генералы. Сытая и спокойная отступала армия: казаки ее прикрывали. Начиналось для донцов то время славы, когда каждый казак, каждый офицер явились борцами за святую Русь и, не щадя живота, потом и кровью завоевали славу войску Донскому; начиналась для казаков та славная эпоха их жизни, про которую историк пишет: «В годину испытания, славную для России, гибельную для Наполеона и Франции, донские казаки стояли в первых рядах защитников отечества. Подвиги, совершенные ими в отечественную войну, составляют златую эпоху в истории их и превосходят всю ту честь и славу, какую они приобрели в прежних походах. Описать все действия их было бы трудно, ибо они участвовали во всех сражениях и стычках так, что если представить оные во всей подробности, то надобно было бы написать особую книгу».

И белокурый Акимов, ловкий игрок в «жучка», и Пастухов с Панфиловым, его партнеры, и старик «письменюга» Каргин, и Сипаев, и Луковкин — все распределили свои силы, все проводили ночь на аванпостах, а днем рыскали в партиях, встречались с неприятелем, рассыпали гибкую и тягучую лаву перед фронтом врага, маячили и заманивали его в засады

и подводили его под свои донские казацкие пушки. И вся эта нестройная на первый взгляд, дикая орда в виде одиночных всадников на косматых, плохо чищенных маленьких лошадаках одушевлялась одним лицом, жила одним духом, одной волей — вся смотрела, верила, боялась и уважала одного человека: атамана Матвея Ивановича Платова.

И Платов был уже не петербургский полувельможа, днем нежащийся на пуховике, на тройке летающий во дворец и по гостям, гордый своими победами, гордый своим положением. Под кустом, покрытый буркой, спал он в жаркое утро, обедал в полдневный зной, а в четыре часа утра подводили ему серого его коня, и, окруженный свитой, летел он вперед и до утра не слезал с лошади. Летал он на аванпосты, ходил в партии, разговаривал с офицерами и при блеске восходящего солнца, лежа на песке, писал донесения.

Он не описывал в коротких рапортах ни храбрости своих «детушек», не хвастал ни убитыми, ни ранеными.

Храбрость донцов была несомненна, а перечислением потерь не хотелось смущать ему старших начальников. «А об убитых и раненых будем иметь мы домашний счет», — приписывал он иногда в конце, и без вести, без ничего гибли донские казаки, и только дома, на Дону, где велся «домашний счет», знали, кто убит, и плакали там и рыдали казацкие жены и матери.

Одиннадцатого июня французы тронулись из своего стана и переправились через Неман, и ночью раздался по ним первый выстрел, выстрел казачьего ружья. И кавалерия Мюрата, и пехота Даву, грозно наступавшие, всегда и везде видели перед собой казачьи копья да синие казачьи мундиры. Они видели их поздней ночью при свете бивачных костров, с восходом солнца обнаруживалось их зоркое присутствие, и днем они были. И когда они сменялись, когда отдыхали — одному Богу известно.

Восемь дней прошло без стычек. Русская армия быстро отступала, и Наполеон клином входил в ее центр, разделяя ее на две части. Казаки отступали без боя в суровом молчании. Наконец двадцать первого июня загудела казачья лава, ударили казаки на зарвавшегося вперед польского генерала Зайончковского, у сел Закревщизна и Гудиненты произошел бой — были убиты первые казаки и сотник Котельников.

С этого момента каждый день были драки, каждый день стонала земля от топота коней, гремели выстрелы, гикали казаки...

Коньков по-прежнему оставался при Платове.

Ничто так не залечивает душевные раны, как путешествие, эта вечная смена обстановки, впечатлений и лиц. А когда путешествие совершается на коне, не сводя глаз с начальника, когда из-за каждого куста могут послать пулю и с каждого холмика, шурша, может вылететь ядро и, описав крутую траекторию, ударить в то место, где стоит группа начальников на разношерстных лошадях, в скромных казачьих мундирах,— тогда оно делает почти чудеса.

Коньков не боялся смерти: он ожидал ее, как радостного гостя, как избавителя от земных страданий.

Пока длилась война, пока властно звучал голос атамана и взмыленный Ахмет носился через поля и кусты, развозя приказания, пока была эта жизнь без отдыха, жизнь чужою волею, чужими мыслями,— Коньков мог жить, а кончится война — и что тогда?

Одиночество, душевные муки и мысли о потерянном блаженстве! Но не верилось ему как-то, что Ольга навсегда для него потеряна...

Дивился на Конькова адъютант Лазарев, плотный, солидный мужчина, дивились другие ординарцы, сотники Киреев и Сидоров, дивился хорунжий Коймашников и обожали его урядники: Дебельд, Аркашарин и другие.

Даже сам Платов, такой простой и веселый на войне, нахвалиться не мог лихости и смелости своего ординарца. И прежде был он смел, но теперь стал еще смелей, еще храбрее...

— Любовь, я вам скажу, опасна, но делает иной раз человека отважнее,— говаривал иногда донской атаман, обращаясь к другим ординарцам, и пояснял, как скачет Коньков, исполняя его «порученность».

А лето стояло во всем разгаре. Воздух был напоен ароматом трав, и голубое небо, как опрокинутая чаша, молчаливо глядело на землю, млея на солнечных лучах. Деревья в лесу были так пленительно зелены, стволы берез и дубов так ярко вырисовывались на фоне изумрудной листвы, по полям и лугам показались красивые, пышные цветы, а травы высоко поднялись, и даже покинутые деревни и села выглядели какими-то заколдованными и зачарованными приютами... Тишина летнего дня, тишина, нарушаемая только стрекотаньем кузнечиков, песнями жаворонков, кукованьем кукушек и тем осторожным шорохом, который, словно дыхание земли, точно незаметный рост мириад трав, идет из глубоких недр,—

все было так хорошо, так чудно спокойно, что, казалось, вовсе не война возмутила Русь, не война разогнала жителей, а просто все заснуло по мановению жезла волшебницы — все застыло, но не вымерло.

Но взглядишься ближе, пробежишь десятка два верст, и вдруг все изменится. На громадном пространстве трава потоптана, выкошена и съедена. Черные круги костров, правильно расположенные, идут на целые версты, навоз, трава, вытопанная до черноты земли, до пыли, — обозначают коновязи, обозначают присутствие кавалерии. Местами валяются обрывки материй, забытая трубка, крышка от манерки, сломанный штык, ремешок, бумага — словом, чувствуется здесь недавнее присутствие войск.

Подъедет донец к такому месту, взглянет опытным взором на расположение костров, на протяжение коновязей, посчитает что-то, сообразит, и эти следы уже выразились в его мозгу в цифрах, батальонами и эскадронами; слезет он с лошади, возьмет в руку лошадиный помет, пожмет его и скажет про себя: «Три дня, как ночевали», и опять едет дальше, подымая всякую бумажку, все собирая в своем широчайшем кармане..

Казак этот Какурин — вестовой Конькова. Он третий день рыщет в тылу у неприятеля, хоронится под мостами, залезает в ямы, под крыши и все подбирает, зная, что барин многое разберет.

А темной ночью барин его «Пидра Микулич» сидит при свете лучины, вставленной в ставец, и читает грязные, смятые бумажонки.

И вот разглядывает он письмо с заголовком: «Mon fils aimable» *, вот читает забытый брульон **, делает пометки, где ночевала великая армия, и согласно с донесениями партий составляет доклад атаману.

Случается, попадется е бумажка с обращением: «Ma fiancée bien aimable» ***, и вдруг что-то схватит его за сердце, защемит, затоскует оно, помутится все в мозгу его, забудет он счет батальонов, эскадронов и орудий, и чернокудрый, нежный, задумчивый образ встанет перед ним... Задумается хорунжий и долго не может оправиться..

А назавтра, бледный, с синяками под глазами от бессонных ночей, придет он к атаману и ясно и кратко доложит о положении неприятельских корпусов.

* Мой любезный сын (фр.)

** Б р у л ь о н — черновик письма.

*** Моя любезная невеста (фр.)

«Дюже» умный Коньков был казак.

Лазарев напишет донесение; подмахнет под ним атаман: «Генерал-лейтенант Платоф», непременно с «ф», заберет его дежурный казак и поскачет догонять отступившую армию.

Третью неделю полки отступали. Были схватки, была стрельба, но это было так, между разъездами только. Полки неприятельские близко не показывались.

Не любил Платов так воевать! Его пылкое сердце рвалось вперед, рвалось вширь, и хотелось ему громких побед, хотелось пленных, хотелось орудий, взятых с боя.

Двадцать шестого июня, уже к вечеру, когда казачьи полки подходили к местечку Кореличи, из передового сипаевского полка, бывшего у Новогрудка, прибежал казак с донесением, что неприятель показался в трех колоннах, но что казаки его опрокинули и он снова ушел за Новогрудок.

Солнце садилось и кровавым заревом обливало далекие избы Новогрудка, перелески справа и слева таинственно чернели. Платов послал донесение Багратиону, а сам приказал отойти к селению Мир и собираться к нему.

Шибко забились казачьи сердца.

Наконец-то будет давно жданная атака. Наконец будут пленные, а быть может, и маленькая добыча в неприятельских «кошах».

Ночью крайняя избушка селения Мир ярко осветилась. Расторопный казак принес свечи, добытые из платовской повозки, и за большим столом собрались полковники и есаулы войска Донского. Их было немного.

Генерал-майор Кутейников еще вчера ушел для отыскания связи с генерал-майором Дороховым, другие полки были в далеких партиях. При атамане остались только полковник Сипаев, Каргин и Балабин и их сотенные командиры, да и те далеко не все.

Когда все собрались, платовский слуга принес на подносе водки и соленой рыбки, и Платов любезно пригласил своих полковников закусить.

— Господа, водочки и рыбки. Прошу, с ночного похода полезно согреться.

— Спасибо на угощенье,— сказал хрипло Сипаев: он весь день ругался со своими казаками и совсем потерял голос.

— Что же, ваше высокопревосходительство, долго мы отступать будем? — спросил атамана полковник Балабин.

— Пока не будет приказания наступать,— хитро ответил Платов.

— Ну, приказания никогда не дождемся. Нами немец командует и, говорят, изменник...— проворчал кто-то в задних рядах.

— Т-сс,— пригрозил в сторону шепота Платов.— Я вам скажу, что приказание уже получено — задержать неприятеля у местечка Мир. Ну а чтобы задержать — надо атаковать.

— Осмелюсь доложить,— хриплым голосом проговорил Сипаев,— неприятеля три полка польских улан графа Турно, и сзади есть пехота и артиллерия.

— Я знаю это, я вам скажу, но кто же может и кто смеет сомневаться в храбрости донского казачества, притом же я полагаю, что местность, по которой мы сегодня проходили, много способствовать будет устройству «вентера» *

Казачьи полковники насторожились — дело шло «все-ръем», два полка, да и те сборные, разбросанные, должны были победить три полка прекрасной польской кавалерии.

— Так вот я вам скажу. Пускай есаул Зазерсков со своей сотней станет впереди Мира по дороге к Кореличам. Вы будете наблюдать и заманивать неприятеля ближе к Миру, а сотни Топольскова и Кальжанова пускай скрытно станут вправо и влево от дороги, что над лесочками. Вы, полковник,— обратился Платов к Сипаеву,— встанете со мною вместе здесь, у Мира, и как граф Турно увлечется преследованием Зазерскова, мы в две линии дружно ударим на него, а вы, есаул, уже поспешайте скорее по подкрылкам, чтобы расчистить нам место. А Топольсков и Кальжанов не оставят ударить справа и слева. Да, я вам скажу, «вентер» много способствовать будет победам, и с того почин пойдет победе и в нашу кампанию... Казаки колоть будут и, как учил блаженной памяти Александр Васильевич Суворов, жестоко бы слушали, когда французы кричать будут «пардон» или бить «шамад» **. Казакам самим в атаке кричать: «Бале зарм, пардон; жете лезарм» ***, и, сим пользуясь, кавалерию жестоко рубить и на батарее быстро пускаться, что особливо внушить.

— Ваше высокопревосходительство,— мягко и вкрадчиво сказал Каргин,— а не лучше ли будет нам спешиться и, заняв деревню стрелками, встретить неприятеля огнем?

* В е н т е р — коническая рыболовная сеть. Особый вид засады. (Авт.)

** От франц. *с h a m a d e* — сигнал о сдаче.

*** От франц.. «*Jetez les armes! Baillez les armes!*» — Бросайте оружие! Сдавайте оружие!

— Выпей лучше водочки, полковник,— сухо ответил Платов.

Уничтоженный Каргин притих. Кто-то сзади довольно громко сказал: «Письменюга».

Потолковали еще немного казачьи полковники и есаулы и начали расходиться.

Один Коньков остался.

— Ну что, Петр Николаевич. Дело разве есть?

— Ваше высокопревосходительство, дозвоьте мне завтра при сотне Зазерского состоять.

— Лавой помаячить захотелось? Ну изволь. С Богом, я вам скажу, это достойное для казака желание, и я охотно готов служить к его выполнению. Но когда ударит сипаевский полк на француза, то попрошу тогда ко мне. Ты мне нужен будешь.

— Покорно благодарю, ваше высокопревосходительство,— поклонился Коньков.

— Да поберегай себя. Такие казаки, как ты, дороги войску Донскому!

Еще раз поклонился Коньков атаману и вышел из избы.

Теплая, тихая ночь окутала его. Сильно вызвездило. Воздух напоен был ароматом отцветавшей черемухи и зацветавшей липы, пахло мятой, еще какими-то травами. Во дворе под тесовым навесом вповалку спали казаки, накрывшись плащами, рогожами и чем попало.

Лошади, привязанные к телеге без колес, мирно жевали сено, одно долго принаравливалась лечь, подгибала то одну, та другую ногу под себя и наконец, грузно упавши на бок, закряхтела. Соседка ее тяжело вздохнула, будто сказала: «Фу-фу-фу — тяжела служба казачья!» В растворенные ворота видно поле, недалний лесок и далеко-далеко, у Новогрудка, легкое зарево от костров неприятельских. Посмотрел хорунжий на небо, отыскал он семь звездочек, что «котлом»^{*} именуются, провел по краю их взор и остановил глаза свои на одинокой яркой звезде — «сивер» обозначающей. Загляделся и задумался молодой казак, глядя на маленькую звездочку.

«В Петербурге я был — над головой мне светила одинокая моя, ясная звездочка — знать, и теперь там стоишь над ясной моей Любушкой, светишь на домик ее, озаряешь ее постельку. Спи, моя радость, спи, светлый мой

^{*} К о т л о м казаки называют созвездие Большой Медведицы.

ангел, спи, моя родная голубка, спи, ясочка моя голубоглазая. Твой казак не спит за тебя. Грудью станет он завтра на твою защиту и заступится за тебя и не допустит врага оскорбить тебя. Завтра, во имя твое, дедовской шашкой своей я положу столько французов, сколько душеньке твоей угодно. Завтра увидят, как храбр твой казак и как умеет сражаться он за свою ненаглядную душеньку! О, моя звездочка ясная, глушь на весь сивер далекий, глядишь ты на весь Петербург, загляни в маленькую комнатку, где цветут теперь резеда и левкой, и передай моей маленькой Олюшке, что любит, крепко любит ее казак и никогда не поверит, что бы про нее ни говорили».

Расчувствовался, разнежился молодой казак от горячей мольбы, а обратил взор свой на землю, и суровая складка легла между бровями. Подошел он к вороному коню, который узнал его и чуть-чуть заржал навстречу, накинул уздечку, положил седло и стал подтягивать подпруги.

Надувается конь! Не хочется ему затянутым быть, вытягивает он шею и белыми зубами хватает за решетку телеги.

Заседлал коня хорунжий, нацепил амуницию, плащ свой накинул, перекрестился, еще раз взглянул на север, перекрестил воздух в том направлении и выехал за околицу.

XII

...Хоть с небольшою, однако ж и не так малою победой на первый раз имею долг с сим Вашего Сиятельства поздравить; благослови Господь далее и более побеждать...

*Рапорт Платова,
27 июня 1812 г., № 61*

Светало. Холодный ветерок быстро сгонял туман с полей, и беловатой пеленой росы покрыта была приникшая к земле трава. Восток алел. Солнце уже встало, но за лесом его еще не было видно, и только бесконечная тень, бросаема лесом, свидетельствовала, что солнце уже встало.

Тень быстро бежала. Становилось теплее, птицы громче пели, начинали стрекотать кузнечики. Вправо от мокрой от росы мягкой полевой дороги стоит атаманская сотня. Казаки слезли с лошадей. Кто держит одну-двух за чумбурный ремень, кто сбатовал свою с соседом, у кого конь просто стоит и, согнув слегка переднюю ногу, мирно пощипывает траву. Иные казаки спят крепким утренним сном, иные, собравшись в кучу, зорко глядят перед собой на маленькую деревушку, скрывающуюся в балке.

Перед фронтом, шагах в двадцати, ходят взад и вперед два офицера — командир передовой сотни Зазерсков и ординарец атамана хорунжий Коньков.

— Я вижу, что вы сильно страдаете.. И мне жаль вас — вы отличный офицер, и умом вас Бог не обидел. Что за притча такая, думаю, не больны ли вы? Я в Вильне узнал, что причиной тому любовь.. Глупое, думаю, дело. Казаку дан конь, дана сабля, дана слава отцов и дедов, а любовь да бабья юбка — недостойное это дело.. Ну хорошо, скажем, вышло так, не воздержались, так что с того? Полюбили одну, полюбите и другую — свет-то не клином сошелся. Бабьего племени сколько хочешь — хоть отбавляй, и все одинаковы. Все, пока не замужем, и ласкают, и любят, и голубят, а как замуж — так и рыло воротит. Плеть на них нужна! Вот и все.. Теперь вот война зачалась — до бабы ли тут! Вы у меня смотрите: без Георгия завтра — то есть уже даже сегодня — не быть! А про питерскую балетчицу и думать не можете!

— Какую балетчицу? — в изумлении спросил Коньков

— Какую? Про которую Рогов рассказывал, что опутала вас.

— Так он называл ее балетчицей?

— Ну да. Я почему знаю, кто она такая!

На сердце у Конькова стало полегче.

— Глупая сплетня, и больше ничего, — сказал Коньков и вспыхнул весь.

— Дай Бог! Я вам больше верю, чем Рогову. Если вы больны, не беда это — пройдет, так просто соскучились по Дону Тихому, тоже не беда. Только бы не любовь!. Однако надо посмотреть, что делается у них.

— Позвольте мне с партией поехать

— Эх вы!. Ну, «езжайте» с Богом!

Выбрал Коньков себе казаков, вскочил на Ахмета и поехал за ту границу, где кончалась жизнь и начиналась смерть, где стоял страшный, неведомый «он».

И все казаки чувствовали этот рубеж, все понимали, что вон за той межей, на которой так пышно разросся ивовый куст, начинается что-то новое, неведомое и страшное.

И хотя вчера еще они были там, но сегодня уже здесь не то.

Словно край мира прошел по меже. Один Коньков забыл про войну. У него на душе словно трубили праздник. ему весело было и радостно.

Говорили про балетчицу, а не про Ольгу Клингель?! Ах ты, душа моя, красна девица,— и я подумал на тебя... Это мне Господь послал утешение за мою жаркую молитву вчера... И беспечно и весело шел он на своем Ахмете вперед, забыв, где он и что перед ним.

— *Que vive?* * — раздался испуганный голос впереди, и вслед за тем щелкнул выстрел и с визгом и шорохом пролетела пуля.

Выскочил вперед фланговый урядник и положил ударом сабли в голову французского часового. Но дальше ехать было немыслимо.

Последние французские посты быстро снимались; авангардный эскадрон выезжал из Новогрудка, и по легкому, теплему ветерку доносилась польская речь и топот коней.

Желтые пятна на синем общем фоне, флюгера пик указывали, что это была польская конница графа Турно.

Коньков вернулся к Зазерскову и рассказал о случившемся. Послали донесение к Платову.

— Так выезжают? — Коньков кивнул головой.

— Ну, с Богом! По коням! — и новая нотка, суровая какая-то, властная зазвучала в голосе Зазерскова.

Казаки разбирались по лошадям и влезали на них, пока другие еще подтягивали подпруги и готовились к походу.

И у них на лицах тоже есть особенный отпечаток какой-то суровости и необыкновенного внимания к мелочам. Пастухов, никогда не чистивший гнедого своего маштака, вдруг заметил пятнышко на его ноге и усердно оттирал его рукавом. Акимов пробовал скошовку ** с таким видом, как будто от нее зависел успех боя

* Кто идет? (*фр.*)

** Скош о в к а — повод.

— Готовы? — раздался голос Зазерскова.

— Готовы, готовы! Акимов, поживей!

— Зараз сяду! — слышались голоса.

— Ну, слушай же, братцы! В круг!

Тесно окружили казаки своего командира; задние вытягивали шеи и слушали, стараясь не проронить ни одного слова.

— У Мира, где атаман и откуда мы в ночь отступили, — засада. Там полк Сипаева, две сотни полка Каргина, а три наши в конвое у атамана. Влево наша седьмая сотня за леском, вправо — восьмая, во-он у церкви. Мы должны заманить все силы на Мир, не дав им спокойно развернуться. Команда будет одна: строй лаву; один свисток — лава вперед, два — назад, в остальном надеюсь на вас, на вашу казацкую сметку и удаль! Старые, помогай молодым.

— Постараемся, ваше высокоблагородие! — загудели голоса.

— Ну, с Богом! — И по-регулярному, склонившись на левый бок, и другим голосом скомандовал есаул: — Равнение направо, шагом ма-арш.

Но казаки стояли, пока Зазерсков не крикнул:

— Да иди же, черт те в душу!

Сотня всколыхнулась, и кони, замотавши головами, тронулись, повалив дротики.

Вот прошли и роковой ивовый куст, вот высокая цветущая уже рожь стала бить по ногам, лошади рвались от повода и захватывали в зубы лакомый корм, вот опять цветущий луг, запах мятой травы, ароматный и сладкий запах цветов наполняет воздух. Из-под самых копыт лошади Зазерскова испуганная вылетает перепелка, заяц выскакивает, делает несколько скачков вправо и влево, приостанавливается и, прижав уши, бешено несется вперед. В другое время по адресу косого слышались бы шутки и замечания, но теперь зайчишка улепетнул и никто его даже не заметил.

Все были серьезны и сосредоточенны, каждый думал свою думу, и меньше всего думали все о предстоящем сражении и о возможности быть раненым или убитым. Все тупо и упорно избегали этой мысли и мысли о родине...

Но вот вдали показалось облако пыли, длинное, высокое, и в его туманных очертаниях засверкали копья и сабли.

— Рысью ма-а-ррш!.. Ну, трогай!..

Понагнулись казаки, и раз, раз, раз, чаще и быстрее затопотали кони, и сотня понеслась на передовой эскадрон.

Вот уже ясно видны стали темно-гнедые лошади улан, показались и желтые расцвеченные уланки, перья на киверах, раздалась и у них команда, и сверкнули на солнце сабли. Казалось, атаманская сотня хотела атаковать неприятеля, по крайней мере, дерзко фыркали лошади и грозно горели на солнце копья и сабли. Командир авангарда графа Турно, ротмистр Пршепетковский, не понимал одного: как рискует одна сотня кинуться на него, когда сзади него идет три полка. Нет ли резерва где? Но ни его острый взор, ни поиски его зорких фланкеров не могли открыть ничего подозрительного. Всюду было тихо и спокойно, и мирно горел крест на колокольне далекого селения, и тихо было кругом.

Ну, если он хочет! Сумасшедший казак! Изволь!

Пршепетковскому жаль было атаковать бедную сотню. Она ему казалась толпой людей, решившихся на самоубийство, и думалось ему, что нечестно разбивать этих бедных людей. Но долг выше всего, он обернулся назад к трубачу, и резкие звуки сигнала огласили мирные поля. Фыркнули кони, иные хрипло, тяжело задышали, и, гремя оружием, полевым галопом пошел эскадрон.

По-прежнему казаки идут рысью навстречу. Какая дерзость! Всего только триста шагов разделяют их, пора перейти в карьер...

— В каррьер-рр... Маррш-марш! — обернувшись к эскадрону, хрипло кричит Пршепетковский и вонзает шпоры своему коню, готовый первый налететь на мелкоконную казачью сотню...

Но атаковать некого... Перед Пршепетковским видна далекая пыльная дорога, сереют домики деревни Кореличи, видны березки здесь и там, стог сена и брошенная у дороги борона...

А вправо и влево бешено скачут казаки и растягиваются лавой на далекое протяжение. Собираются они по подкрылкам и летят кучками с флангов на улан, несущихся вперед и вперед. Растерялся Пршепетковский. И справа и слева казаки, и спереди и сзади — откуда они взялись? Была одна сотня, а теперь... Вот уже один погрузил свой дротик в бок флангового унтер-офицера Ровинского, вон лейтенант Сакре падает с перерубленной рукой.

— Позвольте,— хочет крикнуть Пршепетковский,— так нельзя атаковать! Это не по правилам! — Но вспоминает он, что это казаки, что у них правил нет, что это дикие люди, «поношение рода человеческого», и панический ужас нападает на него.— Назад, назад! — кричит он.— Повзводно налево кругом...

Но не надо повторять этой команды — уланы сами скачут назад, а казаки преследуют их.

Вот и его настигли. «Как скоро скачут, однако, эти маленькие лошаденки!» — проносится у него в голове, а уже над ухом слышен голос: «Жете лезарм! Бале зарм!» — и острие пики направлено в бок.

Бросил свою саблю Пршепетковский, схватили за повод его лошадь казаки и повели куда-то...

Куда? Сожгут и съедят, пожалуй!

Изумлен и рассержен граф Турно.

Как! Его лучший эскадрон, его лейб-эскадрон бежит перед ничтожной горстью донцов! Наказать их! Два эскадрона живо развертывают фронт, но опять некого атаковать.

— Подлые трусы! — кричит граф Турно по адресу скачущих в разные стороны казаков.

А у казаков своя команда.

— Гавриличи! — кричит громовым голосом Зазерсков.— Увиливай в кусты!

И в молодые зеленыя скрылась атаманская сотня.

— Переловить этих негодяев! — сипло кричит граф, и два полка развернулись и, гремя саблями, звеня цепками и кольцами мундштуков и потрясая землю топотом коней, галопом скачут за казаками.

А казаки мчатся все дальше и дальше; прошли зеленыя, пролетели через Кореличи, вышли на ровное поле, и вдруг разомкнулась казачья лава, и направо и налево перед самым фронтом улан несутся казаки.

Не успел один; ширнул его пикой улан, хрустнули ребра, и с помутившимся взором упал донец под ноги передового эскадрона.

А из-за развернувшейся лавы видны тесные ряды казаков, краснеют поваленные пики, и с бешеным гиком мчатся казачьи полки на свежих лошадях навстречу утомленным уланам.

Отчаянное гиканье, топот массы коней поражают уланскую бригаду, и она сдает ход, идет несмело, но еще силы

на ее стороне, но и справа и слева слышно уже победное «ура!», и, как васильки по полю, горят голубые шлыки атаманцев, и наскакивают они на фланги!

Поразительно быстр кавалерийский бой! Секунда — и все поле покрыто скачущими по одному направлению всадниками. Уланы бегут, казаки преследуют их... И только жалобно ржущие лошади со сломанными ногами, там и сям в неестественных позах лежащие казаки и уланы, лошади без седоков, скачущие в бой на привычных местах, доказывают, что атака состоялась и была кровопролитна.

Впереди всех в голубом чекмене, с серебром шитым воротником, с толстыми витыми жгутами на плечах, с целой цепью орденов, с бриллиантами усыпанной саблей в ножнах и атаманской булавой в правой руке, на сером коне, с серебряным набором на нагруднике и пахвах (подхвостнике), с серебряной оковкой на тебеньках, скакал Платов, окруженный своей свитой.

Вдохновляло, удесятряло силы казаков его присутствие. Шибче бились сердца, сильнее рубили руки!

Напрасно до хрипоты кричали донцы «жете лезарм» и «бале зарм» — уланы не хотели сдаваться, и начиналась опять стычка: пика вонзалась в ногу, в бедро или в живот, и с пеной у рта, с бессильной злобой во взоре падал улан и оставался в плену.

И всюду, где проносился серый конь и виднелся голубой генеральский мундир, падали уланы, убитые и раненые.

Платов был гением побед, гением казачьей хитрости, это был предмет обожания казаков!

В его славном присутствии забыл свою Олю Коньков, забыл про любовь и счастье и, выхватив саблю, что от деда досталась ему и не раз уже рубила врага, и всадив шпоры Ахмету, вынесся вперед командира и наметил своей целью уланского офицера.

Красив и статен был улан.

Длинные усы его развевались по ветру, а бородка была подстрижена клином. Уланка с султаном сидела на нем особенно лихо, а кровный конь скакал так плавно.

Налетел на него с левой стороны Коньков, замахнулся саблей и тяжело ударил его в грудь.

Брызнула кровь, побелело лицо, и со стоном свалился улан на землю.

— О, ma Lucie bien aimée! * — простонал он, и едкой болью отозвались эти слова в сердце Конькова.

Потускнел для него день, солнце не так ярко светило, и ничего веселого не было в бешеной скачке за бегущим врагом.

Теперь в Платове не было для него прежнего обаяния.

«О, ma Lucie bien aimée!» — задушевная, отчаянная мольба к любимой женщине, к прекрасной француженке, к невесте, быть может, звучала в ушах казака, и виделось ему посиневшее лицо красивого уланского офицера и его одинокий роскошный конь, которого ловили казаки по полю...

И не радовали его теперь ласковые слова Платова, не радовало его и поздравление с орденом Святой Анны.

Встала перед ним была забытая Ольга Клингель, заглянула ему в сердце, и куда девалась суровость, желание убить, поразить неприятеля!

А атака неслась дальше и дальше. Сотни сипаевского полка разомкнулись, рассыпались и, разбившись на взводы, пятидесятки и звенья, летели за своими хорунжими, пятидесятниками и урядниками. Одностаничники и односумы, вглядываясь друг в друга, все поглядывали на своего старшего. А начальники смотрели на сотенных, а сотенные — на полковых, а полковые — на атамана. И как рой за маткой, послушный и гибкий, летел казачий строй пятнадцать верст, преследуя неприятеля.

На первый взгляд беспорядок, орда, дикая, не признающая дисциплины, а вглядишься ближе — исполнение воли и предначертаний одного начальника, одного командира.

Но устали казачьи кони. Боялся зарваться далеко Платов, боялся попасть сам в засаду, в которую так удачно завлек графа Турно. Ведь там, впереди, была пехота Даву, кавалерия Мюрата, там двигались люди на завоевание неведомой страны, двигались, увлеченные одним человеком, одним гением, который обаянием полководца покори́л все сердца.

Опасно было горсти казаков трогать эту громадную армию — и Платов послал ординарца с приказанием прекратить преследование и возвратиться к Миру.

* О, моя любимая Люси! (фр.)

Уже вечерело, когда казачьи полки стали подходить к Миру. Почти каждый казак вел пленного. Двести сорок восемь человек улан, два штабс-офицера, четыре обер-офицера и двадцать один сержант были добычей казаков. А сколько убитых и тяжело раненных лежало там, в поле, на которое спускался вечерний сумрак и белесоватыми клубами стлался туман.

Казаки расседлали коней, раненые перевязывали себе раны, но все шутили, острили и смеялись, вспоминая отдельные эпизоды миновавшего сражения.

Смеялся даже Панкратьев, урядник, которому начисто оторвало левую руку, по самое плечо, которое обрабатывал теперь полковой костоправ.

— Ну, братцы,— говорил он, лежа на носилках,— на войне не без урону — по крайности, дома свидетельство будет, что воевал! А ему, нехристю, чтобы пусто было.

— Да ты, Микита, не сердись. Он же пожалел, не захотел вызволять из веры православной: левую руку снес, а правую оставил — дескать, перекрестись за упокой моей души!

— Ну да и офицеры же наши молодчики. Видали Пидру Микулича?! Как хватил офицера ихнего — и не пискнул.

— Его на это взять. Молод, а хват.

— Сказывали, орден ему выйдет.

— Пора.

— Ну, пора! Давно ли рядовым казаком ездил.

— Нет, братцы, атаман-от наш, ах, атаман, атаман! — раздается молодой, полный восхищения голос, и звонкий тенор запекает:

Он летает пред войсками,
На сером своем коню-ю... —

но дальше импровизация не идет, и песня смолкает.

И веселы все, радостны на казачьем биваке среди полей, по-над лесом, на песчаной осыпи. Веселы кони казачьи, с которых сняли тяжелые седла, ослабили подпруги и стреноженных пустили в молодые овсяные поля, где бродят они, пощипывая нежные, мягкие зерна. Веселы казаки, собравшись вокруг котлов со щами, которые готовятся кашеварами, веселы мужички, прибежавшие из лесов; они принесли хлеба и поздравляют с победой; веселы

офицеры, мечтающие о крестах и орденах, весел и атаман Платов.

Лежа на песке, пишет он Багратиону поздравление.

«Хоть с небольшою, однако же и не так малою, потому что еще не кончилось преследование и, быть может, и весь шести полков авангард под командой генерала Турно-Прадзиминского погибнет; пленных много, за скоростью не успел перечесть и донести, есть штаб-офицеры и обер-офицеры, с Меншиковым (адъютант Платова) донесу, а на первый раз имею долг и с сим Вашего Сиятельства поздравить; благослови Господи более и более побеждать. Вот венгер много способствовал, оттого и начал пошел...

У нас, благодаря Богу, урон до сего часа мал, избавь Всевышний от того наперед, потому что перестрелки с неприятелем не вели, а бросились дружно в дротики и тем скоро опрокинули, не дав им поддержаться стрельбой.

Я Вашему Сиятельству описать всего не могу. Устал и на песке лежа пишу; донесу, соображаясь за сим, но уверяю, будьте о моем корпусе спокойны, у нас урон не велик...»

Рад и Меншиков, что повезет рапорты в главную квартиру: не останется он там без награды...

Один Коньков не весел и не доволен. Не радует, не веселит его дивный конь золотой масти, что достался ему от врага, не веселят поздравления товарищей, платовское рукопожатие и поцелуй. Тщетно ищет он между пленными своего раненого — его нет...

Нацепил на себя саблю Коньков, осмотрел пистолеты, сел на коня уланского, — он свежее Ахмета выглядел, и один, без вестового, выехал в поле.

Стояла теплая июньская ночь. Тихо. И в этой тиши страшными звуками изредка раздается стон умирающего, проклятие или мольба. Какие-то звери, не то собаки, не то волки, ворча, отходят при приближении всадника.

Коньков хорошо помнит «то место». Да и конь, видно, ждет хозяина. Вот за этой межинкой, левее куста. У куста Платов кричал, а это было после...

Вот он... Насторожил свои чуткие уши породистый конь и испуганно захрапел. Соскочил с него хорунжий, нагнулся к улану, и крик радости вырвался из его груди.

Раненый еще дышал. Казак быстро достал флягу с водой и поднес к губам улана. Раненый жадно выпил...

— Merçi... О, моя бедная Люси!.. Как-то тебе...— твердил он в забытьи, по-французски.— Шамбрэ... О, моя Франция, мое дорогое отечество?..— Он взглянул и узнал свою лошадь...— Занетто, мой добрый Занетто... Как она просила... выручить меня... Ласкала, целовала... О, мой добрый Занетто...

Вода освежила раненого. Силы, сама жизнь, казалось, возвращались.

Он приподнялся на локте и увидел казака.

— Казак!..— с ужасом воскликнул он...— Да, это тот.. Тот самый!.. Люси моя, Люси!.. Это он... он...— И раненый упал опять на траву и тяжело застонал.

— Mon lieutenant, — проговорил Коньков, — dites moi votre nom. Je le dirai, je l'écrirai à votre femme. *

Улан молчал. Коньков в тревоге прислушался.

Ни звука, ни хрипа...

Коньков нагнулся ближе: лейтенант не дышал.

С ощущением ужаса сел он опять на лошадь улана и поскакал к дальнему биваку.

Страх скоро прошел... И, странное дело, его больше не мучила совесть, и на душе стало легче, после того как видел он смерть своего врага... Точно он исполнил какой-то тяжелый долг, точно гора с плеч свалилась.

Подъехав к биваку, он разыскал Какурина и передал ему лошадь.

— Возьми Занетто и береги его больше глаза,— приказал он.

— Чего извольтё? — спросил казак, не разобрав имени коня.

— Береги Занетто... Эту лошадь.

— Слушаю,— хмуро отвечал казак.

«Ну и его благородие,— думал Какурин.— Ну, вороной Ахмет, это ладное имя — турецкое, скажем, но лошади приличное, а то, на-ко, «Заметьте» назвали... Что же это за имя?! Я бы его ловчей наименовал — ну, «Улан», а то «Мир», а то и самим «Туркой» — было бы важно... А то «Заметьте». Совсем не ладно!»

И долго еще философствовал по этому поводу вестовой Какурин, а его благородие спал под копной крепким сном, сном здоровой молодости и крепкой силы...

* Мой лейтенант, скажите мне ваше имя. Я сообщу об этом, я напишу об этом вашей жене (фр.)

ХІІІ

Больше сея любви никто же имать, да
кто душу свою положит за други своя.

Ев. от Иоанна 15, 13

И пошли с той минуты каждый день бои и сражения в авангарде Платова. Двадцать шестого июня дрались у Кореличей. Двадцать седьмого июня граф Турна, подкрепленный многими кавалерийскими полками, атаковал Платова у Мира, но к Платову подошли регулярные полки генерал-адъютанта князя Васильчикова, и Турна опять был отброшен. Казака не допускали идти авангард великой армии, и, как бывает при прекращении движения, хвосты напирали, и французская армия собиралась в одну массу. Тем временем и русские армии спешили соединиться вместе. Если бы не несогласие полководцев и не вражда их друг к другу, они бы давно соединились — но Барклай стоял за отступление, Багратион жаждал боя, побед, указывал на успехи казаков и не спешил идти под команду Барклая.

А чтобы неприятель не мог напасть и разбить русские армии порознь, были казаки с их атаманом Платовым, и за их спиной можно было спорить и ссориться сколько угодно. Барклаю было неприятно, что победа у Кореличей и Мира двадцать шестого и двадцать седьмого июня, у Романова девятого июля была в корпусе его соперника, и он писал к Платову, требуя его соединения с 1-й армией, в которую он первоначально, еще до начала кампании, был назначен.

Двенадцатого июля Платов не без удовольствия и тайной радости слушал, как звучно читал ему Коньков письмо Барклаево. «От быстроты соединения вашего зависит спокойствие сердца России и наступательные на врага действия».

А через два дня полученное от военного министра письмо было еще лестнее для донского атамана.

«Я собрал войска свои,— писал Барклай-де-Толли,— на сегодняшней день в крепкой позиции у Витебска, где я с помощью Всевышнего приму неприятельскую атаку и дам генеральное сражение.

В армии моей, однако же, недостает храброго вашего войска; я с нетерпением ожидаю соединения оною со мною, отчего единственно ныне зависит совершенное поражение и истребление неприятеля, который намерен, по направлению из Борисова, Шалочина и Орши, с частью своих сил ворваться в Смоленск, посему настоятельнейше просил я князя Багратиона действовать на Оршу, а ваше высокопревосходительство именем армии и отечества прошу идти как можно скорее на соединение с моими войсками. Я надеюсь, что ваше высокопревосходительство удовлетворите нетерпению, с коим вас ожидаю, ибо вы и войска ваши никогда не отказывали, сколько мне известно, случаем к победам и поражению врагов».

Прочел это письмо атаман, прочел раз, другой, потом собрал вокруг себя полковников своих и прочел им лестный для войска Донского отзыв военного министра.

— Я бы три раза мог соединиться с Первой армией,— сказал атаман,— хотя бы даже и с боем. Первый раз чрез Вилейку, другой раз чрез Минск и третий раз от Бобруйска мог пройти чрез Могилев, Шклов и Оршу, когда еще неприятель не занимал сих мест, но мне вначале от Гродно еще велено действовать во фланг, что я исполнял от двенадцатого июня по двадцать третье число, и, я вам скажу, не довольно во фланг, другие части мои были и в тылу, когда маршал Даву находился при Кишнево; а потом я получил повеление непосредственно состоять под командой князя Багратиона. Тогда я, по повелению его, прикрывал Вторую армию от Николаева, чрез Мир, Несвиж, Слуцк и Глусск до Бобруйска, ежедневно, если не формальной битвой, то перепалкой, сохранил все обозы, а армия, я вам скажу, спокойно делала одни форсированные переходы до Бобруйска. Тут я получил от Михаила Богдановича (Барклая-де-Толли) повеление следовать непременно к Первой армии, о чем было предписано и князю Багратиону. Вы помните, он меня, я вам скажу, отпустил весьма неохотно, оставив у себя девять полков донских и один бугский, хотя сказано ему было только восемь оставить. Я не оспаривал, я вам скажу, о двух остальных полках и пошел поспешно к старому Быхову, минуя в ночь армию, идущую по пути к Могилеву... Вы помните, атаманы-молодцы, как нагнал меня на почтовой бричке князь Багратион у самого Старого Быхова и объявил мне, что

будет иметь генеральное сражение с армией Даву при Могилеве, и я должен был остаться на два дня, ибо-де сих резонов за отдаленностию главному начальству неизвестно было; говорил он тогда, что он меня оправдает пред начальством и даст на то мне повеление. Тогда я и сам, рассудя, принял в резон и остался. Вместо того, вы, господа, это помните, генерального дела не было, а была одиннадцатого числа битва, и довольно порядочная. С обеих сторон если не десять, то девять тысяч убитыми и ранеными пало, что мне точно известно. Нашего урона был очевидец, я вам скажу, а об уроне неприятельском узнал на другой день от взятого пред Могилевом в плен офицера. И теперь мы все перед неприятелем, и я вам скажу, что, быть может, нам прибыльней скорее соединиться с Первой армией, ибо, как она находится позади, нам и дела меньше будет. Как думаете, господа?

Зашумели, заспорили молчавшие доселе полковники. Громким гулом наполнилась изба.

— Где больше боя, там больше славы! — сказал полковник Балабин, вставая пред атаманом.

— Верно сказано, — молвил генерал Иловайский.

— Драться-то лучше, чем так дуром отступать, — проговорил, расправляя усы, полковник Сипаев.

— Ваше высокопревосходительство, — кричал «письменюга» Каргин, — дозвоьте слово молвить. Вот с шестнадцатого июня и до сей поры, около месяца уже будет, без роздыха мы всякий день форсированные марши делали, лошади в полках притупели, и много раненых и усталых брошено — дозвоьте отдохнуть хоть маленько.

— О, отдохнуть бы не мешало, — поддержал Каргина Луковкин.

— Хоть бы денька два вздохнуть, не седлать бы!

Балабин, Иловайский и те стояли за то, что отдых будет необходим.

Долго шумели полковники, а Платов молчал и задумчиво глядел в оконце, где билась и жужжала большая муха.

Наконец смолкли полковники и, смотря на атамана, ждали его решающего слова. А он все молчал и смотрел на муху, что тревожно билась в стекло.

— Петр Николаевич, — наконец сказал он своему ординарцу, — выпусти, голубчик, ее на волю.

Коньков бросился к окну. Полковники с недоумением переглянулись.

XIV

...Артиллерия и кавалерия нуждались в лошадях, продовольствие стеснялось — слухи не благоприятствовали; строптивые указывали на казаков, обладавших множеством завлажденных в добычу лошадей. В настоящем случае Михаилу Андреевичу Милорадовичу поручен был арьергард, а Матвей Иванович устранен от команды. Маялся он и горевал отчаянно во дни перелома изнеможенного уже неприятеля, владевшего Москвой в головнях, но еще страшного...

*Письмо Кирсанова к Михайловскому-Данилевскому, 24 ноября 1836 г.
Военно-Ученый Архив. Дело № 1835*

Мелкий дождь моросит как сквозь сито. Скошенные луга, сжатые нивы размокли, сделалось скользко и грязно. Бурливо бежит неширокая речка, плеснет на повороте о камень, застынет в лимане, покрытом крупными листьями кувшинок, и опять несется вперед, холодная, темная. Мрачными силуэтами выделяются леса и деревни. Ночь неприятная и сырая. В громадном стане, что раскинулся на много верст, тихий шорох, у чуть тлеющих костров разговор — никто не ложится. Ожидание чего-то таинственного, торжественного видно на всех лицах; все готовятся к необычайному мировому событию. Солдаты на холоду и на дожде переодеваются в чистые рубахи, осматривают ружья и штыки. Артиллеристы хлопочут около пушек — и все упорно ищут дела, чтобы скорее прошла эта трудная ночь ожидания.

Враг близок. Его бивуачные огни совсем надвинулись на наши, и там тоже не спят, тоже ожидают чего-то. По крайней мере, движутся огни, раздаются мерные крики. Все, все стянулось к Бородину, чтобы здесь открыть карты, чтобы в честном бою решить свою участь. Одни завтра будут драться за родину, за святую Русь, за Москву, за поруганные храмы, за потоптанные нивы и разоренные деревни, другие будут драться из-за награды за тяжелые труды во время похода.

Но то будет завтра, а сегодня, в дождливую, холодную ночь, двадцать пятого августа, в стане как в русском, так и во французском идут приготовления. Одни молятся и прощаются, делают последние распоряжения, другие пьянствуют и ликуют, заранее торжествуя победу.

Но не все одинаково готовятся к бою. Не все на местах. Вот два всадника подъехали к речке, вот спустились они по обрывистому берегу, вот, дав шпоры коням, вошли в темные, холодные волны. Вот они уже на другом берегу и бегут рысью, минуя деревню, минуя стан кавалерии.

— Кто идет? — раздался суровый оклик.

— Свои.

— А, это вы, ваше благородие!

А его благородие уже далеко за цепью казачьей и пошел по зеленым. Мокрые листья бьют по ногам, иногда задевают за лицо, и холодные струйки бегут за воротник.

— Ваше благородие, не ездите туда, вот там их часовая.

Молчание. Только лошадь осторожнее ступает да всадник как-то весь вытянулся и обратился во внимание.

— Пидра Микулич! — слышится сзади робкий шепот.— Вот вам крест, мы уже у неприятеля, вернемтесь.

Молчание. Еще внимательнее стал Коньков.

Вот на горке вправо стоит эскадрон. Неужели один? Да, один. Вот конец их цепи, окрайка бивуака. Это пехота, наверное! Ружья составлены в козлы, и темными рядами видны спящие люди. Вот и обоз. Фуры, двуколки, провиантские повозки и крытые телеги со всяким скарбом образовали запутанный лабиринт.

Лошадь ступила в лужу, и раздался тихий плеск. Маленькая серенькая лошадка, косматая и лохматая, в шлее и седелке, привязанная к борту телеги, насторожилась и тихо заржала, словно предупреждая своих.

— *Qui vive?* * — раздался несмелый оклик.

— *Mais soyez tranquilles. Si vous ne voyez pas — lieutenant d'Abbrez...* **

Снова наступила полная тишина. Только Какурин волнуется.

«Ну, служи таким сумасшедшим господам,— думает он.— Ведь сидят же другие дома! Одного его понесла нелегкая путаться в неприятельских кошах!» — «Так не ездил бы,— говорит внутри его чей-то голос».— «Эка, сказал тоже, не ездил бы!.. Так я его, Пидру Микулича, и покину одного, ну, сохрани Бог, случится что! Кто тогда

* Кто идет? (*фр.*)

** Все спокойно. Разве вы не видите — лейтенант д'Аббрэ.. (*фр.*)

вызволять-то станет! Нет, стали служить вместе, так уж и будем. А каторга — служба! Хуже собачьей. Мокни, да дрогни, да трясись так всю ночь. Вчера не спали, сегодня не спим, да и завтра не будем спать — это верно. Да вот без отца-то, без матери, без никого, — сейчас и храбрости больше, жизни, значит, не жаль!»

Все видел, все высмотрел Коньков и, довольный, возвращался назад, к бивуаку за рекой Калочей. Будет чем утешить старика, будет чем порадовать.

— А его, бедного, обидел черт одноглазый. — Нелестное прозвище относилось к Кутузову. — Мы ли не страдали, мы ли не терпели, полагая за них свою душу, — нет, все мало! Хотели, видно, и победы нести на наших плечах, а самим награды получать. Бедный атаман пять дней лихорадкой промучился, и теперь только и жив, что горчичной настойкой.

Нежная жалость наполняет сердце Конькова. Петр Николаевич не злой человек, хотя много он народу перерубил да перепортил. Это не беда! На то ведь война, а так он что же. Он всех любит, добрый он.

Так думалось хорунжему Конькову, когда мелкой рысью подъезжал он к своему бивуаку. Вот и Калоча, вот роща, а здесь и стан казачий.

— Где атаман?

— А вон они, под дубочком, в палатке.

Коньков слез с лошади, отдал ее вестовому и вошел в палатку. Платов сидел один, в своем беличьем синем халате, и задумчиво смотрел на разложенную карту. В палатке было холодно и сыро, полотно намокло и нагнулось, свечка тускло горела. И жалкий вид был у постаревшего, за несколько дней болезни осунувшегося донского атамана.

С тех пор как Платов впал в немилость, а это началось с семнадцатого августа, с момента приезда Кутузова в Царево Займище, полковники стали группироваться вокруг генерала Иловайского и генерала Орлова, вероятных кандидатов на атаманское место, и Платов стал одинок. Даже адъютант его, Лазарев, ординарцы и те стали как будто невнимательнее и в свободное время куда-то исчезали. Один только Коньков оставался неизменным собеседником атамана. Он еще больше полюбил Матвея Ивановича в этот начальный период немилости; ему было жаль старика, и он все готов был сделать, чтобы только утешить его.

— Что, дорогой, скажешь? Где пропадал эту ночь? — ласково обратился к нему Платов.

— Был на позиции неприятеля, ваше высокопревосходительство.

— Как? — переспросил атаман, думая, что он не слышал.

Коньков подробно рассказал про поездку: Калоча проходима вброд. На левом фланге у неприятеля всего один эскадрон. Обозы без прикрытия, стоят в беспорядке, а не вагенбургом. Нападение возможно и удобно.

Платов внимательно слушает, смотрит, как тонкие пальцы ординарца водят по карте, и улыбка удовольствия покрывает его лицо.

— Ну, спасибо, дружок, большое спасибо! Таков ординарец, я вам скажу, и должен быть. Ты многого достоин, да наградить-то тебя не имею я власти! Спасибо, что не покинул меня, не так, как другие,— с горечью добавил Платов.

— Вас покинуть, ваше высокопревосходительство! Да что я изверг, что ли? Мохамед подлый?

— Ну, спасибо, дружок. Ляг здесь, на моей постели, я все равно ложиться не буду; ляг, отдохни. Да на, выпейка горчичного.

И старый атаман внимательно укладывал ординарца на постель, и, когда Коньков, трое суток не смыкавший глаз, заснул, Платов бережно укутал его одеялом.

Светало. Дождь перестал. Обрывки серых туч быстро неслись по небу, и восток алел; в одних армиях было движение. Солдаты, после тяжелой ночной дремоты на сырой земле, потягивались и разминались; утренний холодок пробирал их; лошади встряхивались и беспокойно ржали, ожидая обычной задачи овса, денщики вздували самовары, а господа офицеры надевали мундиры.

На крайнем правом фланге, у самой Калочи, расположился кавалерийский корпус Уварова, еще левее стали казаки. Чуть свет лошади были поседланы, полки вытянулись во взводные колонны, но еще не сажались. Люди собрались между взводами и молчали,— у казаков еще был разговор. Они как-то хладнокровнее относились к сражению. «Москва» для них не имела того священного значения, что заставляло бы их особенно трепетать за нее, особенно думать о битве под первопрестольной. А поговорить им было о чем. Первый раз после Гродно они

сошлись с армией, которую защищали больше двух месяцев. Опять увидели они белые штаны и зеленые мундиры, услышали русский говор и немецкие команды. Обычай, порядки, сигналы, которых тогда у казаков не было, — все это интересовало и возбуждало их внимание. К тому же Бог весть кто пустил слух, что будет поиск в тыл, что атаман позволит грабить и можно будет поправить свои обстоятельства.

А «обстоятельства» пора поправить! Даже на офицерах мундиры рваные, лошади подбились, патронов немного остается... И рисуются в мечтах у казаков тяжело нагруженные серебром, золотом и оружием повозки, и задумчиво смотрят они на лес, за которым их ожидает добыча.

Солнце поднималось выше, лучи становились ярче, в воздухе — теплее.

— Бум! — одиноко ударил выстрел на французской батарее; молочно-белый клуб дыма медленно выкатился, озолотился сверху солнечными лучами и медленно растаял. Было почти шесть часов утра.

— Бум! — сейчас же ответили с готовностью у русских, и канонада началась.

Перекрестились солдаты, и в сознании каждого мелькнула одна мысль: «Началось, Господи благослови!»

Принц Гессенский поехал к Кутузову за разрешением сделать поиск в тыл. Две атаманские сотни, с полковником Балабиным, побежали на разведку и для развлечения французской уланской заставы.

Потянулись долгие, скучные часы. Напряженно всматривались казаки в ту сторону, откуда должен был появиться Гессенский, и страх отказа и надежда на разрешение были на их лицах.

А слева уже кипел пехотный бой. Вдруг сразу вылетали стайки дымков и раздавался треск залпа, потом такая же стайка дальше и опять треск, покрываемый гулом орудий.

Все были заняты, все были сосредоточены. Одни стреляли, другие наводили, третьи заряжали, и ни о чем больше не думали, как о своем маленьком деле. Круг мировоззрений каждого вдруг сузился до чрезвычайности, весь мир был позабыт. Наполеон, Бородино не имели ничего общего с людьми, а было: друг — оружие, патрон — голубчик, было дело скусывать пулю, насыпать порох... Родненькой шомпол забивал пулю, а на кремень насыпался порох. И кремень, и курок стали словно одушевленные большие

предметы, а самому хотелось сделаться узким и тонким, как сабля, чтобы пули проносились мимо

«А что рядом убили Иванова — не беда, оно даже и не заметно, а ловко, что не по мне хватили», — вот что было на сердце у каждого, вот что думалось каждому в эти тяжелые минуты Бородинского боя.

Бой быстро разгорался. С развернутыми знаменами, с громом музыки шли полки вперед, таяли от ружейного огня и ядер, дружно кидались в штыки, отбивались и снова шли... Время летело незаметно в центре позиции, где распорядился сонный Кутузов, где были построены фланги и батареи. Казаки с тревогой прислушивались к шуму боя и все ждали позволения.

И вдруг радостная весть разнеслась по бивуаку

— Позволено! — побежали полковники к своим полкам, раздалась команда: «Садись», и сотни казаков двинулись через Калочу...

В тылу французской армии действительно было неустроено. 86-й пехотный линейный полк отдыхал здесь, составив ружья, фушштаты, лакеи и денщики в серых блузах играли беспечно под повозками в карты, другие чистили платье, повар какого-то маршала в вырытой в земле кухне готовил обед, иные спали, завернувшись в шинели, иные задумчиво смотрели на лабиринт повозок, на бледное русское небо, на леса и кусты, на мокрую землю. Грохот орудий и трескотня ружей тут были менее слышны, а потому и бой не так чувствовался. Фланг охранял уланский эскадрон, которого с утра развлекала лава атаманского полка. Сначала она беспокоила его своими эволюциями, своим протяжением, но потом к ней присмотрелись и не обращали больше внимания. Солнце высоко поднялось, от мокрых мундиров и шинелей шел легкий пар, и приятная теплота клонила ко сну.

Было двенадцать часов дня, когда лава атаманцев вдруг широко раздалась, и из-за густых зеленей стали высыпаться сотни одна за другой — и сколько их! — без числа. Молча, как привидения, выносились одни из кустов и деревьев и скакали вперед без криков и шума. Уланы бросились было навстречу, послали донесения, но живо были перерублены и переколоты, и сотня трупов доказала, что они свято исполнили свой долг.

Линейцы начали строить каре, даже дали залп, но не могли задержать кавалерийских масс. Фушштаты, денщики

и лакеи поспешно кидались на лошадей и скакали к армии, разнося по ней страшные слова: «обойдены» и «казаки». Дорвались голодные, обтрепанные казани до давно жданной добычи, пососкакивали с лошадей и буквально зарылись в тяжелые фуры с амуницией и одеждой.

Все годилось казаку. Риза с образа выючилась рядом с перламутровой шкатулкой, и все прикрывалось стеганым одеялом и штиблетами: на шпагу клался тяжелый вальтрап, золотом шитый, а сверху пестрая шаль...

Остановить грабеж было невозможно, офицеры и Платов это понимали. Выслав атаманцев и еще кое-какие твердые полки на стражу, они хладнокровно ожидали, когда страсти поулягутся и пройдет первая жажда добычи. Корпус Уварова дебутировал из лесу, и стройные регулярные эскадроны галопом шли дальше в тыл, навстречу легкой кавалерийской бригаде Орнано.

С изумлением и презрением смотрели офицеры лейб-драгунского, лейб-гусарского, лейб-уланского и нежинского полков на вывернутые повозки, разбитые сундуки.

— Безобразие! Орда, а не солдаты! Никакой дисциплины!.. Один беспорядок — никакой пользы от них!

И продолжительное спокойствие за казачьими спинами с одиннадцатого июня по двадцать шестое августа забывалось за минуту старинной страсти к грабежу, к добыче...

Чтобы отвратить солдат от казачьего разгула, слышна в рядах команда: «На четыре повода, равнение направо — галопом... И чище глаз... равне-ение!»

Плавно идет галопом корпус, и завистливо смотрят глаза солдат на гуляющих казаков.

Но время кончить. Коньков на Ахмете летает карьером среди повозок, передавая приказание — по коням! Преследовать французов за лес.

Живо собираются казаки в сотни и уже скачут сквозь густые зелена навстречу дружным залпам линейного полка.

А в то время как Платов и Уваров хозяйничали в тылу, французы готовили последний удар.

Начальник артиллерии Сорбье усилил огонь центра тридцатью шестью орудиями гвардейской артиллерии и сорока девятью конными орудиями корпусов Латура, Мобура и Нансути. Эти громадные батареи стали громить войска Остермана и принца Виртембергского, находившиеся в центре, а сзади готовился молот, который должен был ударить по слабому центру русской армии и разбить

ее на две части — там в боевые колонны строилась Наполеонова гвардия.

Великий полководец опять овладевал боем, и насморк и головная боль стихали; он чувствовал, что залог победы: «Быть в решительном пункте, в решительный момент сильнее неприятеля» — скоро будет в его руках. Обдуманно отдавались приказания, и уже виделась победоносная российская армия разбитая, как некогда под Аустерлицем и Фридландом, — но там могли на немцев сослаться, а тут немцев не было...

Но были казаки! Казаки со своим Платовым и гвардейская легкая кавалерия с Уваровым выручили всю армию. Из корпуса вице-короля к Наполеону стали являться ординарцы, адъютанты и курьеры с донесениями, что тьмы казаков и гусар налетели на обоз, смяли бригаду Орнано, часть войска вице-короля и вот-вот обрушатся с тылу на армию, и тогда что будет! Это роковое известие непостижимым образом распространилось по войскам, и с тревогой оглядывались солдаты и офицеры назад, ожидая ужасной атаки с тылу.

Наполеон сомневался, но его уверяли, и он бросил свое место в самый решительный момент боя и поскакал на левый фланг.

Бегущие солдаты и прислуга, несущиеся без толку повозки показали Наполеону, что беспорядок велик и надо его прекратить. Пришлось отвлечь свое внимание от центра — дивизия Порэ и Вислянский легион Кланареда беглым шагом устремились на казаков.

Удобный момент пропал. За эти два часа суеты и отвлеченного внимания делами в тылу войска центр усилился войсками правого фланга и резерва, и промежуток, образовавшийся было между батареей Раевского и Семеновским — ахиллесова пята нашей позиции — был занят.

Наполеону оставалось одно: рискнуть своей гвардией и доконать утомленного врага. Но на просьбы маршалов об резерве, на уверения в победе в случае поддержки Наполеон благоразумно ответил:

«*Je ne ferai pas démolir ma garde. A huit cents lieues de France, on ne risque pas sa dernière réserve*» * — и Наполеон прекратил атаку.

* Я не нанесу удар, уничтожающий мою гвардию. В восьмистах лье от Франции нельзя рисковать ее последним резервом (*фр.*).

Кутузов тоже мог послать всю армию и выиграть сражение, но ему надо было выбирать одно из двух: Москву или армию — и он избрал армию.

К вечеру бой постепенно стих: солдаты заночевали на позиции, уверенные, что завтра начнется новый бой.

Казаки вернулись на старый бивуак. С четырех часов утра и до семи вечера они были на ногах, большинство верхом, много скакали, много прошли и мало ели. Лица были пасмурные, недовольные: от поиска в обозы ожидали больше.

Платов, которому опять нездоровилось, слез с коня и, надевши свой халат, продиктовал рапорт о Бородине Лазареву и собирался лечь спать, как вдруг полог палатки приподнялся, и атаманского полка хорунжий Владимир, бывший в этот день ординарцем при главнокомандующем, вошел в нее.

— Ваше высокопревосходительство, — сказал он, — его светлость требуют ваше высокопревосходительство к себе.

— А ну его, — проворчал Платов, — чего еще им надо! — и стал одеваться.

С Платовым поехал Коньков. Было темно. Люди молча сидели у костров, изредка переговаривались отрывочными фразами, вспоминая, кого убили, кого ранили. Платов с ординарцем часа два пробирались, ища главнокомандующего. Кутузов сидел в избе за белым тесовым столом перед кипящим самоваром. На столе валялись бумаги, карты, конверты. Несколько офицеров генерального штаба и Уваров были тут же. Уваров был красен и надут: за тот поиск, который должен был дать ему большую славу и большие награды, Кутузов его разнес. Он находил, что гвардейская кавалерия и казаки могли сделать гораздо больше, могли решить победу в пользу русских и тогда не надо было бы отступать!

— Казаки! — сказал Уваров. — Казаки только грабили. У них нет дисциплины, они не могут действовать как порядочное войско. Это была толпа мародеров, а не кавалерия!

— Что же вы не сказали атаману?

— Атаман, ваша светлость, был пьян в этот день, — раздался чей-то свежий молодой голос из группы адъютантов и офицеров генерального штаба *

* Чей это был голос, кто мог утверждать то, чего не было, — неизвестно, но клевета нашла себе место, и шестьдесят лет спустя

Кутузов недовольно оглянулся и послал ординарца за Платовым.

Атаман не скоро приехал. Адъютанты острили: «Пока проспится — не скоро дело будет».

Наконец он явился, как всегда, в мундире, при орденах, в кивере, улыбающийся, готовый отражать нападки.

— Что вы там наделали, ваше высокопревосходительство? — хмурясь, спросил Кутузов.

— Вы изволили получить мой рапорт, ваша светлость!

— Знаю я эти рапорты. По рапортам одно, по донесениям тоже очень хорошо, а на деле грабеж, мародерство, безначалие... Что же это такое, войско или орда?

Платов потупился. Действительно, грабежом увлеклись немного. Но разве это такая беда?

— Точно, обозы пощупали, ваша светлость, но ведь и то, я вам скажу, где же казаку и взять в военное время себе справу? День и ночь на аванпостах да в партиях, поизносились, поистерлись, тоже, я вам скажу, надо и то в толк взять, что снабжают нас плоховато... Одежу имеем свою, а в военное время скоро ли из дома-то получишь. Я вам скажу, как и не позволить казаку пошарить, где что плохо лежит.

— Отлично! Значит, вы поощряете мародерство?

Не любил этого слова Платов. Мародерство могло быть у солдат, которых нельзя остановить во время грабежа, а казаки — другое дело.

— И потом,— добавил Кутузов, единственным сонным глазом впиваясь в донского атамана,— почему ваш корпус так широко хозяйничал в тылу за Беззубовом, не мог пройти дальше, не мог отвлечь внимание Наполеона на более долгое время. Вы могли решить победу!

— Я вам скажу, ваша светлость, что войска вице-короля выступили в защиту тыла, а без пехоты и артиллерии я не мог по ним действовать на столь пересеченной местности.

«Изворачивается, старая лиса»,— думал Кутузов, и хотелось ему разнести в пух и прах атамана, попрекнуть его пьянством, приписать ему неуспех всего сражения. Но регалии на мундире Платова заставляли его сдерживаться.

— Все это так,— задумчиво проговорил Кутузов,— но, ваше высокопревосходительство, я нахожу, что вам

«Московские ведомости» приписали неуспех Бородинского боя тому, что Платов был пьян в день величайшей битвы 1812 года. (Авт.)

хотя в дни битвы и генеральных сражений надо быть повоздержней.

Вспыхнул атаман, хотел возразить главнокомандующему, хотел сказать ему, что он не смеет ему говорить такие небылицы, хотел он нарвать уши всем этим мальчишкам, что перемигивались и пересмеивались в углу, да вспомнил, что этим поставит он «войско в размышление, а себя в сокрушение».

Потупился только атаман, и грудь его стала неровно вздыматься от незаслуженного оскорбления.

— Завтра армия отступает. Ваш корпус остается на старом месте, в помощь вам я дам два егерских полка и тобольцев с волынцами. Да смотрите, ваше высокопревосходительство, — возвышая голос, договорил Кутузов, — чтобы я отступил спокойно и без потерь и боев. Быть может, я дам сражение под Москвой, силы армии нужны будут, нужен будет и отдых — вы должны мне его обеспечить.

Недовольный возвращался Платов из квартиры главнокомандующего.

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день... Ну, наварили на Маланьину свадьбу, нечего говорить, хорошо удостоили! Их центр, слышно, спасен нашей атакой, а он, на-поди!.. Наполеона хотел взять голыми руками — извольте разрешить задачу: с шестью казачьими полками да четырьмя пехотными задержать наступающую после полупобеды армию».

Не мог успокоиться, не мог заснуть Платов в эту ночь. Бледное утро осветило побоище, осветило ряды трупов, сломанные лафеты и повозки, брошенные укрепления. Русская армия отступила. У французов все было тихо. Они чистились и оправлялись после боя. Казаки остались на бивуаке, поделили добычу и вдруг одиноко почувствовали себя без армии, без поддержки, лицом к лицу с неприятелем.

Теснее сжался арьергард, эта маленькая кучка перед великой армией.

А на другой день, двадцать восьмого августа, начался бой. Егеря Розена выслали цепь, казаки маячили лавой — но их теснили и они, сражаясь целый день, то кидаясь в атаку, то спешиваясь и стреляя, цепляясь за каждый куст, за каждую балку, отступали к Можайску.

Под вечер Платов написал главнокомандующему о положении дел: «Неприятель перед нами и в силе: по объявлениям же от взятых нами пленных, здесь сам Наполеон,

Мюрат, Даву и Ней и вся та кавалерия, которая была 26 числа сего месяца у деревни Бородина. Я с арьергардом, по прекращении целодневного сражения, расположился, вышедши из леса, на высоте примерно от Можайска верст 15. Завтра, что последует, имею долг донести »...

Если бы Платов мог видеть, какой эффект произвел его рапорт в главной квартире, он бы, наверное, поставил себя « в размышление, а войско в сокрушение ».

Дело в том, что: « примерно от Можайска верст 15 » — выходило, в действительности, от главной армии версты три — какое же значение мог иметь такой арьергард? Какое спокойствие могло быть в армии, стоящей в трех верстах от неприятеля?!

— Нет,— сказал Кутузов,— он стар, и походы его слишком истомили. Ему нельзя командовать арьергардом.

В тот же день Платов получил предписание сдать свой корпус графу Милорадовичу.

Собрал своих детушек атаман, слезно простился с ними, обнял ординарцев, поцеловал Конькова, сел в кибитку и помчался на Тихий Дон.

— Стар я, говорят, сил нет... Посмотрим! — ворчал себе под нос донской генерал.— Подыму весь Дон от старого до малого и соберу такие силы казаков, от которых Наполеон убежит совсем вон из России. А ежели который найдется смышленный казачишка, что самого Императора французов в плен возьмет,— отдам ему в замужество дочь свою богоданную! Вот как будет... Посмотрим, кто из нас старье!

XV

...Тебя непременно спросят: « А что у вас на Руси? » Удивительно! Казаки будто не считают себя русскими, и в то же время целые полки их берегут Россию. Они стоят за Русь, они ее дети — все, от атамана до простого казака,— они русские; в них тоже православная вера, тоже рвение за честь Царя, но все спрашивают: « Вы русский? Вы из России?.. » Странно!..

А. Филонов. Очерки Дона. Стр. 3, 4

В ясное сентябрьское утро Коньков явился к новому арьергардному начальнику.

Милорадович, красивый молодой генерал, с открытым умным лицом, бойкий и веселый, сидел на лавке перед деревянным столом и что-то писал. Одет он был в мундир, во всех орденах, был при сабле. Шляпа с высоким пером лежала подле, шпага была одета, подбородок тщательно подбрит, изба была пропитана ароматом духов — это был щеголеватый гвардеец, собирающийся на бал, а не начальник арьергарда армии, стесненной обстоятельствами и принужденной отступать. Впрочем, Милорадович был всегда таков — подобно Мюрату, этот Баярд русской армии любил пышно одеться, любил пронестись на борзом коне вдоль позиций, закутанный в драгоценную шаль.

— А, господин хорунжий, пожалуйста...

— Ваше сиятельство, честь имею явиться...— начал было Коньков, но Милорадович перебил его:

— Все это я знаю,— а вот ваше имя и отчество?

— Петр Николаевич, ваше сиятельство.

— Ну вот, садитесь, дорогой Петр Николаевич, сюда. Сядем рядком и потолкуем ладком.

Коньков не хотел было садиться, но новый начальник за рукав притянул его к скамье.

— Ну, как у нас казаки поживают?

Это «казаки», презрительно-уменьшительное, покоробило ординарца донского атамана.

— Донские казаки, ваше сиятельство, жаждут чести еще раз сразиться за Москву, первопрестольный град, и грудью отстоять ее.

— Ну, этого не придется. Мы сдаем Москву.

И, как бы желая отделаться от тяжелых мыслей, он со свойственной ему живостью переменил разговор:

— Вы ко мне ординарцем назначены? Какой молодой — а уже и Анна и Владимир... Где это вы?

— Анну,— слегка оживляясь, отвечал Коньков,— получил я за Кореличи и Мир, а Владимира — за Молево болото.

«Ну что я еще буду говорить с ним,— думал Милорадович.— Хотя он и очень молодой человек и не слишком дик, но о чем говорить, право, не знаю...»

— Теперь можете быть свободны, а в одиннадцать часов явитесь за приказаниями.

Коньков вышел.

«Нет,— думал он,— этому куда же до Матвея Ивановича. Стелет-то мягко: «вы» да «вы», «пожалуйста», а какой с этого толк?»

Толку казакам действительно не было. Днем их передовое место заняли гусары и драгуны, а казаки были отозваны в тыл, но настала пасмурная, дождливая ночь, и казачьи полки по-старому вытянулись аванпостами у неприятельских бивуаков.

— Ишь ты, только, видно, на черную работу и годимся. Нет того, чтобы поручить какое-нибудь дело!

И полковники не торчали, как прежде, целыми днями в главной квартире, беседуя с Платовым и обучаясь у него военному делу и казацкой хитрости. Они сидели по полкам своим, хмуро смотрели, как гибли от простуды лошади и люди, и недовольно отступали. У них в эти тяжелые осенние дни не было такого ужасного чувства страдания при потере Москвы, какое испытывал всякий русский, для них Москва не являлась столицей родины, они готовы были сражаться за нее и умереть, но только по чувству долга, по своей обязанности.

Из казаков-ординарцев Милорадович оставил при себе одного хорунжего Конькова, особо рекомендованного ему Платовым. Скучно было молодому казаку среди чужих ему людей, без атамана, по-родному относящегося к нему. Милорадович был утонченно вежлив, но не допускал ни малейшей фамильярности, и Коньков, кроме как по службе, ни о чем с ним не разговаривал. Остальные ординарцы, эта плеяда искушенной опытом золотой дворянской молодежи, пылкой и легко увлекающейся, имела свой сплоченный кружок и не приняла в него казака. Впервые понял Коньков, что ни славные победы в минувшие войны, ни историческое прошлое Дона в глазах некоторых людей ничего не значили. Эти самые «сиповские» офицеры, которых он не Бог весть как уважал, смотрели на казаков полупрезрительно, именовали их «казачки» и признавали, что донцы годны только на черную работу, в разъезды, на аванпосты и для охранения транспортов и обозов. Не признавая за казаками военного образования, они отдавали должную справедливость их сметке и находчивости, и каждый из них старался иметь у себя в услужении или на ординарцах казака. Когда они узнали, что Коньков рядовым казаком начал свою службу, что он даже не уверен в том, дворянин он или нет, что родной дядя его служил в сипаевском полку урядником, а брат — дьячок в Вешенской станице, они стали его

слегка сторониться, и прозвищем его стало «брат дьячка».

Коньков часто слышал, как один у другого спрашивал: «Кто сегодня при князе ездит? — «брат дьячка»? И не мог понять Коньков, что же унижительного, что худого в том, что он брат дьячка. Но натянутость отношений чувствовалась, и Коньков держался уединенно.

Чтобы понять такие отношения, надо посмотреть, какая и действительно была рознь между донским казачьим офицером и офицером регулярным.

Офицер павлоградского, северского и других регулярных полков имел свое родовое имение с двумя-тремястами крепостных, имел с него доход, который проживал в кутежах, дорогих обедах и охотах. Солдат был его раб. Он был далек от него, он был сравнительно с ним «белой кости». Он мог служить ему примером, учить его, «снисходить» до разговора с ним, но стать с ним наравне не мог. Он кончил университет, в худшем случае — корпус или пансион, французский язык был ему знаком с детства: он был образован. Он шел служить потому, что его прельстил военный мундир, потому что в нем пылал патриотизм, желание славы, наконец, потому, что дворянину принято служить в рядах офицеров русской армии.

Не то совсем было у офицеров войска Донского. За исключением богатой и высокообразованной аристократии лейб-казачьего и частью атаманского полков, тянувшейся за регулярными, проживавшей сотни тысяч, имевшей такие же замки-поместья, крепостных, задававших балы и обеды, гремевшие по всему войску, за исключением их все остальные были народ небогатый. Заурядный офицер войска Донского имел именье у себя, тут же, на Дону, необширное, плохо обработанное за отсутствием крепостного труда. О роскошных барских домах и затеях бар крепостного времени он и не слыхивал. Его отец провел всю жизнь в боях: дрался и с турками, и с калмыками, и с кавказцами, ходил с Суворовым в Италию, делал походы с Краснощековым в Пруссию, дрался против Пугачева и Разина. Кровавые предания передавались из рода в род — от отца к сыну, от деда внуку — с тяжелой, острой как бритва, дедовской шашкой. Боевые песни убаюкивали его младенцем, боевые, тягучие, полные восхваления воинских подвигов песни слышал он и от станичных

стариков, перед которыми играл на улице в айданчики. Верховая езда и стрельба из лука и ружья — была его школа, а старая протертая Псалтирь, преподанная кривым пономарем станичной церкви, была его наука. Он с детства болтал по-татарски, а иногда и по-турецки с пленными ясырками, оценивал лошадь по первому взгляду и ездил на ней без школы, без правил, правильно и умело. Юношей охота в степи, метание дротика делали его смелым и метким. Тринадцати, много пятнадцати лет он поступал простым казаком в служилый полк и нередко с места уходил в поход. Это была его военная школа. Здесь на практике проходила и топография, и тактика, и артиллерия, и фортификация. Без карты и компаса донской офицер ориентировался на незнакомой чужестранной местности, без устава водил сотню, то раздвигая ее в лаву, то смыкая в колонны. Без понятия о траектории и сопротивлении воздуха заряжал и стрелял из орудий. На походе старый урядник, а то и бывалый офицер посвящал молодежь во все тайны военного искусства. Сметливый и любопытный от природы, он живо подмечал все нужное и накоплял себе новые и новые знания. За отличие или «по протекции» его производили в урядники, а потом и в хорунжие. Он надевал эполеты и жгуты из серебра; «из дома» старушка мать справляла ему тонкого сукна синий мундир, казаки ему снимали шапку, но видели в нем не человека «белой кости», не что-то высшее, благородное, а своего брата казака, отличенного за службу Государем. У него и товарищи были наполовицу казаки.

Вечером в среду песенников, входили и офицеры, и они пели те же песни, потому что не знали других. Их грозно-унылый, с детства привычный донской напев был им дорожке всего.

Коньков принадлежал к числу таких офицеров.

Петербургская жизнь немного обтерла его, отшлифовала, но в душе он остался простым, глубоко верующим, сердечно любящим казаком. И трудно ему было сойтись с ординарцами Милорадовича, любителями в картишки поиграть и нечисто поговорить про женщин, а Конькову, у которого все женщины воплощались в одной Ольге Клингель, тяжелы были такие разговоры.

Один ему понравился более других, и с ним он иногда разговаривал. Звали его Владимир Константинович

Воейков. В нем было то же, что и в Конькове, такая же сентиментальность, любовь к природе, к лошади, к старухе матери, новгородской помещице, и к двоюродной сестре. имени которой он никогда не называл. И красив он был так же, как и Коньков, хотя красота его была в другом роде, нежная и чистая. Он сильно напомнил своими манерами и, главное, тихим голосом Ольгу Клингель, и Коньков стал искать дружбы с ним. Воейков не отказывался, но и не навязывался. Иногда вечером, когда в квартире Милорадовича все утихнет, они гуляли вдвоем и рассказывали свои приключения. Коньков, благодаря трем походам, которые он одолел, оказался гораздо развитее, зато Воейков брал образованием и начитанностью.

— Отчего вы всегда грустный и такой странный... Задумчивый вечно? — спросил его как-то вечером, бродя с ним по пыльной деревенской улице, Воейков.

— Так, есть причины, — уклончиво отвечал Коньков.

— Вы мне не доверяете? — сказал Воейков. — Знаете, со мной самим так бывает. Мучит что-нибудь, терзает, а расскажешь кому-нибудь, даже, представьте, поплачешь — и легче станет.

Коньков взглянул на этого хорошенького безусого мальчика и подумал: «Да, он может плакать».

— Еще бы не быть грустным, — сказал Коньков. — Наша армия разбита. Москва сдана и разграблена, что будет дальше — неизвестно...

— Победа! — уверенно заметил Воейков.

— Хорошо так! А вы думаете, легко мне было видеть погром Москвы. Пять месяцев тому назад я проезжал через нее: это был цветущий город, полный народа, говора, шума, бойкий, торговый! Всюду были лица, всюду была толкотня. В окнах лавок виднелись товары, ситцы, холсты, сукна, вина, мебель, картины. Колокола звонили так торжественно, кареты и пары цугом, сани, тройки — все это было роскошно и богато. А теперь? Я ехал тогда за вами по городу. Всюду грязь, слякоть. Хмурое небо словно плачет над нашим позором, материи, порванные и разбросанные здесь и там, разбитые бочки с вином, эта плохо вооруженная, пьяная чернь, что окружала нас порицаниями и хвалилась побить Наполеона. Сам Ростопчин, униженный и угнетенный, — все это не такие картинки, которые могут развеселить.

— Будто позор Москвы вас мог так расстроить? Не вы ли сами говорили мне недавно, что вы удивляетесь рвению казаков и их горю при потере Москвы, которую они совсем не знали и которая для них не такая святыня! Нет, мне кажется, грусть ваша иного сорта.

— Иного? Да, если хотите.

— Отчего бы вам не поделиться со мной?

— Да? Поделиться? — задумчиво переспросил Воейкова Коньков.

— Как вы смешно это сказали. Вы мне поразительно напомнили одну мою хорошую знакомую, старинную приятельницу, друга детства... Я два года ее не видел, правда, но у меня так и стоит в памяти ее манера говорить, отвечать, а самой думать свою думу.

— Кто же это такая? Не секрет?

— Нет. Это Ольга Федоровна Клингель.

— Ольга... Оля... Ольга Клингель... — и волнении про-
бормотал казак.

— Вы знали ее? Вы были знакомы?

Коньков овладел собой.

— Да, я был знаком с нею.

— Вот она тоже так иногда напускает на себя патриотизм. Я ее всегда знавал за петербургскую немочку, умненькую, любящую родину, но не до крайности. В войну тысяча восемьсот седьмого года она даже и газет не читала, что пишут, где сражались, в войну тысяча восемьсот девятого, турецкую, финляндскую, тоже мало думала о войске. Теперь вдруг, слышу, с объявлением войны собралась моя Ольга Федоровна и сестрой милосердия ушла из родительского дома. И теперь где-то тут действует с полным самоотвержением...

Замолчал Воейков. Ни слова Коньков. Кругом тихо. В избах горят огни, уставшие за день люди укладываются спать.

— Вы не знаете, где она? — после долгого молчания спросил Коньков.

— Не знаю, право... А что?

— Господи!.. Да я люблю... Люблю ее! — стоном вырвалось у Конькова, и он, бросив изумленного Воейкова, убежал в свою избушку и захлопнул дверь.

Воейков не пошел за ним.

«Вот оно что, — подумал он, — вот и причина тоски. Как странно! Казак, простой, грубоватый, брат дьячка,

хвастающийся, сколько французов и турок положил он «своеручно», и маленькая немочка, нежная и робкая.. Ну, она—то, наверно, нет... Она его не полюбит...»

На другое утро, бледное и холодное, когда камердинер Воейкова тщетно пытался разбудить своего барина, разоспавшегося на мягких перинах, и уже десятый раз докладывал, что их сиятельство встали и вот-от будут играть генерал-марш, Коньков, наглухо застегнутый, в походной форме, явился к Милорадовичу.

— А, здравствуйте, дорогой. Ну, как почивали?

— Покорно благодарю, ваше сиятельство.

— Вы дежурный, что ли, сегодня?

— Никак нет, ваше сиятельство. Я по личному делу Милорадович заинтересовался:

— Что такое?

— Позвольте, ваше сиятельство, мне вернуться назад в строй, в свою сотню. А вам другого ординарца пришлют.

— Что так?

— Конь у меня захромал, ваше сиятельство. Служить не на чем.

— Ну, это пустяки. Ведь у вас два. Да и у француза всегда можете взять. Я это казачкам позволяю... Это пустяки. И незачем вам в строю путаться. Тут вам и служба легче, и отличий больше получите.

— Ваше сиятельство, позвольте лучше в строй.

— Я вас не понимаю, хорунжий. Обидел вас кто? Нет, кажется, не слыхал, служба легкая... Что же, вы мной недовольны?

— Смею ли я, ваше сиятельство...

— И все-таки хотите в строй?

— Страшно желаю, ваше сиятельство.

— Ну, Бог с вами! Насильно мил не будешь.

Через час Коньков, ни с кем не простившись, ехал разыскивать свой полк. И радовался он, что уехал из чужого ему круга знатных персон, радовался, что не увидит он больше Воейкова, которому так глупо проговорился, радовался и тому, что в полку, бродя в партиях, он, быть может, и наткнется на нее... Ведь она тут близко! И шибко билось сердце молодого хорунжего, и волновался он, ожидая, что-то будет!..

XVI

...Говорил ведь тебе, братец, я
приказывал,—
Не мечись же ты, мой братец,
в французские лагеря,
А больше того, мой братец, на их
батареюшку,
Хотел ты, мой родной братец, чин
хорунжего,
А теперича не будет твоей ни чести, ни
славушки!..

Старинная казачья песня

В осенний убор убрались леса и сады. Желтые листья березы, коричневые дуба, красные клена, и зелень елей и сосен, и чернота стволов и сучьев образовали такие красивые пятна, такие причудливые узоры, за которыми даже зоркий взгляд ничего не разберет. Поля стали желтые и черные, скучные и унылые, но зато лес и вблизи и издали был дивно прекрасен. Мягкие мхи, прилегающие к воде, усеянные листвой, нежили ногу; деревья пестрели своим убранством, и тишина стояла по лесу. Не пели птицы, не стрекотали кузнецы — упадет с легким шорохом лист, треснет веточка, и опять тишина, немая, бесконечная, таинственная тишина.

Такой тихий, по-осеннему убранный роскошный Лашкаревский лес прилегал и к каменному с мезонином господскому дому Лашкаревых. У пруда он оканчивался, и там начинался парк. Высокий забор из акаций составлял границу между лесом и парком. Парк состоял из прямых березовых и липовых аллей и был за лето 1812 года, бурное, тревожное лето, сильно запущен. Дорожки поросли травой, павильон любви, когда-то чистенький и беленький, весь облупился; столбы и крыша обросли мохом, стриженная акация разлезлась длинными ветвями во все стороны и непроницаемой стеной отделила парк от леса.

Дом господ Лашкаревых, когда-то веселый и пышный, был без своего убранства. Мебель, портьеры, цветы из оранжерей перевезли еще в июне месяце в пензенское имение, а подмосковная стояла пустой до самого начала сентября. В первых числах сентября распоряжением властей дом господ Лашкаревых обратился во временный госпиталь на двадцать кроватей.

Бородинская битва дала массы убитых, но еще более раненых. Лазаретные фургоны, обывательские подводы,

экипажи частных лиц не успевали свозить всех страждущих. Московские госпитали и больницы были переполнены офицерами и солдатами. Когда же до Москвы дошла роковая весть, что ее отдадут без боя, началась поспешная отправка больных в предместья и подмосковные. И дом Лашкаревых был обращен ю больницу.

Вечерело. Больным только что роздали ужин, и молодая красивая сестра милосердия, худощавая и уставшая от непосильной работы, оканчивала ежедневную перевязку больных. Из бывшей столовой, теперь ампутационной комнаты, внесли нового больного. Это был высокий, когда-то красивый казак атаманского полка. Ему только что начисто отняли по самые бедра обе ноги. Он был бледен, отпечаток скорой смерти уже лег на его худое лицо.

— Ольга Федоровна,— обратился доктор по-французски к сестре милосердия,— поговорите с казаком, утешьте его, ему два часа, не больше, осталось жить.

— Сейчас,— ответила Ольга Федоровна, ловко надорвала бинт, переложила надорванные концы направо и налево и завязала их тугим узлом.

— Хорошо так будет? — ласково спросила она раненого.

— Спасибо, сестрица. Совсем способно! Бог тебя наградит за твое доброе дело.

Ольга Федоровна встала и подошла к раненому. Он лежал на спине, накрытый синей французской шинелью, той самой, в которой его привезли. Шинель сейчас за бедрами круто падала вниз, образуя странную и непонятную складку, непонятную потому, что непривычно было видеть эту складку. Казалось, она и больного сильно беспокоила, по крайней мере, он смотрел внимательно на нее, пытался тронуть ее руками и не мог согнуться, не имея опоры внизу, у ног.

Ольга Федоровна поняла это и поправила своими нежными тонкими пальцами складку так, чтобы отсутствие ног не бросалось в глаза.

— Спасибо, ваше превосходительство,— тихо сказал казак.

Ольга Федоровна смутилась. Почему знает он ее титул? Почему не назвал он ее так, как все называют — сестрицей? Что-то знакомое видится ей в этом лице.

Казак сам разъяснил ее сомнения.

— Вот где, барышня, Ольга Федоровна,— произнес он,— довелось нам встретиться!

Ольга Федоровна вгляделась и вдруг сразу узнала Какурина, вестового Конькова. Но как он изменился за эти полгода. Невозможно было узнать в этом грязном, загорелом, изведенном страданиями лице с перерубленным ухом прежнего красавца казака в кивере с голубым верхом, что нашивал ей от жениха цветы и конфеты.

— Ну, а что барин твой, Какурин? — сказала Ольга Федоровна, и невыносимая тоска виднелась во взоре.

Казак оживился:

— Барин! Пидра Микулич! Герой, одно слово. У него теперь Анна, Владимир, золотая сабля, не седни завтра Егория зашибут. Вот и теперь — ну, есть ли такой храбреющей души человек, как Пидра Микулич! Мы с ним вдвоем до Мюратова лагеря доезжали. Он на новом коню — Заметьте звать, чудное имя; ну, да кто же их разберет, почему так прозвали его...

— А Ахмет где? Жив?

— Жив, барышня! Слава те Господи, жив. Тоже конь добрый, участливый! Сели мы в ихних мундирах и поехали. *Qie vive* * кричат, а Пидра Микулич как напустится на часового ихнего, да ну пушить его по-ихнему. Тот аж — на караул и замер. А мы дальше к ним. Все Мюрата искали-маялись, у меня сердчишко-то во где было, по-над шпорой. Объехали лагерь, назад обращаемся. Меня досада разбирает, ничего не взяли, а у барины белья совсем нетути. Это уж што подштанников, вторую неделю не носят, рубах скоро не станет — все поистлели. А тут, как назло, офицерик стоит и чемодан раскладает — и там туго наложено. Надо быть, краденое тоже! Я думаю: надо поразмыслить, где так ловко раздобудешь? У своих покрасть — по головке не погладят. Я и приотстань от его благородия да к чемоданику — и ухнул на седло да ручкой на луку и чумбуром прихватил. Офицерик ровно с ума спятил, обалдел совсем. А сабля у меня своя была, казачья. Он как глянул да и крикнул: «Рюсь!» Я думаю: дело плохо — узнали! Выхватил саблю да офицера ихнего по башке. Тут встало-шились, не приведи Бог что вышло. Кинулись на меня. Один, проклятый, чтобы ему на том свете, штык всадил повыше коленки да там в ране-то ровно шомполом так и крутит, другой выпал с пистолета сделал да в ногу попал. Тут мне бы совсем конец пришел. Саблей действовать

* Кто идет (*фр.*)

неспособно, чемоданик мешает, а бросить его жаль, а они, нехристи проклятые, рады стараться, так на меня со всех сторон и бегут. Гляжу, а его благородие гневный на меня скачут. «Что ты наделал, мерзавец!» — кричат, да таким словом обозвали, какого я никогда от них и не слыхивал. Да как пошли молотить французишек саблех, перекрошили их страсть! Скатили меня за повод да за собой и потащили. Французы — за конями, а кони у них стреноженные да по траве далеко разбрелись, а мы пока что ускакали. Уж и пушил же меня за это дело Пидра Микулич! Я и про раны забыл. «Ты ранен, — говорят, — что ли?» — «Точно так», — отвечаю. Промыли они меня. Словно родного брата обняли да довезли до Царева Займища, а оттоле вот вечером мужик меня на телеге доставил, да шибко, видно, растряс, потому вон она какая пакость вышла — обе ножки тю-тю!

— Ах, какой он сумасшедший! — воскликнула Ольга Федоровна. — А сам он здоров?

— Заколдован. Вот те крест, заколдован. Ни царапинки, ничего нет. Знать, кто Бога за него усердно молит — потому иначе как же!

— Веселый, поди-ка, с наградами-то?

— Веселый? Нет. Ни улыбки, ни смешка. Все грустят, все тоскуют. Про вас часто вспоминают. Порою заговариваются даже, ровно бы ума решились. После Молева болота заночевали мы на усадьбе, а там в оранжерее розы цвели, крупные да важные, дух от них так по всей комнате и льется. Вошли они да как обрадуются. «Вот бы Оля, — это они ваше превосходительство наедине так прозывают, — обрадовалась!» — говорят... А я не расслышал да и говорю: «Чего изволите?» А он: «Молчи, чертов сын», — да как глянули — хуже француза. Тоже с атаманом, денщик ихний сказывал, говорили раз! Наш-то плакал, а Матвей-то Иванович говорят им: «У, дура баба, чего рюмить, я тебе сам сватов пошлю!»

— Да про меня ли?

— Подлинно про вас. В Новочеркасске-то были, полковника Сипаева дочка юлила-юлила, нет, мерси с карманом — ничего не очистилось!

— Ах он милый мой! — невольно вырвалось у Ольги Федоровны.

Казака обступили больные. Кто поздоровее — припелся из соседних комнат. Всем интересно было послушать, что делается в армии.

— Глянь-ка, братцы, как рассуждает-то бойко, а сам-то еле на ладан дышит,— сказал молодой солдатик, упираясь ладонями в бока и внимательно разглядывая ампутированного.

— Так на то же они казаки.

— Но что же, что казаки? Нешто казаки не люди?

— Не люди и есть.

— Как не люди? — удивился бородатый ополченец с маленькой культишкой вместо правой руки.

— Сказал тоже — не люди! Люди-то они люди, да только двужилые!

— Как же это так двужилые? Нешто могут быть такие люди?

— Отчего же нет, одна жила станова, значит, такая, всамделишная, а другая запасная.

— Ну? — с сомнением тянет солдат и внимательно глядит на казака, как будто стараясь отыскать запасную становую жилу.

— Послушайте, землячок, а что про Кутузова слыхать?

— Стоит с армией недалече отсюда, близ Тарутина. А насупротив его Мюратова кавалерия будет. Надо полагать, на днях атакуют.

— Дай-то, Господи! Ну, а скажи, служивенький, неужели Москву так, зря отдали?

— Без выстрела...

— Ах ты, Мать Пресвятая Богородица! Как же оно так можно?

— Ну, довольно вам говорить,— сказала Ольга Федоровна,— вы устали, вам отдых нужен.

— Ах, ваше превосходительство, когда же и поговорить, как не перед смертью. Последний раз русскую речь послушать... А вот что, кабы священника мне — дюже желательно Святого Причастия принять.

Послали за священником.

Нервное оживление, вызванное страданиями, прошло быстро, слабость чувствовалась сильнее, больной затихал. Остальные медленно начали расходиться по койкам. Ольга Федоровна положила свою руку ему на лоб. Какурин лежал молча, и только отрывистые слова временами с хрипом вырывались у него.

— Ваше благородие... не ездите... Зараз застреляют... Эка храбрости... Нет, шалишь, брат... Что казак взял — его...— И вдруг, приподнявшись на руках, он дико

оглянулся и испуганным голосом закричал: «Чемоданчик!.. А где чемоданчик?.. Господи, белья-то у Пидры Микулича...» — и оборвался.

Что-то подступило ему к горлу, он захрипел, раза два вытянулся и затих. Агония началась.

Когда минуты две спустя пришел священник, он приложил руку к голове и медленно начал читать отходную.

Как ни крепилась Ольга Федоровна, но она не могла вынести этого. Слезы выступили у нее на глазах, и, рыдая, вышла она на крыльцо.

И сейчас стихли рыдания, и, глядя очарованными глазами на парк, она сказала только:

— Боже, как хорош Твой мир!

Была теплая, ясная, лунная ночь. Темно-голубое небо все сплошь усеяно было звездами, месяц был окружен ясным ореолом и проливал кроткий свет, бросая густые тени кругом. И под серебряными лучами волшебной выглядела листва, неровно освещенная, разноцветная по тонам и по окраске. Запах леса, грибов и коры, запах цветов стоял кругом, и нежен и тепел он был. Тишина была поразительная, селение спало, нигде не было ни звука. Как нечто чудесное, виднелся посреди душистого, полного астр, шток-роз и доцветающей, густо разросшейся резеды резервуар фонтана и белая, вся облитая лунным светом статуя. Какие-то тени, чудилось, бродили и шептались между собой, вспоминая былые, давно прошедшие времена. И сильнее лился и лунный свет, и аромат цветов, и запах леса, и все говорило о чудной жизни, о красоте смерти природы, о пылкой осенней любви. И страстнее, сильнее, порывистее была эта любовь. Не было в ней той, нежности и ясности, не было той задушевности, что бывает весной. Словно в конвульсиях смерти, готовясь заснуть, отдавалась природа в последний раз, и, нарядившись и накрасившись, окружив себя чудным темным небом с мириадами звезд, обливши страстным лунным светом, она говорила: «Приди и возьми — я твоя! Твоя... Я еще достаточно хороша!..»

И, точно сорвавшись с невидимых нитей, упала ясная звездочка, и яркий свет ложился за нею. Стоило сказать свое желание, пока звезда не скрылась, и желание исполнялось. И Ольга Федоровна сказала свое желание — увидеть Петра Николаевича.

Ведь он здесь близко, бродит где-нибудь в партии, ищет врага, ищет смерти. Зачем смерти? Разве плоха жизнь? Разве Оля его не любит так сильно, так нежно!..

И, влекомая чудным запахом и теплотой осенней ночи, в желании забыть душную атмосферу, полную людских страданий, в госпитале, сошла с террасы Ольга Федоровна и пришла к своему заветному уголку, на окраину парка, где парк сходиллся с лесом.

Сухие листья мягко шуршали под ее ногами, деревья протягивали ей свои ветви, а осеребренный лунным светом лес раскрывал свои объятия молодой женщине. И сильнее слышался гимн любви и гимн счастья, немой гимн ароматов и лучей. И чем больше была тишина, тем больше билось сердце, и смутная тревога подымалась внутри. Ольга Федоровна встала у калитки и загляделась на лесную дорогу. Сначала ярко освещенная, так что каждая травинка колеи, каждая пылинка искрились и сверкали, она вдруг сразу становилась темной, и далеко-далеко светлой точкой горел выход из нее. Вот выход заслонила тень, и ничего не стало видно.

Но ночная тишина нарушилась. Конский топот раздался по дороге, лес пробудился, эхо отдало шаги в обе стороны, и лес заговорил. Быстро кто-то едет. «Это он!» — сказала сердце и не могло ошибиться. Иначе зачем бы была в нем такая тревога, зачем был бы разговор с Какуриным; упала бы разве звездочка и разве манил бы так темный, таинственный лес?

Что это — сказка, или сон волшебной ночи, или мечта наяву! Но только это он, это его конь; только его приближение можно чувствовать всем телом, только из-за него колени дрожат, и губы жаждут поцелуев, и все говорит: и щеки, и нежная шейка, и девическая грудь, и все, и все...

Но это не он!..

Французская меховая шапка надвинута на самые брови. Ярko блестят подбородники, синяя шинель наглухо застегнута, и воротник поднят, и посадка не казачья — широко расставлены ноги, и не Ахмет, а чужой, незнакомый золотистый конь бежит по дорожке. О, луна! Зачем обнажила ты обман! Зачем рухнули мечты... Это враг! Надо бежать. Но Ольга Федоровна не бежит, силы изменяют ей! Разочарование подкашивает ей ноги, все мутится и тускнеет в ее глазах.

— Послушайте, барышня, скажите, здесь нет госпиталя, куда моего казака Какурина свезли?

Его голос!..

— Петрусь!

— Ольга, милая, ненаглядная!

И он уже на земле, он в своей страшной меховой шапке перед ней, казак ведет лошадь по дороге, а он, настоящий он, с его губами и нежными усами, с его ароматом молодости и силы, обнимает ее. И как тонкая былинка склонилась она ему на грудь, и он обнял ее, такую стройную и нежную, и прижал ее к себе.

— Милый, дорогой, не забыл... Любишь?

И поцелуй, сладкий, нежный поцелуй, поцелуй любви и счастья.

— Разве могу не любить. Я все молился за тебя — все любил...

— И ни одной весточки.

— Оказии не было. Дорогая, подумай...

— Ты похудел. К тебе идет эта шапка! Казак мой, ненаглядный, милый... Куда же ты ехал?

— В госпиталь, куда отвезли моего казака.

— Казак твой умер...

— Умер? Царство небесное.

Одну секунду пролетела грусть, как облачко в ясный летний день, и сейчас же исчезла она и растаяла. Что значила смерть перед всеильной любовью!

— Не грусти. Я с тобой теперь. Не надо грустить, когда так любишь, мое солнышко ясное.

— Как ты здесь?..

— Ах, тяжело рассказывать! Берг все рассказал тогда... В тот ужасный день... Не знаю, право, что он рассказывал такое, но меня нигде не стали принимать... От меня сторонились. Я все сносила. Ведь я за тебя страдала, за моего милого Петруся... Постой, дай досказать, ну, довольно, довольно...

Она отбивалась от его поцелуев, а он целовал ее губы, щеки, шею, целовал розовое ухо и черный локон.

— Ну, оставь. Разве можно так? Сломаешь. Ты ведь сильный... А тут война. Я в сестры милосердия... Все, как посмотришь-то на чужие страдания, легче станет.

— Ты страдала?..

— Как же, ведь о тебе ни весточки, ни слова, ничего. Не знаю даже, жив ли ты. А я тебя полюбила.

— За что?

— Разве любят за что? За все. Любовь разве спрашивает. За кудри твои русые, за глаза твои серые, за губы,

милые, родные, за шею, за силу, за все...— И она целовала его и, прижавшись к нему и обняв, вдруг откидывалась и ясным взором смотрела ему в глаза...— Мужчина!.. казак!.. муж! — и быстро падала на его высокую грудь и, как кошечка, ластилась и извивалась...

— А Платов что?

— В немилости. Поехал на Дон собирать полки.

— За что?

— Его оклеветали. Сказали, будто он был пьян в день Бородинского сражения.

— Боже мой!

— А как твой папа?

— Скучает, бедняга. Ему тяжело без меня. Он хороший. Он один ничему не поверил, что ему говорили, и тяжело ему было, а отпустил все-таки. Понял, что мне легче так-то будет, у дела.

— Добрый старик!

— Слушай, ты долго останешься у меня?

— Как позволишь.

— А тебе как надо?

— Завтра к вечеру надо быть в Стромиловой деревне. Послезавтра — сражение.

— Сражение?! Береги себя, Петрусь, ненаглядный...

Нахмурился казак.

— Милый! Для меня...— И горячий поцелуй ожег его губы. И эта нежно любимая женщина, предмет мечтаний в далеких поисках и на сырых бивуаках, целующая его поцелуями любви, и воздух теплый, ароматный, и тишина уснувшего сада, и сладкий шепот нежных уст — все говорило о любви, все жгло его сердце и возбуждало нервы. И забылись тяжелые походы, ушли куда-то далеко неприятности и обиды, исчезли вечные тревоги и волнения, усталость и голод — и тепло, радостно было молодому хорунжему с этой любящей, взволнованной волнением любви девушкой. И бежали часы, лились рассказы о петербургских интригах, о сражениях, об орденах.

— А где Ахмет?

— Он остался на бивуаке, близ Стромилова.

— А это что за лошадь?

— Занетто.

— Откуда она у тебя?

— Достал.

— Купил?

— Нет. Не спрашивай, дорогая, этого нельзя знать женщинам.

— Но почему? Ну, скажи, я так хочу.

— Ну, право, оставь.

— Нет, скажи теперь непременно. Мне хочется знать. Я любопытна.

— Любопытство большой порок.

— Ну все равно. Ну скажи, голубок мой радостный! — И она прижалась и ластилась к нему. — Не скажешь? Рассержусь. Ну что за тайна.

— Это лошадь французского офицера, лейтенанта Шамбрэ.

— А он где?

— Я убил его под Кореличами и взял его лошадь, — тихо сказал Коньков.

— Убил!

Она отшатнулась от него. Ее милый, такой нежный и ласковый, — убил! Это ужасно! Страшно подумать.

— Вот видишь, дорогая. Как же мне быть. Ведь это обязанность моя. Убивать на войне надо.

— «Надо убивать»! Как ужасно звучат эти слова. Он был стар или молод?

— Молод. Красив.

— Быть может, и у него невеста есть?

— Он женат...

— Бедная... Зачем ты это сделал?

Поникнул головой Коньков. Слезы выступили на глазах у девушки.

— Боже, как война ужасна! Но хорошо, что ты жив, мой радостный, ненаглядный! — и она кинулась ему в объятия, всем телом прижалась к нему и покрывала его всего своими поцелуями; слезы еще текли по ее лицу, а губы уже улыбались, и счастье светилось в глазах.

И темный лес задумчиво шумел сухой листвой над их головами, и чутко насторожил уши золотистый Занетто, и крепче захрапел уставший вестовой казак, сильнее полился аромат цветов, и слаще стали лучи томного месяца...

Уже светало. Предметы стали ясно видны, когда Коньков простился с Ольгой Федоровной. И долго стояла она, взволнованная горячими поцелуями, но чистая и святая, и смотрела, как медленно улегалась пыль за двумя всадниками. И дорог, до безумия дорог был один из них ей — тот, что прекрасно сидел на золотистом коне...

Возвращаясь, она встретила похороны Какурина. Она перекрестилась и ничего не почувствовала: ни жалости, ни сожаления — все-все победила и залила собою любовь.

XVII

Толкуй казак с бабой.

Казачья пословица

— Матрена Даниловна, неужто правда то, что вы говорите? — спросила полная и высокая, с плоским широким лицом, немолодая казачка, закутанная в пеструю шаль, жена есаула Зюзина.

Матрена Даниловна Кумова, хорунжиха, невысокая, сморщенная старушонка, бойкая и крикливая, поспешно ответила:

— Что же, я брехать, что ли, буду? За такую брехню никто не похвалит... Да пусть мне на том свете не естся и не спится, коли не правда... Да ты слушай, дальше-то что... Молодой Каргин, слышь, женится на ней на будущей неделе... Ловко!

— Этого, мать моя, давно ожидать надо-то было. Ведь Каргина-то из сипаевского дома палками выгнать нельзя было!

— Ладно! Много ты понимаешь! Да кабы не то, отдали бы разве Марусеньку за Каргина-то? Да еще без отцовского благословения.

— Чем Каргин не партия. По нынешним-то походным временам неслужилый муж куда веселее. Его и не убьют, да и думать о нем не надо.

— То-то и оно-то! — торжественно провозгласила хорунжиха. — Одного муженька убили, так мы за другого примемся.

— Ну да что ты неладное, мать моя, говоришь.

— Разве не слыхала, что сипаевским лошадям давно пора хвосты резать *

— Да разве Маруся?

Хорунжиха заговорила таинственным шепотом:

* На Дону обрезать лошадям хвосты — то же самое, что в России вымазать дегтем ворота.

— Рогова помнишь?

— Ну?

— Хаживал к ним, женихом считался, совсем дело слаженное, решенное. Да и как не отдать девку за такого хвата! Об весне-то, в мае, что ли, месяце, он и соблазни девку. Девка, известно, глупая, ну и опять романы почитывала, да по-иностранному говорила — все к одному. Рогов уехал, да, слышно, в июле и убит, и старик Сипаев отписал так, что женишок, мол, готов... Ну, а Маруся полнеть начала, да там разные приметы. Тетушка-то Анна Сергеевна аж сомлела, как узнала...

— Вот-то грех,— сказала есаульша и любопытными глазенками уставилась на рассказчицу.

— То-то что грех. Однако Анна Сергеевна, сама знаешь — бой-баба. Ну, ласкать Николеньку-то Каргина. А он «болезненной» казак, да теперь, как отец-то уехал, он и размяк совсем. Его долго ли обмануть. Тут сватов позаслали, сейчас сговор да рукобיתье, и свадьбу вот чрез неделю готовят.

— Ах, мать моя! Сраму-то сколько. Ведь до дела-то как дойдет, что будет! Неужели гостей сзывать будут да песни старые петь!

— Будут, мать моя! Будут. Свахой-то Анна Сергеевна, она же ей и тетка, да и всему делу зачинщица! Она втолкует, а Каргин разве поймет что? Он ведь ровно телок несмышленный. Его всякая проведет.

— В народе-то говорить, поди, будут. Узнает. А и узнает — смолчит. Да еще как бы его на войну не уперли, слышать, дела наши плохи, все бьют да бьют казаков. В каждом доме, глянь, упокойник аль больной, до свадьбы ли будет.

— Ловкая эта Анна Сергеевна! — с восхищением промолвила есаульша.— Ее на это взять — хват, а не баба.

— Она оборудует. Ну, Матрешенька, бывайте здоровеньки, и то заболталась я, а мне надо арбузы присмотреть, которые поспелее отобрать пора.

— Ну, Маруся! Драла, драла нос-то! Тону-то задавала — на-поди!

— Может, еще люди и брешут.

— А может и неправда,— согласилась хорунжиха,— греха на душу не возьму.

— Ну, бывайте здоровеньки.

— Бывайте здоровеньки,— и хорунжиха, сопровождаемая хозяйкой, вышла с крыльца на пыльную и жаркую улицу

Маруся действительно выходила замуж за Каргина, и причиной скорой свадьбы был ее «грех». Как оно случилось — Маруся и сама понять не могла.

Соловьи ли слаще прежнего пели в вишневом саду, воздух ли был ароматный, яблоней ли сильно пахло, Рогов ли лучше казался, слаще ли были его речи, тяжелая разлука перед войной, но только Маруся сдалась на красивые речи, сдалась на льстивые увещания, да и не много она понимала... Она поняла только три месяца спустя, когда пришло с командой раненых лейб-казаков известие, что Рогов убит наповал, и тогда-то с ней самой произошла перемена.

Веселая Маруся загрустила, затосковала и в один из душных летних вечеров пошептала с Анной Сергеевной. Анна Сергеевна в ужас пришла, но не сробела. Она разбранила девушку, даже побила ее сгоряча, Маруся все перенесла, теперь она поняла, что начинается что-то ужасное, позорное, за что лошадям хвосты режут. И отчаяние напало на нее, но не надолго. Не такова была Маруся, чтобы долго печалиться! Странное дело, то, что она будет матерью, наполняло ее сердце радостью и гордостью. Притом же Анна Сергеевна нашла и исход неловкому положению. Что Каргин — казак несмышленный, это знала и Маруся, обмануть его легко... Но... но ей тяжело было воспользоваться наивностью своего друга, своего Николеньки, и пустить на его дом худую славу.

Одно время она даже совсем отказалась.

— Пусть будет так... — сказала она тетке, усиленно помешивая сироп в медном тазике.

— То есть как это так? — ядовито спросила Анна Сергеевна.

— Ничего пусть не будет, — молвила Маруся и усмехнулась простой и доброй усмешкой.

— Ничего не будет! Ишь ты! Вширь не по дням, а по часам растешь. Здорового казака сделаешь, а не ничего.

— Я не про то, тетя! — сконфузилась Маруся. — Пора вишни класть?

— Нет, погоди.

— Да уже тянется, тетя.

— Тянется, да не так, ты помешивай, не ленись.

— Я хочу казака. Пусть такой здоровый бутуз будет, толстый, мягкий... Я его сама бы и кормила, — и Маруся оглянула свою высоко поднявшуюся грудь.

— Как же без отца-то будет?

— Так ведь отца убили.

— Нельзя так, Маруся. Вот теперь сыпь ягоды-то — время.

— Но, тетя, мне жаль Николая Петровича.

— Чего его жалеть-то. Если бы силком его гнали, а то сам просит и торопит-то сам. Да и не поймет он ничего.

— Как не понять, тетушка. Это всякий понимает.

— Ну, поймет, за косы оттаскает, больше того не будет. А все грех прикрыт.

Замолчали обе. Жаркое августовское солнце обливало их чистые белые платья. Маруся со спутанными, упрямыми волосами на голове, с добрыми серыми глазами, была все так же прекрасна. Даже эта роковая задумчивость шла к ней... Она вся ушла в медный тазик, поставленный на маленькой печурке в центре ягодного сада, и глядела, как медовый сироп краснел от ягод и ягоды разбухали и становились больше и больше.

— Разве грех любить, тетя? — тихо спросила Маруся.

— Любить можно только мужа! — наставительно и едко ответила старуха.

— Тетя, ведь мы были женихом и невестой.

— А не мужем и женой. Ты, мать моя, не оправдывайся, кабы отец-то был тут да узнал, в живых тебе бы не остаться! Спасибо, отец Павел, принимая во внимание тяжелые нынешние обстоятельства, согласен венчать без родительского благословения, а то было бы сраму на весь город.

— Тетя, я все-таки не понимаю...

— Молчи, дура. Зря не болтай пустяков. Книжек читаешься — и пойдешь болтать вздор. Теперь доболталась, так хоть молчи, по крайней мере...

— Тетя! — раздался молодой, веселый голос. — Можно войти? Анна Сергеевна...

— Иди, иди, дружок.

Каргин вошел.

— Что рано теткой звать-ло стал. Женись прежде, а там и зови, — ласково сказала Анна Сергеевна, целуя его в висок, в то время как он целовал ей руку.

— Женюсь, тетушка, я на днях... Вот бы только Успеньев пост прошел, а там и женюсь. Варенье варите, Марья Алексеевна? — любуясь на покрасневшее личико невесты, молвил Каргин.

— Да вот за вишни принялись, а потом за сливы, там жерделы подспеют, яблоню особенную, французскую, отец в прошлом году посадил, тоже сварим горшочка два.

— Что же, в наше хозяйство или отцу?

— В наше,— потупившись, отвечала Маруся, и, вдруг вспомнив про свое несчастье, про то, как обманывает она этого бедного человека, так сильно любящего ее, Маруся покраснелась и вихрем убежала из садика.

— Зачем девку смущаешь,— строго сказала Анна Сергеевна. Ну, садись здесь — она, верно, сейчас вернется.

Каргин сел на маленькую скамеечку и глубоко задумался. Он глядел на темно-синее небо, на верхи деревьев, усеянных плодами и ярко озаренных солнцем, на переплет ветвей, в которых с писком возились красивые щеглята, и думал он свою думу.

До него дошли слухи про роговскую историю, и он слышал, что Маруся «не того». Глаза его тоже не могли не видеть этого, и мучило это его... Но придет он в сипаевский дом, глянет на него, широко раскрыв серые глазенки, Маруся и зажжет все в нем, сладостным волнением зажжет, и забудет он черкасские сплетни.

Маруся вернулась серьезная, задумчивая, с опухшими от слез глазами и молча уставилась в закипавшее варенье. Она внимательно подымала ложку вверх, смотрела, как тянулся сок, любовалась, как он искрился на солнце, прозрачный и красивый, и вся ушла в хозяйственные заботы. За ними горе у нее скоро забылось.

— Ну что, Николенька, из армии пишут?

— Из армии? Плохо, тетя. Мы отступаем дальше и дальше. Казаки знатно дрались двадцать шестого июня под Миром. Пишут, много пленных побрали. Награды большие вышли. Петя Коньков орден Святой Анны третьего класса получает.

— Ну, слава Богу. Может, за войной-то и забудет свою балетчицу, а то...— и вдруг осеклась. А чем ее Маруся лучше балетчицы? У балетчицы-то хоть дети не родятся... А тут... Ну, наделали позора. Впрочем, что тут такого? Редкая девка не согрешит, и уже лучше до брака, чем потом-то, как все с чужими мужьями живут. Ах, жизнь, жизнь... Да и как не путаться молодайкам, тоже и в их положение войти надо. Мужей-то за походами много ли видят они?!

— Мне станичник раненый сказывал, дюже храбрый казак Коньков!

— Петя-то! Еще бы! Он и в те войны страху не знал. На него нет ни смерти, ни ран, сильно решительный казак.

— Сказывал, коня славного добыл у француза, свое-ручно, говорил, офицера ихнего зарубил.

— А вы бы зарубили офицера, Николай Петрович? — спросила просто Маруся.

Анна Сергеевна радостно посмотрела на нее.

«Отошло, значит, если задевает».

— Не знаю, Марья Алексеевна. Зарубить-то оно, конечно, можно — только грех это.

— Грех?! — протянула Маруся. — Что это вы? Да неприятеля никогда греха нет убить. Он веру христианскую поганит, он церкви в конюшни обращает — он, одно слово, враг. Нет, по мне, это славно и красиво для казака, когда он много убьет неприятелей.

— Ведь и у них, у неприятелей-то этих, могут быть жены, дети, невесты.

Вспыхнула Маруся.

— А не дерись. «На зачинающего Бог», а они зачали. Правда, тетя, — продолжала Маруся, — какой молодчик Коньков?

— Петя-то, племяш мой? Да я в него, как девка, влюблена. Красивый-то да ловкий какой, джигитует-то как важно. Перехват-то какой тоненький, у другой девки такого не будет.

— Мне, тетя, — вдруг сильно покраснев, сказал Каргин, — слова два надо поговорить по делу наедине.

Забило тревогу сердце Маруси. Вспыхнула она вся. Смутилась и Анна Сергеевна. На что уж смелая была.

— Пойдем, дружок, в горницы.

Однако тревога была напрасная. Каргин и не намекнул даже про роговскую историю. Он договаривался о дне, и назначили десятое сентября. Потом пошли разговоры о деле. Анна Сергеевна не утерпела, чтобы не похвастать Марусиным приданым, и пошли перечисления лошадей, коров, быков, волов, овец мериносовых и овец простых, овец шленских, овец русских, десятин пахотной земли, десятин под лесом, под пшеницей, луговой и прочее, и прочее. Каргин слушал со скучающим видом, а сердце его рвалось скорее к полной и пышной Марусе. Наконец, он урвался, простился с Анной Сергеевной и пошел было в сад, да вдруг повернул назад и, выйдя из дома, тихо побрел к себе.

Он проходил через оружейную, вспомнил, как на Рождестве лежал он в ней больной после выпивки, смутился чего-то и пошел в свой дом.

После назначения Каргина командиром полка все перевернулось в их доме. И «письменюга»-то не в большом порядке держал его, а с отъездом его при молодом барине Николае Петровиче все расползлось по швам. Каргин был неряхой дома. Мать его, Аграфена Петровна, взятая отцом из простых казачек, лежала вечно больная в своей горнице на лежанке, на печи. Она читала с грехом пополам Псалтирь и Четьи-Минеи, молилась и плакала, принимала странниц, убогих людей и новочеркасских сплетниц. Сына своего она любила до болезненности, мужа боялась, и, хотя Каргин никогда ее даже и не побранил, она все боялась, что он ее побьет когда-нибудь.

Николай Петрович прямо прошел к матери. Окна были занавешены, и в небольшой комнате, почти сплошь заставленной киотом с образами и с теплящейся перед ним лампадкой, в комнате, в которой пахло жильем, деревянным маслом, ладаном и еще каким-то особенным крепким запахом, который только и бывал что в старину, свернувшись в комок, лежала старуха. Лицо ее было расстроено, она недавно плакала.

— Здравствуй, Николенька, здравствуй, сынок мой родной.

Николай Петрович поцеловал свою мать.

— Что, мачка, чистят мне половину, что в сад выходит?

— Ох, Николенька, погляди сам. Мне где же досмотреть.

— Смотрите, мачка.

— Николенька,— повернулась к нему старуха,— родненькой мой... Нехорошее такое я про нее слыхала.

Каргин нахмурился.

— Мало ли вздору в народе брешут

— Болезный ты мой, на правду похоже. Ведь была она невестою то красного, что к нам приходил.

— Ну? — сердито хмурясь, крикнул Каргин.

— Так видали, ох, сынок мой болезный! Видали, как через тын перелезал он к ней и целовал ее...

— Я вам, мачка, довольно говорил, чтобы вы мне сплетен не передавали, что ваши ведьмы разносят Я сказал, так и будет!

И в этом решительном, суровом «я сказал, так и будет» сказался не молодой, застенчивый, болезненный Каргин, а сказался старик, «письменюга» Каргин, что в болезнь упрямством своим загнал жену, что так и не допустил сына своего поступить в полк.

— А сплетням-бабам вашим передайте, что если я хоть одну здесь увижу — плетью разогнать прикажу!

— Ох, Николенька! Ох-ох-хо! Горестный ты мой! Чует мое материнское сердце, что будут у наших лошадей хвосты резаные, а конь твой будет лысый*, — причитала старуха.

Минувшая вспышка гнева у Николая Петровича сейчас же прошла, и он ухаживал и утешал свою мать, приносил ей арбузного сока и семечек и до ночи возился со старухой.

XVIII

Ты отвори, матушка, ворота,
А вот тебе невестка молода...

Казачья свадебная песня

Тихо, торжественно тихо на Старочеркасском кладбище. Грустно поникли плакучие березы и ивы, ласково кудрятся дубки, краснеет своими ягодами калина и рябина. В беспорядке разбросались по нему деревянные кресты, каменные плиты с витиеватыми эпитафиями, могильные холмики, обложенные дерном, и просто бугры и возвышения. И много казаков, еще более казачек лежат глубоко под родной землей, и ничто не нарушит их покоя.

Защебечет робко птица, пропоет короткую песню и смолкнет, испуганная могильной тишиной, и опять покой, опять тишина. Налетит стая черно-сизых галок, покричат, погуляют и пошли далее к городу — и тихо среди казацких могил.

Солнце садилось красное и яркими огненными лучами озаряло ограду и клало блики на кресты и стекла кладбищенского храма.

Природа засыпала. Слышался где-то далекий стук арбы, и обрывок недоконченной песни широким размахом

* Лысая лошадь — признак рогатости женатого казака.

пронесся по воздуху и вдруг стих, забравшись высоко-высоко. Ласточки реют над землей и с слабым писком гоняются одна за другой; пахнет в воздухе смолой, и вдруг сразу пронесет этот запах, и сильнее станет мощный аромат степи, цветов и трав.

По пыльной, выжженной солнцем, с заросшими травой колеями, дороге быстро идут две женщины. Одна — молодая, полногрудая, красивая, с добрым и пугливым выражением во взоре, другая — старая, в черном кубелеке, седая и сморщенная. Это шла, соблюдая заветы предков и исполняя стародонские обычаи, Маруся со своей няней помолиться о завтрашнем свадебном дне на могилах у предков. Вот подошли к ограде, и таинственная тишина охватила их. Маруся побледнела и шепотом сказала няне:

— Страшно!

— Еще бы, мать моя, не страшно. День особенный, таинство великое. Бывали, мать моя, случаи, что родители вставали из гробов и благословляли или проклинали своих детей...

— А упыри, няня?

— Нет, упырей здесь нет. Здесь упыря не похоронят.

— Но ведь бывали случаи?

— Бывали, конечно, бывали. Но только упырь нас не тронет. Упырь любит пить невинную кровь.

Кольнули эти слова Марусю, но промолчала она и быстрее зашагала по хорошо знакомым тропинкам. Дойдя до могилы своей матери, она опустилась на землю и припала лбом к холодному камню. Холод камня освежил ее — ей стало легче, и она начала молиться. Вся молитва, где она призывала усопших предков, клялась им сохранить в чистоте данный ею обет, просила от них благословения, предстательства их у престола Отца Небесного, чтобы благословил Он новое поприще ее жизни, казалась ей грубой насмешкой над ее положением, но тем не менее и она ее утешила. В конце молитвы ей стало легче, а когда там, далеко внутри, она почувствовала биение и трепетание новой, зарождающейся жизни, она радостно улыбнулась и, спокойная и счастливая, безбоязненно прошла назад через кладбище и вернулась домой.

И странное дело, при всем сознании своем, что она мать, она ни разу не вспомнила Рогова.

То, что случилось ранней весной в вишневом саду, казалось душным, ничего не значащим кошмаром. Она

была женщина, и исполнение величайшего завета женщины ее радовало и беспокоило, и мало заботило ее, как это вышло, но сильно беспокоило ее, как это выйдет. Ей казалось, что будущий ребенок принадлежит только ей, и она начинала радостно прислушиваться к тому, что таинственно совершалось внутри нее.

Маруся не спала эту ночь. Ее волновало ожидание того, что будет. Она знала, что свадьба пойдет по старине, со всеми обрядами, и догадывалась, что разумела Анна Сергеевна, когда говорила, что будут изменения, потому что их дом передовой и приличия соблюдать умеет.

Гостей не должно быть много. Почти все мужчины ушли на войну, во многих домах были раненые или плакали по покойнику, с трудом можно было собрать необходимый поезд.

Не спал в эту ночь и Каргин. Надежда боролась в нем с сомнением и отчаянием. Он слишком много слышал, немного даже и видел, но... но не верилось ему. Ему казалось, что если бы это было так, то простая, честная, наивная Маруся должна была бы сознаться ему в своем грехе, а раз этого не было — значит и греха не было. По крайней мере, он, Каргин, сказал бы ей все, что было. И то, что невеста его молчала до последнего дня, возбуждало его надежду, с каждым часом переходящую в уверенность.

А если... И тогда ничего. Каргин настолько любил Марусю, что стоял выше этого, и ему это было все равно, но, подобно отцу своему, он не мог вынести лжи и притворства.

С нетерпением ожидал он того часа, когда разрешатся его сомнения и Маруся чистой и непорочной выйдет из этого испытания.

И не один он волновался. Волновалась сваха, полковница Луковкина, есаулыша Зюзина, хорунжиха Сокова, весь Черкасск ожидал, чем окончится «нахальство» Маруси и удастся ли ей провести своего недалекого жениха. И если бы не тяжелое время, если бы не как гроза надвигающиеся слухи с верховых станиц о том, что Платов едет на Дон комплектовать новые и новые полки, что русские разбиты под Бородином и Москва взята французом, если бы незакипавшая жажда померяться силами с смелым врагом и не возня по домам, — давно порезали бы хвосты сипаевским коням и подарили бы Каргину лысого жеребца. Но шум брани умирал страсти, сплетни не произ-

водили должного впечатления в домах, где собирали меньших сыновей, пятнадцатилетних казачат, где плакали неутешные матери и проливали слезы вдовы.

На это-то волнение перед войной да на славу сипаевского дома, как дома, на заграничный манер поставленного, и надеялась Анна Сергеевна, когда созывала со всеми церемониями пол-Черкаска откусать свадебного хлеба-соли. Старик Сипаев письменно благословил молодых, а расторопная тетушка Анна Сергеевна решила разыграть роль матери молодой и свахи в одно время. Первую роль она брала на себя, как старшая из родственниц Маруси, а вторую ей надо было взять, чтобы правильно наладить свадебный обряд и не дать пищи злым языкам.

Аграфена Петровна, мать Каргина, несмотря на болезнь, рано поднялась в этот день и отправилась благословить своего сына. Сын, уже одетый, сидел у окна и смотрел на пыльную черкасскую улицу. Долго говорила ему мать. Молодой внимательно и почтительно слушал старуху. По окончании ее речей он нежно поцеловал ее и сказал:

— Я уверен, мамочка, что все так и будет! Если бы было иначе, Маруся сказала бы — она честная!.. Я уверен, и я счастлив!

— В добрый час!

К полудню начали съезжаться гости жениха. Приехал дружок, приехали еще другие молодые люди, и горница Каргина наполнилась толками про войну. Большинство казаков пошло себе обмундирование, и красные, желтые и синие лампасы пестрели в толпе. Действия Кутузова беспощадно критиковались. «Мы-де да мы», — слышалось ежеминутно, и совет молодежи решил наступать на Наполеона во что бы то ни стало. Хвастались оружием, и «волчки», настоящие генуэзские клинки, персидские и турецкие сабли со звоном вынимались из ножен. Пробовали рубить медную монету, разрубили стул в комнате Каргина, пошвыряли его книги на пол, говоря, что по нынешним временам все это вздор, недостойный казака, об Марусе почти не говорили, намеков не было никаких, и Николай Петрович совершенно успокоился за свою Маню. Он оживился, рассказывал, что он прочел про войну, что ему писал отец, и восхвалял Платова.

— Да, наш Матвей Иванович — это, можно сказать, голова, он один умнее всех.

— Но Багратион, — заметил кто-то в стороне, но его зашикали:

— Что Багратион! Если бы он был умен, давно бы побил француза. Бабы и отцы наши били, чего же он церемонится.

— Слыхали, атаманы-молодцы, Каргальницкая станица целиком пошла: и старые, малолетки двенадцати лет и те тронулись — мы, говорят, хоть прислуживать будем, пока вы будете драться.

— Это дело. Да ведь и Грушевская и Каменская также все идут.

— Так что же, атаманы-молодцы, неужто мы, старочеркасские станицы, не тряхнем славу Тихого Дона и не тронемся все напрямки под Москву поработать во славу донского оружия?

— Двинут-то двинут, только не все: молодожен останется.

Вспыхнул Каргин, но промолчал. Теперь, когда Маруся доставалась ему, ему не хотелось подвигов бранных, из которых редкие возвращаются, не хотелось также покидать молодую жену.

Дружко, товарищ Каргина по окружному училищу, урядник новofормировавшегося Лапилинского полка, подошел к жениху и сказал:

— Ну, пора.

— Пора, идем к мачке, — сказал Каргин и побледнел.

Теперь, когда все так отлично налаживалось, он боялся одного — чтобы мачка по простоте душевной не выдала и не наговорила чего-нибудь зря на Марусю.

Но все прошло благополучно. Старик Зеленков, дед Николая Петровича по матери, заменявший «письменюгу», и толстая Аграфена Петровна благословили драгоценными образами в богатых окладах молодого, потом благословил его и крестный отец, старик Денисов, одноногий полковник, весь усеянный орденами, священник прочел молитвы, и жених в сопровождении товарищей верхом поехал в дом невесты. У крыльца собралась толпа любопытных, преимущественно казачек. Там шли толки, говорили «за» и «против»; казачат, что сбежались сюда, в пестрых рубахах и старых папах, занимали больше убранные коврами бланкарды и возочки, приготовленные для свадебного поезда.

Поезжане соскочили с седел, хлопцы-вестовые и дядьки разобрали лошадей, и все направились в богатую сипаевскую гостиную. Помолившись на образа, Каргин, ведомый дружкой, прошел к переднему углу. Там, вся закутанная

кисеей, в пышном, по-петербургскому сшитом платье, усеянном флердоранжами, сидела невеста. Рядом с ней сидел Лотошников, мальчик семи лет, в красной рубаше, опоясанной серебряным кушаком.

Лотошников держал в руке плеть, «державу», и со смехом отгонял дружка.

Молодой лаццилинский урядник со снисходительной усмешкой, показывавшей, что «оно, конечно, обряд соблюсти надоть, только все это пустяк один и дикость нравов», засунул руку в карман широких шароваров и стал доставать оттуда пряники и орехи.

Лотошников внимательно смотрел любопытными глазенками на лакомства, ударил плетью по шароварам дружка и, детски картавя, говорил:

— Не хочу! Убирайся прочь, не отдам сестрицу.

— Ну а я вот что дам! — доставал урядник мятного конька.

— Не надо! Сестрица лучше.

Стоявшие кругом и притворно плакавшие женщины в богатых парчовых и шелковых нарядах с любопытством присматривались к мальчику, многие улыбались, а мать Лотошникова восхищенными глазами смотрела на своего Лешеньку.

— Ну а вот хочешь казака? — достал дружок деревянную куклу.

Игрушка прельстила мальчика, он протянул было руку, но быстро отдернул:

— Не-е, не хочу! Сестрица живого казака сделает, а это ненастоящий.

Кое-кто фыркнул. Бледная молодая вспыхнула, и слезы выступили на ее красивых глазах. Но она скоро оправилась. Она готова была все перенести, она знала, что сегодняшней день будет для нее днем самой ужасной пытки, и она решилась перенести все испытания ради того нового чувства, материнской любви, которое, вспыхнув в ней, разгоралось все сильнее и сильнее и погашало и стыд перед людьми, и жалость к безвинному жениху.

Дружок, чтобы замять эту неприятную минуту для невесты, которая ему очень нравилась, быстро сунул куклу в руки Лотошникова, отнял у него плеть, передал ее жениху и усадил его рядом с невестой.

Женский хор разом грянул свадебную песню:

Татарин, братец, татарин,
Продад сестрицу за талер...

И снова начались рыдания сильнее прежнего. Невесту, бледную, взволнованную, взяли под руки и усадили в бричку рядом с женихом, напротив сел священник с крестом и дружок. В предшествующий экипаж сели сват и сваха с благословенными иконами, родители остались дома, девушки разошлись по домам, а свадьба, предводимая вожаком, понеслась по пыльным черкасским улицам.

Встречные казаки и мужики снимали шапки перед сытыми, разубранными лентами, цветами и бубенцами конями и с удивлением смотрели вслед.

Свадьба в такое тяжелое для Руси время казалась чем-то неуместным. Иные спрашивали: почему играют свадьбу теперь, и, получив ответ, говорили: «Да надо, так надо» — и задумывались.

Всю службу Маруся стояла потупившись, она почти не молилась, да и не до молитвы ей было. С трудом, вся покрасневшись, целовалась она с женихом, с трудом ходила вокруг аналая, сопровождаемая статными молодыми хорунжими. Когда же, по совершении таинства, Анна Сергеевна сняла с невесты шапку и на паперти при всем народе расчесала ей голову по-женски, убрала в две косы и, обернув около головы, надела повойник, Маруся расплакалась. Женщины сочувственно отнеслись к ее слезам, и это еще более успокоило Каргина. Он знал, что у женщины первый враг — женщина, и боялся их ядовитых насмешек.

На пороге каргинского дома Аграфена Петровна и седой бородач Зеленков встретили молодых с хлебом-солью, осыпали хлебным зерном, деньгами, орехами и пряниками, чтобы новая чета жила в избытке и счастье, и ввели князя с княгиней с музыкой в комнату.

Скрипачи-жидки, два-три старых казака, хохоп-бандурист и несколько дудок ловко сыграли модный польский, и все стали рассаживаться за стол. Анна Сергеевна и тут показала свое уменье; больная, робкая и нерасторопная Аграфена Петровна совсем отдалась в ее распоряжение, и, надо отдать справедливость Марусиной тетке, стол молодых был убран на славу. Громадные индюки и гуси, поросята и утки, на диво откормленные самой молодой, аппетитно дымились на снежно-белой французской скатерти. Вперемежку с кувшинами цимлянского, выморозок, меду

и нордеку стояли бутылки рейнских и итальянских вин; Анна Сергеевна проникла в тайники сипаевских подвалов. А сколько травничков, желудочных, сливянок, вишневок, смородинок, лиственников, горчишных, имбирных, мятных и других наливок и водок, всех цветов и оттенков, белых, синеватых, изумрудных, розовых, малиновых и фиолетовых, покрывали стол — трудно перечесть.

Сочные тонкие ломти янтарного балыка манили выпить и закусить; шамайка в палец толщиной, свежая икра зернами в порядочную горошину, темно-серая и ярко-желтая, наполняли серебряные вазы. А гусиная похлебка, в которой на палец стояло жиру, так и возбуждала к еде.

А тут угодливая, радушная Анна Сергеевна, умиленная, простоватая Аграфена Петровна, Зеленков, уже разбросавший по пышной бороде своей соленую закуску и уговаривающий выпить еще и еще, крики «горько» — есть от чего голове пойти кругом.

Хотя в дворянстве уже выводился прежний обычай уводить молодых из-за стола, а гостям не расходиться до их возвращения, но, ввиду нехороших толков про Марусю, Анна Сергеевна почла за лучшее придержаться старого обычая, и после первых блюд, под звуки того же польского, она, сбережатый и дружок под руки увели взволнованных молодых из залы.

Анна Сергеевна была уверена в благородстве Николая Петровича и не ошиблась.

Через полчаса, не больше, пир после некоторого затишья снова пошел на весь мир. Гости пьяными голосами орали свадебную песню:

Ты не бойся, матушка, не бойся,
В червонные чеботы обуйся;
Да хоть наша Машенька молода,
Да вывела матушку со стыда.

Маруся, полумертвая от стыда, сидела рядом с раскрасневшимся, счастливым Каргиным.

Дружок, от имени князя и княгини, обносил гостей караваем, украшенным серебряным лебедем и золоченой сосенкой и убранным сыром, и приговаривал:

— Прошу сыр-каравай принимать и молодых наделять.

Гости клали на блюдо деньги, близкие родные: Зимовнов, Денисов — одарили Каргина землей, лошадьми и овцами.

Веселье, на минуту было притихшее, пошло по-старому. Зеленков провозгласил здоровье Государя Императора, потом здоровье атамана, благоденствие всевеликого войска Донского, за победы русского оружия.

Гости кричали громко «ура», залпом опрокидывали объемистые чарки и наливали ещё и еще. У иных молодых хорунжих и урядников голоса хрипели, как у петухов. Оживление стало полное.

С разных концов стали кричать: «Речь! Речь!» — и седовласый Денисов поднялся.

— Помолчи, честная станица, — гаркнул Зеленков.

Шум перекатился и смолк на краю стола.

Старческим, сиповым голосом заговорил безногий полковник:

— Желаю здравствовать князю молодому с княгинею, княжему отцу, матери, дружку со свахами и всей честной компании на беседе, не всем поименно, но всем поравенно, что задумали, загадали, определили, Господи, талан и счастье слышанное видеть, желаемое получить, в чести и в радости нерушимо.

Гости хором крикнули:

— Определи, Господи!

Денисов хотел было продолжать, но на дальнем конце стола чей-то могучий пьяный бас протянул такое «ура», что не выдержали гости, и стоном прокатился крик по комнате.

Молодой казак, с пухлым, мятым лицом, хотел было провозгласить тост за «madame Рогову и ее потомство», но его так зацукали, а сосед-урядник так всадил ему кулак в бок, что тот только бессмысленно замычал и, захмелев окончательно, скатился под стол.

Пир длился до полночи.

Было уже совсем темно, когда слуги и казаки разбирали господ и развозили и развозили гостей по домам.

Захолонуло тогда Марусино сердце. Знала она, что упрям и жесток старик-«письменюга», знала и то, что недалеко яблоко от яблони падает, как скользнул хмурый взгляд ее мужа по богатым, серебром разукрашенным плетям, будто выбирал, какую покрепче, поняла она, что при гостях сдержался Николай, и задрожали у нее колени.

Сердито взглянул на нее Николай Петрович.

— Ну, пойдем.

Они прошли в дальние горницы: он впереди, она, бледная, покорная, сзади...

— Садись! — сказал он ей.

Она с рыданием кинулась ему в ноги.

— Бей, накажи меня... Ей-Богу, я не виновата!

— Зачем не созналась?

— Как же сознаться! Пощади ты меня...

— Ах, Маруся, Маруся! Верил я тебе, словно солнцу красному, мечтал о тебе дни и ночи, за что загубила мое счастье? Ведь видел я и слышал и не верил. Думал: было бы — так созналась бы мне. Маня моя, славная, дорогая... А теперь... Прочь от меня... Подлая тварь!

Бледная встала Маруся и, рыдая, бросилась на постель.

Каргин прошелся по комнате и вдруг вспомнил, как ходила за ним, пьяным, Маруся, как видались они в Черкасской церкви, и размягчилось сердце, и простил он ее, но только чувствовал, что жить с ней не может.

Пропала куда-то любовь, ушла далеко-далеко, безвозвратно, и осталось одно отвращение, ненависть, да еще, пожалуй, жалость...

— Не плачь, негоже. Я прощаю тебя. Бог тебе судья! Только уйду я в армию, в поход, поступлю куда-либо в полк и забуду тебя!

И первый раз, казалось, решение его вступить в полк было твердое, безобманное.

И, шатаясь и чувствуя, как все пропало для него, словно потерял он что-то дорогое и драгоценное, прошел он в холостую, кунацкую комнату и, не раздеваясь, проспал там до утра.

Когда же настало холодное сентябрьское утро, он поседлал коня и выехал на площадь. Там атаманский адъютант громко и отчетливо читал приказ всем атаманам и казакам выезжать поспешней на сборные пункты и следовать к Москве на защиту России и приобретение новой, небывалой по величине славы всевеликому войску Донскому.

Дней через десять, в конце сентября, двадцать новых полков, разношерстных, одетых в свое домашнее платье, спешили к Тарутинскому лагерю.

Дон, по призыву своего атамана, напряг последние силы и выставил еще десять тысяч человек. Тут были и убеленные сединами старцы, и малолетки, еле справлявшиеся с лошадьми, шли они, движимые желанием заслужить славу своей родине, шли за Платовым, как некогда предки их шли за Пугачевым и Ермаком.

В числе этих десяти тысяч казаков, на лысом нарядном жеребце ехал и бывший «письменный» человек, кандидат в студенты Московского университета Николай Петрович Каргин.

С рыданиями провожала его молодая жена, и рвалось на части его доброе сердце. Он простил ей все, он по-прежнему, даже больше, не хотел войны, а желал мирной, семейной жизни. Но надо было идти: назвался груздем — полезай в кузов.

XIX

...Впрочем, Бог с ним, мне не новость страдать для удовольствия других; я даже стал находить какое-то лошадиное удовольствие в этом...

Гр. Л. Н. Толстой. Холстомер

Для Наполеона поход был окончен. Москва была взята, армия рассеялась, испарилась неизвестно куда, но ни великий завоеватель, ни маршалы его, ни офицеры, ни солдаты не чувствовали себя победителями.

Они вошли с торжественными маршами в мертвый город. Лавки были разбиты до них, все, что можно было вывезти, было вывезено, не было жителей, не было флагов и ковров, не было ликований и поздравлений — не было и сознания победы.

Погода нахмурилась, все изменилось, и тяжело, безотрадно стало на душе у каждого при виде разоренного, наполовину выжженного города.

Каждый солдат, пройдясь по дикой России, чувствовал одно: загнали его в какую-то глушь, чуть не на краю света, и нет выхода из нее, некуда спастись.

Порядок, не водворенный сразу, не мог быть устроен. Солдаты, офицеры разбрелись в разные стороны, ища драгоценностей священного города. Но драгоценности были грубы, просты и громоздки — они не удовлетворили изящного вкуса грабителей. Каждый набрал все, что мог. Полки, разместившиеся близ суконного магазина, имели сукна, но не имели ни хлеба, ни вина, имевшие хлеб не имели мяса, началась обширная меновая торговля, полная

угроз, насилий, даже убийств. Армия быстро разлагалась. В ней не было спайки, она соединялась только мощным гением своего полководца. А он, мрачно запершись в Петровском дворце и глядя на пламя, которое бушевало тут и там, днем и ночью, писал письма к Императору Александру, грозил отобранием Петербурга, но чувствовал свое бессилие — и просил мира.

«Я не подпишу мирного договора, пока хоть один неприятель будет в России», — было ответом.

А бездействие, толкотня целыми днями по улицам, где все позволено, делали свое дело. Солдаты не слушались офицеров, офицеры не повиновались маршалам... Погода становилась суровее. Холодный ветер с дождем проносился над городом, смачивал тротуары и крыши, срывал желтые листья с деревьев, крутил ими, потрясал крышами и заставлял дрожать посинелые лица французских солдат. Согреться было нечем. Армия выступила за завоевание России как на веселое *partie de plaisir**, как на летний маневр, в штиблетах, башмаках и легких плащах. Увы, башмаки грузли и терялись в грязи, осенний ветер продувал насквозь плащи, и лихорадки изнуряли солдат. Каждое утро из городских ворот выходили маленькие отряды для фуражировок и возвращались ни с чем. Партизаны тесным кругом облегли столицу, и ни один караван хлеба, ни одна копна сена не достались французам.

Надо было отступать.

Дальнейшее пресбывание в городе становилось невыносимым, как и невозможны были бои и сражения. Солдаты дрались только из увлечения той идеей, которую преподавал им их великий Император. Но когда идеал не остался идеалом, когда явилось разочарование — все стремилось скорее домой, чтобы там, в родственном кругу, в родном краю, согреться от всех невзгод и тревог, порассказать длинную эпопею своих подвигов и страданий. И в первых числах октября армия подалась из города после месячного отдыха, соединенного с безначалием и изнурившего ее более, чем самые форсированные марши и кровопролитные сражения. Армия отступала осторожно, ощупью, выбирая новые пути, делая маленькие переходы. И вдруг, как гром на голову, падает на армию известие о Тарутинском сражении.

* Увеселительная прогулка (*фр.*).

Казаки «напали», разбили и погнали...

Этот факт, что «на них напали», — огорчал больше всего. Прежде они нападали, теперь нападают на них. Это случилось. Напили вчера, может случиться сегодня и завтра... Нет, надо скорей, скорей домой!

Идти новой дорогой казалось страшно — каждый куст, каждая деревня грозили нападением, и армия кинулась назад той же дорогой, какой пришла. Но теперь положение изменилось. Амбары по деревням стояли пустые, без хлеба, сараи были без сена и соломы, лошади без подков скользили и падали. Голод закрался в армию, а с ним недоверие к начальникам, стремление бежать скорее. Многие предпочитали бросать оружие и оставаться в деревнях, на милость победителя. Но у большинства в воображении стоял грандиозный призрак родины, и он манил вперед и заставлял в утреннюю стужу поднимать свои усталые кости и идти, идти, вперед, домой... Интендантство, провиантские депо бездействовали — каждый кормился чем мог и как мог. За полками тянулись роскошные коляски и кареты, нагруженные парчой, шелками и посудой, но не было хлеба и мяса.

А когда выпал снег и вдруг стали ужасные морозы, положение армии стало отчаянным. Еле прикрытые холодным рубищем, они отмораживали лица, руки и ноги. Дойдя до деревни, они зажигали целые дома и при зареве пожара отогревали свое измученное тело. Но после минутного тепла мороз казался еще лютее, мутился рассудок от боли, и со стоном валялись люди, чтобы замерзнуть и умереть под снегом холодной, суровой России. Главное, что нечем было согреться изнутри. Не было ни хлеба, ни вина. Полки потеряли свое устройство, кавалерия не ехала верхом, а еле подвигалась пешком. И в безмолвии зимнего дня, побросав оружие, заложив руки за спину шли солдаты великой армии. У них не было маршрутов, не было распределения движения. Каждый останавливался где хотел, иногда павшая лошадь бывала причиной ночлега. К ней присаживались, свеживали ее, разводили костер и устраивались на отдых.

Но непродолжителен, чуток и страшен был отдых. Армия не смела отдыхать, ее гнали казаки.

Мохначи, «из дома» приведенные рослые лошади французской кавалерии везли длинноволосых людей, в киверах и шапках самого разнообразного покроя и образца, воору-

женных чем попало — саблями, ружьями и пиками. Недремлющим оком следили они за армией и не давали ей покоя, не давали отдыха. Черной тучей насели они на нее и страшным кошмаром, ужасными призраками беспокоили ряды неприятелей.

Им было немногим легче. И они голодали, и они с ознобленными ногами и руками падали с седел, и снежок насыпал над ними курган. Но дух их, как победителей, был выше, и с шуткой и смешком подавались они вперед и вперед.

Закутался, как мог, и Платов, вместе со свитой своей шедший по пятам армии, и с грустью глядел он на останки великой армии. На атамане был беличий халатик, плащ закрывал плечи, на голове был кивер, но щеки, уши и рот были крепко обвязаны теплым шарфом, и только усы да зоркие глаза выглядывали наружу.

Коньков был одет победнее. Правда, вязаный шарф согревал ему грудь, но холодная шинель покрывала только плечи поверх холодного рваного мундира. Он сильно прозяб и продрог, но был весел.

Оля любила его, и ничего худого с ней не случилось.

Теперь Наполеону, наверно, будет капут, и тогда конец этой мучительной кампании.

С Платовым приехало много новой молодежи, есть с кем поговорить, покричать, а холод до первого бивуака. А главное, его милая, добрая Оля тут недалеко, говорят, в Смоленске, при госпитале — и радостное чувство волнения, беспредельной любви и преданности вдруг охватывало его всего — и забывался тогда холод и голод, не болела застывшая голова.

Платов, Ольга, Занетто, Ахмет — вот тот мирок, в котором вращались его мысли. То он смотрел на закутанного атамана, смотрел, как покойно колыбался он на своем замохнатившемся, заиндевавшем жеребце, и любил его одного, то взор его сквозил по крутой шее и золотистым ушам Занетто, который все время шевелил ими, а то вдруг волнение охватит его, и атаман и лошади исчезнут куда-то далеко, и предстанет перед ним трепетная Ольга, страстно целующая, и услышит он желанное словечко: «люблю», «люблю»...

Обернется Платов. Посмотрит на толстого Лазарева, на чернявого Кирсанова, ушедших в мех и кожу, и на веселое, открытое лицо Конькова и улыбнется на него Платов.

— Простудишься, господин мой,— скажет атаман ординарцу.

— Никак нет, ваше высокопревосходительство.

— Любовь согревает? — ласково улыбаясь, молвит Платов.

Зардеется ординарец и промолчит.

«Им не понять», — подумает.

Днем Платов больше отдыхал. Ездил ночью. Партии его преследовали неприятеля, отбирали добычу, брали пленных, лошадей, лишали продовольствия.

— Я не понимаю,— сказал Платов однажды, обращаясь к войсковому старшине Лазареву,— как это другие партизаны решаются убивать пленных. Я вам скажу, это нехорошее дело и недостойное звания казака и солдата. Между тем Фигнер, Дорохов и другие, я вам скажу, позволяют себе это! У нас этого, слава Богу, пока не водилось. Дай Бог и впредь так.

Помолчав немного, он добавил:

— Надо, однако, предупредить, я вам скажу, это; ты вот, адъютант, добеги до отряда Денисова да передай ему личное мое приказание, а ты, Петр Николаевич, добеги до генерала Карпова да ему насчет пленных подтверди, чтобы щадили их и помогали. А то поставит все это войско в сокрушение, а меня в размышление.

Тронул было лошадь Коньков, да атаман остановил его»:

— Постой, дружок, еще спроси-ка ты у Карпова донесения. Давно ничего, я вам скажу, не слышно.

— Слушаюсь! — молвил Коньков и поехал.

Ахмет был под ним в тот день. Конечно, не тот сытый, выхоленный и выглаженный Ахмет, что скакал за атаманом в Петербург, Черкасск и Гродно, а худой, заморенный, всклокоченный «боевой Ахмет», что своей лошадиной жизнью каждую минуту готов пожертвовать для хозяина.

Полки Карпова шли верстах в пятидесяти от Платова. Надо было рассчитать еще и то, что они в движении, так что идти приходилось косо верст на семьдесят, бездорожно. Взяв с собой двенадцать казаков, Коньков тронулся в путь и к ночи без особенных приключений настиг генерала Карпова. Карпов выслушал молодого хорунжего и согласился с мнением атамана.

— Конечно,— сказал он,— пленные — большая обуза, но убивать их — недостойное христианина дело. Что же касается до донесения, то есть у меня тут очень важные

бумаги, которых я никому бы не доверил, но на тебя я надеюсь. Ты известный своей храбростью и исполнительностью офицер войска Донского, переночуешь у меня, а на зорьке ступай — только смотри, вынесет ли твоя лошадь?

— Вынесет, ваше превосходительство! — уверенно ответил Коньков, обрадованный похвалой.

Ночью, лежа в одной избе с представительным генералом и с его вечно пьяным адъютантом, Коньков думал об орденах и повышениях, о том, как хорошо и лихо исполнит он свою «порученность», и о многом еще хорошем думалось ему, пока крепкий, здоровый сон не смежил его глаза.

Он был разбужен громкими криками по всему селению. Урядники бегали и будили людей, слышался храп и ржание лошадей, выводимых на водопой, и покрикивания офицеров.

Коньков, разбитый со вчерашнего дня, с трудом очнулся.

Бледное зимнее солнце чуть золотило замороженные стекла, снег громко хрустел под ногами. Адъютант генерала Карпова напяливал на себя бездну рубашек и проклинал весь свет.

— Что, холодно? — спросил Коньков у своего вестового.

— Дюже холодно, ваше благородие. Деревья аж трещат, и птица из гнезд не выходит.

— Ну, собирайся, скоро в поход.

— Слушаюсь.

Напившись какой-то бурды, вроде сбитня, и выпив рюмки две водки, Коньков потуже завязал Ольгин платок и вышел на улицу.

Небо было почти белого цвета; бесконечный снег резал глаза своей яркой белизной, морозом сразу ожгло кожу лица, и оно загорелось. Поправил казак шарф на шее, туже надвинул истертый кивер, осмотрел команду, погладил Ахмета и, легко впрыгнув на седло, поехал на проселок. Дорога хорошо промерзла, лошади резво бежали, и отряд платовского ординарца быстро подавался вперед. При въезде в одну из деревень Ахмет насторожил уши, захрапел и попятился. Поперек дороги, у потухшего костра лежал французский офицер. Лицо его и руки, обнаженные и протянутые к угольям, были еще красны и носили следы ознобления.

По привычке обыскать и осмотреть, нет ли нужной переписки, бумаг или донесений, Коньков, соскочив

с лошади, засунул руку в карман и стал переворачивать его на другой бок. Офицер издал легкий стон.

— А, он жив,— воскликнул Коньков и приказал двум казакам перенести изнемогающего врага в ближайшую избу. Затопили печку, устроили больного на лежанке, растерли его снегом, влили в рот водки, и он начал приходить в сознание.

Коньков приказал казакам отдохнуть немного, а сам занялся перечитыванием писем. Все они были на немецком языке; одно, начатое и неоконченное, поразило офицера; он перечел его еще раз, взглянул внимательно в лицо пленника, и смертельная бледность покрыла его щеки.

«Любезный Карл Иванович,— написано было в письме.— Повремени до девятнадцатого ноября нападением на Матюровский госпиталь. Сегодня я достал русский мундир и в качестве раненого явлюсь туда же. Мне надоело служить этому шельмецу, который кинул армию и тепло одетый мчится в санях, в то время как мы голодаем и мерзнем. Как только она будет в твоих руках, сдай ее мне, я перевезу ее для тебя на границу Венгрии, где вы и отдохнете безопасно от войны. Уверь ее, что казак давно умер, чтобы она не надеялась. Будь с ней осторожнее, малейшее насилие погубит дело. Я явлюсь...»

Дальнейшее в письме невозможно было разобрать, карандаш стерся, и слова слились...

В больном офицере Коньков без труда узнал своего отравителя, барона Вольфа; письмо адресовано Бергу, бывшему на русской службе, и касалось, между прочим, Ольги Клингель.

Болью сжалось сердце.

Первым движением было встать и убить этого подлеца.

Но «подлец» лежал на теплой печи, так блаженно и безмятежно улыбаясь, сон его был так спокоен, что не поднялась на лежащего рука у казачьего офицера.

Он вышел к команде и приказал им ехать скорее к Платову, а сам остался в избе, ожидая, что больной проснется, и тогда он его допросит подробнее.

Разнообразные ощущения боролись в душе ординарца. Его мучила совесть, что важные бумаги задерживаются; ему хотелось узнать скорее что-нибудь про Ольгу, его мучили опасения за нее, хотелось знать, что с ней намерен сделать Берг, этот ужасный мстительный влюбленный.

Одно мгновение он готов был встать и скакать скорее в Матюрово, но желание разузнать подробности этого

дела и тревога за позднее доставление конвертов заставили его ожидать чего-то.

Зимний день склонялся к вечеру. Начиналась вьюга и метель.

Больной пошсвельнулся и открыл глаза. Должно быть, кроме ознобления, он был поражен еще каким-нибудь мучительным недугом, по крайней мере, взор его выражал страдание, а лицо казалось сильно истощенным.

— Где я? — со стоном спросил он.

— Вы у друзей, — по-французски ответил Коньков.

Мутный взгляд пленного скользнул по фигуре собеседника, но, очевидно, он ничего еще не признавал.

— Как ваше имя? — спросил Коньков.

— Барон Вольф. Секретарь военной полиции.

Коньков вздрогнул.

Вольф застонал и хотел повернуться.

— Вам очень тяжело? Что у вас болит?

— Везде! О, везде. Горит, внутри горит. Воды!

Коньков достал манерку и подал воды. Он забыл в это время, что этот человек хотел отравить и ограбил его еще так недавно, что это его злейший враг и что он покушается на его невесту. Движимый чувством сострадания к больному и одинокому, казак ухаживал за врагом.

Коньков мог убить веселого, честного, благородного Шамбрэ под Кореличами, везде и всюду мог он «поражать своеручно» * неприятеля, нанося страшные раны, от которых еще никто не оправлялся, — но убить или бросить беззащитного, хотя и злейшего врага — он не мог.

Жадно выпил несколько глотков воды с водкой Вольф, но взор его не прояснялся.

— Слушайте, товарищ. Там, у костра... платье... русское... В Матюрове госпиталь...

Он забывался, казалось, наступали для него последние минуты и он спешил высказать то, что мучило и волновало его при жизни.

— Там, — продолжал он с усилием, — прекрасная... Клингель... увезти... Деньги... Жених... убит...

И вдруг он закрыл лицо руками.

* Во многих наградных делах 1812—1814 гг., находящихся в Московском архиве, офицеры войска Донского награждены орденами за то, что «поражали своеручно» неприятеля, преимущественно офицеров.

Быть может, в его душе мелькнули угрызения совести, но только он простонал что-то невнятное, и вдруг лицо его исказилось ужасом, он стал «обирать» себя, потом вытянулся и застыл.

Лицо его быстро бледнело, нос обострился, глаза потухли.

Он умер, не успев раскаяться в своих грехах, не успев вымолвить слова осуждения за всю свою греховную жизнь.

Долго не мог Коньков оторвать глаз от мертвого лица своего врага.

Он сложил крестом на груди похолодевшие руки умершего и смотрел на него с выражением холодного ужаса.

При полусвете набегающих сумерек, в темном углублении лежанки, белым пятном выделялось мертвое лицо с потухшим взором, с каким-то странным выражением застывающих глаз.

Конькову вдруг показалось, что лицо мертвеца искажается ядовитой усмешкой, что из-за холодных губ виднеются ряды желтых зубов. Нервная дрожь пробежала по его жилам. Схватив кивер, он выбежал во двор.

Мертвая тишина стояла кругом — ни крика петуха, ни лая собаки. Деревня, через которую прошла недавно великая армия, была пустынна и разорена. В первый раз испытал Коньков, что значит страх и одиночество; он кинулся к своему продрогшему Ахмету, вскочил в седло и вскачь пустился из деревни.

Вьюга увеличивалась. Чуть виднелись по краям следы пробежавшей партии. Мириады снежинок носились в воздухе, засыпая дорогу, мешая видеть перед собой на два шага. Страшный призрак мертвого барона гнался за ним сзади, и в вое холодного ветра слышались стоны и проклятия, в тучах снега виделись его протянутые руки, его посиневшее лицо. Ахмет резво скакал, попрашивая повода и проваливаясь в сугробы.

Но куда скакать?

Конечно, в Матюрово, по большому тракту, налево, к ней и освободить ее во что бы то ни стало, вырвать из мерзких рук ненавистного человека.

Коньков повернул лошадь, и верстовые столбы шоссейной дороги стали мелькать перед его глазами.

Вдруг что-то точно кольнуло его, и он сразу осадил лошадь.

«А Платов? А бумаги Карпова? А исправное исполнение «порученности»? Может ли он, даже ради личных целей, даже для спасения горячо любимой женщины,— жертвовать долгом? Как посмел он, лихой ординарец знаменитого атамана, забыть про важные донесения? Как мог он нарушить приказание своего начальника?» И болело, и рвалось его бедное сердце от тяжкого горя, от мучительных сомнений и соображений...

Нет! Даже, если бы ему нужно было пожертвовать Ольгой — он свято выполнит свою «порученность». Долг выше любви. Долг выше смерти — всего выше долг! А долг военной службы, долг присяги — и того выше. Он знает, что звание офицера Донского войска не шутка... А он забыл! Скорее нагнать казаков, отвезти бумаги по назначению и покаяться перед стариком-атаманом в своих сомнениях и заблуждениях! Бог даст, простит его атаман, и тогда можно будет поскакать со взводом на Матюрово и взять ее к себе, здесь же обвенчаться, и пусть лучше путешествует она с места на место при платовской штаб-квартире, охраняемая верными казаками, чем постоянно трепетать от страха неожиданного нападения.

Дал шпоры Ахмету Коньков и поскакал назад, вдогонку партии.

Вот и проселок. Чуть видать его, а дальше пойдет лес, там совсем хорошо будет. Пристаёт Ахмет, заморился. А вьюга все метет, и бесконечные белые полосы, словно змеи, бегут по земле. Бегут, сливаются, образуют потоки и стирают, сносят следы людей и лошадей. А в воздухе мелкий, сухой снег реет и рвется, прилипает к плащу, забивается в ресницы, в усы, колет и режет лицо.

Но бойко скачет Ахмет. Загорелось в нем конское самолюбие положить за хозяина свою лошадиную жизнь, и хрипит он, а все скачет.

Но не слышит Коньков тяжелого хрипа верного своего Ахмета, не чувствует он, что подушка седла трет ему ногу, не чувствует холода стремени, боли в руках.

Скорее, скорее бы догнать ему своих казаков, скорее доложить Платову, а тогда к ней и за ней.

Провалился в сыпучий снег Ахмет. Провалился сперва по колени, потом по грудь, напряг усилия — вскочил, — но опять провалился.

— У, проклятый! — проворчал Коньков. — В канаву попал! — и ударил коня плетью.

Первый раз почувствовало удар благородное животное. Прижал Ахмет уши, прищурился, мотнул головой, обидно ему стало за человека — и прыгнул вперед, еще и еще... Но дороги не было, они ехали по целине. Тревожно оглянулся Коньков по сторонам. Ни Ворколобовского леса, ни костров, ничего, ничего... Только рой снежинок да мрачный свет ветра.

Еще и еще ударил Ахмета Коньков.

— Ну, вылезай, лентяй! Ишь, залезла, проклятая тварь!

Пополз по снегу Ахмет. Слеза проступила на его дивном черном глазу. Хотел он протестовать, да разве смеет он что-либо сделать? Ведь он лошадь — и только. Распустился роскошный хвост по снегу, налились кровью пышные ноздри, и ползет он все вперед и вперед...

Холодом охватило Конькова. Загорелось одно ухо, потом другое, нос охватило, потом и рукам и ногам стало жарко.

— Ко сну клонит — не замерзнуть бы.

Слез Коньков с седла, пошли рядом.

— Эх ты, конь мой «виклятый», — выдал меня!

Только головой мотнул Ахмет на несправедливый упрек хозяина и уронил еще одну горячую слезу на снег. «Не пройду, — думал он, — я еще ни шагу!»

Стал и Коньков.

Куда он идет? Да и зачем идти? Разве он не отдал Платову бумаги? Разве не лето теперь? Не сиренью пахнет кругом, и не Ольга обнимает его и гладит нежной рукой по щеке? Разве это не ее поцелуй ожег его по лицу так сильно? Она может целовать его. Ведь они поженились. А дедушка Платов сидит на скамейке и говорит: «Я вам скажу...»

Что-то тяжелое, мокрое и горячее навалилось на Конькова, и его кинуло в жар. Видения исчезли...

Не вынес Ахмет тяжелой скачки, не вынес вьюги и мороза, огорчили его удары и несправедливые попреки, и почувствовал он скорую смерть. И взглянул верный конь на своего хозяина, которого носил с лишком десять лет. И вспомнил Ахмет, как жеребенком ласкал его Петрусь, как бегала за ним мать Петруся, молодая казачка, как засыпали ему овса, хлебом кормили. Вспомнил он, как в тяжелом молдавском походе последнюю кружку воды отдавал ему урядник Коньков, а сам страдал от жажды, вспомнил, как плавали в Пруссии, вспомнил всю ту нежность, с которой

относился к нему его хозяин до Петербурга. Вспомнил, как он и пьяного вывозил хозяина не раз, и никогда не бил его хорунжий, а пьяными устами целовал его морду. Вспомнил, как иногда, свалившись в степи с седла, он засыпал под его ногами нетрезвым сном, и шевельнуться тогда боялся Ахмет, чтобы не задеть своего господина... Ожидал он его возвращения и у Марусинога дома, и у хатки дьячковской Наташи, в лансадах гарцевал он по улицам станицы, и гордился своим всадником, и любил его лошадиной любовью Ахмет. Любил за ласку, любил за жизнь и силу, любил за красоту, за умение ездить... И простил Ахмет холодность хозяина в Петербурге, когда не видал он его целыми днями, простил за удары, забыл ревность к золотистому Занетто... Добрым, ласковым лошадиной лаской глазом оглядел он припавшего на снег своего барина, выронил еще одну слезу из темного дивного глаза своего и упал горячим телом своим на Конькова, вдавил его в снег и согрел своим мягким животом, шелковистой грудью все тело своего любимого господина.

И спокойно тогда испустил дух Ахмет, и довольной улыбкой оскалилась его морда. Он закрыл своим телом от холодного ветра, от резкой вьюги замерзавшего господина. Свято выполнил он лошадиный свой долг и спокойно уснул навеки.

Стихла вьюга. Бледный месяц оглянул далекую равнину, кинул тень от Ворколобовского леса и заиграл на серебряном наборе вороной лошади, что, вытянув стройные ноги, лежала на снежном сугробе.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XX

Поехал казак на чужбину далеко
На добром коне вороном он своем,
Свою он краину навеки покинул:
Ему не вернуться в отеческий дом.

Казачья песня

Раннее ясное утро. Снег давно сбежал с крыш, дворов и улиц силезской деревушки Матзвиц. От зимы не осталось и следа. Летнее солнце ярко играет на мощеном дворике, уставленном предметами хозяйства. Под большим черепичным навесом, на арбе с сеном возятся дети с льняными волосенками, голубоглазые, розовые и здоровые. Молодой бородатый казак качает мальчика на колене, другой ребенок разглядывает шашку.

— Не трожь! Порежешься! Ну, я тебя!..

— Слухай, Зайкин, тоже немцы, и по-нашему не понимают, а народ обязательный и видный! — оборачивается к нему молодой казак, что чистит золотистого коня, привязанного к решетке высокой телеги.

— Ну, христианской веры все ж, Жмурин, — отвечает бородач.

Жмурин молчит. Только щетка равномерно шурхает по гладкой шее и бокам, по временам он ударяет ею по камням, и ряды белой плоти ложатся на булыжник. Левый бок кончен. Жмурин сердито кричит:

— Но! К одной!

Лошадь нервно переступает ногами и принимает в сторону. Жмури́н скидывает гриву на левый бок, и опять шурхает щетка и скребница поколачивает о камень пола. Вот щетка скользнула по нежному брюху — не любит этого конь, вытянул ноги, одну поджал под себя, оскалил зубы и ударил ими в столб.

— Но, балуй! — крикнул Жмури́н и оправил вспотевшие длинные волосы.

И опять щетка шурхает по бокам и сытой блестящей ляжке; темнеет под мышками и у пояса красная новая рубашка казака, — становится жарко. Но и чистка кончается. Прошелся мокрой щеткой по гриве, расчесал волнистый черный хвост, вытер суконкой морду, прошелся по спине и накрыл старой, Бог весть откуда добытой скатертью блестящую спину коня. Фыркнул конь и постучал копытом по камням.

— Ишь, просит! — ласково заметил Жмури́н и, достав из куля овса, засыпал его в старый ящик и подал коню.

Лошадь заржала, погрузила нежную морду в овес, и побежал овес непрерывной струей к зубам.

— Хорошо в замирении! — сказал Жмури́н и потянулся.

— Курнуть, что ли, покамест.

— Грех это, — молвил игравший с детьми Зайкин.

— Не-е! — протянул лениво Жмури́н. — В Писании не сказано. Да в ординарцах ездючи, сделал эту слабость.

— Там, поди, все немцы?

— Все. Я у Блюхерова ездил. Веселый командир. За-всегда едет и «форверст» кричит.

— Что за слово такое?

— Бог е знае. На манер нашего «ура», или «марш, марш»...

— Что там Лександрин урядник под Ганау наделал? Слышно, в хорунжие пожалован.

— Еще бы. И мне бы Егория надоть.

— Тебе-то! Молод очень.

— Слухай лучше... Шли мы за Блюхеровым с малыми полками, а уперед нас прошли ихние гусары и кирасиры. А местность дюже пересеченная, вперед ничего не видать... Слышно — пальба идет. Тронули рысью, вылетели на холм, близ ветряка. Глядим — а «он» скачет по разным сторонам, а гусары его преследуют, а тут на правую руку деревенька, а у нее «они» чего-то тамошатся.

Одно орудие сняли с передков, а прочие позастряли. Блюхеров обернулся и говорит по-ихнему «поздно» и приказал сигнал «апель» подать. А урядник Лександрин, знаешь его, егорьевский кавалер, все к тому орудью приглядается; видит, плохо лежит,— и щемит, должно, его сердце казачье, только как выхватит саблю да крикнет: «Айда! За мной, ребята! Потрафляй!» Тут я, еще кто был с казаков, несколько гусар да кирасир и рванули за ним. Насели на орудие, ну «их» рубить и колоть. А Лександрин кричит: «Братцы, в запряжку!» Запрягли и утянули одно орудие. Как подъехали до Блюхерова-то, Лександрин и говорит: «Простите, ваше превосходительство, не вытерпел!» А тот ему: «Гут — бравер казак!» Обнял его и поцеловал. И тут сказал, что будет просить за него, чтобы «лейтенант махен»,— а лейтенант махен — это все одно, как по-нашему: ваше благородие!..

— Бреши! — недоверчиво протянул Зайкин.

— Вот те хрест! Сам увидишь, в приказе будет.

— Ну, увидим!

Жмурин опять оглянул золотистого коня, потрепал его по крутому крупу и молвил: «Поправляется наш Заметьте-то без работы да на немецком корму! Гут, совсем гут, явол!»

И, выколотив о камень трубочку, он запел слегка в нос песню, потом сбился и затянул другую:

Не жалко эту дороженьку,
Что она запылена,
Только жалко эту девочку,
Что она зажурена!
Запылена эта дороженька
Буйными ветрами,
Зажурена девочка
Прежними друзьями.
Дурак-казак девчоночку
Журит, бранит не за дело,
А за самое бездельице —
За коника вороного!
Казак коника пытается:
«С чего коник зажуренный?
Овес, сено у тебя все целое,
Ключевая вода не почата?
Али ты, мой конечек,
Чуешь походы дальние?»
— Мне не страшны, мой хозяин,
Твои походы дальние,

Только страшны, мой хозяин,
Корчомочки частые,
Еще страшнее, мой хозяин,
Девчоночки молоды!

Кончил песню Жмурин, сплюнул на сторону и замолчал.

— Да,— протянул Зайкин,— не след казаку любить бабу!

Жмурин ничего не ответил.

— Конь — другое дело,— продолжал философствовать Зайкин, конь выручит, вызволит — конь, одно слово, лошадь, а баба — баба и есть.

Жмурин хитро посмотрел на Зайкина, но опять смолчал.

— Жену ли любить, полюбовницу ль, все одно — не христианское, не казачье это дело! Потому жену черт создал на соблазн роду человеческому Ты глянь-посмотри: иде баба — там скандал. Слышно, до Расеи Наполеон не любил баб и везло ему страсть, а нонче, слышно, завел любушку — и конец. Верно я говорю.

— Ах ты, Зайкин, Зайкин! Брехун ты, одно слово А чего ж ты детей-то ласкаешь, дети-то бабья пакость аль нет? Знаю тебя — ты хоть старой веры, а с Эммой вчера хороводился, ты гляди, посмотри, кабы у Карлуши да Фрица на летошный год черноволосые братцы не пошли.

Смутился Зайкин.

— То-то и баба! А я страсть по жене соскучился! — искренно воскликнул Жмурин.— И когда это походы кончатся! Замечательно — второй год воюем, и все больше насчет отступлений. Как зима — по холодку вперед, как лето — назад. И победим, да отступаем! А мне повидать жену страсть хочется... Что, Заметьте, сыт, что ль? — обратился он к лошади.— Сейчас.

Он слазал наверх за сеном и разостлал его на телеге перед лошадей.

— Слухай. Зайкин. Что, правда, что у барина нашего был святой конь, что жизнь ему спас?

— Брешут.

— А был-таки конь?

— Был-то был. Важная лошадь. Вороной без отметин, гордый, нарядный и тоже ласковый конь, все одно как Заметьте.

— Где же он теперь?

— Замерз близ Соловьева. Надорвался и упал в снегу.

— Вот и сказывали, будто ехали на другой день казаки в партии, глядят, на снегу сияние какое, подъехали ближе; мертвый конь лежит, а под ним его благородие, чуть живой.

— Сияния не было, а что его благородие под конем отогревались — это правду говорили, это что же.

— А я слышал, что сияние.

— Мало ль что брешут! Може, набор тогда горел на солнце.

— Сказывали, и солнца не было.

— Ну, все одно брехали... А може, и так! Бог-то велик. Одно точно знаю; нашли его под конем, конь мертвый, а он живой!

— И за то ему сотника дали!

— За то, не за то ли — не знаю. А дать следовало. Потому храбрее нашего Пидры Микулича не сыскать!..

— Да,— протянул Жмурин,— бывает... Глянь, Каргин Мельниковского полка с хозяйской дочкой путается.

— Ему хорошо, он по-ихнему знает. Тоже образовательный человек, барин, а простым казаком ушел. Война-то что значит!

— От жены, сказывали, ушел...

— Мало ли что говорят.

— Гретхен! Гретхен! — закричали мальчики и побежали от Зайкина.— Komm her! Sieh welche Säbel! *

— Ах вы, братцы мои! — ласково сказала им красивая полная немка, шедшая с казаком.

— Слушайте, Николай, скажите вашим товарищам, что на обед пора.

— Вы меня любите, Гретхен?

— Скажите, я вас прошу, вашим товарищам,— не обращая внимания на его вопрос, говорила немка,— сосиски простынут.

— Что мне сосиски! Любите?

— Вот пристали! Вас нельзя любить. Вы казак, вы фюйть — и на войну. А я тосковать буду. Сраму на весь приход! Скажите, пожалуйста, вашим товарищам!

Но Каргин молчал.

— Ну, я сама скажу. «Казакен, подить эссен, ну, зо!» — и она показала пальцами, как едят.

* Иди сюда! Смотри, какая сабля! (нем.)

— А, спасибо, спасибо! — восторженно воскликнули донцы.

— Данке! — сказал потершийся в корпусе Блюма Жмури и побежал напяливать мундир.

К обеду, собранному в чистой передней горнице, вышел и офицер атаманского полка сотник Коньков.

Казаки встали.

— Садитесь, братцы, скучно мне одному, я с вами пообедаю.

— Хлеб да соль, ваше благородие!

— Вы говорите между собой, не стесняйтесь, — сказал Коньков и стал вяло есть.

Он оправлялся, но медленно. Если бы за ним был уход как следует, если бы ходила и баловала его нежная рука любящей женщины, быть может, он бы и скорее оправился. Но к грудной боли, к тяжелому хриплому кашлю, к боли отмороженных рук и ног присоединилась страшная тоска за Ольгу, за ее жизнь и существование.

Сотнические жгуты не радовали его сердце. Тяжелым укором ложилось ему на душу это повышение в чине. Не заслужил он его. Он виноват перед атаманом, он не исполнил как следует его поручения, не доставил бумаги. Сначала долг христианина, потом личные чувства задержали его. Имел ли он на это право? Разве долг солдата не выше долга христианина? Разрешено разве покидать ряды для перевязки раненых? Нет, исполни свой долг солдата, а потом займись больными, займись своими сердечными делами.

«А Ольга! Где она?»

И вставали в его распаленном мозгу страшные сцены. То виднелась ему шайка мародеров, мужиков без дисциплины, озверелых и грубых, предводимая сухим, ядовитым, плешивым Бергом, врывающаяся в госпиталь...

Сцены насилия, грабежа и убийства, зрителем которых он был неоднократно, вставали перед ним, и мучился он и терзался непрерывно...

Он сознавал, что стоит ему успокоиться, и он выздоровеет.

Мучило его еще одно обстоятельство. В минуту забвения своего там видел он чей-то жалкий, слезящийся глаз, темный, красивый, задумчивый... Глаз загнанного им животного, любимой когда-то лошади!

И когда донеслась сегодня до него, одиноко лежащего во втором этаже в чистенькой комнате Гретхен, песня Жмурина — тоской наполнилась его душа и до боли сжалось сердце.

Другие могут скоро утешиться; у других и горе-то как-то мимолетно, а он — нет. Давно ли Каргин приходил к нему, и плакал, и жаловался на свою судьбу, и то бранил и проклинал Марусю, то тосковал по покинутой далеко больной жене, а теперь вот смеется и болтает со смазливенькой Гретхен. Коньков не может так... И не появится на его лице улыбка, пока не увидит он веселую и радостную свою Олю...

Кончился обед. Перекрестились казаки на восход и хотели уходить, да открылась дверь, и сам сотенный Зазерсков в полном параде вошел в дом. В струнку вытянулись казаки.

— Здравствуй, Петр Николаевич! — сказал, подавая ему руку, сотенный. — Я с радостью к тебе. Платов объезжает полки. На завтра будет у нас. Услыхал, что ты болен, — лекарство тебе везет такое, что сразу как сумасшедший вскочешь и не будешь больше болеть.

— Не поправят меня, Аким Михайлович, никакие лекарства, хмуро сказал Коньков.

— Посмотрим! — сказал Зазерсков. — Николаю Петровичу — мое почтение. Здорово, братцы!

— Здравия желаем, — гаркнули два казака так громко, будто их целый полк.

— Завтра к одиннадцати в пешем строю быть готовым... Поняли?

— Поняли.

— Да, брат, — снова обратился он к Конькову, — и везет же тебе. Эка красавица хозяйка! Ну, пошел дальше! Смотри, чтобы от жителей претензий заявлено не было.

— Будьте благонадежны.

Зазерсков вышел. Казаки занялись поправкой амуниции и платья, а Коньков поднялся наверх и глубоко задумался, сидя у окна.

Ему стыдно было встретиться с Платовым. И не верил он ни в какие лекарства!..

XXI

*Aimer, souffrir, mourir — voici notre vie. **

А. Мюссе

К утру Конькову сделалось хуже. Опять разболелась грудь, дыхание стало стеснительным, и полковой косто-

* Любить, страдать и умирать — вот наша жизнь (*фр.*)

прав, осмотрев его, нашел, что выходить ему в строй невозможно.

День был жаркий, солнечный. Что-то праздничное носилось в воздухе. Коньков сидел перед открытым окном, вдыхал свежий запах сена, соломы и скотного двора, запах, присущий только немецким домам, смотрел, как полногрудая Гретхен подавала сено на вилах своему жениху и как сгибался и разгибался ее стан, смотрел на ребятишек, помогавших одеваться казакам, и на стоящего под навесом Занетто.

Когда же он поднимал голову и смотрел вдаль — нерусский вид открывался перед ним. На зелени полей, здесь и там, выделялись красные купы кирпичных строений, блестел остроконечный шпиль церковной колокольни, и чернели и синели поросшие лесом далекие Саксонские рудные горы. Горы с одной стороны подходили совсем близко, отроги их выступали вперед, там лес был отчетливо виден, и близкими казались черепичные кровли нагорных селений.

А вдоль по широкой шоссированной улице, обсаженной липами и березами, с канавами по сторонам, собирались казаки и празднично одетые крестьяне.

И до них дошла весть, что знаменитый атаман Платов едет к ним. Каргин сказал Гретхен, Гретхен — Эмме, Эмма — Амалии, Амалия — Розе, Роза — Магдалине, та — Маргарите, все своим мужьям и женихам, и пестрые жилеты, новые штиблеты, куртки и цветные шапочки толпой запрудили улицу.

Дежурный урядник в кивере пробежал по улице, крича: — Которые люди атаманского полка — выходи на встречу.

Из домов здесь и там начали показываться высокие фигуры казаков сотни Зазерскова. Кивера с ярко-голубыми шлыками, чекмени тонкого немецкого сукна — все было новое, с иголки, немецкими портными пошитое еще в мае месяце, во время прохождения через Дрезден. Начали выходить и офицеры. Из старых сотрудников Зазерскова оставался один Коньков, да и тот больной лежал на обывательской квартире.

В сотне была самая зеленая молодежь. Они попали к перемирию, а потому скучали и пили. Коньков, задумчивый, грустный, не по душе им пришелся. Зато кадр урядников был великолепен. Это были герои Данцига, Люцена

и Бауцена, большинство со знаками отличия Военного ордена.

Пришел и Зазерсков, он осмотрел сотню, поправил мундиры двум-трем, приказал обтереть сапоги и начал ровнять.

Старые, заслуженные казаки помогали ему, поталкивая молодых, шепча им советы:

— Отвечать атаману громко и радостно. Скажет: «Здорово, атаманы-молодцы!» — кричите истово: «Здравия желаем, ваше сиятельство», потому теперь он пожалован графом.

— Слушаем, ваше высокоблагородие!

— Ну-ка, прорепетируем. Отвечать, как атаману. «Здорово атаманы-молодцы!»

— Здравия желаем, ваше сиятельство! — дружно крикнули казаки.

— Да смотри не затягивай! И головы поверните в ту сторону, и повыше их держите, и шею на воротник, и подбородок на себя. Вот так!..

Конькову доставляло необъяснимое удовольствие из тишины своей комнаты наблюдать это предусмотрительное волнение. Опершись локтями о подоконник, он смотрел на ярко горевшие голубые кивера, на вытянутых в две шеренги людей. Мало-помалу ему тоже передавалось их волнение, и с сильно бьющимся сердцем смотрел он на дорогу.

Платов везет лекарство? Какое же лекарство может его порадовать? Порадовали разве его сотнические галуны? Теперь даже если Георгия пожелует, зачем он ему? Он один на белом свете. Она убита или увезена Бог знает куда.

Ни отца, ни матери, ни родни — никого у него нет, он один мыкается по белому свету, в военных приключениях ища смысла жизни, с разбитым сердцем, не знающий любовных страстей.

Больной и одинокий, без правильного ухода, в далекой немецкой земле погибнет он бесславно, и чужая земля покроет его прах, и никто не заплачет, никто не пожалеет его...

А кругом царит жизнь знойного лета.

Генрих, жених Гретхен, как изящно он сгибается, подавая снопы, и она, залитая румянцем, но спокойная, счастливыми глазами смотрит на сильного жениха. Они счастливы. Их счастье разливается кругом и возбуждает зависть

Конькова. Каргин пойдет под вечер гулять с Эммой и вернется счастливый, с томными глазами; кроме того, у него есть Маруся, там, на Дону. Жмурин вернется к жене, Зайкин будет бранить женщин и поносить их и в конце концов тоже женится.

Один он, Коньков, словно закланной какой, вечно одинокий, вечно тоскующий. Но кто же ему запрещает полюбить ту же Эмму или даже Гретхен, и та, и другая, да и Маруся Сипаева, и Наташа, дьячкова дочка, не откажут ему ни в поцелуях, ни в любви.

Сколько раз приходила Гретхен и предлагала ему ухаживать за ним. Сколько раз она являлась ночью, когда у него начинался жар и бред, чтобы поправить одеяло, и жалела его; и гладила его по кудрям. Но исчезал бред, возвращалось сознание, и прогонял Коньков голубоглазую сиделку.

Не нужно ему было ее ласк! Не хотелось ему делить свою любовь с кем попало, святотатством казались чужие поцелуи. И распаленное окружающей любовной атмосферой воображение вызывало ее призрак, и страдал и мучился он один и проклинал свою жизнь.

Затихшая было лихорадка возвращалась вновь, начинался опять жар и бред, и не являлось необходимое спокойствие.

Иногда робким червячком зашевелится в его душе надежда, и тогда станет лучше, даже будто веселее, но сознает Коньков, что отыми от него эту смутную надежду — и тогда смерть!

Лекарство?! Когда-то сам Платов был бы лучшим лекарством для своего ординарца. Его бодрый, разумный вид живительно действовал на Конькова, и Коньков бы ожил; но то было давно. То было тогда еще, когда кудрявый, бледный образ Ольги Клингель не вытеснил еще всех привязанностей из казачьего сердца. То было в то время, когда верилось, что холостой выше женатого, что баба не для казака, когда похвала начальника была выше и лучше поцелуя, орден дороже свиданья, чин выше брака...

А теперь... Ничто его не развеселит, и никаким лекарством не вылечит его Платов.

Но, может быть, Платов везет весточку об ней? Куда!.. Давно бы было слышно. Разве мало воды утекло с ноября по июль?..

Но все же робкая надежда начинает шевелиться в мозгу у Конькова, и на одну минуту он как будто успокаивается, но потом отчаяние, еще сильнее, охватывает его.. «Нет, где же Платову догадаться, что меня может излечить, где же ему так порадовать меня?!» И одиночество, сплошное, тяжелое, охватывает его всего, и опять не мил ему свет, не мила ему жизнь. .

Вдали, на том месте, где дорога сворачивает из леса и где лежит большой белый камень, показалась пыль, и черное пятно быстро приближается к селу Матзвиц, слышен уже мерный топот лошадей, и коляска с поднятым верхом, а за ней другая дальше тарантас с атаманским багажом гремят и пылят по дороге.

— Смир-р-но! — гремит торжественная команда Зазерскова.— Глаза нале-е-во! Ты, я тебя — куда выдался? — громким шепотом осаживает он любопытного казака из молодых.

Немцы снимают шляпы. Тишина, прерываемая визгливым лаем собачонки да кудахтаньем кур, водворяется кругом.

Платов, еще более постаревший, выходит, принимает рапорт Зазерскова, спрашивает что-то у него и показывает кучеру на дом Конькова. Коляска едет к дому — кто в ней?

Гулко ответили казаки:

— Здравия желаем, ваше сиятельство!

Потом раздалось:

— Рады стараться, ваше сиятельство!

«Благодарит, верно?..» — соображает Коньков Дверь скрипнула, чьи-то легкие шаги. «Кто бы? — все ушли на смотр. Гретхен, верно, забыла что-нибудь, она вечно забывает косынку... Гретхен?! Разве Гретхен пройдет так, разве пройдет так кто-либо другой, кроме нее».

Коньков вскочил от окна и кинулся к двери.

— Ольга!

— Петрусь!

И они бросились друг другу в объятия.

Он бледный, больной, но счастливый, она тоже похудевшая, но веселая, радостная.

— Ну, садись, голубчик! Вот так. Тебе нездорово это Положи свою голову ко мне на грудь.

Куда девалась головная боль, куда исчезла тоска, глу-

хая злоба на людей?! Весь мир так радостен, все такое веселое, бодрое, счастливое!

— Заболел ты, милый мой, а я и не знала. Разве можно так мучить? Я бы давно приехала, и был бы ты здоров, моя радость. Я бы своими руками тебя выходила, милый ты мой, похудел-то ты как!

— Ольга, а Берг?

— Берг под судом.

— Кто же спас тебя?

— Они не успели напасть, гусары окружили их. Корнет Воейков, ты его знаешь, он мне говорил это, со взводом забрал их всех.

— Володя...— проговорил Коньков, и вспомнилась ему штаб-квартира Милорадовича,— он хороший.

— Славный он мальчик! Но ты лучше,— ласково, как ребенку, улыбаясь, сказала Ольга.— Он тебя так хвалил! Коньков вспыхнул.

— Кто же тебе сказал, что я здесь?

— Атаман ваш, граф Платов. Он и привез меня.

Славный старик.

— Где ты его увидела?

— В госпитале. Он обходил раненых казаков — я при них состояла... для тебя... Я спросила у него, как ты поживаешь. Он спросил, как меня зовут,— я назвалась. Он сообщил мне тогда, что ты больной, простудился, еле дотянул до Данцига, а оттуда с трудом странствуешь за полком, что тебе нужен уход, иначе ты зачахнешь. Тогда работы в госпитале стало меньше, и без меня могут управиться. Я попросилась. Отпустили. Боже, как я была рада!

А сама гладит по лицу его, гладит его волосы, прижимает к своей девственной юной груди.

— Ты меня все еще любишь? Больного, худого!

— Еще больше, чем здорового,— ласковым шепотом говорит она, наклоняется над ним и целует его в щеку, в лоб, в шею, в губы.

Горячи эти поцелуи! Любовь переполняет его душу, и сладостное волнение отнимает на секунду соображение.

А там на улице кричат «ура». Там тесно стали кругом атамана казаки, и платовский адъютант Лазарев громко читает:

БОЖИЕЮ ПОСПЕШЕСТВУЮЩЕЮ МИЛОСТЬЮ

МЫ

Александр Первый,
Император и Самодержец Всероссийский
Московский, Киевский, Владимирский и пр. и пр.
Объявляем всенародно

На Дон в нижние и верхние юрты, нашим Атаманам и казакам, Войсковому Атаману графу Платову, Правительству войска Донского и всему оному верноподданному войску.

Донское наше воинство в настоящую ныне с французами войну усердием, подвижностью и храбрыми действиями своими оказало Отечеству услуги. Поголовное ополчение и прибытие оногo в знатных силах к нашей Армии было толь поспешное и скорое, какое токмо бывает, когда совершенная к исправлению дома своего ревность всех и каждого одушевляет и движет. Мужественная и неутомимая бдительность Войскового Атамана графа Платова, тако ж и сподвизавшихся с ним всех войска сего храбрых Генералов, Офицеров и всех вообще донских урядников и казаков много способствовали к преодолению великих сил неприятельских и к одержанию над ними полных и знаменитых побед. Они непрестанными на него нападениями и частными с ним битвами везде возбраняли ему способы к продовольствию и чрез то привели всю многочисленную конницу его в совершенное изнурение и ничтожество. Когда потом после многих бедственных для него сражений был он победоносным нашим воинством поражен, обращен в бегство и преследован, тогда на пути в новых с ним жарких сражениях отбито у него бывшими под предводительством Атамана графа Платова Донскими казаками знатное число Артиллерии со многими взятыми в плен Генералами их, офицерами и солдатами. Сверх сего неприятель, беспрестанно ими беспокоимый, принужден был многие орудия свои со всеми к ним принадлежностями затоплять в болотах и реках, или, не успевши и того сделать, оставлять нам в добычу, так что в продолжение бегства своего за пределы Российские претерпел всеконечное и совершенное истребление. Толь знаменитые заслуги и подвиги Донского войска Нашего налагают на нас долг, пред целым светом засвидетельствовать справедливую на-

шу к нему признательность и благоволение. Да сохранится сие свидетельство в честь и славу его в памяти потомков. Пребываем ко всему Донскому воинству Императорскою нашею милостью благосклонны*.

Александр

И опять громовое «ура» казаков, радостные крики жителей, визгливые восклицания женщин.

Махнул рукой Платов.

Слезы покатались по его сухому, изможденному страданиями лицу; года, проведенные в походах, берут свое!..

— Детушки,— прерывающимся голосом говорит он,— от простого казака и до графа Российской империи возвысили вы меня. Станичники! Вам обязан я этими медалями, орденами и крестами... Спасибо вам, детушки, великую славу Донскому войску заслужили мы с вами! Заслужим и еще!

— Постараемся, постараемся, ваше сиятельство! — гулом отвечает круг.

— На днях поход,— слышатся слова Платова.

— Ура! — гремят казаки, и кивера летят на воздух, сверкая голубыми шлыками и белыми этишкетами.

— Я надеюсь...

— Будьте благонадежны! Не посрадим! Больше еще заслужим славу!

— Благодарю, братцы, пейте, гуляйте сегодня!

— Урра!

— Вы войдете сперва в отряд генерала Рота.

— Хотим к вам, ваше сиятельство!

— Не хотим к немцу! — слышны голоса.

— Успокойтесь! — властно говорил Платов.— Я вам скажу — и у немца есть выгода служить. Вот урядник Александрин у Блюхера хорунжия заслужил.

— Урра!

— Ну, будет. На места!

— Смирно! — командует Зазерсков.

Круг расходится.

На обед! Казаки с разговором идут по избам.

Платов, сопровождаемый есаулом, адъютантом и офицерами, идет к коньковской избе. Хозяева уже узнали, что

* Грамота войску Донскому.

атаман у них остановится. Стол накрыт снежно-белой скатертью, ароматом капусты так и бьет в нос. Смазливая Гретхен делает глубокий книксен перед атаманом.

— Где же они?

— Наверху, ваше сиятельство.

Гнется лестничка под тяжелыми шагами Платова. Ни жив ни мертв вытянулся Коньков; даже Ольга встала, и робость закралась ей в сердце.

— Здравствуй, господин мой.

— Здравия желаю, ваше сиятельство.

— Ну, как здоровье?

И атаман всевеликого войска Донского, граф Российской империи, приложил руку ко лбу ничтожного сотника.

— Горяч. Ну да это она разгорячила. Поправляйся, господин мой. Я вам скажу, хворать да по госпиталям валяться недостойное для донского казака дело. Ну, ты другое дело. Ты тут не в счет. Я знаю тебя, ты больной ехал со мной, больного тебя я погнал с приказанием. Слава Богу, что ожил, а то наделал бы ты мне тогда тревоги. Я привык, государь мой, к тебе, и вам, сударыня, не раз придется ревновать ко мне, а я так и теперь ревную.

Вспыхнула Ольга.

— Помилуйте, я вам скажу!..— продолжал Платов.— Это был примерный офицер, бойкий, исправный и всегда веселый. Я вам скажу, он и теперь исправен и боек, но веселье не то: скучает и грустит, а это не след донскому казаку. У донского казака лошадь да сабля — вот его друг да потеха, а завелась зазноба, и дело не то. Это хитрая наука, я вам скажу, ты от дела на вершок, оно от тебя на аршин, и так пойдете вы врозь, хорош будет полк *. Я вам скажу, я не прочь, чтобы молодые казаки любили молодых девиц и женились — это, я вам скажу, очень даже хорошо, но только жизнью и здоровьем рисковать — это негодное дело. Жизнь и здоровье нужны для Царя и пригодятся для войска Донского... Но, государь мой, привез я тебе сестру милосердия, выходит она тебя, вылечит, а там, глядишь, мы и Бонапартишку разбили,— и тогда сам у тебя посаженным отцом буду, и так в Питере запразднуем, что небу жарко станет. А потом по скорости, думаю, и в крестные меня призовете. Грех плошать молодому казаку.

До слез покраснела Ольга Федоровна.

* Подлинные слова Платова.

— Ну, государи мои, совет да любовь! На меня, старика, сердиться не след, а тебе, Петр Николаевич, спасибо за службу верную, да советую выздоравливать поскорее, недели через две начнем сражаться. Смею думать — и побеждать будем. Ну, прощайте, мои дети.

И, галантно поцеловав маленькую ручку Ольги Федоровны, поцеловавши и ординарца своего, Платов вышел из комнаты.

Пожали руку свитские, пожали хорунжие, Зазерсков грубовато спросил:

— Хорошо лекарство? — и, обернувшись к Ольге Федоровне, сказал: — Вы мне его, пожалуйста, не разбалуйте, а он у меня хорошее дите, разумное. Только не испортите. А ты смотри у меня. Лихость с бабой не потеряй, — и вышел.

Опять одни остались Коньков с невестой.

Понравились, полюбились эти грубоватые люди Ольге Федоровне. Она видела, что они любят ее Петруся, и потому особенно дороги они ей стали.

Платов уехал. Казаки опять предались мирным занятиям. Хорунжие уехали по соседству к Владимирским уланам. Зазерсков днем и ночью шатался по конюшням и смотрел, чтобы казаки хорошенько выкармливали коней, Жмурин пел песни и чистил Занетто, Зайкин забавлялся с детьми, и любили они этого бородатого казака затейника и выдумщика: смастерит из щепок мельницу, дом из лучинок, голову Наполеона из куска мела — «дюже развратный* и до всего дотошный», как говорили урядники, был старовер Зайкин.

Коньков при внимательном уходе, при душевном спокойствии поправлялся скоро.

Кашель не мучил, лихорадка прекратилась, грудь перестала болеть, а ноги и руки, ежедневно растираемые Ольгой Федоровной, быстро оправлялись. Коньков с радостью чувствовал, как возвращались силы, желал поскорее заслужить перед Платовым свою вину и мечтал о скором окончании похода, о скорой свадьбе.

Атаман зря не скажет!

Хорошо было и Ольге Федоровне. И она поправлялась и полнела, и хорошела.

«Что, — думала она, — может быть выше и приятнее, как ухаживать за дорогим больным и видеть его скорое

* Р а з в р а т н ы й — расторопный.

выздоровление? Что может быть приятнее чистого поцелуя?» И не понимала эта чистая девушка, как может Гретхен жить иначе. Они спали вместе в одной комнате. И почти каждую ночь слышались три осторожные удара в стекло, и Гретхен покорно вставала и уходила, чтобы вернуться под утро.

Зачем эти свидания? Что интересного в бледном Каргине, в курчавом Жмурине?

Холодностью ответила она Каргину, когда раз вечером, на крылечке, он стал ей говорить, что ему, образованному человеку, тяжело с этим мужичьем, что его обманула жена, что его преследует Зазерсков.

Даже всплакнул слегка молодой казак перед красивой девушкой, но не вызвал участливого слова, не добился ласкового взора.

«Мужичье» было дорого Ольге Федоровне, потому что в них она видела людей, преданных и обожающих ее и ее жениха. Среди мужичья был и Жмурин, который каждый день приносил ей букет цветов и ласкал и холил «их» Занетто; среди мужичья ведь был когда то и бедный Какурин, что ради чемоданчика с бельем для своего барина пожертвовал жизнью.

Не понимала она и измены жены Каргина, а главное, не могла понять, как можно говорить такие сокровенные вещи человеку постороннему? Не видела она также и притеснений со стороны есаула.

И ни с чем ушел «письменный» человек, думавший найти образованного, сочувствующего ему человека в невесте товарища.

Через неделю Коньков стал выходить. Тогда начались прогулки в рощу, на горы, к речке. Молодые казаки снимали шапки; старые сослуживцы, знавшие хорошо «Пидру Микулича», поздравляли с выздоровлением, новички делали фронт — и все это радовало и тешило любящую Петруся Ольгу Федоровну.

Радовало ее и ясное летнее небо, и зелень лугов, и тишина лесов с расчищенными дорожками, со скамейками здесь и там. Горячо молилась она во воскресеньям в кирке, куда водила и жениха, слушали вместе орган и проповедь пастора и возвращались домой счастливые тихим, мирным счастьем.

Часами сидя на выгоне, слушали они пастушью свирель и блеяние стад, смотрели в волны горного ручья, наблюдали жизнь муравьев в лесу, прыжки забавной белки.

— Ведь и ты моя белочка! — говорил ей казак.

— Ах ты... Сам ты белка!

И широкой волной охватывало их счастье. И не было лучше времени для них, как это лето 1813 года в Саксонии, во время роздыха от брани и сражений.

Казалось, Бог хотел вознаградить хорунжего за его лишения. И Божья награда была больше и выше, чем все кресты, все знаки отличия, данные людьми...

Но недолго длилось это блаженство.

Как минута, промелькнули две недели вдвоем; здоровье вернулось; пора было в строй.

Перемирие кончилось, полки собирались к Дрездену...

С трудом уговорил Коньков Ольгу Федоровну воспользоваться случаем и с транспортом раненых гвардейцев уехать к отцу в Петербург.

— Я буду так спокойнее, моя ненаглядная, радость моя.

— Я с тобой хочу! — капризно, как маленький ребенок, повторяла она.

— Нельзя, дорогая. Мы опять в разъезды, мы опять уйдем вперед, чтобы быть очами и ушами армии, опять будем душу свою полагать за други своя, как учил нас Христос. Разве худо это?

— Ах, голубок мой! Так хорошо было эти две недели знать, что ты в тепле, что ты со мной, что тебе хорошо. А теперь опять я буду волноваться, буду не спать, томиться, ожидая тебя.

— Не бойся, моя радость! Война скоро кончится. Идут уже переговоры о мире.

— Дай Бог!

В одно ясное утро в первых числах августа раздались крики для сбора, поседлали, повьючили коней казаки, сел на Занетто Коньков, и в слезах, в дорожном платье вышла проводить жениха Ольга Федоровна.

— Прощай, голубчик!.. Прощай, Занетто, носи своего барина, выручай из беды... Прощай, Жмурин... Зайкин... Прощайте, друзья мои. Да поможет вам Бог. Прощайте, Аким Михайлович. Прощай, дорогая сотня! Прощайте, милые атаманцы... Ну, еще раз прощай, Петрусь, догоняй, отстанешь,— прошептала Ольга и поцеловала пыльный сапог его.

Затем, рыдая, Ольга Федоровна, перекрестила его и отвернулась.

Коньков поцеловал ее в губы и вскачь пустился догонять сотню.

Села в тарантасик Ольга Федоровна, села с ней Грехен, тоже в слезах; хмурый жених Генрих махнул кнутом, и застучали колеса по камням.

Оглянулась Ольга Федоровна. Высокая едкая пыль подымалась по дороге. Сверкали копья, вверху блистали стволы ружей... И это все, что осталось теперь от дорогого ей, бесконечно милого человека... Вот вошли в лес — вот и не видно их стало. Улегается пыль от сотни, пыль, поднятая копытами его лошади.

Оглянулся Коньков. Черной точкой виднелся тарантас. Глянул — кругом суровые лица, знакомое боевое выражение в глазах.

Недолго еще подумал он про Ольгу, и весело, радостно стало на душе у него, и с хорошим предчувствием пошел он в поход.

XXII

...Для изучения законов истории мы должны изменять совершенно предмет наблюдения, оставить в покое царей, министров и генералов, а изучать однородные, бесконечно малые элементы, которые руководят массами...

Гр. Л. Н. Толстой. Война и мир

Всякое мировое событие неизбежно следует известным законам. Не недостаток в кавалерии, мешавший Наполеону довершать свои победы энергичным преследованием, не отсутствие военного таланта в фельдмаршале князе Шварценберге, не сомнительная храбрость немецких волонтеров и стойкость русской армии губили Наполеона и разрушали многие года создаваемую всемирную монархию.

Идея всемирной монархии не сливалась с важнейшими мировыми законами — с идеями национализма, главным образом. Русские были слишком разнородны с немцами и французами и французы — с русскими и голландцами, чтобы воля даже и гениального человека могла их спаять, — и девять лет создававшееся великое здание рушилось само собой. На победы под Кульмом и Денневицами союзников Наполеон отвечал Люценом и Бауценом, вой-

ска плясали, как в кадрили, то наступая, то отступая. Лето оправлялись, в осень начинали борьбу. Союзники делали тысячи глупостей и ошибок, напрасно испытывая храбрость своих войск, и все-таки действия их клонились к победе, и Наполеон медленно отступал.

Невидимо совершался мировой переворот, и тщетно Наполеон напрягал свои силы, тщетно дрались с безумной отвагой французские полки, они погибали без пользы. Разлившийся поток французского владычества входил в свои берега, он сделал свое дело.

Он пробудил патриотизм германского юношества, дал толчок к объединению германских земель, довел патриотизм русских до предела и укрепил их в любви к отечеству.

Мировая миссия Наполеона была кончена, судьба, прославшая его, убрала его, как нечто ненужное, и напрасны были усилия этого маленького, но гордого человека.

Час его пробил.

Кутузов умер весной в Бунцлау, князь Витгенштейн был смещен, и командование союзными армиями было вверено немцу князю Шварценбергу. В противность другим своим собратам, Шварценберг был плох даже на бумаге. Перемирие кончилось, каждый просроченный день усиливал Наполеона, а в главной квартире все еще спорили и не могли решиться наступать. Главнокомандующий не знал, сколько сил у Наполеона и где он находится. Собранные сведения сказали, что французская армия где-то «там», у Дрездена, но сколько там корпусов, каковы силы, чьи войска — никто не знал. Десятого августа, на пятый день по окончании перемирия, решаются наступать на столицу Саксонии. И вдруг у немецкого генерала встает роковой вопрос: укреплен Дрезден или нет? Сколько там может быть войска, каковы подступы, удобны ли дороги? В главной квартире нет карты, нет даже рекогносцировочного кроки. Добывают старинную карту Петри, по которой еще действовал чуть не Густав Адольф, но ей нельзя верить, с тех пор много воды утекло и многое могло перемениться. Но наступать надо...

На заре десятого августа 1813 года через Саксонские Рудные горы движутся казаки Родионова, 20, 25, и 26-й егерские полки, батарейная рота № 3, конноартиллерийская рота № 7, гродненский гусарский полк, 21-й и 24-й егерские батальоны, атаманский полк и казаки Иловайского — это авангард генерала Рота, сзади идет корпус

Раевского, а еще далее и вся армия. Маршруты даны неточные; армия наступает ощупью.

Поутру тринадцатого августа на горизонте показались строения Дрездена. Показались и французские войска. Пехота рассыпала цепи, казаки начали бесконечные маячения, раздались орудийные выстрелы: делали то, что на военном языке называется рекогносцировкой. Под прикрытием войск, фельдмаршал, император Александр, король прусский, генералы Моро и Жomini въехали на холм и в трубы обозревали позиции. В круглое стекло трубы видна была здесь и там французская пехота, дымки орудий, виднелись здания, холмы — быть может, укрепления, а может быть, просто курганы — карта Петри ничего не выясняет. Пленных нет, никто не знает, там Наполеон или нет, вся французская армия собралась на защиту столицы Саксонии или там сосредоточено два-три корпуса?

Атаковать или нет?

Под вечер один прусский волонтер, в вольном платье ходивший в Дрезден, явился в главную квартиру. Его доклад был принят как откровение свыше, как нечто необычайно верное.

Самое важное было то, что Наполеон еще не прибыл в Дрезден, что город слабо занят и плохо укреплен. Надо было решиться, стремительно атаковать, но Шварценберг не умеет быстро решаться. Собирается военный совет. Русские генералы бесятся и из себя выходят, немцы поражают своим хладнокровием и спокойствием.

Наконец ночью разослана диспозиция. В ней все определено, каждой части указано, что она должна взять в этот день, — а в возможность взять больше не верили. Многочисленная армия союзников, по диспозиции, к концу боя овладевала только городскими предместьями. Войска разбрасывались на громадном протяжении, безо всякой связи, без всякого единства действий — сражение грозило перейти в ряд отдельных стычек и боев за местные предметы.

Но как-никак диспозиция была дана, войскам разрешали драться.

Настало четырнадцатое августа. День был жаркий, солнечный, небо цвета бирюзы, ничем не закрытое, ничем не затуманенное. Солдаты рвались вперед, стремились скорее достигнуть города и овладеть им, но их не пускали. Да и нельзя было пустить — они были разорены.

День прошел в бесплодном кровопролитии. Тем временем Наполеон призывал к себе новые и новые резервы, и армия его поспешно собиралась.

Но ни эти ошибки Шварценберга, ни неудачи четырнадцатого августа не могли уже дать Наполеону победы. Его час пробил. Союзники были слишком многочисленны, чтобы можно было их разбить сразу, бой затягивался, и Шварценберг имел время исправить свои ошибки.

Но все это созналось потом. Тогда вышли подробные планы, были доставлены донесения, и пестрые значки обступили розовой краской очерченное пространство с надписью «Дрезден», тогда увидели и растянутость позиции, тогда poznали и неуместность своей робости, но в тот знойный день никто этого не признавал...

Ночью, в эту сырую, холодную августовскую ночь, когда по небосклону носились темные тучи, скопляясь и предвещая серый, дождливый день, у костров, горевших близ деревни Толкевиц, в группе казаков, гусар и стрелков считали бой удачным.

Французы много раз ходили в атаку, но всякий раз лубенцы отражали их ударом в сабли — и пехота неприятельская бежала. Ручей недалеко от флосграбена, где поили лошадей, каменные домики, окруженные садами и огородами, составили маленький мирок, вокруг которого сосредоточивались интересы авангарда Рота.

Есаул Зазерсков, молодой хорунжий Кумов да два гусарских корнета составили группу у костра. Немного поодаль у другого сидели Зайкин, Каргин, еще двое казаков и жарили баранину.

Холодный ветер прохватывал насквозь старые мундиры, но от костра шло тепло, и аппетитный аромат мяса удерживал казаков у огня и привлекал пехотных солдат туда, где собрались казаки.

— Что, сипа, есть захотелось? — грубовато спросил Зайкин у маленького егеря.

— Да что же, казачки, как не захотеть есть. День целый дрались, ничего не евши. Захочется поневоле есть.

— Тоже дрались! — передразнил казак. — За кустами-то лежучи.

— Наша война такая, землячок. Кажинному войску свой предел положен — вы, скажем, на конях, мы пеши орудуем, артиллерия стрельбой поражает.

— Так говоришь: есть хочешь?

— Хочу, дяденька. Во как хочу!

— Ах ты, сипа несчастная! Что же ты не озаботился своо барашка взять.

— Где же его найдешь-то, дяденька?

— Да вот нашел же я. Отчего бы тебе не найти.

— Нас за это под расстрел, дяденька. За грабежи.

— Грабежи. Враг так берет, а мы ему бережем. Так, что ль? Тоже начальство-то ваше мудрое.

— Про то не можем знать, дяденька. Вы казаки, вольные люди. Вам позволяют,— просительно говорил маленький егерь, глядя жадными глазами, как румянилась баранья лопатка и закипал на ней жир.

— Что же ваше начальство не озаботилось вас накормить?

— Где же, дяденька, сражение, одно слово... У нас и офицеры-то не евши,— робко заговорил солдат.

— Зачем испытываете, Зайкин? — строго остановил его Каргин.— Дайте им поесть.

— Отчего не дать, Николай Петрович. Мне их очень жаль... Да хочется злобу сорвать. Отчего регулярные сегодня нас не пустили на Дрезден, отчего Матвею Ивановичу дела до сей поры не дали?

— Про это же он не может знать, Зайкин. Это свыше идет...

— Эх, ночка-то темная! — прервал молчавший пока старый казак.— Будет завтра дождь, с утра будет! Тяжело, атаманы молодцы, будет завтра драться.

— Не то, Иван Егорович,— почтительно обратился к нему Зайкин,— будет тяжело, что дождь, а то тяжело, что гляньте, какая позиция. Спереди река, сзади деревня, тут конному и не приведи Бог как будет тяжело!

— Ну что же, пешки будем драться.

Баранина поспела.

— Что же, дать им? — обратился Зайкин к Ивану Егоровичу и кивнул на солдат.

— Дай. Тоже воины храбрые.

Зайкин достал нож из-за сапога и, положив баранину на потниковую крышку, стал резать сочные ломти и наделять ими пехоту. Подошли и еще солдатики.

— Что это как вас много. Всем не хватит,— крикнул Зайкин.— Расходитесь, братцы, что траву зря топчете!

Но никто не шевельнулся. Все хмуро смотрели на баранью лопатку.

— Дели им все,— молвил тихо Иван Егорыч,— мы ведь обедали, а они нет. Тоже христовы воины.

— Ну ладно! Где наше, казачье, не пропадало! Ах и барашек же был важный!

И ломти один за другим уходили в протянутые руки егерей. Исчезла наконец и кость; Зайнин толкнул костер ногой, завернулся с головой в шинель и лег. Примеру его последовали и ожидавшие ужина Иван Егорыч, Каргин и молоденький безусый казачок Сысоев.

Ужин не состоялся. Порешили заснуть так, но с голодухи не спалось. Костер грел только один бок, а с другого, открытого, продувал холодный ветерок и мочил накрапывавший дождь.

Тяжелые думы одолели Каргина.

Вот уже почти год, как он женился. У Маруси давно родился ребенок, не его, положим, но все-таки ребенок, которого он будет любить! Сын или дочь — он даже не знает этого! Да и зачем знать — не все ли равно? Он покинул ее больную, расстроенную, вскоре после свадьбы. «Но ведь она подлая... Почему?... А я не подлый? А мой грех с Гретхен, с Эммой, с крепостной Грушей... Я мужчина. Мне все позволено. Я могу делать все, что хочу, от меня ничего не убудет».

Но эти оправдания не успокаивали его.

«Ведь и Рогов так рассуждал. Да Рогов был более прав — разве мог он знать, что его убьют так скоро. Но зачем же она не созналась! Она боялась... Меня боялась! Боже, точно я сделал бы ей что худое! Что-то она чувствует теперь? Поди-ка с маленьким возится... Роговским... Ждет меня. За город выходит, газеты читает. Мало пишут... Да и далече отсюда. И в Петербурге-то мало про нас знают, а там... Каждый день, каждую минуту могут убить меня как простого казака.

Мерзнем, мокнем, шатаемся по грязи, как собаки словно. И никто спасибо не скажет.

Ах, война, война! И зачем тебя придумали люди! Был бы я теперь в университете, читал бы я умные книжки и все хорошо бы шло. А теперь рядовой казак, и в урядники не произвели... Отчего? Зазерсков чего-то мною недоволен. Родственников выводит. Сысоев-то ему троюродный брат, вот и тянет его. Ну да что там: терпи казак — атаманом будешь!»

И тяжело вздохнул Каргин. Глубоким вздохом ответил из-под шинели Зайкин, заворчал что-то Иван Егорыч. И снова все смолкли.

Дождь барабанит по набухающей шинели, земля намокает под боком, костер шипит и потрескивает от дождевых капель.

От соседнего костра доносится громкий смех Зазерскова и его уверенное: «Да я знаю!»

Гусарский корнет что-то рассказывает, и, должно быть, смешное.

Лошадь жует над самой головой, пахнет гарью, сыростью, грибами, пахнет холодной, сырой осенью.

Каргина одолевает дремота, и мало-помалу он забывается. Холодная струйка, пробравшаяся под воротник, будит его, он вздрагивает и долго ворочается.

Откинув шинель, он открывает лицо и сразу попадает под дождевой душ.

Все небо заволокло тучами, и мелкий дождик потянулся надолго.

Соседи Каргина легли кучей и тихо спят, а может быть, и так лежат? Каргин поднялся с земли, надел кивер на голову и пошел бродить по бивуаку. Ноги были словно чужие, усталые, все тело ломило, хотелось лечь, но на склизкую, сырую землю и смотреть было противно. Далеко впереди горели неприятельские костры, и слышался тихий шорох уснувшей армии.

И долго ходил взад и вперед Каргин, думая мрачные думы. Наконец стало чуть светлее, но было все такое же серое, холодное, дождливое небо, тучи закрывали горизонт; было мрачно и сыро. Казаки просыпались, шли умываться на реку, потом поили продрогших лошадей, задавали сена и овса. Офицеры спали под навесом из рогож, накрытые плащами, и странно бледны были их истомленные лица.

Зашевелились и в пехоте. Раздались голоса, хриплые, простуженные. Нехотя натягивали ранцы, разбирали ружья солдаты. Туман таял и исчезал, становилось как будто теплее.

Далеко впереди за маленькой рощей, у деревни Блазевица, где ночевала стрелковая цепь, стали постукивать выстрелы. Сначала редко, одиноко, чаще и чаще.

То дивизия Рорэ повела наступление.

Вскоре показались зеленые мундиры — егеря отступали к Шолкевицу.

— В ружья! — раздалась команда в пехоте.

— По коням! — кричали в кавалерии.

Отряд Рота тоже пришел в движение.

— Ездовые, садись! — отчаянно завопил маленький толстый капитан батарейной роты. Отряд двинулся назад к селению Стринен.

Здесь пехота дала несколько залпов, но пришло опять приказание отступать, и войска зашлепали по грязной, раскисшей дороге.

«Он» валом валил на наш правый фланг. За дивизией Рорэ шла дивизия Деку; держаться было трудно.

Но Рот отступал медленно. У Зейдница, селения, окруженного рвом, приказано было остановиться.

Егеря бегом разбежались по рву. Лубенцы стали впереди, за ними разместились казаки. Батарейная рота, увязая в грязи, выезжала на позицию. Пехотные солдатики, держа в одной руке ружье, другой хватались за грязные, облипшие глиной спицы и обод и толкали орудия и ящики, помогая лошадям вывезти на глинистую гору. Наконец раздались пушечные выстрелы, и егеря ободрились.

— Ну, теперь с артиллерией много легче будет.

— Все постоим, так отдохнем, — молвил маленький егерь, что просил ночью у казаков баранины.

— Ишь ты, сколько отмололи-то по этакой грязи!

— А что, братцы, к полудню близко?

— Часов одиннадцать есть.

— Ври! Это, значит, мы уже сколько воюем.

— Да многих потеряли.

— Глянь-ка, сколько их высыпает. Ну Рот, Рот, как тебе съесть такой букиврот.

— Ах, раздуй тебя горой, тоже выдумщик.

— На это нас взять.

Действительно, положение Рота становилось отчаянным. Против его пятитысячного отряда скоплялись корпуса Мортье и Нансути. Но егеря стреляли метко, казачьи пики горели внушительно, и молодые французские солдаты, из коих большинство в первый раз участвовали в бою, наступали вяло и нерешительно.

Вдруг вдали слышались громкие крики: «Vive l'Empereur!»* Крики эти, перекатываясь, направлялись от дрезденского Грос-Гартена и сопровождали маленькую

* Да здравствует император! (фр.)

кучку всадников, впереди коей ехал человек в сером сюртуке на белой лошади. Наполеон объезжал свои войска.

Наполеон — это священное имя для французского солдата, это нечто такое великое и сильное, что заставляло забывать дом, жену, детей, заставляло покидать родину и идти в далекие, неизвестные земли, что заглушало страх смерти, боль от ран — и ободрились молодые конскрипты, и с громовым криком: «Vive l'Empereur!» — ринулись они на Зейдниц.

Все стихло на минуту в русском отряде. Шутки прекратились. Заряженные ружья положены на вал, у каждого своя цель, своя дума.

— Картечь! — слышна команда в артиллерии. Звенят орудия, суетливо возится прислуга возле пушек.

— Шашки вон! — командуют в лубенском полку.

Наступает решительная минута контратаки.

Теперь стали видны моложавые лица французских солдат, намокшие мундиры, грязные, облипшие глиной штиблеты.

— Батарея! — отчаянным хриплым голосом кричит капитан; суетятся нумера с пальниками, стихла пехота, взяв на руку ружья, рвутся взволнованные кони гусар.

— Пли!

На минуту все затянулось дымом. Грохот прокатился далеким эхом до самого города.

Стихший на минуту дождик полил снова. Но дым рассеялся и обнаружил синие мундиры, насевшие совсем близко на батарею.

— С места в карьер! Марш-марш! — слышна команда у гусар, и разом рванули гнедые лошади. и с громовым «ура» понеслись гусары на выручку своих.

Вихрем пронеслись эскадроны сквозь батарею, поспешно бравшую орудия на задки, и мощно врубились в 4-й французский полк.

Дрогнули французы и побежали, бросая оружие, но за 4-м полком смыкались в каре другие полки двадцатитысячного отряда. Пули срывали людей с лошадей, лошади падали с перешибленными ногами и жалобным ржанием терзали слух одиноких всадников.

— Назад! — трубит трубач, и расстроенные лубенцы отступают. Они прикрыли батарею, выручили ее — они свято исполнили свое назначение.

Весь отряд Рота втягивается в селение Рейк.

— Братцы,— говорит генерал, проезжая по рядам,— не посрашим земли русской, умрем за веру православную, умрем за Царя-батюшку! Станем здесь твердой ногой.

— Постараемся! — отвечают мокрые, голодные, оборванные солдаты.

Казаки и гусары слезают с лошадей и, оставив их на улице и по дворам, сняв карабины и заряжая их на ходу бегом, занимают попережку с егерями опушку деревни. Команд нет. Нету частей, роты, сотни, эскадроны сбились вместе и перемешались. Офицеры разобрали участки. Не стало атаманского, лубенского, егерского полков, были одни люди отряда Рота, решившие умереть, но не отступить. И Каргин лег с карабином на валик за кирпичной стенкой, прилег и Зайкин, что смеялся вчера, что пехота лежа дерется.

Каждый нацелил себе врага, каждый жаждал боя. Вдруг камни, тын, колодцы, валик, огородная гряда этого чужого им селения стали им бесконечно дороги, а страдания, даже самая жизнь стали ничем, только бы удержать за собой деревню Рейк.

Дивизия Рорэ развернула батальоны. Успех ободрил солдат. Как русские считали для себя самым большим счастьем отстоять деревню, так для молодых французских конскриптов более всего улыбалось забрать в свои руки никому не нужную, ничего не значащую саксонскую деревушку!

Многие офицеры побрали ружья и легли в ряд солдат, чтобы усилить оборону. Есаул Зазерсков залег рядом с Каргиным.

— Что, Николай Петрович, весело? — шутливо обратился он к молодому казаку.

— Весело, Аким Михайлович! Да мы их не пустим,— радостно отвечал Каргин, и ему действительно было весело драться под проливным дождем, лежа на грязном земляном валике.

Неприятель приближался. Ни одна пуля не пропадала даром, но зрелище смерти, как бы летающей вокруг, только опьяняло солдат.

Вот затрещали барабаны, стрельба умолкла. Русские стали с ружьем наготове на валик.

— Ура! — загремел передовой батальон.

— Ура! — весело закричали защитники и толпой побежали навстречу французам. На мгновенье приостановились

французы, но этой секунды довольно было, чтобы смять и поразить передних, чтобы вселить панику в задних...

Первый полк побежал, а солдаты вернулись назад в Рейк, и опять постукивают их штуцера, и белым дымком окутывается валик перед деревней...

Но вот удачно лопнула граната у стога сена. Стог загорелся и перекинул огонь на сарай, а с сарая перешел на дом бондаря, и запылала деревня.

Никто не обращал внимания на пожар. Казаки и гусары отвели лошадей в безопасное место и опять вернулись для меткой стрельбы по врагу.

Целых два часа продолжался такой бой. Стоило французам кинуться в атаку, — русские смело встречали их контратакой, и начиналось отступление. Французы развертывали новые батальоны, на позицию выезжали новые батареи — но успеха не было.

Рот признавал, что задержанием этой деревни он оказывает влияние на ход боя и расстраивает широкие планы Наполеона, а люди его отряда до последнего барабанщика привязывались к этой деревне и решили лучше умереть, чем сдать ее.

Но отступать было надо. Французские полки обходили ее с тылу, авангард мог был быть поставлен в тяжелое, безвыходное положение.

Рот, два-три командира полков признавали это, но солдаты, казаки и субалтерн-офицеры считали, что они победители. Они не видели ничего дальше балки у ручья, что проходилась ими рано утром и откуда выходили утомленные французские батальоны, они не знали ничего, кроме этой пылающей деревни, пожарным огнем согревающей их тела, высушивающей одежды. И если бы им сказали, что кроме их отряда дерутся сотни тысяч войск, что они маленькая песчинка в армии, что усилия их подобны усилиям муравья, тащащего соломинку рядом с лошадью — они бы удивились и, пожалуй, не поверили бы. Они в эти моменты жаркого боя были все, и, кроме них, ничего не было.

Надо было нанести отрезвляющий удар, чтобы дать понять, как малы и ничтожны они были...

И Каргин получил такой удар. Готовилась новая контратака. Солдаты вставали; казаки закидывали ружья за плечи и вынимали шашки из ножен.

— Ты что же, Николай Петрович, — сказал Иван Егорыч.

— Погоди, я вот хочу этого пузатого уложить,— и Каргин, вытянувшись на валике, стал целить.

Ему показалось, что он выстрелил раньше, по крайней мере, все заволочлось дымом и туманом и окрестность на минуту исчезла из глаз.

Когда туман рассеялся, Каргина поразила тишина. Он лежал с закрытыми глазами. Он стал прислушиваться.

Нет, шум был, но какой-то глухой, неясный.

Где-то далеко-далеко кричали «ура», трещали балки и слышался вой разгоревшегося пожара и топот беспокойных лошадей.

Каргин нехотя открыл глаза и с удивлением заметил красноватый отблеск пламени на зеленой сырой траве. Шум то стихал и удалялся, то снова становился ближе, перекатываясь волнами. Но Каргина не интересовал этот шум. Он понял, что это они там дерутся из-за чего-то,— и их боевые заботы, все то, что волновало и его несколько минут тому назад, показалось ему мелким и ничтожным.

Черная мокрая земля с примятой травой, только она одна — не была ничтожна.

Он глядел, как некоторые травинки, посильнее и погуще, разгибались медленно и, казалось, хотели стряхнуть с себя грязь, смотрел, как черная блестящая жужелица набежала на ком грязи, приостановилась и побежала дальше, унося на своих крыльях отблеск пламени пожара.

Секунды тянулись страшно длинные, но это не было неприятно. Мысли были такие простые, ясные. Если в его воображении вставала комната, то она была просто и уютно убрана; сквозь чистые кисейные занавески яркое солнце бросало на пол свои четырехугольники, а свежий аромат от хорошо навощенного пола наполнял воздух. Являлась речка, то это был тихо журчащий под сенью деревьев лесной ручей, задумчивый и спокойный; все было просто и ясно в мозгу. Только война была вопиющей несправедливостью, чем-то резким, кричащим, каким-то красным пятном, вырезающимся на спокойном сине-сером фоне.

Но об ней не надо было думать!

И Каргин не думал о войне. Перед ним опять вставали видения чего-то такого простого и ясного, каким кажется весь мир в раннем детстве, когда солнце светит ярче, воздух чище и прозрачней, люди добрее...

Мимо него бежали какие-то люди в тяжелых, облипших грязью сапогах; они не обращали на него никакого

внимания. Один прыгнул через него, и большой ком грязи, сорвавшись с голенища, упал на раненого и причинил минутную боль.

«За что! За что!» — с горечью подумал Каргин.

Вслед за сапогами, мелькавшими перед глазами лежащего Каргина, замелькали облипшие грязью штиблеты и разутые босые ноги...

То проносились наши войска, преследуемые вчетверо сильнейшим неприятелем. Один из конскриптов, молодой, безусый мальчик, недавно слезно прощавшийся со своей матерью, фермершей в Провансе, наивный и чистый, с размаху всадил свой штык в бок лежащего казака и, засмеявшись, побежал дальше.

Зачем он сделал это — он и сам не признавал. Если бы ему сказали, что он нанес смертельный удар легко раненному, что причинил ему невыносимые страдания, что сделал молодую женщину на дальнем востоке вдовой, а ребенка сиротой — он был бы страшно смущен, и кровавый призрак убитого им казака, быть может, преследовал бы его всю жизнь...

Но никто ему этого не сказал, и, ударив в бок человека в синем мундире, он стряхнул кровь, покрывшую штык, и весело побежал по улице, прыгая через трупы, и его веселое, жизнерадостное настроение несколько не пострадало от этого, да он и не думал больше о раненом казаке.

Весь свет изменился теперь для Каргина; что-то холодное, жестокое вошло внутрь его, вошло туда, куда не должно было входить, вошло и вышло — и вдруг стало тепло и мокро. Бок быстро намокал, и по мере того как мундир становился сырее, а боль сильнее, свет дня погасал перед его очами; желания становились мельче, уже, мир ограниченнее, память слабее. Что-то светлое, радостное мелькнуло было перед ним, как луч солнца в темной конурке, и опять ничего, опять та же тьма...

Казаки поспешно садились на коней и готовились догонять ушедшую пехоту. Отступление было в полном разгаре.

— Где Николай Петрович? — спросил Зайкин, беря за чумбур лысую лошадь Каргина.

— Там, — сурово ответил Иван Егорович и махнул рукой по направлению к деревне.

Никто не переспросил, никто ничего не сказал.

Зайкин жестоко ругнул заигравшую было лошадь и свирепо крикнул: «Но, черт!» — и сотня молча потянулась вслед за авангардом.

Все были недовольны. Всем казалось, что они разбиты, что плохо сражались, что не выполнили они своего назначения, и глухая злоба на тех, кто заставил отступить, не давала думать о Каргине и многих других, что остались там где теперь «он», за той роковой чертой, за которой кончается «наше» и начинается «его».

Но они ошибались. Они были победителями, хотя и относительно.

XXIII

...Пятнадцать человек казаков с одним офицером, знавшим несколько язык того края, отряжены были ночью для отыскания, сколь возможно, хотя несколько лодок, оставшихся как-либо в безызвестности у неприятеля... Приплыв к правому берегу противу дер. Ломач, найдены были ими еще две большие лодки, на коих, по показанию гребца, находилась библиотека Лютера, следовавшая из Виттенберга в Дрезден; ящики сии в то же время были выгружены для доставления оных сухим путем...

Военно-Ученый Архив. Дело № 2073

«Генерал Рот,— писал Астер,— весьма удачно исполнил возложенное на него трудное поручение сделать перемену фронта назад, в виду превосходных неприятельских сил, на вязкой местности, при постоянном напоре противника на основную точку его движения. Потеря его пленными была незначительна; войска его выказали способность к маневрированию и явили новый опыт обычной русским храбрости, чему доказательством служит огромная потеря людей, как со стороны их, так и со стороны французов».

С тяжелым сердцем, грустно понурившись, шлепали по размокшей глинистой дороге казаки и солдаты Рота. А сзади пылали деревни, громыхали неприятельские пушки и раздавались победные клики:

— Отступить!

Отступали после Люцена, отступали после Бауцена, наконец, собрались с силами и ударили на Дрезден, и теперь опять отступить!

Но отступать перед Наполеоном! Не позор это, а нормальное явление.

Да, «ни светлый ум Императора Александра, ни решимость бороться не на жизнь, а на смерть короля прусского, ни опытность Моро, ни глубокие сведения Жомини не могли заменить недостатка в вожде, способном управлять огромной армией».

По размокшим и раскисшим дорогам шлепали войска, изнуренные, измученные тяжелым походом, павшие духом после неудачного боя. Кавалерия шла в поводу с лошадьми, подбившимися, никуда не способными, затупелыми от усталости.

Если бы Наполеон мог ударить в этот момент на армию союзников, если бы была у него лихая кавалерия — кончился бы тогда великий поход и не было бы Лейпцига и Парижа, Ватерлоо и святой Елены...

Но спят богатыри-кирасиры, спят удалые гусары под снегом неприятной, холодной России: усеяли своими и конскими трупами они далекий путь от Москвы до Данцига.

И недоволен победой великий полководец. Мрачная будущность рисуется ему на горизонте, закрытом тучами. Хмурится ясный лоб, и мрачно, словно предугадывая злое будущее, говорит он:

— Войска, направленные против Берлина, разбиты; опасаясь также и за Макдональда... Он храбр, предан мне, но ему недостает счастья.

Счастья!.. Да, и Наполеону нужно было счастье!..

Коньков не участвовал в сражении под Дрезденом. В главной квартире сильно беспокоились о положении северной армии, наследного принца, и для получения донесений оттуда решено было снарядить летучий отряд, командование которым вверили князю Кудашеву. В отряд назначались два эскадрона ольвиопольского гусарского полка и две сотни отборных казаков атаманского полка.

В число отборных Коньков не мог не попасть. И, весело собравшись, он, в числе прочих, тронулся по грязной осенней дороге. Надлежало пройти с лишком двести верст сквозь неприятельское расположение и вернуться обратно.

Сознание важности поручения, а главное, сознание, что не будут они участвовать в том сражении, от которого толку не выйдет, радовало офицеров, казаков и солдат, и отряд весело подавался рысью вперед и вперед, оставляя

сзади себя хмурую, недовольную армию и стены неприступного Дрездена.

Коньков особенно радовался этой «партии». В ней он скорее забудет свою ненаглядную Ольгу, и время пробежит скорее, война придет к концу, он вернется в Петербург, и, быть может, его прикомандируют к лейб-казацкому полку. Вероятно, его к тому времени произведут в чин ротмистра и он будет командовать эскадроном.

То-то заживем тогда! Будем ездить в театры, гулять по Невской перспективе, по набережной, а в весенние белые ночи будем кататься на лодке, и тепло, уютно, хорошо будет у нас. Это не то что мокнуть на осеннем дожде!..

А дождь зарядил не на шутку. Золотистая шея Занетто побурела, потемнела, сделалась скользкой и горячей, грива слиплась и лежит на мокрой шее ровными прядями, на ушах дрожат капли.

Казаки съезжились на седлах; впереди англезом подскакивают гусары; хорошенький Воейков задержал лошадь и подъехал к Конькову.

— Ну что, хорунжий, как живете-можете?

— Сотник, — весело поправил его Коньков.

— Давно? Поздравляю. Очень, очень рад. Когда же?

— После Тарутина.

— Да, ведь вы там отличились.

— Казаки вообще отличились, — скромно заметил Коньков.

— Ну и вы особенно. Наверно. Знаете, я завидую вам немного. Вы такой храбрый, лихой, мне кажется, отважнее вас нет во всей армии! — с восхищением глядя на сотника, сказал Воейков.

— Верно, ваше благородие; супротив Пидры Микулича храбрее нет казака! — из рядов весело сказал Жмурин.

Воейков покосился немного. Но, вспомнив, что у казаков своя товарищеская дисциплина, весело взглянул на казака и по-французски сказал Конькову:

— Это самое лестное, что можно слышать. Отзыв своих солдат дороже похвалы начальства.

Вспыхнул Коньков, и радостно, и хорошо, и стыдно ему стало.

«Вот бы Оля послушала», — мелькнуло у него в голове.

— Почему вас называют Пидра Микулич, — это так смешно!

— Петр Николаевич, Петр Миколаич, ну и до Пидры Микулича добрались.

— Пидра — это так забавно!.. И потом еще я одному завидую: у вас такая прелестная невеста.

— Правда! — оживленно заговорил сотник. — Простите, я вас и не поблагодарил за ее спасение. Я вам всем обязан.

— Пустяки. Эти мерзавцы разбежались при нашем появлении. Мне очень приятно было возобновить знакомство с Ольгой Федоровной... А признайтесь, вам немного досадно было, что не вы ее освободили?

— Да, — искренно ответил Коньков. — Это мне доставило бы большую радость.

— Это было бы так красиво! Точно в романе.

— А разве все теперешние события не похожи на вымысел, на какую-то фантастическую сказку! Подумайте, мне двадцать третий год, а я верхом объехал пол-Европы. Видел турок, их города, их жизнь, дрался и в России, и в Пруссии, и в Саксонии, чего-чего не видал! Замечательно! Из простого казака дослужился до сотника,

— Как из простого? Вы из крестьян?

Коньков рассмеялся;

— У нас, на Дону, нет ни крестьян, ни дворян, а все люди вольные — казаки. Только у одних отцы и деды жалованы русскими государями чинами и дворянским званием, у других нет. Большинство нас служит с казачьего чина. Я шестнадцати лет перед первой наполеоновской войной вступил в атаманский полк простым казаком...

— Вас, значит, били и секли? — с дрожью в голосе спросил Воейков.

— Нет. Бьют и секут плохого, неисправного казака, а я был старателен. Меня хвалили и отличали перед прочими.

— Но ведь вы же учились, держали экзамен, чтобы стать офицером?

— Нет.

— Однако вы прекрасно знаете языки... Наверно, проходили математику, астрономию, химию, геометрию?

— Не слыхал я таких наук! Российской грамоте — читать и писать — разумею: брат, дьячок, научил; арифметику, четыре действия, товарищ, Каргин, казак, показал, языкам немного обучился в походах, да пленный трубач немного объяснял — вот и все.

— Но ведь вы были раньше в школе или пансионе?

— Никаких таких пансионеров у нас и в заводе нет. Есть окружное Новочеркасское училище, да и то открылось только в тысяча восемьсот пятом году, а я уже тогда в поход собирался.

— Вот оно как! — протянул Воейков и невольно подумал: «Бедная красавица Ольга Федоровна, за «брата дьячка» выходит...»

Но «брат дьячка» красиво сидел на нарядной лошади, у него были живые, выразительные, бойкие глаза, в которых светился природный ум, и Воейкову совестно стало своих мыслей.

Дождь на минуту перестал, и беловатые края туч осветили на минуту грустную картину. Дорога шла между двух рядов тополей. Их намокшие серебристые листья грустно свесились вниз, трава, темно-зеленая и сырая, казалась тяжелой и вялой. Передовой отряд въезжал в селение Мейсен, и кони дружно стучали по камням мостовой, и стук копыт гулко отдавался по улице. Жители кое-где высовывались в окнах и смотрели на отряд; две-три женщины выбежали навстречу с крынками молока и краяхами черного хлеба; с лаем кинулась собачонка, и на чьем-то дворе хрипло, по-осеннему пропел петух.

Из чистенького каменного домика с синей вывеской вышел седой высокий генерал в белом австрийском мундире. Князь Кудашев подъехал к нему, и они поздоровались.

— Куда это? В такую погоду! — с отвращением, поджимая губы, сказал начальник австрийских передовых постов генерал Баумгартен.

Кудашев объяснил то, что ему поручено.

— Но вы с ума сошли... Совсем рехнулись. Мы снимаем посты по Эльбе. Неприятель кругом и в полной силе. Дрезден уже занят. Ступайте назад на Фрейберг. Ступайте скорее.

— А поручение?

— Что поручение! Своя рубашка всего дороже, — переиначивая русскую поговорку, ломаным языком сказал генерал.

Но не так рассуждали Кудашев и люди его отряда.

— Справа по одному, по две лошади дистанции — шагом марш!

И тут же, на походе, среди грязной улицы селения Мейсен, князь Кудашев произвел выводку и отобрал

двести казаков и сто пятьдесят гусар. Остальных осадил. Эти триста пятьдесят казались ему отчаянными из отчаянных, на которых можно надеяться.

— Снять вьюки и отдать остающимся! — крикнул он и пошел с Баумгартеном обсушиться в дом.

И только он ушел, заголосили унтер-офицеры и урядники:

— Которые люди назначены в поиск, сымай вьюки, окромя плащей!

Засуетились люди.

— Но, балуй! Я тебя! — грубо-ласкаячи замахивался на Занетто Жмури. А Занетто шурился и норовил хватить его зубами — не больно, нет, — это у него игра такая была.

Прошло больше часу. Кудашев, закусивший и выпивший стакана два вина, вышел к казакам и гусарам.

— Ребята! — сказал он громко. — Нас мало — врага много. Я полагаюсь на вашу хитрость, быстроту и ловкость.

— Постараемся! — дружно ответили всадники.

— Темнеет. Ночь нас выручит. Соблюдайте тишину и спокойствие, и Бог нам да поможет. С Богом! Вперед!

— Шагом ма-аррш! — скомандовали у гусар.

— Ну, иди, что ль! — хмуро сказал есаул Кашин, начальник партии.

— Наездники и фланкеры, выезжай! — крикнул впереди чей-то голос.

— Наездники, выезжай! — повторили голоса тут и там, и поднялся легкий шум.

— Брехов, езжай, што ль! — говорил урядник курчавому казаку.

— Лошадь приморилась, Петро Зотыч.

— Ах ты, Мохамед несчастный, ну ты, что ль, Кальжанов.

— Куда ехать-то? — торопливо спрашивал Кальжанов.

— Да беги уперед до начальника отряда!

— Ну ладно!

И с разных сторон одиночные казаки и гусары вылетели из рядов и, поталкивая лошадей шенкелями, вынеслись в голову отряда.

Кудашев роздал приказания, и фланкеры скрылись в сумраке дождливого вечера.

К ночи стали у деревни Кобельн, но из предосторожности в деревню не входили, чтобы не растревожить жителей и не дать знать о своем присутствии неприятелю. Ночь проводили тихо, не зажигая костров, воздерживаясь от куренья, от громкого разговора.

Дождь перестал. Но густой туман спустился над землей, и трудно было передовым партиям разведывать о неприятеле.

Однако часов около десяти фланкеры стали возвращаться и привозить неутешительные известия.

К Мейсену, в котором так недавно пил Кудашев вино с австрийским генералом, подошел теперь неприятель; конная бригада ночует в Ошаче; пехота стоит и в Ризе, и в Штрелене, и в Мюльберге.

Маленький отряд Кудашева со всех сторон припирался громадными неприятельскими силами.

Собрались вокруг Кудашева офицеры. Князь объяснил им все дело.

— Как думаете, господа? Вернемтесь назад через Вальдгейм, пока не поздно?.. Или махнуть через Эльбу?

Долго молчат офицеры. Молодежь сидит кругом. Они привыкли повиноваться да осуждать втихомолку действия начальства, а подать совет — этого они не умеют.

— Как думаете?

— Вернуться лучше, — хмуро говорит есаул.

— Плетью обуха не перешибешь, — поддерживает ротмистр.

И опять молчание, тяжелое, мрачное молчание.

И вдруг Коньков с блестящими глазами, с сильно бьющимся сердцем делает шаг вперед.

— Осмелюсь доложить, ваше сиятельство. За Эльбой стоит пехота... — Голос его дрожит и обрывается. — Теперь ночь. Мы на конях. Что нам могут они сделать?

— Лодки нужны, так не переправимся, — говорит кто-то сзади.

— Нужно бы два баркасика, — уже смелее, ободренный ласковым взглядом Кудашева, продолжает молодой сотник. — На них седла и амуниция, а люди и лошади вплавь! Мы с атаманом это часто делали, и через Неман, и через Алле...

Воейков с восхищением, блестящими глазами глядит на «Пидру Микулича»; в эту минуту он обожает «брата дьячка».

— Дело-то в том, сотник, что лодок, говорят, нигде не отыщут.

— Я достану, ваше сиятельство,— смело возразил Коньков.

— Ну, попытайтесь.

Живо седлают казаки лошадей. Тридцать человек пойдёт с сотником.

— Можно мне с вами? — робко говорит Воейков.

— А начальство ваше?

— Ничего.

— Вы спросите.

— Да, я спрошу.

Воейков ушел и через минуту вернулся.

— Позволили!

— Ну, с Богом.

Коньков тронул лошадь, и маленькая партия осторожно стала выбираться на дорогу.

Проехали спящую деревню, свернули по проулку и по узенькой грязной тропинке спустились к реке. Ночь была тихая, безлунная. Темной полосой текла река, холодом, сыростью веяло от ее вод; песчаная отмель чуть светилась, но, увы, ни лодки, ни барки, ни плота.

Партия разделилась. Семь человек побежали вверх по реке, остальные вниз. Скоро шепот смолк; несколько минут все было тихо, потом раздались голоса — кто-то по-русски грубо бранился, ему отвечали ворчливо по-немецки, по временам в спор вмешивался урядник, и его рассудительный голос отчетливо доносился по воде.

«Что там такое?» — подумал Коньков, повернул лошадь и поскакал на голоса.

В густых камышах, покрывавших чуть не полреки, были протоптаны лазы. Три казака на лошадях, по брюхо в воде, окружили маленький рыбачий челнок.

Королев, розовый, вечно потный казак, с приплюснутым с боков, как у рыбы, лицом, зацепил фуражиркой лодку и тянул ее к берегу, осыпая бранью артачившегося рыбака. Черноусый и чернокудрый урядник Пастухов уговаривал рыбака бросить это дело. Третий казак, угрюмый бородач, заехав со стороны реки и стоя по пояс в воде, очевидно, намокал, холодел и молча ожидал развязки.

— Я не дам вам челнока! — по-немецки кричал рыбак. — Иначе мне придется умирать с голоду! Я не могу так. Это грабеж! Это стыдно русским.

— Давай, тебе говорят, — кричал Королев, — а не то не посмотрю, что за тебя, подлеца, сражаемся, так тюкну по башке окаянного!

— Ишь, Мохамед подлый, — поддерживал мягким баском Пастухов, — за его нацию деремься, льем кровь казачью, христианскую, а они на-поди — экое озорничество!

Коньков, подъехав к рыбаку, объяснил ему на силезском наречии, что лодка нужна для переправы, что ему возвратят ее и что он напрасно только поднимает шум из-за пустяков.

Но старый, седой, плохо выбритый немец и слушать не хотел увещаний Конькова.

— Я не могу отдавать свою лодку! — вопил он. — Это разбойники, а не солдаты. Французы лучше вас, я буду кричать на тот берег, пускай услышат.

— Ах ты, егупетка подлая! — начал было речитативом Пастухов, но Коньков остановил его:

— Оставь его, Пастухов. Что с дураком разговаривать! Так не хочешь отдать лодку? — по-немецки обратился сотник к рыбаку.

— Ни за что! — Рыбак схватился за багор.

Коньков рассердился. Вдруг все лицо его налилось кровью и огоньки запрыгали в глазах.

— Бросьте его в воду, коли так! — крикнул он казакам, — и садитесь в лодку!

Приказания незачем было повторять.

Бородач, которому давно надоели эти препирательства, подсобил спереди, Королев с Пастуховым — сзади, и рыбак был бережно поставлен на дно. Вода доходила ему по плечи. Он вдруг притих. Холод пробрал его старческое тело. Ворча и спотыкаясь, он побрел по дну к берегу.

Казаки выехали на берег. Часть осталась держать лошадей, а шесть казаков, Воейков и Коньков сели в лодку и поплыли вниз по реке.

— Зачем вы его сбросили в воду? — тихо по-французски спросил гусарский корнет. — Старикашка простудится и помрет, чего доброго.

— А черт с ним! — отрывисто сказал Коньков и стал опять внимательно смотреть на реку, высматривая лодки. Он и думать перестал о старике рыбаке.

А Воейкову рисовалась бедная комната немецкого домика; очаг, сети на стенах, седая старушонка в чепце вяжет

чулок, кошка умывается в углу, и на большой деревянной постели, в грудe тряпок и белья, лежит умирающий старик — он тяжело кашляет, грудь его болит, кровь идет горлом: он жестоко простудился, приняв невольную студеную ванну. И зачем? Все равно челнок подтягивали к берегу, могли бы и с ним подтянуть. К чему излишняя жестокость!

«Ах, Коньков, Коньков,— думал он,— как ни умен ты, а все еще тебя много воспитывать надо. В скольких водах не вари, а все Пугачевым да Разиным пахнуть будешь. Бедная Ольга!»

Коньков догадался по взгляду Воейкова, что тот все еще не может успокоиться, он улыбнулся ласково и сказал:

— Не сердитесь, Владимир Константинович, на то война!

Но Воейков долго не мог примириться с этим фактом.

Ночь, как всегда перед рассветом, вдруг стала темнее, вода глубже, но дали яснее. На реке темным силуэтом показались две лодки. Это было все, что нужно Конькову.

— Навались! — сказал он, и челнок полетел. С легким свистящим журчаньем раздвигалась вода на две стороны, у самого носа подымался маленький гребешок, и далеко расходились полосы. Казаки, низовые, гребли, как заправские моряки.

На лодках сидело человек десять мужчин, и на корме лютеранский священник.

— Стой! — крикнул Коньков.

На баркасах налегли на весла.

— Стой, вам говорят. Стрелять буду!

И блестящие стволы казачьих ружей поднялись над челноком, и слышалось щелканье поднимаемых кремней.

На лодках перестали грести. Пастор поднялся со своего места и тихо и убедительно заговорил:

— Христиане, мы везем здесь из Виттенберга библиотеку нашего первоучителя Лютера. Здесь все старинные священные книги, большинство рукописные. Неужели же, образованные христиане, подыметесь рука у вас на памятники древности, на священные реликвии человека, которого нельзя не уважать!

— Мели, Емеля, твоя неделя. К черту Лютерову брехню,— по-русски сказал Коньков и затем обратился по-немецки к пастору:

— В настоящее военное время эти книги имеют только относительную ценность. Не угодно ли будет вам немедленно пристать к берегу и выгрузить ваши тюки для доставки сухим путем в Лейпциг, а лодки предоставить нам.

Между пастором и гребцами начался разговор. После некоторого колебания гребцы в суровом молчании взялись за весла.

— А, так черт вас заешь! — опять, вспыхнув, крикнул Коньков.— Стрелять буду, и тюки ваши проклятые покидаю в воду!

Гребцы покорно повернули к берегу, и началась разгрузка...

К утру лодки были доставлены Кудашеву. Воейков сухо простился с Коньковым; он был разочарован. В нем не было того юношеского увлечения, которое согревало и восхищало его при первом знакомстве с казаком.

Коньков был просто грубый, широко пользующийся правом сильного человека.

Зачем было топить старика в ледяной воде, зачем оскорблять бранью и угрозами безвинных добрых людей, заступившихся за свою святыню?

Разве в этом лихость, храбрость и смелость казаков?

XXIV

...Двадцать пять ребят лихие,
Отважные молодцы,
С разных сотен собирались
И за Эльбу отправлялись...

Казачья песня

Переправа шла бойко и поспешно. Первые лучи солнца робко золотили уснувшую реку и бросали тени от стройных тростников, когда казаки, раздетые донага, на неоседланных лошадях толпились по берегу.

Воейков, находясь в лодке, наполненной седлами, амуницией и прелым казачьим бельем, смотрел на толпу голых людей, собравшихся на берегу.

Сам он не плывет. Зачем? На баркасе есть место, а простудиться так легко! А Коньков — неужели он вплавь?

«А вон он! Вон белое, как слоновая кость, тело, тонкие упругие ноги и красное загорелое лицо... Как он дивно сложен! Он верен своему принципу: требовать от людей только того, что сам можешь исполнить, чему сам покажешь пример. Он поплывет раздетый, как и они, на своем золотистом Занетто, не боясь простуды, не боясь утонуть. Но все-таки он жестокий и грубый человек. У него нет жалости, человеколюбия нет. Он не уступит врагу ни одного шага, но, чтобы накормить своих казаков, не постесняется разорить деревню, пустить по миру жителей ее. Разве это достойно солдата? Я думаю, он и солдата не пожалеет ради своей славы? — проносилось в голове у Воейкова при взгляде на стройное, блестящее тело Конькова.— Он подражает Наполеону — апокалипсическому зверю, который все делает только для себя, только для своей славы и не признает никаких законов: ни божеских, ни человеческих».

Но Воейкову жаль было расстаться со своим идеальным Коньковым. Ночная сцена ему была неприятна.

А Коньков и не вспоминал истекшей ночи, не думал о благодарности начальника отряда, о поздравлениях офицеров. Он был всецело поглощен своими соображениями относительно переправы; даже думы об Ольге, вечные спутницы его в походах, боях и на бивуаках, и те скрылись до поры до времени, чтобы встать потом с новой силой, с новой энергией...

— Готовы?

— Готовы,— ответили казаки.

Князь, его ординарцы и некоторые старые офицеры стояли в лодках.

— С Богом! Гусары, обождать...

— Ну, марш!— весело крикнул Коньков, ударив голыми пятками коня в бока, и кинулся в воду. Белая пена и брызги раздались и разлетелись на две стороны. Занетто погрузился в глубину, тяжело захрипел и, вытянув шею и поставив круп над водою, медленно поплыл, перебирая стройными ногами.

Коньков прилег боком на широкую спину жеребца и, держась за гриву, покрикивал со своей живой ладьи на мешкавших казаков.

Скоро вся река покрылась белыми голыми спинами, красными и пестрыми рубахами или черными пятнами лошадиных морд.

Добравшись до того берега, люди встряхивались, лошади фыркали, отдувались и звучно подергивались всем корпусом. Легкий пар подымался над ними. Казаки одни побежали к лодкам и принимали одежду и седла, другие обтирали лошадей, чтобы просушить спину. Яркое августовское солнце освещало эту живописную картину.

Поднявшись на крутой холм, опоясывавший берег, князь Кудашев наткнулся на неприятельского улана. Улан, видно давно приглядывался к суматохе на реке, но не верилось ему, чтобы это были русские. Теперь, наткнувшись на русского генерала, он ошалел на секунду, потом, быстро дернув за мундштук, так что лошадь присела на задние ноги, он поскакал тяжелым, усталым галопом к лесу, откуда уже выходили неприятельские батальоны.

Положение было критическое. Коньков, уже одетый, взбежавший было на холм, быстро спустился, и сотня полуодетых донцов, забрав только штуцера и патронташи, рассеялась по берегу, готовая встретить неприятеля дружным огнем. Остальные поспешно седлали лошадей себе и товарищам. Минута была решительная.

Кудашев громко отдавал приказания:

— Порубить лодки. Которые люди не переправились — ступай домо-ой! Князь приказа-ал! — сложив руки рупором, отчаянно вопил урядник. Днища трескали под ударами прикладов и сабель, атаманская сотня строилась в конном строю... На берегу оставались только коноводы да ряд полуголых людей, залегших на гребне холма с нацеленными штуцерами, со взведенными курками, с порохом на полках.

И сразу водворилась тишина. Опять началось напряженное внимание к мелочам и упорное нежелание думать о бое, о смерти, о ранах. Уланские эскадроны разворачивались по берегу. Кругом в лесах и недалекой деревушке пели сигнальные трубы тревожную песню.

— С Богом,— молвил старый есаул.— Можно, князь?

— Валите.

— Ги-и! — загикали казаки, и вторая атаманская сотня со стоном рассеялась в лаву.

— Тр-рах! — одиноко ударил залп, почти не принесший вреда французам, и стрелки бегом кинулись к коням. Одеваться никто и не думал. Кто в рубахе, кто в мундире, кто как попало, но все, закинув штуцера за плечи, разбрелись атаманцы по коням и кинулись за лавой.

— Сомкнись и по дороге — через! сквозь! — грозно махая саблей, кричит князь.

Шпорят лошадей казаки, прыгают нетерпеливые кони — секунда, и понеслись тонкой змейкой в высокие горы, понеслись, пробивая брешь сквозь полк улан, рубя направо и налево.

И где их догонишь?! Сыты кони, отчаянны наездники! Вот пехотная застава торопливо выбегает на мост, но грозно мчится отряд «толпою во образе колонны». И дрожат руки у пехотных солдат, одетых в длинные лосины и полуфрачки, и порох не попадает на полки. Налетели вихрем казаки, кого полоснули тяжелой саблей, кто сам отскочил и дал дорогу. И все скачут донцы, скачут, как сумасшедшие, через деревни, в которых по-мирному стоит пехота, скачут мимо часовых и застав. И, только далеко пронесаясь за линию неприятеля, решился Кудашев остановиться. Шестьдесят восемь верст пронеслись казаки, не слезая, галопом и рысью — время было отдохнуть.

— Ну, упарились,— говорили донцы, обтирая лица и устраиваясь на отдых,— такая же гонка!

К вечеру, едва перевели дыхание, командир сотни приказал Конькову послать кого-либо из его охотников верст за семь, в неприятельский стан, и посмотреть, каково там охранение.

Коньков сидел с Воейковым и разговаривал, вспоминая бои и схватки. Временами он из хвастовства преувеличивал свою жестокость, рисовался «своеручным» поражением неприятеля. Он рассказал и про смерть Какурина, про свиданье с Ольгой Федоровной и вскользь упомянул, что, благодаря радости встречи, смерть преданного ему казака не произвела на него особенно тяжелого впечатления. Он даже не пошел проститься с ним.

«Нет,— с грустью думал Воейков, глядя на оживленное лицо Конькова,— чувство жалости недоступно этому человеку. А жаль,— много чего-то честного и хорошего есть у него в глазах... Очень жаль... И притом он все-таки жених Ольги Федоровны... Очень жаль. И проститься с покойником не пошел!»

— Да вы верите ли вообще-то в загробную жизнь? — спросил он его.

— Да, верю,— спокойно ответил Коньков.

— В ад и рай? Конечно, духовные: один — где вечно мучаются угрызениями совести погибшие души, другой — где бесконечно наслаждаются праведники.

— Нет,— коротко ответил Коньков,— это вздор. Ни бесконечного страдания, ни бесконечных наслаждений быть не может: к одному привыкнешь, другое приестся.

— Но что же тогда жизнь после смерти? — спросил Воейков и взглянул на ясное и задумчивое лицо Конькова, слабо освещенное светом костра.

Сотник не сразу ответил.

— Мы живем,— сказал он,— жили раньше и будем жить еще и еще... здесь на земле. Вы простите, я не умею вам это объяснить. Мне так говорил мой брат дьячок, перед индийским походом тысяча восьмисотого года он был ходоком в Индию и там многому научился. Он и теперь умеет отводить глаза. Помню, раз сидели мы возле отцовской избы в нашей станице, а какой-то казак вез мимо бревна на стройку, ехал мимо брата, да ни с того ни с сего взял да и ругнул его. А мой брат посмотрел на него внимательно и говорит: «Чего ты лаешься, добрый человек, не видишь, что ли, у тебя гужи горят». Смотрим мы все, и правда, загорелись гужи, и огонь к оглобле перебирается. Казак ну выпрягать лошадь: помогите, кричит, честная станица. Мы кинулись за водой. Прибегаем, а брат мой говорит: «Что вы возитесь с дурным человеком — он зря тамошится, ничего нет». Смотрим — и точно; гужи целы и даже не почернели, а ведь все видели, как они пламенем горели. Это он, значит, всем нам глаза отвел, вот мы и видели то, чего нет. Его у нас кругом все за колдуна почитают. Да и сколько он вещей там необычных повидал — страшно подумать. Люди там особые есть, не упомню, как называются,— умирают на сколько хотят, а потом воскресают...

— Ну и ваш брат все это видел?

— Да, все видел. Вы знаете, нас, то есть казаков, считают за каких-то диких, жестоких людей, а право, мы не хуже других.

— Ну как же? А зачем старика спустили в воду?

— Да, жалко старца. Пожалуй, теперь уже и ножки протянул. Вода-то сильно студеная была.

Воейкова опять кольнул этот равнодушный тон. Совершая всю кампанию ординарцем, он почти не видал, как убивают, хотя видел убитых и раненых, видел много ужасов, но не видел с мольбой о пощаде устремленных глаз, не слышал сухого удара сабли по голове или глухого звука пронизываемых пикой тканей. Ему тяжело было

оставаться дольше с Коньковым. Любовь, смутная и идеальная, боролась в нем с отвращением.

Как раз в это время подошел урядник и передал приказание сотенного командира выслать одного расторопного казака к стороне неприятельской.

— Кого же?.. — протянул Коньков. — Жмурина пошли... да, Жмурина...

Урядник ушел. Коньков поглядел на серое, подернутое тучами небо и глубоко задумался. Скверно теперь ехать на усталой лошади по скользкой, раскисшей дороге. Темно; того и гляди — дождь пойдет. А у костра хорошо лежать. Плащ согревает, теплом пышет от пламени; светло. Вон Воейков ушел в себя, и красивые круглые глаза его без мысли устремлены вдаль. Это даже и не его глаза, а «ее» глаза. Такие серо-синие, светлые-светлые, а сама брюнетка. «Альбиноска! — бессмысленно повторил он про себя. — Нет, то белые волосы и красные глаза. Я видал таких зайцев под Берлином. Забавные... Жмурин, поди-ка, теперь ругается. Кому охота со сна ехать в такую погоду. И поручение трудное, вряд ли исполнит... Платов забавный, говорит всегда «порученность», Аршава, Тейларан, а сам умнее всех. Про Ольгу заботился — он хороший... А ну как Жмурин да попадетсЯ неприятелю. Дурной тогда казак будет!.. Нет, не попадетсЯ. Да как не попадетсЯ, вон ночь-то настоящая осенняя!..»

После яркого огня от костра кругом казалось как-то особенно темно и скучно. Словно черный цилиндр спустился и лег вокруг костра.

«Да, наверное, попадетсЯ. Он и вывернуться не сумеет, по-ихнему ни полслова, да и конь-то притупелый!.. Ольга-то теперь, надо думать, в Петербурге. Федор Карлович, поди-ка, рад-радешенек. Ну что же, скоро и свадьба. Говорят, Наполеону плохо и Австрия хлопочет, чтобы замирение было. Пора... А ведь Жмурина убьют — это как пить дать! Он же и необоротливый совсем казак... И напрасно я его послал... А тогда-то, в Мейсене, жену поминал. Тоже сладко будет повидаться... Он же любит ее, дети, поди-ка, есть. А его убьют, и из-за кого?.. Служба... Нет, зачем отваливаешься — ты сам! Ты знал, что его нельзя послать, что и конь притупелый, и казак не смышленный... Э, пустяки, что об этом думать. Мало, что ли, народу-то убивают. По каждом грустить».

Коньков повернулся на другой бок. Теперь ночь была у него перед глазами, а спина приятно обогревалась пламенем костра.

«Хорошо-то как! А там дождик накрапывает, что ли? Да, накрапывает... Где-то теперь Жмурин? Поди, за Вальдгеймом только. Его конь быстро не пойдет... Наверняка убьют казака. А я-то что? Чего же я лежу? Разве забыл я девиз: «Больше сея любви никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя». Больше нет! И за это от Бога награда».

Коньков встал: все дрожало внутри у него. Да, скорее, скорее! Догнать, обогнать и сделать все, что надо! Любовь тогда велика, когда она способна на самопожертвование. И Ольга одобрила бы.

Коньков плотнее завернулся в старенький плащ и быстро пошел от костра.

— Куда вы? — крикнул Воейков. Коньков не ответил. «Таких вещей не говорят, — подумал он, — да и ему не понять, он отговаривать будет». И не прошло и минуты, как Занетто уже бежал крупной рысью по грязной, темной дороге.

Воейков пододвинулся ближе к костру и попытался заснуть, но сон бежал от его глаз. Мысли сбивчиво проносились перед ним, и не было в них никакого толку, и нельзя было их уловить. Время тянулось томительно тихо. Вот прошлепала лошадь мимо костра, кто-то тяжело слез с нее. Слышны голоса.

— Ты Жмурин?

— Я.

— Кончил поручение — князю явись.

— Пидра Микулич с полдороги вернули.

— Чего же так?

— А Бог их знает. Чудные они. «Тебе, — говорят, — не исполнить «порученность», да и у тебя баба с ребенком, а я один. И поехали. Отчаянный, одно слово, человек!

— Ведь он беспрерывно чего-нибудь натворит.

— Храбрый. Казака страх жалеют, а им себя так не жаль.

— Да что казака, — француза ли, немца ль, на что супротивный человек, и того в плену ласкают, ласкают без конца.

— Чувствительный человек.

Разговор смолк. Теперь Воейкову было не до сна. Слезы душили его, слезы раскаяния и радости. Он только что

мог обвинить этого человека в жестокосердии, в отсутствии гуманности! Боже, Боже, как далек он со своим сентиментализмом от грубого, простого Конькова.

Но слезы же и облегчили его. Теперь его уставшему телу, его изломанным костям хотелось только одного — сна, и он, повернувшись еще ближе к костру, крепко заснул. И не слышал он, как вернулся, блестяще выполнив «порученность», Коньков, как тяжело, с хрипом кашлял он над костром и хватался рукою за больную, истерзанную грудь.

Солнце подымалось над казачьим бивуаком, и искрилось мокрое после ночного дождя поле каплями, налипшими на цветы и метелки трав. Когда Воейков проснулся, Коньков уже хлопотал возле своих казаков. Молодой корнет, расчувствовавшись, подошел к сотнику и проговорил:

— Вы храбрый и честный рыцарь, я вас люблю и уважаю. Будем на «ты».

— Будем,— просто отвечал Коньков.

— Я за тебя так беспокоился! — сказал Воейков, и слезы навернулись на его глаза.

Набежала слеза и на темные глаза сотника. Это: «Я за тебя так беспокоился!» — была целиком фраза Ольги Федоровны.

«Смелый поиск Кудашева кончился полной удачей. Связь с силезской армией была найдена, бумаги переданы, получены и ответы, а Кудашев с малым отрядом своим сделал в продолжение десяти дней 455 верст, большей частью чрез места, повсюду занятые неприятелем, переправившись два раза через Эльбу и нападая несколько раз на несравненно превосходного в силах неприятеля. Он не имел ни одного убитого и не оставил ни одного раненого в руках оного»...

Так гласила реляция. Но надо принять и то во внимание, что в эти тяжелые дни трое суток дрался Наполеон под Дрезденом, что у него не было кавалерии, которая не пустыми выстрелами преследовала бы отважную шайку, а настигла бы ее с саблей в руках и порубила бы верным оружием, без отпора дерзких нахалов.

Коньков приобрел дружбу Воейкова, расположение Кудашева, но поиск за Жмурина расстроил его здоровье. Потухли его глаза, и тяжелый кашель стал душить его по ночам. Иногда такая слабость охватывала его, что предметы проносились перед глазами, как во сне,— он терял сознание и ехал, убаюканный качанием лошади, не созна-

вая ни времени, ни пространства. Болезнь постепенно охватывала его организм, и все труднее и труднее было с ней бороться при неурядицах походной жизни.

XXV

...Животные имеют интеллект, но не имеют разума, поэтому у них только конкретные представления и нет абстрактных. Они воспринимают правильно, верно понимают ближайшие причинные соотношения, а некоторые представители высших животных пород в состоянии понять даже значительно отдаленные звенья этой причинной цепи; но все-таки в собственном смысле слова они не мыслят, потому что у них нет понятий, т. е. абстрактных представлений. Ближайшим следствием этого является недостаток памяти в собственном смысле слова; этим страдают даже самые умные из животных; на этом-то, собственно, главным образом, и основывается различие между их сознанием и сознанием человека...

Артур Шопенгауер

В августе был Дрезден, в октябре была трехдневная битва народов под Лейпцигом, а в ноябре союзные армии растянулись на контонир-квартирах вдоль по Рейну, и русский говор впервые огласил роскошную Рейнскую долину.

Есть известный предел, дальше которого нельзя напрягать силы и энергию человека. Это все равно как в струне: чем дольше ее натягивать, тем выше и пискливее становится нота, и наконец она не выдерживает и лопается от одного прикосновения смычка, но сдайте ее, и она опять набухнет и наполнится, и опять ее можно натягивать, но уже той высоты звука она не дает. Под Бородином струна была натянута до самой высокой ноты, потом, в летнее перемирие 1813 года, ее спустили совсем до самого низа, а под Лейпцигом опять жалобно застонала струна, готовая лопнуть, но удержалась, и ее опять спустили, дав новый отдых.

Казаки под Лейпцигом (кроме лейб-казаков, обессмертивших геройской атакой четвертого октября на французскую конницу свое имя и заслуживших серебряные трубы

за отличие) почти не участвовали. Только в конце второго дня боя они появились, предводимые графом Матвеем Ивановичем Платовым, и энергичным преследованием довершили победу и не дали Наполеону возможности задержаться и вздохнуть.

Казаки отлично понимали всю важность своего преследования, и хвастливая сложилась между ними песня в память Лейпцигского боя:

Под славным было городом, под Липцами,
Не две тучи, не две грозные сходились,
Сходились две армеюшки великие:
Царя Белого армеюшка с французскою;
Они бились, рубились день до вечера!
И французская российскую побеждать стала,
Александр-царь по армии орлом носится,
Палашом он бьет коня по сторонам.
И кричит он звонким царским голосом:
«Без ума ли мы, товарищи, без разума!
Что такое мы, друзья мои, наделали?
Не дождавшись донских полков, ударили!»
Не успел он, Александр-царь, слово вымолвить,
Как с востока показалась туча пыльная,
А в той туче светят копьями казаченьки!
Приклонили коням дротик на лево ушко,
Загигали, закричали, на удар пошли!
Тут полки наши казачьи удалые
Ее гнали и кололи поздно до ночи!
Приезжает после этакой победушки
Александр-царь в полки славные казачие
И приветствует всех ласково и радостно!

Но струна была слишком натянута эти три дня Лейпцигского боя,— ее нужно было спустить, иначе говоря: кавалерия теряла лошадей, пехота страдала от голода, а главное, от недостатка обуви. Самая важная часть армии, ее середина расстроилась и громче всех требовала исправления. Как год тому назад казаки прогнали великую армию за Неман и дали последний выстрел по отступающим французам, так и теперь последний выстрел раздался на берегах Рейна из казачьего ружья.

Широко разместились казаки по деревням, заняли они длинную линию, и началась скука зимней стоянки. Коньков в карты не играл, ухаживать за чистенькими и беленькими пасторскими дочками не считал себя вправе, общества подходящего по близости не имел, мемуаров не писал, а потому томился и тосковал до крайности.

На его глазах умирала природа, умирала не по-родному, не по-русски, с вьюгами и глубокими снежными заносами, с укатанными дорогами, с санями и тройками, с быстрым бегом лошадей и звоном бубенцов.

Морозы сменялись оттепелями, и солнце грело не позимнему. Рейн и не думал замерзнуть. Он потемнел, набух, но так же катил свои синие волны, слегка всплескивая, волнуясь.

Смотреть, как казаки играют в жучка, чеботаря и в крячку, кидать свинчатку по бараньим ножкам айда-чниками и обращать пыльную улицу деревни Бейерн в улицу Вешенской станицы — скоро надоело. Надоели и казачьи песни, а пуще всего надоело стоять без дела после стольких боев и кровопролитнейших сражений. И тянуло Конькова поседлать Занетто и махнуть в тот край, где стоят люди в белых лосинах, где по-иному говорят, где мягче нравы, где птицы веселее поют. Но боялся он предпринять на свой страх далекий поиск, боялся, что схватит его опять головная боль и все в нем расстроится..

Но пришло письмо от Ольги с гвардейским подпрапорщиком, третью неделю разыскивавшее его, прочитал он ласковые слова, забилося сердце, и решил он посмотреть что «там», за роковой чертой, и как поживает неприятель у себя дома.

И вот на заре светлого, теплого февральского дня Коньков переправился на барке на ту сторону и поехал куда глаза глядят. Его сразу охватило волнение, как будто он совершал что-то ужасное, святотатственное. Но мирная природа скоро успокоила его. Солнце так приятно грело, кругом весело чирикали птицы, Занетто подавался плавными движениями, вся природа радостно улыбалась, и забылась скука, страх, шибко забилося сердце, и захотелось вперед и вперед...

Но то, чего он опасался, то и случилось. Сначала заныла больная грудь, больно и поспешно закололо в легких, потом потемнело, померкло солнце, и предметы потеряли очертания. Коньков охватил крепче лошадь ногами и забылся в полудремоте от слабости, едва разбирая грязную дорогу. Наконец повод выпал из его рук, он отдался весь на волю лошади. Обыкновенно Занетто поворачивал назад и бережно отвозил хозяина домой, но теперь случилась с ним перемена.

Пускай Шопенгауер уверяет, что у животных нет памяти, что они живут только настоящим, не имея ни прошлого, ни будущего...

Почтенный немецкий философ, наблюдая свиней и других приятных существ, забыл лошадь. А кому неизвестно, что пять, десять лет не могут вытравить из памяти лошади тех мест, где ее ласкали или наказывали?

В голове Занетто шла сильная мозговая работа, работа мысли. Надо было только взглянуть на золотистые ушки с черными окрайками, что все время ходили, то слушая направо, то налево, то опускаясь, то настораживаясь, надо было увидеть нервно раздувшиеся ноздри, чтобы понять, что случилось что-то важное, что требует точного знания. А случилось действительно то весьма важное событие, которого Занетто давно ожидал, быть может, не менее страстно, чем его владелец: он вернулся домой. Он всегда чувствовал и понимал своим лошадиным умом, что ночлеги на морозе, холода и вьюги, ночлеги по дырявым сараям и даже в немецких хлевах не есть нормальное явление, а только нечто временное, а что скоро опять вернется старая каменная конюшня, седой Франц будет ему носить сено и овес, а Ричард чистить его крутые бока. Он ожидал, чтобы его опять ласкали по-старому, когда его целовали в серую морду и кормили сладостями и когда он не слышал грубых: «Но, балуй», но ему говорили мягко, на звучном языке...

Он знал, что это будет, ждал этого и то надеялся, то терял надежду, и тогда со свойственной всем лошадям покорностью мирился со своею судьбой. Его товарищи, большею частью грубые и косматые, мечтали о беспредельных полях, о снегах, об удовольствиях стоять на базу за ветром, когда вьюга метет, о сладости опьяняющего овса — они грубо ржали, когда на них навешивали торбы, и дрались между собой из-за клочка сена. Их били особыми хлыстами, чтобы они скакали веселее, но они и тогда обманывали своих хозяев и шли не так скоро, как могли. Их по два, по три дня не расседывали и не кормили, поили какой-то бурдой, а то просто давали им снег, и они только вздыхали... Занетто был выше их. Хотя в строю шел рядом с ними, — что делать! — он понимал службу, но разговаривать с ними, водить дружбу он не мог, и стоило какому-нибудь казачьему мохначу приблизиться к Занетто с самым дружелюбным намерением почесать себе

бок о его грудь, как Занетто закладывал уши и скалил свои белые молодые зубы.

Но вот теперь сбываются его мечты. По крайней мере, воздух тот. В этом воздухе носятся те атомы, что вдыхал он два года тому назад... Да и места те. Сейчас должен быть поворот, каменная часовенка и тенистый куст; здесь его бывший хозяин часто часами стаивал, ожидая свою хозяйку, и много чего здесь видел умный глаз Занетто. Отсюда шло пшеничное поле -- поле, доставившее много счастья всем троим. Здесь росли такие вкусные колосья! Да, поле на месте — оно сжато. Густым ежиком торчит солома по земле, наезжены грязные колеи от телеги, что возили снопы... Теперь, если свернуть прямо через поле на опушку леса к высокому вязу, то можно сократить дорогу вдвое, но для этого надо прыгнуть через канаву, а барин некрепко что-то сидит: прыгать будет, пожалуй, опасно, как бы он ни упал. «Пойду по настоящей дороге», — подумал Занетто и, принося в жертву свое нетерпение и желание скорее быть дома, среди тех, кого он любил, спокойно своего барина, зашагал дальше по дороге.

Зимний день склонялся к вечеру, и темно-красным заревом покрылось небо, когда Занетто вошел в лес.

Дорога стала мягкая, вся усыпанная темно-коричневым и серым прошлогодним листом. Теперь Занетто уже был уверен, что он дома. Радостным ржанием приветствовал он свою родину и, вытянув шею и довольно пофыркивая, бодро, не останавливаясь, зашагал по дороге. Вот высокая каменная стена, за которой простирают свои ветви высокие дубы и липы, теперь оголенные и сухие. Вот резные ворота и каменный двор — все на местах, все так же, как и два года тому назад.

Двор чистый, дети Генриха играют на каменном крыльце...

Устал Занетто.

Восемьдесят верст прошел он сегодня, ища свою родину, торопясь домой! И вот он дома. Вытянув красивую шею, звучным ржанием потряс он воздух на дворе замка де-Шамбрэ и застучал копытом по каменным плитам. Откликнулась из далекой конюшни гнедая кобылка Сильвия, показались люди во дворе: старый Генрих, «она», Люси де-Шамбрэ, жена его господина, только Ричарда, да Жана, да Жака нет, нет молодежи, что служила на конюшне.

Очнулся Коньков. Тяжелый бред начинался. И в бреду чудились ему эти замки, дворы, крики женщины. В бреду, тяжелом и ясном.... «Не кричи так, Занетто, голова болит... Ольга, прими, приласкай... утешь меня!..»

— Боже мой! Кто это на нашем Занетто... Откуда! Мой бедный муж убит там... в дикой России, а ты, мой хороший, вернулся. Кого же ты привез? А, кого?.. Смотрите, он болен или ранен...

— Сударыня, это казак. Я видал на картинках.

— Ах, Боже мой! Все равно, он болен, бедняжка, умирает... Какой красивый мальчик!.. Что же вы, Антуан, стоите так. Ричард, берите его... Его надо поправить! Какой бледный, худой... Попросите сестру Серафиму. Надо его вылечить! Умник Занетто, что привез его к нам.

— Надо быть, офицер, сударыня, серебром шитый мундирик.

— Ах, тем более! Он, наверно, говорит по-французски, у них все говорят. Слушайте, Антуан, сведите Занетто и сена ему дайте! Бедный Шарль! Боже, Боже!..

Так говорила, хлопотала и суетилась вокруг больного, полумертвого от голода Конькова хорошенькая блондинка среднего роста с простыми, добрыми голубыми глазами, одетая в черное платье.

Конькова внесли в темную, богато убранную комнату и положили на мягкую постель.

Он был в плену.

XXVI

В плену! Быть может, забытый своими! В плену у женщины, которая любит, смотрит на него, как на красивую игрушку, и не отпустит никогда!

Что могло быть ужаснее этого для Конькова? Больной, в полусознании, лежал он на роскошной резной кровати и только в бреду отдыхал.

В бреду — за ним ходила Ольга.

Эта роскошь была их семейной обстановкой; его мечты сбылись, он женат на Ольге Федоровне. Но вот толчок, шум на дворе, а чаще прикосновение руки, и исчезли мечты, скрылись призраки.

Чуждая обстановка неведомой роскоши окружает его. Потолок и стены покрыты живописью и позолотой, тем-

ный дорогой паркет составляет пол, всюду ковры, картины, канделябры. Бледный свет проникает из-за спущенных занавесей; возле его изголовья сидит женщина. И как прекрасное убранство этой комнаты, ее дорогие гобелены, штучный паркет ее пола, резная кровать — чужды и немылы сердцу Конькова, так немила ему и женщина.

Наконец раз, когда длинные тонкие нити образовали бесконечный переплет и то удалялись, то приближались, пугая своим видом, подобно хромотрону в волшебном фонаре, когда что-то ужасное угрожало его жизни, надо было бежать, а бежать было некуда, Коньков очнулся, обливаясь холодным потом.

Был чудный ясный день; солнце яркими лучами освещало большую комнату. Он приподнял голову... То же грустное и ласковое лицо, что преследовало его в бреду, что смешивалось с образом Ольги и то радовало его, то беспокоило своим присутствием, было перед ним. «Кто она?» — подумал он, но лень размышлять, свойственная всем выздоравливающим от сильной болезни, овладела им. Он закрыл глаза. Ему было хорошо. Боль прошла, но во всем теле чувствовалась слабость, хотелось лежать, дышать, хотелось есть, хотелось жить. Коньков опять открыл глаза и стал внимательно озираться. Особенно привлекла его наблюдения молодая женщина. Она то подходила к мраморному камину, смотрела на изящные, в стиле Louis XIV, часы, то приближалась к его постели, осторожно просовывала руку под подушку и, подняв вместе с нею Конькова, подносила ему лекарство, заботливо оправляла одеяло и приглаживала мягкой и нежной рукой непокорные волосы. Трогали Конькова ее ласки и заботы, он с благодарностью смотрел на нее и задумывался. Память быстро восстанавливалась.

«Да, они стояли в Бейерне, на берегу Рейна, он поехал на ту сторону, еще Рычнев, казак, вез его и его лошадь на пароме, и он разговаривал с ним. Потом... потом ему, очевидно, сделалось дурно, и он попал Бог весть как в чей-то дом... Чей это дом? Эта женщина не немка... Она слишком стройна, слишком изящна, чтобы походить на тех, которых он наблюдал и в Мейсене и везде по Силезии и Саксонии. И убранство не немецкое... Вон на той стене висит портрет... Желтые этишкеты крупными кистями падают на грудь, художник не пожалел краски, и рефлексy пуговиц ярко горят. И лицо, с рыжеватыми усами, с пра-

вильными чертами ему знакомо... Где он видал его?» Коньков всматривается в сурово сдвинутые брови... Он слабо вскрикивает и падает на подушки. Коньков узнал его...

И опять тяжелый сон, сон перед кризисом.

Проснувшись при свете догорающего дня, он увидел опять ту же женщину. Люси сидела у окна и читала книгу. Солнце золотило ее профиль и придавало необычайную нежность очертаниям ее лица. Волосы были светлые, золотистые, нос прямой, с тонкими подвижными ноздрями, губы чуть пухлые, нежные и свежие. Во всей ее чуть согнутой фигуре, в ее платье, с высоко поднятой талией, отчего ноги казались длинными и выигрывалось сложение, разлито было необыкновенное очарование.

Долго смотрел Коньков на это лицо, и тяжелые думы бороздили его мозг.

За что? За что ходит, лечит, ухаживает за мной эта женщина, сестра, а может быть, жена того несчастного, который пал жертвой моего увлечения, опьянения атакой!

«О, та *Lucie bien aimée!*» — вспоминался ему подавленный стон убитого лейтенанта...

Да, это Люси! Это, наверное, она...

Чувство благодарности наполняло его сердце, ему хотелось проверить себя.

Опершись руками на подушку, он сел. Молодая женщина беспокойно оглянулась и подошла к нему.

— Кто вы? Зачем вы выходили меня с такой лаской и заботливостью, меня, вашего врага? — сказал он.

— Молчите, — тихо и кротко ответила она. — Вам запрещено говорить. Вы приехали больным и изнуренным в мой дом, а я считаю священным долгом оказывать помощь не только другу, но и врагу. Было бы жестоко оставить вас на произвол судьбы, изнуренного и больного...

— Но я казак...

— Я много читала про казаков. Я не думаю, чтобы вы злом отплатили мне за мои заботы.

Коньков помолчал немного. Потом, как бы собравшись с силами, он тихо произнес:

— Вас зовут Люси де-Шамбрэ?

Удивление появилось в ее глазах, она молча кивнула головой.

— Ваш муж, польский улан корпуса графа Турно, убит двадцать седьмого июня под Кореличами?

Слезы показались в ее глазах.

— Откуда вы это знаете? — спросила она.

Он показал глазами на темный портрет, по которому скользили лучи догорающего солнца, и с мучительной грустью тихо произнес: «Убил вашего мужа».

Мертвая тишина воцарилась в комнате. Роковая тайна открылась. Вот почему Занетто, а не другая лошадь привезла казака, вот почему и сам казак очутился в ее доме. Люси вздрогнула и побледнела, она пошатнулась, но, ухватившись за спинку стула, удержалась и, не промолвив ни слова, вышла из комнаты.

Коньков сильно взволновался. Он хотел было встать и последовать за нею, но удар был слишком силен для его только что начавших возвращаться сил: все помутилось в его голове, и он упал на постель.

На другой день, когда Коньков очнулся, он опять нашел Люси у своего изголовья.

Глаза ее были заплаканы, в лице были следы бессонной ночи; но взор был спокоен и ласков.

Портрет лейтенанта де-Шамбрэ был убран, и кроткий лик улыбающейся Мадонны смотрел на него.

Коньков благодарно улыбнулся и пожал маленькую руку своей спасительницы.

А дни шли за днями. Молодой сотник поправлялся быстро. Более всего его интересовали известия о войне.

— Война кончена? — однажды спросил он ее.

— Да, кончена, — тихо отвечала Люси.

— Кто победил? — взволнованный, садясь на постели, спросил он.

— Русские в Париже, — тихо ответила Люси. — Но не волнуйтесь!

Но Коньков не мог быть спокоен. Теперь, когда война так успешно кончилась, ему хотелось говорить, ему хотелось рассказать кому-нибудь все то, что передумал он во время болезни.

И полились рассказы про Тихий Дон, что чуть плещется в уснувшей заводи, на которой едва заметен поплавок, что шелестит ласкаячи своими камышами и навевает негу и покой, о казаках, не знающих страха, терпеливых и выносливых, об атамане Платове, об его манере говорить, об его смелости и хитрости, о битвах и схватках.

В добродушном эгоизме не разбирал молодой казак, приятны или неприятны эти рассказы для француженки...

Люси слушала всегда ласково и внимательно; она внушала такое доверие к себе, что не вытерпел раз Коньков и рассказал ей про Ольгу...

Вся его страстная любовь к невесте вылилась в жаркой речи, заблестели глаза, заиграл в них новый, неведомый огонек...

Побледнела Люси, слезы выступили на ее глазах.

Да, он любит горячо и пылко, но не ее... Напрасно она холила и лелеяла его, напрасно спасла его жизнь, напрасно подавила в себе глухой протест против любви к нему, к убийце ее мужа! И та любовь к молодому, свежему, неиспорченному казаку, что поборолла все, что была всего дороже,— была напрасна...

А Коньков словно и не сознавал этого. Все разговоры его шли об Ольге, все воспоминания были связаны с нею. Люси мужественно переносила страдания ревности. Иногда ей хотелось остановить его, сказать, как трудно ей слушать его рассказы; в ней закипала злоба против неведомой Ольги, но ей становилось жаль Конькова, да и чувствовала она сердцем, что разговоры об Ольге скрепляют их хорошие отношения, что, благодаря им, Коньков все более и более привязывается к ней.

Когда Конькову стало настолько лучше, что доктор разрешил ему встать с постели и немного прогуляться, Люси вывела его в парк. Ароматы цветника, пестрым ковром обегавшего с балкона и обступившего дом, опьянили его. Да, таких ароматов, такого воздуха у них не было. Здесь, казалось, сама земля проливали в воздух тончайшие духи, благоухали яблони, груши, сливы и бесчисленные цветы, наполнявшие клумбы. Воздух, теплый, влажный, благодетельно отзывался на легких: он не резал груди ни излишним жаром, ни излишней холодностью, он входил и выходил без боли, и далеко внутри, он это чувствовал, залечивались раны.

— Боже, как хорош Твой мир! — воскликнул Коньков, жадно глотая воздух.— И только вам, дорогая Люси, обязан я жизнью и тем, что увижу когда-нибудь Ольгу!

Люси нежно провела рукой по его восторженно взволнованному лицу и ласково сказала:

— Воздух на вас слишком сильно действует: на сегодня довольно; пойдемте в комнаты.

Слезы слышны были в ее голосе, но Коньков, в эгоизме

выздоровливающего и влюбленного, ничего не заметил.

После того они большую часть времени проводили в парке. Коньков все время болтал о своей Ольге, о любви ее к нему, и чувство беспредельной благодарности к своей милой и нежной спасительнице охватывало его душу.

Люси мало говорила о себе. Она знакомила Конькова с лучшими произведениями французской литературы и, шутя, училась русскому языку.

Быстро возвращались силы под благотворным влиянием весенней погоды и ласкового ухода. Хотелось любить горячо и пылко. А тут мечтательная Люси садилась за клавесин и, взяв несколько аккордов, пела свои песни.

Могучей волной разливались они, богатые звуками, мелодией, переливами; они говорили о любви под сенью деревьев, о любви страстной, пылкой и нежной, и их звонкий напев, напев свободы, роскоши и барства, был и мягок и силен. Ни одна тоскливая нотка не вырывалась среди полных звуков неги и счастья, и если даже и грусть слышалась в них, так и грусть была подернута утешением, грусть, быть может, тяжелая, но в здоровой, крепкой душе.

Родились эти песни в свободном народе, родились от любви и для любви. Пелась в них нега свиданий под купами олеандров и кипарисов, пелось про стройных газелей, про радость весны и жизни, про муки любви и наслаждения страсти. Говорилось про счастье умереть за свою родину и за любимую женщину. И свободные, смелые люди говорили это в звучных строфах.

Нравились эти песни Конькову. Вспоминались ему родные тягучие песни в унисон «от кургана до кургана», песни, где рабы воспевают своих господ. Всегда с тоскливой нотой, беспредельные, как Русь, но и однообразные и унылые тоже, как Русь.

И как далеки были одни от других!

Коньков чувствовал, что эти песни выше и лучше, что в этих песнях и чувство полнее, и передача выше, но не лежало у него к ним сердце.

И часто, часто стал уходить он один в парк, садился там на берегу ручья и, глядя на его темные воды, бегущие между камней и с легким плеском разбивающиеся об них, мурлыкал свои донские песни.

Охватит его вдруг тоска, и сильнее задрожит голос, словно струны на скрипке от удара смычка, и мягким тенором заведет он песню:

Во чистом поле одинешенек
Пал казак, лежит-лежит,
Он из камушка огонь вырубал,
Он горькую полынь вырывал,
Он и раны свои перевязывал.
Уж вы, раны мои, вы больным-больны,
Уж вы, раны мои, меня в гроб завели!
Уж ты, конь, ты, мой конь!
Ты беги-ка, душа — добрый конь,
К нам, на Тихий Дон!
Ты вскочи, мой конь,
На широкий двор!
Как и выйдет к тебе
Старик старенький
Со старушечкой,
Старик старенький —
Родный батюшка!
А старушечка — родна матушка!
А молодушка —
Молодая жена!
Как бы батюшке
Да низкий поклон,
А и матушке
Да низкий поклон,
Молодой жене —
На две волюшки:
Когда хочет она,
Пускай замуж идет,
А не хочет она,
Во вдовах сидит.

— Ах, какая прелесть, Пьер! — прервал его пение голос Люси. — Спойте еще раз.

— Нет. Зачем же. Вам, конечно, смешно! Ваши песни в тысячу раз лучше. Наши только сердцу говорят.

— Пойдите, Пьер. Мне нравится мелодия. Я положу ее на ноты. Ну, спойте, еще!

— Вам не понять, Люси, моих песен. Надо жить в нашей бедной стране, надо мерзнуть зимою, быть вечно голодным, и тогда вы поймете сладость нашей песни.

— Но она вовсе не грустная. Пойдемте!

Они вернулись домой. На столе лежали свежие газеты. Коньков ликовал, читая про победы русских, и с трудом сдерживал свою радость, чтобы не огорчить Люси. Однажды он прочел об обмене пленных и с радостью воскликнул:

— Значит, я свободен и могу ехать к моей Ольге.

— Да, вы свободны, — и голос Люси задрожал. — Когда же вы будете собираться в дорогу?

— Да завтра! Чем скорее, тем лучше, ведь Ольга ждет меня.

— Нет, завтра нельзя, еще надо оправиться, подождите неделю. Сделайте это для меня, мне бы не хотелось, чтобы все мои труды были напрасны и чтобы вы снова захворали.

Коньков остался. Разве он не обязан был Люси этим маленьким вниманием? Да и неделя в сборах и хлопотах перед отъездом прошла так быстро... Люси трогала его своей лаской и заботливостью. Она до мельчайших подробностей обдумала и приготовила все необходимое для дороги. В эту неделю трогательных приготовлений Коньков вдруг сблизился с Люси и, странное дело, полюбил ее.

Настал наконец канун отъезда. Все было готово к отъезду. Люси и Коньков сидели снова в чудном парке. Люси было грустно. На глаза ее ежеминутно навертывались слезы, и она с грустью и тоской глядела на Конькова. Как дорог стал он ей за это время. Теперь вспоминала она, как увидела его в первый раз и почувствовала к нему только ненависть, как к русскому, как она ходила за ним сначала, повинувшись только чувству сострадания, но сострадание сменилось любовью сильной, пылкой и страстной. Люси таилась и боялась признаться самой себе в том, что любит, а между тем все ее существо рвалось к нему. Прижаться к нему, покрыть его лицо горячими поцелуями и долго-долго ласкать его — вот что хотелось ей. Но он любил другую. Разве можно заставить его любить ее, Люси, когда все его мысли у Ольги, в далекой России. Бедная, бедная Люси! Она устремляла на него свои большие серые глаза, и они молили его о чем-то. Коньков тоже сидел задумчивый. Он и радовался своему отъезду, и вместе с тем грустно было ему покинуть Люси, такую добрую, великодушную. Чем он заслужил такую ласку и любовь? Растроганный, он подошел к ней, опустил на колени и горячо поцеловал нежную руку. Она не вытерпела. Ласка его слишком сильно тронула ее; слезы неудержимо полились из глаз, она нагнулась, нежно обвила его шею руками, головка ее прижалась к его щеке, и, горячо целуя его, она шептала: «Милый, милый мой, не могу больше сдерживать себя, мой дорогой. Люблю, люблю тебя горячо и беспредельно, Что я буду делать без тебя, мое солнышко? Боже, Боже, лучше умереть, чем жить без тебя, ты моя радость, мое счастье...» И она все больше и больше прижималась

к нему, щеки разгорелись, и горячие губы так и жгли Конькова. Коньков с трудом сдерживался. Он взглянул на пылающие огнем щеки Люси и вздрогнул, затем оглянулся кругом, словно ища поддержки в природе. Но деревья тихо шептали про любовь, трава приготовила ложе, покрытое пестрым ковром цветов, птицы пели гимн любви, солнце, воздух, аромат растений и земли туманили разум, горячили кровь, и мощным потоком поднялась она к лицу молодого казака, и не в силах он был сдержаться.

Поцелуями страсти покрыл он ее горячие щеки и губы...

Парк вокруг зашумел, птицы запели громкую песнь любви, и трава радостно зашелестела...

Люси победила.

XXVII

...Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем... лишь ветер, да я!

Пушкин

Коньков не уехал на другой день. Не уехал он и через неделю, через месяц и даже через год. На другой день ни он, ни она не вспоминали об отъезде, и Коньков остался на неопределенное время. Вначале он и не думал о том, чтобы покинуть замок де-Шамбрэ. Люси, пылкая и страстная, не давала ему задуматься. Она неотступно была при нем, придумывала все новые и новые развлечения и забавы, так что Коньков, заражаясь ее страстью, забывал все и был счастлив. Иногда милый образ Ольги с укоризной мелькал перед ним, но Люси сейчас же замечала на его лице набежавшую тучку и новою волною беспредельной любви и преданности прогоняла ее. Но время шло, и чувство страсти, не основанной на прочной любви и преданности, у Конькова мало-помалу проходило. Совесть упрекала его в том, что он изменил Ольге, и чувство любви и тоски по ней заговорило так сильно, что он нигде не находил покоя. Он делался все мрачнее и мрачнее, и ласки Люси уже более не могли развлечь его. Он томился, худел, каждый день

собирался сказать Люси, что он не может более оставаться у нее, что ему надо домой, к Ольге, на родину, но каждый день любовь Люси так трогала его, что у него не хватало духу нанести ей этот удар. Как огорчить это милое, любящее существо, сделавшее для него столько добра?

Он призывал тогда к себе образ Ольги Федоровны, и она спускалась к нему кроткая, улыбающаяся. Она гладила его своей нежной рукой по волосам, засматривала ему в глаза и глядела на него со всепрощающей улыбкой. И еще большим упреком отзывалось на нем это прощение — рвалось из груди измученное, истерзанное сердце, и он ходил и ходил по темным аллеям, ходил, пока не спускались сумерки, или, прислонившись к высокому дубу, стоял так часами, и глухие рыдания без слез потрясали его тело.

Бежать! Это была одна идея, одна мечта, которая давала ему смысл жизни, давала силы влачить среди невзгод жалкое свое существование.

Но бежать было невозможно.

Раз ему удалось выйти за ограду. Был конец июля, и уборка полей была в полном разгаре. Громадные битюки тянули телеги, нагруженные снопами. Кругом раздавались песни, и тонкая мелодия их, сливаясь с пением птиц, таяла в воздухе, образуя нежную гармонию. Стройные поселянки шли, обнявшись с парнями, веселье и здоровье выражалось в их лицах. Поля виднелись далеко-далеко, и их простор, сливающийся с горизонтом, опьянил Конькова. Словно школьник, выпущенный на свободу, заложив руки в карманы, подвигался он, раскачиваясь и беспечно улыбаясь. Шибко билось сердце, и счастье свободы охватывало его всего. Он отошел уже верст пять от замка. Поля кончались, начинался старый лес. Дубы и вязы обступили дорогу. Сырой аромат леса вдыхался легко. День склонялся к вечеру, тени были длиннее. Хорошо обделанная дорожка извивалась между стволов и уходила дальше, дальше, на восток.

Ноги были сильны и легки; он мог, казалось, идти сотни верст; в груди было легко; он запел веселую маршевую песню и еще бодрее пошел, углубляясь в старый лес.

Шорох деревьев ободрял его; высокие ореховые кусты протягивали свои ветви, словно говоря: «Иди, не бойся, мы укроем тебя», птицы приветствовали его приближение,

далекий закат, отражаясь на стволах и листьях, был радостным предзнаменованием — и сильно билось сердце.

Картины далекой родины, картины Петербурга, где жила его любовь, виделись уже на далеком востоке, подернутом теперь серо-лиловатыми тучами, пасмурном и сыром.

Вдруг топот конских ног заставил его прислушаться. Он остановился и оглянулся. Только Занетто мог идти таким плавным, растянутым, полевым галопом, да это и был он. Люси, в длинной черной амазонке, в маленькой шапочке, красивая и эффектная, догнала его и, приостановив лошадь, высвободила стремя и соскочила. Коньков был поражен.

Освещение ли заката сзади, золотившее ее рассыпавшиеся в мелких кудрях волосы и огненной полосой обводившее овал ее лица, заплаканные ли большие глаза, грустное ли выражение лица,— но Конькову жаль было расставаться с Люси.

Бросив поводья, она кинулась ему на шею и покрыла его горячими поцелуями. Потом отшатнулась и, оттолкнув его от себя, сказала:

— Ну, вероломный казак, беги, если хочешь.

Но Коньков не тронулся. Он поглядел на нее, и ненависть и жалость светились в его взоре.

А она смотрела на него, счастливо улыбаясь, красивая и нарядная, стройная в костюме амазонки. И Занетто, не раз выручавший хозяина в походах и боях, умными глазами глядел на обоих и шевелил нежными ушами, будто прислушиваясь к их разговору.

— Или тебе мало моей любви? Я отдала тебе все, что может отдать женщина; я окружила тебя роскошью и удобствами, каких нет в твоём бедном краю. Что тебе еще надо? Хочешь, буду рабой твоей? Хочешь, буду униженно просить тебя и ласкать, как ты захочешь?

С грустью смотрел на нее Коньков. Опять задумчивый образ Ольги встал перед ним — он отшатнулся было, но Ольга испарилась, будто ушла далеко-далеко, ступала и Россия, и только Люси, очаровательная и любящая стояла перед ним. Коньков взял лошадь за трензель и повел ее домой. Он сдался.

И потекли опять долгие дни в замке де-Шамбрэ. Люси не даром была француженкой; она знала и понимала че-

ловеческое сердце. Она ни на секунду не давала задуматься Конькову; она придумывала тысячи развлечений. Утром он учил ее русскому языку, и она проходила с ним литературу. Днем им седлали лошадей, и они уезжали верхом в поездку. Во время прогулок она склонялась иногда с седла и крепко целовала его в губы. Коньков не отвечал на эти поцелуи. Иногда она отъезжала от него и говорила ему: «Беги, если хочешь. Твоя лошадь сильнее и быстрее моей, ты лучше меня едешь, и ты будешь на своей родине».

Он собирал поводья, будто собираясь скакать, но обращившись к ней и встречал нежный, любящий взгляд. И он бросал поводья.

Она подъезжала к нему, они ехали вплотную, она заводила с ним разговор про его Ольгу, про его холодную родину. Коньков оживлялся. Он говорил хорошо и вдохновенно, она слушала его внимательно и говорила задумчиво:

— Я тебя отпущу когда-нибудь.

Он глядел на нее, и радость загоралась в его взоре. А она смотрела на него, весело смеялась и говорила:

— Разве могу я тебя бросить, мой грустный казак?!

И потом опять шел разговор про «нее». Она хвалила Ольгу, радовалась, когда Коньков рассказывал, как приезжала к нему невеста в Матзвиц; Коньков смотрел на Люси, ища притворства, но притворства не было, француженка смеялась от души.

— Ты все-таки груб, мой милый, я тебя отшлифую. Ты еще многого, многого не знаешь.

И она ласкала его и голубила. Сперва Коньков противился ее ласкам, потом отдавался весь в ее распоряжение, и она часами расчесывала его черные кудри, гладила усы и брови. Коньков смотрел ей в глаза, видел выражение любви и счастья, то самое выражение, с каким встречала его всегда Ольга, и он забывался.

Вечером иногда приходил сосед-помещик, кюре, и начиналась игра в карты, потом ужин с теплым бургундским и сон.

Тишина, спокойствие, полный отдых после бурной походной жизни мало радовали Конькова. Грудь его перестала болеть, кашель прекратился, но он не поправлялся. Он все был так же худ и бледен, внутренняя тоска его грызла слишком сильно: нравственные страдания были тяжелы.

Порою ему казалось, что он перестал любить Ольгу и любит Люси. Он становился внимателен к француженке, он с жаром говорил с ней, видел, как она расцветала его любовью, и ему становилось хорошо. Не будь Ольги, он бы полюбил молодую иноземку и женился бы на ней...

Но вспоминалась Ольга, ее клятвы не забыть его, виделось худенькое, бледное личико петербургской барышни, широко раскрытые голубые наивные глаза, и тускнела страстная, знойная Люси. Потом опять Люси брала перевес. Ему думалось, что Ольга его забыла, что она, при красоте своей, наверно, вышла замуж, что его считают убитым, что, если бы Ольга любила его, она поехала бы разыскивать его, нашла бы и отобрала от Люси. А раз она этого не делает — она не любит его. Образ Ольги тускнел в его памяти, он обращался к Люси. Но сейчас же угрызения совести охватывали его, он уходил в глубь парка, кидался на траву и горячо молился: «Господи! Ольга! Простите меня! Боже, дай ей счастья, дай ей полного, полного счастья! Дай ей всего хорошего, чего она себе желает. Прости меня, Господи!..»

Молитва, бессвязная, отрывочными фразами, продолжалась долго. Грудь волновалась. Слезы наполняли глаза его, он весь рвался к Творцу и к Ольге, и невозможным казалось ему, чтобы Ольга могла позабыть его, «ее милого казака»!

И так, от тоски к радости, от радости опять к горю, текла его жизнь в плену.

XXVIII

...Туфли к милому глядят,
полюбить его хотят...

Присказка донских казаков

Богатый пир, пир на весь мир задал Сипаев, когда генерал-майором вернулся он из Парижа. «Письменюга» Каргин, свояк его, был приглашен к столу, на котором дымились печенья, жареные и вареные произведения расплневшей Марьи Алексеевны. Маруся была интересной вдовушкой, и черкасские казаки, особенно старички, души в ней не чаяли. Никто не умел так приготовить кулебяку,

ни у кого наливка не выходила такая темная, сиропистая и в то же время такая сильная и крепкая, как у Марьи Алексеевны Каргиной. А как божественно подавала она для поцелуя ручку! Как сочно целовала в лоб,— петербургскому кордебалету так никогда не сделать! А когда она, в сарафане, в монистах и в шитой собственноручно малороссийской рубаше, выходила к гостям и, приветливо улыбаясь, говорила: «Просим милости за стол», то даже безногий Леонтьев прыгал от удовольствия и улыбки освещали молодые и старые лица.

И как мать, она была хороша. Когда с Ванюшей на руках она садилась в углу и, освободив белую, как кипень, грудь, кормила ребенка, залитая румянцем стыда и радости,— я не знаю, что делалось с молодежью,— но Марья Сергеевна Луковкина дома бранилась с мужем, а молодая, желчная полька Ядвига Казимировна даже бивала своего муженька, сотника Симеонова. Да и нельзя было не бить! Уж очень маслянисты у него становились глаза, когда он смотрел на Марью Алексеевну.

Впрочем, тогда весь Черкасск сходил с ума. Атаман жил в Париже, полки были распущены, офицерство просто с жиру бесилось. На всех ордена, кресты, все героями выглядят, про Наполеона говорят так, как будто это был ни больше ни меньше, как денщик атамана. «Блюхером» собак кличут, а на князя Шварценберга просто рукой машут. По рассказам некоторых безусых хорунжих выходило, что российское победоносное христолюбивое воинство вовсе не российское, не победоносное, не христолюбивое и не воинство даже, а все сделали казаки и преимущественно они, эти безусые хорунжие, пившие цимлянское до озверения. Когда более рассудительные вспоминали про Кульм, где казаки не участвовали, молодежь тыкала в грудь есаула Фомина, украшенного кульмским Железным крестом, и хором уверяла, что этот ординарец Остермана разбил всю французскую армию. А сколько каждый из них нарубил неприятелей! Ей-Богу, если бы сложить все жертвы, которые каждый считал за собой, то на всем земном шаре не осталось бы никого в живых.

Ну молодежь — еще понятно. А то и старые потянулись за молодыми. Под Тарутином, как шептали старики, вовсе не Орлов победил, а «письменюга» Каргин, так говорили в каргинской родне, Сипаевы уверяли, что это Алексей Николаевич подал удачный совет и что даже ему

Георгий выходил, да вишь ты, не вышел — протекции не хватило!

Но кроме сплетен, хвастовства и рассказов безвредных были и такие, которые плачевно кончились для зачинщиков. Хорунжий Палявин, сходявши в Париж, нашел, что фрак удобнее чекменя, и, надевши фрак, шапокляк*, брюки в обтяжку, с лорнеткой в руках стал гулять по Новочеркаску. В первый день собаки порвали ему брюки и пострадал немного фрак, но Иванов, портной из «Арсис сюр Оба», исправил изъяны, и франт, приводя в смущение казачек и возмущая стариков, продолжал свои прогулки. Дамы сторонились от него и считали это неприличнее, чем проскакать голым по улицам, что сделал хорунжий Жмурин. Жмурина простили — он был хорошо сложен, красив и имел белое тело, а Палявину фрака простить не смогли. Анна Сергеевна возмутилась, и старик Зимовнов, через атаманскую канцелярию, донес обо всем Платову. «Очевидно,— отписал Платов,— бедняга сошел с ума, что нарядился в костюм, званию сумасшедших токмо присвоенный. А потому,— гласила резолюция,— посадить оного хорунжия и кавалера в сумасшедший дом сроком на один год».

Вот в какое сумасшедшее время закатил Сипаев пир по случаю соединения с домом Каргина. С тех пор как Сипаев вернулся с большими деньгами и с еще большими связями, про Марусин «грех» все позабыли, и Маруся, пышно одетая, сидела в гостиной, окруженная старухами и замужними казачками. Она была баба хоть куда. Не хуже других она выговаривала: «в моем полку этого не было», «бачка отличился в авангардном бою при Матюрове», «нам пожаловали генерала», «бедный Николенька убит при обороне деревни Рейк». Ее роговский Ванюша с успехом сходил за сына письменного Николая Петровича, хотя все отлично знали, что он родился на пятый месяц после свадьбы. Но такова натура человека: что одному прощается легко и просто, другому не простится никогда. А с Сипаевым теперь ссориться было опасно.

Мужчины шумели в кунацкой, атаманские песенники откашливались и громыхали своим инструментом в сенях и на кухне; Анна Сергеевна поспешно отдавала последние распоряжения.

* Ш а п о к л я к — складная шляпа-цилиндр.

— Да,— слышался густой бас старика Зимовнова, ходившего таки с молодежью под Тарутино,— послужили мы, можно сказать, Царю-батюшке и всевеликому войску Донскому.

— Да что, камрад,— повернулся к нему молодой совсем полковник Елисеев,— было тяжело старые кости поднять?

— Асиньки? — спросил старик.— Ты это меня, малолетка, как назвал?

— Камрад — это обозначает приятель.

— Ты меня так не моги называть, по-басурмански,— строго осадил его Зимовнов,— а то я тебя того хуже назвать могу.

Елисеев осекся.

— Господа,— кричал Сипаев,— балычка отведать, водочки. Пойдемте закусить.

Громыхая шпорами, двинулось все знатное черкасское общество в столовую и принялось за закуску.

Атаманские песенники грянули веселую песню.

Под аккомпанемент веселой песни, с присвистом, дудочкой и скрипкой, весело пилось и елось полковникам, есаулам, сотникам и хорунжим.

— Вы, батюшка, не стесняйтесь, икорки-то еще положьте, все одно свиньям выкидывать,— мягким баском уговаривал молодого сотника Зимовнов.

— Я ем! — с полным ртом отвечал тот.

— И ешьте, и пейте, хорошее дело.

В дверях показалась с подносом, уставленным драгоценными саксонскими хрустальными рюмками и графинчиками, красная, приветливо улыбающаяся Маруся. Ей так нравилась роль хозяйки!

Все мужчины повернулись к ней. Платовский адъютант, невысокий, коренастый мужчина, с рыжеватыми усами, нависшими на рот, звонким тенорком завел песню, гости, смеясь, подхватили. Какой-то хорунжий с салфеткой в руке бросился к песенникам и замахал им, чтобы они замолчали.

А вот она, вот она (*пели гости*),
Марья Алексеевна,
А вот речка, вот и мост,
Через речку перевоз,
Кто бы нам поднес,
Мы бы выпь-и-ли-и! —

и, сделав маленькую паузу, хор разом затянул:

Маня, Маня, Маня,
Маня, Маня, Маня,
Наши буйные головки,
Преклонились пред тобой!

И все, начиная со старика Зимовнова, низко-низко поклонились Марусе.

— Просим милости! Не обессудьте, — звонким голоском, играя серыми глазенками, говорила Маруся, — чарочка-каточек, катись ко мне в роточек, чарочка-каток, катись ко мне в роток. Алексей Викторович, не обессудьте на угощении и на добром слове.

Гости разбирали рюмки, кланялись хозяйке и опрокидывали в рот.

— Признательность моя да воспреследует вас до конца вашей многострадальной жизни, — сказал адъютант Платова.

— Много лет жить и здравствовать, мужа выбрать по вкусу и по согласию!

— Хозяюшке спасибо за угощение.

— Ручку, добрейшая Марья Алексеевна!

— Ишь, чего захотели! А поднос куда же я дену?

— Хо-хо-хо! Умеее вывернуться.

Маруся поставила поднос на стол, выбежала на минуту для последнего совещания со стряпухой и, вернувшись, пунцовая от плиты и от радостного волнения, низко, в пояс поклонилась гостям и, тряхнув упрямыми волосами, слезшими на глаза, звучно, громко и радостно сказала:

— Просим милости за стол, атаманы-молодцы!

— Ай да баба, ай да Маруся! — сказал отец, уже выпивший седой казак, глядя Марусю по голове.

— Ну, что вы, папа! Всегда сконфузите, — как девочка, обернулась Маруся и наивными глазами посмотрела на всех.

Гости рассаживались за стол. Мужчины садились по одну сторону, дамы цветистым кругом на другом конце.

Хорунжий Сычев, недавно выслужившийся из простых казаков, оказался как раз на рубеже между дамами и мужчинами. Рядом с ним сидела хорошенькая, остроглазая Люба Пантелеева, недавно приехавшая из московского пансиона.

— У нас здесь невежество, можно сказать, — молвил казак, — казаки в обществе совсем не говорят с девицами, а в Париже, я повидал, там это «завсегда» принято.

Молчание.

— Опять, там и дамы пьют и насчет одежды такой разницы не делают. Не желаете ли, Любовь Семеновна, noch ein Stück курицы.

— Merçi.

— Теперь, к примеру взять, наше образование. Я, можно сказать, пешком под стол ходил, когда меня в полк забрали, а теперь мне двадцать первый год, и я, можно сказать, хорунжий и кавалер, на манер дворянина. Pas mal, mademoiselle?

Молчание и румянец во всю щеку. Хорунжий тоже краснеет и залпом выпивает стакан водки. Пантелеева пугливо озирается. Хмель кидается в голову казаку.

— Это я с горя, Любовь Семеновна. Почему вы меня ни единым словечком не удостоите; мы, так сказать, проливали священную кровь за свое отечество. L'étendart et patrie, c'est le nom de sapristi. И я, так сказать, донской казак, и горжусь сим славным именем. За мною, можно сказать, и полки шли... и проливать кровь умею.

Люба молчит и искоса насмешливо поглядывает на хорунжего. Сестра Сычева делает ей знаки, чтобы она не давала ему пить больше, но хорунжий выпивает залпом еще стакан и коснеющим языком говорит:

— Толкуй казак с бабой! И не казацкое это дело. А вы заронили искру в мое сердце, и я в Грузию!.. Потому — невнимание и презрение. А я вас спрошу — за что?!

Глаза его наливаются кровью, он ударяет по столу кулаком и еще раз громко кричит: за что?!

Люба фыркает в тарелку. Сестра Сысоева волнуется, и ее бледное лицо покрывается пятнами стыда за брата.

Но на это мало обращают внимание. Всюду шум, красные, пьяные лица и нетрезвый разговор.

— Помолчи, честная станица! — громко кричит старик Зимовнов и поднимается из-за стола. Шум немного стихает, но разговор идет своим чередом.

— Пир и веселье, легкое похмелье! Спасибо нашему хозяину и дочке его, и его превосходительству! Послужили мы всевеликому войску Донскому, поработали, можно сказать, на честь и на славу и заслужили кому знамена, кому ордена и чины, кому что, а кому и смерть победную.

Выпьем, атаманы-молодцы, за Государя Императора, и за Царицу его, и за все всевеликое войско Донское.

— Урра! — кричат гости. Атаманские песенники поют ходячую по армии песню:

Ездил русский белый царь,
Александра-Государь,
Из своей земли далече...
Злобу поражает он...

Веселье становится сильнее и в ритм веселой маршевой песни катится с одного конца стола на другой; звонко щелкают бокалы, и громче и громче становятся разговоры.

Дамы частью встали и ушли, скатерть залита вином, усыпана крошками и объедками, недопитые стаканы, бутылки и фляги уставили середину.

Маруся хлопочет, казаки убирают пустые бутылки и ставят непочатые. И вдруг встает Зазерсков.

— Атаманы-молодцы, послушайте! — громко говорит он, и густые полковничьи эполеты дрожат на его плечах. — Мы пили здоровье, мы «фастались» победами, а мы не вспомнили еще братьев наших, что остались там. Моей пятой сотни сотник Коньков убит или без вести пропал за Рейном, казак Каргин, муж нашей хозяйки, умер от ран в деревне Рейк под Дрезденом, казак Какурин у Тарутина потерял обе ноги. Атаманы-молодцы, мы сооружаем в Казанском соборе во славу войска Донского серебряный иконостас из серебра, добытого от француза, и неужели мы не уделим частички наших доходов на поминки добрым делом тех, что спят вечным сном на далеком пути. Ведь тридцать пять тысяч казаков пошло, а вернулось всего пятнадцать тысяч. Вдовы и сироты, матери и мужья — сделаем это доброе дело!

— Сделать, отчего не сделать! — басом урчит Сипаев. — Конечно, должно.

— Надо атаману отписать, Аким Михайлович, — заметил Луковкин.

— Это в долгий ящик, господа, пойдет, а здесь сейчас нельзя ли что сделать. Хоть по червонцу.

— Я и денег не брал, — сказал Пантелеев.

— Да и я! Куда же, не в дорогу, а к радушному хозяину, — молвил Луковкин.

— Я отчего! Я не прочь, все равно пропьешь, — сказал и хозяин Исаев.

Кое-кто поднялся и, перекрестившись на образ, пошел благодарить хозяина. Сбор денег на помин душ казаков не состоялся.

Марусе напомнили ее убитого мужа. Ей надо было быть грустной, заплакать: этого требовало приличие. А как заплачешь, когда все так хорошо. Ванюша сейчас всю грудь высосал, обед удался, пьяных много. Сычев и Летнев в кунацкой храпят, и бачка сто червонцев подарил на покупку птицы, а старая Горывна, холмогорская корова, только-только отелилась...

Как плакать, когда не сегодня завтра полковник Седов зайдет к ее отцу сватов, и кончится ее вдовье житье.

И надо было этому противному Зазерскову заводить похоронные разговоры — точно и без него мало горя на свете.

И Маруся сердитая вошла в горницу. А там уже молодежь устраивала игры; принесли орехи, пастилу, пряники, — грусть была не к лицу.

Маруся радостно улыбнулась, и опять пошла простая, веселая жизнь, без тоски, без думы.

Один Зазерсков, мрачный, шел домой. «Нет, — думал он, — верно говорят французы — *les absents ont toujours tort*. Живым нет дела до мертвых, а не мертвые ли дали живым славу?» И вспомнился ему есаул Коньков, и утер пожилой полковник шитым рукавом невольно набежавшую слезу.

XXIX

...Слезы людские, о, слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой, —
Льетесь безвестные, льетесь незримые,
Неистошимые, неисчислимые, —
Льетесь, как льются струи дождевые
В осень глухую, порою ночной.

Ф. Тютчев

Какой безумной светлой радостью наполнилось сердце Ольги Федоровны, когда получились в Петербурге радостные известия о занятии Парижа, об отречении Наполеона. Ни у кого, пожалуй, так не билось сердце и, никто не отвечал так радостно всем существом своим

на торжественный перезвон колоколов и на отрывочные пушечные выстрелы, что потрясали стекла их домика в Шестилавочной.

Апрельское теплое солнце бросало мягкий свет на чистенькие занавески, освещало пестрые гиацинты, тюльпаны и резеду, с улицы неся весенний шум, треск дрожек, крик разносчиков. Вся столица имела праздничный вид: ожидали скорого приезда Императора. Россия так высоко поднялась, как не была еще никогда. Газета-журнал «Сын Отечества», появившаяся в то время под наплывом патриотических требований образованных читателей, сообщала радостные известия о том почете, каким пользуются русские войска в Париже. Французские шансонетки распевались на всех углах, всюду были карикатуры и картинки с насмешками над Наполеоном.

Доброй Ольге Федоровне даже жаль становилось этого маленького человека, в белом жилете и зеленом мундире, хмурого и задумчивого. Забыла она, что из-за него столько времени не видела Петра Николаевича, и только ждала, чтобы скорее все кончилось.

Пришло известие, что армия станет квартирами во Франции, для умиротворения края. Мать ольвиопольского гусара штаб-ротмистра Воейкова получила от своего Володеньки письмо, что офицерам разрешено поехать домой.

Через неделю приехал Воейков. А Конькова все не было. Тревога стала закрадываться в сердце Ольги Федоровны. Время было ехать в деревню, но она решилась остаться в городе, пока не приедет Коньков. Ведь он вот-вот должен вернуться. Но кончился май, июнь наступил, в городе было пыльно и душно, а Конькова все не было. Беспокойство становилось все сильнее и сильнее, тревога больше. Ольга Федоровна уже не могла спать больше по ночам, она вставала рано, рано утром и садилась к окну. Шестилавочная видна была до самого Невского; по ней ездили извозчики, ломовики разъезжались со Вшивой биржи и наполняли улицу грохотом и стуком. Ольга Федоровна каждую минуту ждала, что вот-вот замелькает на солнце голубой шлык и покажется дорогое лицо жениха. Но проезжала бездна народу, проходили пешком, были тут и штатские, и офицеры, но не было между последними ни одного знакомого лица. Быть может, Платов его оставил при себе — повез в Париж, Лон-

дон; он не посмел отказаться — и терпение опять, на время, вернулось.

В июне приехал с визитом Воейков. Молодой гусар похорошел за это время отдыха. Штаб-ротмистрские жгуты были ему очень к лицу.

— Ну, как, Николая Петровича видали?

— Видел, только давно, — ответил Воейков, и облачко пробежало по его лицу, спустилось на лицо Ольги Федоровны, — спустилось, и вдруг сразу скрылось все ее веселье в мрачную тучу.

— А вы разве писем не получали от него? — в свою очередь спросил Воейков.

— Нет, он мне ничего не писал, — коротко ответила Ольга Федоровна.

— Ничего?!.. Видите ли, это не наверно, конечно, это только предположение... Отчаиваться тут нечего. Еще, может, и неправда!

Но Ольга Федоровна поняла все. Румянец сбежал с ее щек, глаза потухли, и она вся как-то опустилась.

— Говорите все, что вы знаете, — твердым, глухим голосом сказала она.

— Последний раз мы с ним были в поиске князя Кудашева. Потом я его не видел. Спрашивал атаманцев в Париже, говорят, что уехал еще в феврале на разведку за Рейн и пропал. Две сотни шарили целую неделю кругом. Осмотрели всю окрестность на семьдесят пять верст, а его не нашли.

— Быть может, он у Платова? — еще тише спросила Ольга Федоровна.

— Нет, при Платове его нет.

— Нет? Наверно нет?

— Нет.

Последняя надежда лопнула.

— Значит, он... убит?

— Да...

Тихо стало. Слышно, как муха летит. Ольга Федоровна была бледна как полотно: в лице ни кровинки.

Она медленно, широко, по православному перекрестилась и тихо сказала:

— Да будет воля Господня!

Потом встала и вышла.

Грустный сидел Воейков один, не зная, ожидать ли ему кузину или уйти. Прошло с полчаса. Дверь медленно

открылась, и на пороге показалась Ольга Федоровна. Это уже была не та веселая, приветливая барышня — это была женщина, перенесшая тяжелое испытание.

— Простите, Владимир Константинович, что я вас покинула. Мне надо было оправиться. Было тяжело. Ведь я его так любила.

— Не смею более задерживать, — начал было Воейков.

— Нет, напротив, мне легче с вами, вы его так хорошо знали. Расскажите мне все, все про него, без утайки...

Воейков начал откровенно рассказывать, как он влюбился было за храбрость и за геройство в Петра Николаевича, как его поразила мнимая жестокость, как он убедился в своей ошибке и как они порешили говорить друг другу «ты».

— Ах, его нужно было очень хорошо знать, чтобы понимать, — воскликнула Ольга Федоровна.

— Он нарочно рисовался своей жестокостью и стыдился добрых дел.

— Он был истинный герой!

— Таких людей мало, — вымолвил Воейков.

Ольга Федоровна благодарно взглянула на гусара, и опять мысли ее побежали своим чередом.

— И его тела не нашли?

— Нет, не нашли.

— Значит, он нигде не похоронен?

— Нет, нигде.

— А крестьян опрашивали?

— Да.

— И никто ничего не знает?

— Никто не слыхал.

— Я поеду туда.

— Поздно. Помилуйте, это было в феврале. Теперь июль. Размен пленных был — он не вернулся.

— Его могли забыть.

— Человек не иголка, его не забудешь. Он сам о себе напомним.

— Правда.

Снова молчание. Воейков неловко встает и гремит саблей по полу.

— Непременно приходите и рассказывайте мне про него все, что вспомните, много, много.

— Слушаю-с...

Только к вечеру заплакала Ольга Федоровна и проплакала и прорыдала всю ночь.

А утром так же, как и всегда, поливала она из длинной лейки цветы, ходила с Аннушкой на рынок, читала книги, смотрела за обедом. Только веселая песенка не раздавалась по комнатам и улыбка навсегда куда-то исчезла.

XXX

...Молода жена плачет — как роса падет:
Красно солнышко взойдет, росу высушит!

Народная песня

Прошло полгода. Сердечная рана заживала медленно. Лето, проведенное в деревне, по соседству от Воейкова, только что женившегося на хорошенькой Наташе Песковатской, уходившее и утешение молодых, необыкновенное внимание со стороны старика отца, незаметно делали свое дело. Слабый румянец опять покрыл щеки, только улыбка все еще не появлялась. Воейковы делали все, что можно, чтобы развлечь молодую девушку. Предпринимались катания на тройках, верховая езда, далекие прогулки пешком; молодой гусар с увлечением рассказывал про походы, про «Пидру Микулича», про казаков и их подвиги, и в сердце Ольги выросло что-то светлое, идеальное. Настоящий Коньков теперь, пожалуй, ее и не удовлетворил бы, — такой чистый и высокий образ создало ее воображение.

В январе 1815 года и Воейковы и Клингель вернулись в Петербург. В первое же воскресенье, когда Ольга Федоровна только что пришла из церкви, раздался в квартире звонок, и девушка, войдя, доложила: «Оскар Рейхман». Густой румянец покрыл лицо Ольги Федоровны, и она тихо сказала: «Проси».

Пять лет тому назад ей, восемнадцатилетней девушке, сделал предложение Оскар Рейхман, известный доктор. Она не ответила тогда ни «да», ни «нет». «Нет» она сказала бы потому, что была совершенно равнодушна к нему. Он был на десять лет старше ее, был серьезен, умен; Ольга Федоровна его уважала и боялась, но сердце ее молчало. Она могла бы быть примерной женой, она ни

разу не изменила бы, но и сердце ее не билось бы никогда от сознания близости к Оскару. «Да» она ответила бы потому, что вообще он ей не был противен, нравился даже, был богат и всеми уважаем, наконец, это был такой идеально честный человек, с высокими гуманными воззрениями, что за одну его честность и благородство к нему можно было привязаться.

Тогда, при самом начале знакомства, Ольга Федоровна просила подождать. Рейхман уехал за границу, провел целый год в Англии. Вернувшись, он первым делом отправился к Клингель. У Ольги Федоровны сидел молодой, статный казак. Их представили друг другу. Рейхман внимательно посмотрел на казака, потом на Ольгу Федоровну, опять на казака и опять на Ольгу Федоровну, потемнел как-то и начал весело рассказывать про свое путешествие. Он остался обедать, просидел весь вечер и ни слова не сказал про то, что его мучило и волновало целый год. Только прощаясь, он сильнее обыкновенного пожал ручку Ольги Федоровны и тихо сказал: «Благодарю вас. Я получил ваш ответ. Что делать! Не по плечу себе выбрал». Ольга Федоровна покраснела. Слезы показались у ней на глазах, — ей было жаль этого высокого, сильного человека, с широкой курчавой бородой, с добрыми, умными серыми глазами.

— Я вас очень люблю! — потупившись, сказала она.

— Охотно верю, — спокойно ответил он.

— Мне вас так жаль! — она своей маленькой ручкой сжала его большую руку, и они расстались.

На другой день Оскар Рейхман на корабле уехал в Америку, а оттуда в Индию.

Вернулся он в самый разгар войны 1813 года, когда Ольга Федоровна была в Саксонии. Он поселился уединенно на Васильевском острове, и весь отдался научным изысканиям, он почти никуда не выходил и кроме науки ничем не интересовался. Впрочем, Ольга Федоровна находилась еще в его сердце. По крайней мере, портрет ее висел в его кабинете, и чрез старика Клингель он знал все, что происходит в их доме. Он первый узнал и про смерть своего соперника. Он не пошел сейчас же, он выждал почти год, и в ясное январское воскресенье, когда сама природа ободряла людей на решительные шаги, он пешком прошел с Васильевского острова в Шестилавочную.

Ольга приняла его в черном платье. Когда Оскар вошел, спокойный, твердый, умный и она увидела этого крепкого, на диво сложенного мужчину, с густой, окладистой бородой, севшего против нее, она почувствовала тишину и спокойствие кругом, словно к ней, терзаемой врагами, пришли непобедимые, несокрушимые войска.

Она пожал ее руку и сел в кресло против нее. Несколько секунд было тихо. Сильнее лили свой запах гиацинты и парниковые ландыши, и солнце ярче освещало мебель и ковры.

— Я слышал про ваше несчастье, — тихо сказал Рейхман, и его нежный, рассудительный тон так хорошо гармонировал с его мощным, крепким сложением.

Ольга Федоровна потупилась и вздохнула.

Немного подумав, Оскар продолжал:

— Я всего раз видел сотника Конькова, но я много, много про него слышал, — это был достойный вас человек, честный и храбрый. Когда мне приходилось о нем говорить с казаками, они плакали, хваля его. Вы были бы счастливы, но пути Божии неисповедимы.

— Да, — тихо сказала Ольга Федоровна и взглянула на широкую грудь и на ласковые глаза доктора. — Я его очень любила!

И вдруг ей показалось, что этому человеку можно все рассказать про их любовь, и про встречу в госпитальном саду, и про стоянку в Мейсене, и все, все, — он один все это поймет, он старый друг, знавший ее маленькой девочкой, холивший и баловавший ее, он, никогда не упрекавший ни в чем, он, всегда верный и неизменный.

— У вас было сродство душ, это несомненно.

— Что это значит?

— По всему свету рассеяны пары, разъединенные до поры до времени. Они бродят, мучаются, тоскуют, пока не найдут одна другую и не соединятся. Тогда начинается сплошное счастье торжествующей любви. Коньков вас нашел, и вы были бы счастливы...

— Да, это правда... Ах, Оскар Оттонович, ведь правда мне было хорошо с ним. Вы знаете, он не был особенно образован, но с ним так приятно было поговорить, он был такой умный, добрый, откровенный... Вы знаете, как он любил казаков, Платова! Для него самопожертвование было самое приятное, самое сладкое во всем мире.

— После вашей любви.

Ольга Федоровна вспыхнула.

— Зачем так говорить? Слушайте, Оскар Оттонович, садитесь сюда. Я вам буду рассказывать про него! — и, как девочка, ласкаясь к «большому», она уселась против него на диване и с разгоревшимся от воспоминаний лицом рассказывала ему про свою любовь. Она смотрела в внимательные, добрые глаза Оскара, на его спокойствие, на любовь, которую он выказывал и к ней, и к Конькову, и ей становилось спокойно и тепло на сердце.

Он протянул ей руку. Она подала свою. Он осторожно сжал и начал гладить ее нежную ручку своей большой рукой. Она не отдернула руку, даже не удивилась. Это так и надо было. Это тоже «папа» или даже «мама», — они утешают бедную «Олечку»; это все правильно и верно. Она говорила лихорадочно и быстро; огонек появился в ее глазах, руки похолодели, голова разгорелась...

Оскар внимательно смотрел на нее. Она долго не могла кончить. Солнце скрылось из гостинной, зимние сумерки окутали углы комнаты. Уголья в камине тихо тлели. В городе звонили колокола, завтра праздник, а у Ольги Федоровны было на душе спокойно и хорошо, первый раз после известия о смерти Конькова.

— Хорошо вам, Ольга Федоровна? — спросил Оскар Оттонович.

— Хорошо! — откровенно и быстро ответила Ольга Федоровна, и в глазах опять появился веселый огонек.

— Хотите, чтобы всегда было так же хорошо и уютно? Ольга Федоровна не поняла сначала.

— Да...

— Значит, вы можете теперь быть со мной всегда?

— Как же?

— Я опять и еще раз прошу вашей руки!

Она выдернула свою ручку из его, побледнела, огонек потух, и опять стала она грустная и задумчивая.

— Я буду верна его памяти! — тихо сказала Ольга Федоровна. — Простите меня, я не должна была так говорить.

— И из-за его памяти вы разобьете мое счастье! — с упреком в голосе сказал Оскар Оттонович.

Она молчала.

— Поверьте, мертвому Конькову вы не нужны... — горечь слышалась в его голосе, но он сейчас же справился с собою.

— Простите меня, Ольга Федоровна! Я увлекся.

— Я не сержусь на вас.

— Вы мне разрешите бывать у вас иногда, хотя не часто, и разрешите еще один, последний раз сказать, что я вас люблю!

— Я еще раз повторю, — я вас люблю и уважаю... Милый Оскар Оттонович, не сердитесь на меня... Я его память все еще люблю, и я не верю, чтобы он умер, чтобы наше счастье было совсем разбито... Когда я узнаю точно... Может быть, я стану спокойнее... Но верьте — я жду!

— Бог вам судья! — тихо сказал Рейхман и, поцеловав ей руку, вышел из комнаты.

Ольга Федоровна долго еще стояла задумчиво у окна и смотрела на потухавший зимний день. Потом она оделась и вышла на улицу. Она направилась в церковь. С некоторых пор она очень полюбила православное богослужение. И теперь, войдя в большую приходскую церковь, она стала сзади всех у колонны, в темном закоулке между стеной и большой иконой. Потемневший, грубо написанный лик Богородицы кротко смотрел на нее, слабо освещенный трепетной лампадой. И, странное дело, это коричневое лицо, эти простые формы старинной иконописи по уставу производили на нее большее впечатление, чем лучшие мадонны Эрмитажа. Она смотрела и молилась не прекрасно написанной картине, а действительно символу, за которым скрывается нечто святое, высокое и непостижимое. И Святая Дева должна была быть такой, а не иной — другая дала бы иные, земные мысли, эта уносила с земли ввысь. И хорошо было молиться этому безыскусственному лику, потому что оно не развлекало чистотою форм и мягкостью красок. И служба ей нравилась; с речитативами дьякона, звонким, певучим тенором молодого священника и хором певчих, где дисканты, словно серебряные колокольчики, звенели на фоне сердитых басов. «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых! Аллилуйя, Аллилуйя! Алилуйя!» — заливался торжественно хор, священник с кадилом и дьякон с большой свечой обходили церковь, и что-то торжественное подымалось в душе у Ольги Федоровны, и ей становилось хорошо и ясно. Она мало понимала русское богослужение, внимательно слушала и по своему все себе объясняла. Дьякон ревел на амвоне, молясь «о плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих,

пленных и о спасении их»... На «пленных» он делает ударение: войны недавно кончились. Старушонка в глубоком трауре валится рядом с нею на колени и, истово крестясь, шепчет: «Господи, вызволи от басурман Ваню моего, вызволи воина Твоего!»

Светлая мысль прорезывает мозги Ольги Федоровны, и она тоже падает на колени, широко раскрытыми глазами смотрит на образ, и молитва рвется к самому престолу Всевышнего.

«Но да будет сила и крепость Твоя во веки веков!» — слышится из алтаря нежный голос священника.

— Господи, Святая Дева — пусть будет Твоя воля над ним. Вызволи Ты мне его! — А с клироса раздается нежное, стройное пение: «Свете Тихий, Святыя Славы Отца Небеснаго, Святаго Блаженнаго Иисусе Христе!» — и кроткий, тихий свет озаряет ее — ей хорошо в ее закоулке, где пахнет ладаном, деревянным маслом, ей хорошо пред Святой Девой, и, успокоенная, она идет вечером домой. Мороз сковал всю землю. Снег хрустит под ногами, после ярко освещенного храма на улице темно. Санки несутся взад и вперед, промчится пара у дышла, раздастся грозный крик «пади!», и опять только шелест и говор расходящейся толпы... Она ложится спать, и крепок ее сон, и ясны мысли!

А завтра опять в церковь, опять к темному лику заступницы Богоматери, и опять жаркая молитва и успокоение. И старушка рядом с ней всегда, всегда ее коленопреклонение во время прошения о плененных, и всегда радостная надежда на спасение милого человека. Они уже знакомые незнакомки. Старушка оберегает ее место, Ольга Федоровна помогает одеться старушке.

Наконец, они заговорили.

— У вас близкий кто в плену?

— Ох, матушка, сын в плену. Офицером в Тобольском пехотном полку служил! Сама слыхала, чай, геройский полк, с песнями шли у Тарутина, да забрали молодца! Товарищи-то говорят — убили, да где убили! Я не верю; убили, тело было бы, в приказе пропечатали бы! Нет, видно, взяли его нехристи в плен, да теперь, поди-ка, глумятся да мучают его... Да я вымолю Заступницу... Убили! Вернется князь Барклай — самого допрошу, пусть точно докажет, что убили! А то на-кася — убили и не схоронили. А он мне сын, чай, аль нет?! Я и до государя

дойду! Потому он все-таки офицер, и храбрый офицер был, двух Егориев имел!

Задумалась девушка. Вера старушки матери в то, что сын ее не может быть убит, намерение дойти до высшего начальства и досконально допросить все о своем сыне, наконец, твердая вера, что Заступница так не оставит,— тронули ее... Рейхман заходил редко, он говорил о разных делах, рассказывал про свои путешествия, про свои мысли и планы новых исследований, о любви не говорил, но Ольга Федоровна отлично видела, что он ее страшно, безумно любит.

Весной по Петербургу свирепствовал тиф. Ольга Федоровна слегла в постель. Федор Карлович, особенно любивший и уважавший Оскара, предложил ему переехать к ним на время болезни дочери, и Оскар заменил Ольге Федоровне сиделку. И что это за прекрасная сиделка была! Пока Ольга Федоровна была в бреду, в полусознании, она не понимала, кто за нею ходит, кто подает ей лекарство, кладет на голову компрессы — она привыкла только всегда чувствовать на себе добрый и умный взгляд — и она привязалась к нему. В апреле ей стало лучше, и к Пасхе она оправилась. Она горячо, крепко любила теперь Оскара, любила не так нежно, поэтично и порывисто, как Конькова, но любила твердо и разумно... Она не связала бы и не подарила бы ему шарфа, она не плакала бы на его груди слезами счастья, не смотрела бы на него страстными глазами и не прижималась бы к нему так крепко — но она смело оперлась бы на его руку и прошла бы с ним весь жизненный путь. И Оскар понял это.

В первый день Пасхи 1815 г. он, скромный и тихий, пришел к ней и, застав ее одну, уже решительно спросил:

— Теперь — вы будете моей женой?

Она задумалась. Темный образ, святая вера старушки соседки мелькнули в голове ее, и ей вдруг жалко стало своей тихой грусти и немного молитвенного отчаяния. Она посмотрела в доброе, любящее лицо Рейхмана, в его честные глаза, и не было духу отказать.

— Еще одно испытание, — тихо сказала она. — Атаман Платов здесь. Я пойду к нему, и если он скажет, что ординарец его убит, — я ваша.

Рейхман тихо встал и поцеловал ее в лоб, потом в губы — но не жгли, а успокаивали его поцелуи.

...Друзья! кипящий кубок сей
 Вождям, сраженным в бое.
 Уже не придут в сонм друзей,
 Не станут в ратном строе;
 Уж для врага их грозный лик
 Не будет вестник мщенья,
 И не помчит их мощный клик
 Дружину в пыл сраженья.
 Их празднен меч, безмолвен щит,
 Их ратники унылы;
 И сир могучих конь стоит
 Близ тихой их могилы...

В. Жуковский

Войсковой атаман войска Донского, генерал от кавалерии, граф Матвей Иванович Платов, был в Петербурге только проездом. Управление войском, после тяжелых походов, требовало личного его присутствия. Но как тоже было не заехать и в Петербург, не повидать своих боевых товарищей, не справиться о Казанском соборе и об иконостасе из серебра, пожертвованного «усердным приношением войска Донского», не заявиться ко двору. И Платов прямо из-за границы промчался в Петербург и остановился на старой своей квартире в Морской улице.

Опять ординарец и дежурный адъютант скучали в передней ясеневое дерево, но только задумчивого Конькова сменил бойкий и нахальный Аркашарин, и в атаманской приемной появились карты и слышен стал временами запах водки.

Атаман у себя никого не принимал. Для просителей была на Дону канцелярия, а в Петербург он приезжал на отдых и просил щадить его старые кости и не беспокоить его просьбами. Поэтому в приемной было пусто, когда туда прошла Ольга Федоровна Клингель, и дремавший сотник Аркашарин изумленно взглянул на нее. Атаманская форма живо напомнила Ольге Федоровне Конькова, и болью и тревогой наполнилось ее сердце.

— Атаман дома? — спросила она.

— Дома, но никого не принимают, — сухо отвечал Аркашарин. Выслужившись из простых казаков, он твердо держался того правила, что казаку негоже говорить с бабой.

— Но мне нужно по совершенно особенному делу, — умоляюще протянула девушка.

«А она прехорошенькая», — невольно подумал Аркашарин и задумался: где он ее видал?

«Верно, из атаманских любовниц, — подумал он, — пришла с жалобой, а может, и на нашего брата казака. А хороша!»

— Атаман вообще в Петербурге приема не имеют. А для просителей есть канцелярия.

Ольга Федоровна вспыхнула.

— Я не просительница. Дайте мне карандаш и бумаги, я напишу слова два, и я думаю, что атаман меня примет.

— Извольте.

Ольга Федоровна по-французски написала: «Ольга Клингель, невеста вашего ординарца, сотника Конькова, спросить о нем...»

Ординарец взял бумагу и пошел в кабинет. Он ушел и не возвращался. Время тянулось томительно долго. Можно было подумать, что атаман жил в другом конце света.

Записка Ольги Федоровны застала Платова в постели. Прочтя ее, он поспешно стал одеваться.

Наконец, дверь открылась, и Аркашарин, смягчившийся немного, сказал:

— Атаман вас просит.

— Ольга Федоровна прошла за дверь.

Платов в мундире при орденах шел ей навстречу. Он постарел и осунулся. Он сознавал, что ему предстоит тяжелое дело передать прекрасной девушке роковое известие, но у него не было от этого «вертеша» в голове, а все было ясно.

Он любезно поцеловал руку у Ольги Федоровны и попросил ее садиться.

Ольга Федоровна села и с немой тоской глядела на все еще зоркие, острые глаза атамана. В ней уже не было надежды, она поняла по приему, что все кончено, но ей нужно было утешение — и, странное дело, этот старик, всю жизнь проведенный в боях и сражениях, сумел утешить ее, как никто.

— Хорошего известия я не имею, а поговорить по душе про покойника — это, я вам скажу, я сделаю с истинным наслаждением. Вы любили его сильно, я вам скажу, как женщина, я любил его, как отец. И я вам скажу, нет теперь и не будет больше таких казаков, как Пидра Микулич. А «Пидрой Микуlichem» — его казаки прозвали.

Ольга Федоровна молча кивнула головой, показывая тем атаману, что она знает это прозвище своего жениха.

Платов помолчал немного.

— Это был казак из казаков еще старого закала. С казакон был прост, с иногородними вежлив. Он был умен, я вам скажу, любил свой Тихий Дон и понимал его хорошо. Он умел вовремя сказать казаку два, три слова «приклятых», а уж, я вам скажу, казак и понял и уже охотнее идет за ним потому, что чувствует в нем своего. И пером он зря не баловался. Ведь есть такие разумники, что читают газету от строки до строки, а книгу от крышки до крышки, да и думают, что уж и такие-то они разумники! Дай, думают, подслужусь-ка я к регулярным да напишу что-нибудь! Возьмут и забудут про казака, а казака грех забыть. Я вам скажу, что таких много, что в регулярстве полагают свое счастье, а регулярные их и знать не хотят. А Пидра Микулич, мой лихой ординарец, я вам скажу, был не такого закала человек. Он все отдаст казаку, любит лошадь без ума и любил вас, до поразительного любил вас. Я вам скажу, больше любить даже и невозможно. А наездник какой он был, я вам скажу, просто роскошь! Как влитый сидел в седле. Ну, да, видно, судил его Бог наградить иначе, чем мы решили. Высок он был для земного счастья и слишком честен. Тоже таким-то на земле ужиться не легко! Бог, я вам скажу, и отозвал его на небо!

Ольга Федоровна плакала. Платов подошел к ней и погладил ее нежно по голове.

— Отчаиваться и горевать, я вам скажу, не достойно умного и хорошего человека. Зачем плакать? Давайте, Ольга Николаевна, Ольга Федоровна, — поправился Платов, — поедемте молиться Богу и отслужим по нему панихиду. Я вам скажу, это будет угодное Богу дело и его оно порадует там, на том свете.

Ольга Федоровна молча кивнула головой. Эта панихида была как бы подписанием ею приговора, которым подтверждался факт смерти жениха. Они вышли вдвоем из комнаты; Платов, как придворный, галантный кавалер, пропускал ее всюду вперед, ординарцы поспешно вытягивались, казаки кинулись отворять двери. Клингель, бледная, задумчивая, шла впереди, атаман, тоже взгрустнувший, немного сзади.

— Тройки мне не подали, на гитаре нам вдвоем, я вам скажу, ехать неловко, пойдем пешком, — и Платов предложил ей руку.

По поводу этой прогулки среди петербургских сплетников разговору было много. Старик атаман в мундире (он собирался во дворец), в кивере, с жалованным бриллиантовым пером, с светло-синим шлыком, шел под руку с хорошенькой девушкой. Но Ольга Федоровна, поглощенная думами, не замечала, как вытягивались, делая фронт, встречные солдаты, как почтительно козыряли офицеры, как оглядывалась и переговаривалась вольная публика.

День был ясный, торжественный, майский; на Морской и на набережной народу было много, и все обращали внимание на мирно идущих: донского атамана и хорошенькую барышню. А у них были свои мысли, свои воспоминания, свои грустные соображения.

Нева в гранитном уборе горела, млея на солнце и отражая снопы лучей. Ялики сновали по всем направлениям. Изредка показывался ботик с любителями, с чуть надутым парусом, плавно скользивший по воде. Крепость отражалась в воде серыми стенами и зелеными воротами. Шпиль Петропавловского собора горел на солнце, и звучно играли куранты. Мгновеньем прогремит карета, запряженная четверкой цугом с лакеями в ливреях, высунется в окно старенькое лицо, посмотрит на Платова, и опять окружает их только шелест ног да шорох праздничного города.

Атаман взял ялик, и, переплыв через Неву, они прошли в собор. Гулко отдавались их шаги в громадном соборе. Торжественно смотрели на них серые запыленные знамена.

Платов кивнул на них и сказал:

— Есть тут и мои, я вам скажу.

Ольга Федоровна молча взглянула, и странная мысль мелькнула у ней в голове: «И стоило ради этих доспехов, которые можно еще лучше и дешевле сделать у себя, разбивать счастье людей. Зачем война?» Но высказать свои мысли она не рискнула.

Сторож привел священника, хромой дьячок вошел на клирос.

— Убиенного Петра? — спросил священник Платова, подавая тоненькие свечи атаману и барышне.

— Да! — коротко ответил Платов.

Дребезжащий голос священника раздался в алтаре.

— А-минь, — нараспев ответил дьячок, и служба началась.

Когда дошли до слов «со святыми упокой», Ольга Федоровна опустилась на колени. Ей хотелось плакать.

Полутемный собор был тих и мрачен, дьячок тихо пел: «Со святыми упоко-ой, Христе!..» — «Душу раба твоего», — подтянул из алтаря нежным тенором священник. «Идеже несть болезни, печали, ни воздыхания», — пел рядом с нею Платов, и не выдержала Ольга Федоровна и залилась слезами.

Душа Ольги Федоровны размягчилась: ей казалось, что на ее раны налили что-то такое мягкое, нежное, отчего они залечились. От любви к Конькову осталась только тихая грусть и сладкое воспоминание о невозвратно потерянном.

«Вечную память» пропели уже все вместе. Платов заплатил священнику и вышел из собора. Их ожидала коляска, запряженная тройкой. «Свистовые» казаки распорядились. Аркашарин был не менее расторопен, чем Коньков. Лихие кучера живо заложили и вывели атамана.

Платов помог сесть Ольге Федоровне и приказал ехать в Шестилавочную. Всю дорогу они молчали. Платов, приехав, помог вылезть из коляски Ольге Федоровне, поцеловал ее на улице в лоб и умчался во дворец.

Умиленная, растроганная, но спокойная вернулась Ольга Федоровна от атамана.

Свадьба ее была назначена на июнь...

XXXII

...Густая крапива
Шумит под окном,
Зеленая ива
Повисла шатром,
Веселые лодки
В дали голубой;
Желazo решетки
Визжит под пилой...

А. Фет

— Ты все грустишь, мой красавец, ты все не можешь забыть свою невесту, свою родину? — нежно и мягко сказала Люси, проводя рукой по волосам Конькова.

Коньков сидел на восточной окраине парка, на земляном валике, у рва, и задумчиво смотрел на далекий чуждый горизонт. Был мягкий, теплый вечер: краски голубого неба

были нежны, и словно перламутром подернулся горизонт; облака были серые, прозрачные, а сзади горел пурпуром закат и освещал стволы деревьев и просветы аллей.

Коньков поднял голову и оглянул стройную фигурку Люси. За два года своего плена он не мог не полюбить ее, за ее любовь к нему. Иногда он чувствовал к ней большую нежность, ему хотелось приласкаться, но вспоминались другие ласки, и он уходил петь свои песни, вспоминать сраженья, вспоминать прежнюю родную любовь. И всё возмущалось тогда в нем, и презирал он в те минуты себя, решался бежать, но не хватало духу покинуть любящую женщину, все повергшую к ногам его. Он упрекал себя в малодушии. Он собирался уходить, укладывал вещи, шел проститься, но она упрашивала его остаться одну неделю, один день, покрывала его самыми знойными поцелуями, и он оставался. «Где мой характер?! Где моя сила воли?! — спрашивал он себя и не находил ответа. — Что с Ольгой, жива ли, здорова ли? Любит ли?» — «Конечно, любит», — говорило сердце. «Еще один месяц», — думал он и оставался больше...

А когда наступила эта дивная вторая весна, весна, в которую он уже был совершенно здоров, сильнее защемило сердце и больше затосковал он по родине.

О, как бы дорого он дал, чтобы снова служить в полку, увидеть Платова, ходить в Новочеркасский сад и слушать удалые напевы полковых песенников. Что-то поделывает Зазерсков, Маруся, вышла ли она опять замуж или вдовой коротает свой век? А аромат степи, запах сена, маштачки, нагруженные вьюком, и казаки, нагнувшиеся к луке, мазанки, — милые родные картинки далекой бедной родины, как жаждал он видеть их вновь!

Как хотелось ему порою съесть кусок черного хлеба, уху из гекомасов*, запить нордеком... Чего бы он не дал за стакан цимлянского, за беседу с казаком, за объятия Ольги!

Но приходила Люси, изящная, страстная, всегда одетая со вкусом, роскошная и нарядами и красотой, и бледнел Коньков и подчинялся ей, как подчинялся Платову, Милорадовичу, словно он был в командировке. Он ездил с нею верхом, легко сажал ее в седло, пел ей свои песни, но

* Г е к о м а с — окунь; н о р д е к — напиток из арбузного сока.
(Авт.)

тосковал и худел с каждым днем более и более. Наконец Люси это заметила.

— Слушай, голубчик, хочешь, поезжай завтра к своим на родину. Повидай невесту, если она свободна, останься у ней. А если она не дождалась тебя, если она обманула, — если не достойна твоей любви, ты вернешься ко мне; хорошо, мой друг?

— А ты-то как же?

— Я ничего, — а сама плакала, и слезы текли по ее лицу, падали на подбородок. Он взял ее за голову, наклонил к себе и поцелуями осушал ее глаза.

— Я сама виновата, что полюбила тебя. Мне казалось, что Провидение послало тебя ко мне на Занетто, чтобы утешить в потере моего мужа, и я увлеклась. Мне следовало быть умнее, я должна была понимать, что родины твоей мне не заменить. А я все надеялась, что мои ласки, моя любовь тебя очаруют. Теперь вижу, — я ошиблась. Видно, у вас в самом деле иначе любят родную землю, и не мне соперничать с твоим Доном. Потом, если твоя Ольга такая чистая, как ты говоришь, если правда, что она ожидает тебя, — она достойна твоего возвращения. Уезжай, мой дорогой, и только помни обо мне.

— Люси, мне жаль тебя! — сказал казак.

— Спасибо, голубчик. Что же делать? Вон какой ты худой стал, заморенный. Еще умрешь с тоски.

— А ты что же?

— Я... У меня потекут мои долгие дни в этом замке, дни скучные, одинокие; я буду сидеть, гулять, ездить, буду тебя вспоминать, буду думать, что тебе хорошо.

До слез жаль было Конькову Люси. Он уже хотел было сказать, что ничего ему не надо, что он за такую любовь заплатит вечной любовью и не уедет, да вспомнилась ему Ольга: подумал он, что и она, быть может, плачет теперь и ночей не спит от горя, вспомнился ему дорогой полк, атаман Платов, и не выдержал Коньков... Он не сказал ни слова, только глаза да румянец, покрывший лицо, говорили сильнее слов.

— Пойдем, мой голубчик. Сыро становится, еще не простудился бы ты.

Они проходили медленно по парку. Воспоминания двух лет, проведенных здесь, подавляли их.

— Помнишь, — сказала Люси, — какой ты был дикий после болезни. И не люблю-то я, и любить-то не смею...

Разве можно давать уроки?.. Желание женщины — воля Бога; заставить полюбить женщину трудно, а женщина всегда сумеет к себе привязать... Вы ведь все, — смеясь сказала она, — господами хотите быть; притворись на один день рабою, — и на другой уже станешь госпожою. Правда, мой милый?

Коньков молчал. Противоположные чувства боролись в нем. Ему жаль было парка, жаль Люси, жаль этой богатой, прекрасной природы. Ему хотелось даже сказать Люси, что пусть все пойдет по-старому, что он забыл Ольгу и не надо домой, но потом опять вспоминался Тихий Дон и все, к чему привык с детства, и хотелось уехать домой к Ольге, к полку.

Люси усугубила свое внимание к Конькову. Они так нежно вдвоем поужинали и долго сидели потом, молча глядя друг на друга. Коньков обнял ее, она осторожно освободилась.

— Нет, мой милый, не надо поцелуев. Мне так легче расстаться будет.

Коньков не возобновлял попыток. Они говорили про Ольгу, про родину, про Платова.

— Он хороший, ваш атаман, хотя и много загубил французов...

Коньков промолчал. Грустная Люси была особенно хороша. Скромный, изящный костюм к ней очень шел. Глаза Конькова загорелись, легкий румянец покрыл его щеки. Люси внимательно посмотрела на него.

— Ну, покойной ночи, — сказала она.

Она поцеловала ему голову, руку, потом опять голову, припала к нему на грудь и покрыла нежными поцелуями его щеки и шею. Потом быстро вскочила и выбежала из комнаты...

Коньков пошел было за ней, но она заперлась у себя.

Конькову не спалось. Он не верил, что завтра будет свободен. Ведь этих «завтра» было так много за эти два года! Встал он очень рано и сейчас же вышел на балкон. Габриэль, горничная Люси, подметала там пыль.

— Добрый день, monsieur, — поклонилась она ему.

— Добрый день, Габриэль. Барыня почивает?

— Нет, встали уже. Давно поднялись.

— А где она?

— В голубой комнате.

Коньков прошел в голубую комнату. Люси сидела на полу перед раскрытым саквояжем и укладывала туда белье и разные дорожные вещи.

— Здравствуй, голубчик!

— Отчего ты так рано поднялась?

— Мне не спалось, мой милый. Хотелось уложить все как следует. Ведь ты сегодня едешь.

— Завтра, — тихо сказал он.

Обыкновенно она сама делала отсрочку отъезда, и он протестовал, — это было первый раз, что отсрочил он. Она была тронута.

— Спасибо, мой друг! — и, положив ему на плечи руки, она поцеловала его.

— Слушай, Люси! Мы днем объедем все окрестности и простимся, вечером просидим вместе и потом расстанемся, хорошо?

— Да, мой милый. А утром Антуан в кабриолете отвезет тебя на станцию, и ты поедешь к своим.

Он молча сел у ее ног. Она считала белье.

— Тебе шесть рубашек хватит?

Его кольнул этот вопрос.

— Зачем это, Люси? Мне ничего не надо.

— Хватит, я спрашиваю?

— Ничего мне не надо, Люси.

— Ну, положу восемь... Послушай, мой голубчик... Только ты не сердись. Я тебе не говорила. Когда ты приехал ко мне, у тебя было всего несколько талеров в кармане. Вот здесь, в сумочке, я тебе положу на дорогу тысячу франков — этого хватит.

Коньков нахмурился.

— Фу, какой ты глупенький... Ведь нельзя же без денег ехать так далеко.

— Мне тяжело, Люси, принимать от вас деньги.

— Что делать, голубчик. Я знаю, что это неприятно. Оттого-то я и даю только необходимое, чтобы доехать.

— Люси, лучше не надо ничего. Я срежу палку в твоём лесу и пешком, Христовым именем, добреду до дома.

— Какой ты фантазер! Ты думаешь, мне легко будет думать, как-то ты пешком идешь через горы и леса, и мочат тебя дожди, и ночуешь ты, как попало. И так-то душа по тебе вся изныла.

— Люси, правда это нехорошо.

Она зажала ему рот рукой.

— Фу-у, как нехорошо! Разве можно так?!

Он задумался.

— Слушай, Люси я нищим приехал к тебе, мне нечего подарить тебе на память. Есть у меня одна драгоценность — моя сабля. Мы, казаки, ценим оружие да коня выше всего. Мой клинок мне по многим причинам дорог... Возьми, моя милая, мою саблю, повесь где-нибудь у себя. Все вспомнишь лишний раз своего казака и подумаешь, что я и не хотел тебя любить, а полюбил.

— Спасибо, мой милый. Ты меня так тронул этим... Сознайся, голубчик, ты ее любишь сильнее?

— Да...

— Ну, хорошо.

И она наклонилась к чемодану, и укладывала туда: и новенький мундирчик, французским портным сшитый по образцу старого, и чакчиры, и кивер с голубым верхом.

Коньков смотрел на эту укладку и до слез был умилен заботливостью и вниманием француженки.

Днем они ездили далеко, далеко, до самой часовни.

— Как слезем здесь, я тебе покажу одно место, — сказала она ему.

Они слезли и прошли в густой кустарник.

— Смотри, как здесь хорошо! Как поют птицы! Я люблю это место. Здесь мне признался в любви мой муж... Это было наше любимое местечко.

Больно отозвались эти слова в сердце Конькова.

После обеда они гуляли пешком по парку, потом она пела ему его любимые романсы, он слушал, развалясь на кушетке, и чуждый мир открывался ему. Клавесин чуть звучал, свечи нагорели, в гостиной было полутемно. Словно во сне слышались эти звуки любви и счастья...

На половине одного из романсов она замолчала и, повернувшись к нему, сказала:

— Спой, мой милый, свою песню, спой так, чтобы за душухватило, спой, чтобы век я ее помнила.

— Хорошо, моя радость.

Встал Коньков, подбоченился правой рукой, как бы обрисовывая свой стройный стан, и завел одностонную грустную казацкую песню, и выливалась в этой песне тоска по родине:

Заря ты моя, заря красная!

Зачем ты, заря, рано занималась?

Не дала ты, заря, молодцу приуправиться,
Приуправиться, из полона бежать!
Как и за речкою стоял садик зелененький,
Как и в том садике стоял высокий теремок,
Да во том теремку столик дубовенький,
За тем столиком сидит невольничек молодой,
Перед ним стоит молодая француженка,
Во руках-то держит поднос серебряный,
На подносе стоят чары позолоченные;
Наливала она зéлена вина,
Подносила она молодому невольничку:
« Выпей, выкушай, молодой невольничек!
Забывай ты про свою сторонущу,
Про своего отца, про матерю,
Про молодую жену и малых деточек ».

— Хорошо! — сказала Люси. — В ней, правда, нет музыкальности, но она достигает своей цели, она хватается за душу. Наши песни, они дают целые картины, но в них нет той способности вызвать известное настроение, как в ваших. Спасибо, мой милый.

Они не расставались до утра.

Утром седой Антуан долго удерживал рвущуюся вперед гнедую кобылу и уговаривал ее постоять, а Коньков все не выходил. Наконец, он вышел в стареньком походном плаще. Генрих поставил чемодан в ноги, Люси кинулась на шею.

— Прощай, пиши! Если что — вернись!

Коньков был мрачен...

Ему не хотелось уезжать.

— Прощай, мой милый! Два года буду ждать, а там в монастырь!..

— Не надо так, дорогая.

— Антуан, трогай!

— Постой! Я тебя по-нашему перекрещу. Ну, живи, счастливо, моя хорошая, добрая... Прощай.

— Прощай, мой милый.

— Ну, вперед...

Гнедая кобыла тронула, кабриолет загремел по каменному двору, завернул на дорогу к лесу и покатился.

Коньков обернулся. Габриэль и Мария поддерживали бившуюся в истерике Люси. Одну секунду ему хотелось вернуться... Он поборол себя, нахмурился и углубился в думы.

Первые три перегона он всецело отдавался воспоминаниям пережитого. Грусть по покинутой любящей Люси, по

жизни в замке одолевала его, но потом дорога рассеяла его; он стал думать о будущем: мелькнул светлый образ Ольги, забилося сильнее сердце, и скорее хотелось ехать, и щедрее давал на водку русский офицер, несясь к границе.

XXXIII

... А между тем, не вспомнясь, без души,
Я сорок пять часов, глаз мигом не прищуря,
Верст больше семисот пронесся... ветер, буря...
И растерялся весь, и падал сколько раз —
И вот за подвиги награда.

Грибоедов. Горе от ума

— С войны, что ль? — обернувшись на облучке, спросил ямщик.

— С войны.

— То-то, и погляжу я, что худой да заморенный.

— В плену был.

— Так-то... Поди, раненый?

— Больной.

— Много народу перепортили — страсть!.. Но, но, миленькая!

— Нового что говорят в народе?

— Нового? Шаше сделали на Гатчино и к Красному. В полках изменение формы вышло. Трахта порядочная будет. А потом замирение и отдых. Притомились, значит. И до сих пор костяки под Москвой да по Смоленскому тракту находят.

— Так.

Мчится кибитка и стучит по пыльному шоссе; звоном заливаются колокольчики.

— Слушай, ямщик!

— Ась?

— Гони скорее, еще рубль дам на водку.

— И рубля не надо. Так постараюсь. Тоже служили. Войну понимаем.

— Где же был?

— В тверском ополчении. Ну, други сердечные, выручай!

— К закату поспеем?

— Где — раньше будем. Часов семь аль восемь будет, как к Трухмальным подъедем. Мы по Московскому тракту скорей добежим.

— Ну, хорошо. Только бы поскорее.

Люси, замок де-Шамбрэ, Франция, поцелуи, парк, даже Тарутино, поиск с Кудашевым, стоянка в Матзвице — все это сон, длинный, тяжелый, полный различных видений сон. А вот сейчас и пробуждение. И странно, месяцы, годы мог он ждать и терпеть, а теперь несколько часов, а с сердцем не может справиться. Трясет кибитку, колеса урчат по камням, и кажется, будто выстукивают они. *Klingen, Klang, geklungen*, Ольга Клингель, Петр Клингель, Ольга Конькова, Петр Коньков — есаул, Петр Клингель, Клингель, Клингель, и опять *Klingen, Klang, geklungen* — и все так же сначала.

— Вот она: Пудкова, — сказал ямщик, указывая на показавшуюся влево гору, поросшую лесом, — тут вот и шоссею новую прокладывают. А вот и Рогатская станция. Здесь обожди маленько, распишись, а я лошадей перепрягу.

Коньков вошел на станцию. Смотритель, старый и седой, бросил трубочку и подал книгу.

— Из армии?

— Из армии, дедушка, — сказал Коньков, а сам все думал — *Klingen*, Петр Клингель, думал и написал: Петр Клингель.

— Клингель, — прочел смотритель, — знакомая фамилия.

— Коньков, — поправился сотник, — я думал об них, вот и написал.

— Вы знавали их? Старик, дочь хорошенькая такая, еще нынешней весной...

— Еще бы не знать! — живо перебил Коньков. — Я к ним и еду. В Шестилавочной живут, в собственном доме.

— Про то я не знаю. А теперь вот дачу сьмают, здесь, на Московском шоссе. Так все лето ездили в город. Особенно старик.

— Где же дача?

— Да туто. Версты две альбо две с половиной. И сад хороший.

— Так я к ним. Я и ночевать останусь, мне и в город не надо!

— Сродственник, что ль?

— Да, да, сродственник.

— Ему аль ей?

— Да обоим, обоим. Слушай, дедушка, нельзя ли меня поскорее туда доставить, да ямщика дай, чтобы знал дачу, чтобы мог мне указать.

— Так и перекладать тогда не надо! Туда и эти дотянут. Ванька, а Ванька, — крикнул смотритель в окно, — ты не перекладай, потому барин только до Клингеля дачи едут.

— Да я зараз кончу.

— Ну, ладно.

Коньков, уже в плаще и кивере, выходил на крыльцо. Сердце билось и стучало, как никогда. Скорее и скорее! Лошади, как назло, так тихо бегут, телега не катится, ямщик что-то ленится. И чего баба стоит? Гуси идут, пить, верно... Два года... Да, два... Больше даже, тогда к Роту пошли, восьмое августа было, а теперь пятнадцатое. Два года и семь дней. Боже мой! Вот она война-то что значит. Тяжело! Думать по-русски забыл! Ну, да теперь конец! Теперь скоро. Атамана повидаяю. В Вильне, казаки сказывали, на Дону он. Ну, поженюсь, и на Дон...

— Приехали.

— Где?

— Вот домик. Вы в калитку пройдете...

— На тебе.

— Покорно благодарим, барин хороший.

Солнце садилось. Осенний вечер наступал, и золотились закатом стволы берез, лип и дубов. На клумбах крассвались георгины, астры, нежно распустясь, пестрели левксей и лупинусы, ароматная резеда теснилась кругом. И невелик был сад, да полон красоты, той красоты, что ей была свойственна, только ей. Маленький домик весь кругом оброс сиренью, уже отцветшей. Трава была аккуратно подстрижена, в саду было чисто и весело. Из растворенного окна неслись звуки клавикордов и ее нежный голос.

Коньков не вошел. Он остановился у окна и смотрел и слушал. Она сидела спиной к нему в обычном темном платье. И прическа та же, и талия такая же стройная... Нет, полнее как будто... Нет, такая же...

Ах ты, ночь ли, ноче-енька,
Ночка темная, ночь осе-енняя...
Ни одной нету в поле звездо-очки,
С кем бы ночку скоро-отать!..

И песня его любимая. Поет и обо мне, верно, думает. Какая она славная, чистая! Верная... А я-то изменял. Я ей все расскажу — она мне простит.

Он поднялся на крыльцо. Пение и игра прекратились.

Он открыл дверь.

— Петр... Петрусь... Ты?

— Я, дорогая.

Он обнял ее и поцеловал.

— Сядем... у меня ноги дрожат. Я не могу говорить так.

— Как ты похудел!

— Еще бы... Я все, все о тебе думал. Только я подлец... Да... Я был в плену. У жены того лейтенанта, которого, помнишь, я убил? Она в меня влюбилась... Только я все думал о тебе. Она меня не пускала, ласкала, хотела уничтожить мою любовь, а я все думал об моей Олечке, я не изменил ей. Я думал: ждет моя Оля меня теперь не дождетс-ся. Что-то она думает, что запропал ее голубок. Два письма послал к тебе, только вряд ли дошли — люди-то, сама знаешь, до чужих дел не аккуратны. Ну, да я думаю, Оля и без писем мне не изменит, не разлюбит меня... Она чувствует, как об ней молится ее Петрусь. Веришь, спать ложусь — о тебе думаю, встаю — за тебя моя молитва. О Доне о родине, так не думал, как о тебе. Болен был, страдал, и сам все думаю: выздоровлю, приеду к Оле... Вот и приехал к Оле. Что же не радостна, моя голубка, что призадумалась?

— Боже! Боже! — вырвалось у Ольги Федоровны, и она, рыдая, упала к нему на грудь...

— Тебя не радует мой приезд, Оля?

— Ах, голубчик мой, я так рада... я так несчастна!

— Почему же, милая? Зачем быть несчастливой, кто может, кто смеет теперь помешать нашему счастью? Войны кончились, Наполеона, слышать, сослали на безлюдный остров. Кто нам помешает зажить вместе своим домком? Ну кто, моя дорогая?

— Муж!..

— Муж?.. — слегка отстраняя ее и не веря своим ушам, переспросил Коньков. — Чей муж?

— Мой муж.

— Ты замужем? Ты не дождалась меня?

— Ах, голубчик мой! Не упрекай меня, я так несчастлива! Война кончилась, все вернулись, тебя одного нет.

Я долго ждала, меня убеждали, что ты убит, но я не верила. Наконец, Платов сказал, и мы... мы по тебе панихиду служили. Тут Рейхман...

— Сердитый, хмурый, с бородой лопатой, старый. Оскаром зовут?!

— Он самый.

— И ты вышла за него замуж?

— Что делать, голубчик, он хороший.

— И ты забыла!.. Помнишь, в театре ты смотрела на меня своими синими глазками, когда я не любил еще тебя, помнишь, за визитом — мы все говорили и кончить не могли, тогда твой папа пришел... А в Матюрове перед Тарутином, в парке — дорога лесом, и ты вся в лунном свете, и мы целовались... Я думал, те поцелуи навек, их никогда не забудешь!.. Разве ты их позабыла!.. А как мы гуляли в Саксонских горах! Жмури́н цветы приносил. Помнишь, развалины в лесу, башня, не сегодня завтра упадет, духи там жили, никто не ходил, а мы с тобой бродили и смеялись и целовались под чужим синим небом. Разве и это забылось? Ольга, а помнишь, прощались, ты мне руки целовала. Все забылось, да?

— Не мучь меня, мой милый. Я все помню. И нет мне оттого счастья здесь, все об тебе думаю... Не брани меня, не упрекай. Я не думала, что ты жив. Я полюбила его не так, как тебя, но... я ему буду верна...

— Но я жив, Ольга. За что ты меня убить хочешь?! Ведь без тебя какое мне житье?

— А что будет с ним? Он меня так любит!

— Он любит тебя, давно ли? А я — вот уже шестой год, как только о тебе и думаю.

— Ты не прав, мой милый, он меня тоже давно любит: еще я с тобой не была знакома, как он мне делал предложение. Тогда я просила подождать, а потом с тобой познакомилась, полюбила тебя сильно и — отказала ему. Четыре года он ожидал меня, и вот когда думали, что ты убит, он снова сделал мне предложение, и я сдалась на его просьбы. Он меня страшно любит и балует.

— А я тебя не люблю точно? Мне не житье было во Франции, я ненавидел тот рай, который окружал нас, я об одном думал — бежать, чтобы опять видеть тебя, обнимать, целовать. Я думал, ты меня любишь по-прежнему.

— Я тебя люблю, мой дорогой. Я тебя очень люблю!

— Меньше, чем прежде?

— Больше. Я и теперь думала о тебе и теперь молила Бога, чтобы тебе было хорошо.

— Мне хорошо только с тобою.

— Но пойми — я чужая.

— Ты — моя. Ты не имела права выйти за другого. Зачем ты это сделала?

— Мы думали...

— Думали, что я умер, а я жив. Значит, ты моя. Это так просто!

— Но ведь я была его женою.

— А теперь будешь моею.

— Этого нельзя.

— Почему?

Она посмотрела на него. Прежний Коньков, тот самый, что лежал в Матзвице, что целовал ее в Шестилавочной, что смущенно смотрел в балете на сцену, стоял перед нею. И чекмень темно-синий, пропитанный милым, родным запахом, и шпоры, и сабля, и шарф, и эполеты — все тоже дорогое и милое ее сердцу. И усы так же щекочут щеку, и руки такие же сильные, смелые, только взгляд грустный, тоскливый, и упрек выражают глаза. Бедный, бедный! Сколько перестрадал он за это время, ожидая, мечтая о ней, — а она чужая. Но почему чужая? Кто смеет про нее, про человека, про женщину сказать: «Моя», кто смеет запретить любить одного и приказывать любить другого. Она впервые полюбила Конькова, и два года разлуки не убили этой любви! Отчего же теперь, когда сердце ее снова рвется к нему, она должна поставить преграду? Если бы она страдала одна, но ведь и он, этот дорогой ей человек, тоже будет страдать! За что? Какое право она имеет разбивать его жизнь? Ради счастья своего мужа. Но имеет ли Оскар на нее такие же права, как Коньков? Оскара с ней связал только обряд, а с Коньковым она связана целой цепью свиданий, встреч, рукопожатий и поцелуев. С Оскаром их благословил пастор, такой же человек, как и они, а с Коньковым их благословляла природа, темный Лешуховский лес и Саксонские горы, тяжелая, полная ужасов война. Ничто и никто, — никто не смеет ей запретить любить того, кого она всегда любила и не переставала любить.

И крепко, страстно охватила она его руками и прижалась к нему с новой силой беспредельной любви. Всё

исчезло: муж, годы страданий, страх перед общественным мнением, закон, всё. Да и что могло устоять перед этой мощной, сильной любовью?!

— Я твоя, я буду твоей! — прошептала она и в забытьи прижалась к его груди, но вдруг встала, выпрямилась и испуганно взглянула вдаль. Страсть сразу исчезла. Там, глубоко, внутри ее самой, заговорило то, что могло и должно было заявить протест против притязаний Конькова. Там шевельнулась слабая, новая, зарождающаяся жизнь и напомнила о тех узах, которые нельзя было разорвать. Самозабвение исчезло; холодно взглянула она на распаленного Конькова и тихо сказала:

— Нет, нет!! Никогда!..

Он хотел обнять ее, но она отстранила его.

— Оставьте меня, уйдите скорее... Этого нельзя... Этого никогда не будет!

— Куда я уйду? — тихо прошептал Коньков, не понимая, что с нею сделалось и почему произошла такая перемена.

— Я всю жизнь стремился к вам. Судьба мне ставила препятствия. Я боролся, я преодолевал их, и вот теперь, когда я достиг победы, вы меня гоните.

— Судьба поставила нам непреодолимое препятствие. Уйдите, я вас прошу, уйдите от меня. Если вы меня любите так, как вы говорите, вы оставите меня, вы не будете меня больше мучить.

— Ольга, что с тобою? Что нашла ты во мне, что наговорили тебе про меня?

— Ничего я не нашла в тебе, ничего мне не говорили. Дорогой мой, оставь меня. Забудь.

— Я не могу забыть тебя! Да что с тобою? Отчего ты стала так холодна?

— Поймите, голубчик мой, что я... Я буду скоро матерью. Я не могу, я не имею права оставить ребенка без отца!

— Я заменю ему отца, — грустно сказал Коньков, чувствуя, что последняя надежда его пропадает.

— Отцом может быть только он, мой муж! Я вас прошу об одном: уйдите, забудьте меня, женитесь, дай вам Бог счастья, которое я так неожиданно у вас украла, и не поминайте меня лихом.

Она поцеловала его, надела ему на голову кивер, грустно посмотрела на него и выпроводила за дверь...

Он пошел, машинально переставляя ноги, пошел, не сознавая даже, куда идет.

Ее сердце рвалось на части; ей хотелось крикнуть ему, чтобы он вернулся, но она сознавала, что теперь все кончено, и, вбежав в свою комнату, она упала на постель и рыдала несколько минут. Потом она вскочила, выбежала за калитку и побежала за ним по шоссе. Он шел, слегка покачиваясь, с низко опущенной головой.

Но она не догнала его. Та внутренняя жизнь, что начиналась в ней, мешала ее решимости. Пробежав несколько шагов, она вернулась и, грустная, разбитая, села в кресло и тяжело задумалась.

Ее жизнь была разбита навсегда. Она не любила мужа, отнявшего у нее Конькова, и если бы не эта внутренняя жизнь, начавшаяся в ней сегодня, она бы все бросила. Но эта жизнь давала совсем иной смысл ее существованию.

Коньков шел, низко опустив голову, шел, сам не зная, куда и зачем. В Петербурге ему негде было преклонить голову: не было у него там ни знакомых, ни друзей. Разные мысли боролись в нем: и тоска по потерянной женщине, и ненависть к Оскару, злобная, безграничная. Попадись он теперь ему, — он бы его убил. Но Оскар с Федором Карловичем проехали мимо него из города в карете, и он даже не видал их.

Солнце село; начинало быстро темнеть, наступала прохлада. Сгущался мрак на душе у атаманского сотника: тоска одолевала его, и не было цели жить.

Вернуться к Люси? Она его так любила. И вспомнился ему парк де-Шамбрэ, Занетто, священник соседнего прихода, Антуан и Габриэль, все те, от кого он полтора месяца тому назад спешил без передышки, но тоской повеяло от ласк Люси, от темного парка. Все было не мило; жить не стоило...

«Поеду на Дон, — думал Коньков, — поклонюсь родным могилам, увидаю Платова, прощусь с ним и застрелюсь... Стоит ли жить в вечной разлуке с нею, стоит ли всегда видеть чужое счастье и никогда не иметь, никогда не мечтать даже о своем собственном?»

Он добрел пешком до почтовой станции и, выправив подорожную на Дон, на другой день уже мчался в бричке, стремясь скорее покончить свое многострадальное странствование.

...Когда постранствуешь, воротисься домой, —
И дым отечества нам сладок и приятен...

Грибоедов. Горе от ума

Недели через две тройка грязных, лохматых почтовых лошадей медленно тянула маленький тарантас по размокшей степи. Лил проливной дождь; небо сплошь заволокло тучами; тарантас был некрытый, и завернувшийся в плащ седок промок и продрог насквозь. Помпон на кивере побурел и опустился, голубой шлык стал почти черным, тарантас был залит водой. Дождь лил бесконечно на высоко поднявшуюся степь, даже горизонт был закрыт туманной завесой непрерывно падающих капель. Холодно принимал Конькова Тихий Дон.

— Вам к атаману, Пидра Микулич? — обернулся ямщик.

— Ты почему меня знаешь?

— Еще бы Пидру Микулича да не знать. Его весь Дон знает, да и по чину и по отличиям видать...

Коньков хотел усмехнуться, но только жалкая гримаса скривила его рот.

— Атаман в Мишкине, что ли?

— В Мишкине и есть.

— Ну, вали в Мишкино.

Старый платовский камердинер принял Конькова как родного сына. Он переоделся, обчистился и пошел к кабинету атамана.

— Ваше сиятельство, можно?

— Кто там? — хриплым, старческим голосом спросил Платов.

— Ординарец вашего сиятельства, Петр Николаевич Коньков из плена.

— Войди.

Коньков отворил дверь, и Платов, в неизменном своем халате, принял его в объятия. Что-то теплое, мокрое покрыло лицо Конькова. Платов плакал. Коньков стоял грустный, растроганный...

— Ну, садись, дорогой гость. Другим в Мишкино ходу нет, а ты всегда и всюду мой. Похудел, я вам скажу, государь мой, совсем больной стал, и живости нет в глазах; дело плохое. Расскажи же, где ты был?

— В плену, ваше сиятельство, у одной француженки.

И Коньков рассказал вкратце все события и приключения двухлетних странствий.

— Неисповедимы судьбы Божии! — сказал Платов. — Однако отчаиваться нечего.

— Что же мне осталось теперь, ваше сиятельство? Смерть!

— Смерть, государь мой, всякому осталась. А вот служил ты, я тебе скажу, мало.

— Что мне даст служба? Мое сердце разбито, мне ничто не мило.

— Твое положение, государь мой, если хочешь, неприятное и натянутое. Так любить и не соединиться, — согласен, я вам скажу, трудно, другие стреляются, топятя, но ты этого не сделаешь.

— Я приехал проститься с вами, ваше сиятельство, — тихо и решительно ответил Коньков.

— Стыдись, государь мой! Таков ли должен быть офицер войска Донского, тому ли тебя учили отец с матерью, чтобы ты был такой малодушный. Или забыл ты Бога, забыл присягу? Забыл покойных отца с матерью. За что, я вам скажу, ты хочешь наказать весь род свой? Разве на то родился казак, чтобы быть бабой, чуть что не по нем, сейчас и за пистолет. Пистолеты, государь мой, не на то сделаны, чтобы убивать себя; слава Богу, нехристей много рассеяно есть, с кем повоевать и заслужить бóльшую славу всевеликому войску Донскому!

Помолчал немного Платов. Лихорадочным блеском загорелись его глаза.

— Ты говоришь, государь мой, жизнь тебе постыла и не мила, — жаль тебя, государь мой, что из-за бабы с тобой такие несчастья происходят. Очень жаль. Я понимаю: с поля сражения бежать или товарища в беде не выручить, — только такие подлые поступки иначе не смотаются, как кровью. Но что баба полюбила другого и вышла за него замуж, — и Бог с ней. На черта ли казаку баба? Сознаю, твоя невеста достойнейшая девушка, но раз вышло так, — что делать! Бог дал, Бог и взял. Не сам ли ты даже, государь мой, и виноват в этом? Почему, государь мой, не бежал ты из плена, почему отдавался ласкам француженки? Да, государь мой, это и сгубило тебя навсегда. Но есть и поправка! — живо договорил Платов. И вдруг, встав и распахнувши свой халатик, протянул руку к Конькову и торжественно и громко заговорил: — Не раз,

государь мой, учил я тебя и детушек своих, что нет для казака больше чести, как исполнить завет Христов: «больше сея любви никто же иметь, да кто душу свою положит за други своя», — полагай, государь мой, душу свою за других, и забудется твое горе. Ты жаждешь смерти, потому что ты полюбил по-настоящему, и тебе нет соединения, что же, ищи смерти, но в честном бою. Вот на днях в Грузию отправляются наши полки, пойдешь дерись с азиатами, будь храбрее всех, и твое горе сойдет, точно его и не бывало! Я вам скажу, в таких делах вера во Христа, исполнение его заповедей, — все заглаживает, все исцеляет. Стыдись, государь мой, и думать о смерти не на поле брани. Это бабы тебя исковеркали так... Ну, садись и потолкуем. Все говори, без утайки.

Коньков рассказал Платову подробно про свою жизнь в замке Шамбрэ, рассказал про то, как он уехал с разрешения Люси, как она снабдила его всем необходимым.

Несколько раз Платов неодобрительно покачал головой.

— Молод еще слишком, и во многом потому сам виноват. Наказание, я вам скажу, жестокое, но ты можешь искупить это на войне. Не в монастырь тебе идти, а сражаться с неприятелем, полагать душу свою за други своя, — только это и есть достойное донского казака дело!

Коньков встал.

— Куда ты?

— В Черкасск, ваше сиятельство, — мрачно проговорил Коньков, — хочу записаться в полк.

— Бог в помощь! Только сейчас ты переночуешь, а я заготовлю тебе записку к полковнику Зазерскову, да, я вам скажу, и в есаулы уже время тебе быть произведенным...

Есаул войска Донского, командир лихой сотни, Георгиевский кавалер, лицо, уважаемое Платовым, — к чему все это ему, одинокому, покинутому? Опять приютится он где-нибудь у товарища, будет спать на жесткой койке, есть что Бог пошлет, а потом бесконечные походы и партии. Сегодня здесь, а завтра там, встречи, знакомства, свист пуль и ядер, и смерть кругом... К чему все это теперь, когда никто не порадует на его есаульские эполеты, никто не приедет посмотреть, как он учит сотню, никто не благословит перед походом, никто его не ждет и не будет ждать. А Люси? Нет, и Люси не для него. Сердце все тянет туда, в Петербург, где он так легко покорился. Да, не мог он бороться против нее!

Так думалось Конькову, когда на платовских лошадях подъезжал он к Новочеркасску. Странные звуки пехотных рожков, наигрывавших начала песен, его поразили. Невдалеке учился полк.

— Чей это?

— А Зазерскова! — ответил кучер.

«Мой, значит», — подумал Коньков и приказал остановиться. С кургана полк был как на ладони. Зазерсков на бурой лошади, согбенный, как всегда, со своей неправильной, но крепкой охотницкой посадкой, распоряжался эволюциями.

Полк то свертывался в тоненькую змейку, то бесконечно рассыпался в лаву; здесь и там громыхали тогда выстрелы, раздавалось гиканье, а потом вдруг являлась длинная сомкнутая линия, и полк несся в атаку. Время от времени казак на серой лошади играл что-то, но не регулярные сигналы — их Коньков бы узнал, — а потом кричали одни сотенные командиры, и делались перестроения.

Коньков забылся. Родные звуки, родные картинки затронули замолкшие было струны, и они зазвучали сначала глухо, неясно, потом сильнее, мощнее — Коньков жил жизнью полка, мысленно участвовал во всех его эволюциях, и ему стало не так безотраднo грустно. Ему захотелось иметь коня, не Занетто, изменника, а доброго Ахмета, захотелось так же скакать и выкрикивать на скаку команды и наставления.

Зазерсков заметил его и подъехал; видно было, он его не узнал сначала. Но вот его лошадь помчалась, и он, спрыгнув с нее, обнял Конькова.

— Откуда, друг, сердешный? А мы полагали, что ты уже «вмер».

— А я вот он, жив, — грустно улыбаясь, сказал Коньков.

— Ну и что же?

— К вам в полк. Сотню мне дайте.

— Да тебе хоть две сразу. Тебя-то я знаю!

— Спасибо на добром слове! Что это за сигналисты у вас теперь?

— Потеха, братец. Представь, «сипа» до чего додумалась. Дать, дескать, нам, как в регулярной кавалерии, трубы, чтобы ученье было не как у нас раньше по свисткам да по знакам, а по сигналам. Прислали — потеха, я тебе доложу! — пехотные рожки и немного нот. Ну, кто ж у нас

ноты разумеет! Барынь просили, может, они по клавикордам разберут, — не те ноты, говорят! Ну, штука, — по счастью, сметка еще в казаке есть — сообразили. Нашлись дудошники и стали песни играть, а мы и придумали: — «я в пустыню удаляюсь» — отступление, «через речку, через мост» — переправа, «поехал казак на чужбину» — поход, вот и явились сигналы *. Ну и путаницы, страсть — у меня одни сигналы, у Сипаева другие, у Луковкина, скажем, третьи: такая неурядица на ученьях корпуса — не приведи Бог. Да, едят их мухи! Чтоб им на том свете не пилося и не елось! Это всегда так, куда сунутся сиповские офицеры — там и пакость! Ну, где ж им казака знать, когда они не верят казаку ни слова! Они казака норовят заткнуть в обоз да в денщики, а Тарутино забыли!..

Зазерсков рукой махнул.

— В Грузию еду! Там порядки, говорят, иные, там казака уважают... хотя тоже, наверно, в кошах да на ординарцах!.. Ну, подвези меня до Черкаска, неохота по грязи шлепать.

Досада и обида за казаков в словах Зазерскова передавалась и Конькову. «Нет, — подумал он, — не время киснуть. Надо заявить себя Государю-Батюшке, надо заслужить славу Донскому войску!»

Его появление в Новочеркасске произвело некоторую сенсацию. Он обошел всех своих старинных знакомых. Маруся, жена полковника Седова, встретила его, радушно улыбаясь, и на столе мгновенно появились бублички, осетрина, семга, икра и громадные кавуны (арбузы), яблоки и груши.

— Сама растила! — с гордостью сказала Маруся.

Маленький Ваня, опоясанный железной саблей, ползал на ковре, двое ребят с двух сторон писком давали знать о своем существовании. Пахло детской, кухней, миром и тишиной. Двое безусых хорунжих ухаживали за Марусей. Маруся помыкала ими и заставляла даже приглядывать за детьми.

— А муж где? — спросил Коньков.

— Полковник, — сказала Маруся, — он нездоров, — она показала на голову. — Он у меня всегда с утра; я его укладываю спать и запираю.

— Пьян, — сказал один из хорунжих, и оба засмеялись.

* Рассказано одним старым донским полковником.

— Вы не смейте у меня! — строго остановила Маруся, но сейчас же и сама добродушно улыбнулась.

Коньков хотел было спросить у нее, счастлива ли она с таким мужем, но взглянул на нее и понял — счастье сверкало кругом и широко разливалось на все — вопрос был бы лишним. У Маруси было все, что ей надо: муж и положение, двое друзей — дети и любовь, было хозяйство, и широко открытые глаза ее как бы говорили ему: «Не троньте меня, я счастлива! Чем меньше думать, тем больше счастья, не давайте же мне думать, я не хочу думать, все равно из дум ничего не выйдет, только голова заболит».

— А вы скоро женитесь, monsieur Коньков?

— Я не женюсь никогда, Марья Алексеевна.

— Почему? Казаку надо быть женатым. Без жены никакое хозяйство не удержится, а что за жизнь без хозяйства.

— Я уезжаю в Грузию, на линию. У меня нет хозяйства и не будет; значит, и жены не надо.

— А дети?

Коньков брезгливо взглянул на ребенка, которого, напевая что-то, внесла нянюшка, и содрогнулся... «И такой у Ольги будет!» — подумал он, и холод пробежал по его жилам.

— Я не люблю детей.

— Кто не любит детей — тот жестокий человек, — тихо сказала Маруся.

— Пускай так.

Пришла Анна Сергеевна. Маруся оживилась. Начались бесконечные черкасские сплетни. Коньков узнал, что Сипаев живет в имении дочки, вместо управляющего; Каргин не изменил своим любимым занятиям и собирается писать проект нового управления войском Донским, впрочем, его проекты все как-то не удаются и остаются в проекте. Луковкина лишили командования полком. Мать Каргина впала в детство. Бывший его вестовой, теперь хорунжий, Жмурин женился на Любе Пороховой, и у них за два года трое детей.

Он пошел дальше по Черкасску. Всюду, куда он ни заходил, были дети, маленькие, визгливые; всюду духота, увеличиваемая жарким осенним днем, всюду женщины, ставшие уже матерями или готовящиеся стать ими в недалеком будущем. Всюду разговоры, что у Коли заболел

животик, Саша простудился, а у Володеньки прорезываются зубки. Пава, Валя, Воля, Шура, Соса и другие уменьшительные имена преследовали его целый день! Природа после войны брала свое, и народонаселение быстро возрастало естественным путем.

Конькову противно стало все это. Он был бичом природы, воином по рождению — он разрушал ее успехи и не мог видеть равнодушно ее победу. Мирную, пошлую жизнь он ненавидел...

Его сердце рвалось к боям и победам, ввысь Кавказских гор.

Он вернулся домой, написал длинное письмо Люси, описал в нем все, что случилось, сообщил свое горе и свое решение... Потом подумал и разорвал письмо. Слезы душили его. Прежняя суровость куда-то исчезла, и ему хотелось иметь эту мирную обстановку, любящую жену, женскую ласку и этих самых маленьких Шур, Сас и Лялей, которые звали бы его «папой»...

Он поборол в себе это чувство, взял два клочка бумаги, на обоих написал: «Живите счастливо, — я нашел свое счастье, сотник Коньков», — и, надписав на одном адрес Люси де-Шамбрэ, на другом адрес Ольги Рейхман, отдал вестовому для отправки эстафетой.

На другой день он уехал в Грузию, чтобы никогда больше не возвращаться на Дон.

XXXV

...Жизнь народов не вмещается в жизнь нескольких людей, ибо связь между этими несколькими людьми и народами не найдена...

Гр. Л. Н. Толстой. Война и мир

Мировые события кончились. Тот потоп, который захватил всю Европу, перенес часть населения с запада на восток и обратно с востока на запад, вошел в свои берега. То событие, которое люди называют величайшим бедствием — войною, об избавлении от которой ежедневно молятся по всему свету, которой боятся и которую тем не менее сами начинают, — окончилось. Для чего воевали?

Кто от этого выиграл?.. Никто. И тот великий человек, которому судьбою вверено было выполнить величайшую миссию освобождения рода человеческого, кого в продолжение слишком десяти лет проклинали во всех концах обширной Европы и за которым шли, бросая дома, бросая жен и матерей, одиноко доживал свой век на пустынном острове, составляя записки, скучая и тоскуя. Он мнил себя великим — и он был великим, пока был на жизненной сцене, — но представление кончилось, занавес опустился, смыли с него грим, и робкий, обрюзгший человек предстал свету, и не было в нем ничего особенного, и не понимали окружавшие его близкие люди, что составляло обаяние этого маленького, задумчивого, самолюбивого человека. Отчего успехом венчались войны 1805, 1807, 1809 годов, отчего Ваграм, Аустерлиц, Фридланд покрыли его голову неувядаемой славой и отчего поблекли лавры непобедимого полководца перед Бородино, Смоленском, Лейпцигом? Были ли русские полководцы умнее Наполеона, дрались ли русские солдаты храбрее французов, были ли позиции выбраны лучше и сильнее, планы обдуманнее? Нет, русские делали промахи в 1812 году так же, как и в седьмом и в пятом. Под Фридландом в 1805 году дрались на позиции, разрезанной пополам оврагом, а в 1812 году боялись отдать Тарутино, не посмели остановить рассыпавшуюся, таявшую лавину под Москвой! Да и напрасно было бы останавливать! Есть мировые законы, никому не подчиненные, никем не исследованные — этим законам покорен весь мир, и всё повинуетя им. И не самонадеянность Наполеона, не интриги маршалов, не бедность Франции, не патриотизм союзников, даже не храбрость русских войск победили его и уничтожили всемирную монархию. Не удалась эта затея Александру Македонскому, не удалась Юлию Цезарю, не могла она удалась и Наполеону. Поклонение потомков, изучение творений его, разбор его сражений — все это было ненужной наградой разложившемуся, ничего более не чувствующему телу величайшего полководца.

Но не было пользы от войны и его победителям. Кутузова обвинили в медлительности; Барклая и Багратиона в преследовании личных интересов на войне и в вечных ссорах; Платова в пьянстве, казаков в распущенности. Беспощадное потомство забыло, что эти люди были вызваны судьбою из толпы и совершали свои действия, пови-

нуясь ее указаниям. Не случись с Платовым известной неприятности под Бородином, удайся его поиск в тыл неприятелю, война прекратилась бы под Москвой и не было бы путешествия массы славянских индивидуумов в галльские и германские земли — а это нужно было для мирового равновесия. Не была бы тогда восстановлена Германская империя, и не были бы спаяны немецкие народы. Идея национализма требовала этого, а судьба распорядилась и назначала отдельных людей — Платова, Кутузова, Барклая быть исполнителями ее предначертаний. Они получали или похвалы или упреки за те дела, которые и без них совершились бы...

В общей мировой сутолоке только судьба может ве-
дать, что кому нужно не только для него, но для мировых
целей, для блага всего света. Топя и преследуя Конькова,
разбивая счастье Ольги и Рейхмана, людей идеально чест-
ных, судьба дает счастье глупенькой, простоватой Марусе,
недалекому молодому Каргину. Но... у судьбы свои пра-
вила: кто глуп — тот счастлив, кто умен — тому не дано
счастья. Этим достигается равновесие в мире, этим за-
ставляют умных и энергичных людей работать больше
и, следовательно, сильнее двигать мир вперед, а всё глупое
занято легким, но необходимым делом... продолжения
породы.

Кровавая миссия Конькова не кончилась. Он мог сойти
со страниц романа, потерявши связь с остальными ли-
цами, но с мировой сцены он сойти не мог. Судьбе нужно
было его энергичное участие в покорении Кавказа — и он
дрался, думая, что дерется, чтобы заглушить сердечную
боль; товарищи полагали, что он борется ради отличий;
неприятель думал, что он воюет по злобе на него, — и
никто не догадывался, что он дрался и жертвовал своей
жизнью каждую минуту потому, что это ему было предо-
пределено.

И Ольге предопределено было произвести на свет мерт-
вого ребенка, и мучиться и терзаться по Конькову наедине,
и скрывать свои страдания от мужа всю свою жизнь...

Мать Каргина проклинала Наполеона; Ольга упрекала
Платова; Люси ненавидела в душе Ольгу, но все эти чувст-
ва рождались и умирали в них только для того, чтобы,
переживая их постепенно, двигать историю вперед.

Ведь все эти убитые и раненые, которым у Платова велся
домашний счет, были люди со страстями, с желаниями,

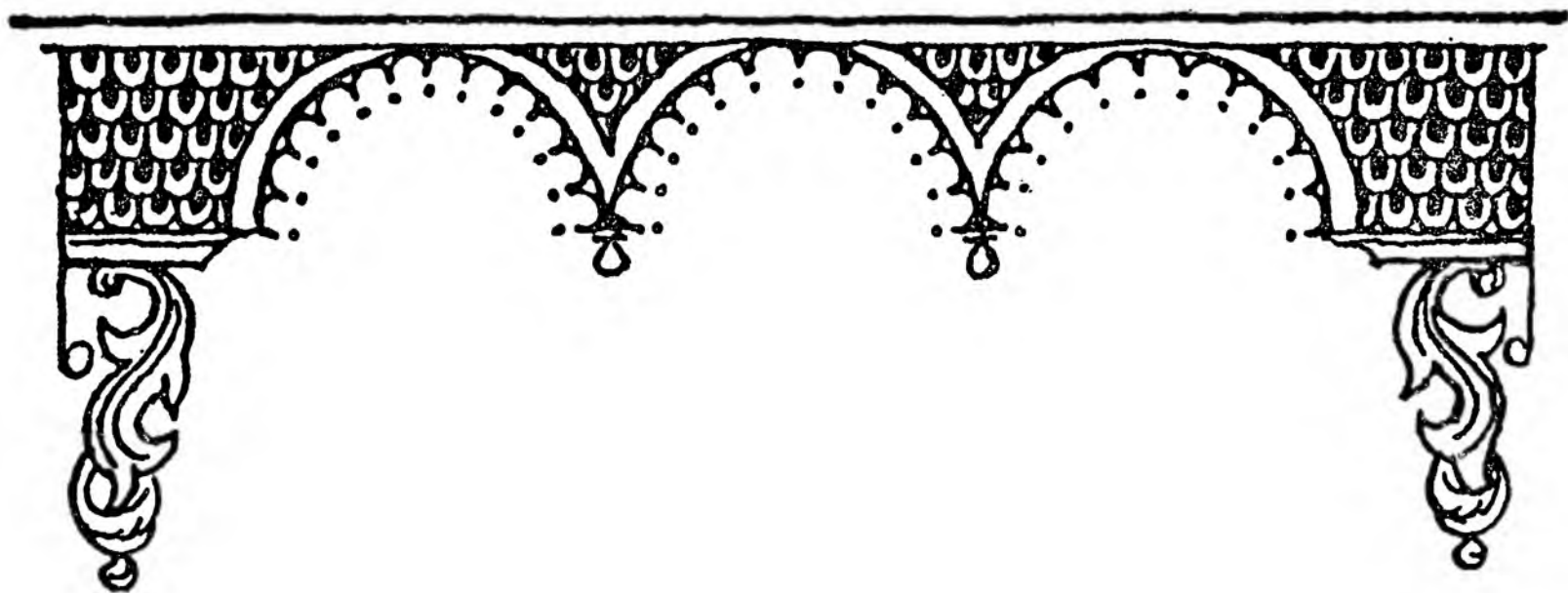
с мечтами и надеждами, — и никто из них не знал, что с ним будет, и никто не обдумывал своих поступков — да это было бы и лишнее. Одна судьба все это знала, одна судьба распоряжалась людьми, как драматург или романист распоряжается своими героями, заставляя их действовать так, как он находит нужным, никому не отдавая отчета.

Да разве вся жизнь — не огромный роман, где масса действующих лиц и огромная, запутанная интрига?

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНТАХ

В. И. НЕМИРОВИЧ-
ДАНЧЕНКО

СКОБЕЛЕВ



ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Я уже говорил в первом издании этой книги, что она — не биография Скобелева, а ряд воспоминаний и отрывков, написанных под живым впечатлением тяжелой утраты этого в высшей степени замечательного человека. Между ними встречаются наброски, которые, может быть, найдут слишком мелкими. Мне казалось, что в таком сложном характере, как Скобелев, — всякая подробность должна быть на счету. Кое-где я привел взгляды покойного на разные вопросы нашей государственной жизни. С его убеждениями можно не соглашаться, но молчать о них нельзя. Сожалею еще раз о том, что условия, среди которых приходится работать русскому писателю, не позволяют очертить убеждения Скобелева во всей их полноте.

Он не был славянофилом в узком смысле — это несомненно. Он выходил далеко из рамок этого направления, ему они казались слишком тесны. Ему было дорого наше народное и славянское дело. Сердце его лежало к родным племенам. Он чувствовал живую связь с ними — но на этом и оканчивалось его сходство с нынешними славянофилами. Взгляды на государственное устройство, на права отдельных племен, на многие внутренние вопросы у него были совершенно иные. Если уж необходима кличка, то он скорее был народником. В письме, полученном мною от его начальника штаба генерала Духонина, после смерти Скобелева, между прочим сообщается, что в одно из последних свиданий с ним

Михаил Дмитриевич несколько раз повторял: «Надо нам, славянофилам, сговориться, войти в соглашение с «Голосом»... «Голос» во многом прав. Отрицать этого нельзя. От взаимных раздражений и пререканий наших — один только вред России». То же самое не раз он повторял и нам, говоря, что в такую тяжелую пору, какую переживает теперь наше отечество, всем людям мысли и сердца нужно сплотиться, создать себе общий лозунг и сообща бороться с темными силами невежества. Славянофильство понимал покойный не как возвращение к старым идеалам допетровской Руси, а лишь как служение исключительно своему народу. Россия для русских, славянство для славян... Вот что он повторял повсюду. Взять у Запада все, что может дать Запад, воспользоваться уроками его истории, его наукою — но затем вытеснить у себя всякое главенство чуждых элементов, развязаться с холопством перед Европой, с несколько смешным благоговением перед ее дипломатами и деятелями. «Ученик не лакей,— повторял он.— Учиться — я понимаю, но зачем же ручку целовать при этом?.. Они не наши, во многих случаях они являлись нашими врагами. А враги — лучшие профессора. Петр заимствовал у шведов их военную науку, но он не пошел к ним в вассальную зависимость. Я терпеть не могу немцев, но и у них я научился многому. А заимствуя у них сведения, все-таки благоговеть перед ними не стану и на буксире у них не пойду. Разумеется, я не говорю о презрении к иностранцам. Это было бы глупо. Презирать врага — самая опасная тактика. Но считаться с ними необходимо. Между чужими есть и друзья нам, но не следует сентиментальничать по поводу этой дружбы. Она до тех пор, пока у нас с ними враги общие. Изменись положение дел, и дружбы не будет. Повторяю: учиться и заимствовать у них все, что можно, но у себя дома устраиваться как нам лучше и удобнее». Никто более Скобелева не удивлялся взаимной нетерпимости разных литературных направлений у нас. Он никак не мог освоиться с той мыслью, что при отсутствии политической жизни и свободы в стране борьба идей переходит в отдельную борьбу личностей. Ему казалось возможным сплотиться всем, составить общую программу, направить общие усилия

к одной цели. С несколько комическою даже серьезно-стью он советовал: да вы сначала вкупе и влюбё поработайте, чтобы право на свое существование отстоять, завоевать себе свободу, а потом уже делитесь на партии, на кружки... Будущим идеалом государственного устройства славянских народов был для него союз автономий, с громадною и сильною Россіею в центре. Все они у себя внутри делай что хочешь и живи как хочешь, но военные силы, таможня, монета должны быть общими. Все за одного и один за всех. Я еще раз должен выразить глубокое сожаление, что об идеях и планах этого государственного человека гораздо свободнее пишут и говорят за границей, чем у нас. Жалкое положение отечественного писателя в этом отношении вне всяких сравнений, и поэтому мы поневоле ограничиваемся сказанным здесь.

Родился М. Д. 17 сентября 1843 года. На первоначальное его воспитание, на склад этого замечательного характера более всего влияла мать — умная и энергичная Ольга Николаевна, урожденная Полтавцева. Покойный все время относился к ней с самою искреннею любовью. «Она одна меня понимает, она одна меня ценит,— не раз повторял он.— Ах, если бы она могла со мною жить постоянно...» Скобелев настолько чувствовал нужду в человеке, с которым мог быть вполне откровенным, начистоту, что после смерти матери он не раз просил свою тетку Полтавцеву: «Переезжай ко мне в Минск, ты меня избавишь от многого...» Насколько он был потрясен трагической кончиною своей матери, видно из рассказов близких к нему людей. Она оставила в его душе — все время не заживавшую рану. После этого на него стали находить припадки мрачности, глубокой, ни с чем не сравнимой тоски и отчаяния. Он болезненно чувствовал свое одиночество. Он не раз жаловался на то, что около нет близкого, дорогого человека. Вот отрывок из письма его сослуживца, который правдиво рисует душевное настроение почившего героя.

«Мих. Дмитр. был в эту минуту весьма расстроен. Я старался изменить разговор и отвлечь его мысли в другую сторону. С этой целью я придвинул к себе портфель с докладом, но Скобелев, заметив это, объявил мне, что он сегодня не расположен заниматься делами. Затем он

встал, взял меня под руку и стал прохаживаться по кабинету.

— Вы находите, что я очень взволнован сегодня?

— Да, и вам надо успокоиться.

— Это невозможно!..

— Почему?

— А потому же: все на свете — ложь, и счастье только в одной доброй семье. Там люди спокойны, откровенны. Я вам *очень* и *очень* завидую. Вы вернетесь домой, вас встретит семья, и вы забудетесь от волнующих вас мыслей, мало того, испытаете много радости, видя возле себя жену, не оставлявшую вас даже на Шипке, а я?.. Вы уйдете, я опять останусь один с своими мыслями... с терзающими меня сомнениями, со всею окружающей меня парадной обстановкой... Начнешь думать, думать и опять ни до чего другого не додумаешься, как до того, что все на свете — ложь и ложь!..

Болезненная струна, часто звучавшая в последнее время в душе Скобелева.

— Со смертью матери у меня оторвалось многое от сердца... И зажить оно не может. Все кровью сочится. К кому я пойду теперь, когда душа заболит... Вечно один и один... Сослуживцы?.. Я их глубоко люблю, знаю, и они меня любят, но это все не то. Тут я был сыном, другом... Один я знаю — насколько я обязан ей, ее советам, ее влиянию. Она одна меня понимала. Ах, если бы она могла жить со мною постоянно... »

Отец далеко не мог на него действовать таким образом. Отец был слишком суров, формален. В старое время отцы действительно являлись довольно строгим начальством для своих детей. Тогда даже ласка считалась вредно влияющей слабостью. С ним не мог ребенок чувствовать себя так, как с матерью — это прошло и на всю остальную жизнь. С матерью он был весь нараспашку. Она знала его — со всеми его мечтами, планами, с той интимной стороной жизни, которая бежала от парадной обстановки, от сослуживцев, от друзей.

Самым неприятным воспоминанием его детства был подлый и жестокий гувернер немец, не щадивший самолюбия впечатлительного мальчика. Независимый с самого раннего возраста, вспыльчивый, чрезвычайно по-

движный — ребенок сразу подвергся всем прелестям германской муштры, еще усиливаемой презрением к русскому происхождению мальчика. Скобелева «били прутом за всякий дурно выученный урок, за малейшие пустяки. Между гувернером и учеником установилась глухая вражда. Гувернер ухаживал за кем-то и, отправляясь к ней, надевал фрак, цилиндр и новые перчатки. Скобелев мазал ручку у дверей ваксой». Скобелев до такой степени ненавидел своего учителя, что, стиснув зубы, молчал под ударами, не желая своими криками и стонами доставить ему удовольствие. Зато в одиночку потом он плакал целые ночи, воспитывая таким образом в себе с самого раннего детства ненависть к немцам, с одним из неприятнейших экземпляров которых он познакомился столь близко и столь основательно. 12-ти лет Скобелев был детски влюблен в девочку такого же возраста и катался с нею верхом. «Раз в ее присутствии гувернер немец ударил его по лицу. Скобелев, взбешенный до последней степени, плюнул на него и ответил за удар пощечиной». Тут-то отец наконец понял, что такая система воспитания никуда не годится и ни к чему хорошему не ведет. Он отдал сына совсем в другие руки — Де-зидерио Жирарде, державшему пансион в Париже. Грубый и подлый по натуре немец был заменен человеком, совершенно противоположным. Мягкий, гуманный Жирарде и в ребенке умел уважать человека. Обладая громадным образованием, Жирарде долго и после того оставался для Скобелева идеалом благородства и честности. Круто изменившаяся воспитательная система принесла разом блестящие плоды. Жирарде, по счастливому выражению г. Маслова, стал развивать в Скобелеве религию долга. Привязавшись к Мих. Дм., он приехал с ним в Россию и более не разлучался. Впоследствии он приезжал к нему даже на войну, деля с ним ее боевые тревоги. После матери это была самая искренняя привязанность покойного. Когда я встретился со стариком на похоронах Скобелева, я так и припомнил рассказы о нем. Предо мной был тип гуманного, благородного и честного французского ученого, и тогда же мне пришло в голову, к каким последствиям, даже совершенно безотчетно, могло привести Скобелева незаметное, шаг за

шагом сопоставление Жирарде с первым гувернером — немцем.

Семья Скобелева хотела, чтобы он заключил свое образование в России.

Он поступил в Петербургский университет, но во время беспорядков в 1861 году должен был оставить его. Он слушал лекции по математическому факультету, хотя его тянуло совсем в другую сторону, и у себя дома вместо университетских лекций Скобелев просиживал над военными науками. Выйдя из университета, он поступил юнкером в кавалергардский полк и через два года произведенный в корнеты перевелся в гродненские гусары, чтобы принять участие в военных действиях в Царстве Польском. Под Меховом и в других делах он сразу выказал замечательную личную храбрость и военные способности. По окончании восстания он поступил в Николаевскую академию генерального штаба, где по виду занимался как будто бы очень мало, а в действительности, разумеется, гораздо глубже других входил в свое дело. Тем не менее его считали не особенно «старательным» и только совершенно особый случай доставил ему возможность зачислиться в генеральный штаб. На практических испытаниях в северо-западном крае Скобелеву задано было отыскать наиболее удобный пункт для переправы через р. Неман. Для этого нужно было произвести рекогносцировки всего течения реки. Вместо того Скобелев прожил все время на одном и том же пункте. Явилась поверочная комиссия с генер.-лейт. Леером. Скобелев на вопрос о переправе вместо всяких разглагольствований, долго не думая, вскочил на коня и, подбодрив его нагайкой, прямо с места бросился в Неман и благополучно переплыл его в оба конца. Это привело Леера в такой восторг, что он тотчас же настоял зачислить решительного и энергичного офицера в генеральный штаб. Такие системы переправ и потом практиковались уже генералом Скобелевым. Перед переходом Дуная он в 1877 г. сделал то же. Сбросил с себя платье, велел расседлать и размундштучить коня и в одном белье верхом переплыл в оба конца громадную реку. На маневрах незадолго до своей смерти он от кавалерийских полков требовал того же самого.

— Пусть у меня в корпусе подготовка кавалерии будет поставлена так, чтобы переправа вплавь не затрудняла ни больших, ни малых отрядов. Не зная препятствий на войне, уметь искусно преодолевать их — великие данные для победы, и я хочу вооружить вас подобным знанием! — обратился он к своим.

Вслед за тем он приказал на следующий день екатеринославским драгунам приготовиться к переправе всем полком. Появилось несколько удивленных физиономий.

— Как это вплавь, да еще всем полком?!

— Я сам буду руководить переправой и за все последствия принимаю ответственность на себя, — ответил на это Скобелев.

На другой день, созвав всех офицеров и унтер-офицеров полка, он рассказал им, в чем дело, и затем прибавил:

— Впрочем, к разговору лучше прибавить и *показ*. Дайте мне лошадь, только не степную, привычную, а воспитанную в конюшне.

Ему подали кровного английского скакуна. Он велел его расседлать, а затем разделся сам и в одном белье верхом на коне погрузился в глубь реки. Лошадь стала тонуть, нырнул и Скобелев, но, не потеряв духа, поводом направил лошадь на противоположный берег. Эта борьба на самом глубоком месте реки продолжалась минуты две, затем конь покорился Скобелеву и выплыл благополучно на намеченное место.

— В другой раз конь будет смелее и послушнее!

И Скобелев тотчас же повторил переправу. Конь поплыл спокойно и уже без сопротивления.

Перед последним его выездом из Минска Скобелев отдал все приказания для подготовки на предстоящие маневры к концу августа в Могилеве опыта переправы через Днепр целого отряда по военному составу из войск всех трех родов оружия.

Таким образом еще юношей Скобелев уже показывал то, кем он будет впоследствии.

В 1864 году он посетил театр войны в Датскую кампанию, а через четыре года был назначен в Туркестан, где в 1869 году уже принимал участие в действиях генерала Абрамова на бухарской границе. В 1870 году М. Д. был назначен на Кавказ, а в 1871 году уже состоял

при полковнике Столетове в Закаспийском крае, где произвел скрытую рекогносцировку к Сарыкамышу. Это не входило в виды кавказского начальства, вообще и впоследствии не особенно расположенного к молодому талантливому офицеру. Результатом было возвращение Скобелева в Петербург.

Об этом периоде его жизни рассказываются всевозможные басни.

Разумеется, как кипучая, крупная натура Скобелев не мог оставаться в благоразумных пределах будничной мещанской морали; молодость брала свое, а бездействие, часто вынужденное, толкало в бешеную жизнь местной золотой молодежи, убивавшей избыток сил на кутежи, на выходки, иногда доходившие до невозможного. Тем не менее большинство эпизодов, передающихся участниками этих оргий, разумеется, вымышлено, как вымышлены не столько подлые, сколько просто глупые рассказы о том, как Скобелев — этот богатырь земли русской — являлся в то время будто бы изнеженным и трусливыми барчонком. Все, что хотите, только не это. Разумеется, питерским хлыщам, являвшимся в Туркестан, глаза мозолил некогда их бывший товарищ, делавший такую быструю карьеру и ослеплявший даже привычных к опасностям людей своей львиной храбростью, отвагой легендарного витязя. Поэт войны и меча уже и тогда складывался в сильные, резко намечавшиеся формы. Часто ему приходилось испытывать мужество подчиненных ему людей, и нам помнится, с каким комическим негодованием передавал один из баловней петербургского режима эпизод, в котором и ему самому случилось участвовать. Дело в том, что раз в экспедиции Скобелеву на пути встретился заключенный в глиняные стены и оставленный разбежавшимися сартами город. Скобелев, желая, вероятно, испытать, насколько он может положиться на храбрость только что прибывшего к нему петербуржца, поручает ему осмотреть этот город.

— Вы мне дадите конвой?

— Нет, поезжайте в одиночку.

— Но там могут... — колебался тот.

— Вы, значит, трусите.

Приезжий, желавший показать себя не со стороны одной яркости перьев, но и как храброго молодчинищу,

дал шпоры коню. Город он проскакал и, воротясь, доложил, что жителей нет.

— Я это, душенька, знал и без вас! — засмеялся Скобелев.

— Вот этого смеха я ему и до сих пор простить не могу. Помилуйте, за что он заставил меня испытать ужас одиночества в городе, предполагавшемся населенным врагами!..

В пояснение к этому нужно бы прибавить, что Скобелев, разумеется, не задумался бы сделать то же самое с тем различием, что его не остановило бы, если бы город не был оставлен, а жители его оказались на местах. В Алайском походе он делал и почище вещи — и не кричал о них, не рассказывал. Это было своего рода искусство для искусства, жажда ощущений. Спокойный формализм Петербурга ненадолго мог удержать Скобелева. Орел в курятнике зачах бы или вырвался бы оттуда. В Коканде открылись военные действия — он бросился в Среднюю Азию. «В 1873 году, командуя авангардом войск, действовавших против Хивы, М. Д. участвовал в делах под Итабаем, Ходжейли, Мангитом, Ильялами, Хош-Купыром, Джананыком, Авли и Хивой, а также и в иомудской экспедиции. В августе того же года он произвел скрытую и опасную экспедицию к Ортакую. Уже тогда его встретил на боевом поле Мак-Гахан и посвятил ему не одну из самых задушевных и блестящих страниц своего описания Хивинского похода». Через год после того мы уже видели Скобелева в южной Франции. Поехал он в Париж, но, наскучив бездействием и заинтересовавшись партизанскими действиями карлистов, пробрался к Дон Карлосу, оборонительные действия которого считал более достойными изучения, чем действия регулярной испанской армии. Тут он был свидетелем битв при Эстеле и Пепо-ди-Мурра. В данном случае Скобелев вовсе не являлся традиционным бонапартистом, для которого все равно, где бы ни драться, лишь бы драться. Он как военный специалист смотрел на это дело и брал свое, где его находил, всматривался во все, что ему казалось полезным и заслуживающим более пристального наблюдения. Оттуда в Париж он вернулся с парой попугаев, целой массой оружия и громадным количеством заметок

и записок о партизанской горной войне, об обороне местностей не регулярной, а только что набранной из крестьян армией. Враги Скобелева в данном случае обратили внимание на попугаев и упустили его наблюдения и заметки. Что же — всякому дорого свое!

«Вслед за тем Скобелев сначала в должности начальника кавалерии, а затем как военный губернатор Ферганы и начальник всех войск, действовавших в бывшем Кокандском ханстве, принимал участие и руководил битвами при Кара-Чукуле, Махраме, Минч-Тюбе, Андижане, Тюра-Кургане, Намангане, Таш-Бала, Балыкчи, Чиджи-Бай, Гур-Тюбе, Андижане — второй раз, Асса-ке, Коканде, Янге-Арык. Он же организовал и без особенных потерь совершил изумительную экспедицию, известную под именем Алайской»*. Тут ему приходилось совершать горные переходы через перевалы Сары-Магук на высоте 18 000 футов и Арчат-Даване на 11 000 футах. В последнюю турецкую войну при переходе Балкан он воспользовался опытностью своей для подобных походов и сумел не потерять ни одного солдата от мороза и метели там, где у других вымерзали целые полки и дивизии.

Скобелев в это время был известен только в Туркестане.

Наезжавшие оттуда люди «белой кости», — разочаровавшиеся в своих упованиях на Георгиевский крест и столь же быструю карьеру, — бранили Скобелева, как только могли. Явилась оскорбительная, разумеется по их мнению, кличка победитель «халатников».

— Помилуйте, да разве может выйти что-нибудь из него? — сообщал мне один из таких.

— Почему же?

— Да ведь он со мной вместе в одном полку служил.

— За что же вы полк свой оскорбляете?

— Как так?

— Да разве из вашего полка ничего хорошего выйти не может?

— Нет, не то... Но я вместе с ним кутил... Помилуйте, в Тифлисе мы петуха в пьяном виде подвергли смертной

* Между прочим, на совести туркестанских офицеров лежит то, что до сих пор мало известно подробностей об этом замечательном походе. Давно бы пора появиться воспоминаниям о нем.

казни, с соблюдением всех предписанных на этот случай обрядов. И вдруг — герой, полководец, гений...

Я, разумеется, только расхохотался над этой наивностью.

Из моей книги видно, как здесь приняли победителя «халатников».

Гении Красного Села и звезды питерских зал столкнулись с настоящей боевой силой. Результатами этого были случаи, от которых М. Дм. в первом периоде войны рыдал как ребенок.

Здесь в этом кратком, даже слишком кратком наброске о его прошлом мы не приводим рассказов о его деятельности в турецкую войну — этому посвящена большая часть моей книги. По окончании войны Скобелеву недолго пришлось бездействовать. В Закаспийском крае тяжкая неудача постигла наш отряд, «руководимый неопытными начальниками». Поправить дело поручили Скобелеву, он блистательно выполнил это назначение. 12 января 1881 года, в то время как благоприятели злорадовались по поводу якобы неудач Скобелева, когда всюду расходились зловещие вести о том, что Скобелев в плену, что наши бегут из-под Геок-Тепе, — вдруг телеграмма принесла весть о падении крепости и полном разгроме этих легендарных богатырей — разбойников...

Удивительная жизнь, удивительная быстрота ее событий: Коканд, Хива, Алай, Шипка, Ловча, Плевна 18 июля, Плевна 30 августа, Зеленые горы, переход Балкан, сказочный по своей скорости поход на Адрианополь, Геок-Тепе и неожиданная, загадочная смерть — следуют одно за другим, без передышки, без отдыха.

Смерть неожиданная... Неожиданная для других, но никак не для него... Я уже говорил о том, как он не раз выражал предчувствия близкой кончины своей друзьям и интимным знакомым. Весной прошлого года, прощаясь с д-ром Щербаком, он опять повторил то же самое.

— Мне кажется, я буду жить очень недолго и умру в этом же году!...

Приехав к себе в Спасское, он заказал панихиду по генералу Кауфману.

В церкви он все время был задумчив, потом отошел в сторону к тому месту, которое выбрал сам для своей

могилы и где лежит он теперь непонятный в самой своей смерти.

Священник о. Андрей подошел к нему и взял его за руку.

— Пойдемте, пойдемте... Рано еще думать об этом...

Скобелев очнулся, заставил себя улыбнуться.

— Рано?... Да, конечно, рано... Повеюем, а потом и умирать будем...

Прощаясь с одним из своих друзей, он был полон тяжелых предчувствий.

— Прощайте!..

— До свидания...

— Нет, прощайте, прощайте... Каждый день моей жизни — отсрочка, данная мне судьбой. Я знаю, что мне не позволят жить. Не мне докончить все, что я задумал. Ведь вы знаете, что я не боюсь смерти. Ну так я вам скажу: судьба или люди скоро подстерегут меня. Меня кто-то назвал роковым человеком, а роковые люди и кончают всегда роковым образом... Бог пощадил в бою... А люди... Что же, может быть, в этом искупление. Почему знать, может быть, мы ошибаемся во всем и за наши ошибки расплачивались другие?.. — И часто и многим повторял он, что смерть уж сторожит его, что судьба готовит ему неожиданный удар.

И это не было мимолетное, скоропроходящее чувство, легкое расстройство нервов. Напротив.

Скобелев, как каждый русский человек, был не чужд тому внутреннему разладу, который замечается в наших лучших людях. Его постоянно терзали сомнения. Анализ не давал ему того спокойствия, с каким полководцы других стран и народов посылают на смерть десятки тысяч людей, не испытывая при этом ни малейших укоров совести, полководцы, для которых убитые и раненые представляются только более или менее неприятной подробностью блестящей реляции. Тут не было этой олимпийской цельности, Скобелев оказывался прежде всего человеком, и это-то в нем особенно симпатично. Очень уж не привлекателен даже гениальный генерал, для которого ухлопать дивизию то же, что закусить. Это не ложная и пагубная сентиментальность начальников, чуть не плачущих перед фронтом во время боя. В такие мину-

ты Скобелев бывал спокоен, решителен и энергичен, он сам шел на смерть и не щадил других, но после боя для него наступали тяжелые дни, тяжелые ночи. Совесть его не успокаивалась на сознании необходимости жертв. Напротив, она говорила громко и грозно. В триумфаторе просыпался мученик. Восторг победы не мог убить в его чуткой душе тяжелых сомнений. В бессонные ночи, в минуты одиночества полководец отходил назад и выступал на первый план человек с массой нерешенных вопросов, с раскаянием, с мучительным сознанием того, какую дорогую страшную цену требует неумолимый заимодавец судьба за каждый успех, в кредит отпущенный ею. Тысячи призраков сходились отовсюду с немим укором на бескровных устах — и недавний победитель мучился и казнился как преступник от всей этой массы им самим пролитой крови. Как кому не знаю, а для меня такой живо и глубоко чувствующий человек гораздо выше каменных истуканов, для которых бой — математическая формула с цифрами вместо людей! В высшей степени интересно в этом отношении доставленное мне письмо * об одном из последних дней жизни М. Д.

Приведу из него некоторые отрывки.

«21 июня я имел последний служебный доклад у генерал-адъютанта Скобелева. Я его застал очень расстроенным, желтым.

— Не чувствуете ли вы себя больным? — спросил я.

— Да... Нужно заняться своим здоровьем... Дня через четыре я буду у себя в Спасском и начну правильное лечение.

— Что у вас?

— Катар и притом самое тяжелое, угнетающее состояние духа.

— Это всегда так бывает при подобных болезнях. Только такой сильный человек, как вы, должен бы совладать с собой.

— Я постараюсь...

За сим он начал разговор по поводу виденной им у меня картины, изображающей смерть майора Калитина со знаменем болгарской дружины в руке **.

* Письмо Михаила Лаврентьевича Духонина.

— Нравится вам она?..

— Вот завидная смерть... Я бы хотел покончить свою жизнь такой именно смертью — во главе моего четвертого корпуса.

— Ну, М. Д., в бою, даст Бог, четвертый корпус не дрогнет, а потому и смерти, подобной смерти Калитина, не понадобится.

— Да, вы правы. Разумеется, четвертый корпус не дрогнет... Но я все же хочу славной смерти или...

— Или что?..

— Умирать пора... Один человек не может сделать более того, что ему под силу... Я свое дело выполнил и далее мне не идти вперед, а назад Скобелевы не пятились. Теперь мудреное время и мне остается разве только «размениваться». Раз я вперед идти не могу — чего же жить?

Видимо, в этот день ему было особенно тяжело.

— Я дошел до убеждения, что все на свете ложь, ложь и ложь... Все это — и слава, и весь этот блеск ложь... Разве в этом истинное счастье?.. Человечеству разве это надо?.. А ведь чего, чего стоит эта ложь, эта слава? Сколько убитых, раненых, страдальцев, разоренных!.. Кстати, вы человек верующий, религиозный... Объясните мне: будем ли мы с вами отвечать Богу за массу людей, которых мы погубили в боях.

— По учению церкви — убивать во имя воинского долга и присяги допускается. При погребении воина она его разрешает от этого греха.

— Вы это из катехизиса... Я знаю... Но что скажет голос совести... За что же мы наконец живем и наслаждаемся славой, добытой кровью братьев, сложивших свои головы?..»

Как симпатична эта черта в покойном!

Видимо, не дешево для его чуткой совести и глубоко страдавшего сердца достались эти лавры.

Несколько успокоившись, он стал говорить о хозяйстве в своем Спасском, о своих дальнейших намерениях, об

** Майор Калитин убит при защите Эски-Загры во главе болгарского ополчения, с его знаменем в руках, в тот момент, когда под напором бесчисленных таборов Сулеймана горсть наших войск должна была отступить.

устроенной там школе и приглашал своего собеседника и сослуживца приехать погостить к нему с женой. В то же время он послал приглашение к г. Хитрово..

— Там я успокоюсь, воскресну...— повторял он мне.— Вы знаете, там я положительно чувствую себя другим человеком.

И по приезде в Москву покойный кипел жаждой деятельности.. Сотни планов рождались у него в голове.. Сотни планов и больших и малых; впрочем, для него не было малого дела, он так же серьезно обдумывал устройство своих сельских школ, учреждение инвалидного дома, как серьезно стоял на страже русских интересов, как серьезно готовился ко всевозможным случайностям будущего.

Но судьба готовила ему уже ту самую смерть, которую в тяжелые, редкие минуты хотел он сам.

За весь последний год, как и прежде,— кругом кишмя кишели враги, росла зависть и злоба, и он болезненно чувствовал свое одиночество, жаловался на то, что около нет близкого, дорогого человека... Скорбная нотка звучала иногда и в самые лучшие и светлые минуты его жизни

— Дела впереди еще много!..— говорил он мне в Москве.— ...Наши силы нужны... Всем следует сплотиться и отстаивать свое... Враг со всех сторон идет; неужели вы не понимаете, что Россия теперь вся на Малаховом кургане?

— Как это?

— Да так: мы отбиваемся опять от коалиции... Отовсюду нахлынули недруги... Разве это не войну они ведут с нами.. Да, еще понадобятся наши силы... Одно страшно, жутко..

— Что это?

— Как вспомню, что опять начнут валиться под пулями да под штыками мои солдаты... Знаете, разумеется, надо.. Сознаю, что надо... Лес рубят, щепки летят... Да ведь в каждой такой щепке целый мир... Ведь каждая такая единица, из которой мы складываем цифры убитых и раненых, носит в душе своей и радости, и страдания... Ведь сколько мук опять... Да, знаете... я люблю войну, она моя специальность. Но в то же время я ненавижу ее...

— Они думают,— говорил он нам,— о том, что для меня нет ничего лучше, как вести за собой войска под огонь, на смерть... Они думают, что я это из эгоизма... Ради личной славы? Нет, если бы они увидели меня в бессонные ночи... Если бы могли заглянуть, что творится у меня в душе... Иной раз самому смерти хочется, жутко, страшно... Так больно за эти бесчисленные жертвы!..

I

Громадная, молчаливая толпа перед гостиницей Дюссо. Обнаженные под палящим солнцем головы, заплаканные лица, растерянные взгляды... Со всех концов Москвы собралась и стоит она, храня благоговейную тишину. Только грохот дрожек по мостовой да крики полиции, усердно работающей неведомо зачем локтями и кулаками, нарушают безмолвие... С каждой минутой толпа эта растет и растет, набегают новые, наскоро крестятся и с упорной настойчивостью начинают вглядываться в два окна отеля, еще не занавешенные, как это распорядились сделать потом.

— Там?..— отрывисто спрашивают вновь приходящие.

— Ужли ж помер?..

В окнах, о которых мы говорим, под горячими лучами дня, пронизывающего их, мелькает то заплаканное женское лицо, то эполеты каких-то наскоро съехавшихся сюда генералов, то расшитый золотом мундир камергера. Что они ему? Что было между ними **общего**, когда еще жил он?

— На площади бы панихиду!..— слышится в толпе.

— Сказывают, еще и там не служили...

«Да неужели Скобелев умер!» И как-то невыносимо дика кажется эта мысль; видишь всю эту печальную обстановку смерти, этих растерянных людей, эти тысячи молящихся и все-таки думаешь, что тут ошибка, недоразумение... Вот-вот выйдет кто-нибудь и объявит, что белый генерал очнулся... Но, увы,— не выходит никто... Народ видит в окна, как какой-то молоденький адъютант прислонился к стене и рыдает. Карета за каретой подъезжают к отелю, выходят оттуда сумрачные люди. Все точно ошеломлено горем. Как удар сверху — неожиданно. Еще не чувствуется боли — одно остолебенение на всех...

— Что же это, что это!. — слышится кругом, но едва-едва, пересохшие от тоски уста только шепчут, точно боясь нарушить загадочный покой этого мертвеца — любимца восьмидесятимиллионного народа, рокового человека, так рано отмеченного перстом провидения и так безвременно сбитого с ног какой-то бессмысленной, неведомо зачем и откуда налетевшей силой... Точно смыло его куда-то.. Еще вчера был, работал, готовился к громадным делам, еще накануне сосредоточивал на себе тысячи надежд и упований.. И вдруг!. Было от чего потерять голову..

В подъезде гостиницы встречаю знакомого.. Слезы на глазах, такое же растерянное лицо..

— Послушайте, что это..

— А вот... вот.. Вы больше, чем кто-нибудь, чувствуете эту потерю. Вы его знали лично...— Видимо, удерживается, чтобы не разрыдаться.— В час панихида будет...

Слова срываются помимо его воли, мешаются..

В отделении, занятом покойным Михаилом Дмитриевичем, уже толпа.. Молча раздвигается она, пропуская вновь прибывающих, и также молча сдвигается... Говорят шепотом, плачут тоже про себя, точно сдерживая рыдания, словно боясь нарушить торжественный покой человека, бессильно лежащего теперь там, за той запертой дверью.. Вот любимый адъютант Скобелева подполковник Баранок В последний раз я видел его под Константинополем.

— При каких обстоятельствах.. Опять увиделись... Скобелева нет уже.. И не будет такого, как он..

— Здравствуйте! — подходит ко мне другой адъютант, Эрдели.— .. Умер наш генерал...— И тут же отвертывается в угол, бессильно, неслышимо рыдая..

Какие-то люди снуют... Очевидно, все за делом пришли.. Вон сотрудник московских газет растерянно бежит из угла в угол... Вон фотограф Панов сел у двери да так и застыл.. Вон какой-то армейский генерал расставил ноги посреди комнаты и заостенел...

— Ваше превосходительство!..— подходит к нему кто-то..

— Громом пришибло-с.. Громом-с.. Вот после этого и верь-с.. Правда-то где? Где правда..

Тихо проходит мимо вся в слезах дама.. Родственница покойного... Шепчется о чем-то с генерал-губернатором Долгоруким — тот, очевидно, тоже еще не чувствует боли этой потери, а пока лишь ошеломлен ею.. То встанет и устоит на одну точку, то сядет и безнадежно разведет руками..

— Еще вчера веселый, сильный, здоровый... Смеялся, шутил над нами... Сегодня вбегают ко мне — пожалуйста, генерал умер!.. Обругал денщика, думаю генерал шутит. Он часто так-то... Сам станет за дверь со стаканом воды. Вбежишь к нему в комнату, а он водой тебя... думал и теперь... Осторожно вхожу... Лежит.. Еще теплый... О Господи, Господи! — и Эрдели хватается за голову.

Двое врачей четвертого корпуса Гелтонский и Бернатович тоже здесь... Блестящий петербургский генерал с вензелями.. Этот больше занят собственной своей особой... Я всматриваюсь в лицо другого военного, рядом стоящего, и вспоминаю. Во время войны его называли первой шарманкой российской армии... Разлетается он к армейскому генералу, тот, видимо, еще не очнулся. Нос башмаком и красный, ноги колесом...

— Нужно признаться!.. Покойник был хороший генерал... Не дурной-с! — авторитетным тоном заявляет «первая шарманка».

Косолапый генерал пыжится... Пыхтит. краснеет

— Если он был не дурной... Так мы-то с вами, ваше превосходительство, что после этого... в денщики к нему. Да и то, пожалуй, не годимся.

Паркетный генерал не унимается. Около стоит молодой офицер генерального штаба с черными, печальными глазами.

— Корпус много потерял в нем!.. И войско — тоже.

— Не корпус и не войско, а весь народ, вся Россия, ваше-ство!..

В час назначена панихида... Едва-едва удалось добиться этого. Хотели служить ее на другой день только после вскрытия трупа... Высокий, красивый архимандрит с черными волнистыми волосами и расчесанной бородой как-то неуверенно, робко показался в дверях с причтом, да там и застыл.. Легкий запах кипариса и ладана пронесся в воздухе. Солнечные лучи шире ложатся в комнатах, золотя густые эполеты, красным полымем вспыхивая на лентах и искрясь на звездах..

— Зачем эти живут... Зачем не они лежат там, вместо него, всем дорогого, всем необходимого? — шевелится на душе обидное сожаление...

— Знаете, какая разница между Скобелевым и этими... — слышится около.

— Какая?

— Разорвись тут граната, эти упадут — а он встанет.

— Его нужно вынести на площадь и показать народу!.. Он народу принадлежит, а не тем, которые только мертвому

записываются в друзья!.. Пусть на площади служат панихиду — народ молиться за него хочет...

И глядя сквозь окна на эти благоговейные толпы, на эти глубоко взволнованные лица потрясенных людей, я верил, что только там, только они чувствуют как следует всю грандиозность этой потери... Им, именно им нужно было отдать его, чтобы ни напыщенные фразы, ни притворные слезы не оскорбляли его праха... Там он был бы своим между своими — там искренние слезы лились за него, там за него молились и страдали...

Кто-то в толпе стал было рассказывать о последних часах жизни М. Д. Скобелева.

Слушал, слушал старик какой-то... Крестьянин по одежде...

— Прости ему, Господи, за все, что он сделал для России... За любовь его к нам прости, за наши слезы не вмени его в грех!.. И он человек был, как мы все... Только своих-то больше любил и изводил себя за нас.

И вся окружающая толпа закрестилась — и если молитва уносится в недостижимую высоту неба — эта была услышана там, услышана Богом правды и милости, иначе понимающим и наши добродетели, и наши преступления...

В другой толпе рассказ шепотом.

— Был я у Тестова... Вдруг входит он и садится с каким-то своим знакомым... Я не выдержал, подхожу к нему... Позвольте, говорю, узнать, не доблестного ли Скобелева вижу?.. Дозвольте поклониться вам!.. Он вежливо так встал тоже... С кем имею честь говорить, спрашивает. Бронницкий, крестьянин такой-то, говорю. Подал он мне руку и так задушевно, по-дружески пожал мне мою!.. Ушел я да заплакал даже.

— Он простых любил, сказывают!

И целый ряд рассказов, один за другим, слышался в толпе. Появились солдаты, лично знавшие покойного...

Из спальни, где лежал труп, его вынесли наконец в небольшую комнату, которая еще ничем не была убрана. Первая панихида носила искренний характер. Сюда собрались только знавшие покойного. Не было еще и почетного караула. Когда я вошел сюда, на столе покрытый золотой парчой лежал Скобелев. Его не одели, и покров был натянут до подбородка... Громкие уже рыдания слышались кругом... Свет падал прямо на это изящное, красивое лицо с расчесанной на обе стороны русой бородой, на этот гениально очерченный лоб с темной массой коротко остриженных волос...

Совсем, совсем спокойное, только страшно желтое лицо... Он, когда волновался, делался гораздо бледнее, чем теперь... Точно заснул... Улыбка лежит на губах и тоже безмятежная, ясная... Широкой полосой горят лучи на золоте парчового покрывала...

— Не тот покров, не тот покров!..— суетится кто-то позади.

— Чего вам? — спрашиваю я...

— Совсем не тот покров...

— Да вы-то кто...

— Причетник... У нас для сугубых героев которые, есть егорьевский покров... А покойный-то — егорьевский кавалер ведь...

— Как будто не все равно!

Спит... Совсем спит... Кажется вот, вот проснется и улыбнется нам своей молодой, изящной улыбкой, которая как-то еще красивее казалась на этом молодом и бледном лице... Спит... Только одно — муха вон ходит по лицу... На глаз забралась, ползет по реснице... Остановилась, почесала лапки... Смахнули ее — на нос пересела... Нет, умер!.. Волны лучей, льющихся в еще не занавешенные окна, придают странную жизнь этому неподвижному лицу. Точно не шевеля ни одним своим мускулом, он как-то непонятно то и дело меняет выражение... Прошел кто-то, всколыхнулся воздух, вздрогнули разбросанные по сторонам волосы бороды...

— Вы знаете, что тут один купец сказал...— обращаются ко мне.

— Что?..

— На первых порах он как-то протолкался... Смотрел, смотрел... Ишь, говорит, Михаил Дмитрич при жизни смерти не боялся, а пришла она, умер — да и мертвый смеется ей!..

И действительно смеется...

Уже потом тень чего-то строгого, серьезного легла на это и в самой своей неподвижности красивое лицо... Образовались какие-то незаметные прежде линии вокруг сомкнувшихся навеки глаз, у резко обрисованного характерного носа... Невольно думалось, глядя на этот труп: сколько с ним похоронено надежд и желаний... Какие думы, какие яркие замыслы рождались под этим выпуклым лбом... В бесконечность уходили кровавые поля сражений, где должно было высоко подняться русское знамя... Невольно казалось, что еще не отлетевшие мысли, как пчелы, роятся вокруг его головы. И какие мысли, каким блеском полны были они!.. Вот эти мечты о всемирном могуществе родины, о ее силе

и славе, о счастье народов, дружных с ней, родственных ей, о гибели ее исконных врагов, беспощадной и бесповоротной гибели!.. Сотни битв, оглушительный стихийный ураган залпов, десятки тысяч жертв, распростертых на мокрой от крови земле... Радостное « ура », торжество победы, мирное преуспевание будущего... Грезы о славянской свободе и вольном союзе вольных славянских народов... И все — в этом комке неподвижного трупа, еще не разлагающемся, но уже похолодевшем... По крайней мере, когда мои губы коснулись его лба, мне казалось, что я целую лед... Вся эта слава, все это обаяние перенеслись в воспоминания!.. Вое это будущее, надвигавшееся грозой на недругов, эти темные тучи, где рождался гнев неотвратимой бури, где, казалось, уже загорались молнии, все это будущее уже стало прошлым, ни в чем не осуществившись... Человек показал, как много мог он сделать, показал, сколько гордой силы и гения даны ему, чтобы умереть, оставив во всех его знавших горькие сожаления... А знала его вся Россия! И что за подлая ирония — дать человеку мощь ума, орлиный полет гения, дать ему бестрепетное мужество сказочного богатыря, сквозь тысячи смертей, сквозь целый ад провести его невредимым и скосить его среди глубокого мира и спокойствия.. Какая не остроумная, злодейская насмешка судьбы!.. И опять та же назойливая мысль: сколько с ним ляжет надежд и упований в черный, полный холода и мрака склеп... А теперь вон муха опять ползет по глазу... Под ресницу забирается, из-за которой орлиный взгляд легендарного витязя привык окидывать вздрагивавшие от восторга и энтузиазма полки...

— Отчего он умер?..— слышится рядом.

— Говорят, от паралича сердца...

— Ну, а когда мы с вами умрем... У нас будет ведь тоже паралич сердца?

— Тоже.

— Следовательно, это все равно, что умер от смерти.

— Да.

Снаружи, на площади тоже немало было характерных эпизодов.

Шел мимо гостиницы Дюссо солдат с Георгиевским крестом... Видит толпу.

— Чего вы, братцы?..

— Генерал тутотка помер.

— Какой генерал?

— Скобелев...

— Чего?

Солдата на первый раз ошеломило.

— Скобелев померши!

— Скобелев помер?..— И солдат опамятовался...— Ну это, брат, врешь... Скобелев не умрет... Ен, брат, помирать не согласен!..

— Говорят тебе, помер...

— Тут, брат, что-нибудь... А только Скобелев не померет... Врешь... Это уж, брат, верно. Ему помереть никак невозможно.

И совершенно спокойно пошел вперед... Встретил своего

— Дурень народ у нас.

— А что?

— Ему сказывают, Скобелев помер, ен и верит... Скобелев, брат, не померет... Сделай одолжение... Может, другой какой, а только не наш!..

В первый же день явился едва держащийся на ногах старик с кульмским крестом на груди... Поклонился в землю, поцеловал в лоб генерала, отцепил свой кульмский крест, положил тому на грудь и ушел вон... Так и не узнали, кто это...

Потом явился другой ветеран, такой же дряхлый и слабый. Долго, долго всматривался в неподвижные черты усопшего.

— Один такой был, да и того Бог взял...

Помолчал несколько.

— Гневен он на русскую землю... В гневе своем и покарал жестоко... Как Египет — древле... Так и нас теперь...

Вышел уже из комнаты, остановился в дверях. Обернулся.

— Тебе хорошо теперь, а каково нам-то без тебя.

Еще накануне Скобелев обдумывал громадные маневры, где преобразованная им кавалерия должна была бы по нескольку раз вплавь переходить Днепр, горячо толковал об этом, читал, учился, делал сотни заметок для завтрашнего дня... И вот, когда пришел этот завтрашний день, уж некому осуществить этих блестящих замыслов...

— Хорошо, что покойник оставил планы свои и предположения...— слышится около.

— Почему хорошо?

— При случае ими можно воспользоваться!

— А кто кроме него самого в состоянии выполнить его планы... Где другой такой?..

«Со святыми упокой»,— слышится печальный мотив панихиды.

Все встали на колени...

И почему-то с удивительной ясностью вспомнилось мне в эти минуты все его прошлое... Целая эпопея, пережитая им... Картина за картиной, то под дождем болгарской осени, то в снеговых буранах балканской зимы, то в золотых сожженных солнцем хивинских степях, то в волшебной рамке Босфора и Византии... Теперь пора рассказать о нем... Я был около него в тяжелые и радостные дни, я с ним встречался и после, со мной он был откровеннее, чем с другими... Обо многом мы мыслили далеко не одинаково... Я не разделял его взглядов на войну, не понимал его боевого энтузиазма; мы подолгу спорили по разным вопросам народной жизни, но я его любил, я видел в нем гения, тогда когда вражда и зависть шипели кругом, когда змеиные жала не щадили этой нервной организации, этого живо чувствовавшего сердца... Мне выпала честь в прошлую кампанию первому рассказать о нем, о его подвигах и доблестях, теперь я хотел отдать ему последний долг, нарисовав в беглых очерках не только богатыря, но и человека...

II

Кажется, недавно было, а уже легендой становится! В июне 1877 года любовался я с журжевского берега на Дунай.

Синяя ширь его была покойна. Ни малейший порыв ветра не колыхал заснувшую волну... Солнечные блики ярко расплывались по неподвижному зеркалу реки; направо далеко-далеко в полуденном зное и блеске точно млели низменные, сплошь заросшие свежим густолесьем острова... Из-за них чуть виднелись мачты спрятавшихся там по проливам судов. Заползли от наших орудий в свои тихие убежища и не шелохнутся, только в бинокль рассмотришь, как едва-едва раздуваются пестрые флаги... Сегодня они, впрочем, бесильно повисли вдоль мачт... Еще дальше за ними красивые черепичные кровли турецкого села и высокий белый минарет... Около вооруженный глаз различает и желтые валы батарей и неподвижных часовых. Цапли на стрехе деревенской хатки торчат так же, как и эти турецкие солдаты. Зеленые облака садов приникли прямо к воде... Иной раз ветер тянет оттуда раздражающую струю густого аромата, в котором слились тысячи дыханий давно уже распустившихся цветов... Еще далее направо — пологая гора, сплошь заставленная белыми палатками громадного лагеря. На са-

мой вершине ее, точно зверь, притаившийся перед последним прыжком, едва-едва намечивается грозный форт Левант-Таби...

Я засмотрелся и на сверкающие воды Дуная, и на тихие берега его, погрузившиеся в какую-то мечтательную дрему... Не хотелось верить в возможность войны и моления здесь, среди этого идиллического покоя, едва-едва нарушаемого криком чаек... Вон из-за горы, на которой чуть-чуть наметился форт, виноградники, сады Рущука, целое море черепичных кровель, тополей, старающихся перерастить минареты, минаретов, все выше и выше поднимающих к безоблачному небу свои белые верхушки с черными черточками балконишков, с которых муэдзины выкрикивают всему правоверному миру меланхолические молитвы когда-то торжествовавшего здесь ислама... Вон черные купы кипарисов... У самого берега броненосцы замерли в воде — белые трубы ни одного клуба дыма не выбросят в прозрачный воздух... Точно железное сердце их перестало биться и крепкой броней покрытая грудь не дышит... Грузная масса главной мечети слепит глаза... Ее вершина, словно серебряная звезда, горит над городом... А вот и самая гавань с яркими флагами и вымпелами перед домами консулов, с целой стаей лодок, катеров, мелких парходиков и с тысячами народа, сбившегося к воде.

— С кем имею честь!.. — слышалось за иною.

Смотрю — молодой, красивый генерал... «Слишком изящен для настоящего военного», — подумал я было, но, всмотревшись в эти голубые, решительные глаза и энергичную складку губ, тотчас же взял свою мысль обратно.

Я назвался.

— Очень приятно... Не легкая у вас обязанность... Корреспондент — это бинокль, сквозь который вся Россия отсюда смотрит на нас. Вы ближайшие свидетели, и от вас зависит многое... Показать истинных героев и работников, разоблачить подлость и фарисейство... Я вас еще не видел... Я — Скобелев.

— Я был у вашего отца вчера...

— У паши? — сорвалось у молодого генерала... Он засмеялся... — Это моя молодежь отца пашой называет. Жаль, что я вас не видел. Вы где остановились?..

Я сказал.

— Вот сейчас музыка начнется!

— Какая? — удивился я.

— Да вот видите ли: стоит отцу или мне показаться здесь, чтобы вот с той батарейки открыли огонь...

«Музыка» началась скорее, чем я ожидал. Белый клубок точно сорвался вверх с желтой насыпи турецкой батареи. Через три или четыре секунды послышался гул далекого выстрела и, словно дрожа в теплом воздухе, с долгим стоном пронеслась вдалеке граната и шлепнулась в Дунай, взрыв целый фонтан бриллиантовых брызг.

— Недолет! — спокойно заметил Скобелев.

Вторая граната пронеслась над нами и разорвалась где-то позади.

— Перелет. Теперь, если стрелки хороши, — должны сюда хватить..

Точно и не в него это, точно он зритель, а не действующее лицо.

Третья и четвертая граната зарылись в берег близко-близко, когда из Журжева прискакал молодой ординарец.

— Ваше превосходительство, пожалуйста..

— А что?. Паша разозлился?

— Димитрий Иванович сердится.. Напрасно перестрелку начинаете.

Скобелев улыбнулся своей мягкой, доброй улыбкой.

— Ну, пойдём..

Это было довольно обыденное удовольствие Скобелева. Он уходил на берег с небольшим кружком офицеров, а турецкая батарея точно только этого и ожидала, чтобы открыть огонь по ним.

— Зачем вы это делаете?

— Ничего... Обстреляться не мешает.. Пускай у моих нервы привыкнут к этому.. Пригодится..

Иногда и сам «паша» присоединялся к молодежи. Он стоял под огнем спокойно, но все время не переставал брюзжать...

— Ну чего ты злишься, отец? Надоело тебе, так уходи.. Оставь нас здесь.

— Я не для того ношу генеральские погоны, чтобы этой сволочи, — кивал он на тот берег, — спину показывать.. А только не надо заводить.. Чего хорошего? Еще чего доброго..

— Набальзамируют кого-нибудь?

«Набальзамируют» на языке молодого Скобелева значило «убьют».

— Ну да.. набальзамируют.

— Вот еще.. куда им. А впрочем, на то и война.. Что-то уж давно без дела торчим здесь — скучно. У нас в Туркестане живей действовали..

— Хотите, отец сейчас уйдет? — обращался к своим Скобелев, когда тот уж очень начинал брюзжать.

— Как вы это сделаете?

— А вот сейчас... Папá... Я, знаешь, совсем поистратился... У меня ни копейки.— И для вящего убеждения Скобелев выворачивал карманы...

— Ну вот еще что выдумал... У меня у самого нет денег... Все вышли.

И крайне недовольный, «паша» уходил назад, оставляя их в покое.

Обрадованная этим, молодежь брала лодки, сажала туда гребцами уральских казаков и отправлялась на рекогносцировки по Дунаю — под ружейный огонь турок...

Это называлось прогулкой для моциона.

В сущности, тут было гораздо больше смысла, чем кажется с первого взгляда. Во-первых, и казаки, и офицеры при этом приучались к огню, приучались не только шутить, но и думать, соображать под огнем; во-вторых, развивалось удалство и презрение к смерти, столь необходимое истинно военным, а в-третьих, изучался Дунай с его островами и берегами... В одной из таких рекогносцировок участвовать привелось и мне. Небольшая рыболовная лодочка забралась в лабиринт лесистых островов Дуная, заползала во все их закоулки. Точно выслеживала в них кого-то... Небольшой турецкий пикет, засевший где-нибудь, хотя бы с верхушек этих же деревьев мог наверняка перебить нас всех.

— Ну что, нервы молчат? — обернулся к нам Скобелев.

— Да!

— Значит, из вас прок будет!..

Вскоре после этого как-то еду я в экипаже из Баниаса в Журжево...

По пути двигаются маленькие отрядцы солдат, идущих в Журжево, Слобозию и Малоруж к своим частям. День был жаркий, все обливались потом. Степь, переполненная солнечным светом, слепила глаза... Издали, нагоняя нас, показалась кавалькада — молодой Скобелев с двумя или тремя своими офицерами. Наехал на кучку солдат-пешеходов.

— Здорово, братцы.

— Здравия Желаем, ваше-ство!

— Трудно идти... Жарко!

— Трудно, ваше-ство...

И солдаты скрючились, понурились... Ранцы оттягивают, жидовские сапоги незабвенного Малкиеля жмут ногу. А тут еще по самую ступицу в песок уходишь...

— Ну-ка попробую и я с вами.

Генерал сошел с коня, отдал его казаку...

— Поезжай-ка в Журжево... Прощайте, господа. Я вот с этими молодцами...

И пошел пешком... Спустя минуту между солдатами слышался смех, шутки... Толпа ожила... Песни запели — генерал подтягивает...

— О чем он говорил с вами? — спрашиваю потом у одного из них.

— Орел!.. Только как это он солдатскую душу понимать может — чудесно... Точно свой брат... У одного спрашивает — когда офицером будешь? Тот, известно, смеется... Ни-коли, ваше-ство, не буду. Ну и плохой солдат, значит... Вот мой дед, точно такой же мужик был, как и ты, из сдаточных... Землю пахал, а потом генералом стал!..

— Он ведь наш!.. — заметил другой солдат.

— То есть, как наш? — удивился я.

— Он самого правильного, как есть мужицкого природу!.. — с гордостью подтвердил он.

— Из наших, брат, тоже — настоящие выходят. За ним — как у Христа за пазухой.

— Сказывают, евоный дед прежде был Кобелевым, а потом его как произвели — в Скобелевы пустили...

Потом такие прогулки с солдатами стали для Скобелева обычным делом. Тут он знакомился с ними, да и они его узнавали.

— Ен, брат, к тебе в душу живо влезет.

— Ен, вот как, надо прямо говорить, сто сажон сквозь землю видит!

— На ево страху нет... Ен себя покажет.

И действительно показал...

III

Первый раз под настоящим огнем его видели на Дунае 6 июня. В четырех верстах от Журжева к востоку — казачья вышка и построенная саперами хижина. Тут стоял пикет, а около лагерь — 30-го донского казачьего полка, сотня пластунов и небольшой отряд саперов. Это место называ-

лось — Малоружем. Напротив на турецкой стороне Дуная — холм с сильным фортом, от которого вплоть до Рущука тянулся фронт хорошо вооруженных батарей. Оттуда на наш берег в Малоруж стреляли беспрестанно. Турки почему-то особенно невзлюбили это место — совершенно достаточная причина, чтобы его полюбил М. Д. Скобелев, ежедневно предпринимавший сюда поездки. Вся местность тут была изрыта турецкими снарядами — Скобелев живо приучил здешние войска не бояться гранат, и даже молодые солдаты уже считали постыдным кланяться туркам под выстрелами... Саперы рылись здесь как кроты, выдвигая батарею за батареей, и любоваться на их работы очень любил покойный. В день, о котором мы рассказываем, — съехалась к пластунам целая компания корреспондентов русских газет. Гг. Федоров, Каразин и я. Пластунский лагерь весь состоял из рваных бурок, подвешенных на колья; палаток не полагалось этим молодцам, щеголявшим только своим оружием. Целый день рассказывали нам о характерных выходках Баштанникова (обезглавленного потом на Шипке турками, измучившими предварительно этого храброго и симпатичного офицера-пластуна) — любимца Скобелева. Баштанников вместе с молодым генералом от нечего делать придумывали всевозможные штуки. То они, бывало, наберут хворосту и, связав его наподобие челна, поверх сажают сноп, как будто казака в бурке, воткнут в него жердь, которая должна изображать пику, и пустят по течению Дуная. Турки присматриваются, присматриваются и вдруг по воображаемому пловцу откроют огонь — да всем берегом. Тысячи глупых выстрелов летят в пространство, разбуженные ими турки в лагерях выбегают, начинается тревога... Случалось, что по таким снопам хвороста били даже турецкие батареи. А то нароют на берегу за ночь земли, свяжут солому вроде медных пушек, да и вставят в импровизированные амбразуры. Турки, увидев отражение первых солнечных лучей на золотистых снопах, открывают самый озлобленный огонь, тратят массы снарядов по этим новым, якобы за ночь выстроенным русскими, батареям... Ночью Скобелев вместе с пластунами зачастую переправлялся на ту сторону к туркам и хозяйничал у них вволю, удовлетворяя, таким образом, потребностям своей непоседливой и неугомонной натуры...

— Это настоящий... Это — наш! — говорили пластуны о Скобелеве.

В ночь, о которой я рассказывал, пластуны, став в кружок, пели свои очень характерные, нигде до тех пор мною не

слышанные, торжественно-меланхолические песни, напоминающие церковные мотивы. В сумерках южной ночи, когда вдалеке разгорались лагерные костры, а звезды все ярче и ярче мерцали с недостигаемой высоты, песни эти производили глубокое впечатление.

— Мало, мало старых пластунов! — вздыхал Баштанников, оглядывая своих.

— А новые разве плохи?

— Нет, не то... А к тем сердце приросло... Вместе по ночам крались к врагам, высиживали в засадах... Кто в могиле, а кто дома обабился!..

Потом стало их еще меньше... Это — редкий и специальный род войска — а их заставляли ходить в атаку, как пехотинцев.

Турки почти всех их и перебили.

Костры разгорались, яркими красными пятнами выделялись они из густого сумрака далее... Позади стоял говор. Песни смолкли, только одна какая-то тоскливая доносилась издали, словно оплакивая кого-то...

Что это?.. Будто щелкнуло вдали... Еще и еще... Мы вскочили и бросились к лошадям... Сухая трескотня выстрелов усиливалась... Нервное ожидание общего боя росло и росло... Лагерь с глухим шумом подымался. Строили коней.

— Где полковой командир?.. — из мрака наехал прямо на нас казак.

— Чего тебе? — отозвался Д. И. Орлов.

Тот что-то прошептал ему...

— Вторая сотня, на коней!

Спустя две или три минуты темная масса уже построившейся сотни двинулась по направлению к выстрелам. В пятидесяти шагах мы уже не различали ее движения.

Перестрелка разгоралась... Скоро вся окрестность гремела... Глушило остальные звуки... Вот точно звездочка прокатилась по небу...

— Ишь, шрапнелями начал! Дело серьезное.

Гулкие удары орудия на минуту покрыли ружейную трескотню... Еще и еще...

Журжевские батареи стали отвечать туркам.

В это время на берегу, под выстрелами, в белом кителе, верхом на белом коне показался Скобелев.

Можно было подумать, что он на бал разрядился.

— Разве бой не бал для военного? — ответил он кому-то. — Вот теперь весело стало... Наконец.

— Неужели вы радуетесь бою?

— А что ж военному плакаться на него... Это наша стихия...

Уже тогда он поразил всех находчивостью, завидным умением думать и смеяться под огнем.

Стал закуривать папиросу... Шрапнель разорвалась у него над головой, рука со спичкой даже и не вздрогнула.

— Обидно видеть такое спокойствие...— заметил кто-то из его товарищей.

— У меня, голубчик, почти десять лет боевой практики позади.. Погодите, через несколько времени и вы будете спокойны

Немного спустя, когда перестрелка замерла, когда темная южная ночь окутала опять нас своими поэтическими сумерками,— Скобелев во весь карьер мчался в Журжево. Ветер дышал прямо в лицо ему, генерал неся быстро, быстро и, точно не довольствуясь этим, еще понукал разгоревшегося коня...

— Весело! — кинул он кому-то, попавшемуся навстречу...

Так и веяло от него силой, жизнью, энергией...

Вскоре после того он с несколькими офицерами генерального штаба на берегу Дуная остановился во время рекогносцировки. Повернули коней кружком головами один к другому и начали обсуждать выгоды или невыгоды данной местности. Скобелев, так как тут был военный агент-иностранец, по-французски излагал свое мнение... В это время послышался какой-то грохот... Граната упала посередине круга, с визгом разорвалась, взрыла вверх целую тучу земли, обдала кобьями лица совещающихся. И в то мгновение, когда каждому приходил в голову неизбежный вопрос: цел ли я, целы ли товарищи,— послышался ниславо не изменившийся, спокойный голос Скобелева.

— Et bien, messieurs, resumons!..*

И он с той же ясностью начал излагать свои выводы, как будто бы только что ничего не случилось, точно ветка хрустнула под копытом коня...

В это время армия уже отметила его.. Он уже становился кумиром офицеров и солдат...

Богатырь, легендарный витязь выросла и формировался в общем сознании боевой молодежи, и только тупоумие да педантизм смотрели на него с недоверием и завистью!..

И это недоверие и эта зависть прекратились только со смертью Михаила Дмитриевича.. Только теперь притаились они..

* Хорошо, господа, сделаем вывод!. (Ред.)

У нас, чтобы быть оцененным, чтобы получить только принадлежащее по праву — нужно умереть...

Подлое время и подлые люди!.. Сколько теперь нашлось у него друзей — и как мало их было тогда...

Как он умел говорить с солдатами, знают те, кто видел его с ними. Они понимали его с полуслова — и он их знал «дотла», как выразился один «из малых сих». Мне рассказывали, например, об уроке атаки на батарею, данном им новобранцам. Стояло их человек сто...

— Ну, братцы, как же вы пушку станете брать?

— А на уру, ваше-ство.

— Ура — урожай... А вы умом-то раскиньте... Знаете ли, что такое картечь?.. Ну вот бросились вы, уру закричали — неприятель выпалил из орудия, двадцать человек вас легло... Сколько вас теперь осталось? Восемьдесят... Уйдите двадцать человек... Это вот убитые, слышите ли... Их уж нет... Ну, а вы что будете делать, половчей чтобы вышло...

— А мы, ваше-ство, покуль он опять заряд, значит, положит, тут на него и навалимся... Штыкой его...

— Ну теперь молодцы, ребята... Значит, поняли меня. Пойдем кашу есть...

И генерал взял деревянную ложку у первого попавшегося солдата и засел за общий котел...

— Ен, брат, и ест-то по-нашему,— говорили они потом, хотя едва ли кто-нибудь другой был так избалован в этом отношении, как Скобелев...

Отсюда понятно, почему уже первое время прошлой войны, до перехода нашего через Дунай, популярность его в войсках Журжевского отряда росла не по дням, а по часам. Сначала ему удивлялись, потом невольно поддались могущественному обаянию Михаила Дмитриевича и привязались к нему, как дети. Я, разумеется, говорю о солдатах и о молодых офицерах. Очень многие в этот начальный период смотрели на него как на чужого, как на победителя каких-то азиатских «халатников». Ему уже и тогда завидовали, завидовали его молодости, его ранней карьере, его Георгию на шее, его знаниям, его энергии, его умению обращаться с подчиненными... Глубокомысленные индюки, рождавшие каждую самую чахоточную идейку с болезненными потугами беременной женщины, не понимали этого деятельного ума, этой вечно работавшей лаборатории мыслей, планов и предположений...

— Как им любить его,— говорил один из лучших генералов прошлой войны, разом сошедшийся со Скобеле-

вым.— Помилуйте, сидели они чинно за столом, плавно курлыкали, все это так хорошо и спокойно было; вдруг грохот: проваливается крыша и прямо на стол сверху летит Скобелев с целым чемоданом новых идей, проектов, знаний о вещах, до сих пор этим индюкам неизвестных...

Дошло до того, что победителя «халатников» всякая гремучая бездарность и напыщенная глупость стала третировать, как мальчика...

— Вам слишком легко, почти даром достались ваши Георгии... Теперь заслужите-ка их! — говорили ему, и самолюбивый Скобелев, знавший себе цену, целые недели потом ходил зеленый, с разбитыми нервами, измученный... Не тогда ли у него стала развиваться болезнь сердца, сведшая его в раннюю могилу, если только эта болезнь была у него.

Случалось так, что Скобелеву и говорить не давали.

Питерские наполеоны только фыркали, когда победитель «халатников» предлагал тот или другой план, а когда он переходил к действиям, его просто обрывали. Этого военного гения, которого академия теперь признала равным Суворову, даже прямо оскорбляли. Раз он сделал какую-то рекогносцировку, которую считал крайне необходимой...

— Ступайте и сидите у моей палатки, пока я позову вас! — высокомерно оборвали молодого генерала, и тот, приехав в Зимницу, заболел от тоски и обиды...

— Знаете,— обратился он ко мне,— брошу я все это, отпрошусь обратно в Россию и, когда кончится война, сниму военный мундир и стану служить земству... В деревню уеду... Верите, силы нет... Сознаешь, что делается не то — а скажешь, так хорошо еще, если внимание обратят... Трудно, ах трудно!

И часто слышались слезы в голосе молодого генерала, когда он возвращался после таких неудачных попыток.

Нужно отдать справедливость генералу Драгомирову. Он едва ли не первый оценил этот боевой гений в Скобелеве. Бывший военный министр Милютин тоже ранее других отметил молодого генерала.

IV

А между тем он меньше, чем кто-нибудь был доволен собой. В Журжеве, в Бии, в Зимнице, точно так же как потом в траншеях под Плевной, Скобелев учился и читал беспрестанно. Он умел добывать военные журналы и сочинения на

нескольких языках, и ни одно не выходило у него из рук без заметок на полях, по словам специалистов, и тогда уже обнаруживавших орлиный взгляд белого генерала. Интересно, в чьих руках находятся теперь эти книги. В высшей степени любопытно было бы проследить по ним, как мало-помалу из богатыря и витязя вырастал в Скобелеве полководец, «Суворову равный», по прекрасному выражению академии.

Учился и читал Скобелев при самых иногда невозможных условиях. На биваках, на походе, в Бухаресте, на валах батарей под огнем, в антрактах жаркого боя... Он не расставался с книгой — и знаниями делился со всеми. Быть при нем — значило то же, что учиться самому. Он рассказывал окружавшим его офицерам о своих выводах, идеях, советовался с ними, вступал в споры, выслушивал каждое мнение. Вглядывался в них и отличал уже будущих своих сотрудников. Нынешний начальник штаба 4-го корпуса генерал Духонин так, между прочим, характеризовал Скобелева.

— Другие талантливые генералы Радецкий, Гурко берут только часть человека, сумеют воспользоваться не всеми его силами и способностями. Скобелев напротив... Скобелев возьмет все, что есть у подчиненного, и даже больше, потому что заставит его идти вперед совершенствоваться, работать над собой...

Иногда среди товарищеских пирушек с молодежью он вдруг задавал серьезные военные задачи. Стаканы в сторону, и тесный круг сдвигался еще теснее, задумываясь над разрешением запутанного боевого вопроса... Скобелев был молод — и любил женщин, но по-своему. Он не давал им ничего из своего я. Он говорил, что военный не должен привязываться, заводить семьи...

— Игнатий Лойола только потому и был велик, что не знал женщин и семьи... Кто хочет сделать что-нибудь крупное — оставайся одинок...

Ему очень нравилась какая-то француженка в Бухаресте... Как-то он добился свидания с ней. Представьте себе ее изумление, когда посредине горячего разговора он вдруг остановился, задумался, пошел к столу, вынул какую-то книгу и погрузился в чтение, по временам что-то отмечая на карте. Точно так же зачастую он уходил с обеда к себе наверх, и ординарцы, посылавшиеся к нему, заставляли его за книгами... Потом, чтобы не терять время, он приказал своему адъютанту носить с собой постоянно записную книжку. Приходила генералу какая-нибудь счастливая идея, вопрос,

и они сейчас же заносились туда. Разговор с ним уже и в начале войны был очень поучителен. Он умел расшевелить ум у человека, заставить его думать.. Для этого он не останавливался ни перед чем.

— Мало быть храбрым, надо быть умным и находчивым! — говорил он своим, хотя на храбрых людей у него была какая-то жадность. Узнав о каком-нибудь удалце, он не успокаивался, пока не переводил его в свой отряд... Для этого он пускался на всевозможные хитрости, дружился с офицером, упрашивал его начальство и в конце концов таки добился, что в дивизии у него были молодцы на подбор.

Не только молодому офицеру, но и солдату белый генерал был товарищем.

Едет он как-то в коляске. Жара невыносимая, солнце жжет... Видит, впереди едва-едва ковыляет солдат, чуть не сгибающийся под тяжестью ранца..

— Что, брат, трудно идти?

— Трудно, ваше-ство...

— Ехать-то лучше... Генерал вон едет, полегче тебя одетый, а ты с ранцем-то идешь, это не порядок... Не порядок ведь?

Солдат мнется.

— Ну, садись ко мне...

Солдат колеблется... шутит, что ли, генерал..

— Садись, тебе говорят...

Обрадованный кирилка (так мы называли малорослых армейцев) лезет в коляску...

— Ну что, хорошо?

— Чудесно, ваше-ство.

— Вот дослужись до генерала и ты будешь ездить так же.

— Где нам.

— Да вот мой дед таким же солдатом начал — а генералом кончил... Ты откуда?

И начинаются расспросы о семье, о родине...

Солдат выходит из коляски, боготворя молодого генерала, рассказ ему передается по всему полку, и когда этот полк попадает в руки Скобелеву — солдаты уже не только знают, но и любят его...

Раз в Журжеве идет он по улице — видит, солдат плачет

— Ах ты баба!.. Чего ревешь-то? Срам!..

Солдат вытягивается.

— Ну чего ты... Что случилось такое?

Тот мнется...

— Говори, не бойся..

Оказывается, получил солдат письмо из дому... Нужда в семье, корова пала, недоимка одолела, — неурожай, голод.

— Так бы и говорил, а не плакал. Ты грамотный?

— Точно так-с.

— И писать умеешь?

— Умею.

— Вот тебе пятьдесят рублей, пошли сегодня же домой, слышишь... Тебе скажут, как это сделать... Да квитанцию принеси ко мне...

Отзывчивость на чужую нужду и горе до конца не покидала Скобелева. Мне рассказывал Духонин, что Михаил Дмитриевич не брал никогда своего жалованья корпусного командира. Оно сплошь шло на добрые дела. Со всех концов России обращались к нему, даже часто с мелочными просьбами, то о пособии, то о покровительстве, то о заступничестве. Обращались и отставные солдаты, и мещане, и крестьяне, и священники... Раз даже какая-то минская баба прислала письмо о пролитом *мужем* полушубке. К чести Скобелева нужно сказать, что в этом случае для него не было ни крупных, ни мелких просьб. Он совершенно правильно рассуждал, что для бабы зимний полушубок так же нужен, как отставному притесняемому деревней солдату — его пропитание. *И ни одна такая просьба не была оставлена без внимания.* Он посылал деньги, хлопотал, просил... В Москве раз я иду с ним по Никольской. Вдруг кидается к нему какой-то крестьянин.

— Сказывают, батюшко-генерал, ты и есть Скобелев.

— Я...

— Спасибо тебе, родимый... Вызволил ты меня... Из большой беды вызволил... Дай тебе Бог...

— Когда, в чем дело... Я ничего не понимаю.

— Писал я к тебе... Затеснила меня уж очень волость...

— Ну?

— А тут отставной солдат один был — пиши, говорит, к Скобелеву, ен услышит, будь спокоен... я и послал тебе письмо... А ты губернатору нашему приказал не трогать меня... Меня и успокоили... Спасибо тебе, защитник ты наш...

И бух мужик в ноги...

Вот тайна этой изумительной популярности, вполне заслуженной покойным генералом.

— Тысячи писем приходилось писать и пособия рассылать таким образом! — сообщал мне Духонин. — Ни одно письмо к нему не оставалось без ответа...

Решительность и способность к инициативе была в нем громадная и сказывалась во всем. Он и в других любил это качество.

— Отчего это вы не были с нами? — спросил он раз меня, после одного дела в Журжеве.

— Да я просил у вашего отца.

— У «паши»... Ну и он отказал вам?

— Да...

— А вы вперед не спрашивайтесь, а прямо поезжайте... Если спрашиваетесь — значит, и вы сомневаетесь, и другого заставляете сомневаться, можно ли... А коли прямо едешь, так и вопрос о возможности уж тем самым решен. Я вообще терпеть не могу спрашиваться. Берите на свою ответственность и не спрашивайтесь впредь.

Потом я оценил этот совет вполне...

Под конец журжевской стоянки и потом в Систове Скобелеву приходилось уж невтерпеж. Слишком стали его травить доморощенные Александры Македонские.

Только было заикнется Скобелев о своем боевом опыте:

— Ну, вы опять про ваших халатников!.. Это совсем другое дело... Вы там по вашим степям черепахами ползали, а мы перелетим орлами...

— Крыльев-то хватит ли?..

— Весь план кампании так рассчитан: позавтракаем мы в Систове, пообедаем на Балканах, а поужинаем в Константинополе!..

— Ну, давай Бог...

— Уж вас не спросим... Вам-то Георгии там легко доставались...

И куда смыло потом после первого похода за Балканы и трех Плевен этих высокомерных стратегов... Тише воды, ниже травы стали они, словно мокрые курицы опустили свои еще накануне встопорщенные крылья... У Скобелева раз о таком, ныне, впрочем, уже покойном герое, вырвалась меткая фраза...

— Сам себя разжаловал!

— Как это?

— Да из Александров Македонских — в Буцефалы. И чудесно под седлом ходит, всяким аллюром!..

Больше всего в это время, как и потом, вредили Скобелеву его друзья. Не те боевые товарищи, которые действительно знали и любили его, а петербургская больше-светная опрометь, записавшаяся в дружбу к молодому генералу и в виде вящего доказательства этой дружбы

рассказывавшая о нем Бог знает что. Некоторые из них своевременно наезжали в Ташкент за Георгиями, прикомандировывались к Скобелеву в Фергану и, не получив крестика, с бешенством возвращались назад, распуская о Михаиле Дмитриевиче самые чудовищные слухи. Один, например, лично уверял меня, что Скобелев не храбр.

— Помилуйте, он трус... Совсем трус. Всего боится.

Встречаюсь я с ним после войны.

— А трус-то ваш богатырем оказался!

— Да ведь это его корреспонденты таким изобразили.

— Ну а войска, рассказы тысячи очевидцев?

— Тогда, значит, он из честолюбия.

Геок-Тепе заставило замолчать всех таких. Там уже при генерале не было корреспондентов — дело говорило само за себя.

V

За несколько дней до 7 июня Скобелев находился в нервном настроении. Целые ночи он не спал. То рыскал вдоль берега, то с двумя, тремя гребцами из казаков объезжал дунайские острова, а раз даже перебрался на турецкую сторону и сам высмотрел, что у них делается около Рущука. Напрасно было говорить ему об опасности подобных предприятий. Всякая опасность — только еще более придавала в его глазах прелести задуманному делу. Без опасностей, без кипучей работы — он начинал хандрить, скучать, становился даже капризен, как женщина. Но начиналась работа, и Скобелев был неузнаваем. Перед вами обрисовывался совсем другой человек... Исследовав Дунай с его островами и берегами, он нашел себе по ночам другое дело. Началась постройка батарей, которые старались замаскировать так, чтобы неприятель никак бы не мог к ним пристреляться. Молодой генерал вечером выезжал к саперным командам, сооружавшим земляные насыпи, и только утром возвращался оттуда... Раз как-то солдаты заленились или устали, а профиль батареи должно было непременно закончить к утру.

— Хорошо, если бы оттуда, так, сдуру, стрелять начали, — показал он на турецкий берег

— А что?

— Посмотрите, как живо двинулась бы работа! С лихорадочной поспешностью стали бы строить!

И действительно, знание солдата ему не изменило. Не успел еще он окончить своей фразы, как по ту сторону точно открылось чье-то красное, пламенное око. Открылось и опять смежило веки. Послышался гулкий удар дальнобойного орудия, и скоро граната с громким металлическим стоном разорвалась около батареи. Лопаты саперов заработали гораздо быстрее. Солдаты торопливо начали набрасывать землю, оканчивая бруствер и траверсы «Это всегда помогает!» — обернулся к нам Скобелев.

— Когда вы спите? — спрашиваю я как-то у него.

— Я могу сутки спать не просыпаясь и могу трое суток работать, не зная сна...

И действительно, счастливая организация Скобелева позволяла это. Когда было решено заградить минами течение Дуная у Парапана, тогда он совсем уже ушел в работу. И день и ночь его встречали то там то сям. Уже в самом начале войны обнаружилась в нем черта характера, с таким блеском выделившаяся впоследствии. Он не верил никому, всегда сам изучая местность. Никакими в этом отношении кроки нельзя было заставить его сделать то или другое распоряжение. Он непременно ехал сам, вглядывался и находил много деталей, упущенных офицерами... Малейшая неровность местности, жалкий ручей, пригорок, все это было слагаемыми для его комбинаций, выигрывавших ему бой. Так и в деле при Парапане. Еще не успели определенно назначить день для минных заграждений, как Скобелев уже изучил местность так, что бывшим тут же офицерам генерального штаба пришлось только удивляться ему. Для прикрытия смелой атаки миноноски «Шутка» назначен был 15-й батальон из знаменитой впоследствии 4-й стрелковой бригады, которую Скобелев прозвал «железной»... Когда батальон выстроили, командир, теперь уже не помню кто, обратился к солдатам:

— Охотники — вперед!

Весь батальон как по команде шагнул вперед.

— Это лучше! — заметил Скобелев. — По-моему, никаких охотников не должно быть.. Каждый должен быть охотником! — И впоследствии Михаил Дмитриевич очень редко, в самых исключительных случаях прибегал к этому приему. Он всегда старался доводить солдат до того, чтобы среди них все были «охотниками».

— Дело должно быть праздником для военного... Какие же тут охотники..

Было выбрано 120 солдат, к ним командировано трое офицеров. Вместе с сотней уральских казаков и полевой батареей это составило небольшой отряд прикрытия минных работ. Офицеры было повели их, когда Скобелев остановил пехоту.

— Пойдите... Так нельзя... Солдат должен всегда знать, куда и зачем он идет... Сознательный солдат в тысячу раз дороже бессознательного исполнителя... Уральцам я уже объяснил...

— Здорово, молодцы!

Те ему ответили.

— Знаете ли, куда вы теперь идете...

Солдаты стали мяться...

— В Барабан, ваше-ство!

— Ну все равно, Парапан или Барабан... А зачем?

— Турку бить!..

— Турка бить всегда следует... Как твоя фамилия?

— Егоров, ваше-ство!

— Видно, что удалой... Скоро Георгиевским кавалером будешь... А только мы теперь вовсе не турку бить идем... Нам, брат, нужно другое дело обработать... Скоро мы на ту сторону Дуная перебросимся, поняли?..

— Поняли, ваше-ство!

— Ну, то-то... Сидеть-то у молдаван надоело... Все на одном месте... Здесь без галагана * никуда не пустят... Да и работы солдату мало...

— Это точно...

— Ну вот... Мы воевать пришли, а неприятель на той стороне, он к нам не придет — ему у себя чудесно, нам нужно его выбить оттуда... Выбьем ведь, орлы?..

— Рады стараться!.. — повеселели солдаты.

— А чтобы выбить, нам нужно перейти через Дунай... Тут-то нам и достанется... Станем мы перебираться туда — турок-то ведь тоже не дурак, он на наши плоты да лодки мониторы свои пустит. Видели вы, какие мониторы, вон, что пыhtят у берега...

— Видели, ваше-ство!

— Они нас и перетопят... Ну, а мы хитрее турка... Мы в воду такие мины погрузим, что ему сквозь них и не проплыть, только он на них наткнется, тут его и взорвет. Мы-то у него перед носом и перейдем реку...

* Мелкая румынская монета.

— Рады стараться!..— сами уже отозвались солдаты, понявшие в чем дело.

— Это совсем не такой, как другие! — толковали потом они между собой.— Этот умный... Понятный!..— Так на первых порах имя «понятного» генерала и осталось за Скобелевым.

Парапан, деревня по прямому направлению от Журжева в пятнадцать, а по дороге — в двадцати верстах. Сады его сползают почти к самому берегу, на возвышении стоит отдельно большой помещичий дом, который на 7 июня был занят штабом Скобелева. Ночь была ясная, теплая, такая, какие знает только благословенный юг с его мечтательным сумраком, с волнами благоуханий, льющихся по ветру, с задумчивым шелестом деревьев и словно теплющимися страстными звездами. Луна светила ярко-ярко, обливая трепетным сиянием райны садов, расстилая по неподвижному Дунаю точно серебряные сети... Именно казалось, что это не блеск месяца зыблется на его водах,— а всплыли наверх и мерещатся влюбленному взгляду северянина серебряные сети какого-то сказочного рыболова... Едва-едва слышный, сонно бился прибой в отмелях... У противоположного берега чудилось словно заколдованное царство, заповедное, недоступное... Среди поэтического молчания этой ночи едва-едва слышались весла восьми лодок, в которых перебирались к острову Мечику, накануне исследованному Скобелевым, пятьдесят человек стрелков и тридцать уральцев...

— Увидят их турки...— волновался генерал, когда среди лунного блеска показались на ярком зеркале Дуная черные с черными силуэтами гребцов и солдат лодки, вырезанные точно из агата... Но там, в этом заколдованном царстве «того» берега было все тихо и вполголоса раздававшаяся команда замирала в теплом воздухе южной ночи...

Остров был залит водой...

Генерал приказал закрепить лодки за стволы каштанов. Солдаты и казаки, сняв сапоги, засели на деревья и будто водяные птицы сбились на немногие сухие клочки земли и на болотины, только что освободившиеся от разлива. Все эхо — в полном молчании... Даже участвовавшие слышали только шорох ветвей да шелест раздвигаемой листвы. С нашего берега остров казался совсем безлюдным. От Молодежоса двинулось перед тем восемь паровых шлюпок, из них две миноноски... На пути всюду им встречались мели, и вместо двух шлюпки явились сюда только к четырем часам, когда уже рассвело. Турецкий берег был залит так называемым «тыльным» светом солнца, так что Скобелев

только с трудом и то в туманных очерках мог различать, что у них делается. Все дрожало там от этого блеска, контуры изменялись, расплывались, точно какая-то яркая дымка висела над этим красивым и зеленеющим гребнем..

— Ну сейчас начнется! — обернулся Скобелев к своим.

— Что начнется?

— Наших заметили!.

Потом оказалось, что зоркий глаз генерала действительно отличил на том берегу прискакавший туда турецкий отряд.

— Вот и пифпафочка!. — улыбнулся Скобелев, когда те открыли огонь по лодкам, уже начавшим погружать торпеды.

— ...Молодцы! — восхищался Михаил Дмитриевич...— Ишь, у самого берега работают.. У меня всегда к морякам сердце лежало.

Действительно, наши катера заработали под носом у турок... Послышался сухой треск беглого ружейного огня с берега, все усиливавшийся и усиливавшийся. Можно было бояться больших потерь.

— Пора и нам!..— И не ожидая приказа отца, молодой Скобелев, официально только начальник его штаба, а в сущности командир всего отряда, приказал береговой батарее тяжелых орудий открыть огонь по этому, состоявшему из двухсот человек скопищу. Расстояние оказывалось очень велико, но первый выстрел был случайно удачен, гранату разорвало в кучке турок, которые рассыпались во все стороны.

Только через час явился турецкий военный вестовой пароход. Его тоже приветствовали выстрелами. Ответные снаряды не долетали до нас. Первый упал за версту до нашего берега, а второй разорвался у самого дула выпустившего его орудия... После одного из таких выстрелов пароход, очевидно, получил повреждение и стал отступать.. Раз он было приостановился, но два паровых катера, служившие для обороны и вооруженные минами, направились на него... Выждав их на двести сажен, громадное пароходище это постыдно повернуло назад и поспешно ударилось в бегство. Вдали в это время наши заметили скрывавшийся до тех пор монитор. Он уже открыл огонь... Тогда начальник шлюпки Наследника Цесаревича «Шутка» подошел к заведывавшему заграждением Новикову, которого все моряки дунайской нашей флотилии называли «дедушкой». Этого Новикова душевно любил и высоко ценил Скобелев. Впрочем, и вся армия уже в Плоэштах знала «дедушку».

— Прикажете идти в атаку?

Новиков послал поцелуй вместо приказа.

— Кусните-ка его! — крикнул в свою очередь Скобелев. — Маленькая собачка, а зубы острые!.. За хвост его!

Я не стану описывать здесь эту замечательную атаку маленькой шлюпки, этой собачки с острыми зубами, по меткому выражению генерала. Бою при Парапане отведено несколько страниц моего «Года Войны» (III том, стр. 79 — 91). Дело в том, что когда «раненая» «Шутка» со своим раненым командиром отступала от монитора, то сей последний в паническом страхе улепетывал от нее... Только в три часа пополудни он опять стал подбираться к месту заграждений. В это же время на берегу показались дымки скрытно стоящих турецких полевых орудий, только что подвезенных сюда с ближайших рущукских батарей... Но монитор оказался очень благоразумным. Скобелев встретил его огнем из наших орудий, и тот поспешил поскорей опять уйти из сферы огня. Зато турецкие стрелки, засевшие в кустах, стали было выбивать наших довольно метким огнем. Таким образом они повредили три минные барки...

— Возьмут, пожалуй!

И Скобелев, долго не думая, верхом бросился вплавь через Дунай.

Скоро его догнали лодки, посланные с берега, и вместе с капитаном Сахаровым — офицером генерального штаба Скобелев, пересев в них, подплыл прямо под огонь турок. В виду неприятельских стрелков они выхватили два баркаса с минами, причем один, разбитый артиллерийскими снарядами, перетасили через косу под градом пуль и то и дело рвавшихся около гранат. Какой-то солдат стал было кувыраться, кланаясь первой пролетевшей пуле.

— Знакомую встретил?.. Ну, поклонись ей еще раз на прощанье... Больше, брат, с ней не увидишься... Срам перед турецкой пулей голову клонить!.. Вот как надо стоять под огнем, видишь!

И пока другие тащили лодки, Скобелев стоял в самом опасном месте, куда больше всего был направлен огонь с неприятельского берега... Пули у самых ног его вбивались в землю, другие около головы сбивали ветви с листьев — он и не двигался.

— Зачем вы это? — спросили у него.

— Нужно было спасти лодки... Солдаты спешили бы слишком и ничего бы не сделали. Ну, а тут видят, генерал стоит впереди. Позади-то им и работать легче... Не так

страшно. Чего-де им бояться, если я не боюсь — везде пример нужен.

— Ну, убило бы?.. И в каком пустом деле...

— Я не привык делить дела на пустые и не пустые. Всякое, за которое я берусь,— серьезно для меня... А если молодые солдаты заметят, что генералы шкуру берегут, так и они на свою тоже скупиться станут.

VI

Через несколько дней после этого генерал начал делать свои знаменитые опыты, стараясь переплыть Дунай верхом.

— Неужели вы не боитесь? — обратился к нему один новичок военного дела в дипломатическом мундире.

— Видите ли, душенька, вы имеете *право* быть трусом, солдат *может* быть трусом, офицеру, ничем не командующему, инстинкты самосохранения извинительны, ну а от ротного командира и выше трусам нет никакого оправдания... Генерал-трус, по-моему, анахронизм, и чем менее такие анахронизмы терпимы — тем лучше. Я не требую, чтобы каждый был безумно храбрым, чтобы он приходил в энтузиазм от ружейного огня. Это — глупо! Мне нужно только, чтобы всякий исполнял свою обязанность в бою.

Представители канцелярского режима в армии и блестящая плеяда парадных гениев и кабинетных мудрецов никак не могли примириться с красивым, полным обаяния мужеством молодого генерала... Когда он стоял под огнем в своем белом кителе, на белом боевом коне, когда он, казалось, вызывал самую смерть, находя величайшее наслаждение в этом постоянном презрении к опасностям, в этом сознании себя человеком, мыслящим, владеющим собой среди ада, в истребительном вихре оргии, которую мы называем войной, когда он сам точно напрашивался на неприятельский огонь — его тогда упрекали в рисовке, в желании щегольнуть своим удалством. Этим господам было невдомек, что гораздо лучше щеголять храбростью, чем громогласно провозглашать, нося военный мундир, фразы вроде: «я удивляюсь мужеству, но не понимаю его», «пускай умирают другие — а я уж покорный слуга», «отвага и глупость идут рука об руку». Гораздо лучше быть примером самоотвержения для солдат и для молодых офицеров, показывать, что генерал, командующий отрядом, как и офицер, которому поручена рота,— должны прежде всего

забыть о себе самом... Даже красивость этой отваги, если позволено будет так выразиться, умение быть изящным в огне — производит гораздо сильнейшее впечатление на окружающих, чем столь же почтенная, спокойная и простая храбрость, присущая вообще нам, русским. И когда Скобелев, таким образом, появлялся уже в начале прошлой войны под огнем, впереди, всегда веселый, разодетый, вдохновенный, лучезарный, как выразился о нем один из его поклонников, — мокрые курицы клохтали.

— К чему эта рисовка, к чему... Он просто хочет доказать, что не даром получил у «халатников» свои кресты.

В это же самое время наиболее простодушная и наиболее проникательная часть армии (ребенка и солдата не надуеть) относилась к опальному герою совершенно иначе. Она отдавала ему справедливость и в молодом орленке, только что еще расправлявшем свои сильные крылья, уже угадывала будущего гениального полководца.. Я помню, раз мы шли вечером по лагерю близ Журжева. Из одной tent-abri* раздавался говор. Вдруг слышалось имя Скобелева.

— Постойте... Это очень интересно узнать, что обо мне говорят солдаты.

— А если бранятся?..

— Тем лучше... Это хороший урок. Вы не думайте. Солдаты очень проникательны при всем своем простодушии... Это такие нелюбезные и неумолимые судьи!. Несмотря на то что этих судей держат в ежовых рукавицах

— Да и дерут даже!

— Только не у меня! — вспыхнул он. — Я скорее расстреляю солдата, чем высеку его. Нет ничего более унижительного!

А в палатке действительно шел разговор о генералах.

— Нет, брат, Скобелев это настоящий... Он, брат, русской природы. Он что твой кочет красуется.

— Ну, уж и кочет.

— Известно. Храбрее кочета птицы нет. Ты видал, как кочеты дерутся... Они, брат, это ловко... И нарядные же. Кочет, брат, никого не боится. Потому он и красуется. Петух, брат, зорек — он свет сторожит!

— А наш-то? — И при этом солдат назвал своего генерала.

— Наш — дудка.

— Как — дудка?

* Военная палатка, открытая с двух сторон.

— А так... Возьми ее кто хошь, дуди с одного конца, а с другого она разговаривать будет... Настоящая дудка. А ен, брат, петух... Петух свет любит, как свет увидит, сейчас и кричит, и всех разбудит...

В другой раз поздно вечером пришлось нам идти по Зимнице.

Опять слышался отрывочный говор, солдаты ссорились с жидом-кабатчиком.

— Вот ты сидишь при всей своей глупости, а мы пойдем да Скобелеву и скажем.

— А и что мене Скобелев?

— Скобелев... Ты думаешь, он спрашиваться станет.

— И чего же он мне сробит?

— Возьмет тебя да и под расстрел, чтобы ты православных воинов не грабил.

— А плевать я хочу на вашего Скобелева! — разозлился жид.

— Ты — плевать... Ах ты, подлое семя!.. Да ты знаешь, кто Скобелев-то?

И началась баталия... Солдаты от слов перешли к жестам, слышался гвалт избиваемого еврея...

— Нет, брат, мы за Скобелева постоим... Он нас в обиду не даст, а уж и мы его не оставим... Будь спокоен!

И для вящего спокойствия Израиля они уже совсем набросились на него.

Разумеется, М. Д. не похвалил солдат за самоуправство в этом случае, как и потом он с негодованием относился ко всякому самосуду.

Мне поневоле приходится писать отрывочно. Это не биография, а воспоминания; их никак не подведешь под одну систему. Нужно разбрасываться, рассказывать, пере скакивать с одного на другое. Говоря об отношении Скобелева к солдатам, нельзя упустить того, с какой настойчивостью он развивал в них чувство собственного достоинства. Он в этом отношении гордился ими — и было действительно чем гордиться. Я не могу забыть одного случая, когда Скобелев остановил любимого из своих полковых командиров, ударившего солдата.

— Я бы вас просил этого в моем отряде не делать... Теперь я ограничиваюсь строгим выговором — в другой раз должен буду принять иные меры.— Тот было стал оправдываться, сослался на дисциплину, на глупость солдата, на необходимость зуботычин.

— Дисциплина должна быть железной. В этом нет никакого сомнения, но достигается это нравственным авторитетом начальника, а не бойней... Срам, полковник, срам! Солдат должен гордиться тем, что он защищает свою родину, а вы этого защитника, как лакея, бьете!.. Гадко.. Нынче и лакеев не бьют... А что касается до глупости солдата — то вы их плохо знаете... Я очень многим обязан здравому смыслу солдат. Нужно только уметь прислушиваться к ним...

Когда впоследствии Скобелев командовал дивизией, он одного полкового командира, только что назначенного к нему, прямо выгнал за то, что тот в интересах дисциплины стал с первого дня культивировать солдатские зубы.

— Мне таких не надо... Совсем не надо... Отправляйтесь в штаб — писарей бить. У меня боевые полки к этому не привыкли

И действительно — дух был поднят до такой степени, что когда при переходе от Плевны к Шейнову одного солдата за что-то хотели высечь, тот прямо явился к Скобелеву.

— Чего тебе?

— К вашему превосходительству.. Меня полковник *** хочет высечь.

— Ну?

— Прошу милости — прикажите суду предать.

— За что это тебя?

Тот сказал.

— По суду тебя расстреляют. И наверное, расстреляют

— Все под Богом ходим.. И так каждый день под расстрелом бывал... А ежели меня так обидают — так я и сам с собой порешу!.. Прикажите под суд!.

— Вот это солдаты! — радовался потом Скобелев.— Вот это настоящие... То, что мне нужно. Смерти не боятся, а боятся позора.

Его корпус и теперь отличается таким духом. В мирное время он умел еще выше поднять в солдате сознание собственного достоинства. Какая трудная задача предстоит новому командиру этого корпуса... И как велика будет его нравственная ответственность, если он не сумеет поддержать того же... Скобелев по долгу и *по-товарищески* (я нарочно подчеркиваю это слово) разговаривал с солдатами, и едва ли где-нибудь была так сильна власть офицеров, так строга дисциплина, как у него... Это был не из тех генералов, которые любят свои войска, когда те находятся от них на приличном расстоянии и кричат « ура ». Напротив, изнеженный, избалованный, брезгливый Скобелев

умел жить одной жизнью с солдатом, деля с ним грязь и лишения траншей, и так жить, что солдату это даже несколько и удивительно не было...

— Видать сейчас, что от земли он! — говорили про него солдаты.

— Как это от земли? — спрашиваю я.

— А так, что дед его землю пахал... Вот и на нем это осталось... Он нас понимать может... А те, которые баре, тем понимать нас нельзя... Те по-нашему ж говорить не могут...

А между прочим «попущения» в его отряде никому не было.

Товарищ в антрактах, на биваке, в редкие периоды отдыха — он во время дела являлся суровым и требовательным до крайности. Тут уже ничему не было оправдания... Не было своих, не было и чужих. Или нет, виноват, своим — первая пуля в лоб, самая труднейшая задача, самые тяжкие лишения.

— Кто хочет со мной — будь на все готов...

Удивлялись, что он дружился с каждым офицером. Еще бы. Прапорщик, по-товарищески пивший вино за одним столом с ним, на другой день умирал по его приказанию, подавая первый пример своим солдатам. Дружба Скобелева давала не права, а обязанности. Друг Скобелева должен был следовать во всем его примеру. Там, где постороннего извиняли и миловали, другу не было ни оправдания, ни прощения...

VII

Меня лично Скобелев поражал изумительным избытком жизненности. Я знаю до сих пор только старика С. И. Мальцова — являющего такой же излишек внутренней силы, энергии, инициативы во всем.

Скобелев был инициатор по преимуществу. С быстротой и силой паровика он создавал идеи и проекты в то время, когда не дрался. Собственно говоря, я решительно не могу понять, когда он отдыхал. Отмахав верст полтора в седле — карьером, сменив и загнав при этом несколько лошадей, он тотчас же принимал донесения, делал массу распоряжений, требовавших не утомленного ума, а быстроты и свежести соображений, уходил в лагери узнать, что варится в котлах у солдат, мимоходом поверял аванпосты и, наконец, закончив все это — или садился за книги, которые

он ухитрялся добывать при самых невозможных условиях, и всегда серьезные, требовавшие напряжения мысли или с энергией глубоко убежденного человека, которому дороги его принципы, вступал в спор с Куропаткиным, со мной, с приехавшим к нему товарищем. Он приводил при этом в доказательство высказанного им тезиса целый арсенал исторических фактов, поименовывал безошибочно цифры, года и имена, указывал литературу данного вопроса. Нельзя было этого, он являлся к молодым офицерам и под видом шутки начинал учить их тому или другому таинству военного дела... Это не был сухой ум, весь ушедший в свое дело. Напротив — и тут избыток жизненности выручал его. Я думаю, все близкие ему люди помнят обеды у Михаила Дмитриевича, где он разворачивался весь в тесном кружке товарищей, умея отзываться на серьезный вопрос серьезно, на шутку шуткой, занимая окружающих мастерскими рассказами, полными юмора, метких определений, наблюдательности... Одному он был чужд всегда — сентиментальности. Ее он ненавидел, над людьми, «зараженными» ею, — тешился. Это, впрочем, будет видно из последующего нашего рассказа. Когда на такой обед попадал кто-нибудь из фазанов (военный хлыщ в малом чине, но облаченный в яркий мундир и притом «свободный от ума» — определялся этим именем), Скобелев умел весьма тонко и как будто незаметно заставить его высказаться. Помимо всяких намерений медведь начинал плясать, показывая смеющейся публике все свои штуки и фокусы... И чем глупее были они, тем лучше чувствовала себя аудитория, состоявшая из загнанных армейцев. Являлось некоторое чувство нравственного удовлетворения. Разница была не в пользу певички, оперенной столь ярко и красиво. Когда подобный обед делался на боевой позиции или в траншее, фазану предстоял еще десерт, очевидно вовсе им не предусмотренный...

— Вы хотели осмотреть положение неприятеля?.. — вкрадчиво и мягко предлагал генерал.

Или:

— Вас, кажется, интересуют траншейные работы турок? — ласково, заманчиво обращался он к бедному фазану.

Неосторожная птица, счастливо улыбаясь, подтверждал все это.

— Ну, генерал сейчас в холодильник его! — шептали адъютанты.

И действительно, Скобелев брал его под руку и выводил... на открытое место между нашими и турецкими

траншеями, часто сближавшимися шагов на 300 или даже на 150. Полоса эта обстреливалась постоянно.

— Это что такое.. это, кажется, пули... — трепетал несчастный фазан. — Свищут как они. Однако тут и убить могут..

— Да, — равнодушно ронял Скобелев и медленно проводил его по «райской дороге». Райской потому, что, идя по ней, легко было попасть в рай. Представляю читателю судить о впечатлениях новичка. С выдержавшим такой искус Скобелев тотчас же мирился, и он делался своим в его кружке. В конце концов он довел дело до того, что фазаны стали осторожны и, несмотря на глупость этих птиц, перестали являться к нему на боевые позиции...

С каждым новым подвигом росла к нему и вражда в штабах.

Особенно прежние товарищи. Те переварить не могли такого раннего успеха, такого слепого счастья на войне. Они остались капитанами, полковниками, когда он уже сделал самую блестящую карьеру, оставив их далеко за собой. Когда можно было отрицать храбрость Скобелева, это ничтожнейшее из его достоинств — они отрицали ее. Они даже рассказывали примеры изумительной трусости, якобы им обнаруженной. Когда нельзя было уже без явного обвинения во лжи распускать такие слухи, они начали удаљство молодого генерала объяснять его желанием порисоваться, но в то же время отмечали полную военную бездарность Скобелева. Когда и это сказалось нелепым, они приписали ему равнодушие к судьбе солдата. «Он пошлет десятки тысяч на смерть — ради рекламы. Ему дорога только своя карьера» и т. д. Явились легенды о том, как там-то он нарочно не подал помощи такому-то, а здесь опоздал, чтобы самому одному закончить дело, тут — радовался чужому неудачу.. Корреспонденты английских, американских, французских, итальянских и русских газет отдавали ему справедливость. Мак-Гахан, Форбс, Бракенбури, Каррик, Гаввелок, Грант помещали о нем восторженные статьи. Что ж из этого — они были им подкуплены! Когда, наконец, военные агенты дружественных нам держав, видевшие Скобелева на деле, стали отзываться о нем как о будущем военном гении — и на это тотчас же нашлись объяснения. Они, видите ли, хотели, чтобы Скобелев представил их к тому или другому ордену и т. д. Удивительно только, как они, эти жаждущие отличий иностранцы, не хвалили именно тех, кто их украшал всевозможными крестами. В конце концов, враги генерала даже во время Ахалтекинской экспедиции злорадно

поддерживали слухи о том, что Скобелев в плену, Скобелев разбит, и замолчали только после ее блестящего окончания. Тут уже говорить было нечего, зато над его трупом, в тот момент, когда кругом все, кому дорого русское дело, были потрясены,— эти господа живо записались в друзья к безвременно погибшему генералу

Я сам помню эти фразы:

— Мне особенно чувствительна эта потеря! Меня так любил покойник!..

— Мы с ним на «ты» были... Только я один понимаю всю великость этой потери...

— Я хороню своего лучшего друга!

Господи! Какая насмешливая улыбка показалась бы на этих бескровных, слипшихся губах, если бы они могли еще смеяться, какой бы гнев загорелся в глазах генерала при этих лобызаниях иудиных, столь обильно сыпавшихся на его холодное и гордое чело, прекрасное даже и после смерти...

И тут же рядом, в виде сожаления, проскальзывали довольно ядовитые намеки.

— Так ли ему умереть следовало!.. Ему бы нужно было пасть в бою — впереди своих легионов.

О, что за дело до того, как человек умер!.. Важно, как он жил и что он сделал... А до того, как умер, — не все ли равно. Поздние сожаления не воскресят его...

После Ахалтекинской экспедиции, когда нельзя было уже безнаказанно распускать слухи о бездарности генерала, во-первых, потому, что на самих рассказчиков начинала падать неблагоприятная тень, а во-вторых, потому, что легковверных слушателей больше не оказывалось,— являлись иные приемы уронить его в общественном мнении. Скобелев оказывался честолубцем...

— У него рот теперь так разинут, что не найдется куска, который бы удовлетворил его аппетиту.

Другие приписывали ему замыслы всемирного могущества. Начинали, со слов немецких газет, указывать в нем — вернейшем слуге России — Наполеона... Глупость за глупостью рождались и быстро расходились в обществе, привыкшем обо всем узнавать по слухам, верить сплетне, не умеющем отличать клеветы от правды.

Когда покойный государь за завоевание Ахал-Теке произвел его в полные генералы и дал Георгия 2-й степени, Скобелев даже сделался мрачен. Это сохранилось и потом, когда он вернулся из экспедиции в Россию.

— Меня они съедят теперь! — говорил он мне. — Скверный признак, слишком уж много друзей кругом... Враги лучше, тех знаешь и каждый ход их угадываешь... С друзьями не так легко справиться...

Надеюсь, читатели простят мне это отступление...

На меня покойный при первом нашем знакомстве произвел обаятельное впечатление.

Как в каждом крупном человеке, в нем и недостатки были крупные, но они ступеньками, прятались, когда он принимался за дело. Избалованный, капризный, как женщина, гордый сознанием собственного превосходства — он умел делаться приятным для окружающих его, так что они просто влюблялись в эту боевую натуру... Самый лучший суд — есть суд подчиненных. Только эти беспристрастны, только они умеют верно определить личность — чуть ли не ежедневно сталкиваясь с нею. От них не спрячешься, их не надуешь, а эти судьи были все на стороне Скобелева... Они умели отличать раздражительность человека, несущего на себе громадную ответственность, работающего за всех, от сухости сердца и жестокости. Они прощали Скобелеву даже несправедливости, зная, что он первый сознает их и покается... Они не завидовали его любимцам, понимая, что чем ближе к нему, тем было труднее... Люди, рассчитывавшие вкрась к нему в доверие, чтобы обделать свои личные делишки, глубоко ошибались. Он видел их насквозь и умел пользоваться ими, их способностями вполне. Человек такого воспитания и среды, к каким он принадлежал, иногда поневоле терпит около себя шутов, но эти шуты у него не играли никакой роли. Напротив!..

— Его не надуешь. Он сам всякого обведет! — говорили про него.

— Он тебя насквозь видит. Ты еще задумал что, а он уж тебя за хвост держит и не пускает! — по-своему метко характеризовали солдаты проницательность Михаила Дмитриевича.

Человеку, полезному его отряду, его делу, он прощал все, но за то уж и пользовался способностями подобного господина. В этом отношении покойный был не брезглив.

— Всякая гадина может когда-нибудь пригодиться. Гадину держи в решпекте, не давай ей иного артачиться, а придет момент —пусти ее в дело и воспользуйся ею в полной мере... Потом, коли она не упорядочилась — выбрось ее за борт!.. И пускай себе захлебывается в собственной мерзости... Лишь бы дело сделала.

Теория, пожалуй, несколько иезуитская, но в сложном, военном деле действительно всякая полезность на счету... В сущности лазутчик военного времени и шпион мирного — профессии одинаковые. Более подлое занятие трудно найти. А между прочим и теми и другими пользуются. Но если порядочное правительство гнушается сыщиками и шпионами мирного режима и только в самой отчаянной крайности прибегает к их неопытным услугам, лазутчики военные являются необходимостью при всех условиях.

— Уж на что гадина, а нужна! — говаривал Скобелев, и хоть сам никогда не входил в прямые сношения с этими господами, но был начеку и знал движения противника и условие местности, где ему приходилось действовать...

— В мирное время, где не грозит прямая опасность моим солдатам, я бы эту сволочь разом выкинул.

В военное — она была нужна!..

VIII

Умение пользоваться людьми у Скобелева было поразительно. Приехал к нему какой-то румынский офицер.

Во всех статьях, как следует, бухарестский джентльмен. Бриллиантовая серьга в ухе, зонтик от солнца в руках, талия, затянутая в корсет, на щеках — румяна... Блестящий мундир, шпоры, звонящие как колокола, на лице — пошлость и глупость неописанная. Оказалось — отпрыск одной из знаменитых фамилий, в гербе которых окорок, потому что родоначальник когда-то торговал свиньями, и за успешное разведение этих полезных животных возведен в дворянское румынского княжества достоинство. Шаркал, шаркал этот франт перед Скобелевым... На шее у него громадный Станислав, такой, какой носят на лентах сбоку... Точно икона...

— Нарочно заказал! — наивно признался этот Иоанеску или Попеску — не помню. — По собственному рисунку... Ваш — мало замечен...

Вид у него был столь внушителен, что солдаты на первых порах приняли его было за самую «Карлу Румынскую», так они называли тогда князя.

Я диву дался, чего Скобелев возится с этим франтом.

Оказалось, что франт еще во время мира целые годы жил в придунайской Болгарии и сообщал массу интересных сведений о ней генералу, а потом этот блестящий представитель

нарумяненного и затянутого в корсеты молдаванского дворянства стал самым преданным поставщиком даже для солдат. Он и сапоги покупал в Румынии для нас и другие вещи. И все это безвозмездно, только ради того, чтобы в свое время похвастаться дружбой со Скобелевым. А под Плевной этот же знаменитый потомок мудрого свинопаса, желая постоять за честь своего герба (золотой окорок на голубом поле), показал чудеса храбрости, отправляясь то туда, то сюда по приказанию Скобелева.

— Вот, братцы, румын-то каким молодцом идет! — кидал своим Скобелев. — Нам-то, кажется, и стыдно пускать его вперед.

И те действительно бросались, чтобы не оставить за румыном чести первой встречи с неприятелем.

Служил у Скобелева под началом некий невидный, ныне уже отправившийся *ad patres* * генерал.

Фальстаф с подчиненными, он был притчей во языцех. Трусоватый по природе, пуще всего дрожавший за свою собственную жизнь, он тем не менее любил хвастаться мужеством и отвагой.

— Я и Скобелев, мы со Скобелевым! — только и говорил он.

— Знаете, я только в Скобелеве признаю опасного себе соперника!.. Как вам кажется, кто храбрее, я или Скобелев? — неожиданно обращался он к своему адъютанту.

Если тот уже обедал и не желал пообедать вновь, то отвечал:

— Разумеется, Скобелев!

— Не угодно ли вам отправиться домой и проверить, все ли бумаги и ответы готовы!

И адъютант уходил спать. Если же он был голоден или на кухне у Фальстафа готовилось что-нибудь уж очень вкусное, то ответ следовал совершенно иного свойства.

— Знаете, ваше-ство, это еще вопрос — храбрее ли вас Скобелев.. У него слишком пылкая отвага... Вы другое дело...

— Послушайте, юноша... Вы уже обедали?

— Нет еще... Скобелев слишком бросается вперед.. Тогда как вы...

* К праотцам. (*Ред.*)

— Вот что, оставайтесь-ка вы у меня обедать... Ну, так что же я... Говорите, не стесняйтесь... Я люблю слышать о себе правду.

— Вы именно — вождь...

— Семен... Подай бутылку красного вина на стол, знаешь, того, которое я привез из Бухареста. Так я вождь?

— Да... Вы ничего не боитесь, но спокойно в убийственном огне располагаете ходом боя...

— Семен... К концу обеда, пожалуйста, захолоди нам бутылочку шампанского...

Адъютант делался еще серьезнее и еще искреннее начал хвалить своего генерала.

Раз этот Фальстаф сам себя живописал так.

— Я, знаете, стоял в огне... Гранаты падают и здесь, и там, и передо мной, и позади меня, и направо, и налево.. Падают и все рвутся... А я, знаете, засмотрелся на картину боя и (замирающим голосом) так увлекся, что даже забыл о своем положении. В это время проезжает мимо Скобелев.. Генерал обращается ко мне: «Я вам удивляюсь... Неужели вы не боитесь — мне жутко!..» В это время прямо перед носом у меня (каков нос!) лопается граната... «Михаил Дмитриевич — вот мой ответ!» Это я ему...

— Что же Скобелев?

— Молча пожал мне руку, вздохнул и поехал!..

Разумеется, шутники и насмешники рассказывали об этом Скобелеву, тот сам от души смеялся, но стал вдвое любезнее с Фальстафом...

— В первом бою он мне за свое хвастовство сослужит службу! — замечал он между прочим.

— Мы с вами, генерал, понимаем друг друга! — обращался к нему Скобелев.

Фальстаф рдел от восхищения.

— Мы — боевые, нам не в чем завидовать друг другу.. Так... Скорей даже я вам позавидую.

— О, помилуйте, ваше-ство, что ж тут считаться!

— Разумеется.

И Скобелев лукаво улыбался в усы... И действительно, в первом бою он подозвал несчастного и приказал ему вести вперед на редут свои войска.

— Покажите им, как мы с вами действуем... Замените меня.

И тот дрался как следует, воодушевляя солдат.

«Соперничество рождает героев!» — подшучивал потом генерал между своими...

— Ну, что вы? — встретил он потом вернувшегося с боя льва.

— Я сегодня собой доволен! — величественно произнес тот.

— Это ваша лучшая награда!..— сочувственно вздохнул Скобелев, но тем не менее, кажется, ни к чему его не представил.

— Могу сказать, я видел ад...

— И ад видел вас...

Генерал не выдержал, прослезился и бросился обнимать Михаила Дмитриевича.

Другой уже под Брестовцем, тоже куда какой храбрый на словах, на деле всякий раз, как только предполагался бой, сейчас же начинал снабжать кухню Скобелева необыкновенными индейками или какой-то особенно вкусной дичью...

— N прислал вам молочных поросят...

— И вместе — рапорт о болезни? — с насмешливым участием спрашивал Скобелев.

— Точно так-с...

— Скажите ему, что завтра он может не приезжать на позицию...

Что и требовалось доказать, — как прежде исправные ученики оканчивали изложение какой-нибудь теоремы.

— N приказал кланяться и прислал вам гусей и индюка.

— Бедный, чем он болен?

— Индюк-с? — изумлялся посланный.

— Нет — генерал?

— Они здоровы-с...

— Ну, так к вечеру верно заболит.

И действительно ординарец вечером привозил рапорт о болезни N.

— У него большая боевая опытность, — смеялся Скобелев. — Он как-то нюхом знает, когда предполагается дело. Его не надует...

— Зачем же держать таких?.. — спрашивали у генерала.

— А по хозяйственной части он незаменим! Я всю ее свалил на него — и отлично сделал... Посмотрите, как он ведет ее... В лучшем виде... И ведь старается... Вдвое против других старается... Отряд всегда поэтому обеспечен... Будь он не так часто «подвержен скоропостижным болезням», — наверное, солдаты хуже бы ели... Ну и пускай его болеет, Господь с ним.

Другой — майор, совершенно соответствовавший идеалу армейского майора, с громадным брюхом, вечно потный, точно варившийся в собственном бульоне, имел Георгиевский крест, солдатский; так он нарочно спрятал его даже. Ни разу не надевал.

— Зачем вы это?

— Да как же... Я по хозяйственной части... А вывеси-ко Георгия... Вы знаете жадность Скобелева на Георгиевских кавалеров?..

— Ну?

— Он сейчас в бой пошлет... Благодарю покорно... Я человек сырой.

И кто поверит, что этот трус был любимцем Скобелева.

А между прочим это было так... Потому, что никто другой не обладал подобной гениальностью добыть для целого отряда продовольствия в голодной, давно уже объединенной местности... Там, где, казалось, не было клочка сена, «храбрый майор» находил тысячи пудов фуража...

— Сегодня вечером будет у нас маленькая пифпафочка!.. — незаметно улыбался Скобелев. — Вот, майор, вам случай получить Владимира с мечами...

— Да, — вспыхивал и начинал потеть майор. — Только у казаков сена нет... А у суздальцев — хлеба.

— Ну-с?..

— А я тут нашел в одном месте...

— Так отправляйтесь и заготовьте!

Дело кончалось к обоюдному удовольствию. Майор избавлялся от ненавистной ему пифпафочки, а суздальские солдаты и казацкие кони наедались до отвала.

IX

Скобелев любил войну, как специалист любит свое дело. Его называли «поэтом меча», это слишком вычурно, но что он был поэтом войны, ее энтузиастом — не подлежит никакому сомнению.

Он сознавал весь ее вред, понимал ужасы, следующие за ней. Он, глубоко любивший русский народ, всюду и всегда помнивший о крестьянине — жалком, безграмотном и забитом, смотрел на войну, как на печальную необходимость. В этом случае надо было отличать в нем военного от мыслителя. Не раз он высказывал, что начинать побоища

надо только с честными целями, тогда когда нет иной возможности выйти из страшных условий — экономических или исторических. «Война — извинительна, когда я защищаю себя и своих, когда мне нечем дышать, когда я хочу выбиться из душного мрака на свет Божий». Раз став военным, он до фанатизма предался изучению своей специальности. В настоящее время едва ли из германских генералов кто-нибудь так глубоко, так разносторонне знал военное дело, как знал его Скобелев. Он действительно мог быть щитом России в тяжелую годину испытаний, он бы стал на страже ее и в силу любви своей к войне пошел бы на нее не с фарисейскими сожалениями, не с сентиментальными оправданиями, а с экстазом и готовностью. Никто в то же время не знал так близко, во что обходится война.

— Это страшное дело, — говорил он. — Подло и постыдно начинать войну так себе, с ветру, без крайней, крайней необходимости... Никакое легкомыслие в этом случае непростительно... Черными пятнами на королях и императорах лежат войны, предпринятые из честолюбия, из хищничества, из династических интересов. Но еще ужаснее, когда народ, доведя до конца это страшное дело, остается неудовлетворенным, когда у его правителей не хватает духу воспользоваться всеми результатами, всеми выгодами войны. Нечего в этом случае задаваться великодушием к побежденному. Это великодушие за чужой счет, за это великодушие не те, которые заключают мирные договоры, а народ расплачивается сотнями тысяч жертв, экономическими и иными кризисами. Раз начав войну, нечего уже толковать о гуманности... Война и гуманность не имеют ничего общего между собой. На войну идут тогда, когда нет иных способов. Тут должны стоять лицом к лицу враги — и доброта уже бывает неуместна. Или я задушю тебя или ты меня. Лично иной бы, пожалуй, и поддался великодушному порыву и подставил свое горло — души. Но за армией стоит народ, и вождь не имеет права миловать врага, если он еще опасен... Штатские теории тут неуместны.. Я пропущу момент уничтожить врага — в следующий он меня уничтожит, следовательно, колебаниям и сомнениям нет места. Нерешительные люди не должны надевать на себя военного мундира. В сущности нет ничего вреднее и даже более — никто не может быть так жесток, как вредны и жестоки по результатам своих действий сентиментальные люди. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, должен добить вра-

га, чтобы вслед за одной войной тотчас же не начиналась другая...

— Таким образом, если война так ужасна, то следует воевать только тогда, когда неприятель явился ко мне, в страну?..

— О нет. Всякая страна имеет право на известный рост. Принцип национальностей — прежде всего. Государство должно расширяться до тех пор, пока у него не будет того, что мы называем естественными границами, законными очертаниями. Нам, то есть славянам, потому что, если мы заключились в узкие пределы только русского племени, мы потеряем все свое значение, всякий исторический *raison d'être**, так я говорю, что нам, славянам, нужны Босфор и Дарданеллы как естественный выход к морю, иначе, без этих знаменитых проливов, несмотря на весь наш необъятный простор, — мы задохнемся в нем. Тут-то и следует раз навсегда покончить со всякой сентиментальностью и помнить только свои интересы. Сначала — свои, а потом можно подумать и о чужих... Наполеон великий отлично понимал это... Он неспроста открыл свои карты Александру Первому. В Эрфурте и Тильзите он предложил ему размежевать Европу...

— Да, начать войны, где потом ручьями потекла бы кровь...

— А разве потом она не разлилась морями? Он отдавал нам Европейскую Турцию, Молдавию и Валахию, благословенный небом славянский юг с тем только, чтобы мы не мешали ему расправиться с Германией и Великобританией... Подумаешь, какие друзья!.. Это все равно что я бы предложил уничтожить ваших злейших врагов да еще за позволение, данное вами на это, стал бы сулить вам вознаграждение... А мы-то что сделали?.. Сначала поняли в чем дело, а потом начали играть в верность платоническим союзам, побратались с немцами! Ну и досталось нам за это на орехи. Целые моря крови пролили да и еще прольются — будьте уверены, и все придем к тому же **.

— ...Мы тогда спасли немцев. Это может быть очень трогательно с точки зрения какого-нибудь чувствительного немецкого романиста, но за этот взгляд мы поплатились

* Смысл. (Ред.)

** Я привожу здесь взгляды М. Д. Скобелева как весьма характерные. Без них он не был бы полно и верно очертан.

громадными историческими несчастьями. За него мы в прошлую войну, имея у себя на плечах немцев и англичан, попали в гордиев узел берлинского трактата и у нас остался неразрешенным восточный вопрос, который потребует еще много русской крови... Вот что значит сентиментальность в истории...

— ...Я в союзы и дружбу между народами,— говорил мне Михаил Дмитриевич,— не верю... Этот род дружбы далекий от равенства... В подобных союзах и в такой дружбе один всем пользуется, а другой за все платит, один ест каштаны, а другой вытаскивает их из огня голыми руками. Один льет свою кровь и тратит деньги, а другой честно маклерствует, будучи не прочь ободрать друга в решительную минуту... Так уж если заключать союзы — пусть в этих союзах другой будет жертвой; а не я. Пусть для нас льют кровь и тратят деньги, пусть для нас таскают из огня каштаны... А лучше всего — в одиночку... Моя хата с краю, ничего не знаю, пока меня не задели, а задели — так уж не обессудьте, свое наверстаем..

Я привожу здесь мнения Скобелева как характеристику покойного. Лично я мог разделять или не разделять эти взгляды — все равно; дело не в том, каковы мои убеждения, а в том, что именно по тому или другому предмету думал один из замечательнейших людей нашего времени, даже едва ли не самый замечательный.

Скобелев за войной признавал, главным образом, экономическое значение Непосредственных причин войн бывает две. Или сравнительно высокая цивилизация народа, начинающего войну со слабым соседом и противником, причем образованный народ, уничтожая слабейшего врага, рассчитывает обогатиться за его счет, захвативши его земли, и тем улучшить свое благосостояние. Так, например, были завоеваны Индия, Америка. Или наоборот, беднейший народ нападает на высокую цивилизацию и пользуется ее плодами для улучшения своего положения. Таковы завоевания гуннов вандалов, тевтонов, татар и т. п. Это — также принцип борьбы за существование..

Как-то у меня с ним зашел разговор о Польше.

— Завоевание Польши вызывалось соображениями, на которые можно смотреть разное, что же касается до ее раздела, то я громко признаю это братоубийством, историческим преступлением.. Правда, русский народ был чист в этом случае. Не он совершил это преступление, не он

и ответствен. Повторяю вам, во всей нашей истории я не знаю более гнусного дела, как раздел Польши между немцами и нами... Это Вениамин, проданный братьями в рабство!.. Долго еще русские будут краснеть за эту печальную страницу из своей истории.

Впоследствии он то же самое повторял г. Пушкареву, который записал выводы Скобелева со стенографической точностью. Я привожу из них те, которые приходилось слышать и мне самому. Они так или иначе, но рисуют Михаила Дмитриевича чрезвычайно цельным человеком. Этот, если чему отдавался, так безоглядно и, высказывая что-либо, не прибегал к извинениям, недомолвкам. Он не боялся самого крайнего развития своей мысли, лишь бы это делалось логически. В нем было именно ценно то, что он всегда прямо, ребром ставил вопросы, очень мало обращая внимания на то, как они в данную минуту будут приняты обществом или властью... В этом была разгадка его силы, в этом было его значение как знамени для наших народников. С его смертью они потеряли знамя, потеряли вождя...

Вот что он не раз повторял мне, да и всем, с кем по делу приходилось ему спорить и высказываться.

Ему не раз доказывали полную невозможность войны в настоящее время. Он часто возвращался к этому вопросу и разбирал все возражения.

«Спросят,— говорил он,— как же вы будете воевать, когда у вас денег нет, когда ваш рубль ходит 62 копейки за 100? Я ничего не понимаю в финансах, но чувствую, что финансисты-немцы тут что-то врут.

В 1793 году финансы Франции были еще и не в таком положении. Металлический 1 франк ходил за 100 франков кредитных. Однако Наполеон, не имея для солдат сапог, одежды, пищи, пошел на неприятеля и достал не только сапоги, одежду и пищу для солдат, но и обогатил французскую казну, а курс свой поднял опять до 100 и даже за 100. При Петре Великом мы были настолько бедны, что после сражения под Нарвой, когда у нас не было орудий, нам пришлось колокола переливать на пушки. И ничего! После Полтавского боя все изменилось, и с тех пор Россия стала великой державой.

А покорение России татарами?.. Что ж вы думаете, они покорили Россию потому, что курс их был очень хорош, что ли? Просто есть нечего было, ну и пошли и завоевали Россию, а Россию завоевать не шутка.

Я не говорю: воевать теперь. Пока еще наш курс 62 копейки, можно и погодить, но немцы долго ждать не заставят и живо уронят его. Вот тогда будет пора!

Еще я не понимаю, зачем нам на войну деньги? На нашей земле кредитный билет ходит рубль за рубль. Мы верим прочности нашего государственного устройства, и пусть у нас пишут деньги хотя на коже, мы им поверим, а в деле кредита это все, что требуется.

Если бы Бог привел нам перенести войну на неприятельскую территорию, то враг должен за честь считать, ежели я ему заплачу за что-нибудь царским кредитным рублем. *Даже кредитные билеты я отдам с сокрушенным сердцем.* Неприятель должен нас кормить даром. И без того наш народ нищий по сравнению с нашими соседями, а я еще буду ему платить деньги, заработанные горем, бедой и тяжким трудом рязанского мужика. Я такой сентиментальности не понимаю.

Господа юристы утверждают, что победитель должен быть великодушен с неприятелем и за все, что взято голодным солдатом, должно быть заплачено. Творцы берлинского договора готовы были сами обязать Россию заплатить контрибуцию, только бы доказать перед Европой, как мы великодушны».

— Господи! Как вспомнишь об этом,— воскликнул Михаил Дмитриевич,— так плакать хочется. Издержки войны они предоставили заплатить русскому мужику, который и без того не может управиться с недоимками и *загребущими* лапами кулака.

Скобелев, впрочем, сам сделал опыт такого рода во время текинской экспедиции; по словам участников в ней — все расчеты за продукты для продовольствия войска, до назначения Михаила Дмитриевича, производились на золото и серебро. Скобелев чуть не на третий день после своего приезда на место приказал все имеющиеся налицо персидские металлические деньги разменять на русские кредитные билеты, персидских денег ни в каких расчетах с казной не принимать, а требовать у персиян русских бумажек. Затем, до него треть офицерского жалованья производилась золотом, он велел выдавать бумажками, увеличив самое содержание, разумеется. В конце концов, персы и туркмены бросились в полевые казначейства закаспийского края просить как милости принять персидское серебро рубль за рубль,

хотя еще накануне давали 70 копеек металлических за наши желтенькие кредитки.

— Хорошо,— говорил Скобелев,— французским и немецким буржуа считать войну экономической ересью, когда у них ходит монета сто за сто, когда все сыты, работы вволю, растет просвещение... но когда приходится довольствоваться хлебом с мякиной, задыхаться в неоплатных долгах, когда русскому все равно — умирать ли от голода или от руки неприятеля, то он хочет войны уже по одному тому, что умирать в бою, по понятиям народа, несравненно почетнее. При этом остается еще надежда остаться живым, победить!

— ...Всегда, разумеется, найдутся сытые, имеющие спокойные, обеспеченные средства к жизни, как, например, капиталисты, купцы, в особенности чиновники, получающие верное содержание. Они будут против войны, даже с потерей государственной чести, но в этих случаях следует принимать в соображение экономическое положение массы простого народа, а не сытых классов, питающихся народным невежеством, добродушием и слабостями. Впрочем,— прибавил Скобелев,— русский народ в большинстве так создан, что когда вопрос касается нашей государственной чести, то даже эти сытые классы охотнее в тяжкую годину пойдут на все жертвы, чем поступят своей народной честью. Они будут ворчать на расстройство дел и все-таки принесут свой грош!

Х

Для Скобелева, действительно, каждое дело, которое он брал на себя, было серьезным. В этом отношении он не различал малых и незначительных от больших. К задуманному предприятию, хотя бы оно и выходило из пределов его специальности, он готовился долго и пристально, и затем, если начинал его, то уж до мельчайших подробностей знакомый с условиями данной среды. Как-то М. Д. заинтересовался вопросами о путях сообщений в России, о железных дорогах и каналах — не прошло нескольких недель, как он уже посрамил неожиданно наткнувшегося на него путейца, предложившего было Скобелеву поддержать какой-то, совсем невозможный проект. При этом Скобелев побил его — его же оружием, техническими соображениями, вычислениями и т. д. Не доверявший никому в деле знания, он любил

езде и всюду быть хозяином; не отступая при этом ни перед трудностью изучения, ни перед затратой времени. Если бы его назначили обер-прокурором Синода — то я убежден, через месяц он явился бы перед его святыми отцами во всеоружии знаний канонического права, монастырских и иных, подходящих к этому случаю уставов. После крайне трудного перехода к Бии, по пути к Зимнице, я застал его в каком-то сеновале румынского помещика. Скобелев бросился на сено и вытащил из кармана книгу.

— Неужели вы еще работать будете?

У нас у всех руки и ноги отнялись от утомления.

— Да как же иначе... Не поработаешь — так и в хвост влетит потом, пожалуй.

— Что это вы?

— А французского сапера одного книжка о земляных работах.

— Да вам зачем это?

— Как зачем? — изумился Скобелев.

— Ведь у вас же будут саперные команды, специально знающие это дело...

— Ну, это уж непорядок... Генерал, командующий отрядом, должен сам уметь рыть землю. Ему следует все знать, иначе он и права не имеет других заставлять делать...

Во время переправы через Дунай Скобелев, чтобы не оставаться бесполезным, взял на себя обязанности ординарца при генерале Драгомирове. Обязанность, на которую обыкновенно назначаются прапорщики, поручики и вообще мелкотравчатая молодежь... Потом Драгомиров сам отдал справедливость Михаилу Дмитриевичу в том, что тот и ординарцем был превосходным, передавал приказания по боевой линии, водил небольшие отряды в бой, обнаружив в самом начале его орлиный взгляд свой... Когда взволнованный громадной ответственностью, лежавшей на нем, Драгомиров еще сомневался в исходе сражения, Скобелев веселый и радостный подходит к нему.

— Ну, поздравляю тебя с победой.

— Как... Да ведь еще дело в начале.

— Все равно... Ты посмотри на лица твоих солдат.

И действительно, как военный психолог, Скобелев не имел себе равного в настоящее время. Он положительно угадывал. В каждую данную минуту он знал настроения масс и умел их направить, как ему вздумается. Насколько он изучил солдата, видно будет из дальнейших моих воспоми-

наний, но что он умел делать из него — об этом верно порасскажут и другие близкие к нему и знавшие лица... Его сближала с солдатом сверх того и действительная глубокая любовь к нему. Про Скобелева говорили, что он, не сморгнув, послал бы в бой десятки тысяч, послал на смерть... Это верно. Он не был сентиментален и если брался за дело, то уж без сожалений и покаянного фарисейства исполнял его. Он знал, что ведет на смерть, и без колебаний *не посылал, а вел за собой*... Первая пуля — ему, первая встреча с неприятелем была его... Дело требует жертв, и, раз решив необходимость этого дела, он не отступил бы ни от каких жертв... Полководец, плачущий перед фронтом солдат, потому что им сейчас же придется идти в огонь, едва ли поднял бы дух своего отряда. Скобелев иногда прямо говорил людям: «Я посылаю вас на смерть, братцы... Вон видите эту позицию?... Взять ее нельзя... Да я брать ее и не думаю. Нужно, чтобы турки бросили туда все свои силы, а я тем временем подберусь к ним вот оттуда... Вас перебьют — зато вы дадите победу всему моему отряду. Смерть ваша будет честной и славной смертью... Станут вас отбивать — отступайте, чтобы сейчас же опять броситься в атаку... Слышите ли?... Пока живы — до последнего человека нападайте...» И нужно было слышать, каким «ура» отвечали своему вождю эти на верную смерть посылавшиеся люди!.. Это уже не пассивно, поневоле умирающие гладиаторы приветствовали римского Цезаря, а боевые товарищи в последний раз кланялись любимому генералу, зная, что смерть их действительно нужна, что она даст победу... Это была жертва сознательная и потому еще более доблестная, еще более великодушная... Он, говорят, не любил солдата. Но ведь солдата, как и ребенка, — не надуешь. Солдат отлично знает, кто его любит; а кто его не любит — тому он не верит, и в свою очередь особенной признательностью не платит. А между тем пусть мне укажут другого генерала, которого бы так любили, которому бы так верили солдаты, как Скобелеву... Они сами, глядя в эти светло-голубые, но решительные глаза и выпуклый лоб, видя эту складку губ, говорящую о бесповоротной энергии, понимали, что там, где надо, у этого человека не будет пощады и не будет колебаний... Но как хотите, в подобных случаях и я кающихся Магдалин разгадать не могу; слабонервные бабы в военных мундирах едва ли являются симпатичными кому бы то ни было... Скобелев любил солдата, и в своей заботливости

о нем проявлял эту любовь. Его дивизия, когда он ею командовал, всегда была одета, обута и сыта при самой невозможной обстановке. В этом случае он не останавливался ни перед чем. После упорного боя, измученный, он бросился отдыхать, а часа через три уже был на ногах. Зачем? Чтобы обойти солдатские котлы и узнать, что в них варится. Никто с такой ненавистью не преследовал хищников, заставлявших голодать и холодать солдата, как он. Скобелев в этом отношении не верил ничему. Ему нужно было самому, собственными глазами убедиться, что в котомке у солдата есть полтора фунта мяса, что хлеба у него вволю, что он пил водку, положенную ему. Во время плевненского сидения солдаты у него постоянно даже чай пили. То и дело при встрече с солдатом он останавливал его.

— Пил чай сегодня?

— Точно так-с, ваше-ство.

— И утром и вечером?

— Точно так-с.

— А водку тебе давали?.. Мяса получил сколько надо?.

И горе было ротному командиру, если на такие вопросы следовали отрицательные ответы. В таких случаях М. Д. не знал милости, не находил оправданий.

Не успевал отряд остановиться где-нибудь на два дня, на три, как уже рылись землянки для бань, а наутро солдаты мылись в них. Он ухитрился у себя в траншеях устроить баню, как ухитрился там же поставить хор музыки... Когда началась болгарская зима, отряд его был без полушубков.. Интендантство менее всего помышляло об этом. Что было делать? Оказывалась крайняя нужда одеть хоть дежурные части. Полковых денег не было — купить в Румынии. Своих у М. Д. тоже не нашлось... Обратился было к отцу... Но «паша» при всем своем добродушии был скуповат...

— Нет у меня денег! Ты мотаешь... Это невозможно. Вздумал наконец солдат одевать на мой счет...

Через несколько дней Скобелев узнает, что в Боготу какой-то румын привез несколько сот полушубков.

— Поедемте в главную квартиру...— предложил он мне.

— Зачем?

— Полушубки солдатам куплю...

— Без денег?

— «Паша» заплатит. Я его подведу...— и Скобелев насмешливо улыбнулся.

Приказал ротным телегам отправиться за полушубками. Приезжаем в Боготу... Скобелев прямо в землянку к «паше».

— Здравствуй, отец! — и чмок в руку.

— Сколько? — спрашивает прямо Дмитрий Иванович, зная настоящий смысл этой сыновней нежности и почтительности.

— Чего сколько? — удивляется Скобелев.

— Денег сколько тебе надо... Ведь я тебя насквозь вижу... Промотался, верно...

— Что это ты в самом деле... Я еще с собой привез несколько тысяч... Помоги мне купить полушубки на полковые деньги. Ты знаешь, ведь я без тебя ничего не понимаю.

На лице у отца является самодовольная улыбка.

— Еще бы ты что-нибудь понимал!

— Как без рук, без тебя... Я вообще начинаю глубоко ценить твои советы и указания.

Дмитрий Иванович совсем растаял...

— Ну, ну!.. Что уж тут считаться.

— Нет, в самом деле — без тебя хоть пропадай.

— Довольно, довольно!..

Старик оделся. Отправились мы к румынскому купцу... Часа три подряд накладывали полушубки на телеги. Наложат — телега и едет под Плевно, на позиции 16-й дивизии; затем вторая, третья, четвертая. Скобелев-старик в поте лица своего возится, всматривается, щупает полушубки, чуть не на вкус их пробует.

— Я, брат, хозяин... Все знаю... Советую и тебе научиться...

— А ты научи меня!.. — покорствует Скобелев.

Наконец последняя телега наложена и отправлена...

И вдруг перемена декораций.

— Ну... Прощай, отец... Казак, коня!..

Вскочил Скобелев в седло... Румын к нему.

— Счет прикажете к кому послать?... За деньгами...

— А вот к отцу... Отец, заплати, пожалуйста... Я потом отдам тебе...

Нагайку лошади — и когда Дмитрий Иванович очнулся, и Скобелев, и полушубки были уже далеко.

«Noblesse oblige»*, и старик заплатил по счету, а дежурные части дивизии оделись в теплые полушубки. Благодаря

* «Положение обязывает». (Ред.)

этому обстоятельству, когда мы переходили Балканы, в скобелевских полках не было ни одного замерзшего... Я вспоминаю только этот ничтожный и несколько смешной даже факт, чтобы показать, до какой степени молодой генерал способен был не отступать ни перед чем в тех случаях, когда что-нибудь нужно было его отряду, его солдатам...

Потом старик отец приезжал уже в Казанлык в отряд.

— И тебе не стыдно?..— стал было он урезонивать сына.

— Молодцы! Поблагодарите отца... Это вы его полубки носите! — расхохотался сын.

— Покорнейше благодарим, ваше-ство!..

— Хорош... Уж ты, брат, даром руки не поцелуешь... Я только не сообразил этого тогда.

Хохот стал еще громче...

У отца с сыном были и искренние, и в то же самое время чрезвычайно комические отношения... Они были в одних чинах, но сын оказывался старше, потому что он командовал большим отрядом, у него был Георгий на шее и т. д. Отца это и радовало и злило в одно и то же время...

— А все-таки я старше тебя!..— начинал, бывало, его донимать сын.

Дмитрий Иванович молчит...

— Служил, служил и дослужился до того, что я тебя перегнал... Неужели тебе, папá, не обидно...

— А я тебе денег не дам...— находился наконец Дмитрий Иванович.

— То есть как же это? — опешивает, бывало, сын.

— А так, что и не дам... Живи на жалованье...

— Папа!.. Какой ты еще удивительно красивый...— начинает отступать сын.

— Ну, ну, пожалуйста...

— Расскажи, пожалуйста, мне что-нибудь о венгерской кампании... И о том деле, где ты получил Георгия... Отец у меня, господа, молодчинище... В моих жилах течет его кровь...

— А я все-таки тебе денег не дам.

Скобелев всегда нуждался. При нем никогда не было денег, а между тем швырял он ими с щедростью римских патрициев. Идешь, бывало, с ним по Бухаресту... Уличная девчонка подносит ему цветок...

— Есть с вами деньги?

— Есть.

— Дайте ей полуимпериал!..

Офицеры тоже все к нему. Не его дивизии, совсем незнакомые, бывало... Едет, едет в отряд и застрянет где-нибудь. Денег ни копейки. К Скобелеву...

— Не на что доехать...

— Сколько же вам нужно?

— Да я не знаю...— мнетя тот.

— Двадцати полуимпериалов довольно?

— И десяти будет...

— Возьмите.

Забывая, кто ему должен, Скобелев-сын и сам забывал свои долги. Страшно щепетильный там, где дело касалось казенного интереса, в этих случаях свои собственные счета он вел тогда спустя рукава.

И эксплуатировали его при этом ужасно. Разумеется, большая часть таких пособий были безвозвратны... Когда деньги истощались — начинались дипломатические переговоры с отцом...

Зачастую тот решительно отказывал... Тогда Скобелев-сын в свою очередь начинал злиться.

— Ты до такой степени скуп...

— Ну, ладно, ладно. На тебя не напасешься...

— Ты пойми...

— Давно понял... У меня у самого всего десять полуимпериалов осталось в кармане.

— Вот, господа...— обращается, бывало, М. Д. к окружающим...— Видите, как он мне в самом необходимом пропитании отказывает!

Кругом хохочут.

— Я твоей скупости всей своей карьерой обязан...

— Это как же? — удивляется в свою очередь Скобелев-отец.

— А так... Хотел я тогда, когда закрыли университет, уехать доканчивать курс за границу, ты не дал денег, и я должен был юнкером в кавалергарды поступить. Там ты мне не давал денег, чтобы достойно поддерживать блеск твоего имени — я должен был в действующий отряд противу повстанцев в Польшу перейти. В гусары. В гусарах ты меня не поддерживал...

— Только постоянно твои долги платил,— как бы в скобках вставляет отец.

— Ну! Какие-то гроши... Не поддерживал... Я должен был в Тифлис перейти... В Тифлисе жить дорого — я ушел от твоей скупости в Туркестан... А потом она меня загнала в Хиву, в Ферганское ханство...

— И отлично сделала!

— За то судьба тебя и покарала, судьба всегда справедлива.

— Это как же?

— А то, что я старше тебя теперь!..

— Мальчишка!

— Так не дашь денег?..

— Нет...

— Ну, так прощайте, генерал!..

И они расходились.

Он очень любил своего отца и им был горячо любим, но такие сцены постоянно разыгрывались между ними. Сыновняя любовь его, впрочем, была совсем чужда сентиментальности. Как-то он сильно заболел в Константинополе. Недуг принял довольно опасный оборот. Скобелев-отец случайно узнает об этом. Встревоженный, он едет к сыну.

— Как же это тебе не стыдно...

— Что такое?

— Болен и знать мне не дал.

— Мне и в голову не пришло!..

Старик был очень расстроен. Скобелев-сын заметил это и извинился...

— Не понимаю, в чем моя вина? — обратился он потом к своим.

В другой раз Дмитрий Иванович приехал в зеленогорскую траншею к сыну.

— Покажи-ка ты мне позиции... Где у тебя тут поопаснее?

— Ты что ж это набальзамироваться хочешь? Или старое проснулось?

— Да что ж я даром, что ли, генеральские погоны ношу...

И старик выбрал себе один из опаснейших пунктов и стал на нем.

— Молодец, «паша», — похвалил его сын. — Весь в меня!..

— То есть это ты в меня...

— Ну, дай же что-нибудь моим солдатам...

— Вот десять золотых...

— Мало...

— Вот еще пять...

— Мало..

— Да сколько же тебе?

— Ребята... Мой отец дает вам по полтиннику на человека.. Выпейте за его здоровье...

— Рады стараться... Покорнейше благодарим, вашество!. Старик поморщился... Когда пришло время уезжать.

— Ну, уж я больше к тебе сюда не приеду.

— Опасно?

— Вот еще... Не то... Ты меня разоряешь.. Сочти-ка, сколько я должен прислать сюда теперь...

— Вот... Смерти не боится, а над деньгами дрожит. Куда ты их деваешь?

— Да у меня их мало...

Потом, когда Дмитрий Иванович умер, Скобелев мог вполне оценить мудрую скупость своего опекуна. Ему досталось громадное имение и капиталы, о существовании которых он даже и не предполагал.

— К крайнему удивлению своему, я богатым человеком оказался...

Потом Скобелев с годами изменился. В нем не осталось вовсе мотовства, но там, где была нужда, он раздавал пособия щедрой рукой... «Просящему дай» — действительно он усвоил себе этот принцип вполне и следовал ему всю свою жизнь. Его обманывали, обирали — он никогда не преследовал виновных в этом. Раз лакей утаил «три тысячи», данных ему на сохранение

— Куда ты дел деньги?

— Потерял.

— Ну и дурак!

— Как же вы оставляете это? — говорили ему.— Ведь, очевидно, он украл их.

— А если действительно потерял, тогда ему каково будет?

В другой раз один из людей, которым Скобелев доверял, вынул бриллианты из его шпаги и продал их в Константинополе... Хотели было дать делу ход, как вдруг узнает об этом Скобелев.

— Бросьте... И ни слова об этом.

— Помилуйте.. Как же бросить.

— Страм!..

— Так нужно хоть бриллианты выкупить. Ведь сабля жалованная!

— Забудьте о них. Как будто ничего не случилось..

При встрече с виновным он не сказал ему ни слова. Только перестал подавать ему руку. Даже не прогнал его

— Я его оставил при себе ради его брата...

Потом этот брат, которого за отчаянную храбрость и находчивый ум любил Скобелев, еще ужаснее отблагодарил генерала за доброту и великодушие, внеся в его жизнь самую печальную страницу, и заставил его еще недоверчивее относиться к людям...

XI

Доступность Скобелева была изумительна. Нужно помнить, что он принадлежал военной среде, среде, где дисциплина доходит до суровости, где отношения слагаются совершенно иначе, чем у нас. Тем не менее каждый от прапорщика до генерала чувствовал себя с ним совершенно свободно... Скобелев был хороший диалектик и обладал массой сведений, он любил спорить и никогда не избегал споров. В этом отношении все равно — вольноопределяющийся, поручик, ординарец или другой молодой офицер — раз поднимался какой-нибудь вопрос, всякий был волен отстаивать свои убеждения всеми способами и мерами. Тут генерал становился на равную ногу. Споры иногда затягивались очень долго, случалось до утра, и ничем иным нельзя было более разозлить Михаила Дмитриевича, как фразой:

— Да что ж... Я по дисциплине не смею возражать вам!

— Какая дисциплина! Теперь не служба... Обыкновенно недостаток знаний и скудоумие прикрывается в таких случаях дисциплиной...

Он терпеть не мог людей, которые безусловно с ним соглашались...

— Ничего-то своего нет. Что ему скажешь — то для него и свято. Это зеркала какие-то.

— Как зеркала?

— А так... Кто в него смотрится, тот в нем и отражается...

Еще больше оскорблялся он, если это согласие являлось результатом холопства...

— Моту ли я с вами не соглашаться, — заметил раз какой-то майор. — Вы генерал-лейтенант!

— Ну так что ж?

— Вы меня можете под арест.

— Вот потому-то на вас и ездят, что у вас не хватает смелости даже на это...

— ...У нас всякого оседлать можно,— говорил Скобелев.— Да еще как оседлать. Сесть на него и ноги свесить... Потому что своего за душой ничего, мотается во все стороны... Добродушие или дряблость, не разберешь. По-моему, дряблость... Из какой-то мокрой и слизкой тряпки все сделаны. Все пассивно, косно... По инерции как-то — толкнешь — идут, остановишь — стоят...

Больше всего он ненавидел льстецов. Господа, желавшие таким путем войти к нему в милость, очень ошибались...

— Неужели они меня считают таким дураком? — волновался он.— Ведь это просто грубо... Разве я сам себя не знаю, что ж это он вздумал мне же да меня самого разьяснять... И не краснея... Так без мыла и лезет...

Зато прямо ту, иногда даже доходящую до дерзости, он очень любил.

Ординарцы в этом случае не стеснялись...

— Вы всегда капризничаете и без толку придираетесь!..— отрезал ему раз молоденький ординарец.

— То есть как же это?

— Да вот, как беременная баба...

— А вам, кажись, рано бы беременных баб-то привычки знать...

Молодой, полный жизни — он иногда просто шалил как юноша...

— Ну чего вы, ваше превосходительство, распрыгались... зазорно...— заметил ему адъютант.— Ведь вы генерал...

Потом он стал куда серьезнее. Особенно после Ахалтекинской экспедиции. Но когда я его встречал во время русско-турецкой войны, он умел с юношами быть юношей и едва ли не более веселым, шумным, чем они. Он умел понимать шутку и первый смеялся ей. Даже остроумные выходки на его счет нравились ему. Совсем не было и следа тупоумного богдыханства, которое примечалось в различных китайских идолах того времени... «Здесь все товарищи»,— говорил он за столом — и, действительно, чувствовался во всем дух близкого боевого товарищества, что-то задушевное, искреннее, совсем чуждое низкопоклонства и стеснений... К нему иногда являлись старые товарищи, остановившиеся на лестнице производства на каком-нибудь штабс-капитанстве...

— Он с нами встречался, точно вчера была наша последняя пирушка... Я было вытянул руки по швам... А он: «Ну, здравствуй *** ...» и опять на «ты»...

Разумеется, все это — до службы. Во время службы редко кто бывал требовательнее его. А строже нельзя было быть... В этом случае глубоко ошибались те, которые воображали, что короткость с генералом допускает ту же бесцеремонность и на службе. Тут он иногда становился жесток. Своим — он не прощал служебных упущений... Где дело касалось солдат, боя — тут не было извинений, милости никогда... Мак-Гахан, с которым он был очень дружен, раз было сунулся во время боя с каким-то замечанием к нему...

— Молчать!.. Уезжайте прочь от меня! — крикнул он ему.

Полковник английской службы Гавелок, корреспондент, кажется, «Таймса», при занятии Зеленых гор 28 октября, сунулся было с указанием на какой-то овраг.

— Казак! — крикнул Скобелев.

Казак подъехал.

— Убери полковника прочь отсюда... Неудобно ли вам отправиться обратно в Брестовец? — обратился он к Гавелоку по-английски.

Скобелева обвиняли в том, что он заискивал в корреспондентах, что этим только и объясняются те похвалы, которые они расточали ему.

Я уже говорил выше о том, какая эта низкая и глупая клевета.

Он понимал права печати и признавал их. Он относился к прессе не с пренебрежением залитого золотом болвана, а с уважением образованного человека. Он давал все объяснения, какие считал возможным, разрешал корреспондентам быть на его боевых позициях. Они разом входили в товарищескую среду, окружавшую его. Знание пяти иностранных языков позволяло ему входить в теснейшие отношения с английскими, французскими, немецкими, итальянскими корреспондентами, и те, таким образом, могли лучше и ближе узнавать его, но я, ссылаясь на всех бывших около Скобелева, свидетельствую, что перед нами там не лебезили и никакими особенными преимуществами мы в его отряде не пользовались. Напротив, у других в смысле удобств было гораздо лучше. Там корреспондентам давали казака, который служил им, отводили палатки и т. д. Ничего подобного не делалось у Скобелева. Когда один корреспондент попросил было у него казака, Скобелев разом оборвал его за неуместную претензию.

— Казаки — не денщики... Они России служить должны, а не вам!

Чем же объясняется, что они, несмотря на эти неудобства, постоянно приезжали именно к нему? Тем, что помимо искренности отношений тут всегда было интересно. Не только во время боя, но и в антракты молодой генерал со своей неугомонной кипучей энергией не оставался без дела. Он предпринимал рекогносцировки, приучал войска к траншейным работам, объезжал позиции... Тут всегда было что смотреть, о чем писать. Кроме того, его общество оказывалось поучительным. Тут слышались и споры и шли серьезные беседы, поднимались вопросы, выходившие совсем из пределов военного ремесла... А главное, сам он был полон обаяния, к нему самому тянуло...

Благоприятеля, разумеется, все это объясняли иначе...

Да позволено будет мне рассказать здесь один факт, касающийся меня лично.

После войны уже, года через полтора, еду я в Москву. В одном купе со мной — военный. Сначала было он на меня пофыркал, потом успокоился и разговорился. Зашла речь о войне.

— Вы участвовали тоже? — спрашиваю я его.

— Как же-с. Только ничего не получил.

— Почему же?

— Четверташников при мне не было.

— Каких это?

— А которые с редакций-то по четвертаку за строчку... Скоропадентов... Они меня не аттестовали — я ничего и не получил...

— Разве корреспонденты представляли к наградам?

— А то как же-с... Газетчики в большом почете были.

Зашла речь о Скобелеве... Мое инкогнито для него было еще не проницаемо.

— Его, Скобелева, Немирович-Данченко выдумал.

— Это как же?

— Да так... Пьянствовали они вместе, ну тот его и выдумал.

— Да вы Немировича-Данченко знаете?... Лично-то его видели?

— Как же-с... Сколько раз пьяным видел... И хорошо его знаю... Очень даже хорошо.

— Вот-те и на... А я слышал, что он вовсе не пьет.

— Помилуйте... Валяется... До чертиков-с...

Под самой Москвой уже я не выдержал. Отравил генералу последние минуты.

— Мы так с вами весело провели время, что позвольте мне представиться.

— Очень рад, очень рад... С кем имею честь?

— Немирович-Данченко...

— Как Немирович-Данченко?..

— Так...

— Тот, который?..

— Тот, который...

Генерал куда-то исчез... На московской станции кондуктор явился за его вещами...

— Да где же генерал-то?

— Господь его знает, какой он...

— Да где же он прячется?

— Они сидят-с давно уж... в... Запершись в...

Предоставляю читателю догадаться, куда сокрылся он от четверташника и пьяницы.

Но это еще тип добродушный. Были и подлее...

XII

Я пишу не биографию Скобелева. Моя книга — просто ряд отрывочных воспоминаний о нем. Поэтому я не рассказываю о всех военных операциях, в которых участвовал покойный. Желаящие познакомиться с ними могут обратиться к моему «Году войны». Здесь только то, что я сам видел, и если из моего рассказа выдвинется перед читателями обаятельная личность Михаила Дмитриевича, если он станет им так же близок и дорог, как близок и дорог он был людям, входившим с ним в тесные сношения, знавшим его не как генерала по реляциям и письмам с войны, а как человека, то цель мою я сочту вполне достигнутой. Систематическая и полная биография — дело будущего. Теперь же, говоря о Скобелеве, я хочу только бегло обрисовать этот замечательный тип гениального русского богатыря, яркой звездой мелькнувшего на нашем тусклом небе, так быстро поднявшегося во весь свой рост перед целым миром, изумленным его подвигами, и так рано ушедшего от нас.. Чем дальше, тем тяжелее и тяжелее становится эта потеря.

Военные писатели, талантливый и хорошо знавший покойного А. Н. Маслов, нарисуют его как стратега, как тактика — мое дело сказать о человеке... С каждым днем все больше чувствуется отсутствие его. Невольно задаешься вопросом, кому нужна была эта смерть, какой смысл в этом роковом ударе... Шутка судьбы? Какая неостроумная, глупая шутка!..

После перехода через Дунай Скобелева мы видим и на вершинах Шипки и под Плевной. Много у него в это время было горьких минут. Его еще не признавали. В победителе «халатников» видели только храброго генерала и больше ничего.

«Его надо держать в ежовых рукавицах».

«Его избаловали дешевые лавры в Средней Азии».

«Он может служить, — высокомерно снисходили трети, — но за ним надо смотреть в оба».

А между тем он был неизмеримо сведущее и талантливее всех этих господ.

Я встретил тогда Скобелева в Тырнове.

— Где вы остановились? — спросил он у меня.

— У Белабоны...

— Я зайду к вам...

Видимо, ему хотелось высказаться. Лицо подергивалось нервной улыбкой, он хмурился, разбрасывал себе бакенбарды во все стороны.

— Жутко!

— Что жутко?

— Да мне... Оскорбительно... Видишь лучше их, знаешь все ошибки и молчишь...

— Зачем же молчать?

— Да разве победитель «халатников» имеет право голоса... Самые лучшие из них удивляются: чего я лезу... Видите ли, у меня все есть: и чин, и Георгий на шее... Значит, мне и соваться незачем... Дай другим получить, что следует. Так с этой точки и смотрят на дело. А про то, что душа болит, что русское дело губится, — никто и не думает. Скверно... Неспособный, беспорядочный мы народ... До всем мы доходим ценой ошибок, разочарований, а как пройдет несколько лет, старые уроки забыты... Для нас история не дает примеров и указаний... Мы ничему не хотим научиться и все забываем... Тоска... Разве так это дело делается... А вся беда от кабинетных стратегов...

Во время второй Плевны Скобелев уже выступает командиром небольшого кавалерийского отряда... Весь этот день

он дерется впереди, в стрелковой цепи, то одушевляя солдат, то поддерживая слабые фланги... Весь этот день никто его не видел отдыхающим. Он не оставлял седла даже во время пехотного боя, служа прекрасной целью турецким стрелкам. Две лошади под ним убиты, третья ранена... Он лично ведет в атаку роты, командует сотней казаков. Наконец, когда началось отступление, он слезает с седла, вкладывает саблю в ножны, сам замыкая отходящую назад цепь. Не странно ли, что завоевателю Ферганы, Хивы, человеку уже с громадной военной карьерой позади, приходится в данном случае быть не руководителем боя, а одной из исполнительных единиц и именно в такой обстановке, где его-то способности, кроме личной отваги, и не нужны были. Как второстепенный исполнитель он часто терял все свои боевые таланты. Нельзя, видя ошибки других, все-таки усердно служить им, невозможно выполнять программу, несостоятельность которой знаешь воочию... Это между прочим подало повод одному из лучших генералов характеризовать Скобелева более остроумно, чем верно.

— Как подчиненном, я бы его отправил назад, но если бы меня спросили, к кому я сам хочу идти в подчиненные, я бы сказал — к Скобелеву.

Его талант разворачивался в полном блеске там, где он один руководил делом, где вся ответственность лежала на нем. Фергана, Зеленые горы, переход Балкан, шейновский бой, переход к Адрианополю, Ахал-Теке доказывают как нельзя лучше справедливость этого...

Во время отступления от Плевны нужно было остановиться, чтобы, удерживая турок, дать возможность отойти нашим войскам. Что же делает Скобелев? С сотней казаков он отстреливается от громадных сравнительно сил неприятеля. Наконец велит себе подать бурку, ложится под огнем на нее и засыпает, приказывая не отходить отсюда, пока он не проснется. По небу бьют... Скобелев спит... Жалкая горсть казаков держится около, останавливая в почтительном расстоянии турок.

— Неужели вы спали?

— Спал...

— При таких условиях,

— Если надо — я могу спать при всяких условиях.

Все это объясняли фатализмом, да ведь мало ли какие можно придумать объяснения. Что-то других таких фаталистов я не видел!..

Затем следует блистательное дело под Ловчей, настолько известное, что о нем напрасно было бы повторять что-либо. Здесь я воздержусь приводить даже отдельные эпизоды, так как я там не был. Третья Плевна, несмотря на то что Скобелев должен был отступить от занятых им с боя редутов, как будто разом открыла глаза всем. В нем увидели льва, перед ним преклонились те, в ком было чувство справедливости. Это поражение было равно блистательной победе. Тут уже Скобелев говорит — и к голосу его прислушиваются. В пылу, в огне он наблюдает, изучает и тотчас же пишет следующие замечательные строки в своем донесении князю Имеретинскому. Мы их приводим, потому что они уже тогда показали в Скобелеве не только храброго генерала, но и опытного вождя. Скобелев объясняет причины, почему он отсрочил атаку:

«Важным соображением при этом,— писал он,— являлась необходимость усилить занимаемую нами позицию в фортификационном отношении, что при прискорбном в эту кампанию отсутствии при войсках шанцевого инструмента в достаточном количестве представляло немало затруднений. Люди рыли себе ровики частью крышками от манерок, частью руками. Для очищения эспланады виноградные кусты вырывали руками. По поводу недостатка шанцевого инструмента ввиду чрезвычайной важности в настоящей борьбе фортификационной подготовки поля сражения позволяю себе высказать несколько замечаний. Пехотная часть, бывшая в горячем деле, большей частью лишается шанцевого инструмента. Наш солдат, наступая по труднопроходимой, закрытой местности, особенно в жару, первое, чем облегчает себя,— это бросает свой инструмент, затем следует шинель и, наконец, мешок с сухарями. Поэтому часть, достигнув пункта, на котором ей надлежит остановиться, не имеет возможности прикрыть себя от губительного огня неприятеля, что постоянно делалось пехотой: 1) в американскую войну, 2) в кровавую четырехлетнюю карлистскую бойню и 3) теперь принято за правило турками. Ввиду этого, казалось бы, более целесообразным: или провозить инструмент вслед за атакующими или иметь при полках особые команды, на обязанность которых и возлагать укрепление отбитых у неприятеля позиций. Нельзя не упомянуть также и о недостаточности средств для устройства полевых укреплений, имеющихся при от-

ряде. При силе более 20 000 человек в отряде вашей светлости (адресовано кн. Имеретинскому) имеется, и то случайно только, одна команда саперов в 35 человек при унтер-офицере и ни одного инженера, несмотря на существование инженерной академии, ежегодно выпускающей в нашу армию десятки специалистов... Сомнению не подлежит для меня теперь, что если бы французская армия второго периода кампании 1870 г. при современном вооружении пехоты и относительной слабости в смысле решающем дальноточной артиллерии строго бы держалась системы неожиданного стратегического наступления (преимущественно на пути сообщения, напр.), соединенного с безусловной тактической обороной, при помощи полевой фортификации, то кампания кончилась бы выгоднее для французов...»

Дни третьей Плевны — это целая поэма, полная блеска для одних, позора для других...

Я описал эту бойню в своем романе «Плевна и Шипка». Тут трем дням ее посвящены двадцать семь глав. Описывать ее здесь — нет надобности. Приведу только эпизоды, касавшиеся Скобелева. Лучшее описание третьей Плевны сделано было официальным корреспондентом правительственного «Вестника» штабс-капитаном Всеволодом Крестовским в его книге «Двадцать месяцев в действующей армии» (т. 2-й, страницы 44 — 124). Это обвинительный акт, в эпиграф к которому можно было бы поставить следующие слова, сказанные, по свидетельству г. Крестовского, Скобелевым: «Наполеон великий был признателен своим маршалам, если они в бою выигрывали ему полчаса времени для одержания победы; я вам выиграл целые сутки и вы меня не поддерживали!..»

— До третьей Плевны,— говорил мне Скобелев,— я был молод, оттуда вышел стариком! Разумеется, не физически и не умственно... Точно десятки лет прошли за эти семь дней, начиная с Ловчи и кончая нашим поражением... Это кошмар, который может довести до самоубийства... Воспоминание об этой бойне — своего рода Немезида, только еще более мстительная, чем классическая.

Откровенно говорю вам — я искал тогда смерти и если не нашел ее — не моя вина!..

ХІІІ

Из-за гребня пригорка выехал на белом коне кто-то; за ним на рысях несется несколько офицеров и два-три казака. В руках у одного голубой значок с красным восьмиконечным крестом... На белом коне оказывается Скобелев — в белом весь... красивый, веселый.

— Ай да молодцы!.. Ай да богатыри! Ловчинские! — кричит он издали возбужденным нервным голосом.

— Точно так, ваше-ство.

— Ну, ребята... Идите доканчивать. Там полк отбит от редута... Вы ведь не такие... А?.. Вы ведь у меня все на подбор... Ишь красавцы какие... Ты откуда, этакий молодчинище?.. — остановил он лошадь перед курносым парнем.

— С Вытепской губернии, ваше-ство.

— Да от тебя от одного разбегутся турки...

— Точно так, ваше-ство, разбегутся.

— Ты у меня смотри... чтобы послезавтра я тебя без Георгия не видел... Слышишь? Вы только глядите — не стрелять без толку. Иди вплоть до редута, не тратя пороху... В стрельбе ума нет. Стрелять хорошо, когда ты за валами сидишь и отбиваешься... Слышите?

— Слышим, ваше-ство!

— То-то. В кого ты будешь стрелять, когда они за бруствером? Им от твоих пуль не больно. До них надо штыками дорваться. Слышите?.. А ты, кавалер, не из севастопольцев? — обернулся он к Парфенову. — За что у тебя Георгий?..

— За Малахов, ваше-ство...

— Низко кланяюсь тебе! — и генерал снял шапку. — Покажи молодым, как дерется и умирает русский солдат. Капитан, после боя представьте мне старика. Я тебе именного Георгия дам, если жив будешь...

— Рад стараться, ваше-ство...

— Экие молодцы!.. Пошел бы я с вами, да нужно новичков поддержать... Вы-то уж у меня обстрелянные, боевые... Прощайте, ребята... увидимся в редуте. Вы меня дождетесь там?

— Дождемся, ваше-ство.

— Ну то-то, смотрите: дали слово, держать надо... Прощайте, капитан.

Доехал генерал до оврага — видит, лежит в нем офицер... Еще несколько шагов сделал — офицер смущенно поднялся и откозырял... Генерал чуть заметно улыбнулся.

— Что, поручик, отдохнуть прилегли?

— Сапоги... ноги... — забормотал поручик, весь красный, чувствуя теперь только стыд, один стыд и ни искры трусости.

— Вы от той роты?

— Да-с...

— Экий вы рослый да бравый какой... Солдатам будет любо, глядя на вас, в огонь идти. Вы их молодцом поведете. Догоните поскорей своих да скажите вашему командиру, что я ему приказываю послать вас вперед с охотниками, слышите?..

Генерал перешел на серьезный тон.

— Офицер не смеет трусить... Солдат может, ему еще простительно... Но офицеру нельзя... Идите сейчас... Ведите в бой свою часть... Ваша фамилия?

— Доронович*.

— Ну, вот что... Я хочу услышать, что вы первым вошли в редут. Слышите — первым... Тогда и я забуду этот овраг и ваши сапоги... Слышите — забуду и никогда не вспомню... Помните — вы подадите пример... Прощайте! — и генерал, наклонясь, подал поручику руку. Тот с глубокой благодарностью пожал ее.

— Обещаюсь вашему превосходительству...

— Верю, поручик... До свидания в редуте!

Еще одно мгновение Доронович посмотрел вслед генералу и тотчас же бросился догонять своих.

* * *

По скату лепятся рассеянные солдаты какого-то полка. Они как-то вдруг, массами появились из лощины; точно муравьи поползли вверх. Видимо, перед решительным штурмом отдыхали там, собирались с силами. Густая внизу масса солдат редет кверху, разбивается на кучки, быстро бегущие вперед. Кучки разбиваются на одиночных, опередивших своих товарищей... Эти одиночные зачастую вдруг останавливаются, как-то дико вскидывают руками и падают вниз. Вон она — эта подлая желтовато-серая насыпь; вон он — этот проклятый вал!.. Сколько еще жизней потребует он?.. Масса все ближе и ближе; расстояние сокращается между ее отделившимися кучками и этой серой насыпью.

* Фамилия изменена.

Быстро, быстро бегут люди. Из отставших отдельные солдаты вдруг, точно ни с того ни с сего, выносятся вперед, быстро перебегают расстояние, отделяющее их от тех, которые идут впереди, еще момент, и эти, только что казавшиеся отсталыми, уже смело цепляются вверх по скату. Вот обрывки какого-то «ура». «Ура» вспыхнуло направо, перекинулось налево, загремело в центре... Чу, кровожадная, злоеющая дробь барабана. Еще быстрее двигается снизу вверх боевая колонна... Но уже никакого порядка в ней, врассыпную, как попало... Вот целые тучи дыма заслонили редут; гора точно дрогнула и рассеялась с громовым треском... За этим залпом перебегающие выстрелы, новое облако дыма, новый залп... Какой-то, должно быть, офицер на лошади выехал из лощины; за ним солдаты бегут. Смело он шпорит коня; добрый степняк чуть не в карьер выносит его на крутизну ската... Еще одна минута, и всадник вместе с конем катятся обратно в эту же самую лощину, из которой только что выехали.

— Возьмут, капитан, возьмут наши! — бодро кричит Ивкову Доронович.

— Еще бы не взять!.. — радостно отвечает тот, следя, как расстояние между наступающей черной массой солдат и серой насыпью вала все сокращается и сокращается. — Еще бы не взять! Один удар только, и кончено.

— Как кстати в барабан-то ударили...

Вон черные фигуры солдат все ближе и ближе; вон несколько копошится у самого вала, видимо, остановились и своих сзывают... А залпы оттуда следуют за залпами. Редут, точно живое чудовище, навстречу ободрившимся солдатам грохочет во все свои медные и стальные пасти, как дикобраз оцетинивается штыками... Ближе, ближе, у самого вала наши. Могучее «ура» еще шире, как пламя, взрываемое ветром, раскидывается по всему этому скату...

— Господи!.. Вот подлецы-то! — с ужасом вскрикивает Ивков.

— Что? Что такое?

Капитан молча показывает направо... Трусливая кучка солдат, отставшая от своих в то время как эти почти уже добежали до валов, залегает и открывает по туркам огонь... К ним присоединяется все больше и больше солдат... Что-то недоброе предчувствуется в этом... «Ура» мрет, не разгоревшись вовсю; солдаты, бывшие у самых валов, тоже подхватывают огонь и давай подстреливать, тратя на это

свою энергию... Ружейный огонь льется, не умолкая... Наконец, уже все остановились... Кучка трусов заразила всех паникой... Очевидно, вперед уже не подадутся. Нельзя идти стреляя, нельзя стрелять на ходу... Стрельба во время наступления — один из признаков трусости... Вот-вот пойдут назад — нельзя же лежать под огнем... Назад еще хуже, чем вперед, больше потерь будет, а все-таки уже ни на шаг не подвинутся...

Полк разбился о редут...

Как будто волны, отхлынули оттуда солдаты и бегут вниз... Сначала задние поддались... Вскочили залегшие первыми трусы и — стремглав в лощину, за ними и остальные. Не все... то и дело кое-кто спотыкается, падает и остается на месте: устिलाется мало-помалу скат неподвижными телами. Сколько уже чернеет таких! Какая масса их... Толпа разбилась на единицы... Она уже чужда внутренней связи; это люди, почти не узнающие друг друга... Самые храбрые отступают молча, хмуро, в одиночку. Только кучка трусов слепо бежит назад, крича что-то идущим навстречу новым подкреплениям. Эти новые тоже поддаются панике и оборачивают тыл... А мертвых все больше и больше... Вон одно место ската совсем почернело. Должно быть, не один десяток там плотно улегся друг к другу... Не один десяток... Сжав зубы, Ивков подается вниз — быстро подается. Солдаты тоже понимают, в чем дело.

— Ах ты Господи! — шепчет Парфенов. — Только бы еще одним разом, и конец делу...

— Эка беда какая!.. Без всякого толку спужались...

— Стадо!.. Подлое стадо!.. — озлобленно бормочет Ивков, боясь, чтобы и с его ротой не случилось то же самое.

Вот передовые кучки бегущих навстречу.

— Куда вы? — заскрипел на них зубами Ивков. — Трусы! Подлецы! Негодяи!

Все приостановились было... Только один совсем уже перепуганный солдатик сослепу бежит прямо на капитана...

— Трусы!.. У редута были — ушли... Срам!..

Харабов молча идет вперед, сознавая всю бесполезность упреков. Нельзя за себя отвечать в такую минуту... Самый храбрый человек может струсить...

— Ваше высокоблагородие, — ни с того ни с сего набрасывается на него бегущий солдатик. — У самого турецкого редута был... У самого вала, ей-Богу... Только бы скакнуть — и конец... Я под валом первый стоял, — чуть не

плачет он.— Только бы скакнуть, а тут кричат: «Назад, назад, назад!» Ну, все и побегли... Ах ты Господи!.. Все и побегли...

Солдатык, весь красный, весь разгоревшийся, отчаянно жестикулирует.

— Кабы дружно было...— подтверждает другой и не оканчивает: пуля догоняет беглеца и укладывает его на мягкую землю...

— Что ж вы осрамились, ребята? — корит их Парфенов.

Солдаты взглядывают только в лицо ему и быстро бегут мимо.

— Это еще что за стыд!..— слышится чей-то громовой голос позади.— Это что за табор бежит? Смирно!.. Из-под редута бежать... Срам! Не хочу я командовать такой сволочью!.. Идите к туркам!.. Вы не солдаты!.. Ружья побросали, скоты!..— продолжает тот же новый голос.

Ивков оглядывается — навстречу бегущим тот же Скобелев на своем белом коне.

— За мной! Я вам покажу, как бьют туром... Стройся!.. За мною, ребята, я сам вас поведу. Кто от меня отстанет, стыдно тому... Живо, барабанщики, наступление!..

Громкая дробь барабана покрыла и грохот залпов, и рев орудий, то и дело выбрасывавших снопы огня и клубы дыма из амбразур турецкой батареи...

* * *

Медленно цепь подвигалась вперед. Сухие, нахмуренные лица солдат уже поводило гневом... Стиснутые зубы, злобный огонь, загоравшийся в их глазах, мало предвещали хорошего защитникам редута. Шли в одиночку, молча... Звено от звена сохраняло правильные интервалы. Руки крепче стискивали холодные дула ружей; после недавнего возбуждения сердце билось спокойно, в голове, казалось, не было и мысли об опасности. На падавших товарищей уже не обращали внимания,— ни о чем не думалось... Свинцовые пчелы, густыми и шумными роями наполнявшие воздух, мало производили впечатления, совсем мало. Не потому чтобы инстинкты жизни замерли — нет, просто заостенели все... Чему быть, того не миновать. «Дорваться бы скорей!» — только одно и шевелилось в мозгу этих обстрелявшихся уже людей, жадно смотревших на серый профиль редута, который опять окутывало туманом. «Дорваться бы

скорей!..» И когда шальная пчела жалила товарища рядом, когда он, как подкошенный, падал на мокрую землю, не сожаление шевелилось у уцелевших — нет, сказывалась только жажда расплаты, дикая злоба поднималась в груди, дикая, холодная, от которой сердце не билось ни скорее, ни медленнее, от которой и правильный шаг цепи не прибавлялся. Пред нею была лощина. Ивков озабоченно поглядывал на нее; цепь его шла отлично, лучше не один бы тактик и не пожелал, но в темном овраге придется дать отдых минут пять — десять, не больше. Как бы все это настроение не изменилось, как бы все эти сухие, озлившиеся лица не подернулись колебанием, нерешительностью, как бы из цепи одни не выбежали вперед, это подало бы повод остальным сохранить свое положение позади, а потом совсем отстать.

— Братцы! Посмотрите, что они делают с нашими! — обернулся генерал, не сходявший с лошади.

Гул прошел по цепи, перебросился назад в следовавшие за нею звенья, сообщился колонне, которая уже, выставив нескольких солдат на гребень пройденной Ивковым горы, сама осталась позади за гребнем в прикрытии.

— Посмотрите, как эта сволочь наших раненых мучит!

Гул все рос и рос... Холодный пот выступал на лицах солдат. Парфенов, глядя на то, что совершалось около валов зловещего редута, заплакал навзрыд.

Из-за этой серой насыпи выбежали турки, поодиночке рассыпались на скате... Вон они наклоняются к нашим раненым. Какие-то крики застыли, всколебав на минуту холодный воздух. Крики эти растут... мольба в них, бешенство... Раненые, видимо, старались уползти, торжествующий враг позволял им это, чтобы смеясь тотчас же настигнуть ослабевших, исходивших кровью людей. Вон один из наших раненых приподнялся, неверной рукой выстрелил в подбиравшегося к нему низама. Тот пригнулся на минуту, потом выпрямился, кинулся к стрелявшему, и в одно мгновение такой дикий вопль, вырванный невозможной болью, донесся к нашим, что генерал решил тотчас же воспользоваться этой минутой озлобления.

— Ребята, без отдыха, вперед!.. Бегом на этих скотов... Спасем уцелевших и накажем негодяев... Я сам поведу вас... Слышите!.. Поручик Доронович, ведите охотников!.. Займите вон ту траншею...

Быстро пробежали ложину — ни одного отсталого не было. Как был тих и безлюден этот овраг до того, таким и остался.

Скобелев уже далеко впереди. Пригнувшись, охотники взбегают по скату вверх... Гора вздрагивает от бешеных залпов... Точно валы эти трещат, расседаясь на своих песчаных насыпях, точно лопаются и крошатся довременные граниты. Не доходя до редута — узенькая траншейка; от туда гремит перебегающая дробь выстрелов, кайма серого дыма от них, поднимаясь вверх, заслоняет собой редут... Скоро не она одна заслонила его, заслонил и туман, опять сгустившийся кругом. Редута не видно... Его только слышно... Гроза бушует в этой серой туче. Точно злые духи сорвались с адских цепей и торжествуют в глубине этой мглы, смешанной с пороховым дымом, свое близкое торжество, точно сам царь тьмы в гневе и грохоте бури сходит сюда на кровавую тризну... Возбужденному мозгу могло бы показаться, что планеты сталкиваются и, охваченные огнем, разлетаются на тысячи кусков, когда сквозь оглушительный треск перебегающей перестрелки гремят навстречу нашим цепям дружные залпы, сливая свой бешеный гром с яростным ревом стальных орудий... Целые тучи пуль несутся навстречу храброй горсти охотников, снопы картечи сметаю́т с черного ската все, что встречается на пути; гранаты из дальних редутов, впиваясь в сырую землю, рвутся в ней на осколки, острые края которых точно высохли и разгорелись от жажды. Наверху тоже не ладно: там лопаются шрапнели, точно чудовищные струны трескаются в воздухе под чьей-то могучей рукой. Лужами стоит кровь... В этих черных лужах барахтаются умирающие; предсмертные вопли тонут в грозном реве бури... Навстречу идущим солдатам бегут, точно сослепу, раненые. Бегут, наталкиваются на них, хватаются за товарищей, цепляются, точно в этом вся их надежда...

Доронович ничего уже не видит... туман кругом, в тумане бесятся остервеневшие духи ада. Он только и помнит одно — обет, данный им генералу... Да и нельзя забыть... В один из самых страшных моментов, когда, казалось, нельзя было вздохнуть, чтобы не подавиться картечью, в вихре этой бешеной бури пролетел мимо него Скобелев... Только на одно мгновение он увидел эту характерную фигуру с разбросанными русыми бакенами, с раздувающимися ноздрями, с мягкими в обычное время, но теперь точно

хотевшими оставить свои орбиты разгоревшимися глазами, смело глядевшими туда, в самую темень, откуда рвалась гроза навстречу. Вихрем налетел, успев кинуть в цепь охотникам: «За мною, дети! Не отставать! Вспомните замученных товарищей!» Точно обожгло солдат. «Ура» вспыхнуло, но не то нерешительное, которое с час назад слышалось из рядов отступивших потом солдат... Нет, это совсем иное... зловещее, бешеное, точно хриплые глотки хотели перекрычать этот треск ружейного огня, этот рев стальных пастей...

— Помните, ребята, назад дороги нет... За мной!..— кидает в свою очередь Доронович, не замечая, что по левому плечу его уже просочилась и бежит алая струйка.

«Не забывают замученных» вовремя брошено. Точно искра в порох упала... такой злобой вспыхнуло оно в солдатской душе... Помните замученных... Урра!..— все бешеной и бешеной разбегается кругом. Цепь позади, спотыкаясь, падая, хочет нагнать охотников; резервы сами двигаются, не ожидая команды... Раненые не остаются позади; они тут же в рядах — разве кость перебита, идти нельзя... Один худой, весь зеленый солдат, у которого в груди засела уже пуля, хрипло орет «ура», давится кровью, выплевывает ее и опять еще громче, еще более остервенело кидает свой вызов туче тумана и порохового дыма, окутавших зловещий редут.

Вихрем налетел генерал на другую окраину боя, под самой турецкой траншеей скользнул на добром арабском коне, бросил флангам грозовой привет и вынесся вперед, сам обезумевший от гнева, от злобы, от жажды крови... Шпоры впиваются в белую кожу коня, рвут ее, нервно подергиваются губы; под глазами легли черные полосы... Воздуху! Воздуху! — дышать нечем... Вперед! Бей их, друзья!.. Никому не будет пощады. Мсти за своих!.. Запевайте громче свою бранную песню, кровожадные барабаны,— громче, чтобы заглушить в немногих робких душах последний шепот жалости, последнюю жажду жизни... Громче направляйте барабаны эту злобой охваченную толпу... Гуще падай туман на облитые кровью скаты,— гуще, темнее, чтобы никому не был виден ужас, творящийся здесь... Чтобы жало штыка встречало вражью грудь, а очи врагов не видели друг друга...

— Не останавливаться! Вперед! — хрипло кричит Доронович уже в занятой им траншее...— На плечах у беглецов

ворвись в редут, ребята... За мной, друзья! — И почти тут же тяжелый приклад солдата опускается на голый череп обезумевшего от ужаса турка... Точно арбуз треснул, мозгом забрызгало окружающих...

— Вперед, охотники!.. Вперед! — выбегает Доронович из траншеи... — Вперед — редут недалеко...

— Сюда, охотники!.. — в вихре бури слышен голос Скобелева. — Сюда... Здесь они, проклятые, здесь... Сюда, друзья!.. За мной, дети... Одним ударом возьмем...

Но последние слова его тонут в свисте картечи, в разъяренных залпах оттуда, от которых самый воздух, кажется, сможет оттолкнуть нападающих.

Ивков, Харабов — все тут... Какие-то офицеры из других частей... Все перемешалось, все одной бешеной толпой несется к редуту... Тысячи побежали на скат — сотни уже упали... Сотни упадут сейчас, до вала добегут десятки... Что нужды? — лишь бы дорваться... Скорей, скорей в этот туман, откуда несется громкое «ура», откуда слышен одобряющий голос генерала... Скорей, скорей! Что нужды!.. Из лощины выбегают новые тысячи... Опять они тают на скате, и снова десятки добегают к валу... Тут уж все перепуталось, ничего не разберешь — стихия беснуется на просторе: пламя рвется вверх, вода затапливает землю, прорвав и размыв жалкие плотины...

— Сюда, охотники! Сюда, друзья! — точно ловчий в рог созывает Скобелев на травлю озлившуюся стаю собак... Покорные зову, все они уже тут, добежали к серой насыпи, и ливень свинца оттуда. Кажется, что редут этот дышит картечью.

На минуту разбросило туман, ветром повеяло с севера; но его холодный воздух не освежил эти разгоревшиеся лица, — не пахнул свежестью в эти разгорячившиеся груди... Скорей, скорей! Рвутся отсталые... В свирепой злобе своей, царапая землю, на место боя ползут раненые... Умиравшие, приподнимаясь на руках, орут «ура», выбрасывая в этот предсмертный крик последние отблески угасающей жизни... Уже на штыках красные полосы... кровь бежит по дулам ружей, кровь на руках, на лицах... Не разберешь — где своя, где чужая... Тщедушный, робкий Харабов неузнаваем: вырос, голова закинута назад, голос звучит металлическими нотами; рука так схватилась за шпагу, что, почти ломаясь, впивается вся рукоять; он бодро, смело и стройно ведет своих; Парфенов не отстает от него. Старику почудилась

Балаклава... Малахов курган, как живой, вырос перед глазами. Вспомнил он тогдашнюю тоску сдачи после рокового боя — и хрипло бросает свое «ура» прямо в лица врагам, уже стоящим на валах, уже оцетинившимся штыками. В сгустившуюся массу врывается картечь, расчищая улицы... И в эти промежутки вбегают новые бойцы... А из лощины поднимаются новые и новые тучи... Молодой парень тоже вспомнил старое, взял ружье за дуло и чистит себе путь прикладом.

— Алла, алла! — также бешено несется с валов... Какой-то мулла в зеленой чалме и зеленом халате вскочил на самый бруствер и выкрикивает оттуда свои проклятья... В упор кладет его Парфенов, и замирающее «алла» опять подхватывается обреченными на смерть таборами.

— Еще усилие, ребята,— за мной!..

Скобелев врывается на насыпь редута, скатывается оттуда вниз, подымается опять весь покрытый грязью, облепленный ею, и хрипло зовет за собой солдат... На нем лица нет — что-то черное, кровавое, бешеное... Харабов, Доронович и Ивков уже на валах. Вскипает последний акт этой трагедии — последний и самый ужасный... Штыковой бой уже начался по окраинам... В амбразуру, откуда орудие, напоследок, прямо в живое мясо густой толпы, выбросило картечь, вскочил генерал... штык ему навстречу,— уже коснулся груди... Но парень со своим ружьем тут как тут. Тяжелый приклад с глухим звуком встречает висок низама, и генерал уже впереди, не видя, кому он обязан своим спасением, не зная даже, какая опасность ему грозила... Зверь сказывался в нем, зверь и в этихрывающихся сюда толпах... Зверь, попробовавший крови; зверь, не дающий никому пощады... Никакой правильности в этом бое. В одном месте мы насели на турок — они подались; в другом — обратно... Здесь мы бьем, там бьют нас. Боевая линия изломана таким образом, что часто мы с тылу бьем турок, часто турки выбегают нам в затылок...

* * *

Редут взят.

Земляные насыпи, стальные орудия, серые шинели солдат, лица их и руки забрызганы кровью... Кровь стоит лужами внутри редута, лужи и вне его. Кровь испаряется в туман, точно делая его еще тяжелей. Сапоги победителей

уходят в кровь. Жаждающие отдыха после устали беспощадной бойни садятся, ложатся в кровь... Кажется, что и сверху падает она с дождевыми каплями... Кажется, что эта мгла насквозь пропитана ею...

Защитники редута почти все остались здесь...

Кому удалось выбраться из-за этой земляной насыпи, тот улегся на скатах холма... Вон весь склон его покрыт этими разбросанными, исковерканными телами.

Внутри повернуться негде.

Точно нарочно набили этот редут мертвецами. По углам их груды... Из-под них порою прорывается болезненный стон... На одну из этих груд с ужасом уже смотрит Парфенов; старику помнится, что сюда, словно испуганное стадо, сбились бросившие оружие турки... На коленях стояли, кричали «амань»... Перед стариком до сих пор эти умоляющие лица, эти руки, простертые к победителям, эти покорно склонявшиеся под солдатские приклады головы... И он в жару вместе с другими колол, и он убивал просивших пощады... Парфенов недоуменно оглядывался — неужели никто не уцелел? Нет, все синие куртки лежат... вон разможенные черепа, груди, насквозь пробитые штыками... Истребление бушевало здесь, не зная предела... Милости не было никому... Страшно становится Парфенову... он оглядывается на своих: видимо, и другие чувствуют то же самое.

Нет ни в ком этого торжества победы, радостного ликования уцелевшей толпы. Молча сидят на брустверах... Дымки закуренных трубок курятся кое-где. Не слышно говора... Вон паренек — новичок в ратном деле — остановился над громадным турком, раскинувшимся в кровавой луже, и вглядывается в его лицо, пристально вглядывается, точно хочет допроситься чего-то. И на него пристально смотрит турок — только неподвижным, полным ужаса взглядом... Разбросил руки и смотрит; и оба они — мертвый и живой — не могут отвести глаз один от другого.

Тихо едет генерал к редуту... Мрачно оглядывается он по сторонам, оценивая потери сегодняшнего дня... Вот он остановил коня над одним из офицеров... Тень скользнула по молодому лицу...

— Это, кажется, Неводин? — оборачивается он к адъютанту.

— Точно так, ваше-ство!..

— Хороший офицер был. Георгиевский кавалер... Жаль... Скорей санитаров сюда!.. Собрать раненых!..

Молча выехал он в редут... Сошел с коня, вошел на бруствер. Пытливо оглядывает окрестности...

— Спасибо, ребята, за службу,— тихо благодарит солдат.— Потрудились честно сегодня... Орлами налетели... Видел я, как дрались вы... Львы!.. Я счастлив, что команду такими молодцами... Устали?..

— Устали, ваше-ство...

— Отдохните... Полдела сделали... Теперь удержаться надо... Поручик Доронович!.. Сидите, сидите!.. Поздравляю вас с Георгиевским крестом.

— Не заслуживаю, генерал...

— Это как?

— В овраге...

— Ну, душенька, вы двадцать оврагов заставили позабыть... Спасибо, ребята, еще раз!.. Вот и солнце, кажется... Знамена на валы! — громко скомандовал он.

Мертвый редут словно разом оживился...

Два батальонных знамени взвились над бруствером... Первый сегодня солнечный луч загорелся на их крестах, легкий ветер колыхнул и, словно паруса, развернул их полотнища... Один этот редут с своими знаменами был освещен солнцем. Кругом все еще тонуло в тумане. Точно корабль в океане, неся куда-то этот клочок земли...

Умиравшие, подымая взгляды среди мучительной агонии, встречали свои знамена... Развеваясь над серыми валами, они точно призывали благословение небес на этот мир несчастья и муки...

— Майор Горталов, вы остаетесь комендантом редута! — обернулся генерал к небольшого роста офицеру.— Могу я рассчитывать на вас? Тут нужно удержаться во что бы то ни стало...

— Или умереть, ваше-ство!..

— Подкреплений, может быть, не будет... Дайте мне слово, что вы не оставите редут. Это сердце неприятельской позиции... Там,— и генерал кинул горькую улыбку,— назади еще не понимают этого... Я поеду убеждать их... Дайте мне слово, что вы не оставите редута!..

— Моя честь порукой!.. Живой не уйду отсюда...

И Горталов поднял руку, как бы присягая.

Генерал обнял и поцеловал Горталова.

— Спаси вас Бог!.. Помните, ребята, подкреплений не будет — еще раз! Рассчитывайте только на себя!.. Прощайте, герои!..

Отъехав на версту, генерал оглянулся на редут. Весь он казался на высоте. Два знамени его в солнечных лучах гордо веяли над серыми насыпями.

Клубившийся кругом туман еще не окутал их своим однообразным маревом. Корабль, казалось, величаво нес в этом волнующемся океане свои паруса и мачты...

— На смерть обреченные! — И еще печальнее стал генерал, прощаясь взглядом с лучшими из своих сподвижников.

* * *

— Нас, значит, оставили совсем... Никого и ничего на помощь?... После того, как все уже почти сделано?..*

— Никого и ничего, ваше превосходительство, — козырял щеголеватый штабной.

— Значит, третья Плевна?..

И генерал не окончил.

Нервно стало подергиваться лицо, голос дрогнул, оборвался, и вдруг этот железный человек, спокойно тридцать часов выносивший все: и гибель лучших своих полков, и смерть друзей, и трагические переходы боя от поражения к победе и от победы к поражению, — зарыдал, наклонясь над лукой седла... Окружающие отъехали на несколько шагов...

— Что это с ним? — удивленно шепнул штабной одному из ординарцев.

Тот только смерил взглядом эту чистенькую фигуру на чистеньком седле и отвернулся.

— Никого!.. Ни одной бригады... Ведь здесь все. Устоим. Осман уйдет...

— Ни одного полка свободного нет...

— А там? — взмахнул он на северо-восток.

— Берегут дорогу на Систово...

— Академические стратеги! — упавшим голосом проговорил ординарец.

— Только один Крылов... честная душа. Если бы не его шуйский полк, я бы не выручал тех, что один против ста

* Отрывок этот имеет целью описание отступления из занятого Горталовым редута. Сцена защиты его изложена в моем романе «Плевна и Шипка».

отбиваются теперь на *моих* редутах... Один против ста — львами!.. Сколько героев — и все это на смерть!..

Он выпрямился в седле и снял шапку.

— Слышите?.. — махнул он ею по направлению к редутам.

Огонь разгорался там с такой бешеной силой, что, казалось, в треске ружейных выстрелов и в реве орудий, не смолкавшем ни на одно мгновение, рушились в прах все эти твердыни, вставшие на страже Плевны... Силуэты редутов, еще недавно выделявшихся на сером небе, окутало густыми тучами порохового дыма... В этих тучах умирали львы; в этом дыму десятки таборов обрушивались на остатки героических рот, изверившихся в победе и не желавших спасения... Но грохот бойни, неистовые крики нападающих, ответные вызовы защищавшихся — вот все, чем сказывалась битва... Глаз не видел ничего... Казалось, само грозное божество смерти и истребления задыхалось в этом стихийном дыму приносимых ему жертв...

— Слышите?.. Люди дрались и будут еще драться, но таких — не будет... Они лягут там... Они дали слово и умрут... Слышите? Их горсть, а вон какое «ура»... Прямо в лицо врагам... Окруженные со всех сторон. Раздавленные!.. Ну что ж!.. Они сделали все... Невозможное оказалось возможным... Больше нельзя... Господа!..

Голос его дрогнул — опять... Пауза... Все притаили дыхание...

— Господа, мы отступаем... Мы отдадим туркам взятое... Сегодня — день торжества для наших врагов. Но и нам он славен... Не покраснеют мои солдаты, когда им напомнят тридцатое августа... Господа, мы уходим... Шуйцы прикроют отступающих... Вперед и скорее!..

Шпоры до крови разодрали белую кожу великолепного коня, который стремглав бросился по неровной и влажной почве... Ветер свистал мимо ушей вместе с пулями, уносившимися вдаль... Бешено мчались всадники, точно от каждого мгновения зависела жизнь дорогих и милых людей... Молоденький ординарец сорвался с коня и покатился вниз, но ждать его было некому и некогда, и спустя минуту один он опять догнал генерала... У этого из-под закушенной губы проступила кровь, глаза безнадежно смотрели вперед и ничего не видели, фуражка осталась в руках и слипшиеся волосы космами легли на лоб... Конь совсем обезумел под нетерпеливым всадником, мундштук рвал рот, и заалевшая

пена разбрасывалась по сторонам от окровавленной морды... Штабной, спеша за генералом, вежливо, почтительно кланялся каждой пролетавшей мимо пуле, причем, если бы окружающим был досуг, они, разумеется, могли бы оценить, до какой степени удивительной гибкости и эластичности дошла шея этого доблестного и щеголеватого офицера...

— Вон они, вон они! — протянул руку генерал.

В тумане порохового марева уже можно было различить неопределенную массу редута... Неопределенную потому, что вся она была загромождена людьми... Извне лезли озлобленные турецкие таборы, на валах стояли отбивавшиеся штыками наши. Видно было смутно движение новых масс неприятеля, стягивавшихся сюда, но ненадолго... Скоро новые клубы дыма совсем затянули эту зловещую картину упорного боя, и всадники опять только слышали, но не видели его...

— Идут ли шуйцы?.. — обернулся генерал...

— Они уже выдвинулись, готовы...

И снова бешеная скачка вперед, и снова остервеневший конь хочет точно перегнать самый ветер...

В редуте уже совершался последний акт этой кровавой трагедии.

Отбивались штыками... Приподымаясь над бруствером, видели и впереди, и позади только массы врагов... Они же густились и налево... Казалось, этот одинокий корабль-редут вот-вот пойдет ко дну, утонет с жалкими остатками когда-то многочисленного и сильного экипажа... Склоны холмов кругом, лощины были наполнены турецкими таборами. Турки озлобленно лезли отовсюду... Победа была несомненна... Умирующие львы уже не думали об обороне... Они знали, что позиция уходит в ненавистные руки, и думали только о том, как бы пасть с честью, как бы в последние минуты свои нанести удары посильнее, как бы подороже продать свою уже обреченную жизнь... В одном из редутов турки, уже ворвавшиеся, бешено дрались с нашими солдатами, задавливая их массой, умирая для того, чтобы на свежий труп встала тотчас же нога нового бойца, за которым ждали очереди остальные. Под ливнем свинца гибли и свои, и чужие... Сломав штыки, враги схватывались и, хрипя, душили один другого, перехватывали горла, выдавливали глаза, раздирали рты... Часто умирающий, свалив в смертельном, последнем усилии угасающей жизни своего врага, вгрызался

в его тело судорожно сжимавшимися зубами и только под тяжелым прикладом, разбивающим ему череп, освобождал остервеневшего бойца... Парфенов, во весь рост стоя у самого вала, отбивался штыком от нескольких рослых низамов, наступавших отсюда. Курносый парень уже со шрамом во все лицо, изодранный, бессознательно вправо и влево отмахивался прикладом, зажмурив глаза и не видя, кого он бьет, чьи головы, чьи шеи встречает его приклад... Горталов, сумрачный и безмолвный, сложа руки, сидел пока посреди редута. Он был готов, он — этот капитан утопающего корабля — он был готов к смерти, но час его не пришел, и он спокойно ожидал последнего напора роковых волн. В живой массе солдат рвались гранаты... Соединительная траншея кое-где уже была захвачена турками, и там, в узком рве этом шел свирепый бой один на один... Враги схватывались и гибли, утучняя почву своей кровью... Схватывались в туче порохового дыма — умирая, не могли различить над собой даже серого просвета неприветливого, совсем осеннего сегодня неба.

Ординарцы, посланные с приказанием отступить, не могли доехать до редутов, окруженных таборами... Сигналы слышались, но им не верили эти мужественные, решившиеся умереть люди... Из левого редута, впрочем (Абдул-бейтабие), кучка солдат двинулась навстречу своим, но все, на первых порах врезавшись в смежную гущу врагов, погибли там под штыками... Раненые, падая, уже не могли надеяться на спасение... И здоровые не могли уйти, а этих и подавно уносить было некому. Да и дождаться турок не пришлось наиболее счастливым... Свои затоптали... Туда, куда направлялись наиболее сильные удары турок, туда, где громче гремели их торжествующие крики, кидались кучки защитников. Им некогда было разбирать, кого они топчут — своего или чужого. «Ох, Господи! Спасите!.. Куда-нибудь в угол меня!.. Ой!.. Голубчики!.. Своего!..» — слышались хриплые, с натугой вырывавшиеся из-под ног крики раненых и умирающих, но они бесследно пропадали среди этого царства смерти, торжества ужаса... Не одна рука и нога были в крови; сапоги солдат тоже покрылись ею. На земле, где не было мертвых и раненых, где не корчились умирающие, стояли те же черные лужи крови... Падали лицом в них, спотыкаясь, опускали руки в эту кровь... Часто, потерявши от муки сознание, несчастный хватался за полу шинели, за ноги пробежавших мимо, но те, даже не оглядываясь, вырыва-

лись: помогать не было рук... Те, которые еще уцелели, знали, что через минуту и им придется также лечь на землю и в острых болях мучительной смерти царапать землю судорожно сводившимися пальцами.

Харабов заметил налево свободную полосу ската. Тут турки разредились, направляясь в атаку с фронта и с тыла.

— Не прикажете ли унести солдат туда?..— обратился он к Горталову...

— Что? — спокойно поднял на него глаза, казалось, задумавшийся о чем-то майор.

Харабов повторил.

— Погодите... Нужно и знамена спасти... Они во всяком случае не должны достаться врагу... Что это... Откуда это выстрелы?..

На минуту было вспыхнула надежда...

Горталов встал...

— Неужели подкрепления?.. Можете вы рассмотреть, что там?..

— Нет... Впрочем, видно. Это Скобелев... Только с ним не более батальона...

— А пушки, пушки оттуда слышите?..

— Слышу... Вот они открыли огонь опять... Одна батарея... Я думаю, он хочет прикрыть отступление!.. С такими силами отбить турок нечего и думать...

Горталов зорко всмотрелся туда и потом, не говоря ни слова, сошел вниз...

Надежды не было... Атака турок опять приостановилась, но надежды не было.

Момент, которого он ждал, наступил...

Этим моментом нужно было воспользоваться во что бы то ни стало... Турки отхлынули, очистив тыл... Теперь гарнизон редута может выйти... Теперь удобно начать отступление... В последний раз он собрал вокруг себя своих солдат, зорко, внимательно стал всматриваться им в лица... В эти дорогие, близкие лица... которых он более уже не увидит... Вот они перед ним... Ждут его голоса... Смотрит прямо в глаза ему... Вот и знамя колыхнется над ними...

— Братцы!.. Идите, пробейте себе путь штыками... Здесь защищаться нельзя... Штабс-капитан Абазеев, вы поведете их... Благослови вас Бог, ребята!.. Прощайте!..

И сняв шапку, Горталов перекрестил солдат.

— Ну, с Богом! — громко, уже овладев собой, командовал он.

— А вы?..— И все глаза обратились к нему с выражением тоски и боли.

— Я... Я остаюсь... Остаюсь с этими,— указал он на груды мертвых...— Скажите генералу, что я сдержал слово... Я не ушел из редута... Скажите, что я здесь... мертвый! Прощайте, ребята!

Вот они направляются к горке. Вот они выходят... Вон эти серые фигуры, их уже нет в редуте... Сейчас корабль пойдет ко дну... Экипаж сел в лодки, отчалил. Один капитан на палубе, он не уплывет с ними... Он должен погибнуть вместе со своим судном... Ветер сбивает прочь мачты. Волна за волной разбивает кузов, сейчас он рассядется... Сейчас!.. Ниже и ниже опускаются борта... Весь в белой пене вал уже поднялся над ним...

Вот они за бруствером... В последний раз Горталов посылает им свое благословение:

«Спаси вас Бог!.. Спаси вас Бог!..»

И слезы на глазах... Он видит, как последние солдаты, оборачиваясь, крестят его... Он уже не может сдержать рыданий... Раненые корчатся кругом... Они тоже остались здесь... Вот знамя мелькает... Прощайте, братья, прощайте!.. Прощайте!.. Пора... Пора!.. Турки не должны увидеть этих слез... Вон они уже бегут... Почуяли, что редут оставлен... Торжествующий рев освирепелой толпы... Рев ему навстречу... Стадо звериное мчится... Ураган несется... Пора!..

Спокойный и величавый, скрестив руки на груди, он медленно взошел на наружный край бруствера... Горталов, он один теперь на страже редута... Один, и никакого волнения уже не видать на лице этого капитана, погибающего со своим кораблем... Сколько их! Вот они у самых ног... Штыки... Взбегают на вал...

Вспененные гребни высоко-высоко поднялись над палубой...

Буря осилила... Корабля уже не видать под ними...

Горталов бьется на штыках... Последний вздох к небу... И разорванное на части тело героя безобразными кусками валяется на окровавленной земле...

Огонь рассыпанных по гребню следующего пригорка шуйцев заставил отхлынуть турок...

* * *

Путь к отступлению пока был открыт... Штыкам еще не было дела. Густясь по сторонам, враги довольствовались тем, что расстреливали солдат, выходивших из редута...

Расстреливаемые тем не менее шли, сохраняя строгий порядок. Рассыпаться не хотели... Локоть к локтю, стройными рядами. Если бы не кровь на руках и на лицах, если бы в этой медленно движущейся массе не попадались раненые, которых товарищи несли на скрещенных ружьях, и раненые, которые сами шли, прихрамывая и опираясь на штыки,— можно было бы подумать, что это свежая часть, совершенно спокойно идущая среди мирной обстановки обыкновенного похода... Даже равнение хранили эти доблестные остатки героических полков, выдержавших тридцатичасовой беспощадный бой... Только озлобленно-сведенные лица, глаза, горящие воспаленным блеском, выдавали волнение этих последних защитников редута... Изорванные знамена тихо колыхались над молчаливыми рядами. Несколько турецких значков с золотыми полумесяцами шелестели тут же, развертывая по ветру начертанное на их полотнищах имя Аллаха... Казалось, эти последние свидетельствовали, что солдаты, уносившие их, потерпели поражение, которое тем не менее было выше всякой победы. Отступающие уносили с собой трофеи, они не только своего не оставили туркам, напротив, и ихнего им не отдали... Впрочем, нет — бросили то, чего нельзя было взять... Наше оружие стояло в редуте... Замок с него был снят. Его тащило несколько солдат...

— Эх, жаль!..— слышалось в рядах.— Орудию оставили!..

— Ничего... Что оно без замка!.. Неужели на руках тащить!.. Не утащишь. Пусть свиному уху достается... Ничего с ним не поделает...

— Наша пушечка гордо стоит, ишь она нос-то как задра-ла!.. Что твой енерал... Ее оттеда и на буйлах * таперчи не увести,— говорили солдаты.

Оглядываясь, они видели спокойно стоявшего на валу Горталова... Они видели ату открытую голову, смело обращенную туда, откуда на него шла неизбежная смерть... Они видели, как вокруг него разом выросла какая-то толпа... как этого, не защищавшегося человека, опустившего свою саблю вниз, спокойно скрестившего руки, подняли на штыки... Они видели, как он бился на этих холодных и острых жалах... как его сбросили вниз... Они видели, как вслед за этим последним защитником оставленного редута темные

* Буйвол.

волны турецких таборов стали перекатываться через валы со всех сторон. В гвалте их торжества не пропали бесследно отчаянные крики наших раненых, попавших в руки этим победителям. Отчаянные крики — крики, пронимавшие до самого сердца... Великодушные враги не хотели оставить умирающих умирать спокойно... Вся их ненависть, вся их изобретательность направились к тому, чтобы придумать такие муки, каким нет имени на языке человеческом. Еще сумрачнее становились лица солдат, слышавших вопли своих товарищей. Они слали варварам проклятья. Забывали боль собственных ран... Некоторые рыдали, и казалось, что эти измученные, сна не знавшие очи точили кровавые слезы по почерневшим лицам. Порывались назад, хотели отбить своих, но что могли бы сделать жалкие сотни людей из расстрелянных полков с десятками таборов, отовсюду наваливавших на оставленные редуты... Что могли бы сделать эти перераненные, утомленные львы — разве только одно: отдать и себя на жертву бесчисленному стаду гиен, тешившихся страданиями, упивавшихся воплями мучеников, у которых не хватало силы даже для того, чтобы заслонить глаза своей рукой от подлых ятаганов, заносившихся над ними... Они не могли повернуться, когда торжествующие победители раскладывали огонь на их окровавленных грудях; они только и могли вопить к атому холодному, равнодушному небу, когда на их телах вырезались кресты, когда медленно, с наслаждением регулярные войска, присяжные солдаты Турции, отрубали им по частям ноги и руки... И счастливы были те, кто исходил кровью, кто умирал скоро...

Под жестоким, перекрестным огнем стояли шуйцы, прикрывавшие отступление наших... Но они все-таки были счастливее. Падая, знали, что до них не дойдет враг; знали, что смерть их не будет вызвана лютыми муками... Тут умирали сравнительно спокойно... Видя, как остатки еще вчера сильных и здоровых полков уходят из редутов, наши безмолвно стояли под непрекращавшимся ливнем свинца... Никому не могло и в голову прийти — схорониться за лощины... Скобелев зорко смотрел на отступающих. Жадно считал он их ряды издали... Казалось, в нем еще жила надежда, что потери будут не столь велики, что смешавшиеся в одни ряды солдаты разных полков еще выйдут оттуда, что это — не все... Но увы!.. Черные массы наших медленно двигались там — и позади за ними не было уже здоровых...

Только раненные лежали на скатах — раненные и мертвые... Одни ползли за своими, еще находя силы в порывах ужаса и отчаяния, другие оставались неподвижными, перевернувшись лицом вниз... Они, казалось, не хотели видеть, что ждет их, когда наши уйдут совсем...

— Как мало!.. Как мало!..— нервно срывалось у Скобелева...— Какой ужасный день!.. И как уходят эти... Посмотрите — ни суматохи, ни беспорядка. Вот люди!.. Пошлите сюда казака...

Весь точно высохший, донец на отощавшем степнячке трусцой подъехал к генералу.

— Ты знаешь, где генерал Крылов? Тебя я уже посылал? Сейчас поедешь опять...

Донец, два раза сломавший путь туда и обратно, только вздохнул. «Доля казачья — служба собачья!» — подумал он про себя.

Нервно набросал Скобелев несколько слов на лоскутке бумаги...

«Из редутов выбит... Отступаю в порядке, прикрываясь вашим шуйским полком... Merci, général!..*»

— Отдать этот листок генералу... Слышишь?.. Да живо!..

Нагайка стала поглаживать втянутые бока утомленного коня, затрусившего вниз в лощину по скату...

— Да... Если бы Крылов исполнил в точности приказ и не послал бы шуйцев, никому не пришлось бы выйти живым из этих редутов... Академическим стратегам не мешало бы подумать об этом...— вырвалось у адъютанта...

Скобелев только нервно отбросил по сторонам баки и еще зорче стал смотреть на отступающих...

— Сколько потерь, сколько потерь!..

— Шуйцам тоже солоно пришлось... К нам их прислали после боя... У них не осталось и половины, а теперь и остальные лягут!..

— Ужасный день!.. И к чему было держаться! Чего ждать...

Все, что окружало здесь начальника отряда, точно ослабло и понурилось... Мысль не работала, ощущения точно притупились... Кругом валялись мертвые, падали раненные — никому и в голову не приходило отъехать назад... Разве не все равно?.. Казалось, для того, чтобы отойти, нужно было больше мужества и энергии, больше усилий,

* Благодарю, генерал!.. (Ред.)

чем для того, чтобы оставаться здесь, не трогаясь с места, словно окостенев на нем.

* * *

Спит Гривица, спит Тученица, спит Радишево... Вот и турецкий редут, занятый нами,— единственный трофей двух дней упорного боя... Там костры; за кострами сидят свежие румынские доробанцы; да и те молча глядят в огонь, потому что кругом трупов навалены горы; кровь везде — и под ногами, и на валах, острый запах ее бьет в нос... Сучья костра, попадая в эти черные лужи, шипят и тухнут, обвиваясь противным, кислым паром... Только на аванпостах бодрятся еще часовые... Выдвинулись вперед... зорко глядят, не покажется ли где враг. Прислушиваются, не долетит ли что оттуда... Но нет... Ночь точно мертвая, и только одно воронье оглашает ее своими радостными победными криками... Впрочем, нет... Чудится ли это возбужденному мозгу?.. В болезненно-расстроенном слухе рождаются ли эти звуки?.. Ловит их часовой и скоро догадывается, в чем дело... Да и как не догадаться? Столько ужаса в отголосках этих, столько муки в замирающих воплях... Холодный пот выступает на лбу; сердце точно смолкает и медленнее бьется; ноги подкашиваются... Это оставшиеся там, позади... Это те, что валяются теперь, как падаль, между нашими и турецкими позициями... Это подает голос живой корм для воронья... Он чует свою участь и, не находя силы двинуться, оглашает поле недавней бойни мольбами и стонами...

Но горе побежденным!.. Горе!.. «Нет им пощады!» — слышится в торжествующих криках хищников, в довольном клекоте тех, которые уже долетели до боевых полей и опустились на свои жертвы...

И еще сумрачнее, еще печальнее кажется молчание на наших позициях...

На скате за кряжем Зеленых гор — костер... Он уже потух; красные угли из-под золы только мигают порой, как умирающий из-под опущенных век... Молча, глядя в огонь, сидит Скобелев... Ему не спится... Припоминается весь этот день... Вся эта бойня. В военном энтузиасте шевелится проклятье войне... Отчего он не убит?.. Зачем он остался жить, похоронив свои лучшие полки, и горькое сознание ненужности бесплодно принесенных жертв шевелится в душе, и холодно ему становится, когда вспоминает он, каких именно

людей он потерял сегодня... Как они дрались под Ловчей!.. С какой верой в него сегодня шли на смерть... Пошли и не вернутся более... Не было ли ошибки в его расчетах? — шевелилось в душе острое жало сомнения... Не он ли виноват в их страданиях? Не он ли виноват в их смерти?.. И опять он проверяет миг за мигом все эти тридцать часов безостановочного боя, и опять шевелится в душе горькое проклятье бездарности, сделавшей жертвы бесплодными, отнявшей у сегодняшнего дня тот именно венец победы, который один мог бы сделать весь этот бой не столь отвратительным, заставил бы забыть его ужас!.. Да где они, где эти еще вчера веселые, здоровые и бодрые люди? Где генерал Тебякин? Где Добровольский? Убит... Где смелый командир тринадцатого стрелкового батальона Салингре? Убит. Где Горталов? Умер на штыках... Тысячи убиты и ранены... Зачем? Кому нужна была их смерть?.. И он все больше и больше кутался в солдатскую шинель, точно ему холодно становилось от этих воспоминаний именно теперь, наедине с этой ночью, с ее робкими, печальными, кроткими звездами, будто укорявшими его с высоты темного, равнодушного ко всему, и к победе, и к поражению, неба... Подымался ли в этом железном человеке обличающий голос: «Какому делу ты служишь?» Становились ли и ему понятны и близки томления Каина?.. Он закрывал глаза, стараясь не видеть даже лиц спящих... Но так еще слышнее звучал в его душе голос невидимого обличителя. Точно в его грудь проникла холодная мертвая рука и беспощадно сжимала живое сердце... «Ты никогда не забудешь этого дня... Никогда!.. Погаснут громы войны, и всякий раз, когда ты будешь оставаться один на один, я буду приходить к тебе, я буду тебе напоминать о том, что случилось сегодня...» И он сам чувствовал, что эти поля никогда не изгладятся из его воспоминаний... Сам чувствовал, что в самые счастливые минуты торжества эти кроткие, робкие звезды будут смотреть на него с таким же печальным укором, эта холодная мертвая рука также будет сжимать его живое, горячей кровью обливающееся сердце.

Шел мимо раненый... Холодно ему казалось... Мигнул и на него умирающий огонек костра... Мигнул и замер... Побрел на него раненый солдат... Видит, начальство какое-то... Что ж ему! После такого боя разве оно страшно?

— Расступись, братцы, дай отогреться!.. — И думать не хочет, какое тут офицерство собралось... Привалился

к огню, разгреб его... Что ему, может быть, умереть сейчас. Упало все внутри — тоска!

— И огня-то мало! — угрюмо звучит его голос... — Не умели разложить... Эх!.. Доля ты, доля солдатская!..

Смотрит на него генерал... Красным шрамом исполосован лоб... Плечо в крови... На ноге кровь.

— Где ранен? — тихо спрашивает. — В редуте?

— Ранен?.. Тебе не все равно, где?.. Не в резервах же... — И невдомек ему, что генерал свой, — не различает воспаленный взгляд...

Молча смотрит генерал в красные угли точно проснувшегося костра... Он и не слышал ответа солдата, так, машинально, спросил.

— Ранен!.. Все ранены... Не сочтешь!.. — угрюмо говорит солдат, разгребая их... — Понавалено... Тыщи лежат.

«Да, не сочтешь!.. Ты их вел на смерть... Где они?.. Зачем, за что... Что им за дело, им, расплатившимся за тебя, до идей, которым ты служишь... Необходимые жертвы!.. Да кому же они необходимы... Тебе... Таким, как ты... Солдату необходимы?..»

И опять та же холодная мертвая рука!..

Забылся было, к костру привалился... Что это?.. Кто-то шинель с него тянет...

— Что? — машинально отзывается генерал.

— Ты здоров... Мне надо... — еще угрюмее отзывается солдат, снимает шинель с него, завертывается и идет далее...

Генерал следит за фигурой раненого, все больше и больше сливающейся с темнотой, и опять молча продолжает вглядываться в красные угли, вновь покрывающиеся серым налетом золы... Умиравший огонек слабее и слабее вздрагивает под ней, точно ему холодно, точно он также спешит завернуться в эту золу...

И опять безотвязные думы... Ах, как кричит это воронье... Ноет внутри, в душе еще громче грозитя ему кто-то... безотвязно!..

Далеко-далеко откуда-то слышится музыка... Что это, кому вздумалось праздновать? Должно быть, ужинают там веселые люди... Странное дело, как эти мотивы под стать крикам вороньих стай... Что-то жадное, как и в первых, что-то неумолимо насмешливое... Звон бокалов в них чудится, довольный, веселый говор... Везде воронье!..

А огонек уже совсем завернулся в серую золу и заснул... Ах, если бы и ему, с его безотвязными думами, можно было

заснуть... Если бы и его оставила эта холодная, мертвая рука... Не щемила бы сердце... Помолчи хоть на минуту, укоряющий голос!.. Закройте свои кроткие печальные очи, небесные звезды... О, тучи, тучи! Где вы? Зачем теперь открыли вы этих безмолвных свидетелей!..

XV *

После третьей Плевны я встретил Скобелева в Бухаресте. Он отправился туда отдохнуть, собраться с силами, привести в порядок разбитые нервы... Впрочем, этот отдых был очень своеобразен. Он и тут не переставал работать и учиться. Румыны, видевшие его в ресторане Брофта и у Гюга за стаканом вина, в шумном кружке молодежи, скоро очень полюбили Скобелева, румынки еще больше. От этих — не было отбоя. То и дело он получал записки от той или другой бухарестской львицы, с назначением встреч там или здесь, но записки эти сжигались без всяких дальнейших результатов... Ему иногда положительно приходилось запираяться от этих дам. Хотя он вовсе не был целомудренным Иосифом... «Это какая-то Капуя!» — повторял он.

— Нужно бежать от порядочных женщин! — говорил Скобелев... — Именно от порядочных.

— Вот-те и на!

— Военному непременно. Иначе привяжешься, а двум богам нет места в сердце... Война и семья — понятия несовместные!

Я не могу забыть весьма комического недоразумения, случившегося тогда же. Какая-то валашка из Крайовы, весьма молодая, красивая и еще более эксцентричная особа, наслушавшись разных чудес о Скобелеве и узнав, что он в Бухаресте, разлетелась туда... Скобелев получает от нее восторженное письмо, в котором его поклонница сообщает, что завтра она сама явится к нему лично выразить свое удивление... Послание сожгли, а об ней забыли. На другой день Скобелев сидит у себя со старым и дряхлым генералом С***. Этот последний уже надоел ему бесконечными рассказами о всевозможных кампаниях, в которых он участвовал, начиная чуть не со времен очаковских и покорении Крыма и кончая Севастополем. Вдруг входит к Скобелеву лакей.

* Раздел XIV у автора отсутствует. (Ред.)

— Вас спрашивает дама...

— Какая?

— Она передала свою карточку...

На карточке фамилия той же, которая вчера прислала письмо. Генерал поморщился. Слишком уж однообразно и скучно выходило это, но тут же ему пришла блистательная мысль — одним ударом избавиться и от старого генерала и от румынской красавицы. Он, зная слабость первого к хорошеньким личикам, обращается к нему:

— Ваше-ство, выручите меня!

— В чем?

— Да вот, ко мне обратилась одна женщина... Мне некогда... Совсем некогда... Выйдите к ней вы... Она меня никогда не видала... Скажите ей что-нибудь, ну, хоть скажите, что вы Скобелев... Или просто извинитесь за меня.

С*** улыбается... Ему нравится эта мысль...

— Я уж лучше скажу, что я — вы?.. А?

Он выходит к румынке, а Скобелев в это время запирается и садится за работу.

Генерал, явившийся Скобелевым, потом рассказывал свои впечатления.

— Помилуйте, дура какая-то... Набитая!.. Я ведь не таких, как она, в Венгрии видывал... В сорок восьмом. Что она думает себе, на диво мне все это?.. Мне только захотеть... У меня в Сегедине такая была!..

— Что же эта-то сделала?

— Посмотрела на меня, да как расхохочется... С тем и ушла!.. Болтает что-то по-своему, сорока!..

Румынка встретила на другой день генерала, командовавшего калафатскими каларашами.

— У русских понятие о молодости очень оригинальное.

— А что?

— Помилуйте... Скобелев по-ихнему — молодой генерал... Я его видела — просто старая обезьяна, да и к тому же еще с облезшей шерстью. Хороша молодость... Что же у них называется старостью?

Несмотря на эти комические эпизоды, Скобелев был точно раздавлен впечатлением 30 августа.

— Оно все время стоит передо мной... Не могу забыть... Кажется, пьешь, пьешь — захмелеешь даже... А тут опять вырастет в глазах этот бруствер, сложенный из трупов... Горталов, поднятый на штыки... Ужасно!..

— ...Я ведь, знаете, совсем не сентиментален... Я признавал необходимость и возможность тридцатого августа... А все-таки! Ведь и вина не моя, а спать не могу... Так все и чудится передо мной картина отступления от редутов... Крики в ушах эти...

Он пожелтел в это время, похудел...

— Нет, тут плохой отдых.

— Почему?

— На деле скорее забудется... А тут все впечатления этого проклятого дня донимают...

В Бухарест приехал Тотлебен. По пути за Дунай он останавливался тут на несколько дней... На первых порах он сошелся очень коротко со Скобелевым. Они даже казались неразлучны. Вместе обедали, вместе ужинали. У обоих было одно общее — отвага и привычка к боевой жизни. Оба одинаково недоверчиво относились к штатским генералам и тем героям мирного режима, которые, нося военный мундир, явились на боевые нивы с невинностью младенцев и кротостью голубей. К сожалению, две эти боевые силы Тотлебен и Скобелев — не долго шли рядом. Слишком не схожи были их натуры, слишком разны взгляды на войну, на солдата... Один — весь осторожность, даже медлительность, спокойствие, заранее обдуманый план. Другой — орел, жадно накидывающийся на врага, находчивый, гениальный, даже способный в самом бою создать новую диспозицию, нервный, алчущий сильных впечатлений... Любимцем войск, разумеется, был второй, хотя роль первого под Плевной была несомненно полезнее... Потом под Геок-Тепе и Скобелев стал иным. С годами пришла рассудительность, поэт войны стал и ее математиком... В конце концов он показал себя только в последнее время, и настоящего Скобелева мы бы увидели потом, в первую большую войну... До 1880 года он только развивался, складывался, рос... Все блестящие его качества до этого времени были лишь вспышками гения, отдельными лучами этой военной звезды, столь яркой, столь быстро взошедшей, чтобы тотчас же потухнуть.

Нужно было видеть, как в Бухаресте его встречали раненные 30 августа, чтобы понять, до какой степени солдат верно умеет ценить своих друзей и врагов... Впрочем, и не один солдат. У Брѳта за обедом какой-то из штабных героев с громадными протекциями и потому блестящей карьерой вздумал было заговорить о молодом генерале

в том пошловатом тоне, который почему-то считается у нас признаком самостоятельности мнений и даже принадлежностью хорошего общества... Говорил, говорил да и разоврался... Без удержу!..

Вдруг перед ним вырастает армейский офицер с подвязанной рукой...

— Молчать!.. Гниль!.. Когда вы надеваете на себя кресты, принадлежащие нам, когда вы снимаете пенки со всего кругом, когда вы пользуетесь всеми выгодами дела — где мы знаем только одни тяжкие обязанности, мы представляем вам полную свободу действий. Мы не завидуем вашим лаврам... Но Скобелева — не трогать!.. Слышите ли — не трогать!..

Тот растерялся, сконфузился и извинился...

— Помилуйте, это фанатизм какой-то... Они не позволяют говорить...

Увы!.. Несчастный не понял, что ему не позволяли только клеветать!..

— У кого больше перебили солдат, как не у Скобелева... — заявлял другой. Это было еще до заморозжения 24-й дивизии на Шипке, до Горного Дубняка, до перехода гвардии через Балканы.

— Да, но ведь никому другому и таких задач не полагалось, трудно исполнимых и стоящих стольких жертв...

Любовь солдат к нему была беспримерна.

Раз шел транспорт раненых. Навстречу ехал Скобелев с одним ординарцем. Желая пропустить телеги с искалеченными и умирающими солдатами, он остановился на краю дороги...

— Скобелев... Скобелев! — слышалось между ранеными.

И вдруг из одной телеги, куда они, как телята, свалены были, где они бились в нечеловеческих муках, вспыхнуло «ура»... Перекинулось в другие... И какое «ура» это было! Кричали его простреленные груди, губы, сведенные предсмертными судорогами, покрытые запекшейся кровью!..

После одной из рекогносцировок едва-едва идет солдат, раненный в голову и грудь. Пуля прошла у него под кожей черепа. Другая засела ниже левого плеча. Увидев генерала, раненый выпрямляется и делает «на плечо» и «на караул!». Совершенно своеобразное выражение солдатского энтузиазма.

Офицера, смертельно раненного, приносят на перевязочный пункт.

Доктор осматривает его — ничего не поделаешь... Конец должен наступить скоро.

— Послушайте,— обращается несчастный к врачу...— Сколько времени мне жить?

— Пустяшная рана,— начал было тот, по обыкновению.

— Ну... довольно... Я не мальчик, меня утешать нечего. Сам понимаю... Я один — жалеть некому... Скажите правду, сколько часов проживу я?

— Часа два-три... Не нужно ли вам чего?

— Нужно.

— Я с удовольствием исполню...

— Скобелев далеко?..

— Шагах в двухстах...

— Скажите ему, что умирающий хочет его видеть...

Генерал дал шпоры коню, подъехал. Сошел с седла... В глазах у раненого уже затуманилось...

— Как застилает... Генерал где?.. Не вижу.

— Я здесь... Чего вы хотите?

— В последний раз... Пожмите мне руку, генерал. Вот так... Спасибо!..

Под Плевной — умирающий офицер приподымается...

— Ну, что наши?..

— Отступают...

— Не осилили?

— Да... Турков тьма-тьмушая со всех сторон...

— А Скобелев — цел?

— Жив...

— Слава Богу... Не все еще потеряно... Дай ему...

Опрокинулся и умер с этой молитвой на губах за своего вождя...

В бою под Плевной, когда генерал уже в пятый раз бросился вперед в огонь, его обступили солдаты.

— Ваше-ство...

— Чего вам, молодцы?

— Невозможно на коне... Все с коней посходили...

— Ладно...

И пробирается вперед верхом. Турки целят в близкого к ним всадника. Целый рой свинцовых шмелей летает у его головы.

— Чего на него смотреть,— глухо заговорили солдаты...

— Эй, ребята... Ссади-ко генерала с коня... Этак и убьют его.

Не успел Скобелев и опомниться, как его сняли с седла...

— Виноваты, ваше-ство!.. Иначе никак невозможно...— оправдывались они.

Потом в траншеях станет Скобелев на банкет бруствера... А турецкие позиции шагах в трехстах. Начинается огонь по нему...

Солдаты смотрят, смотрят.

— Этак не ладно будет.

И становятся рядом с генералом... Туда же... Тот, чтобы не подвергать их напрасной смерти,— сходит и сам вниз...

Раненному в обе ноги нужно было отрезать их; одну выше колена, другую — ниже. Ампутируемый решительно отказался от хлороформа, потребовал трубку; доктор дал ему громадную. Страдальцу отрезали одну ногу — он и не простонал. Начинают резать другую. Солдат только затягивается табаком. Были при этом и сестры милосердия. Молоденькая не выдержала, уж слишком подействовало на нервы. Начинает рыдать, ее останавливают.

— Ведь это на раненого скверно подействует... Молчите.

— Не замай! — солдат вынимает трубку изо рта.— Известно, ее бабье дело — пущай голосит!..

До того это было неожиданно, что все, несмотря на тяжелую обстановку всего окружающего, улыбнулись.

— Отчего это ты отказался от хлороформа?.. Ведь легче было бы.

— Нам нельзя этого.

— Почему же?.. Ведь все так делают...

— То все... А мы на особом положении, мы скобелевские!

Раз отряд снимался с караула, чтобы идти в рекогносцировку, донец останавливается и раскрывает подушку своего седла. (У донцов в этих подушках все их боевое имущество.)

— Чего ты?..— недоумевает сотник.

— Да вот, новый мундир выну, все лучше умереть в новом-то.

— Зачем новое-то портить?

— Да как же, ваш-сбродие... Вон генерал говорит: каждый в бой, как к причастию должен идти... И сам он всегда в новое одевается... Невозможно...

В скобелевском отряде заботились не только быть храбрыми, но и красивыми в бою. «Надо везде и показом брать!» — говаривал он. На показную сторону даже солдаты обращали внимание. Тот же самый донец, одевавшийся

во все новое перед боем, не успел еще договорить своего ответа сотнику, как вдруг ему — шальная пуля в живот. Раны такого рода смертельны и мучительны. Везут на перевязочный пункт. В это время главнокомандующий объезжает позиции.

— Ваше высокоблагородие! — обращается он к офицеру, тоже раненому.

— Чего тебе?

— Чего бы мне ответить получше великому князю, когда он спросит меня? — заботится раненый...

За своих Скобелев всегда стоял горой... Их участь положительно была больна ему. Эта армейская молодежь, беззаветно верующая в дело, беззаветно смелая, стала для генерала семьей, даже ближе семьи, если хотите.

— Я их не брошу и не оставлю никогда, — говорил он... — Они все на моей душе теперь... Так работать, как они, — почти невозможно.

— Ну, им и отличий больше!.. — замечали другие при этом... — Будет с чем домой вернуться.

— Ну, что ж. Кто из них и останется целым, вернется домой, что толку? Какая у них будущность? Папенек, маме-нек, титулованных родственников нет. Самые счастливые выйдут из службы с пансионом в триста пятьдесят рублей или попадут в становые пристава... А ведь какая это честная и даровитая молодежь!

И действительно, близ Скобелева и типы вырабатывались совсем особые.

Вот, например, хорошо образованный солдат. Он не хочет держать офицерского экзамена. Почему бы, думали вы?

— Разве позорно быть солдатом? По-моему — это великая честь, я и остаюсь им.

Штаб, канцелярия скобелевской дивизии — в ста шагах от неприятеля, дни и ночи жили в траншеях. Писаря под огнем!.. Я уже в «Годе войны» рассказывал много об этом, теперь поневоле приходится повторять многие из этих эпизодов.

Вот, например, вольноопределяющийся рядовой Иванченко. До войны за год он был воспитанником классической гимназии в Москве. Ему только что наступило 15 лет, когда, увлеченный сербским делом и зная, что его так не отпустят, он бежал от греков и латинян, без паспорта пробрался через австрийскую границу для того, чтоб в Ле-

мберге узнать об окончании войны. Что ему было делать? Назад возврата нет, да и семья примет крайне не ласково. Мальчик еще, он принимается за сельские работы, поступает к какому-то русину и в поте лица зарабатывает хлеб свой. Потом он попадает в Румынию к нашим старообрядцам. Они его делают у себя учителем русского языка. Дают ему избу, кормят, дело идет так хорошо, что у Иванченки оказывается уже тележка и лошадь. В это время начинается война с турками. Иванченко продает все, продает телегу, лошадь и определяется добровольцем-солдатом в румынскую армию. Вместе с румынами он участвует в гривицких делах, ходит в секреты, наконец, там ему становится невтерпех. Румынские офицеры так грубы со своими солдатами, что наши армейцы — идеал вежливости сравнительно с ними. Притом же Иванченке, как добровольцу, отпускается не пища, а по франку в день, и притом отпускается на бумаге, а не в действительности. Не умирать же с голоду. Явился в 16-ю дивизию к Скобелеву.

— Я есть хочу! — обращается он к генералу. — Возьмите меня к себе в дивизию.

— Ну, вот что, я вам дам денег, отправляйтесь к родным домой.

— Значит, тогда прощайте.

— А что так?

— Потому что я драться хочу более, чем есть... Останусь в таком случае с румынами.

— Что же мне делать с вами?

— Возьмите к себе.

— Да как же взять-то? Ведь вы числитесь в румынских войсках.

— Вашему-ству стоит только захотеть.

Тот его и определил в Углицкий полк. С полком мальчик неразлучен и в траншеях, и на турок ходит, и с солдатами недавний классик чувствует себя как нельзя лучше... Его очень любили и берегли. Встречается опять со Скобелевым.

— Ну, послушайте, миленький... Я вас хочу домой отправить. К родным.

— Они меня не примут.

— Я вам дам средство кончить курс. Назначу вам стипендию.

— А я сбегу все-таки и опять сюда... Ведь из классической гимназии Скобелевым не выйдешь.

Так его Скобелев и оставил в походе...

Еду я раз со Скобелевым по Брестовцу — навстречу офицер. Истомленный, усталый...

— Ваше-ство... Послан к вам.

— Обедали?..

— Нет... Послан к вам...

— Ну, едем обедать сначала...

— Помилуйте, я весь оборван!..

— У меня дам не будет.

После третьей Плевны идет Скобелев по Бухаресту. Поравнялся с офицером... Худой, в пыли весь, все старо на нем, отрепано...

— Какого полка?

Тот сказал.

— Что же вы здесь делаете?..

— Обедать приехал... Наголодались мы на позиции-то..

— Где же вы обедать будете?

— Да... не знаю... Совался я... Дорого, помилуйте... Невозможно даже... Да и как войдешь-то... в хороший ресторан стыдно и показаться...

— Вот еще. Чего же это стыдиться? Трудов да боевых лишений?.. Пойдем со мною.

Берет того под руку, ведет к Брофту, угощает... Рекомендует знакомым.

Сытый и довольный выходит офицер... Придя домой, в жалкий отелишко, где остановился,— застает пакет от Скобелева.

«Обедая, вы позабыли около своей тарелки восемь полуимпериалов... Денег терять не следует. Посылаю их к вам!.. М. Скобелев».

Понятно, какое впечатление все это производило на молодежь.

Очевидно, что за любовь и Скобелев отвечал заботливостью. Кстати, один характерный факт: в скобелевских траншеях, когда генерал проходил мимо, солдатам было приказано не вставать. Это возмутило скалозубов. Скобелев же объяснил просто:

— Солдату отдых нужен. Коли он будет вскакивать, так или генерал не показывайся на позицию, не живи с ними, или солдат вечно будет в устали...

XVI

В октябре 1877 года, побывав на левом фланге нашей Дунайской армии и объехав затем позиции Гурко вокруг Плевно, я встретил в главной квартире М. Д. Скобелева. Штаб его был расположен в Брестовце.

— Вы меня совсем позабыли... А Мак-Гахан приехал уже в Брестовец...

— И я буду на днях.

— Отлично... Я вот к «генералу» приехал,— указал он на отца...

Я сообразил, что отношения между ними колеблются требованием денег с одной и скупостью с другой стороны.

— Приехал и жалсю... Его превосходительство сегодня не в духе...

— Ладно...

— А вы бы к старшим, генерал, относились попочтительнее... Вы знаете, что воинская дисциплина не допускает неуместных замечаний...

И оба расхохотались.

В Брестовец я выехал на другой же день...

— Где генерал? — спрашиваю я на улицах этого села, сплошь осыпавшихся гранатами с ближайших турецких позиций... Иной раз нельзя было выйти из болгарской землянки, чтобы у самых ног не шлепнулась пуля или не просвистел мимо ушей осколок разорвавшегося где-то артиллерийского снаряда.

— Где генерал?

— А вишь, перестрелка с левого хлангу идет!.. — заметил солдат.

— Ну?

— Значит, это он объезжает позицию.

Я поехал на огонь. Наши громили Крышино, из ближайших турецких траншей, действительно, били по Скобелеву... Били залпами. Указание довольно ясное, где искать Михаила Дмитриевича. Действительно, смотрю, и оказывается, что с левого фланга нашего на белой лошади своей несется Скобелев, осматривая позиции. Мчится он не за цепью, а перед ней, не обращая внимания на град осыпающих его пуль... Издали уже я вижу фигуру генерала... Вот он остановился как вкопанный шагов за двести от ложемента турок. Лошадь не шевельнет ушами. Сам он высматривает турецкую позицию, а выстрелы неистово так и гремят оттуда...

— Что вы это напрасно подвергаете себя опасности! — заметил ему кто-то.

— Нужно же показать своим, что турки не умеют стрелять!

В сущности, он высматривает таким образом неприятельские позиции и потому всегда хорошо ориентирован и знает расположение турок столько же, сколько и свое...

В четыре часа мы отправились к нему.

Ак-паша, как называли его турки, белый генерал, занимал в Брестовце землянку. Там он спал и работал. Во дворе большой шатер, куда ежедневно сходятся обедать по сорока, по пятидесяти офицеров. Гостеприимство Скобелева не знало границ в этом отношении.

— А я жду теперь неприятностей из главной квартиры! — сообщал он.

— За что?

— Поддался личному впечатлению. Отдано приказание никого не выпускать из Плевно — ни турок, ни болгар...

— Зачем?

— А затем, чтобы еще тяжелее сделать положение осажденных... А тут из Крышина подъехало сорок подвод с ранеными христианскими женщинами и окровавленными детьми. Голодное все, жалкое... Они режут, просят их выпустить из этого железного кольца, которым мы охватили город...

— Вы их, разумеется, и выпустили?

— На все четыре стороны... А теперь за это влетит.

— Почему же узнают?

— Вот! Я сам донес об этом.

И кстати, я вспомнил сцену, виденную несколько дней назад. Несчастную старуху, вышедшую из Плевно и попавшую на позицию другого генерала, по его приказанию гнали казаки назад в осажденный город нагайками.

Не успел я здесь пробыть и трех дней, как 27 октября вечером было получено из главной квартиры приказание занять первый кряж Зеленых гор и укрепиться на нем. Подробности и значение этого дела рассказаны в моем «Годе войны». Здесь же я заимствую из него только эпизоды, относящиеся непосредственно к Скобелеву.

Приготовления и делу начались с утра. Чистили ружья, перевозили поближе к батареям снаряды, собирали как можно более шанцевых инструментов, солдаты переменяли, по

стародавнему обычаю, белье, надевали на себя все, что имели лучшего. Начальники обходили свои части, приготавливая их к не совсем обычному ночному бою. Большинство солдат были новички. За них боялись особенно. В офицерах тоже оказывался большой недочет, потому что убыль между ними еще не пополнена была, да и пополнить ее не из чего. Это особенно смущало. «Ах, где те, с которыми мы брали Ловец и плевненские редуты!» — поминутно повторял Скобелев... Большинство их лежало уже в чужой земле, другие томились в лазаретах — назад редко кто возвратился: или раны еще не залечены, или после ампутаций пришлось уйти на родину калекой. Многие из нынешних офицеров были еще внове, их не знали вовсе, на оставшихся старых боевых товарищей смотрели с сожалением. Первыми пойдут в бой, показывая пример, первыми, разумеется, и лягут. Со стороны в Брестовце и лагерях не было заметно ничего особенного. Также целый день играла музыка, а в Углицком полку с утра заливался хор песенников... День начался холодный, сырой и мрачный...

В четыре часа Скобелев выехал из Брестовца, по своему обыкновению одетый с иголочки, свежий, даже раздушенный. Тонкая фигура его на белой лошади действительно производила сильное впечатление в этот серый день, когда кругом до такой степени густился туман, что в полуверсте деревья казались какими-то смутными пятнами, точно там еще гуще лежала мгла. Скобелев тогда составлял для меня загадку. Неужели в этой железной груди нет места страху, опасениям, тоске, охватывающим каждого перед боем? Я обратился к нему с прямым вопросом.

— Жутко, разумеется. Не верьте, кто скажет вам иначе...

— Знаете, — продолжал он потом, припоминая разговор за обедом с английским полковником Гавелоком, — теперь не время рассуждать, критиковать, отчаиваться... Вы говорите — талантливым людям беречь себя следует... Умирать надо — и мы умрем с радостью, лишь бы не срамили России, лишь бы высоко держали ее знамя! Хорошо умереть за свою родину... Нет смерти лучше этой...

В серой мгле какие-то темные массы... Подъезжаем ближе — бараки-землянки, стоги сена... Перед ними стоят в боевом порядке роты и батальоны... Видишь только передних, позади все уходит в туман. Лишь бы не заблудиться, а то погода самая благоприятная. Можно подойти на сто

шагов к неприятелю незамеченными, броситься «на ура» еще двадцать шагов пробежать до первого залпа оторопевших турок. А в восьмидесяти их пули уже менее грозны, все полетят над головами. От них больше вреда будет дальним резервам, чем атакующим частям. Прямо перед нами взвод охотников. Эти вызвались первыми броситься в турецкие шанцы и при поддержке стрелковой цепи переколоть неприятеля. Всматриваюсь в лица охотников, этих заведомо отчаянных людей — и ничего в них сурового, грозного, воинственного. Простые, серые, солдатские лица, некоторые с наивной улыбкой, все — доверчивые... Охотники вытянулись, провожают глазами генерала. Один старается особенно — а на смерть идет... Видимо, хочется ему, чтобы на выправку его внимание обратили. Скобелев гладит его по лицу — солдатик вполне доволен. Генерал проезжает по рядам, разговаривает с ротами, именно не речи произносит, не ораторствует, а разговаривает.

— Ну, что, братцы... Как пойдем сегодня?..

— Постараемся, ваше превосходительство!

— Не осрамитесь?..

— Зачем же... Мы рады, ваше превосходительство...

— Помните, братцы, одно — не зарываться. Мы не Плевно брать идем, а только выбить турок из их траншеи и занять ее... Поняли?.. Следовательно, дорветесь вы до траншеи и садитесь туда...

— Постараемся...

— Ну, то-то... Помните, что тут не в храбрости, а в послушании дело. Сказал тебе начальник: «стой» — так хоть и желалось бы погнать неприятеля дальше — ни с места... А турок бояться нечего...

— Мы их не боимся.

— Ну, то-то... Помните Ловец, как мы их били?

— Помним, ваше-ство! — бодро звучит из рядов.

— Помните, как погнали их, а?..

— Они от нас тогда всей ордой побежали, — отзывается улыбающийся солдат.

— Ты был тогда со мной... Из старых, должно быть?

— Я с вашим превосходительством и редуты эти самые под Плевно брал.

Тот только тяжело вздохнул в ответ.

— Ну вот, братцы, видите. Дело не трудное. Раз уже мы эту Зеленую гору брали... Наша была...

— И опять будет, ваше-ство!

Беседа, похожая на эту, повторялась в каждом батальоне. Скобелев узнавал своих старых боевых товарищей, припоминал с ними прежние атаки, просил солдат не забывать, что сегодняшнее дело не нападение на Плевно, а только занятие ближайших турецких позиций.

— Знаете, я ужасно боюсь за молодых солдат,— обращается к своим Скобелев.— Очень уж рискованное дело... Ночное, в тумане. Тут и старому, если он не привык, можно растеряться. Я не останусь, как хотел, в резерве, а сам поведу их... Ах, если бы здесь были туркестанские войска!.. Помните Андижан, Махрам?..— спросил он у Куропаткина.

Старые боевые товарищи только переглянулись молча, но видно было по лицам, что при одних названиях этих мест целый рой воспоминаний возник у обоих... «Помните, как при начале кампании думали у нас о туркестанцах. Про меня говорили, что мне и батальона поручить нельзя. На офицеров наших свысока смотрели, а они первыми легли здесь. Где все эти Калитины, Федоровы, Поликарповы, Поповы? Кто в Эски-Загре, кто в Балканах зарыт!..»

— А все-таки хорошее время было! — закончил Скобелев.

Владимирский полк мы встретили, уже проехав с полверсты вперед. Он выстроился боевыми колоннами на скатах лощины, там, где должен был оставаться резерв. В тумане очень красивы были эти сомкнутые черные массы, молчаливые, ни одним громким звуком не выдающие своей близости неприятелю. Турецкие позиции не более как в шести-стах шагах впереди. Мы тревожно вглядываемся в непроницаемую мглистую даль, с бьющимся сердцем ждем — вот-вот грянет оттуда первый выстрел чуткого часового, вся линия неприятельских траншей и ложементов оденется негаснущими молниями залпов, и под градом пуль, с глухими стонами направо и налево, впереди и позади станут падать в этих неподвижных еще толпах безответные солдаты. На нас мог наткнуться разъезд или секрет неприятельский. Еще несколько минут — и присутствие нашего отряда уже не будет тайной... Красивое зрелище перейдет в настоящую драму и уж не до любованья будет, когда длинной вереницей потянутся вниз носилки с ранеными, и в хриплых криках атаки, в кровожадном рокоте барабанов замрут предсмертные вопли умирающих.

Скобелев останавливается перед полками, снимает фуражку и крестится... Точно шелест пронесся в воздухе —

крестятся офицеры и солдаты. Каждый читает про себя молитву... каждый уходит в самого себя... кто знает, может-быть, некоторым не останется даже мгновения, чтобы, падая, обратить взгляд свой к этому серому небу, по которому теперь тяжело ползут низко нависшие тучи... Даже иностранцы поддаются торжественности этой минуты. Снимают шапки вместе с другими... В памяти почему-то неотступно встают картины далекого теперь прошлого. Родной дом, близкие и дорогие люди... Но это только минута.

— Стройся!.. — тихо звучит команда, и длинная цепь стрелков веером разбрасывается впереди... На лицах уже нет грусти, нет раздумья. В глазах у некоторых офицеров энтузиазм, команда звучит металлическими тонами, Скобелев уже впереди, красивая фигура его мелькает далеко перед цепью...

Высмотрел — вернулся... Что-то объясняет охотникам.

Я в этот решительный час опять внимательно всматриваюсь в лица охотников, этих людей, сознательно обрекающих себя смерти. Ищу в них одушевления — ничего не бывало! Такие же серые, заурядные, казенные лица. Некоторые смотрят растерянно, озабоченно, другие только ждут команды и, по обыкновению, готовы ее исполнить, как и на ученье. Ни одного выдающегося. Точно на часы в караул идут, а ведь, так сказать, «добровольцы»... Невольно думается, что же их тянет туда — первыми в огонь, в силу чего они вызвались принять на себя залпы и грудью встретить турецкие штыки?..

Цепь тихо двинулась вперед. Фигура генерала все больше и больше уходила в туман... Скоро мгла окутала и черные черточки рассыпанных стрелков. Стало смеркаться, но ночь еще боролась с серым маревом...

— Слава Богу! Турки не замечают нашего отряда... Я начинаю верить, что дело обойдется без больших потерь, — шепчет кто-то около... Но как раз в эту минуту будит окрестность неуверенный, одиночный выстрел турецкого часового. Мгновение полного безмолвия... Сердце щемит... Другой выстрел — с другой стороны... Третий... Но все вразброд... Вот завязывается трескотня направо... но только с одной стороны... Наши не отвечают... По звуку выстрелов, по интервалам, по одиночности их видно, что турки еще не знают, в чем дело, а только насторожились, почуяли что-то такое... Точно люди стреляют не сгоряча, не

желая предупредить противника огнем, а прислушиваясь и еще не отдавая себе отчета, куда и зачем они посылают свои молнии...

— Наши подошли, должно быть, уже близко.

— Не видать... Впереди серый неясный туман...

— О, Господи! — раздается чей-то вздох позади.

Выстрелы все еще вперемежку.

— Ребята, за мной!.. — с одного конца до другого металлически звучит где-то в тумане громкий голос Скобелева, покрываемый общим «ура» атаки, оглушающим грохотом словно разом вспыхнувших залпов неприятеля и раскатом барабанов. Значит, опять он там повел их, обрекая себя на первую пулю, на первую смерть... Мы ничего не видим, но первые выстрелы уже обдали резервы горячим градом пуль... Несколько стонов замерло в общем стихийном шуме незримой атаки... Отдаем коней казакам и движемся вперед. Ничего на пути. Свищут пули, доносится отголосок битвы... Вон что-то выделилось от тумана. Ближе и ближе... Раненный в ногу солдат идет назад, опираясь на ружье... Кто-то около корчится на земле...

— Батюшки, не оставьте... Не бросьте, голубчики...

— Где Скобелев?

— Где? Лезом-лезет вперед... Что ему!.. Ен не боится.

Иной раз сквозь грохот битвы мы слышим одушевляющий голос Скобелева. Точно орлиный клекот носится где-то в высоте.

— Куда проехать на батареи? — раздается в тумане. — О, черт вас возьми... Да откликайтесь же, наконец, кто-нибудь... Как к батарее проехать?! — кричит кто-то. Фигура всадника на минуту вырезывается из тумана и пропадает уже позади... Посылают приказание батареям залпами начать артиллерийский огонь против турок.

Стрелковая цепь сделала свое дело. Она выбила турецкие аванпосты из нескольких ложементов, которые едва можно было различить в густом тумане и сумраке осенней ночи. Можно сказать, что на них наталкивались ощупью, так, что, например, когда весь ряд их был уже захвачен нами, посередине оказался один, незамеченный. Турки, разумеется, оттуда убрались назад. Промедли теперь маленький отряд охотников со своим резервным взводом, и дело обошлось бы нам очень дорого. К счастью, как только маленькие ложементы были захвачены цепью, из-за них выдвинулась партия охотников со Скобелевым и поодаль от нее взвод

резерва. Всего их было по пятидесяти человек в каждом. Трудно представить себе, как часто у Скобелева большие дела совершаются ничтожными силами. Из ста человек, двинувшихся вперед на турецкую траншею, по пятам за отступавшими турецкими аванпостами шло не более двадцати. Это — самые решительные; поодаль двигалось человек тридцать, считавших постыдным отстать от своих. А половина осталась в пространстве между аванпостными ложементами и турецкой траншеей. Залегла на землю и притаилась. Человек в этом случае делается очень глупым. Лежать тут гораздо опаснее, чем идти вперед. Практика настоящей войны вполне убедила нас, что главная опасность для атакующих частей является в трехстах шагах от неприятеля и далее. Ближе начинается мертвое пространство. Пули снопами летят над головой, вы слышите только их свист, жужжание, шипение, но можете даже не наклоняться. Разве случайная ранит вас. Все это знают, все это видели, но трусы все-таки ложатся там, где пули падают, и не решаются идти туда, где они менее вредят. Это просто паника, когда человек теряет голову. Охотники бросились на неприятельскую траншею и в первый момент одним криком «ура» выгнали оттуда турок. Оставшихся прикололи, потому что при сравнительной слабости партии очень опасно было брать в плен. Выбежав из своего закрытия, турки бросились врассыпную. В это время отставшие части стали одиночками подходить сюда, и по бегущим открыли сначала пальбу залпами, а потом непрерывавшуюся пальбу рядами. Охотники быстро вошли во вкус. Известно, что как скоро возникает паника, так же скоро она и исчезает; между людьми, лежавшими еще недавно позади своих товарищей, нашлись такие, которые теперь бросались из траншеи в погоню за беглецами, настигали их у следующего ряда турецких укреплений и там уже били в упор, мало заботясь, что, опомнившись, турки могут забрать их живьем. Позади атакующих частей, т. е. стрелковой цепи, партии охотников и взвода резерва, двигалось десять рот Владимирского пехотного полка. Они не должны были принимать участия в наступлении, но тем не менее роль их была в высшей степени серьезна. Снабженные каждый шанцевым инструментом, они должны были как можно скорее вырыть траншею на том месте, которое еще ранее боя было определено на плане как крайний пункт наших будущих позиций. Траншея должна была вырасти на глазах.

Десять рот Владимирского полка привели сюда, расставили их в одну шеренгу по всей линии будущей траншеи, и в то время как охотники со своим резервом, бывшие впереди, из наступления перешли в оборону и уже в свою очередь залпами отбивались от атакующих таборов турок, неистово стремившихся отнять назад важную позицию первого кряжа Зеленых гор, владимирцы нервно, быстро работали лопатами, с каждой минутой все выше и выше воздвигая перед собой серый окоп бруствера. Турки их в это время буквально осыпали свинцовым дождем... По яркой линии огня, в эту мглистую тьму прорезывавшегося вперед, они видели, что в наступление перешли значительные силы врагов. Пули поражали людей, со злобным шипением уходили в рыхлую массу свежего окопа, жужжа точно пчелы, носились у самых ушей, сливая свои разнообразные звуки с глухими стонами раненых и пронзительными воплями неприятельской атаки — а работа все-таки шла не переставая.

Скобелев все это время находился впереди работающих.

— Он дерется как прапорщик! — говорили о нем в тот день.

— Зато не прячется как генерал, — замечали другие.

Никто не отдыхал, никто ни на минуту не оставлял лопаты. Многие работавшие шеренги не прерывались ни на одном месте. Только откуда-нибудь раздавался стон, и солдат, только что захвативши лопатой ком земли, падал в вырытую им яму — на его место сейчас же выдвигался новый, жертву боя санитары уносили назад, и работа опять шла упорно, безотходно... Через час турецкая атака была так сильна, что, казалось, воздух мог бы раскалиться от этого сплошного дождя горячего свинца; направо и налево, впереди и позади падали такие густые массы, что на этом пространстве трудно было держаться чему-нибудь живому, но героизм и сила сделали свое дело. Пока проходил этот час, окоп рос, а в момент самого ожесточенного огня бруствер новой траншеи поднялся уже так высоко, что затомившиеся владимирцы могли, сложив свои лопаты, прислониться к нему и отдохнуть *в полной безопасности*. Дело было сделано, позиция для нас спасена... Уже в этот час, хотя все еще было в начале, мы могли торжествовать победу...

Между тем наш артиллерийский огонь тоже делал свое дело. С батарей правого и левого флангов у Брестовца, с радишевских и тученицких позиций, с Пернина и Медвена — громили турок.

Уже через час, когда насыпь была почти готова, от охотников прибежали назад сказать, что у них мало осталось патронов. На месте была организована доставка их; все время остального боя десять, пятнадцать человек поползали во тьме от строившейся траншеи на огни турецких залпов, отыскивали впереди наших охотников, снабжали их патронами и также ползком возвращались назад за новыми запасами. Благодаря этому почти всю ночь продолжалась перестрелка, не ослабевая, огонь поддерживался неустанно, и туркам ни разу не дали подойти слишком близко к отнятой у них высоте.

В два часа ночи турецкая атака особенно усилилась. К неприятелю подошли значительные подкрепления. Но наши были уже прикрыты бруствером новой траншеи. Стрелков вернули назад, и начался второй период боя, уже более правильный в смысле обороны.

Во втором периоде дела бой вела уже новая траншея. Против турецкой атаки, направившей теперь главные свои силы против нашего левого фланга, на строящуюся соединительную траншею, действовали сплошным огнем из-за бруствера десять рот Владимирского пехотного полка, остальные пять рот его были в резерве. Солдаты, стоя за валом, били выдержанными залпами. Волнение уже улеглось, горячки первых минут не было, ждали команды, и по ней верхний гребень бруствера точно разом вспыхивал снопами огня, озаряя на одно мгновение непроницаемую тьму.

Спросят, где же все это время был Скобелев? Там же, где и всегда. Сначала с охотниками, потом в траншее, лично командуя ее обороной. Во время самых жестоких атак неприятеля молодой генерал вскочил на бруствер и, весь в пороховом дыму, в перебегающем огне выстрелов, ободрял солдат. В минуты сравнительной тишины он проходил за траншеей, беседовал с владимирцами, следил за тем, как рос грозный профиль бруствера, посещал резервы... В один из таких обходов он заметил, что в центре новых траншей у Нечаева люди стоят слишком жидко. Лично распорядился послать ему еще роту. Пройдя направо, он обращается к солдатам:

— Смотрите, братцы... Сейчас опять станет наступать неприятель. Я буду на левом фланге. У меня стоят молодцами. Умирать на своих местах, но не уступать позиции. Слышите...

— Слышим, ваше-ство... Не беспокойтесь... Мы с Маневским! — раздаются в ответ голоса солдат.

Скобелев жмет руку Маневскому и идет дальше.

В это-то самое время наступил сравнительно момент тишины.

Скобелев, пользуясь им, скачет в Брестовец, чтобы носить оттуда донесение в главную квартиру главнокомандующему и в Тученицу — Тотлебену. Не успели еще написать двух слов, как на Зеленых горах опять разгорелась перестрелка. Вскочив на первого коня, Скобелев перегоняет своих ординарцев, мчится назад, боясь за судьбу новой позиции. Весь путь осыпают пули. Ночью турки стреляют и в Брестовец, и в лощины за Зелеными горами. Пули ложатся налево и направо, шрапнели рвутся в высоту, но спустя несколько минут целыми и невредимыми они домчались до подъема на занятый сегодня кряж.

Вот что случилось в отсутствие генерала на Зеленых горах.

Турки стали бить анфиладными выстрелами по солдатам, которые только что начали рыть соединительные траншеи от главной к резервным. Две роты из новичков вследствие этого дрогнули, бросили ружья и давай Бог ноги. Это было не из передовых позиций — там в траншее отлично выдержали турецкую атаку солдаты Маневского и Нечаева, а, так сказать, из среднего промежутка между траншеями и резервами. Таким образом, когда впереди горел бой, вторая линия наша его не выдержала.

Только что начальство стало взбираться на скат Зеленой горы, как навстречу — расстроенная масса. Бегут врассыпную, во все стороны.

— Посмотрите, они бегут! — крикнул Скобелев.

И тут-то я удивился от души боевому психологу... Объятую паникой толпу не остановишь угрозами, еще пуще напугаешь, пожалуй.

— Здорово, молодцы! — крикнул им навстречу Скобелев.

Крикнул весело, радостно даже.

Те приостановились... Даже слышалось «здравия желаем», только вразброд... Не смело...

— Спасибо вам, орлы, за службу!.. Героями поработали сегодня.

Еще минуту назад растерявшаяся толпа стала подбираться, показалось что-то наподобие строя.

— Горжусь я, братцы, что командую вами. Таких молодых еще и не было.

Беглецы совсем оправились уже. Строй — правильный... Видимо, очнулись.

Тут генерал делает вид, что только сейчас заметил у них отсутствие ружей.

— Это что ж такое? Где же ваши ружья, ребята?

Молчание... Солдаты стоят, потупившись.

— Где же ружья, вас спрашиваю!..

Тоже томительное безмолвие. Полная перемена декораций и у Скобелева.

— Вы это что же?.. Ружья кинули — трусы... Бежать — от турок... Позор, стыд! Сволочь вы этакая... Не хочу я командовать такою дрянью... Вон от меня...

Солдаты совсем уничтожены. Стоят как приговоренные к смерти.

— Марш за мной!

Рота без ружей стройно идет за генералом, не переставая честить их... Пришли на позицию, взяли ружья.

— За мной!

Вывел их Скобелев в промежуток между турецкой и нашей траншеей, в самое опасное место, выстроил и давай производить им ученье. Сам стал в наиболее подлом пункте — между ними и турками.

— На плечо!..

Команда исполнена, но неуверенно... Не стройно...

— Еще раз к ноге... На плечо!

Исполнено лучше.

— Еще раз... Вы у меня как на параде будете... На плечо!

Исполнено превосходно.

— На-краул!

То же самое.

Таким образом, он добился, что они под самым убийственным огнем исполнили все ученье как следует, с отчетливостью парада, и тогда уже он пустил их обратно в траншею.

Валы были уже готовы, но внутри могли помещаться только одни солдаты, работавшие их. Еще слишком узок был ров. Так что генерал, офицера, начальник его штаба проходили перед траншеей, рискуя получить пулю в голову или верхнюю часть груди. В это время капитан Куропаткин замечает, что впереди, несмотря на приказание отступать, есть еще несколько стрелков, не решающихся идти назад. Он выходит перед траншеей.

— Капитан Домбровский! — зовет он к себе их командира.— Потрудитесь отвести остальных оттуда.

— Сделаю, что могу,— отвечает тот и поднимает руку к козырьку. В это мгновение точно что-то щелкнуло около Куропаткина, и Домбровский падает вниз без стола.

Подбегают к нему — пуля, ударив в висок, убила Домбровского наповал.

Через полчаса наш отряд мог заснуть спокойно. Соединительная траншея от траншеи Маневского к резервам была уже готова. Турки, повторив атаку в значительно больших силах, могли бы отнять левофланговую, нечаевскую траншею — это было бы уже неважно. Маневского и соединительная остались бы в наших руках. Опираясь на радишевский овраг, куда уже шли шуйцы, мы заснули спокойно... Бой на сегодняшнюю ночь был кончен. Турки, потеряв веру в возможность сбить нас с Зеленых гор, стали снова со своими атакующими частями на другие наши позиции. Сунулись было на брестовецкий левый фланг — отбили их; массаами, точно тучи, надвинулись на правый фланг и тоже бежали, оставив своих убитых и раненых. В обоих этих пунктах они были отброшены сидевшими в своих траншеях суздальцами. Кинулись было на правофланговую батарею, но тоже из передовых траншей их встретили таким убийственным огнем, что турки не дошли даже и на пятьсот шагов.

Возвращаясь назад в тумане, мы чуть не заблудились. В нескольких шагах от себя ничего видно не было. Благодаря этому обстоятельству в руки наших солдат попала турецкая кухня, которую везли с запасами вареной фасоли на позицию. Турок-возница спокойно приехал в наш отряд и давай кричать на солдат, чтобы они посторонились. Заметив ошибку, он было задержал вожжами, чтобы повернуть лошадей, но его уже обступили со всех сторон и с громким хохотом приступили к исследованию турецких котлов.

XVII

Сыро и туманно было утро после этой памятной ночи, в которую защитники только что взятых позиций не знали отдыха. Кончился бой — опять за лопаты. Работа продолжалась и днем. Нужно было уширить и углубить траншею,

утолщить ее брустверы, особенно наверху, где турецкие пули пронизывали гребень, прорезать banquety, на которые бы могли становиться часовые, а в случае тревоги и все дежурные части отряда. Приводились в известность наши потери, причем оказывалось, что из строя выбыло около 130 человек. Кто не работал, тот чистил ружья. Только немногие счастливцы могли заснуть на сырой и холодной земле, кое-как завертываясь в серые шинели. В семь часов еще было темно, а солдатам уже доставили горячую пищу. Сверх того, владимирцы в бруствере проделали маленькие ниши — печурки. Там раскладывались дрова, которые приходилось собирать под выстрелами, позади траншеи. Оттуда курились дымки, и около огонька грелись зябнувшие группы солдат, пока в манерках поспевал им чай. Для генерала в центре траншеи было выбито точно вроде скамьи небольшое пространство земли, в нарочно прорытой ямке. Сюда положили соломы и здесь именно, завернувшись в бурку, отдыхал Скобелев.

Ему, впрочем, спать не пришлось. Поминутно он вставал и обходил позицию.

Раз даже сам взялся за лопату и показал, как нужно обминать верх бруствера.

— Вот видите,— обернулся он ко мне.— Изучение саперного дела и пригодилось.

К полудню уже нельзя было узнать траншею. Внутри широкий ход. Трое могут идти рядом. Бруствер высок и толст настолько, что в середине его не пробьет граната. Ружья лежат не на гребне бруствера, а в нарочно для того проделанных в нем отверстиях. Банкетy по брустверу всюду. На них под ружьем может стать целый полк. Самая траншея продолжена на версту и загнулась на правом и на левом флангах. Это египетская работа, сравнительно с малым временем, потраченным на нее. Тем не менее не довольствуются этим.

— Вдвиньте мне сюда батарею... Ради Бога, устройте поскорее для нее амбразуры и брустверы, чтобы завтра ночью мы могли уже приветствовать турок и отсюда гранатами...— торопит Скобелев Мельницкого, хотя солдаты сильно утомлены.

Мельницкий тоже устал до последней возможности, но сейчас же принялся за дело.

— Во сколько часов будет готово?..

— К полуночи.

— Нельзя ли поскорей... Я знаю, что, как только стемнеет, турки попробуют отнять у нас траншею... Встретить бы их картечной гранатой...

— Часам к десяти завтра постараемся...

— Какой унтер-офицер у вас будет заведовать работой?

— Митрофан Колокольцев.

— Покажите мне его.

Красивый саперный унтер-офицер был приведен к генералу.

— Это ты, голубчик, вчера под огнем рыл траншею?

— Я, ваше превосходительство.

— Ну, вот что, молодец. Если ты мне к завтрашней ночи кончишь батарею, а ночью перед нашим левым флангом выроешь небольшой ложементик, послезавтра я поздравлю тебя Георгиевским кавалером!

— Постараюсь...

— Ну, помни же...

— Коли не убьют — сделаю.

— А убьют — так умрешь честно, за свою родину...

— Слушаю-с...

— Уж если Колокольцев взялся — так все будет сделано, — успокаивает волнующегося генерала Мельницкий.

Местность между нашей новоявленной зеленогорской траншеей и турецкими позициями представляет унылую полосу поблекших кустов, мелкого дубняка, сухой лист на котором падает при малейшем прикосновении. В нескольких пунктах высятся грушевые деревья, тоже совершенно голые. Этими деревьями стали пользоваться турецкие стрелки. Они забирались туда и сверху вниз прямо уже в траншее били людей, мнивших себя в полной безопасности. Наконец, это надоело нашим солдатам — они отправились на охоту «за дичью». Перепрыгнут за бруствер и подползают сквозь кусты к дереву. Только что турецкий стрелок наметит новую жертву в траншее и наводит на нее дуло своего «Пибоди», как из-за кустов гремит выстрел, и «дичь», ломая сучья, с глухим стоном падает вниз...

Вдоль траншеи вообще выросло уже много могил. Убитых зарывали тут же; читали над ними молитву, солдаты крестили свежерытую яму — и затем от человека уже не оставалось ничего на божьем свете, ничего, кроме воспоминания да слез в далекой деревушке, где напрасно будет ждать семья своего радельца и кормильца...

Чем ближе подходил вечер, тем все становились беспокойнее. Офицеры постоянно выходили на бруствер, всматривались в сумерки, уже сливавшие дали в одну непроглядную мгlistую полосу. Часовым было велено глаз не спускать с пространства перед траншеей. Унтер-офицерам приказано не спать и постоянно проверять часовых.

Скобелев несколько раз обошел траншею.

— Отнюдь не стрелять,— приказывал он.— Лучше скажи... Подходят турки — только приготовьтесь. Чем они ближе, тем лучше. Дула держите ниже, чтобы по команде не бить ворон через голову, а прямо в неприятеля попадать. Без команды отнюдь не смей курка спустить никто. Вскочат турки на бруствер — тут-то и праздник, прямо на штыки их принимай... Не первый раз нам их бить, ребята!.. Ну, как ты станешь целить, если турки наступать начнут? — обращается он к часовому.

Тот взял прицел.

— Ну, в ворону и попадешь. Вот как нужно!

И он показал ему.

— Пожалуйста, господа офицеры, объясните солдатам, как делать это,— добивался Скобелев.

Стрельба со стороны турок все усиливается и учащается. Солдатам иной раз и хотелось бы открыть перестрелку, да начальство строго следит за этим. Нервы у отряда напряжены. Несколько беспорядочных выстрелов со стороны наших часовых, и все вскочат на бруствер для бестолковой трескотни, воображая, что турки вот-вот близко и готовится нападение. Турки тоже подхватывают — и пошла писать. В результате — лишняя тысяча зарядов, усталость и — раненые.

Когда совершенно стемнело, Скобелеву доставили обед в траншею, тут же согрели самовар. Туман все густел и густел; шум шагов в траншее, говор замирали; зарево костров, разложенных тут, высоко отражалось во мгле осенней ночи. По этому отсвету преимущественно целили турецкие часовые...

Скоро стало очень холодно. Сидя на банкетах и опираясь спиной о бруствер, спали солдаты, точно на серой массе торчали серые выступы земляных горбин.

Впереди, по направлению к турецким позициям, в пятидесяти шагах еще можно различить кусты и деревья,— дальше только огоньки выстрелов в расстоянии двухсот или трехсот шагов обнаруживают присутствие неприятеля.

Когда в кустах слышится шорох, часовой настораживается. Минуту спустя оказывается, что это наш секрет перебирается или какой-нибудь зверек ползет подальше от этих беспокойных мест.

Темнее и темнее становилось... тише турецкая стрельба. Точно и им надоело... До меня доносится бред офицеров... Видно, и у них расходились нервы после всех пережитых ощущений... «Стойко держись...» — шепчет кто-то... и опять тишина, точно все притаилось здесь, точно в этой траншее стоял я один в царстве мертвых... Потухли и костры, не шелохнется и сухой лист на дереве... Только часовые все пристальнее и пристальнее вглядываются в темную даль... Чу! Что-то словно шарахнулось за бруствером — и замерло опять... Нет, вот опять шорох... положительно слышны чьи-то крадущиеся шаги... Часовой встрепенулся и пониже, по направлению шороха, передвинул дуло ружья... Прислушиваешься с бьющимся сердцем, широко раскрытые глаза пристально всматриваются в туман и тьму.

— Не стреляй... — доносится шепот из-за бруствера, — свой... из секрета.

— Чего там?..

— Не стреляй... разбуди генерала... Турки выходят из своей траншеи, строятся...

— К ружью! — грянуло позади.

Оборачиваюсь — Скобелев уже у бруствера.

— К ружью, ребята!.. На бруствер... Снять секреты!..

Генерал сквозь сон расслышал шепот, проснулся, вовремя подхватив последнюю фразу солдата, передававшего сведения о движении турок.

Суматоха на минуту — проснувшиеся солдаты стали на банкет и взяли за ружья. Головы их над гребнем бруствера. Точно в заколдованном царстве, все проснулось в одну минуту.

XVIII

— Я знал, что сегодня будет атака, — шепчет Скобелев. — Смотрите же, братцы, молодцами стоять! Выдерживай его на близком расстоянии, стреляй по команде. Господа офицеры — к своим частям...

— ...Сунется враг на бруствер, в штыки принимай! Ну, как ты его встретишь? — обращается генерал к новичку.

— А вот! — и тот показал снизу вверх штыком.

— Молодец... Однако я боюсь, что турки могут прорваться где-нибудь, — говорит генерал Куропаткину. Мы их, разумеется, выгоним, но на полчаса они наделают суматоху. Приблизить резервы...

Несколько минут еще — и точно ожили дали... Все, что впереди было погружено в мертвое молчание, загремело выстрелами. Турки обнаружили себя. По свойственной им манере, они и теперь подходят — стреляя.

— Сколько их?..

— По линии огня нужно определить, — и Скобелев высматривает таборы, стоя на бруствере.

Впереди во тьме дымится линия зловещих ружейных огней. На версту по крайней мере они растянуты... По густоте огня видно, что и в глубину наступающие части значительны, что это не развернутый строй, а сомкнутые массы подходят. Огни все ближе и ближе. Над головами у нас свистят, жужжат и стонут тысячи пуль.

Пули ударяются в валы и с шипением уходят в них, другие о деревья бьются... Будто кто-нибудь расплавленный свинец в воду льет, — точно такой же звук...

Чем тише наша траншея, тем неистовее трескотня у турок. Мы молчим и выдерживаем их ближе...

Турки уже видны близко. Линии их — шагах в семидесяти... При красном блеске выстрелов видны дула ружей и какие-то массы позади. С трескотней ружейного огня сливаются ожесточенные крики «алла!»... Где-то на правом фланге у турок даже «ура» наше гремит...

— Батальон — пли!

Момент оглушительного залпа. Черный гребень траншеи на мгновение весь одевается в золотую кайму...

Залпы также слышатся и направо, и налево...

— Не давайте им успокаиваться. Пальба рядами! — командует Скобелев.

Вот заговорили картечницы. Вот грянули наши брестовецкие батареи... Турки из Кришина тоже отвечать стали... Несколько шрапнелей разорвало далеко впереди. Одна турецкая граната прямо в массы своих попала.

— Еще залп!

Опять треск, точно земля рушится под вами. Но сегодня турки удивительно настойчивы. Они уже в сорока шагах. В рядах их смерть, а они все идут вперед... Положение становится серьезным. Скобелев вскакивает уже на бруствер

и командует обороной траншеи. Точно ореол для него — эти огни залпов и их отсветы, защитники траншеи в дыму, озаренном красным блеском огня. Мимо них несутся тысячи пуль, некоторые у самой головы впиваются в бруствер, извлекая искры из его землистой массы... Голос Скобелева не смолкает ни на одну минуту. Он слышен и на правом, и на левом фланге траншеи. Он прямо в лицо врагу кидает свои бешеные звуки. Залпы становятся чаще. Какой-то хаос царит кругом, теряешь голову — и сознание отказывается служить тебе.

— Слава Богу! Отбили!... — слышится около...

Всю ночь за бруствером по пространству, где шла атака турок, двигаются огоньки. Сначала было наши часовые встревожились и раздалось несколько выстрелов.

— Не смей стрелять, разве вы турки! Они своих убитых и раненых убирают...

В семь часов в траншее, после утомительной ночи, солдаты приуныли. Во всем усталость и томление... Сыро, холодно. Пахнет кровью...

— Вот я их подбодрю! — говорит Скобелев.

И через час является оркестр Владимирского пехотного полка. Музыка в окопах, в ста шагах от неприятеля! Но если бы вы видели, как ободряюще подействовало это на утомленных солдат. Народный гимн аккомпанировался залпами наших батарей, перестрелкой часовых и громкими аплодисментами картечниц*. Только что он кончился, с конца в конец грянуло оглушительное «ура», в котором, точно в море, утонули и выстрелы ружей, и рев наших орудий... Потом — знакомые уже этому отряду звуки плевненского марша. Музыка сегодня играла до вечера, и с тех пор каждый полк является в траншею со своим оркестром. Сами солдаты стали просить музыки.

— Мы забыли войну, — говорит Скобелев. — Наши отцы были лучшими боевыми психологами и понимали влияние музыки на солдата. Она поднимает дух войск. Наполеон — бог войны — хорошо сознавал это и водил атаки под громкие звуки марша...

Немного спустя Скобелев отправился на другие позиции. Как только он показался у ложементов — турки сейчас же по Ак-паше открыли трескотню беспорядочных выстрелов. Ге-

* Выстрелы из картечницы похожи на аплодисменты.

нерал поблагодарил солдат за отбитые ими атаки, построил их и приказал выбрать двух наиболее выдающихся молодцов в Георгиевские кавалеры. Когда в ложементе солдаты построились и указанные ими двое кавалеров вышли вперед, скомандовали «на-краул» и приказали горнистам играть «честь». Под аккомпанемент турецких выстрелов на солдат были навешены кресты, причем генерал заявил, что он начал с этого полка именно потому, что он не принадлежит к его дивизии. «Своим он раздаст потом». Назад в траншею Зеленой горы было два пути: сравнительно безопасный, через Брестовец, мимо правофланговой батареи, и очень опасный, напрямик, как раз посредине между нашими и турецкими траншеями. Нечего было и сомневаться в том, что Скобелев выберет второй путь, воспользовавшись случаем осмотреть: не изменили ли и турки своих позиций. Когда мы вернулись в траншею, батарея была уже почти готова. «Сегодня ночью мы им покажем свои пушки», — радовался Скобелев.

В два часа ночи решили «показать неприятелю пушки». Из четырех орудий дали залп. Огнем его на минуту выхватило из тьмы и грозный профиль нашей траншей, и полосу поблекших кустов позади него... Зарево разрыва обнаружило также черные гребни турецкого бруствера. Картечь, по видимому, причинила неприятелю некоторый вред, ибо залпы оттуда стихли и было заметно, что в центре турки отодвигаются назад.

Батарея, таким образом, была готова, и Митрофану Колокольцеву — саперному унтер-офицеру — следовал Георгий. Колокольцев честно под огнем сделал свое дело и уцелел только чудом. Генерал с утра спрашивал его — оказалось, что он послан в Брестовец. Скобелев вложил Георгия в пакет, на котором написал:

«В траншеях, 31 октября 1877 года.

Унтер-офицеру Колокольцеву, согласно обещанию, за распорядительность, мужество и храбрость, оказанную в деле с 29 на 30 октября. За Богом молитва, за царем служба не пропадет. От души поздравляю тебя, уважающий Михаил Скобелев».

Когда дописывался этот конверт, Колокольцев явился сам. Сейчас же были построены солдаты в траншею и под звуки «военной чести» полкового оркестра Колокольцеву надели Георгия.

— Ну, теперь позволь пожать твою руку! — обратился к нему генерал.

И Скобелев дружески протянул ее Колокольцеву. Когда уже с крестом на груди Колокольцев шел назад, сами солдаты в траншеях вставали и делали ему честь. На глазах у него были слезы.

XIX

На обоих флангах своих турки роются в земле. По направлению и характеру работ видно, что здесь собираются поставить батареи, чтобы приветствовать нас продольными выстрелами. Докладывают Скобелеву.

— Пускай ставят орудия. Все равно наши будут. Пойдем ночью и отнимем.

К вечеру началась опять гибельная работа наших батарей; брестовецкие и радишевские били по зеленогорским позициям турок. Пристрелялись отлично: почти не было бесполезных выстрелов. Вечером в нашей траншее слышалось торжественное «Отче наш» и «Коль славен Бог».

Пел весь полк, стоявший сегодня здесь. С его пением сливалось пение резервов на Зеленой горе и суздальцев в Брестовце. Ночь была тиха, и звуки разносились далеко в ее величавом безмолвии. Луна светила ярко, тумана не было. Ночью Скобелев пробовал свои орудия и картечи, обстреливая турецкую траншею продольными выстрелами. Только что все было успокоилось, неприятель ни с того ни с сего стал нас угощать залпами. Гребень их траншеи осветился весь красным заревом несмолкающего ружейного огня. Наш бруствер тоже оделся в золотую кайму. Ветром относило назад серые клубы дыма. Постреляли с полчаса — а толку никакого. Наши уже давно не отвечают, а турки все не могут успокоиться. Наконец и у них стала замирать перестрелка. Только несколько часовых со стороны неприятеля забрались на деревья и оттуда бьют прямо в траншею. Сначала в гребень стали попадать, потом ухитрились прорезывать тонкие люнеты гребня пулями, зарывавшимися в глину рядом с безмятежно спавшими солдатами.

— Должно быть, секреты плохо поставлены у нас, — слышен голос Скобелева.

— Почему?

— Одного убило... Их могут видеть турки. Нужно сейчас же найти другие места для секрета.

— Я сейчас пойду,— говорит Гренквист.

— Нет, этим уже я распоряжусь...

— Турки по вас начнут бить прицельно. Ведь тут расстояние до них самое малое.

— Пускай бьют.

И Скобелев со своими ординарцами перепрыгнул через бруствер. Сердце щемило за него. Вот-вот шальная пуля, которых так много носится теперь по всему этому пространству, положит конец этой блестящей жизни. И досада брала на молодого генерала. Точно без него некому развести секретов и выбрать им места. Нельзя же в самом деле все делать самому. Эти полчаса, которые Скобелев пробыл за бруствером под огнем, весь отряд провел в крайнем беспокойстве. Нечего и говорить, что мы сейчас же по всей линии прекратили огонь. Иначе и свои пули могли бы задеть генерала и его спутников.

— Ах ты, Господи! — мутило солдат. — Ну, как они уложут его, сердешного...

— Никто, как Бог... Бережет его — ну и цел...

— Заговоренный. Что ему!

— В Хиве, сказывают, заговорили.

По солдатской легенде «хивинец» девять дней и девять ночей возил Скобелева по «Хиве неверной» и заговаривал. Потом девять дней и девять ночей Скобелеву есть и пить не давали и все заговаривали, пока совсем не заговорили, так что пули проходят насквозь, не причиняя Скобелеву ни малейшего вреда.

Пока генерал разводит секреты, опишем его оригинальное жилье в траншеях.

Сегодня оно уже улучшено. Вырыта яма, в которой можно вытянуться во весь рост. Земля в ней убита очень плотно. Из Брестовца перевезли кровать. Поставили стол и несколько табуретов. Крышу настлали из плетня, добытого в соседней деревне. На плетень навалили соломы, на солому — землю. Передняя часть крыши открыта, и через отверстие в землянку залетают пули. Кто-то доставил сюда железную печку, к которой мы ночью приходили греться, когда уж слишком пронимало холодом. На столе карты, планы и бумаги. Скобелев почти не отдыхал. Он во время, свободное от турецкой атаки и наших работ, или читает, или пишет. Как не похож он на тех воинственных генералов, которые обыкновенно устраиваются с полным комфортом,

верстах в десяти за линией огня, и если приезжают в свои дивизии, то в нарочито спокойное время. Перед землянкой, в более широком месте траншеи, на холоде ежились все мы: ординарцы Скобелева, штабные из главной квартиры, начальник штаба Куропаткин, полковник Мельницкий. Сегодня на этой высоте семь градусов. На мое счастье, мне уступили бурку, а то пришлось бы мерзнуть. Да и в бурке коробит от холода. Солдаты сидят у огней и греют руки.

— Знаете что, господа? — слышится в темноте чей-то голос.

— Кто это говорит?

— Давайте отучим генерала рисковать собой.

— Как его отучишь?

— А вот заметили вы, что он терпеть не может, если рядом с ним в опасных пунктах выставляются и другие.

У Скобелева действительно есть эта черта. Рискуя собой, он всегда заботится о безопасности других.

— Всякий раз, как он выставится на банкете, либо за бруствер уйдет — сейчас же давайте и мы с ним гурьбой.

— Чудесно!

Скобелев не заставил себя ждать. Он вернулся оттуда, из-за бруствера, расставив наши секреты. В эту минуту разгорелась перестрелка, и генерал выставился над бруствером, как раз против неприятельского огня. Вокруг сейчас же образовалась целая толпа: ординарцы, штабные, офицерство все тут было.

— Что вы, господа, стоите тут... Пули дожидаетесь, что ли? — обращается к ним Скобелев.

— Мы имеем честь находиться при вашем превосходительстве, — отвечает один из ординарцев, прикладывая руку к козырьку.

Понял и расхохотался.

Повторили другой и третий раз — и Скобелев, пожимая плечами, должен был сходить с бруствера.

Скажут, что человек бравирует. Это, разумеется, так, но все-таки делается не без толку: началась стрельба у неприятеля, и он хочет по линии огня узнать, какими силами тот располагает. Доносят ему о работах у турок лично убеждается, что они предпринимают. Другой бы положился на донесения своих подчиненных, он полагается только на себя и на свой глаз.

На сегодняшний день была назначена раздача Георгиевских крестов. Больше всех получили саперы, потому что при занятии и укреплении Зеленых гор они оказали самые важные услуги. Потом следуют артиллеристы скорострельной батареи картечных.

Вслед за тем разыгрался совсем неожиданный эпизод, который произвел на солдат сильное впечатление. Надевая кресты Владимирскому полку, Скобелев дошел до унтер-офицера одной из рот, дрогнувших в памятную ночь 28 октября.

— Извини меня, но я не могу дать тебе Георгия!.. Того ошеломило... Потемнел весь, бедняга.

— Ты, может быть, и заслуживаешь его, пусть тебя ротный командир представит к именному кресту. Но пойми, что теперь я раздаю ордена людям, выбранным самими солдатами. А имеет ли право выбирать твоя рота, которая хотя потом и понравилась, но вначале осрамила себя отступлением? Как ты думаешь, можно позволить трусам присуждать Георгиевские кресты?

— Никак нет... Нельзя, ваше превосходительство...

— Так ты уж извини меня, а креста я тебе не дам.

Потом наступил черед тех рот, которые в ночь 28 октября бежали, бросив работу на соединительных траншеях.

— Я их не хочу знать, передайте им это. Слышите?

— Слышим, ваше-ство.

— Я не считаю их своими... Я не буду здороваться с ними. Я не хочу замечать их... Они опозорили ваш славный полк, который так доблестно дрался под Ловцем... Помните эту битву?

— Помним! — грянуло со всех сторон.

— Передайте же им... Господин полковник,— обратился Скобелев к полковому командиру,— я вас прошу раз навсегда сообщить офицерам: кто из них в деле будет оставаться позади — тому не место в моей дивизии... Пусть у меня отберут ее, а иначе я не хочу командовать, как таким образом...

Я забегу несколько вперед.

Скобелев после этого действительно не замечал опальных рот. Здороваясь с остальными, мимо этих он проходил молча и не глядя на них. На солдат это действовало.

— Долго ли это продлится?

— Когда мне нужно будет сделать что-нибудь смелое, где потребуются надежные люди, я возьму именно эти роты и убежден, что они пойдут за мной всюду. Ну, потом расцелуемся и всему конец... Это хорошая наука. После неудач наших я замечаю, что войска, особенно же пополненные резервами, совсем не те, что прежде. Их нужно опять воспитать...

В защиту этих рот нельзя было не привести того обстоятельства, что дело было ночное, в тумане, что резервами пополнены эти роты более других. Все обстоятельства были тут для неуспеха дела.

— Ведь именные Георгии выше голосовых?

— Да.

— Отчего же вы лучшим солдатам даете именно менее важные — голосовые кресты? — спрашиваю я у одного офицера.

— А вот отчего. Голосовой он получит сейчас и счастлив, а к именному представишь — ранее трех месяцев не утвердят, а в это время беднягу двадцать раз убить могут.

Сегодня Скобелев придумал, как обеспечить от неожиданного штурма свой отряд, именно: перед траншеей разбросать телеграфные проволоки. Турецкий телеграф кстати же остался тут. Пусть хоть эту службу сослужит.

— В франко-прусскую войну, — говорит Скобелев, Германские войска делали то же самое и результаты были удовлетворительные. В самые темные ночи французы, подходя, путались в проволоке и шум ее предупреждал часовых об опасности.

Через час, когда я проходил по траншее, несколько связок проволоки лежало наготове.

На сегодняшнюю ночь, наконец, было получено разрешение произвести эспланаду.

Ночь скверная. Сырая, дождливая... Грязь — в грязи люди. На банкетах мокро — на этой мокроте сидим... Сверху брызжет крупными каплями. Бурку хоть выжми... Виноградные сучья в печурках, сделанных в массе бруствера, только дымят, не давая тепла и света. Чад так и стелется — дышать трудно... Часовые ежатся — солдаты привалились один к другому...

Часов в десять вызвали цепь, которая должна будет прикрывать ниши работы перед бруствером.

В полном безмолвии темные фигуры поднялись на темную насыпь, в сером тумане ночи на одно мгновение мельк-

нули над бруствером с прямыми линиями ружей, торчком черневшими в воздухе, и не успели мы еще взглянуться, как гребень был пуст... Минуту за бруствером слышался шорох, крадущийся, подбиравшийся точно к чему-то... Наша траншея погрузилась в мертвую тишину. Приказано было не отвечать туркам. Сегодня вообще не желательно вырывать их. Позади, шагах в двухстах от нашей траншеи, роется и возводится редут. Если начнутся бестолковые залпы неприятелей — в траншею попадет немного, а в работающих позади — все. Я слышу звуки лопат и шуршанье взбрасываемой земли, только подойдя к самому редуту. Роят чрезвычайно тихо, так что послезавтра это укрепление будет не совсем приятным сюрпризом для турок, хотя оно и предпринимается с исключительно оборонительной целью. В темноте слышится нервный, недовольный голос Скобелева, он опять не спит всю ночь.

Рабочих для эспланады сосредоточили на том же левом фланге. Им следовало производить работу как можно тише. Так же тихо перевалили через бруствер. Сейчас же за бруствером начинались перепутавшиеся между собой кусты виноградников, чрезвычайно затруднявших движение из траншеи вперед, если бы мы предприняли его. Сверх того, этими кустами мог бы воспользоваться неприятель и подобраться к нам незамеченный. Тихий шорох работы скоро разгорелся. Мы отличали за бруствером и шелест осыпающейся листвы, и треск обламываемых сучьев, и стук лопат в перепутанную корнями почву, и скрип стволов под пересекавшими их ножами... Чем громче становилась работа в унылом молчании этой сырой и холодной ночи, тем тревожнее мы. Санитары были уже наготове со своими носилками. Тревога сообщилась всей траншее. Солдаты, в начале ночи спавшие, встали и, прислонясь к брустверу, следят за работой. Они сдержаннее нас... Разве только вырвется у кого-нибудь: «И чего они шумят, дьяволы!»

Шум работы, производимой эспланадой, точно все удаляется и удаляется от нас, ближе к туркам... Это еще страшнее. Тише у нас — громче туда, по направлению к этим, вероятно не спящим уже, таборам.

— Ну, теперь борони Боже!.. — вздыхает часовой... — Совсем, должно быть, подошли... Чуть ошибка — сейчас будет тамаша!

— Кто это сказал «тамаша»? — спрашивает в темноте голос Скобелева. Я не понимаю, как это он ухитряется оказываться везде.

— Я,— оборачивается часовой.

— Верно, из Туркестана?

— Точно так...

— Что же ты без Георгия... оттуда?..

— Два есть...— обиженно возражает часовой...

Скобелев не выдержал. Еще минута — и он перелезает за бруствер и присоединяется на той стороне к солдатам, уже подсекающим кусты в ста шагах от нас.

— Слава Богу, сегодня, кажется, все удастся...— слышится опять его нервный голос. Вернулся...

Но как нарочно, в эту самую минуту у турок, на их правом фланге, соответствующем нашему левому, участились выстрелы. Видимо, уже не один человек стреляет... видимо, тревога растет и расползается по всей их траншее... Вот залп... Другой...

— Ах, скверно...— слышится около.

На нашем бруствере показываются несколько фигур.

— Вы что? — встречает их Скобелев.

— С работы, ваше благородие...— не различают они его.

— Кончили?

— Нет... турки стреляют... нельзя...— говорят порывисто, задыхаясь. «Видимо-невидимо» турок... слышится стереотипная в таких случаях фраза начинающейся паники... Солдаты грузно опускаются в траншею.

— Вам страшно... Товарищи работают, а вам страшно...— злится Скобелев.— Стройся!

Перевалившие к нам солдатики строятся.

— Марш опять на работу, да живо, а то, вот вам Бог, пойду и перед турецкой траншеей произведу вам ученье... Вы меня ведь знаете...

Четверо или пять фигур идут опять через бруствер.

— Господа офицеры, следите за тем, чтобы люди делали свое дело как следует...

Немного спустя послышался стук топоров. На звуки их направились выстрелы турок. Еще немного — и на нашем бруствере опять целый ряд черных фигур.

— Ну, что?

— Все кончили отлично...

— Раненых нет?

— Ни одного. Перекличку сделали по пути. Эспланаду кончили, место очистили... Деревья порублены.

— Слава Богу. Спасибо вам, братцы! — благодарит их Скобелев.

Солдаты после удавшегося предприятия очень оживлены. Говорят, смеются. Но это только на минуту. Усталость берет свое, и траншея опять погружается в мертвое молчание... Рабочие как есть ложатся в грязь, дождик все чаще и крупнее, плотнее завертываются в шинели, и без того намокшие... Стрелки, защищавшие рабочих, остались в ложементах за бруствером. Нам еще хуже теперь.

Оказывается, мы как раз вовремя вздумали строить землянки. Еще несколько таких ночей, и в отряде бы появились больные.

Солдаты после работы возвращались назад ползком, так что выстрелы турок все пронеслись у них над головами.

XXI

Туманное серое утро 2 ноября. Кажется еще холоднее, чем ночью. Все стало сегодня сумрачным. Солдаты принялись варить чай в манерках. Дым стелется по траншее и ест глаза — начали топить печурки.

Турки приготовили нам сюрприз. Шагах в ста от нас, в сером тумане выдвигается грозный профиль неприятельской траншеи. Земляной вал виден довольно хорошо весь, со своим зубчатым гребнем, с отверстиями для ружей. Вон у них часовой выставился весь. На сером фоне — серая фигура в шинели. Капюшон опущен на голову. Как близко.

Смело они приблизились своими земляными укреплениями к нашим траншеям. Скобелев волнуется: «Нужно наказать их за эту дерзость, — говорит он — Да еще кстати и обезопасить себя на будущее время от подобных работ с неприятельской стороны. Став в такой близости от нашей траншеи, турки легко могли начать обстрел нашего отряда продольно. Фронтальный огонь их за бруствером безопасен, анфиладный мог бы вырывать у нас из строя ежедневно пятьдесят — шестьдесят человек».

Задумали опять ночную атаку. Но войска состоят преимущественно из молодых солдат. Ночное дело может их спутать. Генерал нашел средство сделать каждому солдату вполне понятным план атаки и все подробности предприятия.

Всем унтер-офицерам и фельдфебелям той части, которая должна будет идти ночью, приказано собраться на правом фланге близ митральез.

— Садитесь, ребята, вокруг,— приказал он им.

Я первый раз присутствовал при военном совете, составленном из дивизионного командира и его солдат!. Судя по непринужденности последних, видно было, что это повторяется уже не первый раз, что они к этому привыкли. И действительно, мне потом рассказывали, что перед всеми своими предприятиями этот генерал делает то же самое.

Вокруг Скобелева сели фельдфебель и унтер-офицеры Суздальского полка. Солдаты расселись потом кучками за ними. Все это вперило взгляды на генерала, все это жадно ловило его слова.

— Вот что, братцы. Ночью сегодня будет дело, и мне надо потолковать с вами, чтобы все вышло толком..

— Мы рады...— слышалось кругом.

— Я не доволен своей дивизией. Совсем она не та, что была прежде.

— Новых много! Пришли из России.. Небывалые еще.

— Ваше дело, дело старых солдат, учить их.

— Приобвыкнут, ваше-ство.

— Ну, вот видите. Турки подошли к нашему левому флангу на сто шагов. Видели вы их траншею?

— Видели. Нет, не видели..

— Кто не видел, тому полковой командир покажет. Траншея их может сильно мешать нам, и потому надо их наказать, во-первых, за дерзость, а во-вторых, отвадить их от этого напредки.

— Как не надо. надо! Он нонче оттуда прямо к нам стреляет, ваше-ство..

— Ну, вот видите. Для этого я задумал вот что. Отряд, в котором и вы, унтер-офицеры, будете, ночью сегодня с барабанами позади должен пробраться к туркам. Дойти до траншеи как можно тише. За двадцать шагов крикнуть «ура», барабанщики забьют тревогу. Броситься в траншею, переколоть, кто попадется под руки, выгнать оттуда турок. Захватить их ружья.. За каждое ружье я даю по три рубля сам, слышите?

— Слышим, ваше-ство!

— Вся сила турок в ружье. Они не солдаты. Отнял у него ружье — вред; убил ты его, а ружье им оставил — они и не

почешутся. Сейчас же нового найдут... Как тоько заметите, что турки переходят в наступление и идут на вас большими силами — сейчас же за траншею и залечь за их бруствером с этой стороны. Отнюдь не стрелять — слышите? Когда начальник скомандует, тогда только бить залпами. Наступит их много — отступайте, но толково, медленно, отстреливаясь. Если же долго не будет атаки турок, то траншею их и зарыть можно... Если увидите, что идет табора два на вас, — подавайтесь назад, но тихо, стройно, отстреливаясь по команде, помните, что залпов да еще дружных он страсть не любит.

— Ему залпы за первую неприятность... — отзывается молодой солдат.

— Ну, то-то... Отступая, забрать не только всех раненых, но и убитых тоже, если будут. Помните, что если вы хотя одного там оставите, лучше мне и на глаза не показывайтесь. И видеть я вас не хочу...

— Зачем оставлять, ваше-ство?

— То-то, христианами * будьте... Поняли вы теперь мою мысль?

— Поняли.

— А ну-ка ты, повтори, что нужно делаться — обратился он к рыжему громадному унтеру, все время точно в рот вскочить к Скобелеву собиравшемуся. Тот повторил; оказывается, понял толково.

— Ну, а ты, что станешь делать, если турки наступать начнут?

И на это последовал удовлетворительный ответ.

— Смотрите же, ребята... Вы должны быть молодцами; докажите, что вы те же молодцы, с которыми я Ловец брал и плевненские редуты.

— Докажем!

— Ну, братцы, может, кто-нибудь что сказать хочет?

— Я, ваше-ство! — выдвинулся молодой унтер-офицер.

— В чем дело?

— Выходить из траншеи через бруствер прямо нельзя. Турецкие секреты близко, они сейчас и заметят... Лучше мы с флангов выйдем и прокрадемся...

— Молодец! Спасибо за совет... — поблагодарил его Скобелев... — Не всегда только так делать можно!

* Очень оригинальное сопоставление христианства с только что отданным приказанием переколоть турок.

— ...Ну, теперь, господин полковник, покажите им турецкую траншею и всю местность от нашего бруствера до них. Только осторожно, из амбразуры. А унтер-офицеры потом объяснят солдатам.

— Я в первый раз в жизни вижу такой военный совет,— обратился я к Скобелеву.

— Иначе нельзя с толком делать дело. Я и тридцатого августа точно так же, перед взятием турецких редутов, поступил.

Когда мы шли назад, попался фельдфебель.

— Ну, смотри же.. Чтобы все у тебя вышло чисто. Выбери надежных. Дряни с собой не бери.

— Татар позвольте оставить здесь.

Скобелев поморщился. Видимо, это предложение было ему крайне неприятно.

— Да разве ты на них не надеешься?

— Не надеюсь.

— Твое дело, только мне это куда как не нравится.

И действительно — его коробило ужасно.

— Да много их у тебя?

— Человек восемь..

— Ну оставь их. Экая гадость какая, с первого же раза недоверие показывать, а нельзя — дело рискованное, слишком рискованное...

Сегодня в нашей траншее музыка Суздальского полка. Она вместе с полком ходила еще недавно в атаки. Некоторые трубы прострелены — и Скобелев настоял, чтобы они остались такими же; как и пробитые знамена, они не должны меняться на новые.

Совсем темно уже. Мы замечаем, что туман, стоявший несколько дней и столь желательный для дела нынешней ночи, начинает рассеиваться. На небе мелькает несколько робких звезд, месяц прорезывается сквозь серебристый пар.

— Скверно.

— В десять часов нельзя начать. Нужно около двенадцати. Тогда стемнеет наверное.

Кашин, полковой командир, суетится больше всех.

Обходят траншею. Солдаты, которые должны идти, уже собраны в трех пунктах. Но еще одиннадцать часов, и очень светло. Туман, как нарочно, рассеялся.

Траншея погружалась в мертвое молчание. В лицах что-то тоскливое, приуныли люди..

И не поверю я, чтобы на душе у кого бы то ни было не было жутко. Скобелеву жутко, всем жутко «Нужно» — по тому и идут

— Ну, ребята, пора... Смотрите же — молодцами.. — слышится шепот Скобелева.— Теперь я посмотрю, как выходить лучше, через бруствер или с флангов.

И Скобелев перебирается через бруствер. Все тихо у турок, только обычные рассеянные выстрелы... Скобелев прошел через всю линию и вошел в траншею с левого фланга ее.

— Нет, через бруствер лучше. Ну, с Богом!..

Двадцать пять человек авангарда перебираются туда.

Часть отряда переходит бруствер в другом месте, остальные справа присоединяются к ним.

— Смотрите же,— дает последнее приказание Скобелев.— За бруствером выстроиться, идти в одну линию так, чтобы локоть к локтю был, чтобы солдат чувствовал своего товарища. (Как военный психолог, он понимает все ободряющее значение этого приема.)

Тихо все там за бруствером. Притаились они, что ли? Становимся на банкет, вперяем взгляды в даль... нет, вот они — движутся вперед смутной линией.. Минуты, мгновения или часы проходят?.. Вся душа перешла в глаза и в ухо... Только видишь и слышишь, чувствуя, что внутри все замерло.

— Урра! — неистово гремит в торжественном молчании ночи; «ура» — подхватываемое зловещим рокотом барабанов и моментально вспыхивающими там ружейными залпами, выстрелами. .

— Урра! — И тут же обрывком, диссонансом доносится чей-то громкий, отчаянный стон.

Как и во всяком бое, часть отряда поддалась панике, отстала и назад лезет на бруствер со стонами и восклицаниями: «Батюшки, убили, голубчики, смерть!»

— Кого убили?

— Всех убили, всех, мы только вышли..

Другие просто молча пробираются назад и прячутся в траншею.

— Назад! — кричат им.

Но стоны делаются еще громче. Паника, как круг на воде, разливается по траншее. Солдаты соскакивают с банкета и кучатся внизу... В это же время более мужественные действительно дерутся и умирают там впереди.

Судя по этим вернувшимся людям, нам в первую минуту кажется, что дело не удалось. Сейчас нужно ожидать атаку неприятеля.

— На бруствер, молодцы! — бодро звучит команда Скобелева.— Встретим их, как следует русским. На бруствер, ребята! Ружья на прицел, стрелять по команде Дула ниже!

Несколько выстрелов слышится из нашей траншеи, выстрелов без команды, со страху, панических.

— Кто там стреляет? В своих попадет. Наши там.

— Братцы, что же вы в своих-то? — слышится отчаянный крик за бруствером. Смятение в траншее на левом фланге сильное. На правом люди стоят молодцами.

Минуты проходят как мгновенья. Хрипло раздается команда. По всей неприятельской линии залпы. Несколько гранат уже разорвались позади нас. Вот шрапнель яркой звездой вспыхивает над нами.

— Ах, это уж не те! — вздыхает Скобелев...

— Напрасно,— останавливает его Куропаткин.— Правый фланг и центр траншеи в полном порядке...

Через бруствер лезет целая кучка.

— Куда вы? Труссы...— насккивают на них.

— Да мы раненого несем,— сурово, злобно звучит ответ.

Действительно, в суматохе слышны болезненные жалобы и в душу проникающие стоны.

Раненого сносят вниз, но в это время по траншее для подкрепления левого фланга идет рота. Ей навстречу беспорядочная кучка только что вернувшихся, объятых паническим страхом солдат, слепо, без толку пробирающихся на правый фланг. Раненый ускользает из рук носильщиков и падает на землю. Масса проходит во тьме через него. На нем суетятся, топчат его. Из-под ног всей этой массы слышатся болезненные стоны, отчаянный вопль, мольбы... Но кому какое дело! Всяк рвется скорее добраться до места.

— Господи, Господи...— замирает внизу все тише и тише голос раненого; под конец он только хрипит, видно, силы нет кричать от боли...

А испуганная толпа, как река, несется через несчастного.

— Да есть ли в вас душа, дьяволы! — орет кто-то. Люди приходят в себя.

Паники этой на левом фланге было несколько минут, но они выросли в целые часы... Так живо отпечатлелась в душе

каждая подробность этого ужасного эпизода... Прошли эти минуты — и порядок водворился всюду...

Только теперь вернулись назад те, кто действительно побывал в неприятельской траншее и сделал свое дело Кашин — какой-то растерянный, без шапки.

Вот как все было.

Наступающие две роты за сорок шагов дошли до траншеи незамеченными. Тут часовые дали по ним два залпа. Они крикнули « ура » и смело бросились на бруствер. Турки разбежались направо и налево, точно отхлынули от нашей атаки. Солдаты, вскочив в траншею, перекололи в ней оставшихся и, согласно программе, захватив ружья, перешли опять через бруствер и залегли за ним. В это время один из командиров рот (в деле были две), Цытович, падает и опять подымается. Пуля прошла ему в ногу. Он под влиянием жгучей боли теряет на минуту сознание и инстинктивно идет назад. Его догоняет фельдфебель.

— Ваше, благородие! Вернитесь, за вами вся рота хлынула. Отступают!

Цытович ничего не слышит...

Другая рота лежит и выжидает неприятеля. Только что он двинулся — встретила его залпом. Но таборы турок растут и растут. Точно туча выплывает из-за горизонта.. Приходится отступать и этой роте. Все пространство между нашей траншеей и турецкой покрывается возвращающимися назад солдатами. Раненых большей частью подбирают. Двух убитых несут. Неприятель захватывает опять свою траншею — торжествующее « алла » его разносится по окрестностям. Залпы оттуда... Оказывается раненным и второй ротный командир. Солдаты отступают медленно — отстреливаясь, чтобы удержать неприятеля от атаки с его стороны — это удастся пока...

— Все ли раненые здесь?

— Двое, кажется, там остались.

Санитаров посылают за ними. Те покорно перелезают за бруствер. Раненых собирают...

Вернувшихся из огня солдат, натерпевшихся страху, отсылают в соединительные траншеи. Турки, наверное, перейдут в наступление и очень энергичное, а раз уже побывавшие в огне и отступившие войска только распространяют панику между защитниками траншеи.

— Ну что? — набрасываются на Кашина, когда он показывается в траншее

— А вот! — и он к самому носу вопрошающего поднес рукав своего мундира — простреленный.

— А рука сама цела?

— Рука цела... Ах, подлецы!

— Да кто подлецы?

— Нет, где моя шапка? — хватается он за голову

— Напрасно вы думаете, что дело не удалось, — слышится в стороне чей-то хладнокровный голос. — Солдаты исполнили все, что им было приказано. Ворвались в траншею, перекололи, кого застали там, взяли несколько турецких ружей и вернулись назад. Ведь в этом и была суть сегодняшнего предприятия.

— Я боюсь за левый фланг и иду туда! — слышится голос Скобелева.

Куропаткин принимает на себя правый, в центре распоряжается Мельницкий. Траншея уже в порядке. Солдаты оправились — ждут. Мы в одном ошиблись. Хотели наказать турок — и вызвали их решительную атаку... Видимо, они готовятся броситься на нас с превосходными силами. Таким образом, мы сегодня наказываем их своими боками и, если они одолеют то поплатимся вновь приобретенными позициями... Сейчас должен решиться вопрос — кому будет принадлежать первый кряж Зеленых гор.

Густой огонь турецких выстрелов все ближе и ближе.

Турки идут на нас в атаку со всех сторон

Силы их громадны.

Стройных, красивых атак я не видал. Все это делается в величайшей суматохе. Кучка решительных людей идет вперед, остальные мечутся, снуют, бегут назад, поселяя в резервных частях панику. В безобразном хаосе все делается как бы стихийно, само собой. Иногда сами атакующие думают, что дело потеряно, когда оно выиграно. Часто в траншеях позади громко бранят наступающие роты, судя по рассказам бежавших назад трусов, а между тем, в конце концов, предприятие оказывается исполненным хорошо. Так точно и в ночь на 3 ноября. Где же тут изображения наших баталистов со стройными рядами солдат, красиво рвущихся вперед за картинно развевающимися в воздухе знаменами?

Не успели наши солдаты вскочить на бруствер — как на правом фланге, в сорока шагах, на левом — в шестидесяти — открылась линия неприятельского огня. С неистовыми

криками, в количестве самое меньшее двенадцати таборов, турки ломились на нас. Ломились беспорядочной массой, осыпая нас тысячами пуль, точно рой пчел, жужжавших над головами. Огонь был так силен, что освещал не только дула, но лица и линии неприятельской атаки. Одновременно с этим показали себя и кришинские пушки. С пронзительным стоном перелетали гранаты и рвались далеко позади, там же лопались в высоте и шрапнели, вспыхивая красными огнями над погруженными в мрак лощинами... Только одна граната лопнула против нашей батареи, между ней и бруствером, выхватив из траншеи шесть жизней... Признаюсь, в тот самый момент, когда я ждал беспорядочной защиты, суматохи, судя по недавней нашей атаке, солдаты в траншее поразили меня изумительной правильностью действий. Что значит разница между нападением и обороной. Те же самые, которые бежали тогда назад в паническом страхе, теперь хладнокровно стояли на банкетах бруствера, выдерживая на себя неприятеля.

— Ребята, не стрелять без команды... Возьми дула ниже...— слышались позади приказания офицеров.

Неприятель близится. Мертвое молчание нашей траншеи точно не наводит ужаса на таборы. Сам Осман-паша здесь. Слышатся приветственные клики низама и ободряющее властное слово. Огонь турецких выстрелов выдает эти таборы, освещая даже массу атакующих. Они вот-вот здесь у самой траншеи. И жутко стоять тут лицом к лицу, но ноги точно приросли, не хочется сойти назад за бруствер.

— Рота-а-а — пли!..— так и село у меня в ушах. Оглушающий треск залпа..

— Рота-а-а — пли! — слышится правее, и такой же грохот там.

Команда точно удаляется от нас к флангам.

— Заряжай, ребята, скорее!

В сером пороховом дыму я вижу нервно, порывисто работающих солдат. В течение шести минут оттуда, где стою я, уже четыре залпа пустили прямо в лицо турецкой атаке — вдруг новые команды, но в ответ слышатся рассеянные, одиночные выстрелы.

— Это что?

— Да экстракторы не действуют,— жалуется один из солдат

Ружья Крнка показали себя. После четвертого выстрела — щелкает, щелкает солдат экстрактором — патрон все сидит себе в дуле. Нужно выбивать его шомполом. И теряется в самую горячую кипень масса дорогого времени.

Атака на правом фланге подошла к нам на двадцать шагов. Но тут уже не роте, а целому батальону скомандовал сам Скобелев:

— Батальон — пли!

И тысяча выстрелов слилась в один оглушающий хаос, тысяча пуль из хорошо положенных дул вырвала десятки и сотни жизней в неприятельских таборах. Момент молчания, затем только стук экстракторов... Громкие стоны и вопли впереди, во тьме перед траншеей, и точно вся местность всколыхалась там... Топот, крики, удаляющийся шум людной массы... Атака отбита... Но не надолго... Не прошло еще и пяти минут, как мы слышим опять впереди движение лавины шагах в ста, останавливающейся перед нами.

— Их строят для нового наступления. Я боюсь одного, чтобы они не прорвали где-нибудь траншею. Положение серьезно, может быть, придется лично защищаться каждому. Советую вынуть револьверы,— говорит нам Скобелев шепотом.

Мы это и делаем. Нервное волнение растет, с лихорадочным нетерпением стараемся рассмотреть, что такое впереди за черной линией бруствера. Унылые рожки турок запели свои сигналы, и во тьме вспыхнула опять густая полоса ружейного огня... Полоса эта все ближе и ближе. Но она движется гораздо скорее, чем в первый раз, видимо, что турки хотят взять стремительностью натиска. У нас с глухими стонами падают люди в глубь траншеи с брустверов... Раненых окажется много. Прямо навстречу мне идет кто-то, шатаясь как пьяный.. Уже лицом к лицу различаю я солдата, схватившегося рукой за грудь. Точно он хочет удержать в ней что-то... А сквозь прижатые к груди пальцы струится нечто, кажущееся ночью черным. Он даже не стонет..

Скобелев проходит мимо.. Залпы наши идут стройно. Атака турецкая и на этот раз отбита. Я отправляюсь за генералом.

— Сегодня они, очевидно, задались целью выбить нас.. Они еще никогда не нападали так настойчиво.. Сейчас,

верно, начнется третья атака... Ай!.. — схватывается генерал за бок. Я услышал перед этим только звук, точно что-то шлепнуло около.

— Что такое, что с вами?.. — заговорили все.

— Тише.. Меня сильно задело... — Скобелев прижимает ладонь к боку.. Мельницкий подхватывает его.

— Оставьте... Разве можно?.. Солдаты видят... — шепотом говорит он. — Здорово, молодцы! — особенно громко приветствует он солдат... — Поздравляю вас, славно отбили атаку!

— Рады стараться! — слышится с бруствера.

— Смотрите же, честно стоять!. Послужите, братцы, России! И еще бросятся — и еще отобьем. Ведь турки — сволочь, ребята.

— Точно так, ваше-ство!

— Ну, то-то же... Чего их бояться...

— Вы ранены? — подбегает Гренквист...

— Ваше превосходительство!.. На свое место!.. Что бы ни случилось, ребята,— дружно стоять, держись один другого. Помните — умереть на местах и не отдать траншеи.. Вся Россия смотрит теперь на нас...

— Ура! — вспыхивает около Скобелева и гулками перекатами разносится по флангам.

— Ах, как больно, однако,— шепчет Скобелев под этот крик.

— Идите в землянку скорей.

— Нет. Весть, что я ранен, распространится по всей траншее. Нужно идти на левый фланг.— И он отправляется туда ободрять солдат: «Сохраним это место для наших братьев... Мы его кровью добыли. Не дешево оно нам стоит...» Минута была действительно торжественная. В эту ночь, будь турки посмелей и понастойчивей, они могли бы броситься в самую траншею, и нам каждому пришлось бы самому защищать себя лично. Разумеется, мы бы опять отняли траншею. Но чего бы нам это стоило?

— Не отдадим, ваше-ство! — слышится отклик.

Траншея была пройдена, мы все, наконец, вошли в землянку. При огне лицо Скобелева казалось слегка побледневшим. Снимают полушубок, Скобелев раздевается и..

— Да где же она?..

— Что такое?.. Кто она?

— Раны нет! — радостным голосом замечает Куропаткин.

— Как нет? — Кровь кидается в лицо Скобелеву.

— Так... Поздравляю с контузией! — громко выкрикивает кто-то.

Тут только Скобелев опускается на кровать.

— Но как больно было, как далеко отдалась, а я думал, что она оцарапала глубоко. Скорее одеваться. Болит, да делать нечего, нужно идти.

Мы осматриваем полушубок: оказывается, что пуля ударила в правый бок, там где клапан застёжки, отодрала его и, пробив полушубок, сильно ушибла тело. Контужен был Скобелев внутри траншеи, где спят обыкновенно, где считалось пребывание самым безопасным.

— Здорово, молодцы! Спасибо за службу! — через несколько мгновений уже звучал опять в траншее голос Скобелева под гвалт и треск новой атаки турок. Она теперь гораздо неистовее, чем в первые два раза, и направлена главным образом на фланги. Скобелев, Мельницкий и Куропаткин берут подкрепление и кидаются туда усилить их. Неопытные ротные командиры делают ошибку, торопят стрелять — от этого опять много возни с экстракцией ружья Крнка и огонь не так густ. В эту минуту я наблюдаю в первый раз залп у турок. До сих пор они стреляли сплошным огнем, часто, но не залпами. Впрочем, это был из очень неудачных и больше не повторялся... Фитильные гранаты из гладкоствольных турецких орудий, как ракеты, взвиваются над нами, оставляя огнистый след в высоте. Турки переняли наше «ура» и выкрикивают его на своем правом фланге.

Еще несколько минут — и атака отбита. Неприятель уходит, чтобы не возобновлять ее сегодня, но из своих траншей бьет нас ружейным огнем. Все с томлением ждут утра. Всех мучит одна мысль — о потерях этой ночи. Хорошо, если выбыло человек двести... Только что рассвело, произвели поверку, и оказалось, что эта ночь стоила нам ста тридцати человек убитыми и ранеными.

Еще одни сутки я провел здесь — и на следующую ночь Скобелев был вновь контужен в плечо. Эта контузия в первый момент сшибла его с ног...

Зеленогорская траншея уже теряет для меня, как для корреспондента, интерес. Дело в том, что окончательно решена блокада и штурмовать мы ничего не будем. Все жертвы, принесенные здесь, оказались напрасными...

8 ноября я уехал в Бухарест — отдохнуть дня три-четыре

Скобелев обладал редкой справедливостью по отношению к своим подчиненным. Он никогда не приписывал себе успеха того или другого дела, никогда не упускал случая выдвинуть на первый план своих ближайших сотрудников. Всякий раз, когда его благодарили, он и в частном разговоре, и при официальных торжествах заявлял прямо:

— Я тут ни при чем... Все дело сделано таким-то..

Несколько раз он при подобных случаях прямо указывал на Куропаткина как на виновника данного успеха, и в самых сердечных выражениях, так что никому не приходило в голову, что это только скромность победителя...

— Я вам, братцы, обязан! Это вы все сделали... Мне за вас дали мои кресты! — говорил он солдатам, и не только для того, чтобы воодушевить их...

Он действительно верил в громадное значение солдата.

— Генерал может только подготовить свой отряд, дать ему боевое воспитание, затем выбрать позицию и наметить первые моменты боя... Потом вся его роль — в массировании войск, в сохранении резерва наготове. В каждом сражении ставят момент — стихийный. Тут уже никто ни при чем. Можно подавать пример личным мужеством, находчивостью, но это и каждый офицер тогда может и должен!.. Действует масса — она идет, она как-то бессознательно выбирает направление, она крушит неприятеля, она выигрывает победу. И зачастую генерал здесь уже ни при чем

Все время после занятий Зеленых гор, вплоть до падения Плевно, Скобелев дружит и, как говорят, на короткую ногу сходится со своими солдатами. Да и не со своими, с чужими также. В этом не было заискивания популярности, нет. Его органическая потребность тянула его к солдату, он хотел изучить его до самых последних изгибов его преданного сердца. Он не ограничивался биваками и траншеями. Сколько раз видели Скобелева, следующего пешком с партиями резервных солдат, идущих на пополнение таявших под Плевно полков. Бывало, едет он верхом. Слякоть внизу — снег сверху. Холодно. Небо в тучах. Впереди в белом мареве показываются серые фигуры солдат, совсем оловянных от голодовки, дурной погоды и усталости.

— Здравствуйте, кормильцы!.. Ну-ка, казак, возьми коня!

Скобелев сходит с седла и присоединяется к «хребтам». Начинается беседа. Солдаты сначала мнутя и стесняются, потом генералу удается их расшевелить и, беседуя совершенно сердечно, они добиваются до позиций. В конце концов, каждый такой солдат, попадая в свой батальон, несет вместе с тем и весть о доступности белого генерала, о любви его к этой серой, невидной, но упорной силе. Войска, таким образом, еще не зная Скобелева, уже начинают платить ему за любовь — любовью...

Или, бывало, едет он — навстречу партия «молодых солдат», по-прежнему — новобранцев.

— Здравствуйте, ребята!

— Здравия желаем, ваше-ство...

— Эко, молодцы какие!.. Совсем орлы... Только что из России?..

— Точно так, ваше-ство.

— Жаль, что не ко мне вы!.. Тебя как зовут? — останавливается он перед каким-нибудь курносый парнем. Тот отвечает

— В первом деле, верно, Георгия получишь?.. А? Получишь Георгия?

— Получу, ваше-ство!..

— Ну, вот... Видимое дело, молодец... Хочешь ко мне?

— Хочу!..

— Запишите его фамилию... Я его к себе в отряд возьму..

И длится беседа... С каждым переговорит он, каждому скажет что-нибудь искреннее, приятное...

— Со Скобелевым и умирать весело! — говорили солдаты... — Он всякую нужду твою видит и знает..

И действительно, видел и знал. От интендантов он отделялся всеми мерами. Просто не пускал их к себе иной раз. Ротные и батальонные командиры были озабочены продовольствием своих солдат.

— Они наживаться ведь могут? — заметил ему как-то сторонник интендантского режима в армии.

— Кто — командиры? Да мне до этого дела нет

— Как это дела нет?

— Разумеется — нет. Если солдат получает у меня хлеба и мяса вволю, чай и водку, если на моих офицеров нет жалоб

ниоткуда, если население ими довольно — что же мне за дело до остального..

И действительно, его солдат кормили как нигде. Меньше всего болела его дивизия, и после балканского перехода и двухдневного боя под Шейновом среди истомленных, бледных и голодных других отрядов скобелевский предстал перед главнокомандующим в таком виде, что Великий князь изумился и воскликнул:

— Это что за краснорожие!. Видимо, сытые совсем.. Слава Богу, хоть одни на мертвецов не похожи.

За то же и солдаты понимали и ценили эту заботливость.

Если кто-нибудь из чужих генералов спрашивал их:

— Вы какой дивизии?. (или:) Какие вы?..

Они не называли ни дивизии, ни полка, ни роты. На все был один ответ:

— Мы — скобелевские, ваше-ство!.

И в этих немногих словах звучала гордость, слышалось сознание своих заслуг, своего привилегированного, добытого кровью положения..

Скобелевцы-солдаты были совершенно отдельными типами армии. Эти и ходили козырями, и говорили молодцами, не стесняясь, и вообще ни при каких обстоятельствах не роняли своего достоинства.. «Это что за петухи такие», «Ну и ферты!» — вырывались восклицания у тех, кто еще не был знаком с ними. К солдатам других отрядов, даже к гвардии — они относились с некоторым превосходством.. Они и одеты были чище, и больше следили за собой.. Нравственность их не оставляла желать ничего лучшего. Когда был занят Адрианополь — в течение первой недели исключительно 16-й дивизией, ни в городе, ни в окрестностях не случилось ни одной кражи, ни одного грабежа. Уже потом, когда на смену пришли другие войска, началось другое хозяйничанье.. С пленными скобелевцы обращались тоже гораздо лучше, чем другие.. Те ели с ними из одного котла.

— Такие же солдаты, как и мы, только в несчастьи, значит.. Ему ласка нужна.— Не раз я сам слышал эти сердечные выражения их сочувствия к участи бедняков — аскеров.

— Бей врага без милости — пока он оружие в руках держит,— внушал им Скобелев.— Но как только сдался он,

амину запросил, пленным стал — друг он и брат тебе. Сам не доешь — ему дай. Ему нужнее.. И заботься о нем, как о самом себе!..

И заботливость эта сказалась после шейновского боя — когда пленные были распределены поротно и ели у солдатских котлов вместе с нашими... Я помню в этом отношении один весьма разительный пример.

Когда на Шейновском кургане был уже поднят белый флаг, Скобелев поскакал по направлению к круглому реду-ту. Навстречу — партия пленных. Один из сопровождавших ее солдат ударил турецкого аскера прикладом. Боже мой! Как разом освирепел Скобелев.

— Это что за нравы, господин офицер?..

Конвоировавший офицер подошел к Скобелеву

— Я отниму у вас саблю вашу... Вы позор русской армии. За чем вы смотрите?. Стыд!. У вас солдаты бьют пленных. Это черт знает что такое.

Офицер что-то забормотал в свое оправдание.

— Молчать! — и он дал шпоры своему коню. Я думал, что он растопчет офицера.

— Еще оправдываться!. Бывают случаи, когда в плен нельзя брать, когда силы малы и пленные могут быть опасны, тогда пленных по печальной необходимости расстреливают. Слышите? Но не бьют. Бить пленных может только мерзавец и негодяй. Офицер, спокойно глядящий на такую подлость, — не должен быть терпим. Палачи! Фамилия ваша?

Тот пробормотал ее.

— Не советую вам никогда попадать в мой отряд. А ты — как ты мог ударить пленного? — наскочил он на солдата. — Ты делал ему честь, дрался с ним одним оружием, он такой же солдат, как и ты, и только потому, что судьба против него, потому, что сила на твоей стороне — ты бьешь безоружного!

После уже я говорю ему:

— Как согласить это противоречие? Вы сами говорите, что врага добить надо

— Да, врага вооруженного, врага, который может еще вредить. Врага слабого, разбитого, беззащитного — нельзя тронуть. Пленный — раз вы его взяли в плен, а не убили — святой человек. Об нем надо заботиться, так же как и о своих.

И действительно, пленные всегда были накормлены и укрыты от непогоды у Скобелева

Только не под Плевной.

Там сразу на наших руках осталось 40 000 пленных и при таких обстоятельствах, когда продовольствие даже своей армии внушало серьезные опасения... Для пленных ничего не было приготовлено. Главнокомандующий поручил их отцу Скобелева, и между ним и сыном были постоянные препирательства из-за этого.

Скобелев-сын, назначенный военным губернатором Плевны, постоянно добивался у отца:

— Ну, чем, ваше превосходительство, вы сегодня накормите турок?

— А тебе что за дело?

— Одного барашка на сорок тысяч человек прислали?

— Ну, уж пожалуйста! К тебе не обратимся.

— Да мне и дать вам нечего... Я тебе, отец, знаешь что посоветую, в интересах военной дисциплины и нравственного воспитания вверенных тебе турок?

— Что?

— А ты им брось барана, они с голоду на него накинутся, ты за беспорядок барана назад... Таким образом, и бараны будут целы, и туркам жаловаться не на что — сами виноваты...

Он тогда же предложил поместить пленных в их редуты, где бы в землянках они могли быть укрыты от снега и холода, но это почему-то не было принято.

На его позицию не раз являлись турки-перебежчики, и этих кормили, прежде чем отправить дальше.

Когда четвертый акт плевненской трагедии окончился и Плевна пала — румыны бросились в город и начали грабить кого ни попало. Тотчас по назначении Скобелева военным губернатором он позвал румынских офицеров.

— Господа! Я должен вас предупредить, чтобы не ссориться больше с вами... Ваши солдаты грабят город.

— Мы победители, а победители имеют право на имущество побежденных.

— Ну, во-первых, вы с мирными жителями не воевали, следовательно, и не побеждали их, а во-вторых, подите и предупредите своих, что я таких победителей буду расстреливать... Всякий, пойманный на мародерстве, будет убит, как собака... Так и помните... Пойдите... Ваши обижают женщин — предоставляю вам судить, насколько это гнусно... Знаете — ни одна жалоба не оста-

нется без последствий, ни одно насилие — не будет безнаказанно.

Турки его прозвали справедливым...

— Для него нет различия... Что свои, что чужие... Если мирные — он не даст в обиду... — говорили они об Ак-паше. — Одно только, зачем он болгарским дружинам приказал конвоировать пленных?

Когда Скобелеву передали это, он очень ясно объяснил свой взгляд на дело.

— Болгары до сих пор были рабами. Нужно, чтобы они поняли, что теперь они граждане и воины. Я приказываю именно им сопровождать прежних своих господ в плен не для того, чтобы последним дать почувствовать всю его тяжесть, а чтобы первые выросли до сознания своей независимости и равноправности с нами.

В Плевне мы нашли массы турецких раненых и больных... Частью они уже умирали, частью уже умерли, частью подавали надежды на выздоровление. Болгары забили окна и двери этих госпиталей, да и сам Осман, пока был еще в городе, не обращал на них особенного внимания.

— Когда нужно драться — лечить некогда, — говорил он. — Раненые и больные — лишняя тягость. Султану и Турции они не нужны. Лучше, если скорее умрут... И без них дела много.

Скобелев относился иначе. Он сейчас же принялся за устройство гигиенических пунктов и командировал целую тучу врачей и санитаров, занявшихся турками. После его посещения мечети, где были сложены раненые турки, они говорили:

— У вас лучше, чем у нас, теперь мы видим это.

— Почему?

— Ваш Ак-паша и турок посещает, врагов своих, а наш Осман никогда не видал нас!

XXIII

В день боя под Плевно, последнего, закончившего эту страшную эпопею плевненского сидения, Скобелеву было приказано принять в командование гвардейскую бригаду. По первоначальной диспозиции она должна была составить резерв. Когда полковник Куропаткин доставил Михаилу

Дмитриевичу приказание Ганецкого — вести ее за середину расположений гренадерского корпуса, вместе с 16-й пехотной дивизией, и они уже двинулись — тогда на месте боя залпы замерли, тишина сменила недавний стихийный грохот сражения и только опанецкие орудия изредка еще посылали свои гранаты за р. Вид... Скобелеву дали знать, что турецкая армия сдается. Гвардейская бригада и 16-я дивизия остановились

Это потом поставили в упрек Скобелеву.

Командующий этой бригадой написал даже рапорт на Скобелева, обвиняя его в том, что он не хотел дать возможность отличиться его войскам, не ввел ее в бой сейчас же, желая будто бы выгодно выделить свою 16-ю дивизию..

Уже по пути на Балканы я спросил об этом у Скобелева.

— Да во-первых, и шестнадцатая дивизия не принимала никакого участия в деле...— возразил Скобелев.— А во-вторых, я почитаю за величайший военный талант того, кто возможно меньше жертвует людьми. Достигать больших результатов с возможно меньшими потерями — вот моя задача, как я ее понимаю... Не так ли?..

— Я сам думаю, что солдаты этой гвардейской бригады далеко не разделяли воинственных претензий своего командира

— Еще бы... Сверх того, знаете, удайся Осману прорваться — все ведь нужно было предвидеть,— важнее всего было бы иметь под руками свежие войска. Что тут рассказывать — вот вам пример: при Маренго Мелас везде прорвал линии французов. Австрийцы считали уже сражение выигранным; поручив победоносно шествовавшую вперед армию и преследование французов Цаху, генерал Мелас сам уехал в Александрию писать реляцию о полном поражении французов.. Наполеон тоже считал дело проигранным, но соперник его по военным талантам, Дезе, остановил первого консула. «Одно сражение мы проиграли — начнем сейчас же другое!» У Дезе оставалась нетронутой и не потерпевшей одна дивизия в девять тысяч человек... Останови он в тот же момент австрийцев — они бы его разом смяли... Но ведь никакой победоносный марш не выдерживает расстояний. Через несколько верст австрийцы запыхались... Дезе отступил и занял Маренго. Австрийцы, наконец, из развернутого боевого строя свернулись в походные колонны и когда поравнялись с Маренго — Дезе

бросился на них с консульской гвардией и разбросал недавних победителей, так что реляцию о поражении врага нужно было писать уже Наполеону.

— Что ж из этого?

— А то, что в сражениях такого рода всегда надо иметь под руками сосредоточенный и свежий резерв, который и решит в случае чего победу. Если бы я ввел, то есть если бы я имел время ввести в боевую линию свою дивизию и гвардейскую бригаду — у нас резервов бы уже не было вовсе!.. А впрочем, если бы я получил приказание как следует — я бы его исполнил... В таких случаях не дело подчиненного рассуждать...

Хотя, разумеется, есть таланты, которые не могут быть подчиненными... Слишком рано они обнаруживают орлиный взгляд и насквозь видят промахи своих начальников... Как при этих условиях беспрекословно исполнять их приказания?..

При первой встрече с Османом-пашой в Плевно Скобелев обратился к нему с искренним приветствием.

— Я рад видеть доблестного турецкого генерала, отваге и талантам которого так завидовал во время осады...

Осман тоже не остался в долгу.

— Русский генерал еще молод, но слава его уже велика... Скоро он будет фельдмаршалом своей армии и докажет, что другие могут ему завидовать, а не он другим...

В Плевно Скобелев занимал небольшой дом... В первые же дни государь Александр II выразил желание — по пути на смотр гренадерского корпуса позавтракать у Михаила Дмитриевича. Он приехал к нему в полдень. Самого генерала к завтраку не пригласили, он как хозяин только распоряжался им... Скобелев было принял это за немилость, как вдруг к нему обращается император.

— Покажи-ка мне свой дом! Вы, господа, оставайтесь.

Скобелев повел его в другие комнаты, затем государь порывисто обнял и поцеловал его...

— Спасибо тебе, Скобелев!.. За все... за всю твою службу — спасибо! — И он еще раз поцеловал его.

Михаил Дмитриевич глубоко ценил расположение его. В данном случае он и понял и душевно благодарен остался государю. Явно при всех обнаруженная милость наделала бы генералу еще более врагов, которых у него было и без того достаточно... Еще более потому достаточно, что в это

время М. Д. был уже любимцем главнокомандующего Великого князя.

В Плевне Скобелеву не пришлось отдохнуть совсем. Готовился переход через Балканы, ему доставалась в этом блистательном деле прошлой войны одна из главных ролей. Он писал в главную квартиру, делал заготовки, исполнял вооружение и снабжение своего отряда целой массой необходимых вещей. В то же время ему приходилось заботиться о порядке в только что занятом городе, водворять на жительство возвращавшихся туда турок, мирить их с местными жителями... В последнем случае он, впрочем, не церемонился. Тех, кто обижал возвращавшихся, подвергали строжайшей ответственности...

— Это, ребята, помните,— говорил он своим солдатам.— Это уже не враги... Это друзья... Пока это такие же подданные государя, как и вы... И обязаны вы поэтому защищать их, как своих родных... А кто их обидит — так будет иметь дело со мной. Чего я не советую вам...

Отдыхал он только за обедом, и тогда к столу его собиралась самая разношерстная публика. Тут были и генеральские погоны с вензелями, и полушубки случайно толкавшихся в Плевно армейских офицеров. Бархатный воротник генерального штаба рядом с оборванным кафтаном вольноопределяющегося солдата, черные сюртуки корреспондентов с бараньими куртками какого-нибудь болгарина, тоже приглашенного сюда. Но не одно это отличало общество, собиравшееся у Скобелева. Здесь всюду чувствовался дух боевого товарищества — различий не было, не было и исключительных вниманий... Шум стоял в столовой, говорил и возражал кто хотел. Полуграмотный казацкий хорунжий чувствовал себя дома, как дома чувствовал себя наезжавший сюда образованнейший из прусских военных Лигниц.

— У тебя кухмистерская какая-то! — шутил старик Скобелев, попадая в эту разношерстную толпу.

Сам Скобелев с каждого своего объезда Плевны возвращался к себе с целой толпой гостей. Случайно встреченный офицер, ординарец, молниеносный марс полевого казначейства — все это «привлекалось к законной ответственности», т. е. к обеду.

— У меня всем за столом есть место! — говорил он, и гости, потеснясь немного, пропускали вновь приехавших.

Ввиду такого широкого гостеприимства не последним лицом был Жозеф, тип всесветного авантюриста, несколько месяцев назад тому на осле приехавшего к Скобелеву и через месяц на осле же уехавшего от него. Это был полуфранцуз, полуитальянец, уроженец Каира, воспитавшийся в Бруссе, бывший поваром в Тунисе, открывший потом кафе в Варне. Не заплатив своим кредиторам, из Варны он бежал в Индию — там занимался какими-то темными промыслами и в конце концов попал в Румынию, оттуда явился поваром к Скобелеву. Это был какой-то шут гороховый, потешавший всех — от генерала до денщика... Когда Скобелев был в зеленогорской траншее, этот тип ни разу не решался посетить его, отсылая свой обед с казаками. Когда турки довольно старательно начали обстреливать Брестовец, Жозеф совсем потерял голову. Желая пошутить над ним, Скобелев потребовал личного его появления в траншее.

— Скажите генералу, что если он прикажет мне самому пойти в это «глупое место», то я возьму свой чемодан и осла и скажу адье.

Немного погодя он прислал другое заявление.

«*Mon général!*...* Мне надоели и турецкие пули, и русские солдаты, которые даже и под гранатами спят, «*comme les ours*»**. Это не входило в наши условия, почему я и прошу ваше превосходительство принять меры, чтобы турки отнюдь не обстреливали моей кухни, ибо я человек свободный и умирать вовсе не желаю...

В следующий раз, когда Скобелев приехал в Брестовец сам, к нему явился мосье Жозеф.

— Ну, мосье Жозеф, что вам угодно?

— Я пришел узнать, *mon general*, вошли ли вы в сношение с турками, чтобы они не стреляли в мою кухню...

— Входил... Но Осман-паша сказал, чтобы я лично послал вас к нему для объяснений... Будьте готовы. Завтра утром вам завяжут глаза и...

— Я не согласен... Я не могу быть парламентаром, я не хочу, наконец.

— Завяжут глаза и отведут в Плевно...

— Я буду протестовать... Я обращусь ко всей Европе...

Кругом расхохотались. Жозеф понял, что над ним смеются.

* Мой генерал!.. (форма обращения к старшим по званию во французской армии). (Ред.)

** «Как медведи». (Ред.)

— Вы трус, мосье Жозеф!

— Быть храбрым я не обязывался по условию...

Когда Плевно пало, мосье Жозеф опять подал повод к бесконечным насмешкам на свой счет. Как-то является он к Скобелеву.

— Что вам?..

— Я пришел требовать должного!..— И Жозеф принял мрачный вид.

— Именно?

— Я месяц держался здесь под огнем... В мою кухню специально стреляли турки... Для них, вы знаете, *mon général*, для них нет ничего святого! Но я все-таки держался. Вы на Зеленых горах, а я здесь, в Брестовце... И потому мне следует крест!..

— Какой крест?

— Георгиевский... *St. George!* * Какой дается всем храбрым...

— Да, но ведь вы не обязались быть храбрым по условию...

— Если бы это входило в условие, то за храбрость мне бы полагалось жалованье... Так как это сверх условия, то я требую себе крест... Вы всем медведям-солдатам дали кресты, я тоже себе хочу...

— Вы с ума сошли, мосье Жозеф!..

— *Mon général*... У меня есть в Каире престарелая мамá... Обрадуйте ее. Если она увидит меня с крестом, она простит мне увлечение моей юности!..

Увы, так его татап и осталась необрадованной...

— Денщик со мной не разлучался и не выходил из огня, а я и ему не дал креста, потому что он слуга, а не солдат. Этак мы до того дойдем,— намекал он на всем известные факты,— что и кучеров, и поварят, и всякую сволочь украсим военными орденами, а те, кто за нас умирает, никогда не дождутся знака отличий!

XXIV

В скобелевском отряде ни разу не практиковался обычай вешать кресты на прислугу. В других — крестами щеголяли денщики и кучера разных генералов, здесь — никогда. Кру-

* Святой Георгий. (Ред.)

ковский, денщик Скобелева, живший с ним в траншее, не смел и думать о таком отличии. Раз было он заикнулся...

— Ступай в строй и заслужи... За чистку сапог Георгиевские кресты не вешают...

Вообще, тут они доставались не даром.

Обыкновенно, когда присылают *голосовые* кресты на роту, то солдаты приговаривают их не наиболее храбрым, а наиболее влиятельным и богатым вольноопределяющимся. Скобелев никогда не допускал ничего подобного... Вот как это делалось... Подъезжает он к роте.

— Выбрали, ребята, кому кресты?

— Выбрали, ваше-ство...

— Кому же?

— Фельдфебелю — первый! — рапортует ротный командир. — Потом вольноопределяющемуся такому-то...

— Вот что, ребята, кресты должны доставаться не фельдфебелям, а тем, кто действительно стоит этого... Слышите? Самым храбрым... Поняли меня?

— Поняли, ваше-ство!..

— Ну вот... Так опять сделайте-ка выбор при мне. Господа офицеры, уйдите, пусть солдаты сами.

По второму выбору кресты достаются тем же.

— Смотрите, ребята, нечестно, если вы лучших оставите без крестов... Сделайте еще раз выбор.

И если по третьему все-таки кресты достаются влиятельным людям, тогда Скобелев и навешивал их.

Раз, в одном таком случае, на вопрос Скобелева:

— Кому, молодцы, кресты приговорили?

— Я назначил их такому-то и такому-то... — сунулся было ротный командир.

— А вы какое право имеете на это?.. Вы, капитан, чего суетесь не в свое дело?.. Отнюдь не смей вперед! Назначать *голосовой* крест — священное право солдата, а не ваше...

Зачастую, если несмотря на переголосовку, кресты все-таки доставались вольноопределяющимся и фельдфебелям, Скобелев приказывал представить этих отличившихся к *именным*, а *голосовые* все-таки давали простой армейской кирилке.

— А то им ничего и никогда не достанется!

На Георгиевские кресты Скобелев смотрел в высшей степени серьезно...

— Главное, чтобы они не попадали шулерам!.. — говорил он. — Или осторожным игрокам.

— Как это?

— А так... Часто иной при генерале бросится вперед — ну и крест... А так он за другими прячется. Это и есть шулера. Осторожными игроками я называю тех офицеров, которые храбры до креста, получив же его, успокаиваются и начинают опочивать на лаврах, берегут свою драгоценную жизнь... Поняли вы меня? Это все равно, что игрок сорвет крупный куш и забастует... Георгиевский крест обязывает... Кто носит его на груди, должен быть во всем примером... Его место в бою — впереди...

И действительно, такой взгляд на кавалеров был и у скобелевских солдат. Во время сражений в смутные моменты, когда человеческому стаду нужны вожаки, солдаты сами кричали: егорьевцы, вперед!.. Кавалеры — показывай дорогу!..

Таким образом, серебряный крест был зачастую только вестником, предтечей креста деревянного. Во всяком бою первыми убитыми оказывались в свалке Георгиевские кавалеры...

— Отчего вы не дадите такому-то Георгиевского креста? — часто просили Скобелева люди, власть имеющие.

— Почему... Да мой Круковский больше его заслуживает. Хоть в траншеях со мною был!

— Да ведь солдатский крест — что он стоит!

— Стоит, если мои солдаты за него жизнью жертвуют... Пускай в других дивизиях он достается даром — я у себя этого разврата не потерплю...

И тотчас же начинается потеха.

— Круковский, ты хочешь крест?

— Хочу, ваше-ство!..

— Ну, иди в строй... Заслуживай...

— В строй не хочу...

— А я тебя отправлю от себя.

— Как же вы-то сами без меня обойдетесь... Не может этого быть.

С близкими к нему лицами Скобелев был совсем юношей. Избыток жизни сказывался в этом. Он постоянно шутил, смеялся, школьничал. Если не с кем было — с денщиком.

— Обезьяна! (Круковский не отзывается — молчит.)

— Обезьяна, тебе говорят...

Тоже молчание.

— Круковский...

Тот мрачно подходит...

— Отчего же ты не являлся?

— Потому, ваше-ство, обезьяну кликали...

— Значит, ты обиделся?..

— Известно, обиделся!..

— Ну так, поцелуй меня!..— И Скобелев протягивает ему щеку.

Круковский целует.

— Ну, теперь не обижаешься?

— Никак нет.

— А все-таки обезьяна...

Особенное удовольствие доставляло Скобелеву выходить по утрам умываться в промежуток между нашей и турецкой траншеей... Круковский должен был следовать туда за ним. Турки, разумеется, тотчас же начинали обстреливать их.

— Ваше превосходительство... А, ваше превосходительство?

— Ну чего тебе?

— Что я вам сказать хочу...

— Что?

— Вы бы шли в траншею мыться...

— Мне и здесь хорошо... А хочешь, я тебя тут за трусость на часы поставлю...

Круковский мнетяся...

— Ну, чего же ты молчишь. Хочешь?

— Не хочу...

— А я все-таки поставлю...

— А тогда кто же вам служить будет... Кто?..

— Ну, пошел вон, трус!..

И ошастливленный позволением уйти с опасного места, Круковский живо убирался оттуда.

XXV

Приготовления к походу за Балканы * шли безостановочно. Со дня занятия Плевно до дня выступления дивизия не отдыхала. Приготовляли и чистили оружие, скупали все

* Я не рассказываю здесь всех эпизодов этого достопамятного перехода — им посвящено двадцать пять глав второго тома «Года войны».

деревянное масло в городе для этого... Ружья Крнка никуда не годились, Скобелеву пришла в голову блестящая мысль вооружить хоть один батальон превосходными Пибоди — Мартини, во множестве находившимися в арсенале Плевны.

Я помню, какой гвалт подняло это в некоторых кружках.

— Это позор! — кричали там. — Русскую армию вооружать турецкими ружьями.

Скобелев слушал их и совершенно спокойно перевооружил стрелков Углицкого полка.

— Если бы было достаточно артиллерийских снарядов, так я и артиллерию свою снабдил бы турецкими орудиями. Я не считаю позором отнять у неприятеля то, что у него лучшее... Весь вопрос в том, чтобы сделать ему побольше вреда.

— Этак вы и под турецкими знаменами пойдете? — замечали ему.

— Нечего сказать, хорошо сравнение!.. Разве знаменами дерутся, разве знамена оружие?..

— В истории не было примера...

— Ну, это вы врете, — и он сейчас же выставил целый ряд доказательств того, что величайшие полководцы прибегали к этому средству... — У себя нет — возьмем у неприятеля. Если у нас, положим, не хватит своего хлеба — так постыдно пользоваться складами турецкими, потому что это не наше, а неприятельское?.. Я и ранцы уничтожу.

— Совсем по-турецки, значит.

— Да, хорошему учиться не мешает... Если бы я не с турками, а с китайцами воевал, да подметил бы у них что-нибудь порядочное, сейчас же перенял бы... Сделайте одолжение!

И действительно, страшно отягощающие солдата ранцы были уничтожены и заменены холщовыми мешками, что вышло и легче, и удобнее... Закупка сапог, полушубков, фуфаек шла повсюду. За три недели в Габрове были заказаны вьюки и вьючные седла, заготовлялся неприкосновенный запас сухарей, крупы, наливался в бочонки спирт... И главное, заслуга Скобелева была в том, что все это было сделано помимо интендантства... У интендантства требовали того, другого...

— У нас ничего нет! — откровенно ответили эти господа Скобелеву.

Предусмотрительность генерала дошла до того, что заранее было куплено на каждый полк по 60 голов рогатого

скота. До гор они должны были везти запасы, а в горах служить пищей... Остальные дивизионные командиры, приходя в какую-нибудь местность, требовали продовольствия и подвод. Население, совсем реквизированное, уже оказывалось несостоятельным. Движение войск замедлялось, началось истребление неприкосновенного запаса сухарей. Здесь же подводы и корм являлись в одном и том же. Корм шел на ноги и вез войсковые грузы. Заботливость Скобелева о солдате дошла даже до того, что весь запас уксуса и кислоты, бывший у плевненских торговцев, все сапоги, всю кожу, все бараньи шкуры были куплены... По всему пути Скобелев сам лично наблюдал, чтобы солдаты отнюдь не оставались без горячей пищи. В метель, на вершинах Балкан, где у других вымораживались целые полки, у Скобелева солдаты имели похлебку и вдоволь мяса! Сделано было еще и другое распоряжение, над которым на первых порах смеялись ужасно. Солдатам приказано было нести на себе по полену сухих дров.

— Чего он еще не придумает! — говорили о генерале.

— Уж если Скобелев приказал, значит, у него есть что-нибудь в виду! — заметил на это главнокомандующий.

И действительно! Когда дошли до балканских вершин, то из этих сухих поленьев солдаты сразу устроили великолепные костры. У других отрядов рубили росший на горах лес. Сырой, только чадивший и курившийся, не дававший углей. У нас сразу получались массы угля. Солдаты приваливались к нему и до утра засыпали в сравнительном тепле. *Замороженных* поэтому не было вовсе!

— Новые сапоги берите!.. — предупреждал солдат генерал, проезжая мимо них, когда они выступили уже из Плевно за Балканы.

Переход этот был настолько превосходно организован, что по всему пути, хотя отряд останавливался в маленьких деревушках, от их населения не поступило ни одной жалобы...

— Смотрите, братцы, не обижайте болгар и турок.. Они — мирные жители... За первых вы деретесь, свободу им своей кровью завоевываєте, следовательно, они вам друзья и братья; а вторые, если остались на своих местах, не ушли от вас, значит, они верят доброте и чести русского солдата.. А обманывать такую веру и грешно, и стыдно...

Картины нашего перехода до Габрова я оставляю в стороне. О них было уже сказано мной, и я описал их достаточ-

но во втором томе «Года войны». Расскажу только некоторые эпизоды, не вошедшие туда. В Сельви заболел тифом один из лучших скобелевцев — доктор Студитский, который потом был убит под Геок-Тепе.

— Что мне делать, как мне его оставить здесь...— волновался Скобелев, очень любивший покойного.

— Прикажете начальнику округа позаботиться о нем...

— Начальник округа здесь хам... Он ничего не делает... Послушайте, это ваша обязанность, подумайте, как устроить это?.. Вы и он носите черный сюртук, вам ближе всего... Мне некогда: весь отряд на моих руках ведь...

Я отправляюсь к начальнику округа. Это был жандармский капитан, служивший по гражданскому управлению и зависевший от кн. Черкасского. Рассказывав ему о болезни Студитского.

— А мне что за дело? Поместите его, где хотите... У меня на руках свое дело.

Я начинаю красноречиво излагать ему заслуги больного, работавшего в Черногории, в Сербии, у нас на Зеленых горах, под Плевно.

— Он и заболел-то от любви к человечеству. Он заразился, подавая помощь туркам на плевненском боевом поле...

— Все это прекрасно... И только мне нет никакого дела... У меня нет времени на это... Я не брат милосердия!..

Ну, погоди же, думаю... Ты у меня зашевелишься.

— Жаль, очень жаль, капитан!.. Как будет огорчен князь Черкасский, когда узнает о болезни Студитского.

— А что?.. При чем тут князь...— наострил уши начальник округа.

— Да я не знаю, могу ли я... Это семейная тайна...

— О, мне можете...— заволновался тот...— Я умею хранить тайны...

— Знаете... Студитский ведь жених... У Черкасского есть племянница...

— Я сейчас... Сейчас... Велю его перенести к себе... Сию минуту... Назначу надежнейших болгарок ходить за ним... Бедный, бедный молодой человек!.. Как жаль... как жаль... Скажите генералу, чтобы он был спокоен... Я сделаю все... Все сделаю... Как родного сына!..

По ревностной энергии, вдруг охватившей моего капитана, я убедился, что все дело устроено и Студитского будут беречь как зеницу ока.

Вернулся к Скобелеву. За обедом, когда все собрались, рассказал это Громкий хохот встретил великодушную готовность капитана..

После уже, под Константинополем, когда Студитский был совершенно здоров, Скобелев говорит мне

— А вы знаете финал этой истории?

— Нет..

— Князь Черкасский встречается со мною и спрашивает меня: у вас есть доктор Студитский?..— Есть, говорю.— Ну так поздравляю вас с таким подчиненным.— А что?..— Да то, что он самозванец.— Я изумился: как же, помилуйте.— Приезжаю я в Сельви... Встречает меня капитан, начальник округа, и с первого слова: ваше сиятельство, здесь жених вашей племянницы доктор Студитский, долгое время болен у меня... Я со своей стороны...— И давай живописать свое усердие... Помилуйте, говорю, у меня никакой племянницы!.. Тот даже ошалел...

Разумеется, Скобелев объяснил князю в чем дело.

— Знаете,— говорил потом по этому поводу Скобелев,— надо всегда уметь пользоваться не только способностями, доблестями и достоинствами людей, но и их пороками... Разумеется, ради честного дела. Не для себя и не в свою пользу... Это в военном деле — необходимость..

— Следовательно, рыцарь Баярд был не на высоте требований боевых...— возразил кто-то.

— Рыцарь Баярд действовал за свой счет только, армией он не командовал. Я бы посмотрел теперь на рыцаря Баярда!

И сейчас же — целый арсенал исторических указаний, фактов, примеров.

Память у него была необычайная... Это позволяло ему при каждом случае обращаться к прошлому. История была для него школой, исторические события — уроками. Он находил в них подтверждения своих предприятий... Ошибки прежних полководцев являлись для него предупреждениями...

— Послушайте, да это какой-то профессор! — изумился Лигниц после первого знакомства со Скобелевым.

— Трудно сказать, чего в нем больше, ума или знаний! — резюмировал свои впечатления военный агент Северо-Американских Соединенных штатов Грант

Все это завоевывало Скобелеву симпатии одних и, напротив, раздражало против молодого генерала других. Для

меня Скобелев был отличным мериллом для определения ума и бездарности. Как только начинают, бывало, ругать его, отрицать его талант, так и знаешь, что дурак или завидущая душа! Все же молодое, умное, способное — относилось к нему с понятным уважением и даже обожанием.

XXVI

Солдаты Радецкого и Скобелева в ущельях Янтры побратались между собой. Одни других считали достойными товарищами. Постоянно по пути встречались эпизоды, характеризовавшие эту боевую дружбу. Идет, например, Углицкий полк, навстречу солдат 14-й дивизии, отстоявшей Шипку. Стал фертм и ноги раздвинул, по словам известной армейской песни: «Руки в боки, ноги врозь!»

— Ну, братцы, четырнадцатая дивизия не выдала, смотри и шестнадцатая не выдавай!

— Небось не выдадим... Защитим...— слышится из рядов.

В другом случае встречаются две партии солдат.

— Вы скобелевские?

— Точно.

— Ну, а мы Радецкого... Все равно, значит, что одно...

— Таперича, коли бы да нас вместе, что бы сделать можно!.. На Шипке нас мало было...

Взгляд солдат был как нельзя больше верен.

Скобелев и Радецкий действительно в то время были двумя боевыми противоположностями. Скобелев — весь пыл, огонь, находчивость, боевой гений, Радецкий — терпение, мудрая осторожность, расчет. Оба одинаково храбры, одинаково любимы солдатами. Впоследствии и Скобелев под Геок-Тепе усвоил себе и осторожность, и расчетливость стратега, отчего, разумеется, еще более вырос... Разница между этими двумя натурами лучше всего обнаружилась в Габрове. Скобелев, хорошо знавший положение дел, рвался за Балканы, горой стоял за немедленный перевал через горы и затем движение к Адрианополю. Радецкий был против этого. Зимний поход такого рода, через кручи и вершины, засыпанные снегом, по ущельям, куда и летом не забирается живая душа, пугал его. Он писал и телеграфировал в главную квартиру, умоляя оставить это

предприятие, называл его невозможным, неисполнимым. Он ставил на вид, что турки сами уйдут, когда Гурко прогонит Сулеймана, что Вейсиль-паше вовсе не будет расчета держаться в своих орлиных гнездах и пустить в тыл к себе русскую гвардию. Генерал только опускал из виду, что, отступив, турки займут превосходно укрепленный редутами и башенными фортами Адрианополь, а тогда нечего будет и думать о скором окончании войны... Люди, окружавшие Радецкого, держались того же мнения. Начальник его штаба, храбрый и симпатичный генерал Дмитровский прямо говорил нам, что или мы все погибнем в долине Казанлыка, или не дойдем до нее, застрянув в горах. Когда Скобелеву говорили о возможности отступления, он резко ответил:

— Отступления не будет ни под каким видом!.. Я иду таким путем, по которому спуститься можно, а назад подняться нельзя...

— Что же вы сделаете в крайнем случае?

— Пойду впереди своих солдат — в лоб турецких позиций, возьму штурмом гору Святого Николая. Или погибну.. Тут выбора не может быть...

Великий князь поддержал Скобелева, и переход был решен бесповоротно. В тот же день генерал отдал по войскам своего отряда приказ, который я привожу здесь целиком.

«Нам предстоит трудный подвиг, достойный постоянной и испытанной славы русских знамен. Сегодня, солдаты, мы начнем переходить Балканы с артиллерией, без дорог, пробивая себе путь в виду у неприятеля, через глубокие снеговые сугробы... В горах нас ожидает турецкая армия. Она дерзает преградить нам путь. Не забывайте, братцы, что нам вверена честь отечества, что за нас теперь молится сам Царь-Освободитель, а с ним и вся Россия. От нас они ждут победы. Да не смущает вас ни многочисленность, ни стойкость, ни злоба врагов. Дело наше свято, с нами Бог!..

Болгарские дружинники! Вам известно, зачем державною волею русские войска посланы в Болгарию! Вы с первых дней показали себя достойными участия русского народа. В битвах в июле и августе вы заслужили любовь и доверие ваших ротных товарищей — наших солдат Пусть будет так же и в предстоящих боях. Вы сражаетесь за освобождение вашего отечества, за неприкосновенность родного очага, за

честь ваших матерей, сестер и жен, за все, что на земле есть ценного и святого. Вам Бог велит быть героями...»

Нужно было слышать, какое «ура» гремело в ответ на чтение этого приказа по войскам, в виду громадных гор, вершины которых уходили в небеса, закутавшись в снеговые тучи. По головокружительным скатам едва намечались серые полосы дороги, пропадающей в мареве вечернего тумана... Дальше — и пути уже не было.

— Кручи и пропасть будут по сторонам!..— говорил Скобелев солдатам...— Мы с вами пройдем там, где и зверю нет пути...

— Пройдем, ваше-ство! — кидали они своему любимому вождю..

— Орлы мои!.. Нас не собьет и буря с пути.. Нет нам преграды..

— И не будет, ваше-ство!..

— Вот так... Хорошо с вами жить и умирать легко... Покажем им, что русского солдата ни горы, ни зимние метели остановить не могут...

— Ур-ра! — гремело из десятков тысяч грудей, уже достаточно истомившихся на прежних походах.

Слезы выступили на глазах Скобелева.

— Как же с этими солдатами,— обернулся он к нам,— не наделать чудес... Вы посмотрите на эти лица. Разве есть для них невозможное?.. Спасибо, товарищи, я горжусь, что командую вами!.. Низко кланяюсь вам!

И сняв шапку, он поклонился своему отряду.

Еще более громкое, стихийное «ура» всколыхнуло вечерний туман и разлилось по ущельям в даль, заставленную мрачными вершинами..

Тем не менее трудности пути были ясны каждому солдату, и скоро, очень скоро оживление сменилось сосредоточенным молчанием людей, готовящихся к мучительному подвигу.

— Идем товариство выручать!..— изредка только слышалось в рядах...— Седьмой месяц на Шипке сидят — ослобонить надо!..

Перевал через Балканы, признанный таким военным авторитетом, как Мольтке, невозможным,— останется навсегда в истории. Скобелевцы могут с гордостью сказать, что они совершили его без всяких потерь благодаря превосходной организации этого похода... Взойдя на первый холм, они увидели перед собой крутой подъем. Ветер свеял

с него недавний снег, осталась скользкая обледенелая поверхность. Солдаты скатывались и падали с нее, гремя ружьями, котелками, шанцевым инструментом. Добравшись доверху тяжело дышали, отдыхали, прислонясь к деревьям, или просто ложились в снег в полном бессилии. Падая и скатываясь, напрасно хотели удержаться руками — руки скользили по гладкой поверхности... Одолев это, находили перед собой еще более пугающую крутизну, но уже засыпанную глубоким снегом. В снег этот уходили по грудь, шли вперед в его рыхлой массе. Поворачивали направо, налево, уходили опять назад, огибая отвесы диких скал, вспалзывали по лестницам, образуемым выступами их, падали с этих лестниц, скользя по льду, образовавшемуся на них... В лесу тропа была до того узка, что солдатам пришлось идти гуськом. Отдыхали через каждые двадцать пять — тридцать шагов. И какие это шаги были; солдат с натугой выхватывал ногу из снеговой глыбы, потом ступал вперед, опять погружаясь в вязкую массу. Под ногами снег расползался, ноги расходились, приходилось падать и, скрипя зубами, подниматься опять. Какое-то хрипенье слышалось кругом. Падая, каждый принимался прямо с земли есть снег. В чаще нужно было кусты раздвигать руками, какие-то колючки впивались в лицо, резали его, обращали платье в лохмотья. С артиллерией была мука, десятифунтовки бросили позади. Их нельзя было и думать взвести сюда. Горные орудия на саночках — тело отдельно от лафетов — шли лямкой. Солдаты, наклонившись головой вперед, хрипя, тащат их на лямках... Всего мучительнее было взбираться на горы, после того как, поскользнувшись, скатывались вниз. Иной раз пять-шесть совершает такое восхождение и все с одинаковым неуспехом... По сторонам зияли бездны. Вдоль них пришлось лепиться, точно муха, ползти по горе. Одолели это — попали в такие сугробы, где тонули по горло в снегу. Двигались уже не ногами в них, а как-то напирались всем корпусом вперед, выдавливали для себя место... Все было мокро на себе: и сам, и платье... А выберешься — морозом охватывает так, что шинель коробится, рубашка деревенеет и на волосах разом образуются куски льда. Солдаты пробовали садиться отдыхать на снеговые глыбы, так они сползали вниз.. Стали садиться и ложиться на дорогу. Через них и по ним ходили, наступали на лицо, на грудь, на руки, те только стонали и опять подымались, чтобы до

последних сил идти вперед. Ивой раз снег проваливался, и солдаты попадали на дно воронки.. Скобелев тут же между солдатами, ободряет одних, понукает других, посмеивается над третьими. Откуда берутся у него силы Он более других утомлен, потому что у него не было отдыха вовсе... Раз он как-то заснул в снегу.. Кругом сейчас же стали солдаты, чтобы на генерала не наступили проходящие мимо...

— Невозможный переход!..— обратился к нему кто-то

— Тем лучше, что невозможный! — отвечал он.

— Почему?

— А потому, что турки не ждут нас отсюда. Полководец именно при защите и должен опасаться якобы невозможных позиций. Невозможных для штурма, для обхода. Их-то он и должен иметь в виду...

— Обыкновенно на них не обращают внимания.

— И глупо делают. Умный враг с них-то и начнет. Смотря какие солдаты, если такие, как мои,— с ними всякую невозможность одолеешь..

На одной площадке солдаты совсем упали духом. Усталость дошла до крайности.. Казалось, нельзя было ступить шагу...

— Еще одну гору, голубчики...

— Трудно.. ваше-ство! — упавшими голосами отвечают ему.

— Наверху каша будет, товарищи... Ну-ка, для меня, постарайтесь..

И солдаты поднимались и шли с новыми силами...

Дошли до первого ночлега на Ветрополье — и действительно, там были и суп, и каша. Дорылись до земли, из готовых поленьев дров разложили костры и живо в котелках сварили себе похлебку. Говядина и крупа были для этого на солдатах.. За ночь, несмотря на мороз,— ни одного больного не было.

На другой день такой же утомительный переход, но уже под огнем турецких позиций.

Тут уж весь путь целиной, даже звериных тропок не было

Куруджа ужасающей кручей обрушивается вниз. На дне пропасти — белый пар. Вчера еще могла бы здесь пролететь только птица Ночью уральские казаки устроили тропу Легли в снег и проползли, обмяв его под собою по отвесу Назад прошли на ногах, продолжая обминать,

потом провели своих коней. Когда солдаты шли по этому карнизу, направо стеной поднималась гора, налево стеной она обрушивалась вниз. Бездна тянула к себе, голова кружилась, тошнило. Двое сорвались туда — и безвозвратно. Кое-где тропа эта идет наклонной плоскостью, тут разве крылья ангелов могли удержать солдат. Я до сих пор не понимаю, как они миновали эти места. И когда большая часть отряда была еще на этой адской крутизне, Скобелев впереди уже производил рекогносцировку по направлению к Имитле. Под ним опять убили лошадь; ранили Куропаткина... Тут уж каждый шаг доставался с бою...

— Бог его знает, откуда у него это равнодушие и спокойствие!...— говорили офицеры.

Стоя на выступе горы под густым огнем турок, Скобелев здесь набрасывал кроки долины Роз. Ему оно нужно было для дальнейших соображений... Завтра — бой, всякая неровность местности имела громадное значение.

— Он чертит под огнем так же уверенно, изящно, как бы у себя в кабинете...

Подробного рассказа о переходе Балкан, о боях 26 и 27 декабря, о занятии Имитли я здесь не передаю. Этому посвящена значительная часть второго тома моего «Года войны». Отмечу только здесь, что этот героический поход не сломил энергии Скобелева. В ночь на 27-е я его застал уже в ущелье, выходявшем в долину Казанлыка. Он лежал у костра, слегка прикрывшись пальто... Рядом хрипела и билась умирающая лошадь... Откуда-то назойливо садился в ухо крик раненого солдата... С ним кто-то заговорил.

— Не мешайте! — оборвал он...

— ...Да...— вдумчиво проговорил он наконец,— завтра или послезавтра решится дело... Или запишем еще одну славную битву в нашу военную историю, или... умрем!.. Честнейшая смерть еще честнее победы, дешево доставшейся... Во всяком случае, отступления нет... Спуститься можно было... Подняться — нельзя... Генерал Столетов... Возьмите две роты Казанского полка и одну Углицкого. Выбейте турок из Имитли и займите его...

— Вам бы заснуть теперь,— посоветовал ему кто-то.

— Казак, коня! Некогда спать... В Казанлыке выспимся...

И он поехал осмотреть выход в долину.

Я не буду описывать ни рекогносцировки 26 декабря 1877 г., ни последовавшего затем занятия Имитли, ни дела 27-го числа, когда Скобелев, желая хоть чем-нибудь помочь князю Мирскому, но имея под руками еще слишком мало войск (три четверти отряда еще оставалось в горах), сделал демонстрацию на шейновский лес. Всему этому отведено достаточно места в прежних моих описаниях войны; я возьму из них только несколько строк о бое 28 декабря, едва ли не самом блестящем деле шипкинской эпопеи. Это было последнее крупное сражение в эпоху 1877 — 1878 годов, и тут Турция потеряла свою последнюю армию.

Серый и туманный был этот славный день. Мгла окутывала дали, серое небо точно давило вершины Балкан. В ущельях курился туман, сады и рощи деревень в долине Роз казались облаками, охваченные отовсюду мглой.. Лысая гора, резко обрисовывающаяся среди окружающих ее вершин, тогда вся пряталась... Ее мы не видали.

Еще свет робко-робко пробивался на востоке, когда Скобелев уже объезжал шейновское поле. С зарею поднялись солдаты, из Имитли едва-едва доносился грохот горных орудий, стучавших по окрепшей за ночь почве... Суздальский полк еще находился в Балканах, как и вся наша артиллерия, за исключением батареи, вооруженной горными орудиями. Там же еще застряли стрелковый батальон и две дружины болгарского ополчения...

Не успело солнце подняться, как полки уже выстроились... Солдаты были очень оживлены; зная их суеверие, Скобелев, объезжая ряды, повторял:

— Поздравляю вас, молодцы! Сегодня день как раз для боя — двадцать восьмое число... Помните, двадцать восьмого мы взяли Зеленые горы, двадцать восьмого сдалась Плевна... А сегодня мы возьмем в плен последнюю турецкую армию!.. Возьмем ведь?

— Возьмем... ура! — звучало из рядов...

— Заранее благодарю вас, братцы...

В десять часов передовая позиция была уже занята отрядом графа Толстого, выстроившимся в боевой порядок.

— Выдвиньтесь на хороший ружейный выстрел! — приказал ему Скобелев.

Сам генерал стал в центре. По обыкновению, вокруг сгруппировались ординарцы, позади его развернут был его

значок, следовавший за ним всюду: и в Фергане, и в Хиве, и в Плевно. Среди мертвого безмолвия разом заговорили горные пушки нашей батареи, когда впереди показалась турецкая кавалерия, развертывавшаяся перед Шейновом... Против нас оказалось пятнадцать турецких орудий... Сосредоточенный огонь их был направлен сегодня исключительно против группы Скобелева...

— Господа! — обернулся он. — Не угодно ли вам раздаться... Разбросайтесь пошире... Иначе перехлопают нас...

— ...Сегодня моя жизнь нужна! — в виде пояснения сказал он потом. — Куропаткин ранен, его нет. Если меня убьют, некому будет принять команды...

Мы разъехались на довольно большое пространство...

— Сейчас к туркам подойдет подкрепление! — озабоченно проговорил Скобелев.

— Почему вы знаете?

— А слышите?

В грохоте турецких батарей стали выделяться отдаленные звуки рожков. Турки подавали сигналы. Скобелев усилил наш левый фланг и выдвинул ополчение к Шипке, где, по его мнению, были три табора турок.

— Они, подлецы, догадаются, что у нас только орудия малого калибра!.. Нужно обмануть неприятеля... Поставьте людей у орудий! — приказал генерал.

Вторая боевая линия вышла на позицию с музыкой и песнями. Развернутые знамена слегка колыхал ветер... Около 11 часов турки сосредоточили свой огонь против нашего левого фланга. Туда Скобелев послал стрелков Углицкого полка... Люди начали падать... По массе пуль, несущихся навстречу, видно, что турки собрались здесь не менее, как в количестве пятнадцати таборов... Да сколько их еще позади — в редутах и фортах, защищающих с юга шипкинские позиции. Скобелев делается все серьезнее и серьезнее... Лицо его озабочено, как никогда...

— Если меня убьют, — снова оборачивается он к окружающим, — то слушаться графа Келлера. Я ему сообщил все...

На нашем левом фланге все разгорается и разгорается перестрелка, там уже перешли линию огня и находятся в самом пекле. Шейново кажется отсюда примыкающим к Балканам. Перед этим пунктом несколько холмов, они заняты турками. Их следует взять во что бы то ни стало... Оттуда — особенно сосредоточенный огонь... Роты, види-

мо, хотят их обойти с фланга; ни на минуту ружейный огонь не стихает, напротив, растет и растет, сливаясь с отголо-ском маршей вступающих в боевую линию полков. Наши «Пибоди» пока идут не стреляя. Мы под огнем, но сами огня не открываем. На одну минуту перед курганами стрелки углицкие приостанавливаются... Слышится коман-да, развертывается цепь и беглым шагом бежит, охватывая курганы дугою... Залпы и беглый огонь у турок доходят до исступления. Наконец, наши у курганов — бой в штыки — слышно «ура», и на вершине холмов показываются угличане, радостно размахивая ружьями и созывая отсталых. Турки вереницами бегут к лесу и занимают его опушку... По этому пути легко узнать их отступление. Меткий огонь наших стрелков уложил их так густо, что еще издали видишь среди белеющих снегов какую-то черную полосу до самого леса.

— Молодцы, угличане! — замечает Скобелев... — Меня винили за Зеленые горы... Вы помните, каких нагнали ко мне солдат для пополнения уничтоженных под Плевною полков... Что это были за трусы... Разве можно было с ними драться... А теперь полюбуйтесь на них... Как стойки они... Вот вам и Зеленые горы. В две недели дивизия получила боевое воспитание...

Курганы почернели от людей, занявших их. Снизу до верхушек густо засели стрелки, но ненадолго. Нужно было пользоваться минутой и продолжать атаку... Вот цепь опять развернулась, двинулась вперед — идет шибко, хорошо... Позади двигаются еще люди... Огонь у турок делается отчаяннее. Вдруг — точно к ним явилось подкрепление — залпы зачастились, турки выбегают из опушки леса; наше наступление встречают убийственным огнем с фронта. На левом фланге угличан показываются черкесы, на правом наши точно приостановились, колыхнулись... Двинулись назад... Еще минута, и наша цепь, отстреливаясь, волнообразно отступает за курганы. Одну минуту Скобелев боится, чтобы они и их не отдали... Нет, курганы остаются за нами.

Неприятельская кавалерия и не думает отступать... Она заскакала во фланг нам и теперь маневрирует между нами и Шипкой... Подскакивают черкесы в одиночку, ругаются по-русски и сейчас же во всю мочь улепетывают назад. Кинулись было за ними казаки — и давай тоже джигитовать...

— Ну, я этих фокусов на седле не люблю... Прикажите, чтобы слушали команду, а не кувыркались... Мне акробатов не надо. Пошлите прямо две сотни донцов в атаку!

Все, опустив пики, помчались, развернув фронт на турок... Точно ураган просвистал мимо. Турки их выдержали шагов на двести и, дав глупый залп наудачу, опрометью шарахнулись по направлению к Шипке.

— Граф Толстой ранен! — подъезжает ординарец к Скобелеву...

— Э!..— с досадой проговорил генерал...— Терять Толстого в такую минуту... Он нужен.... Жаль, жаль... Пускай Панютин примет команду...

Резервы ближе и ближе передвигаются к линии боя...

— Как стройно идут они...— любитесь ими генерал...

Каждый подходит с музыкой и ложится в ложину — «до востребования»... Туман рассеивается... Горные стремнины обнажаются, и в эту минуту заметно, как к ним, точно тень от облака, скользят вниз турецкие таборы.

Из второй линии в передовую послан для усиления весь Углицкий полк... Дело близко к решающему моменту; смотря на обстановку боя, мы любимся стройностью движения угличан, которые развертываются как на парад и с развернутыми знаменами под музыку красиво входят в боевую линию... Сражение распространяется по всей линии передового отряда. На левом фланге у отступавших к курганам стрелков вспыхивает «ура» и перекидывается из роты в роту по всему расположению войска, из передовой линии в резервы. Скоро вся долина, занятая нами, гремит от восторженных криков. Стрелки на левом фланге вторично кидаются в атаку, неудержимо выбивают первую линию турок, вскакивают на бруствер траншеи, заложенной в лесу, оттуда скоро вырываются к нам сюда красные языки пламени... Слышны вопли побежденных и новое торжествующее «ура» владимирцев и углицких стрелков. Начинается тот период боя, когда стихийная сила заменяет одну волю, когда управляющий боем может только усилить, направить, но не прекратить движение, не помешать ему. Солдаты, видимо, рвутся вперед... Скобелев еще хочет выдержать момент, зная, что позади резервов мало.

— Суздальский полк и две болгарские дружины пришли...— докладывает ординарец.

— Турки окружены нашей кавалерией с тылу...— сообщает другой...

— Мы вошли в соединение с Мирским — вот записка от князя...

— Ну, с Богом теперь!..

И Скобелев перекрестился.

Точно дрогнуло все под гулкий рокот барабанов, возвестивших общую атаку... Пришлось останавливать солдат, кипевших боевой энергией. «Ну, теперь — победа верная!» — крикнул Скобелев, глядя на своих солдат.

Я не описываю здесь эпизодов этого колоссального боя, совершившихся в горных туманах у Радецкого и в левофланговой обходной колонне у князя Мирского. Книга эта исключительно посвящена Скобелеву, почему в этом наброске я говорю только о его участии в шейновском бое.

Углицкий и Казанский полки и пятая дружина болгарского ополчения с изумительно красивой стройностью двинулись вперед под густым огнем неприятеля. Наши шли без выстрела. В этот день они не выпустили почти ни одного патрона и исключительно работали штыками... До опушки леса они шли точно церемониальным маршем, под музыку, в ногу... На параде так не ходят... У опушки полки развернулись побатальонно и почти под сплошным огнем, пронизавшим их, кинулись беглым шагом вперед... Чтобы менее было потерь в известные моменты, люди залегали в канавы и потом по команде перебежали к следующей... С еще большим ожесточением рвались в бой болгары... Один батальон, против которого был направлен особенно сосредоточенный огонь, приостановился... Два раза отдали ему приказание «вперед» — ни с места. Точно столбняк напал. Тогда командир подскакал к батальону, выхватил знамя из рук знаменщика и с ним кинулся в огонь. Как один человек, бросились солдаты... Их напор был так неудержим, что первый ряд ложементов и траншей моментально оказался у нас в руках... Передовая турецкая позиция была атакована по приказанию Скобелева одновременно казанцами слева, угличанами справа.

Закипел штыковой бой. Не просили и не давали пощады. Кололи безмолвно, сжав зубы... Солдаты только старались не глядеть в глаза защищавшимся. Это очень характерная черта. Закалывая, солдат никогда не смотрит в глаза врагу. Иначе «взгляд убитого всю жизнь будет преследовать»; это — убеждение, общее всем.

Линия неприятельских стрелков, стоявшая все время здесь, не ушла никуда — вся осталась на месте. Как она

сбилась к брустверу, так и легла там. Густо легла — точно второй вал у вала... Раненые, падая, схватывали врагов и душили их, в бессилии находили еще возможность зубами вцепиться в солдата, пока тяжелый приклад не раскраивал черепа... Болгарское ополчение дралось столь же ожесточенно, еще злобнее, если хотите, потому что тут вспыхивала племенная ненависть...

Когда первые ложементы были взяты, до отдыха еще оказывалось далеко... Перед солдатами оказался укрепленный лагерь турок и их редуты.

Укрепленный лагерь был не что иное, как деревня, где каждый плетень, заваленный землею, являлся бруствером траншеи, каждый дом — блокгаузом. Тут бой шел, разбиваясь на мелкие схватки. Стреляли со всех сторон. Тут можно было затеряться... Упорно защищали эту позицию турки, но угличане и казанцы выбили их штыками оттуда.

— Знаете,— оборачивается Скобелев,— опушки рощ, деревни часто переходят из рук в руки... Я боюсь, чтобы турки не бросили сюда все, что у них есть, и не отняли занятых угличанами позиций... Со свежими силами они могут сделать много против изнуренных солдат...

Ввиду этого генерал передвинул из резервов еще батальон, который, дойдя до места, сейчас же окопался.

— Если наши войска дрогнут, траншея эта будет служить им опорой, чтобы прийти в себя и опять броситься на турок.

Но опоры не понадобилось.

Увлечение солдат росло. Они крошили все на своем пути. За укрепленным лагерем попался им редут... Никто не знает, вскакивали ли сюда первыми те или другие солдаты — полк как будто прошел через редут, не останавливаясь в нем; минуты остановки не было, а между тем позади, когда угличане шли на следующий,— остались между брустверами груды тел и раненых. Оказывается, что защитники редута были перебиты штыками... Налево был другой редут, сильнее. Взять его с фронта было невозможно. Батальон Казанского полка обошел его с тылу и так неожиданно кинулся на турок оттуда, откуда его никто не ожидал, что таборы бросили оружие и в ужасе только подымали руки вверх, крича навстречу нашим солдатам: «Аман! Аман!»

Еще два редута было взято штыками... В следующем турки, заметив, что наши их обходят, бросились было все на

угличан, но казанцы развернулись в длинную линию и открыли такой огонь по бежавшим, что редкий из них спасся. В этом единственном случае наши стреляли. Повторяю еще раз, вся работа 28 декабря была сделана штыками. Поэтому и потеряли мало! Я нарочно останавливаюсь на этом, чтобы показать, до какого идеального совершенства Скобелев довел своих солдат. Солдат, атакующий врага без выстрела, образец дисциплины и выдержки. Трудно поверить, какой соблазн стрелять по неприятелю, а не ждать штыкового боя... Хотя за закрытием редутов ружейный огонь наступающего врага приносит очень незначительный вред обстреливаемым.

В два без четверти деревня со всеми ее укреплениями была взята.

Движение угличан и остальных на правом фланге было гениальной диверсией Скобелева. Он сначала массировал свои войска на левом фланге и упорно повторял атаки там. Затем, заметив, что турки сосредоточили свои силы против нашего левого фланга, он внезапно переменой фронта перешел в наступление с правого. Таким образом, турки были не только обмануты, но обнажили и обессилили ключ своих позиций. Без этого блестящего хода игра этого дела, пожалуй, не могла бы быть выиграна, и турецкой армии не был бы дан этот последний и решительный шах и мат. После блистательных атак Скобелев выстроил перед Шейновом Владимирский полк и во главе его уже сам хотел нанести туркам решительный удар в их центр.

— Ну, братцы, за мной теперь. Ваши товарищи честно сделали свое дело,— кончим и мы как следует.

— Постараемся...

— Смотрите же... Идти стройно... Турки почти уже разбиты... Благословясь, с Богом!

Солдаты сняли шапки, перекрестились. Оркестр заиграл марш, и под звуки его стройно двинулась атака. Настроение солдат было действительно восторженное. Шли смело, блестяще, отсталых не было...

Не успели мы доехать до леса, как навстречу нам стремглав скачет ординарец Скобелева — Харанов, без папахи, и издали еще машет рукой. А подъехал — говорить не может от усталости.

— Ваше-ство....турки подняли... белый флаг...

— Как, где?.. Не может быть, так скоро... Ну, господа, за мной скорее.

XXVIII

Я до сих пор не могу забыть этого безумного, радостного чувства победы. Несешься вперед, дышишь полной грудью, и все-таки кажется, что воздуха и простора мало... Скобелев рвет шпорами бока своему коню... Конь стрелой мчится вперед, а генералу все кажется медленно. Ветви ему хлещут в лицо... Не чувствуешь даже, как позади остаются ручьи и овраги. В одном месте брызнуло водой — даже и не моргнули... Вперед и вперед... Из рядов несется радостное торжествующее «ура» владимирцев, бегом следующих за генералом... Не замечаешь трупов, разбросанных по сторонам. Уже потом, анализируя пережитые ощущения, смутно припоминаешь, что чуть не из-под копыт коня подымались какие-то люди с простреленными грудями, с окровавленными головами, протягивали к тебе руки... Приходят на память другие, схватившиеся друг с другом, да в момент смерти так и закостеневшие... А там, в горах, еще не знают... Там еще идет бойня, люди падают, умирают, мучаются, дерутся...

— Вся ли армия сдается? — голос Скобелева стал каким-то хриплым.

— Таборов десять бежало.

— Харанов! Стремглав сейчас же к Дохтурову... Слышите... Пусть кавалерия вдогонку... Чтобы ни один человек не ушел у меня... Поняли?

И еще глубже шпоры вонзаются в белую кожу коня, и еще бешенее мчит он генерала вперед и вперед.

— Имею честь поздравить, ваше-ство! — насккивает какой-то офицер.

— С чем?

— Казачий полк номер один под начальством самого Дохтурова обскакал бегущих турок с тылу, бросился в шашки, несколько сот положил на месте и взял в плен...

— Сколько? — нетерпеливо перебивает генерал.

— Шесть тысяч человек.

— Спасибо... Счастливый день...

Впереди — депутация нам навстречу. Доктор и санитары со знаками красной луны. Высоко над головами держат они большие листы бумаги — женевские свидетельства. Около наши солдаты толпятся.

— Пусть убирают своих и чужих раненых... Обещать полную безопасность... Солдаты! Это не пленные, слышите?

— Слышим, ваше-ство!

— Это свободные люди... Доктора! Они будут помогать и нашим, и туркам. Поняли?.. Они — друзья наши... Смотрите же у меня, не обижать!

И опять безумная скачка вперед... Тут уже груды трупов... Массы раненых... Опушка — громадная долина... Мы останавливаем коней...

...Вспоминаешь ли ты, ты, недвижно лежащий теперь под этим парчовым покровом, ты, сомкнувший зоркие очи свои, эту минуту счастливого торжества, когда так легко дышалось тебе, когда, казалось, весь простор перед тобою был тесен для твоего счастья... Где твоя сила, где эта мысль, быстрая как молния и могучая, как она?.. Хотелось взять его за плечи... Крикнуть прямо в это мертвое лицо... Победа, генерал, победа!.. Но, увы!.. Он уже не шевельнется на знакомый привет, и восторженное «ура» торжествующих полков уже не способно зажечь этот тусклый, из-под опущенных ресниц, едва-едва светящийся взгляд...

Душно... Душно... Тоска давит, плакать хочется над тобою... Кто уложил тебя так рано, тебя, перед которым в бесконечную даль уходили подвиги, торжества... Тебя, венчанного славою, тебя, так рано узнавшего ее тернии...

Хороша была эта долина, рядом у опушки оставленного позади леса, открывшаяся перед нами... Вон налево руины Шипки под грозными массами крутых отсюда и резко очерченных Балкан... Вон внизу на холмах целый фронт редутов... Из-за их брустверов видны солдаты, тускло мерещутся штыки... Но это солдаты наши и штыки наши. В других еще стоят красноголовые турки, но уже молча, сложив свои ружья... Залпы только гремят еще на вершинах шипкинского перевала.

— Где же белый флаг? — нетерпеливо спрашивает Скобелев.

— Правее.

Там за рекой — правильные колонны каких-то войск... Там еще туман. Не разобрать в его желтоватом освещении, свои или чужие...

— Была не была, едем! — И Скобелев решительно дает шпоры коню.

Вода ручья брызжет из-под копыт лошадей прямо в лицо нам... С того берега гремит «ура» — наши!..

— Где же белый флаг? — кидает им с ветру, с бегу Скобелев.

— Позади, ваше-ство!

Мы проскакали мимо.. Опять бешеный карьер... Вот редут, сплошь наваленный мертвыми и ранеными... Вон большой холм, точно сахарная голова. Снизу вверх спираль траншеи... Не видать земли, все усыпано красными фесками.. Ярko, пестро С верхушки во все стороны грозно смотрят крупновские орудия, выше их еще медленно разворачиваются и полощутся в воздухе два белых флага.

— Мерзавцы! — срывается с губ у Скобелева.

— Кто мерзавцы?..— удивляюсь я.

— Разве можно было сдать такую позицию...

— Да и защищать нельзя... Обошли кругом...

— Защищать нельзя.. Дратся можно, умереть должно!..

Как будто из тумана выдвигается фигура какого-то офицера... Он подносит Скобелеву саблю пленного паши...

— Кто командует?..

— Вейсиль-паша.

— А Эйюб?

— Эйюба давно нет

— Как он сдался?

— Без всяких условий... На милость победителя.

— На милость?..

— Точно так.

— Возвратить сабли пленным, свято сохранить их имущество, чтобы ни одной крохи у них не пропало... Предупредите, за грабеж буду расстреливать!..

Навстречу кавалькада... Только не наши... Совсем не наши... И кепи чужие и мундиры не те, к которым уже привык взгляд.

Впереди Вейсиль. Мясистое лицо с низко нависшими бровями. Суровое, некрасивое.

Скобелев подает ему руку и говорит несколько приветливых слов.

Турки мрачны. Им тяжело, невыносимо тяжело.

— Сегодня гибнет Турция, такова воля Аллаха! Мы сделали все.

— Вы дрались славно, браво.. Переведите им, что такие противники делают честь... Они храбрые солдаты.

Им переводят...

— А все-таки мерзавцы, что сдали такие позиции! — заканчивает он про себя.

Отовсюду восторженные крики... Отовсюду стихийное «ура»... Лица солдат возбуждены, лучезарны.

— Спасибо, друзья, спасибо, товарищи... Спасибо, мои орлы! — кричит им Скобелев в свою очередь.

— ...Сколько у них было людей и пушек? — спрашивает он, кивая на пленных. Тем переводят.

— Тридцать пять тысяч войска и сто тринадцать орудий!

— И сдались!.. Хороши генералы...

Турки, сходя с редута, окружали нас сплошной стеною... В их массах слышалось: «Ак-паша, Ак-паша»... Все они нетерпеливо пробивались взглянуть на Скобелева.

— Что они говорят? — обернулся Скобелев к переводчику.

— Говорят, немудрено, если их победили, русскими командовал Ак-паша, а с Ак-пашой драться нельзя...

Наверху еще шел бой... Скобелев слушал-слушал и вспыхнул.

— Передайте паше: если через два часа турки в селении Шипка и на высотах не положат оружие, я их буду штурмовать и никому пощады!..

— Они сейчас же сдадутся... — струхнул Вейсиль...

Издали слышалась музыка: развернутый, под распущенными знаменами, стройно подходил Владимирский полк.

— Сейчас, сейчас...

— Я хочу им сам отдать приказание положить оружие... Господа, останьтесь здесь... Передайте туркам, что я сам еду с ними...

И Скобелев поехал, со всех сторон окруженный вооруженными турками...

Двое или трое следовало за ним из русских.

— Однако наше положение странно!..

— Ну, вот еще!..

— Да как бы вы поступили на месте турок? — спрашиваю я.

Скобелев расхохотался.

— Во-первых, на их месте я бы не был...

— Ну, а если бы?

— Разумеется... Сейчас бы в шашки...

Впоследствии под Геок-Тепе он сделал еще лучше. После штурма и взятия этой крепости Скобелев едет в еще не

сдавшийся Асхабат. Ему навстречу — семьсот текинцев в полном вооружении, в праздничных костюмах — цвет текинского войска...

Скобелев обратился к ним с какими-то укорами... Они изъявили свою покорность...

— А если вы попыбуете восстать, то я вас накажу примерно...

— Текинцы никогда не лгут!..

— Если так, то, господа, не угодно ли вам ехать обратно... Передайте текинцам, что они составят мой конвой...

И совершилось небывалое. Генерал один, окруженный семьястами отчаянных врагов, верхом поехал в Асхабат. Двадцать верст они сопровождали его...

И разумеется, ни его прежние победы, ни страх его имени не могли ему создать такой популярности между ними, как эта поездка...

С той минуты он стал кумиром уже всего племени *текке*

XXIX

Какая разница с Плевно. Там пленные долго оставались не накормленными. Им пришлось жить на открытом воздухе, в грязи и снегах болгарской зимы. Здесь все было сделано, чтобы смягчить участь несчастных. Они ели вместе с нашими солдатами у котлов; накануне еще Скобелев отдал приказание:

— Заготовить в солдатских котлах двойной запас пищи.

Через три часа по сдаче турки уже получили ее, ночью они спали в землянках и редутах, а утром под конвоем болгарского ополчения их отправили дальше, в Габрово.

— Горе узнали мы потом, у Ак-паши горя не было! — говорили они.

Солдаты, усталые от боя, не ложась спать, готовили кашу туркам, наши офицеры разобрали турецких к себе и оказали им широкое гостеприимство, паши приютились у генералов. На Шипке не умер ни один пленный, в Плевне они умирали сотнями.

— Если хоть десятая доля такой заботливости встретит нас в России — наши семьи могут быть спокойны! — говорили они.

— Смотрите, ребята, турки теперь друзья вам! — говорил Скобелев солдатам.

— Слушаем, ваше-ство! — отвечали они.

— Нет большего позора, чем бить лежачего... А они теперь несчастные, лежащие... Так ведь?

— Точно так, ваше-ство!

— Пока у них были ружья в руках — их следовало истреблять; раз они безоружны, никто не смей их пальцем тронуть... Оскорблять пленного стыдно боевому солдату...

И действительно, отношение скобелевских солдат к ним было искренно и задушевно.

Через день после боя вдоль Балкан, в долине Казанлыка, в две шеренги выстроились легендарные солдаты легендарнейшего из вождей... Одушевленный, счастливый, сняв шапку, мчался мимо них Скобелев.

— Именем отечества благодарю вас, братцы!.. — бросал он им свой привет.

— Ур-ра! — звучало вслед ему, и фуражки летели в воздух, и в глазах этих новых легионеров русского цезаря было столько любви и преданности, что у Скобелева долго потом наворачивались слезы на глазах.

(Этот момент талантливый В. В. Верещагин выбрал для своей картины...)

Потом уже в Казанлыке я встретил Скобелева.

Он был мрачен... Интриги опять начались кругом, но это уже достояние истории. Теперь пока я молчу о них... Пусть нечистая совесть его врагов при жизни и его друзей после смерти сама заговорит. Более беспощадной Немезиды нет и не будет.

— Разумеется, вы с нами? — обратился ко мне Скобелев.

— Да...

— Завтра я выступаю в Адрианополь...

— Разве отряд ваш отдохнул?

— Я сегодня объехал свои войска: спрашиваю, нужен ли вам отдых, братцы... хотите ли вы дать туркам время оправиться?.. Никак нет, ответили они... Ну и поведу их... У них есть свой *point d'honneur* *...

— Именно?

— Им хочется раньше гвардии прийти... Куда прийти, не знают, потому что о существовании Адрианополя они узнали только теперь.. Думают, что в Константинополь веду их...

* Вопрос чести. (Ред.)

— Да ведь в Константинополь мы и идем.

Скобелев вспыхнул.

— Да разве иначе можно?... Иначе нельзя... Нужно дать России это удовлетворение... Мы можем остановиться только на Босфоре.

И остановились потом на Босфоре, только не дойдя до Стамбула!

В Казанлыке Скобелеву не было ни минуты отдыха, да во время отдыха он и сам никуда не ходил, становился нестерпимо капризен, всем недоволен... Это была деятельная, боевая натура, которую спокойствие утомляло гораздо более, чем самая кипучая, самая безотходная работа... Если не было дела, он выдумывал его... Любимою в то время поговоркою его было: «Россия не ждет, отдыхать некогда, отдых — в могиле...» И действительно, он нашел свой отдых только под парчовым покровом, доставленным в отель Дюссо из Заиконоспасского монастыря. Он боялся отдыха...

— Ничто так не возвращает, как спокойствие, ничто так не обессиливает, как отдых.

Борьба была для него необходимостью, жизнью... Я думаю, все помнят, что он делал в редкие антракты между двумя походами, сражениями. Другие, высунув язык, падают, бывало, от усталости, а он сядет в седло да отмахнет на подставных лошадях карьером верст сто двадцать. Это у него называлось отдыхом. Вернется, обольется водой, проспит несколько часов — и опять свеж, опять готов на трудное предприятие... Или отправится куда-нибудь к офицерам своего отряда и вместе с ними и солдатами проводит целые дни. Для него в это время не было более задушевного общества. Кружок главных квартир тяготил его. Там не свое. Там он или спорил, резко, бесцеремонно обрывая фазанов, или угрюмо, сосредоточенно молчал. Отводил душу только попадая к отцу. Тут или он трунил над ним, или старик прохаживался насчет сына...

— Ну что, хвост-то тебе обрубили наконец? — спрашивал отец, когда молодой Скобелев возвращался от Непокойчицкого.

— Нет.

— Жаль!

— Почему это жаль?

— А потому, что уж очень ты распустил его...

— Ты вот что... Денег не даешь, а смеяться смеешься...

— И не дам.

— Подожду я, отец, когда тебя отдадут мне под команду.

— Ну?

— Тогда я тебя за непочтительность под арест посажу... И оба смеются...

Когда на Зеленых горах Скобелева в ночь на 8 ноября контузили, приезжает к нему отец, — Скобелев лежал в постели, больной совсем.

— Ну наткнулся, наконец.. И чего суешься... чего суешься... — начал выговаривать старик.

— А все твой полушубок...

— Как это мой?

— Так, твой...

Скобелев был очень суеверен. Накануне отец ему подарил черный теплый полушубок, в котором его контузили тотчас же. Через два дня он опять надел его — его контузили опять.

— Возьми, пожалуйста, свой полушубок... Ты дай мне лучше деньгами...

— Неужели ты веришь, что тебе полушубок этот принес несчастье?..

В Казанлыке отцу Скобелева дали отдельный отряд...

— Ну отчего, отец, ты ко мне вчера не явился?

— Как это? — удивился тот.

— Как являются к начальству, в полной парадной форме..

— Да ведь я не к тебе под начальство.

— Жаль!..

— Почему это?

— По всей справедливости следовало бы.

Поздно ночью в Казанлыке возвращаюсь я к себе домой верхом. Ни зги не видно. Навстречу мне другой всадник. Улочка узенькая.

— Эй, кто там? — кричу я... — Держи правей...

— Это вы? — называет меня по имени Скобелев.

Я тоже сейчас узнал его по голосу.

— Куда вы? — интересуюсь.

— А тут в одну деревню.

— Зачем?

— Попаду к рассвету... Хочу узнать, как моих солдат кормят теперь; как начнут варить им похлебку и кашу, я уж там буду.. Ненароком. Поедем вместе.

И мы отправились.

Чем дальше, тем его заботливость о солдате все больше и больше росла. Он сердцем болел за него. И всякая

несправедливость, нанесенная солдату, живо чувствовалась им, точно эта обида направлена была именно на него одного. Он бледнел, когда при нем рассказывалось о том, как в такой-то дивизии солдаты голодают, как в другой их секут, как в третьей их изводят на бесполезной муштре...

XXX

Переход Скобелева от Казанлыка к Адрианополю навсегда останется в военной истории. Никогда еще не случалось пехоте совершать с такою быстротою походы, которые едва ли под силу и кавалерии. Масса силы воли и энергии, обнаруженная при этом случае генералом, едва ли привела бы к подобным результатам, если бы дивизия его не получила такого блестящего военного воспитания. Отдыхать ей совсем не пришлось. 28 декабря была взята в плен армия Вейсиль-паши после утомительного перехода от Плевны к Габрову, трехдневного мучительного пути по Балканам и упорного сражения в долине Казанлыка. А 1 января — авангард скобелевского отряда уже выступил из этого города к малым Балканам. Все это движение со дня падения Плевны носит какой-то головокружительный характер. Мы точно хотели вознаградить себя за долгие стоянки перед армией Османа. Главная квартира Великого князя помещается чуть не на аванпостах, наши войска частью с запада, частью с севера беспримерными переходами стремятся поскорее стать у ворот Константинополя...

— Вот такой поход по мне, это я понимаю! — говорил Скобелев. — Еще несколько дней подобного перехода, и нас никто не остановит. Мы докатимся до Босфора.

По всему этому пути то с боя брали турецкие позиции, мосты, железнодорожные станции, то занимали новые города, поспешно очищавшиеся турками. Кавалерийские отряды, стараясь осветить местность, уходили как можно дальше вперед, но, к крайнему удивлению их, вечером густые массы пехоты настигали всадников и располагались на ночлег в одних и тех же пунктах с ними. Одушевленные недавними победами войска скобелевского отряда делали чудеса. Михаил Дмитриевич, которого трудно было удивить чем-нибудь, рассказывал о них с восторгом.

— Чего нельзя сделать с такими солдатами! Помилуйте, тырновский мост адрианопольской железной дороги один

эскадрон нашей кавалерии атаковал так стремительно, что четыреста пехотинцев турецких не выдержали и отступили... Вообще, напрасно думают, что кавалерия бессильна относительно пехоты... У меня на этот счет свои взгляды. Я в эту войну присмотрелся к способу действий кавалерии. В мирное время займусь ее маневрами и в первую большую европейскую кампанию покажу, что может сделать с пехотою конница, хорошо приспособленная и умеющая пользоваться местностью. Говорят, что у нас кавалерии нет... Оно, если хотите, правда. Где же будет настоящая кавалерия, если все в ней сводится к тому, чтобы лошадь была в теле, подобрана как следует... Тут парад убивает дело... Но уже и теперь я знаю полки совсем иначе действующие. Дохтуров, вот, понимает, что нужно делать.

Кавалерия на этот раз действительно показала себя. Она брала стремительной атакой уже горевшие мосты. Обскакивала отступавших турок... Становилась впереди их обозов. Отхватывала целые поезда с вагонами и локомотивами. Как только начиналось дело и на нее наседали турецкая пехота — откуда ни возьмись являлись скобелевцы и поддерживали своих. Часто кавалерия врывалась в города, еще занятые турецкой пехотой, и не отступала от превосходных сил ее, а держалась, зная, что через час, через два по пятам ее явятся свои и дело будет выиграно... Изумительные переходы этого периода прошлой войны, я думаю, до сих пор памятны и солдатам, и офицерам. Случалось, сделают тридцать — сорок верст и только что расположатся на отдых, как их опять двигают дальше. И при каких условиях совершал Скобелев этот поход. По пояс в грязи, под холодным дождем, в насквозь измокших шинелях. По пути то и дело встречались наполненные жидкою слякотью ямы и ухабы... Лошади отказывались служить, а люди все шли да шли, исполняя и за измученных коней трудную работу. Делая шестидесятиверстные переходы в день, сверх того еще тащили пушки... Один полк, например, только что добрался до Хаскиоя, только что было расположился на отдых, как вдруг — назад в Германлы. Вернулись в Германлы, провели часть ночи. Нужна была дневка, чтобы восстановить упавшие силы, как вдруг выезжает сам Скобелев.

— Поздравляю, братцы, с походом в Адрианополь...

Ни с одним другим генералом солдаты не сделали бы подобного... С ним мрачные, сосредоточенные, усталые, но шли и шли... Когда уж слишком было трудно, тогда сходил с коня Скобелев, вмещивался в ряды... Раз после

семидесятиверстного перехода силы у людей окончательно упали, а впереди явились сведения о движении таборов египетского принца Гассана. Скобелев подъехал к людям.

— Голубчики... Напоследок... Неужели же у самого Адрианополя да мы осраимся...

Поднялись солдаты... Пошли... Ноги отказывают, едва-едва бредут.

— Товарищи... Ну-ка, еще переход, вечером кашей накормлю...

И солдаты, смеясь, пошли так быстро, что не только нагнали Гассана, но еще отрезали у него хвост, т. е. захватили громадные обозы и сто верблюдов... Впоследствии они все были у Скобелева в дивизии.

— Это наши верблюды... Походные... Она животная добрая, настоящая солдатская скотина...— хвалили они верблюдов.

Одно, о чем заботился по всему этому пути Скобелев, чтобы солдаты у него были постоянно накормлены. Всюду: на походе, в бою, в пустынном безлюдье и только что занятом городе — одинаково — горячая пища являлась в свое время и люди ели до отвала.

— С ними все можно сделать, нужно уметь.

— Отчего же другим не удавалось делать такие переходы?

— Видите ли, душенька (любимое слово Скобелева), нужно, чтобы генерал пользовался громадным авторитетом у солдат, чтобы они его любили... Тогда сделаем все. А то и другое приобретается не сразу... И не даром. Раз это есть, и в самом, сверх того, энергия ключом бьет — бояться нечего. Чудеса сделать можно... Понимаете, чудеса... Разве не чудо — сравнять пехоту с кавалерией. Никуда у меня кавалерия уйти не могла, чтобы ее полки мои не нагнали... А это для меня — практика...

— Для чего?

— А для того, чтобы в большой европейской войне неожиданно сосредоточивать и массировать войска в самых немыслимых пунктах. Если придется нам схватиться с немцами, я всегда постараюсь против одной их дивизии поставить своих две. А для этого нужно приучить солдата к неустойчивости... Ни расстояние, ни погода не должны его пугать... В этом залог успеха...

Когда отдыхал и спал Скобелев во время этого сказочного похода — неизвестно... Силы его отряда во всяком случае были так незначительны, что помимо этих громад-

ных переходов солдатам, останавливавшимся на ночлег, приходилось еще окапываться...

— Чего же торопиться так? Три дня не сделали бы разницы, — спрашивали его.

— Как?.. По другую сторону Марицы, параллельно с нами, шли таборы Абдул-Керим-паши... Адрианополь являлся, таким образом, призом, который достанется быстрейшему. Явятся они раньше — засядут в адрианопольские форты, и тогда прощай надежда на скорое окончание войны!.. Тут расседлать коней некогда.

Движение это было столь быстро, что, воображавшие встретить русских только в Казанлыке, Сервер и Намык паши пришли в ужас, встречая массы беглецов по дороге.

— Где москов? — спрашивали они.

— Москов близко!..

Наконец, в шестидесяти верстах за Адрианополем Намык и Сервер, пораженные, наткнулись на аванпосты Скобелева.

— Чей отряд? — спросили у своих.

— Ак-паши!

До того это было неожиданно и так потрясло старика Намыка, что он зарыдал, откинувшись в глубь кареты... Через час к ним подъехал почетный конвой от Скобелева. Генерал принял их у себя.

— Не хотят ли паши отдохнуть и переночевать здесь? — обратился он к ним.

— Нет, нет... Ни за что!

— Почему же?

— Если мы остановимся на ночь, то вы будете уже за Адрианополем. А когда мы доедем до главной квартиры — то вы и к Стамбулу подойдете!

И действительно, не успели паши добраться до главной квартиры, не успели выслушать условий перемирия, первым пунктом которого была сдача Адрианополя, не успели они еще расположиться на отдых, как их разбудил, кажется, полковник Орлов.

— Что такое? — всполошились те.

— Великий князь, главнокомандующий, приказал сообщить вам, что уступка Адрианополя больше уже не требуется...

— Что значит это?

— Сегодня утром Скобелев уже занял Адрианополь.

— Этого не может быть. В Эдирне, верно, уже Сулейман...

— Сулейман разбит и бежал в горы.

Скобелев торжественно вступил в Адрианополь. Массы народа высыпали ему навстречу. Цветы и венки летели под ноги его коня. Болгарки, осиротевшие после казненных и убитых отцов, мужей и братьев, прорывались к нему, целовали ему руки и ноги, тысячи благословений слышалось кругом... У самого города генерал обратился к своим войскам:

— Я надеюсь, братцы, что вы не опозорите себя здесь самоуправством. Нас принимают как друзей, и мы должны себя держать как друзья. Не смей ничего и никого трогать... Если найдутся между вами люди, способные красть и грабить, чему я не верю, не хочу верить, я без церемоний расстреляю их... Но я знаю, что этого не будет... Солдаты мои не способны на это!..

— Рады стараться, ваше-ство!

— Первое время вас поместят в дома, из которых, пока население не привыкнет к вам, не выходите...

И действительно, солдат первый день не видно было вовсе на улицах города.

Запертые лавки открылись, спрятанные товары появились на прилавках, торговля закипела вовсю. Население города благодарило войска за изумительный порядок, прислало солдатам всевозможных припасов. Через два дня, когда солдаты стали уже ходить по городу, их всюду принимали как друзей. В некоторых лавках отказывались принимать от них деньги. Солдаты насильно отдавали их.

— Бери, бери, нечего. Мы, брат, свои... Не говори потом, что братушко обидел тебя... У нас, брат, на это строго...

Две недели порядок в Адрианополе не нарушался вовсе... Ни одного грабежа, ни одной кражи, ни одной драки в городе... Ни разу и никто не явился с жалобой на солдат... «Нам и при турках не было так хорошо. Еще никогда торговле и промышленности так не покровительствовали в Эдирне!» — говорили адрианопольцы. Ушел Скобелев — город заняли другие отряды, и недавнее спокойствие сменилось совсем иным.

Это, впрочем, уже не входит в программу нашей книги...

— Спасибо, ребята, — говорил Скобелев своим полкам, оставляя Адрианополь. — От души спасибо. Вы высоко подняли честь русского солдата. Вы доказали, что мирному населению вы не враги, а друзья, что вы защита каждому, кто не идет на вас с оружием в руках... Спасибо вам, страшным в бою и добрым на отдыхе!..

— Ну, полдела кончено! — говорил он в Адрианополе. — Мои солдаты имеют полное право гордиться этим переходом от Казанлыка сюда... И главное, знаете почему?

— Быстротою и стремительностью?

— Этого мало. При быстроте и стремительности мы не растеряли солдат. У нас не было отсталых. Скажите, пожалуйста, встречали моих солдат или струковских кавалеристов позади?..

— Нет.

— Вот оно и есть... В таком походе и отсталых не было... Пришли в Адрианополь — больных не оказалось. Вот почему я и мои солдаты можем гордиться этим эпизодом... А теперь давай Бог поскорей добратся до Константинополя!

XXXI

Адрианополь, турецкое Эдирне, до сих пор мерещится нам какою-то далекой поэтической грезой... Это город изящных Джамий, венчанный, словно короной, мечетью Селима с ее четырьмя дивными минаретами. Это — мусульманская Москва, вторая столица султанов, полная для оттоманского народа воспоминаний о прежнем блеске и славе... Мы въезжали туда с понятным волнением. Скобелев там остановился в доме Амед-Юнус-бея — пустом, оставленном его жителями. Хозяин, известный предводитель башибузуков, один из ренегатов, бывший христианин, теперь озлобленный, ненавистный христианам турок, палач мирного населения, разумеется, не имел права рассчитывать на любезность русских. Зато дом его был идеалом восточного жилья. Не виданную до тех пор роскошь обнаруживал этот мусульманский палаццо с его переполненными тропическими растениями зимними садами, мраморными залами, поэтическими фонтанами, полными тишины и неги кельями гарема, зеркальными стенами и красивыми лестницами. Лепные и расписанные потолки смотрелись в кристальные воды внутренних бассейнов, тропические цветы, орошаемые алмазною пылью фонтанов, распространяли тонкое благоухание по широким залам... Скобелев выбрал тут самую простую комнату, в другой поместился его штаб. В Адрианополе отдыха было мало. С первого же дня делались поездки в окрестности, рекогносцировки к Чорлу и Гадем Киой. Сверх того, возня с консулами и администрацией

турецкого города тоже немало отнимала времени у Михаила Дмитриевича. Тут он в первый раз и совсем неожиданно для главной квартиры обнаружил свои административные способности. Короткий период его управления Адрианополем был замечателен в полном смысле слова. Потом, начиная от последнего мусульманского бейгуша и кончая банкирами и капиталистами Эдирне, все вздыхали о нем.

— При Ак-паше было гораздо лучше. Ак-паша не давал нас в обиду...

— Скобелев справедлив. Для него нет своих или чужих... При нем никаких недоразумений не случалось.

Здесь же Скобелеву пришлось расстаться с оригинальным ординарцем из турок. В шейновском бою он спас от смерти молодого турецкого офицера.

— Куда мне деться? — спросил тот.

— Пусть едет за мной!

Тот и остался при Скобелеве. Мы много смеялись, видя, с какою важностью турок следует всюду за генералом, не оставляя его ни на шаг. Потом оказалось, что он серьезно привязался к Михаилу Дмитриевичу. Он не отставал от него, как не отстает собака от господина, шел по пятам. В Казанлыке он был всюду, где был генерал. В конце концов, он стал передавать поручения туркам, собирать всевозможные справки... Сделался совсем ординарцем.

Стали было его расспрашивать о позициях турок в шейновском бою — отвечает охотно. Сам указывает, куда лучше идти, откуда удобнее атаковать.

— Вот патриотизм!.. — злился Скобелев. — А ведь храбрый офицер был... С превосходными солдатами и такими офицерами турецкая армия уйдет недалеко. Бросьте — не расспрашивайте его... Офицер не должен быть лазутчиком!.. А впрочем...

И Скобелев расхохотался, поймав себя на этой сентиментальности.

Тотчас же он чудесно воспользовался сведениями, сообщенными ему турком...

— Их нельзя судить с нашей точки зрения!

Тем не менее меня интересовал этот субъект. Я через переводчика по окончании боя обратился к нему с вопросом: как он может служить врагам своего отечества.

— Потому что это Ак-паша... А Ак-паше всякий служить поставит себе за честь... Таких генералов нет... И по Корану выходит то же.

— Вот те и на... Это же каким образом?

— Коран говорит: победителю повинуйся... Нет силы высшей, как сила меча.

В Адрианополе было полное убеждение, что Турции уже не будет, что все ее европейские провинции присоединяются к России. Когда Скобелев созвал к себе улемов, они ему ответили то же, что и ординарец из турок ответил мне.

— Мы обязаны повиноваться победителю! — говорили они.

— А если Адрианополь отдадим болгарам? — возразил Скобелев.

— Болгары нас не завоевали, и по Корану мы восстанем и истребим их... Нас завоевали русские силою меча, и только они имеют право быть нашими господами...

— И если они будут так же справедливы, как ты, — отозвался седой как лунь старик, — то мы благословим Аллаха, карающего нас... С русскими жить можно.

— Ничего не тронул, ни имущества нашего, ни наших жен. Когда армяне и греки вздумали было вместе с болгарами обидеть нас, воспользоваться нашим достоянием, ты вступился за турок, ты стал нам защитой... Пусть белый царь отдаст тебе в управление этот вилайет — мы ничего не хотим больше.

— Сами турки не верят, — говорил Скобелев, — что мы когда-нибудь вернем им Адрианополь... Неужели мы его не удержим за славянами... Этого не может быть...

Потом я встретил его на фортах Адрианополя. Адрианополь укреплен гениально, и если бы Сулейман, или Абдул Керим, или Вейсиль, отступая, заняли их, здесь бы выросла такая Плевна, что первая, остановившая нас на шесть месяцев, побледнела бы перед нею. Их всех — двадцать семь, и они расположены правильным фронтом вокруг города, на ружейный выстрел один от другого. Каждый полк, который двинулся бы в атаку, подвергнулся бы огню, по крайней мере, двух таких редутов. Они поразили Скобелева удивительными приспособлениями к местности... «Вот мастера-то...», «Вот гениальные инженеры!» — повторял он, осматривая их.

— Не так, как у нас!..

— Почему?

— А потому, русский инженер начнет строить, вперед можно звать — по книжке выстроит... Как в книжке, так и у него... А тут и форму, и расположение форта определяет не книжка, а местность.

И действительно, мы видели здесь и четырехугольные, и овальные, и вытянувшиеся длинною волнистою линией.

Везде чистота и изящество работы было удивительное. Всюду каменные траверсы, рассчитанные так, что откуда бы ни был огонь, ни орудия, ни склады, ни люди не подверглись бы малейшей опасности... Из каждой амбразуры открывался обстрел дороги, лощины, гор. Амбразуры были прорезаны так, что полоса обстрела могла быть определяема произвольно. Насыпи башенных редутов были сделаны в совершенстве.

— Лучше нельзя... Лучше нельзя...— повторял Скобелев.— Посмотрите, у них каждый форт имеет свою физиономию. Нет рутинных утвержденных чертежей. Простор частной инициативы талантливых инженеров полный!.. Посмотрите-ка на номер пятый... Он вытянут извилиной по узкому гребню горы... С одной стороны он обстреливает Марицу и ее берега, с другой — все эти оставленные и разоренные деревушки. Каждая извилина его даст новое направление огню...*

— ...Как можно сдать такие позиции...— злился Скобелев.— Знаете... Досадно, что Сулейман не занял их...

— Вот-те и на...

— Вы меня не поняли... Я рад... Но инстинкты военного — совсем иное... У меня сейчас же вот явилось желание взять их боем... Какая слава!. Взять штурмом такой редут — не то что плевненский...

И воодушевившись, он начал уже располагать войска, указывать пункты, откуда бы он начал атаку, подступы, по которым бы повел ее, овраг, который бы дал ему возможность укрыть резервы и предпринять обходные движения..

— Они воображают, что этого редута нельзя разгромить артиллерийским огнем... А я бы вон там поставил дальнобойную батарею... Отсюда бы мог подходить тихою сапой... Рылся бы, рылся... Нос к носу стал, а там — первая удобная ночь — « ура » и в штыки...

И план за планом так и посыпались у Скобелева.

Ничего, ни малейшей неровности местности, ни малейшего пригорка не упускал его зоркий, орлиный взгляд. Невозможное действительно становилось возможным и недоступное доступным.

— Верьте мне, при хороших войсках и опытных генералах и офицерах нет неприступных крепостей... Гибралтар можно взять, не то что эти форты... Разумеется, если уве-

* Я хорошо помню все подлинные выражения Скобелева, потому что тогда же внес их в свой «дневник корреспондента».

рить себя, что этого вот нельзя — так и ум утратит силу... Прежде всего нужно иметь дерзость при знаниях и таланте, а остальное все приложится... Расчет и дерзость. Массу войска, превосходное вооружение, чудесную артиллерию... Вон, видите, лощина...

— Вижу.

— Вот этой лощиной я бы в тыл к ним пробрался и стал хозяйничать... Еще раз повторяю: нет неприступных позиций... Решительно нет. Бывают позиции, которые требуют слишком много жертв, так что овчинка не будет стоить выделки. Это верно. Но если уже говорить о принципе, так всякую позицию взять можно... При современном состоянии вооружения Измаил был совсем неприступен, а расчесал же Суворов турок и взял крепость!

XXXII

Из Адрианополя Скобелев двинулся на Чатальджу.

— Если это этап, дневка, я готов помириться, но если после придется остановиться, не дойдя до Византии, то готов извериться во всем. Посмотрите, что это за чудная страна! Со времен Олега русские стремились сюда... Неужели же мы остановимся у цели?

И действительно, чудную страну проходили мы.

Стоял еще январь, а уже безоблачные голубые небеса благоговейною тишиной веяли на еще не проснувшуюся землю.

Сады и рощи стояли безлистные, но в воздухе уже изредка проносился тонкий аромат каких-то ранних цветов... Города и села поражали нас художественною пестротой. Тонкие минареты стройно рисовались в прозрачном воздухе, арки мечетей красиво изгибались над прохладными входами, за которыми густился загадочный мрак, едва-едва озаряемый маленькими лампочками турецких мечетей. Плоские кровли казались ступеньками каких-то чудовищных лестниц, разбегавшихся во все стороны. Ветер нес навстречу теплые волны иного, не нашего воздуха, нежного, ласкающего. По ночам откуда-то доносилась нервная, печальная, вздрагивающая песня мусульманского юга, и из-под низко опущенных покрывал порою женщины метали на нас то полные ненависти, то сверкавшие любопытством взгляды... Зеленые чалмы и халаты мулл, красные куртки албанцев, пестрые

накидки молодежи — все это сливалось в какой-то яркий, красивый калейдоскоп... По вечерам, когда утихал гомон многоязычной толпы, издали доносилось меланхолическое роптание фонтанов... Кристальные струи, выбегая из желобов, проделанных в мраморных, золотую вязью покрытых досках, падали в такие же мраморные водоемы. В одном месте, по пути, Скобелеву прислали букет неведомо как собранных цветов... Еще не пришла их пора, и таких в окрестностях не было.

— Откуда это?

— Благодарность... От турецких женщин...

— От каких турецких женщин? — изумился он.

— От женщин Казанлыка, Ески-Загры и Адрианополя.. За то, что честь их не была нарушена, за то, что неприкосновенность гаремов свято соблюдалась вашими войсками.

«Совершенно напрасно, русские ведь с женщинами не воюют!..»

Скобелев, далеко не равнодушный к прелестям природы, восхищался этими местами по-своему.

— Какие позиции! — восклицал он. — Вот где Турция должна была бы защищать свою неприкосновенность. Первая линия защиты — Дунай, вторая — Балканы, третья — малые Балканы и четвертая — здесь... Если бы у них было так организовано, долго еще война бы не кончилась..

По пути он вел упорные споры с окружающими по совершенно отвлеченным вопросам, скакал в карьер и злился на возможность того, что дальше Чатальджи мы не двинемся

Только что приехав в Чатальджу и получив приказание не двигаться дальше, он ночью с одним ординарцем отправился тайком на нейтральную полосу. Произвел рекогносцировку гадем-киойских позиций и всей местности, так что не удайся перемирие, найди турки войска, чтобы поставить их здесь, — Скобелев уже имел понятие о том, как отбить эти позиции, как вести атаку на них... В то самое время, когда, глубоко веруя в ненужность дальнейших военных действий, все успокоились, полковник Гродеков вместе с генералом сняли планы этой линии и изучили все ее детали...

После Адрианополя я уже мог любоваться только на Константинополь... На остальное не хотелось и смотреть. В памяти вставала все время чудная картина Эдирне, только каким я его видел в последнюю минуту, когда только что поднявшееся солнце облило розовым заревом своим мраморные мечети этой мусульманской Москвы... Точно окра-

шенные румянцем крови, висели над городом четыре грациозные минарета Селима... Вспоминались и серые силуэты башен Эски-Серая и развалины римской крепости... Тянуло опять назад...

Чатальджа в трех верстах от станции железной дороги. Отряд весь расположился кругом, в самом городе, дома тотчас же переполнились массой офицеров, штабов, канцелярий... Не прошло нескольких дней, предприимчивые греки и левантинцы открыли здесь бесчисленные кафе, еще немного погода — чуть не в каждой улочке закрасовались рестораны, а еще спустя немного из Царьграда налетела сюда международная саранча — девицы легкого поведения, немки, француженки, итальянки, армянки, гречанки... Войска, натерпевшиеся от невольного поста в Болгарии и на Балканах, стали отводить душу вовсю. Червонцы тратились щедрою рукою, вино лилось повсюду, от генерала до прапорщика — всем жилось весело... Как вдруг, словно гром грянул над отрядом, разнеслась весть о перемирии.

— Неужели мы не займем Константинополя!.. — взволновался Скобелев.

Ему говорили о возможности коалиции... Он повторял свое.

— Смелому счастье служит... Мы не можем отступать. Это вопрос нашей народной чести... Мы не можем опустить своего знамени; мы можем подписать самый великодушный мир (хотя великодушия я не понимаю), но подписать его в Византии!.. Не иначе. Это удовлетворение должно быть дано войскам. Следует занять Галлиполи, и ни одно английское судно не прорвется в Босфор... Теперь или никогда... Прав тот, кто владеет!.. Европа не подыметя. Она вся уйдет на брюзжание и дипломатические угрозы.

— А если?

— А если... Вернее, что она только отхватит себе тоже клочок медвежьего ушка...

«Это невозможно... Я не верю, не хочу верить этому... Неужели нам, триумфаторам, старые девы дипломатии и публичные женщины биржи будут предписывать условия... Не может, не должно этого быть... Иначе почти стыдно быть русским...

Будьте уверены, что проигрывают всегда малодушные и уступчивые...

Уступка эта крута. Начнешь сбегать — не остановишься, пока внизу не окажешься... А нам уступать теперь, после блестящего похода, после стольких пожертвований... Полноте!..»

Торжество перемирия здесь не было торжеством!. Ему не радовались. Не радовались покою, отдыху, безопасности... Здесь предпочли бы новые побоища, только чтобы дело было кончено с честью для России.

Демаркационная линия и нейтральная полоса, представлявшие собою совсем пустынную и безлюдную местность, тянули к себе Скобелева... Деревни на расстоянии этих пятнадцати верст были очищены. Ни одного часового, ни одного солдата на редутах и фортах, ни одной старухи в селах. Только одичавшие голодные псы прятались в оставленных домах. А между тем турки могли смело гордиться укреплениями этой полосы. Даже адрианопольские уступали им.

Скобелев приходил в восторг от них..

— Вот бы этого строителя к нам... Это гений инженерного искусства.

Я слышал, что потом в Константинополе Скобелев познакомился с ним. Это оказался природный турок, Ахмет-паша, толстый, опухший, по-видимому, неподвижный... Полуграмотный турок, не знавший ни одного иностранного языка..

Турки опередили в этом отношении даже европейское военное искусство. Они в последние два столетия вели только оборонительные войны. Было время научиться... С турецким Тотлебенем Скобелев сошелся отлично.. Тот даже показал ему укрепления Константинополя и планы, еще имевшиеся в проекте.

— Как это удалось вам?

— А я подпоил его! Он, как и все турки, не совсем равнодушен к шампанскому.

Главный из фортов этой полосы, имевший позицию Санджак-Тепе, был срисован самим Скобелевым..

— Знаете, этим ключом ничего не ототрешь.

— Почему?

— А потому, что добраться до него трудно, нужно взять пять больших фортов. А займем Санджак-Тепе, окажется, что этот ключ к замку не приходится вовсе, потому что за ним такие же ключи...

Скоро выяснилось, что приказание остановиться на пути к Константинополю и не идти далее было получено из Петербурга... Оно совсем не следовало из главной квартиры действующей армии. Потом его объясняли изменившимися политическими условиями.

— Жаль, что государя нет здесь при войсках!..— говорил Скобелев.

— Все равно. Дипломатия работала бы так же.

— Нет... Тут окружающая среда уравнивала бы влияние дипломатов... Им ведь все равно, дипломатам... У них своя наука, свои тайнства.. А у наших, сверх того, и отечества нет вовсе... Им главное, чтобы их считали не русскими варварами, а образованными европейцами. И ради этого они на все готовы... Вы их не знаете — я рос с ними. Все эти господа мои хорошие знакомые.. Для них Россия — ноль. Нет более эгоистической среды, как эта... Оно понятно — иностранное воспитание, вечно жизнь за границей.

— Да ведь и вы воспитывались за границей.

— У Жирарде, да!.. Но вы знаете, каково было мое воспитание? Не слышали?

— Нет.

— Сначала у меня воспитатель был немец, несправедливый, грубый, подлый... Положительно подлый. Я ненавидел его, как только можно ненавидеть... С тех пор уже немцы были мне не по душе. Потом как-то он ударил меня, тринадцатилетнего мальчика, при девочке, которая мне ужасно нравилась... Ударил без всякого повода с моей стороны. Я не помню, что я сделал... Вцепился в него и закостенел. А знаете ли, чему учил меня этот прохвост? Тому, что Германия для России все. Что все в России сделали немцы, что в будущем Россия или должна служить Германии, или погибнуть. Не было целого мира — была одна Германия.. И ненавидел же я ее, от души ненавидел!..

— Это издавна у вас развивалось.

— Да!.. А потом отец прогнал немца, которого приставили ко мне, чтобы дисциплинировать меня, и который только ожесточил меня... Меня послали к Жирарде... в Париж. Вот противоположность-то! Я до сих пор люблю Жирарде, больше чем родных моих. Этот, напротив, учил меня любить родину, внушал, что выше отечества нет ничего на свете, говорил, что как бы ни было унижено оно, нужно с гордостью носить его имя... Это был человек в полном смысле этого слова... В полном! После грубых ругательств и побоев я встретил мягкость, внимательность, деликатность. Мне если что и запрещали, то не с ветру, не потому, что так хотел воспитатель, а тотчас же объясняли, почему нельзя. Я с ним свет увидел... Я глубоко благодарен этому человеку. Он меня заставил учиться. Внушил любовь к науке, к знанию... Вот в Петербурге или в Париже я с ним познакомлю вас..

Увы, познакомиться с этим благородным воспитателем гениального вождя пришлось при иных условиях! Над изголовьем мертвого, над недвижным уже лицом Михаила Дмитриевича я увидел плачущего старика.

— Кто это? — спрашиваю.

— Жирарде! — отвечали мне...

И он пережил его... Он, больной старик — этого полного жизни и силы молодого человека!..

XXXIII

Нашу стоянку у Константинополя долго не забудут войска скобелевского отряда. Со дня на день ждали приказа двинуться и занять Царьград. Турки уже очищали там свои казармы для войск... Население готовило цветы и флаги, христиане подняли головы, на азиатском берегу Босфора отделявали дворец для султана...

Ночью по узким улицам Стамбула, низко опустив свои капюшоны, ходили патрули, потому что само оттоманское правительство хотело удержать народ от могущих быть при вступлении русских или ввиду его беспорядков. Даже нашим врагам казалась дикою мысль остановиться у ворот столицы и не занять ее, хотя на время... На берегах Босфора толпы солдат и офицеров стояли у пристани в ярком мареве чудного, сказочного города, сверкавшего впереди под полным тишины и неги безоблачным небом. У самых ног наших, с поэтическим шумом, разбивались голубые волны Мраморного моря. Белый маяк гордо высился из его пенистой массы... Дальше, в лазуревом просторе, сияли полные не виданной до того роскоши острова Принцевы, далеко-далеко за Мармарой чуть мерещился азиатский берег своими снеговыми вершинами. Можно было бы подумать, что это серебряные облака, если бы они не были так неподвижны... А прямо на север раскидывалась Византия с ее бесчисленными мечетями и дворцами. Та Византия, о которой так мучительно, словно задыхаясь на своем безграничном просторе, столько веков мечтала отыскивающая выхода к южному морю Россия, та Византия, к которой, правы или неправы, но постоянно стремились лучшие люди славянского мира. Мы различали и беломраморные стены ее киосков, и тонкие минареты ее бесчисленных джамий, и величавые купола Софии, Изеддина, Омара, Мурада, Баязида, вокруг которых легкими кружевами нависла резная из камня паутина...

Десятки тысяч кровель и башен всползали на ее холмы и терялись в темных пятнах кипарисовых рощ, в зеленых облаках садов.. Дивным сном каким-то казался этот Рим европейского востока, этот Рим славянства, за который пролилось так много слез и крови, так много, что, казалось, слейся вместе — они бы затопили его до самых верхушек мусульманских храмов, до самой башни Сераксериата и Галаты.. По ночам туда же обращались восторженные взгляды, мириады огней зажигались на этом берегу, точно какое-то легендарное чудовище лежало там у тихих, ласкающих волн Босфора, сторожа его своими бесчисленными пламенными очами.. Мы постоянно ездили в Константинополь. Военные надевали, разумеется, штатские платья, представляя что-то до такой степени нелепое, что при одном виде друг друга принимались неудержимо хохотать... Я уже жил в Grande Hôtel de Luxembourg *.. Раз утром я еще был в постели, как кто-то постучал ко мне

— Войдите!

Смотрю, Скобелев в штатском платье.

— Вот каким образом русские генералы должны появляться в завоеванном городе... Я, знаете, все-таки не верю... Мне кажется, что даже наша дипломатия, наконец, опомнится... Я со дня на день жду приказа вступить в Константинополь...

— Говорят, наши войска не готовы.

— Не знаю, чьи это наши. У меня под ружьем сорок тысяч. Я через три часа могу быть здесь... Позор, стыд!..

Как это ни странно, могу засвидетельствовать, что я в Святом Георгии (около Византии) видел, как Скобелев разрыдался, говоря о Константинополе, о том, что мы бесплодно теряем время и результаты целой войны, не занимая его.

— Теперь уже нельзя занять, после мира...

— Какой это мир!. Разве такого мы вправе были ждать... Вы увидите, что ценою нашей крови мы дадим все врагам России и ничего не получим сами... Наконец, чего они стесняются? Я прямо предложил Великому князю: самовольно со своим отрядом занять Константинополь, а на другой день пусть меня предадут суду и расстреляют, лишь бы не отдавали его... Я хотел это сделать, не предупреждая, но почему знать, какие виды и предположения есть. Может быть, это и так сбудется!..

* Отеле «Люксембург» (Ред.)

Действительно, когда даже турки вокруг Константинополя возвели массы новых укреплений, Скобелев несколько раз делал примерные атаки и маневры, занимал эти укрепления, показывая полную возможность овладеть ими без больших потерь. Раз таким образом он ворвался и занял ключ неприятельских позиций, с которых смотрели на него аскеры, ничего не предпринимавшие. Порою Скобелев тогда живее других чувствовал всю нелепость нашего великодушия или трусости, называйте как хотите, живее потому, что лучше всех понимал, что действительную силу на всякого рода конгрессах нам может дать только обладание Константинополем.

— Я бы созвал сюда конгресс и сам бы председательствовал на нем. А вокруг триста тысяч штыков на всякий случай... Тогда бы и разговаривать можно!

— А если бы Европа пошла против нас?

— Бывают в истории моменты, когда нельзя, даже преступно быть благоразумным, то есть слишком осторожным. Наша честь не позволяет нам отступить. Нужно еще несколько столетий ждать, чтобы обстоятельства сложились так же выгодно, как теперь... Вы думаете, бульдоги полезут воевать с нами... Никогда. Они разве что сорвут куртаж в виде клочка Сирии... Да, наконец, теперь и рассуждать некогда. Мы здесь — это наше... И защищать это свое мы должны до последней капли крови...

— Вы же не думаете, чтобы теперь же Константинополь сделался русским городом.

— Я не дипломат... Я не знаю, почему бы ему не быть вольным городом с русским гарнизоном... А относительно коалиции — не так легко ее составить, как вы думаете. Во-первых, некому пока и невыгодно воевать с нами... Разумеется, если мы станем малодушничать, так до коалиции доплетемся. А пока я не вижу ее необходимости... Представьте, что бы сказала Европа, если бы ввиду ее требований, оскорбительных для нашей народной чести, государь обратился бы к своему народу...

— То есть как?

— А так... Созвал бы своих людей да и сказал: довел я русское дело до конца, теперь вся Европа на нас ополчается. Отдаю дело в ваши руки... Какой бы взрыв патриотизма последовал, какие бы невиданные силы явились... И не отступились ли бы сентиментальные девы европейской дипломатии от нашей народной воли, от нашей всенародной защиты своего противу всяких покушений...

Говоря, что он не дипломат, Скобелев был очень скромн. В Константинополе он так сумел сойтись с Лейярдом, что неведомо какими путями, но знал всю подноготную английских расчетов, надежд и происков. Лейярд — этот враг наш по преимуществу, души не чаял в Скобелеве, английская колония Константинополя носила его чуть не на руках... Он был кумиром даже женщин, принадлежащих к этой колонии. Они все были за него...

— Я должна сказать откровенно, что ненавижу русских! — встретила его одна из них, когда Скобелева познакомили с нею.

— А я в красавице вижу только красавицу... И преклоняясь перед нею, не думаю, к какой нации она принадлежит... — ответил ей Скобелев.

На завтраках у Скайлера, на обедах у Лейярда Скобелев познакомился с англичанами и вывел одно:

— Они сами боятся, они сами не готовы к войне вовсе.. Они, как азартные игроки, будут решительны, но только до решительного момента... Когда он настанет, они *на все* не пойдут...

В этот день, когда он посетил меня в Константинополе, он был особенно взволнован.

— Нам остается одно, — говорил он. — Или перейти в разряд второстепенных держав и потерять все свое значение, или же пойти на все... Иногда поражение не бывает так пагубно, так ужасно, как сознание своего унижения, своего бессилия.. Вы знаете, если мы теперь отступимся, если постыдно сыграем роль вассала перед Европой, то эта победоносная в сущности война гораздо более сильный удар нанесет нам, чем Севастополь... Севастополь разбудил нас... 1878 год заставит заснуть... А раз заснув, когда мы проснемся, знает один аллах, да и тот никому не скажет...

— ..Скверно, скверно. Под Плевной лучше себя чувствовал я, чем теперь... Душно, выйдемте на улицу... Пойдем завтракать к Мак-Гахану.

Я оделся, мы вышли...

Не успели мы сделать несколько шагов по Grande rue de Pera*, как навстречу нам — что-то совсем необычное по платью. Красная феска на голове, разорванный офицерский сюртук русский, сверху офицерское турецкое пальто. Скобелев даже забыл, что он представляет собою в данный момент мирного штатского.

* Проспекту Пера. (Ред.)

— Это что, кто вы такой?..

— Пленный... русский.

— Не стыдно ли вам так одеваться... Не стыдно ли... Уж если выходите, то не надевали бы на себя неприятельского мундира... Срам!.. И это русские...— обернулся он ко мне, когда мы подходили к Hôtel d'Angletter*, где стоял Мак-Гахан.

— ...А знаете,— немного спустя обернулся он ко мне,— может быть, ему, бедному, просто нечего надеть было... Я ужасно каюсь в своей вспышке... Как залезешь в душу к пленному... Настродался он здесь, поди... За что я его оборвал?

— ...Мне ужасно стыдно! — заговорил он опять, уже у Мак-Гахана.— Сделайте, ради меня, о чем я вас попрошу,— обратился он ко мне.

— Что вам угодно?

— Сколько у нас у всех есть денег... У меня двадцать золотых, этого мало. Впрочем, я займу у Мак-Гахана...

Взял у того столько же или больше, не помню...

— Съездите в Сераскериат, где наши пленные, там их трое или четверо офицеров и несколько солдат, и передайте им это...— И он вручил мне сорок или пятьдесят полуимпериалов.— Главное, выразите им от меня сожаление... Скажите, что я извиняюсь... Вы это сумеете... Я бы сделал это, но мне в Сераскериате показываться нельзя.

Я сел верхом на первую попавшуюся лошадь, которые на улицах Константинополя заменяют извозчиков, и поехал в турецкую часть города — Стамбул. До Сераскериата едва добрался. Массы войск собрались туда зачем-то... В Сераскериате обратился к чиновникам. Те сначала и ухом не повели, но узнав, что я русский, моментально изменили свое обращение.

— Нужно разрешение от Реуф-паши, чтобы видеть пленных.

— А где Реуф?

— Уехал в Сан-Стефано к вашему главнокомандующему.

— Кто заведует пленными?

— Майор такой-то...

— Ведите меня к нему.

Толстый майор, неподвижный и флегматичный, даже и не слышал, кажется, что я ему говорю. Я повторил еще раз, та же история.

* Отелю «Англетер». (Ред.)

— Да говорит ли он по-французски? — оборачиваюсь я к провожатому.

— Нет!..

— Есть ли кто здесь, знающий этот язык?

— Есть даже хорошо владеющий русским.

Позвали этого. Оказался из наших крымских татар. Теперь офицер.

Он изложил мое требование майору.

— Майор говорит, что нельзя.

— Передайте ему, что я отсюда не уйду до тех пор, пока не увижу пленных. Останусь здесь и днем и ночью.

И в подтверждение своих слов я постарался принять на софе более удобное положение.

Мир-алай (майор) всколыхнулся немножко, стал сосать свою трубку и с недоумением поглядывать на меня.

— Можете вы ему дать какой-нибудь пешкеш? — спросил у меня крымский татарин.

— Не дам и этого! — показал ему кончик ногтя.

Они заговорили между собою... Прошло несколько минут.

— Хорошо, он согласен вас пустить к пленным, но с условием, что я вас буду конвоировать и еще двое...

— Это мне все равно.

Два черкеса султанской гвардии повели меня в каземат, где были наши пленные.

В коридоре они мне указали одну дверь... Сами за мною не пошли.

Я застал там двух офицеров, одного из них именно того, которого так оборвал Скобелев.

Это был, кажется, казацкий хорунжий. Я передал поручение Скобелева и деньги... Вернулся...

— Ну, что?.. — нетерпеливо бросился ко мне Скобелев.

— Ничего... Отдал деньги...

— Обижен он... Вы извинились от меня?..

— Да.

— А он-то, он?

Я успокоил Скобелева.

— Все-таки это непростительная выходка, что там ни говорите... Напишите мне в форме записки, в каком виде вы застали пленных... Это позор, что до сих пор мы их не вытребовали... Хотя я не одобряю...

— Чего это?

— Как можно в плен сдаваться, офицеру...

— А что ж делать?

— Что делали на Шипке. В револьвере шесть патронов, пять в неприятеля, шестой в себя...

— А может быть, ему жить хочется...

— Тут принцип важен... Что жизнь... Нужно всегда быть готовым к смерти... Жизнь одного — ноль...

Спустя несколько дней Скобелеву пришлось разыграть довольно комическую роль.

Приехал он в Константинополь, остановился у меня.

— Пойдем вечером в Конкордию, там поют француженки...

— Едем?

— Ну вот... Зачем обращать на себя общее внимание!

Мы отправились... Одна из этих интернациональных девиц пристала к Михаилу Дмитриевичу... Тот стал ее снабжать полуимпериялами, которые она тут же проигрывала в рулетку.

— А знаете... Очень приятно сознавать, что никто тебя здесь не знает... Быть в положении *le bon bourgeois**... Я отдыхаю в этом отношении здесь... Положительно в неизвестности есть доля хорошего...

В разговоре с француженкой он то и дело употреблял фразу: мы штатские...

Наконец надоело... Сходим мы вниз по лестнице... Вдруг интернациональная девица догоняет нас сверху.

— У меня к вам просьба!..— начинает она.

— Какая?..

— Позвольте с нашей труппой приехать к вам и дать несколько концертов...

— Это куда же ко мне? За кого вы меня принимаете?

— О, *mon général*... Мы все вас знаем... Вы — генерал Скобелев, Ак-паша.

— Мы, кажется, разыграли сцену из «Птичек певчих», — обратился ко мне Скобелев.— Вот тебе и вся прелесть инкогнито!..

На безделье, как и всегда у него, впрочем, уходило мало времени. С утра до ночи он со своими офицерами рекогносцировал позиции вокруг Константинополя, объезжал свои войска, делал маневры, примерные атаки, занимался организацией несколько растрепанных в походах полков и, спустя самый непродолжительный срок, довел их опять до блестящего состояния. Потом, когда все кругом болело тифом и лихорадками, один скобелевский отряд не давал

* Преуспевающему буржуа. (Ред.)

ничего лазаретам... Стоило только где-нибудь показаться болезни, чтобы Скобелев сейчас же появлялся там, поднимал врачей и ставил на ноги весь медицинский персонал. Места расположения его солдат всегда были образцом по тому порядку, который царствовал в них. Все было предусмотрено. Совершенно оправившиеся люди готовы были опять к дальнейшим подвигам.

— Нельзя успокаиваться, господа... Будет время отдыхать потом... А теперь зорко смотрите вокруг!

Между прочим, тогда же я слышал одну очень меткую фразу.

— Что делает Скобелев?..— спрашиваю у какого-то солдата.

— А ён, как кот округ мышеловки, у этого самого Константинополя ходит... То лапкой его пощупает, то так потрется...

— Я очень боюсь одного...— говорил один из влиятельных в армии генералов.

— Чего?

— Да как бы Скобелев нам бенефиса не устроил.

— Какого это?

— Да в одно прекрасное утро проснемся мы — и узнаем, что Скобелев залез ночью в Константинополь со всем своим отрядом.

По отношению к этому даже разгул константинопольский принес ему известную пользу.

Я потом видел его кроки и записки, где были означены все улицы, которыми надо было идти в Стамбул, намечены пункты для разных боевых операций... Короче, гуляя по Константинополю якобы для собственного удовольствия, он его изучил так, что начнись бой на его улицах — Скобелев сумел бы воспользоваться каждою их извилиной, каждым их закоулком...

— Он ничего мимо ушей и глаз не пропустит! — говорили о нем после...

И действительно — ничего не пропускал.

Он так любил знать, что делается кругом, быть всегда настороже всякого рода событий, знать, с кем имеет дело, что не прошло двух недель, как он уже дотла изучил весь Константинополь. Все его партии, мусульманские кружки, глухой протест поселившихся там черкесов, сплоченную силу улемов, незаметное каждый раз нарастание и наслоение новых начал в населении этого восточного города, чиновников Блистательной Порты, военных Сераскериата.

Казалось, что он собирается быть турецким министром — до того точны и обстоятельны были его сведения. Редакции Бассирета и Вакита, французских, английских и итальянских газет, издававшихся там, греческих писателей, живущих в Византии, купцов — все и всех уже знал Скобелев, их взгляды, со всеми их мечтами, программами...

— Зачем это вам? — спрашивали его.

— Такая привычка... Я везде люблю быть дома... Терпеть не могу пробелов и недомолвок...

Я уже выше говорил, что быть при нем офицеру — значило учиться. Нигде справедливость этого так не подтверждалась, как в Константинополе. Туда офицеров, молодежь отпускали обыкновенно на два, на три дня — кутнуть на просторе и затем вернуться на работу... Беда была, если такой отдыхающий, вернувшись, не привезет с собой каких-нибудь полезных сведений.

— Вас, душенька, и отпускать не стоит... Ничем-то вы воспользоваться не сумеете...

— Он у вас удивительный! — говорил о Скобелеве один грек, кажется Варварци...

— Почему это?

— Я у него вчера был... Случайно зашла речь о чисто хозяйственных интересах города, оказалось, что он их знает, понимает... Я совсем потерялся, когда он начал говорить мне о проектах водопровода, поданных нашими греками, о новом мосте вместо галатского, который мы хотим строить... Я даже спросил его, не жил ли он прежде в Константинополе...

Один из стамбульских улемов, бывший в Георгии, выразился так же.

— Ак-паша мог бы быть хорошим мусульманином.

— Отчего?

— Он Коран знает.

И не только знал, но и цитировал его зачастую...

В Скобелеве в это время уже сказывались замечательные черты характера. Один из военных, которые обладают незавидною способностью лазить без мыла в глотку, сошелся с ним в Константинополе. Генералу он очень понравился, потому что это обстоятельство не мешало ему быть храбрым человеком и остроумным собеседником. Завтракая в Hôtel d'Angleter, он как будто нечаянно начал передавать Скобелеву всевозможные сплетни...

— Вы знаете, генерал, вы бы остановили своих рыцарей!

— Каких это моих рыцарей?

— Офицерики, близких к вам.

— В чем я их должен останавливать?

— Во-первых, они здесь кутят...

— А мы с вами, полковник, что теперь делаем?..

— Какое же сравнение!..

— Нам, значит, можно, потому что у нас есть деньги на шампанское, а им нельзя, потому что у них хватает только на коньяк?

— Ну, и еще за ними водится грешок...

— Какой?

— Они вовсе вам не так преданы, как вы думаете.

— Ну, уж это вы напрасно... Я их всех хорошо знаю!

— Да вот-с, не угодно ли, один из них про вас рассказывал...

И началось самое бесцеремонное перебивание грязного белья...

— А теперь я назову вам фамилию этого человека...

Но Скобелев в это мгновение схватил того за руку:

— Пожалуйста, ни одного слова больше и ради Бога — без фамилий... Я слишком люблю своих рыцарей, слишком обязан им, слишком. Всю кампанию они, по одному приказанию моему, шли на смерть... Я не хочу знать, кто это говорил, потому что не желаю быть несправедливым. Поневоле такая несправедливость может прорваться когда-нибудь в отношении к человеку, повинному только в том, что под влиянием стакана вина он разоткровенничался при человеке, не заслуживавшем такой откровенности.— И Скобелев тоном голоса нарочно подчеркнул эту фразу: — Да-с... Не заслуживавшем!

Когда завтрак кончился и полковник откланялся, Скобелев позвал человека.

— Заметил ты лицо этого господина?

— Точно так-с.

— Помни, что для него меня никогда нет дома!

Занимая уже довольно высокий пост, он не раз сталкивался с людьми, которые старались выиграть в его мнении и выдвинуться вперед, унижая своих товарищей...

— Я их слушаю поневоле, ушей не заткнешь,— говорил Скобелев,— но в уме своем в графе против их фамилии ставлю аттестацию «подлец и дурак». Подлец потому, что клеветает про других и главное — про своих товарищей, дурак — потому, что передает мне это, точно у меня у самого нет глаз во лбу, точно я не умею отличить порядочного человека от негодяя...

Один из его подчиненных очень нуждался в то время; Скобелев хотел ему помочь и не знал как. Призывает, наконец, того и говорит: «Вам присланы деньги из России.. Вот они» — и придвигает горсть золота... Тот, разумеется, схватился за нее, даже не спросив от кого. Проходит несколько времени, он является опять к Скобелеву.

— Что вам?

— Я пришел узнать, не прислали ли мне еще денег из России.

— Прислали... Я забыл отдать вам... Вот они...

Потом этот франт отблагодарил по-своему Скобелева, обокрав его...

В следующий раз он поручил ведение своего хозяйства офицеру. Тот недели в две накатал ему счет тысяч в пять-шесть.

— Это невозможно... Прикажете проверить? — спросили у него.

— Ни под каким видом. Вина прежде всего моя — потому что я его назначил сам... Заплатить, и ни слова об этом. Разумеется, впредь ему денежных поручений не давайте никаких. Это раз. Если бы это были деньги общественные или чужие — другое дело... Немного погодя я найду, что ему не к лицу моя дивизия, и он сам уберется из нее.

Расставался со своими он вообще неохотно и долго не прощал тем, кто оставлял его сам...

— Я люблю N. N., он храбрый человек, полезный; только я не возьму его к себе.

— Отчего?

— Он меня оставил... Это было сделано не по-товарищески...

О тех же, которые меняли свой мундир на полицейский, Скобелев потом и слышать не мог

— Не говорите мне о них.. Храбрый боевой офицер — и так кончить!..

Когда у него просили за них, он обрывал прямо:

— Ни слова, господа... Впредь говорю, ничего не сделаю... Он с голоду не умирал... Я этого рода оружия терпеть не могу, вы сами это знаете.

Один из таких явился к нему и, «рыдая», начал рассказывать обо всех условиях своей новой службы.

— Жаль мне вас...

— Примите меня опять к себе.

— Ну, уж это извините... За что же я буду оскорблять своих офицеров?.. Я вам дам один совет — выходите в отставку...

В Константинополе и под ним шли у него нескончаемые споры...

Начиналась эпоха берлинского конгресса, уступок, дипломатических подвохов... Скобелев мучился, злился... Он не спал целые ночи...

— Что будет с Россией, что будет с Россией, если она отдаст все!.. И даже не все, если отдаст часть, уступит хоть кроху из сделанного ею... Зачем тогда была эта война и все ее жертвы!..

Я помню последний вечер, в который я видел его.

Мы сидели на балконе дома в Сан-Стефано... Прямо перед нами уходили в лазоревый сумрак далее ласковые, полные неги волны Босфора... Точно с мягким мелодическим шепотом текли они к тихому берегу... У пристани едва-едва колыхались лодки... На горизонте серебряные вершины малоазийского Олимпа прорезывали ночную темень... Зашел разговор о будущем славян. Скобелев, разумеется, стоял за объединение племен малых в большие...

— Никогда ни серб, ни чех не уступят своей независимости и свободы за честь принадлежать России.

— Да об этом никто и не думает... Напротив, я рисую себе в будущем вольный союз славянских племен. Полнейшая автономия у каждого — одно только общее — войска, монеты и таможенная система. В остальном живи как хочешь и управляйся внутри у себя как можешь... А что касается до свободы, то ведь я говорю не о завтрашнем дне... К тому-то времени, пожалуй, Россия будет еще свободнее их... Уж и теперь вольный воздух широко льется в нее, погодите... Разумеется, мы все потеряем, если останемся в прежних условиях... Племена и народы не знают платонической любви... Этак они сгруппируются вокруг Австрии и вместе с нею могут, пожалуй, основать южнославянскую монархию... Тогда мы пропадем!

— Почему же?

— Потому, что при помощи Австрии католичество широко разольется у них... Оно захватит все и всех, и в первом спорном вопросе славяне южные пойдут против северных, и будет эта братоубийственная война торжеством всякой немецкой челяди... Но это невозможно и невозможно... Если мы запремся да ото всех принципов новой государственной жизни стеной заслонимся — дело плохо... На это хватит у нас государственной мудрости... А пока наше призвание

охранять их, именно их... Без этого — мы сами уйдем в животы, в непосредственность, потеряем свой исторический *raison d'être* *.

— ...Мой символ краток: любовь к отечеству, свобода, наука и славянство!.. На этих четырех китах мы построим такую политическую силу, что нам не будут страшны ни враги, ни друзья. И нечего думать о брюхе; ради этих великих целей принесем все жертвы... Если нам плохо живется, потомкам лучше будет, гораздо лучше!

Мы замолчали...

Волны к ночи становились темнее, громче и громче ластились к берегам... Двурогий месяц прорезался на горизонте, тихий, красивый...

— Да, у него хорошо сказалось это! — проговорил Скобелев точно про себя.

— Что, у кого?

— У Хомякова... Пришло на память его... Помните его орла?

Лети, но в горнем море света,
Где силой дышащая грудь
Разгулом вольности согрета,
О младших братьях не забудь!

Совсем тихо начал он, но чем дальше, тем голос его все креп и креп.

На степь полуденного края,
На дальний запад оглянись:
Их много там, где брег Дуная,
Где Альпы тучей обвились,
В ущельях скал, в Карпатах темных,
В балканских дебрях и лесах,
В сетях тевтонов вероломных,
В стальных татарина цепях!
И ждут окованные братья,
Когда же зов услышат твой,
Когда ты крылья, как объятья,
Прострешь над слабой их главой...
О, вспомни их, орел полночи!
Пошли им громкий свой привет!..
Пусть их утешит в рабской ночи
Твоей свободы яркий свет!..
Питай их пищей сил духовных,
Питай надеждой лучших дней,
И хлад сердец единокровных

* Смысл существования. (Ред.)

Любовью жаркою согрей!..
Их час придет! Окрепнут крылья,
Младая когти подрастут,
Вскричат орлы и цепь насилья
Железным клювом расклюют...

И это будет!.. И это будет непременно!

— Когда? — несколько скептически переспросил я.

— А вот, когда у нас будет настолько много «пищи сил духовных», что мы будем в состоянии поделиться с ними ею; а во-вторых, когда «свободы нашей яркий свет» действительно будет ярком и целому миру ведом...

— А до тех пор?

— А до тех пор надеяться, верить, не опускать голову и не терять своего сродства с народом, сознания своей национальности.

В это время издали, с моря, слышалась вдохновенная песня, смелыми взмахами своих крыл уносившаяся в это темное южное небо с его яркими звездами... Пело ее несколько голосов... Видимо, певцы были одушевлены, видимо, всех их соединяло что-то общее...

— Вы знаете, что это поют они? — спросил Скобелев.

— Нет.

— Я тоже не знал. Но спросил, мне сказали... Слышу уж не в первый раз... Это греки, молодые греки из константинопольских лавок. Торгаши, а поют о будущей славе эллинов, о всемирном могуществе Греции, о том, что и это море, и этот вечный город будут принадлежать им, о том, что все народы придут и поклонятся им, и даст им новая Греция, этим новым варварам, свет науки, сладость мира и величие свободы... Вот о чем поет маленькая, совсем крошечная Греция, эта инфузория Европы... И посмотрите, с каким увлечением, силой и страстью!.. А мы!.. Эх, скверно делается даже...

Вскоре я должен был уехать в Россию.

Скобелев прощался со мною у себя в отряде... Я оставил его тогда сильного, здорового, бодрого...

Он еще складывался. Он не был велик, но уже в нем являлись задатки великого вождя... За год войны он стал гораздо серьезнее. Многое увидал и многому научился.

— Чего вам послать из Питера?..

— Книг, книг и книг... Все, что за это время было выдающегося и талантливого... Большого удовольствия вы мне не можете сделать...

Я вывез с собою несколько восторженное удивление к этой богато одаренной натуре, и все, что я слышал потом о действиях Скобелева, все, о чем он писал мне, только питало это чувство. В эпоху общего недовольства, когда все под влиянием берлинского конгресса и малодушия нашей дипломатии опускали руки и вешали головы, когда будущее заволакивалось тучами и последние лучи солнца бесследно пропадали в их мглистом сумраке, Скобелев не потерял ни своей энергии, ни жажды дела. Напротив, он, как солдат, стоял на своем посту. Когда жены-мироносицы дипломатии расчленили Болгарию, Скобелев сейчас же занялся там организацией гимнастических союзов, вольных дружин, общин стрелков... Он сам учил их ратному делу, неутомимо бросался из одного города в другой, в одном делал им смотры, назначал им для обучения своих офицеров, в другом заставлял рыть укрепления, приучал окапываться, сажал своих солдат за валы этих траншей и редутов и по несколько дней производил с болгарами маневры, приучая их брать такие укрепления; потом он сажал туда болгар и, командуя ими, приказывал русским солдатам нападать, а сам с болгарами отбивался от них. В антрактах он мирил сербов с болгарами, воодушевлял румелийцев одушевленными речами; обладая удивительною способностью кратко и метко формулировать целые понятия в одну энергическую фразу, вводил в сознание народа убеждение его кровного родства с теми или другими славянскими племенами... умел поднять в них дух и главное, делиться с ними тою жизненностью, которая ключом была в нем самом... «Вы там совсем растерялись,— писал он мне в Петербург, — до того запутались, что и разобраться не можете, а мы тут не теряем времени и замазываем бреши, пробитые берлинским конгрессом... Если мы и оставляем им Болгарию расчлененной, четвертованной, то за то оставляем в болгарях такое глубокое сознание своего родства, такое убеждение в необходимости рано или поздно слиться, что все эти господа скоро восчувствуют, сколь их усилия были недостаточны. А вдобавок к этому оставим мы в так называемой Румелии еще тысяч тридцать хорошо обученных народных войск... Эти к оружию привыкли и научат при случае остальных. Все эти гимнастические дружества и союзы, разумеется, могут быть разогнаны, но они свое дело сделают и при первой необходимости всплывут наверх... Приедете, увидите сами!..»

— Вы знаете, кто меня научил не терять бодрости и не опускать рук? — говорил он впоследствии.

— Кто?

— Паук.

— Как паук?..

— Да так... Гулял я раз, вижу паутину, взял я да и снял ее прочь... Вы думаете, паук растерялся? Нет. Забегал по уцелевшим нитям и давай опять работать живо, живо... Без всякого антракта... На другой день — я иду, на этом же месте новая паутина, только гораздо лучше укрепленная... Вот вам пример!..

Таким образом, Скобелев оставил по себе в Болгарии такую память, какую удастся редким...

— Когда нам нужно будет восстать — он явится к нам... Он поведет и нас, и сербов, и черногорцев... И тогда горе будет швабам!

Это мог сказать всякий мальчишка в Румелии.

— Он сумеет сплотить и научить нас!

И за ним, действительно, пошел бы весь южнославянский мир... Представляю себе, какое ужасное впечатление там произвела эта неожиданная смерть!.. Как там рыдали и молились за него...

В первый же день после его смерти выхожу я из гостиницы Дюссо...

На улице бросается ко мне Станишев — образованный болгарин... Он схватил меня за руку и зарыдал...

— Мы все потеряли в нем, все... Он был нашей надеждой, он был нашим будущим...

Не успел я сделать несколько шагов, как меня обступили другие живущие в Москве болгары...

— Вы видели его, неужели он... он умер...

Едва ли по кому-нибудь лились такие искренние слезы...

— Болгария плачет теперь, как осиротелая мать над единственным своим сыном!

Уже в Петербурге я получил телеграмму из Тырнова. «Правда ли, что наш Скобелев умер?.. Весь город в слезах, в каждом доме стенания... Крестьяне толпой идут из Самовод и других сел убедиться в этом народном несчастье... Из горной деревушки Рыш прислали ко мне депутата узнать... Женщины и дети в слезах... В церквях за него молятся... Долго не будет у славянства такого героя!..»

И еще бессмысленнее казалась эта смерть, еще ужаснее...

Я возвратился к нему, стал над ним, всматривался в это покойное, неподвижное лицо, допытывался, зачем ушел он, он, до такой степени необходимый, дорогой. Кругом к вечерней панихиде устанавливали комнату цветами

и деревьями, явились лавровые венки, приподымали эту беспробудную голову, декорируя ее розами... В углу монахиня читала Псалтырь... Пахло ладаном...

И эта рука, пугавшая целый мир, бессильно сложена теперь на груди... В кровавом блеске сражений она уже не укажет торжествующим легионам врага, этот громкий голос, сзывавший орлят, стих в разбитой и неподымающейся больше груди... зоркий взгляд застыл и только тускло слезится из-под опущенных ресниц.

— Знаете, мне кажется, это сон какой-то! — шепчет рядом кто-то... — Сон, мы проснемся — и все это выйдет чепухой...

Ввели двух часовых, поставили над телом.

Один из них смотрел-смотрел на это безжизненное лицо... Плакать не смеет — на часах, а слезы так и падают по щекам на бороду. И смахнуть их нельзя!..

XXXIV

После войны я долго не видал Скобелева... Он в это время уж совсем определился, и наши убеждения далеко разошлись.

В письмах, очень редких, он так же резко и бесповоротно ставил вопросы и так же удачно очерчивал людей и события, как и прежде... Корпусом своим он был доволен, но обстановка мирной и спокойной деятельности оказывалась ему не по душе. По возвращении из Болгарии он писал: «Теперь я могу с чистою совестью отдохнуть, да и пора. Силы разбились несколько. Съезжу в Париж, отведу душу...» А через два месяца: «Эта будничная жизнь тяготит. Сегодня как вчера, завтра как сегодня. Совсем нет ощущений... У нас все замерло.. Опять мы начинаем переливать из пустого в порожнее Угасло недавнее возбуждение, да и как его требовать от людей, переживших позор берлинского конгресса. Теперь пока нам лучше всего молчать — осрамились вконец!..» Тем не менее он крайне интересовался всем, читал и работал, стал изучать Пруссию и, съездив туда на маневры, успел настолько ознакомиться с германскою армией, что наши добрые соседи уже и тогда были сим несколько обеспокоены. Из своих бесед с берлинскими генералами, из знакомства с прусскою армией. Скобелев вынес глубокое убеждение, что там — серьезно готовятся к войне с нами...

— Мы опять разыграем роль глупой евангельской девы... Опять война застанет нас врасплох!

И он начал самым деятельным образом готовиться к ней. Едва ли была хоть одна брошюра по военным вопросам Германии, которая бы не прочитывалась, им, их военные журналы тоже... Он изучал страну вдоль и поперек, объехал всю границу и, не отдыхая на лаврах, продолжал упорно работать, работать и работать...

— Теперь такое время — на часах надо стоять... Недаром меня солдаты корчетом называли; сторожить приходится, чуть опасность — крикнуть впору!

Он тогда же подметил то, что пруссаки хотели скрыть новую роль кавалерии; подготовленную ими для будущей войны. Скобелев с быстротой, поистине гениальной, схватил это и целиком перенес к себе, развив и видоизменив многое по собственному соображению. Немцев он понимал как никто. Дружбе их он и прежде не верил, на благодарность их не рассчитывал вовсе. Царство Польское со всеми его боевыми позициями было изучено им с такою подробностью, что записки его по этому предмету должны быть необходимым материалом для будущих наших генералов при случае. Он разрабатывал тогда уже план войны с честными маклерами и добрыми нашими союзниками. Я здесь, разумеется, не вправе говорить об этом плане... По остроумному выражению М. Е. Салтыкова (Щедрина), через двадцать лет мы прочтем о нем в «Русской старине» у г. Семевского. Встретившись с ним наконец, я застал его таким же возбужденным, полным энергии, каким привык видеть и прежде... Он приехал в Петербург, похоронив отца.

— Я, к крайнему своему удивлению, оказался богатым человеком!.. И рад этому.

— Еще бы!

— И не за себя. Теперь моим боевым товарищам помогать стану... Я думаю отставных солдат селить у себя. Дам им какие-нибудь занятия, чтобы они не думали, что едят хлеб даром... А умру — село Спасское по завещанию обращу в инвалидный дом...

— Что так рано умереть собираетесь?

— Да ведь вот отец... За день до смерти с вами спорил... все под Богом ходим... В одном я убежден, что умру не сам... Не вследствие естественных причин...

— Ну, вот.

— Есть не одни предчувствия на это!.. Ну, да что толковать...

Немного спустя начались переговоры с ним о назначении его в Ахал-Теке.

Он сам хотел и добивался этого. Во-первых, боевая жизнь была ему по вкусу, а во-вторых, по тому высказывавшемуся им глубокому убеждению, что в степях Теке отчасти решался восточный вопрос...

— Тут связь большая. Чем больше у нас будет обаяния на востоке — тем лучше. Трудно только поправлять дела после всех этих гениев. Притом вы не знаете кавказской администрации..

— Нет.

— А я ее знаю, она с женской ревностью относится ко всему... Скорей мешать будет мне, чем поможет...

Приготовления к этой экспедиции шли у него с лихорадочной быстротою. Только что приехав из военного совета, он садился, писал записки по разным деталям этого предприятия, входил в сношения с целою массой лиц, которым поручалось то или другое дело, обдумывал и предупреждал разные подготавливавшиеся ему «дружские услуги» разных благоприятелей. Близкие к нему люди в это время с ног сбились. На Моховой, в доме Дивова, образовалась маленькая главная квартира. Тогда, еще полковник Гродеков, главнейший сотрудник Скобелева, а также Баранок и другие его адъютанты ходили какие-то ошалелые, бледные, истощенные.

— Отдыхать некогда... Некогда, господа. За дело!

— Когда он спит — Бог его знает... У нас руки отваливаются...— говорили они.

С утра до ночи в приемной у него толпились военные, или ожидавшие назначения, или уже получившие его... Ближайшие его сотрудники съехались уже... Остальных, как, например, капитана Маслова, он сам звал к себе.

— Трудное дело, страшно трудное! — то и дело повторял он.— Много войск взять нельзя, и без того эти разбойники дорого стоят России, а если не покончить с ними, сейчас же все наши туркестанские владения на волоске будут.. Сверх того, мы уже и предварительно истратили пронасть!. А там еще интендантство это. Если я получу назначение, я сейчас же начну с того, что всю хозяйственную часть армии передам людям, которых я знаю, а интендантов отправлю обратно на кавказский берег.. Там у них, знаете, на каждый казенный ремешок по пяти чиновников приставлено Войска превосходные, но их не умели вести!

Нужно сказать правду, что и кавказская администрация особенно нежных чувств к Скобелеву не питала. Нам рассказывали, что некоторые даже у себя панихиды служить отклонились по покойнику. Помилуйте, в эту тишь да гладь вдруг ворвался такой беспокойный и деятельный человек...

— Ну, ему там тоже готовят встречу...— говорили мне.

— Ничего не поделают...

— Ну, как сказать... У нас там такие свистуны есть!..

Скобелев прекрасно знал это и готовился ко всякой случайности...

— Они из Ахал-Теке хотели себе маленький Дагестан сделать!

— Как это?

— Так, на десятки лет раскладут это дело. Все, кому нужны чины, ордена, отправлялись бы туда, делали набег и опять уходили. Армяне-подрядчики крали бы себе в карманы казенные миллионы. К услугам всех этих людей являлись бы и стихии, и тифы всякие!.. А графа государственного расхода из года в год все росла бы и росла. Ведь на Кавказе, знаете ли, все они, эти чиновники, голодные. И плодущие же. У них семьи не по кошельку. Детьми их Господь благословляет, ну, все это и выкармливается на казенных харчах. Ну, а я уже слуга покорный, я солдата грабить не позволю... Этого у меня не будет...

— Найдут средства и при новых порядках красть.

— Посмотрим... Я ведь церемониться не стану. Беспощадно расстреливать начну за это. Тут доброта — хуже жестокости. Будешь добр к этим отцам семейства — у тебя войско от тифа вымрет да десятки миллионов народных денег без толку уйдут... А это, знаете, просто: сегодня судил военно-полевым судом, а завтра расстрелял... Ан другим-то и неповадно!..

XXXV

Ахалтекинская экспедиция М. Д. Скобелева известна всем. Тут уже это никто не мог выдумать, он сделал ее без корреспондентов, и его друзья не могут ссылаться на то, что подвиги молодого генерала преувеличены были этими якобы покладистыми людьми. Все время в Петербурге и Москве распространялись о нем и о судьбе его отряда самые преувеличенные слухи, так что штурм текинской крепости и завоевание самого оазиса были для всех полною не-

ожиданностью... Тот, кто хочет ближе познакомиться с этим периодом деятельности Скобелева, может обратиться к книге одного из ближайших его сотрудников и личных друзей А. Н. Маслова «Завоевание Ахал-Теке». Это превосходный дневник участника экспедиции — в живых и талантливых очерках рисует и стратегические планы Скобелева, и его личную жизнь, и быт отряда в золотых песках прикаспийской пустыни. Серьезная книга, поэтому читается с интересом романа и незаметно, фигура генерала выделяется из нее полной жизни, со всеми характерными особенностями... Михаил Дмитриевич живым человеком выдвигается из деталей этого дневника. А. Н. Маслов, бывший свидетелем хивинского и ферганского походов Скобелева, по целым месяцам гостивший у него в Спасском и переписывавшийся с покойным, лучше чем кто-нибудь знал эту сложную, интересную личность народного богатыря, легендарного витязя современной России... Он пишет свои воспоминания о нем, и я заранее приветствую эти записки... В них выскажется много упущенного мною, а при художественном таланте их автора они будут ценным вкладом в нашу историческую литературу

После Ахалтекинской экспедиции я встретился со Скобелевым случайно... Я не знал, что он в Петербурге. Вечером на улице он окликнул меня.

— Отчего же вы не приехали ко мне в Ахал-Теке?

— Да ведь вам же первым условием поставили отсутствие корреспондентов.

— Все равно... Помните, что я вам ответил в Журжеве?

— Что?

— «А вы не спрашивайтесь...» А вас ждали в отряде, было много из ваших старых боевых товарищей...

Я в этот раз, всмотревшись в Скобелева, увидел в нем громадную перемену. Видимо, заботы по командованию экспедицией не прошли для него даром.

Он осунулся, обрюзг... На лбу прорезались морщины, между бровями легла какая-то складка... В глазах была та же решительность, та же энергия в лице, но от всего Скобелева веяло чем-то только что пережитым, печальным.. Я разговорился с ним...

— На меня произвело такое влияние не сама экспедиция... Хоть были ужасные моменты... Войск мало, неприятель силен... Ну, да это что! Не таких бивали!.. Смерть матери — вот что меня в сердце ударило... Я долго себе представлял ее зарезанною... И кем же, человеком, всем

обязанным мне, решительно всем!.. Я был первые дни после того как потерянный!.. И до сих пор еще она стоит передо мною.. Точно зовет меня... И знаете, мне кажется, что и самому-то осталось не долго жить...

— Полноте, в тридцать семь лет!..

— Да... Слишком много горючего материала кругом... Слишком много... И столько разных благоприятелей, что не совладать с ними... Открытый враг не страшен... Впрочем, отдохнув в Париже, успокоюсь...

Как Скобелев отдохнул в Париже, всем известно... Эта натура не знала отдыха и не понимала его...

После его парижской речи мы опять не виделись долго, очень долго... Только за несколько недель до его смерти я встретил генерала в Москве... И это было наше последнее свидание. Я его нашел в «Славянском базаре» опять совсем оправившимся, здоровым, сильным, веселым... Когда я выразил это, он рассмеялся.

— Я всегда так, когда дела много, крепну... Так и теперь... Занятий у меня по горло, готовлюсь к крупному делу... И сверх того, немцы доставляют мне много, очень много удовольствия.

— Каким образом?

— Очень уж эти шнельклопсы разозлились на меня... То какой-нибудь унтер-офицер вызывает меня на дуэль, то сентиментальная берлинская вдова посылает мне проповедь о сладостях дружбы и мира, то изобретатель особенного намордника для собак назовет его «Скобелевым» и обязательно сообщает об этом, то юмористические журналы их изображают меня в том или другом гнусном виде... Я знаю, вы были против моей парижской речи... Но я сказал ее по своему убеждению и не каюсь... Слишком мы уж малодушничаем. И поверьте, что если бы мы заговорили таким языком, то Европа несомненно с большим вниманием относилась бы к нам... Наши добрые соседи тоже, пока мы поем в минорном тоне, являются требовательными и наглыми, как почувствовавший свою силу лакей; но когда мы твердо ставим свое требование, они живо поджимают хвосты и начинают обнаруживать похвальную скромность!.. Я не враг России... Больше чем кто-нибудь, я знаю ужасы войны; но бывают моменты в государственной жизни, когда известный народ должен все ставить на карту... И поверьте, эти господа не рискнут на войну с нами. Они ловко пользуются нашими страхами, забирают нас в руки, показывая одно

пугало за другим, но как только мы в свою очередь им покажем когти, они первые в кусты.. Только, знаете, надо показывать когти-то разом и решительней.. Чтобы они чувствовали!

И тут же он мне передал целый ряд событий и встреч в России и за границей, которые, к сожалению, по обстоятельствам, не зависящим от меня, не могут быть помещены в эту книгу..

Немного спустя пришли к нему Ладыженский и Хлудов.. Мы сели завтракать. Пошли разговоры о нынешнем положении России, тягостном и в экономическом, и в нравственном отношении.. Видимо, что это живо волновало Скобелева, и он тут же делал несколько метких определений и характеристик государственных деятелей, с которыми в настоящее время приходится иметь дело нашему отечеству... Результаты беседы вышли неутешительны...

— А все-таки будущее наше.. Мы переживем и эту эпоху... Слава Богу — не рухнет от этого Россия..

И мало-помалу оживляясь, он начал читать наизусть стихи Тютчева и Хомякова.. Читал он их великолепно, придавая каждому поэтическому образу особенный блеск и колорит, каждой фразе более сильное выражение.. Наконец, не выдержал, увлекся, пошел к себе наверх и принес оттуда только что вышедшие новые издания этих поэтов, присланные ему Аксаковым..

— Я не надоел вам?..

— Напротив..

Зашел разговор о печати, и Скобелев высказался вполне за ее свободу.

— Я не знаю, почему ее так боятся. За последнее время она положительно была другом правительства. Все крупные хищения, все злоупотребления были указаны ею именно. Я понимаю, что то или другое правительственное лицо имеет повод бояться печати, ненавидеть ее. Это так, но почему все правительство относится к ней с такой подозрительностью, почему только и думают о том, как бы ее ограничить? Если хотите, при известном положении общества печать — это спасительный клапан. Излишек недовольства, желчи уходит в нее.. У нас даже писатели только и говорят, что об ограничении того или другого литературного исправления; мне кажется, что и со стороны консерваторов это не совсем ловко. Нельзя же в самом деле запретить высказываться всем, кто не согласен со мною. Для власти, если хотите, свободная печать — ключ. Через нее она

знает все, имеет понятие обо всех партиях, наперечет видит своих врагов и друзей. В Швеции вот, например, судят воров специальные суды, а суд присяжных ведает печать. У нас, напротив, грабители и хищники пользуются благами суда гласного, а литература карается административно.

И действительно, в этот же день к Скобелеву при мне приехал один из московских издателей. Я ушел на время к Ладыженскому, руцукскому консулу, остановившемуся там же... Когда я вернулся к Скобелеву, он, улыбаясь, передал мне следующее.

— Вы знаете, у печати нет более злейших врагов, чем она сама.

— Почему это?

— А потому, вот, например, человек и умный, и просвещенный... А знаете ли вы, за что он главным образом набрасывается на Игнатьева?

— За что?

— За то, что тот не хочет закрыть «Голос» и «Русскую мысль». Не может же в самом деле правительство быть органом той или другой газеты и принимать на себя ее защиту... Ведь этак мы дойдем Бог знает до чего. Что касается до меня, я никогда не питал раздражения против печати. Когда она ополчилась на меня за мою парижскую речь, я счел это совершенно честным и уместным с ее стороны. Они писали по убеждению, по-ихнему я был вреден в данную минуту. Раз уверен в этом — подло молчать! Точно так же, как и я был бы вполне уверен, что, промолчи я в Париже, это бы не сделало мне чести. В силу этого я бы никогда не принял никакого административного поста. Бить врага в открытом поле — мое дело. А ведаться с ним полицейским миром — слуга покорный. Вот Аксаков — совсем другое дело... Я горячо люблю Ивана Сергеевича и никогда не слышал от него ничего подобного. Ни разу при мне он не сослался на необходимость зажать рот тому или другому...

Зашел разговор об издателе «Руси».

— Он слишком идеалист... Вчера он это говорит мне: народ молчит и думает свою глубокую думу... А я так полагаю, что никакой думы народ не думает, что голоден он и деваться ему некуда, выхода нет — это верно. Вы только что объехали добрую половину России, расскажите-ка, что творится там.

Я начал ему передавать свои впечатления. Рассказал ему о заводах, где, несмотря на совершенство производства, половина рабочих распущена по домам, потому что наша

таможенная система вся направлена на поощрение иностранных фабрикантов и заводчиков; рассказал об истощении почвы, о крайнем падении скотоводства, о том, что нищество растет не по дням, а по часам.

— Это ужасно... Ужасно... Еще вчера я то же самое говорил, мне не верили... Преувеличиваю я, видите ли...

Нашему разговору помешал какой-то русский немец.. Явился с Владимиром в петличке и давай приседать...

— Что вам угодно?

— Я хочит делать большой канал...

— Где, куда?

— Соединяйт два моря... Арал и Каспий... Для обогащения всей России... Благодетельство есть это, ежели соединяйт

Насмешливая улыбка скользнула по лицу Михаила Дмитриевича.

— Я же тут при чем?

— Я пришел, ваше высокопревосходительство, просить содействия моему проект, который...

— Пожалуйста, расскажите мне его сущность...

Скобелев сел, сел и полковник, желающий облагодетельствовать Россию. Началось долгое и скучное изложение всех выгод будущего канала... Скобелев изредка только вставлял замечания, совсем разбивавшие выводы автора замечательного проекта. Видно было, что вся эта местность как нельзя лучше известна Михаилу Дмитриевичу...

— Сколько же нужно на ваше предприятие?

— О, в сравнении с благодетельством народов, пустяк.

— А например?

— Если правительство согласно затрачивайт сорок пятьдесят миллионов...

Скобелев опять усмехнулся.

— Разумеется, разумеется... Только уж заодно, полковник, не будете ли вы так добры указать, где взять эту маленькую сумму...

— Столь великий страна,— начал он и опять утонул в целом море всяких рассуждений.

Так я и не дослушал этого замечательного проекта, оставив Скобелева в жертву новому Гаргантюа, обладающему аппетитом в размере сорока миллионов рублей...

Часа через полтора я вышел с ним, мы условились поехать к О. Н-ой.

На улице он встретил одного из прежних своих подчиненных, уже в отставке... Этот окончил войну в малом чине, и,

по-видимому, судьба не особенно ему благоприятствовала. По крайней мере, одет он был очень плохо. Бывший офицер хотел было юркнуть от Скобелева в сторону, но тот его заметил...

— N. N.! Это еще что такое?.. Бегать от старых боевых товарищей!

— Ваше высокопревосходительство... Я не смел... Я так одет...

— Да за кого же вы принимаете меня?.. Это перед дамами одевайтесь... Опять вы не зашли ко мне... Вы знали, что я здесь?

— Как же... Читал-с.

— Ну?

— Я теперь в таком положении...

— Ужасно это глупо, в сущности... Прямо бы ко мне и могли обратиться... Храбрый и честный офицер, вы имеете полное право требовать моего содействия...

Я сейчас же узнал прежнего Скобелева. В этом он совсем не изменился.

— И помилуйте... Я опустился...

— Не вижу этого. Вот те, которые променяли военный мундир на более *выгодный*, опустились... Сегодня я уезжаю с курьерским поездом в Петербург... Давайте-ка мне ваш адрес... Не нужны ли вам деньги?.. Смотрите, с товарищами не церемонятся. Сотня-другая меня не разорит, а как только я вам найду место, вы мне их уплатите...

— Нет... У меня хоть еще месяца на два хватит.

— Нужно — пишите... Стесняться со мной глупо... А вам я на днях и местечко приищу...

Я встретил этого офицера уже на похоронах. Шел он одетый с иголки... Видимо, судьба, на которую он пенял так, уже изменилась к нему.

— Это он все... Я и не знал ничего... Только приезжает ко мне здешний *** и говорит: «Сегодня получил я письмо от Скобелева, он рекомендует вас. Этого мне достаточно...» И разом предложил место... Я теперь совсем доволен. Третьего дня узнал, что он приехал, собрался идти благодарить, и вот... Это, знаете, последний... Боевой товарищ.. Именно товарищ, хоть я поручик, а он полный генерал. Таких уже нет... Теперь мещанское время, подлое... Всякий лакеем делается... Повысят его в дворецкие — он уж к кучеру свысока относится...

О. А. Н-ву мы встретили в обществе двух англичан, с которыми Скобелев тотчас же заговорил по-английски. Они

с чувством, близким к восторгу, прислушивались к каждому слову его. Один из них высказался даже:

— Вы первый приучили нас заочно полюбить — даже врага!..

— Почему же я враг?

— Кто же другой может создать нам затруднения в Индии, как не вы...

— Там нам нечего делать. Мы отлично можем ужиться бок о бок.

— Да, это вы говорите нашим корреспондентам, а те сообщают в газетах... Но мы не так наивны...

Тонкая улыбка показалась на губах Скобелева.

— Могу вас уверить, что таково мое убеждение... Если мы можем с вами столкнуться, так поближе!

— Не дай этого Бог... Море дороже всего!

— Да, богатому человеку, а не голодному, которому терять нечего... Впрочем, у нас с вами есть общий враг.

— Кто это? Немцы, верно?

— Да... У них теперь широко рты разинуты, флот ваш и ваша торговля едва ли могут им особенно нравиться.

— Мы это знаем...

Когда они ушли, Скобелев начал передавать О. А. свои и мои впечатления от поездки по России.

— Где же исход? Где исход?

— Запереть границу для иностранного ввоза тех предметов, которые у нас у самих производятся. Раз и навсегда поставить на своем знамени «Россия для русских» и высоко поднять свое знамя... Ради этого принципа не отступать ни от чего... Заговорить властно, бесповоротно и сильно.. И сверх того — внутри у себя сделать многое.

— Что же именно?

И Скобелев изложил целую программу, давно, очевидно, обдуманную, обработанную во всех ее деталях, охватывавшую все стороны народной нашей жизни. К сожалению, она не может быть приведена здесь...

Целый вечер до отхода поезда мы оставались одни. Скобелев отдался воспоминаниям, рассказывал много интересных событий, перешел к настоящему и будущему России, но во всем у него звучала какая-то печальная нотка... Я поехал вместе с ним на железную дорогу. Он всю дорогу говорил не переставая.

— Знаете, мне кажется, мы видимся с вами в последний раз...

— Что за малодушие! — вырвалось у меня.

— Как знать. Что-то говорит мне, что моя песня спета.

Он, впрочем, несколько раз в этот день повторял то же и при Ладыженском, и при Хлудове.

— Я не переживу этот год, верно... Хоть не хочется умирать совсем. Сделать еще европейскую войну, разбить исконных врагов России, уничтожить их и тогда — из списков вон... Только этого не будет... Ну, да что, впрочем...

Шел дождь, было холодно... Ни зги не видно около, тускло мигали слезящиеся фонари... Тоска невольно закрадывалась в душу.

— Ну, довольно! Как это пели у меня солдаты:

На врагов с улыбкой взглянем —
С песней громкой в бой пойдем...
Смерть придет — смеяться станем
И с улыбкою умрем!..

Больше я уже не видел Скобелева.

В этот свой приезд э Москву он дал мне знать, что ждет меня к себе обедать. Я собрался к нему, но утром ко мне в гостиницу вбежал лакей.

— Генерал умер...

— Какой генерал? Мне-то что за дело...

— Скобелев... Скобелев умер!

— Убирайся и черту... Что за глупые шутки...

Лакей заплакал... Я понял, что действительно случилось великое несчастье... Бросился в Hôtel Дюссо.

Предчувствие оправдалось. Михаила Дмитриевича не стало.

XXXVI

На другой день после смерти Михаила Дмитриевича мне едва удалось пробиться в комнату, где он лежал...

Теперь уже не было вчерашней суетни и толкотни. Из Петербурга наехали близкие к нему лица; у самого тела выросла и все время стояла вся в слезах его сестра, Надежда Дмитриевна, не отводившая взгляда от гордой и красивой еще головы брата... «Зачем так рано?» — читалось в этом взгляде, полном глубокой тоски... Тусклый свет восковых свечей теперь отражался на вензелях, камергерских мундирах, звездах,

генеральских эполетах. Тем не менее у самого тела сплотились, точно не желая отдать его никому, даже самой смерти, его адъютанты и состоявшие при нем... На желтом, страшно желтом лице Скобелева проступали синие пятна... Губы слиплись, слились... Глаза ввалились... И весь он как-то ввалился... Ввалилась грудь так, что плечи с эполетами торчали вперед, ввалилась шея, точно голова была отделена от нее... Вокруг благоухали только что распустившиеся розы и лилии... Массы венков были разбросаны кругом. Они совершенно покрыли и золотую парчу покрывала, едва-едва поблескивавшего из-под них... Тем не менее и теперь это мертвое лицо не казалось мертвым... несмотря на ввалившиеся глаза, на заострившийся нос, на слипшиеся синие губы, на пятна. Чудилось, что он спит, не так как всегда, а строгий, серьезный, смеживший свои века под впечатлением какой-то глубокой думы. Вот-вот проснется и окинет всех изумленным взглядом: чего собрались сюда, зачем эти тускло горящие свечи, эти пышные розы, льющие в спертый воздух свое благоухание...

— А мы живем!..— слышится в стороне скорбный голос.

Оглядываюсь... Старик-генерал не сводит глаз с этого молодого лица...

— И в какое время, когда ему открывалось широкое поприще, где бы он мог развернуть все свои силы...

У дьякона, участвующего в панихиде, прерывается голос от слез, несколько раз он невольно смолкает и начинает опять... Вон другое заплаканное лицо простого солдата... Это любимец покойного, Бражников, ходивший за его лошадьми... Он качает головой, точно упрекает Скобелева, зачем он ушел отсюда... Толпа на площади выросла за ночь. Она залила ее всю...

— Совсем небывалое дело!..— слышится чей-то доклад генерал-губернатору.— Со всех сел массами идет народ сюда... Со всех заводов. Рабочие отказались работать... Из Серпухова, из Богородска — отовсюду тянутся толпы.

И действительно, на площади уже целое море... Улицы, прилегающие к ней, запружены народом... Народ на крышах домов, на кремлевской стене... На фонарях держатся, уцепившись руками... И все это молчит, как будто они боятся своим говором нарушить покой его — уже ничего не слышащего... Ничего не видящего... Отставных солдат сотни, тысячи в этой массе... Только они говорят: рассказывают толпе, каков он был, как он любил их, любил народ... И сколько в этом бесхитростном рассказе слышится преданности ему...

Около меня передает какой-то офицер: «Иду я в толпе, слышу, солдат один говорит: так мы его любили, что, кажись, какой бы бой ни был, понеси его перед нами мертвого, разом бы мы снесли все прочь...» И действительно, они шли за ним... Неслись, как волны, прорвавшие плотину, как волны могучие, неукротимые, не знающие или, лучше, не замечающие сопротивления... Те, кому удалось стать у самой гостиницы, — без шапок. Всякий раз, как до них доносится отголосками пение певчих, они крестятся... Крестится и толпа за ними...

— На площади бы панихиду! — слышится кругом...

— Священников сюда... Мы все хотим...

Но чего-то испугавшаяся полиция молчит...

— Это ведь демонстрация будет, помилуйте!.. — говорит один из блюстителей порядка.

К полудню толпа уже не увеличивается, а уплотняется, на том же пространстве стали новые сотни и тысячи народа. Если бы не крики городских да не ругань жандармов, сослепу кидающихся в эти толпы неведомо зачем, то тишина кругом казалась бы мертвой...

Наконец панихида окончена... Сестра покойного, плакавшая до тех пор безмолвно, зарыдала теперь, когда гроб ее брата подняли на руки, чтобы пронести его в церковь Трех Святителей, на самом краю Москвы, у железной дороги, по которой его провезут в имение...

Гул пошел по площади... Гул этот донесся до нас, поднявших этот гроб...

Наконец отворили дверь на площадь... Наконец в ее просвете народ, целые сутки тщетно ожидавший этого, увидел в цветах венков его лицо... Мы нарочно подняли изголовье гроба... И не успели еще вынести его на улицу — как раздалось такое рыдание, которого до тех пор я никогда не слышал.

— Москва плачет... — доносится до меня.

— Народные похороны... — говорит кто-то рядом. И действительно, мы видим, что они народные... Площадь, улица — единственно доступны народу, и тут-то он показал себя... К чему были эти меры предосторожности... Народ себя вел гораздо лучше, чем его пестуны. Мы шли, со всех сторон охваченные целым морем голов... Как во сне я припоминаю эти заплаканные лица, которым не было и числа, эти десятки тысяч рук, подымавшихся, чтобы издали перекрестить своего любимца. Черные сюртуки, изящные дамские платья — и тут же грязная, потная рубаха рабочего, сибиряка-крестьянина.. Никто их не подготавливал, никто

не организовывал подобного торжества, печального, но величавого, величавого именно подавляющей массой народа, в рамке этих кремлевских стен и башен... Взглядывая по сторонам, я видел, как кланялись ему эти включенные головы, как мозолистые заскорузлые руки крестили загоревшую грудь, видную из-под откинутого ворота рубахи... Вон эти из деревень, должно быть, в лаптях они... На колена стали, когда мы мимо несли его... В более, узких улицах народ точно старался врасти в стены домов, очищая ему дорогу, на широких площадях он раздавался, открывая коридор, по которому мы несли его.

Да, действительно, это народ хоронит, народ его оплакивает... Теперь только видно, как народ умел отличать и узнавать друзей своих, как за любовь он платит любовью... Окна, балконы домов полным-полны... Мало, очень мало равнодушных лиц... Они теряются, их не видать совсем... Чуть не пол-Москвы мы прошли так, когда вдали показались Красные ворота, а за ними церковь Трех Святителей... Вся эта площадь залита сплошь толпой... Ей нет конца... Когда мы проходим мимо улиц, разбегающихся направо и налево, в них, насколько они доступны взгляду, видны все те же толпы... Эти не нашли себе места, они ничего не увидят, но ждут все в том же благоговейном молчании.

— Мы хороним свое знамя!..— говорит Хитрово...— Где теперь человек, вокруг которого сошлись бы все... Где такое сочетание самых разнообразных условий и такая ранняя слава!..

Церковь Трех Святителей уже полна. Ночью я заехал сюда еще... Улицы также были заняты народом... Терпеливо ожидал он своей очереди — поклониться в последний раз праху... В церкви в два ряда подходили к гробу крестьяне. Венки за венками приносили вновь... Сотни их разрывали, раздавая желающим, но церковь все еще была полна ими... Углы тонули под зеленью, стен и икон не было видно за венками.. У гроба дежурили адъютанты покойного... В темноте, из цветов, едва-едва выделялась русая, широко расчесанная на обе стороны борода, светлые усы и чуть заметный абрис страшно похудевшего лица... Я долго стоял тут, присматриваясь и прислушиваясь.

— Упокой его Господи! — крестит это лицо какой-то старик крестьянин...

— Послужил ты нашей матушке России...— говорит другой, глядя в эти неподвижные черты...— Честно послужил... Дай тебе Господи царство небесное...

Вон инвалид едва-едва подвигается через церковь, стуча деревяшкой по каменному полу... Добрался... Смотрит на Скобелева...

— Не скажешь... Не скажешь уж теперь... За иной, за мной, ребята!..— прерывающимся от слез голосом шепчет он.— Не скажешь... Орел ты наш!..— И отмахнувшись от чего-то рукой, уходит прочь.

Молятся сотни — безмолвны. Подойдут, тоскливо взглянут на это лицо, поцелуют сложенные на груди синие, худые-худые пальцы рук и понурясь идут прочь.

— Насилу доступились до тебя!..— говорит другой старик.— Живой — ты наш был, а как помер, так сейчас тебя и отняли...

И сколько нежности, сколько искреннего чувства слышалось во всем этом.

Один из близких знакомых покойного ворвался в церковь, кинулся к гробу, зарыдал и, обезумев, схватил Скобелева за плечи и хотел вынуть... Едва удалось отвести...

Я отошел к сторонке... Отсюда была видна часть мертвого лица... Мигание свеч придавало ему какое-то странное выражение... Точно мертвец делал попытки проснуться и не мог... Смотрел-смотрел я, и вдруг, до поразительности ясно, представилась мне картина недавнего, совсем недавнего былого.

...Пологий скат, покрытый сырою от дождя травой.

Тихо по нему вверх движется цепь стрелков... Сзади едва-едва доносится топот следующих за цепью колонн... Туман кругом, ни зги не видно... Позади цепи идет Скобелев... Зорко всматривается он вперед, точно хочет различить в этом тумане, где притаился редут... Вот оттуда неуверенный выстрел всполохнувшегося часового, другой, третий...

— Вперед, ребята!..— металлически громко крикнул генерал... Раздвинул стрелков, вышел перед ними.— Вперед, ребята... Барабанщики — атаку... Ур-ра!..

И вспыхнуло, и гремит это «ура». От звена к звену, от одной колонны к другой... А его уже не видно — он уже в самом пекле боя, перед своими солдатами... В пекле боя, охваченного туманом... Только порою сквозь залпы слышится его ободряющей, веселый голос...

А люди идут и идут прощаться с ним...

На другой день вся церковь была окружена войсками.

На панихиду съехались высшие чины наших войск — откуда возможно было поспеть... У гроба Скобелева стояли Радецкий, Ганецкий, Дохтуров.. Черняев, заплаканный,

положил серебряный венок от туркестанцев... Кругом сплошною стеною сомкнулись депутаты от разных частей армии, от полков, которыми командовал Скобелев... Венки за венками... Некуда уже ставить их.

— Послушайте! Есть кто-нибудь от Тотлебена?

— Нет никого.

— И телеграммы не было? — слышится тот же удивленный голос.

— Нет.

— Да ведь Тотлебен командует военным округом, где расположен корпус Скобелева?

— Да.

— Странно!

— Нас самих удивляет...

Над гробом такая же неподвижная, полная тоски, сестра покойного и по-прежнему не сводит глаз с лица его.

К панихиде приехали из Петербурга Великие князья, Алексей и Николай.

Все спешно и жадно всматривались в черты покойного... Еще час-два — и они будут уже окутаны вечным мраком. Есть что-то глубоко трогательное в этих последних минутах, когда свет божьего дня падает на холодный уже труп... Тут уже не отводишь взгляда от него... Целым роем воспоминания носятся кругом... Звучат памятные фразы, отрывая от себя покойного... Воскресает то, что, казалось, совсем уже замерло в душе... С какою-то болью доискиваешься, что отразилось, застыло на этом лице в последнее мгновение жизни, когда перед ним широко открылась дверь в иной мир?.. Что увидел он за этою дверью?..

Архимандрит Амвросий, личный друг Скобелева, начал свое прощальное слово... Тихий голос его растет и растет... Проникает в сердце... Точно слезами, каплет каждый звук этой речи... Сам он смотрит прямо в лицо покойному, точно говорит ему одному, и чудится нам, что и тот его слышит, что и у того на лице отразилось благоговейное чувство... Все в церкви замерло... Только и носятся эти проникнутые душевным волнением слова...

«За любовь его к народу, за любовь народа к нему, за наши слезы и ради собственной твоей бесконечной благости, прости ему, Господи!..» Торжественным призывом уносится в высоту звучная фраза.

Голос Амвросия оборвался.. Кто-то громко зарыдал в толпе..

Прощаются... В последний раз целуют и кланяются покойному... Крышка гроба уже тут... Не совладав с собою, Абазиев бросается вон из церкви... Плачут все уже... Нет равнодушных и спокойных... Гроб поднимают Великие князья... Опять — народ и площадь.

К утру в Москву собралось все население ее окрестностей...

Земли не видно. В целом, широко разлившимся море людей потонули дома... Гроб проносят под Триумфальными воротами...

— Хоть мертвый дождался!..

— Это шествие триумфатора, а не похороны генерала...

Вот и вокзал...

На платформе траурная беседка из черного кашемира с белыми Георгиевскими крестами... Вагон, тоже весь обтянутый черным кашемиром, уже стоит здесь... Громадная пальма срезана под венчик... Широкие листья ее раскидываются под потолком вагона. Гроб ставят туда... Первый удар молотка...

Грохот залпов... Трескотня ружейных выстрелов, гулкие удары пушек...

Не он ли несется впереди боевого урагана?.. Не он ли ведет в огонь свои дружины?.. Именно в этом адском грохоте привыкли слышать и видеть его... Я смотрю на других — и, видимо, тоже и на них нахлынули эти воспоминания... Душат они... Выбегаешь скорей из этой беседки на воздух... Залпы погасли, одни колокола бьют свою тревогу над Москвою...

Поезд для тех, кто сопровождает его, готов... Через полтора часа едем...

— Да, это действительно народные похороны...

— Не везет нам... Все талантливые люди мрут... Теперь простор посредственности!

— Один за другим!.. И все без следа...

— Без следа ли?.. Разве умер дух Скобелева?.. Нет — он остался...

— Да, но не будет его самого, человека вечного протеста против всякой рутины... Нет знамени...

— Он являлся именно тем типом боевого вождя, которого французы называют *le grand capitaine* *!..

— Ну, теперь и в Питер пора, ваше превосходительство...

— Да, знаете, оно точно, герой, герой... А только довольно...

— Я вам скажу, теперь спокойнее будет...

— Что же, теперь и нам умирать надо, жить нечего!..

* Великим полководцем. (Ред.)

Ловя эти взаимно противоречащие фразы, я едва-едва выбиваюсь из блестящей толпы, окружающей гроб...

— Кажется, что в каждой семье отец, брат или друг умер... Осиротели все мы...

— Бедная Россия!..

Народная волна захватывает меня и уносит на площадь... Отсюда я едва-едва выбиваюсь на улицу.

* * *

Народные похороны стали чисто народными, когда поезд наш тронулся...

У меня до сих пор не прошло это глубокое впечатление... Все мы, находившиеся на этом скорбном поезде, были подавлены величием встречи, сделанной своему любимцу народом... Если бы я не боялся навлечь на себя упрек в преувеличении, я бы сказал, что вагоны наши двигались до Рязани по коридору, образованному массами народа, столпившимися по обеим сторонам полотна... Это было что-то до тех пор неслыханное. Крестьяне кидали свои полевые работы, фабричные оставляли свои заводы — и все это валило к станциям, а то и так, к полотну дороги... За Москвой на несколько верст стояла густая масса народа... За городом сейчас же — мост. Тут по обе стороны его не видно было окрестностей за людьми... Под мостом, где можно, тоже столпились они. У самого полотна многие стояли на коленях... Все это под жаркими лучами солнца, натомившееся от долгого ожидания. Грандиозность общей картины так влияла, что мы поневоле пропустили множество характерных подробностей... Уже с первой версты поезду пришлось поминутно останавливаться. Каждое село являлось со своим причтом, со своими иконами. Крестьяне служили по пути сотни панихид... Большая часть сел вышли навстречу с хоругвями — совершенно исключительное и небывалое явление... И тут не было спокойных, не было равнодушных... На всех лицах живо отпечатлелись волнения этих дней!..

Медленно двигался этот поезд в живой, глубоко чувствовавшей и так ярко сумевшей выразить свое горе массе.. В одном месте более четырехсот крестьян стояло с зелеными ветвями в руках, и мирный шорох их издали казался шелестом невидимых крыльев в воздухе.. Следующая деревня тоже вся сбегалась к полотну и, когда увидела наш поезд с траурным вагоном впереди, вся, как один человек, опустилась на колени. Только одни хоругви величаво колыхались над нею

да старческий голос священника уносился в голубую рысь с мольбою упокоить его, этого легендарного витязя и народного любимца, со святыми... Деревни, далекие от станций, сходились прямо к рельсам, и так как поезд здесь не останавливался, то они начинали свои литии при виде его и кончали, когда мы их оставляли уже позади... Мимо других поезд проносился быстро — только мельком показывая молящимся в отворенную боковую дверь вагона покрытый парчой и бесчисленными венками гроб, со стоявшими по углам его дежурными... Смутно и до сих пор слышится мне этот грустный, стихийный, однообразный ритм наскоро повторявшихся молитв, наскоро потому, что иногда поезд поневоле двигался ранее и священник оканчивал панихиду, уже издали благословляя прах Скобелева... Смутно представляется вся эта стихийная, однообразная земская сила, оторвавшаяся от работы, чтобы в последний раз поклониться своему земскому богатырю... Ночью — она была тиха до Рязани — даже легкий ветерок, дувший днем, уснул; иногда впереди горели сотни огней — это крестьяне выходили со свечами и зажигали их в ожидании поезда... Раскольниковы село вышло без попов, но пели свои гимны, печальный напев которых долго носился в воздухе.

В нашем поезде ехал Чарльз Марвин, корреспондент английских газет... Он был поражен...

— Это и у нас было бы невозможно... — повторял он.

И накануне кто бы поверил чему-нибудь подобному...

В Рязани весь вокзал залит народом... Полиция усердно работает локтями и кулаками... Но это не мешает... Скоро местных держиморд куда-то оттеснили, и Скобелев был сплошь окружен народом... Сотни венков разорвали и бросали их людям, и те уносили их с собою как святыню. Новые венки приносили крестьяне и горожане. Были наиболее между ними из васильков, из ромашки... За Рязанью шел дождь, под дождем стояли всю ночь и мокли толпы в ожидании нашего поезда. В конце концов, казалось, что это не похороны одного человека, а совершается какое-то грандиозное явление природы... Перед этой, столь величаво выраженной волею народа — признававшего Скобелева за то, что он был, — меркли и зависть, и тупая вражда... Отныне, если они и подымутся опять, то уже не будут страшны его памяти. Жалки и тусклы покажутся они каждому.

Так поезд подошел к Раненбургу... Тут ждали гроб крестьяне села Спасского...

Последние версты они несли его на руках, в серых сермяжных кафтанах, в лаптях...

Как кому, а это меня тронуло больше, чем вынос тела в Москве...

Легенда умерла и схоронена... Что займет ее место посреди повседневной пошлости и посредственности?..

XXXVII

СКОБЕЛЕВ У КАРЛИСТОВ

Осенью 1882 года я был в Италии. Смерть Скобелева, ее причины, ее внезапность и загадочность интересовали всех. Встречаясь со мною, знакомые, не знаю уже в который раз, заставляли меня повторять рассказ об этом событии. За границей интерес к нему был едва ли еще не сильнее, чем у нас. Я говорю, разумеется, про печать, а не про народ. На немецком языке вышла книжка, сейчас же разошедшаяся в продаже, в Италии продавали много брошюр о том же. Нужно сказать правду — иностранцы ценили покойного гораздо лучше, чем мы. Особенно немцы. Когда прошло замешательство, вызванное смертью Скобелева, они сейчас же отвели ему надлежащее место, причислив М. Д. к первым полководцам последнего времени. Военные журналы дали добросовестнейшую оценку «врагу Германии», а один авторитет прусской военной науки прямо заявил, что смерть Скобелева равняется для немцев выигранной кампании. Прав ли он был или нет — другой вопрос. Дело в том, что во всем сказывалось признание гения покойного генерала и еще не вполне рассеявшаяся боязнь, которую возбуждал он в наших добрых соседях. Из Специи в Ливорно мне пришлось ехать через Реджио. В вагоне со мною оказался итальянский офицер генерального штаба, который, узнав во мне русского, сейчас же заговорил о Скобелеве. Как оказалось, он знал его лично. Они вместе были на маневрах в Германии, и мой спутник передавал мне много комических подробностей о том, как Скобелев ухитрялся узнавать тайны германского военного дела, как он исследовал местность в Познани, как он сумел даже проникнуть в некоторые немецкие крепости, занося по вечерам все свои наблюдения в памятную книжку под рубрику «на всякий случай».

— Мы все изумлялись, когда он спит? В семь часов он уже был в седле, а в девять вечера садился за работу и, просыпаясь в два-три часа ночи, мы еще видели его за ней. Исписал он тогда массу бумаг, и, судя по вырывавшимся

у него случайно фразам, он настолько глубоко узнал и изучил германскую армию, что надень на него тогда прусский мундир — он был бы вполне на своем месте. Его больше всего беспокоила германская кавалерия, и ее-то он наблюдал особенно пристально. В то же самое время он умел настолько обворожить пруссаков, что они, вовсе не страдающие излишком любезности, не умели и не могли ему отказывать ни в чем. Поэтому Скобелев проникал в такие тайники, о которых мы не могли и мечтать. Император Вильгельм не раз заявлял, что он его любит как сына, и Скобелев действительно никогда не мог говорить без почтительного волнения о маститом вожде германского народа. Зато от дружеских излиятий остальных немцев он умел уклоняться так, что они оставались под его обаянием вполне, и в то же время отношения с ними ни к чему не обязывали Скобелева. Мы могли только удивляться дипломатическим способностям русского генерала, который только в одном не мог сдерживаться — в своей глубокой антипатии к Бисмарку, которого после берлинского конгресса он ненавидел всеми силами своей энергической и не знавшей ни в чем середины натуры. В этом отношении Скобелев не постеснялся даже гласно выразиться, что не будь Бисмарка, два племени — славянское и германское — века еще могли бы прожить добрыми соседями. У них были бы разные политические дороги, на которых они бы могли вовсе не встречаться. «Насколько я благоговел перед Бисмарком до берлинского конгресса, настолько же я ненавижу его после. И поверьте, — оканчивал он, — если когда-нибудь будут чудовищные боины между нами и немцами, если прольются реки крови — Каином этих убийств будет не кто иной, как Бисмарк!..»

Откровенен он был, впрочем, только с итальянцами и французами.

Наша беседа уже заканчивалась, когда в нее вмешался один сидевший тут же итальянец.

— У нас в Реджио есть хороший знакомый Скобелева.

— Кто такой?

— Дон Алаиз Мартинец.

— Испанец?

— Да.

— Как он попал к вам?

— Да ведь около Реджио живет дон Карлос со своею женою Маргаритой. Дон Алаиз принадлежит к числу

немногих людей, оставшихся с ним разделить изгнание. Это для меня интересный тип. Он встретился со Скобелевым в отряде дон Карлоса и подружился с вашим генералом. Когда было получено известие о смерти его, дон Алаиз плакал как ребенок. Он рассказывает массу интересных подробностей о нем.

— Теперь он в Реджио?

— Неделью назад я еще видел его.

— Застану я его, как вы думаете?

— Если он не уехал в Испанию.

— Зачем?

— Они часто делают политические экскурсии. У нас их всех узнают по общей примете: у всех карлистов неизменно в петлице белый цветок маргаритки. Они носят его в честь своей королевы. Дона Алаиза чуть не расстреляли за это в Барселоне, куда он явился, не сняв знака своей партии.

— Это человек храбрый, значит?

— Да. Он весь изранен. Шрамы на лице, рука на перевязи. Он не только кровь свою, но и богатство отдал дону Карлосу...

Помимо рассказов о Скобелеве, которые я мог бы записать в Реджио, дон Алаиз представлялся и вообще интересным типом. Я ненавижу карлистов, стремящихся в конце XIX века навязать Испании старые лохмотья филипповских времен с Святой Германдадой включительно. Но нельзя отказать им, во-первых, в преданности делу безнадежному, которому они служат стойко, а во-вторых, в известной романтичности, окружающей все их действия. У меня был «циркулярный билет», позволяющий путешественнику останавливаться в какой ему угодно местности, по означенной в этом билете линии рельсового пути. Простившись с моими путниками и взяв у синьора Велутти адрес дона Алаиза, я остался в Реджио.

Был уже вечер. Горы с мраморными ломками вблизи (Карара недалеко отсюда) уходили в лазурные сумерки. На их вершинах только еще догорала золотая прощальная улыбка солнца. Старый собор всею своею громадою точно давил узкую улицу с домами, помнившими еще времена Гвельфов и Гибеллинов, какой-то мрачный памятник неожиданно выдвинулся из глубокой ниши. Развалины замка молча доживали свой век с пестреньким коттеджем рядом, точно разбогатевшего мещанина, веселого, краснощекого и улыбающегося, поставили бок о бок с забытым рыцарем, на сгорбившемся теле которого едва держались старые,

почернелые латы... Тут же недалеко был «альберго», в котором мне предстояло провести ночь. Я послал свою карточку к дону Алаизу с вопросом, когда мне будет позволено навестить старого карлиста. Через несколько минут мальчишка-итальянец, горланя вовсю и еще издали что-то сообщая мне, показался перед балконом локанды.

— Что ему надо? — обратился я к «камерьеру», понимавшему французский язык.

— Дона Алаиза нет. Он у дона Карлоса, но жена ждет его каждую минуту, так что ежели синьору русскому будет угодно, он может сейчас же отправиться и будет принят с величайшим удовольствием..

Я обрадовался. Таким образом, еще в ночь мне являлась возможность выехать из Реджио, чтобы к утру попасть в Пизу, в которой на следующий день именно и было назначено торжественное служение в знаменитом соборе, причем должны были петь два известных итальянских певца. Их, впрочем, так много, что читатели, надеюсь, извинят мне слабость моей памяти.

Ночь уже совсем окутала старый город. Из-за стрельчатой башни собора прорезывался острый рог молодой луны. В окна его, сквозь цветные стекла, лилось на улицу мягкое сияние. В соборе шла служба, и торжественные звуки органа едва-едва слышались здесь. Веселая говорливая толпа катилась волною по каменным мостовым. То там, то сям вспыхивала и обрывалась песня. Вот из третьего этажа какого-то облупившегося давно дома, на котором балконы держались, очевидно, только по недоразумению, вынеслась на улицу давно забытая у нас ария. «*Ricevi da labri dell amica il bacio estrema*»* — звучно пело сильное сопрано того особенного, только югу свойственного тембра, где мощь взятого полного грудью звука соединяется с удивительно нежною окраскою его.

Под окном тотчас же собралась толпа.

— Bravo, bravo, bravissimo, bravo!..** — аплодировала она, когда последняя высокая нотка умерла в теплом воздухе тосканской ночи.

Отсюда шел узенький переулок налево. Тут-то в еще более старом, подслеповатом доме и жил когда-то знатный и богатый испанец дон Алаиз Мартинец. Каменная лестница вела к нему снаружи. Видно было, что по ней мало ходят

* «Прильни к устам подруги в последнем поцелуе» (Ред.)

** — Bravo, bravo, bravissimo, bravo!.. (Ред.)

В щелях поднялась трава, и какая-то ящерица скользнула из-под самых ног у меня, когда я поднимался на сырые ступени.

Мальчик, который провел меня сюда, взбежал наверх, тотчас же вернулся, и за ним обрисовался на высоте третьего этажа силуэт женщины со свечою в руках. Она вся была одета в черное. Это оказалась жена дона Алаиза.

Она ни слова не говорила по-французски, и мы поневоле молча сидели в гостиной, маленькой и бедной, так и веявшей на меня лишениями и нищетой долгого изгнания. На стене виден портрет красавца дон Карлоса, такой же портрет — только миниатюрный — она носила на груди на тонкой золотой цепочке. Полотнище черного знамени с белым крестом висело с древка, прислоненного в угол. Здесь не было даже ковра, чтобы прикрыть каменный пол убогой комнаты. Зато приемы испанки были полны величавого достоинства. Любая королева могла бы поучиться у нее. Я думаю, изгнанница, принимая меня у себя в замке, не могла бы быть великолепнее. Черные глаза ее смотрели очень строго из-под резко очерченных бровей. Жене дона Алаиза было не менее тридцати пяти лет, она сохранила следы когда-то поразительной красоты. Южанки, впрочем, стареют рано; другие в этом возрасте являются уже совсем дряхлыми развалинами. Наше обоюдное молчание продолжалось очень недолго. Внизу слышался шум шагов, и минуту спустя в комнату вошел высокий и стройный испанец, с седыми короткими волосами на характерной упрямой голове, резко очерченные линии которой, глубоко сидевшие гордые глаза говорили о силе воли, об энергии этого одного из последних могижан карлистского движения. Вместе с ним был какой-то патер — по высочайше утвержденному для всех дон Basilio образцу — обрюзглый, толстый, с крупными сластолюбивыми губами и маслеными, сладко смотревшими на вас глазами. Я отрекомендовался. Холодность и сдержанность дона Алаиза тотчас же прошла, когда он узнал, зачем я пришел к нему. Он радушно пожал мне руку, и суровое лицо осветилось точно изнутри, когда он проговорил, вздыхая:

— Какая это тяжелая для вас, для русских, потеря... Как глубоко вы должны ее чувствовать... Как горька она должна быть вам, вам, знавшему лично этого орла. Я тоже знал его... Но тогда, когда он еще только расправлял свои когти, когда он был орленком.

Я ему сообщил о своей книге, о желании дополнить ее новыми сведениями.

— Весь к вашим услугам... Мы не больше месяца провели со Скобелевым, но я пользовался его дружбою и сильно был им заинтересован.

Он перевел что-то дону Базилио (прошу позволения так называть патера). Тот тоже оживился.

— Скобелев мог бы быть мечом Божиим, если бы им не овладел дьявол! — вздохнул патер. — Такова судьба всех гениев, если они не приобщаются к святой церкви Христовой.

— Переведите, пожалуйста, святому отцу: почему он полагал, что Скобелевым овладел дьявол?

— Еще бы! Дьявол владеет всеми, кто не в лоне нашей истинной римско-католической веры.

— Благодарю вас! Тогда, значит, и я сосуд дьявола?

— Доколе Господь не призовет нас к познанию истины! — И дон Базилио поднял к образу свои сладкие масляные глазки.

В это время в комнату вошла горничная — прехорошенькая итальянка — и патер повел на нее таким взглядом, что я тотчас же угадал в этом почтенном коте большого охотника до чужих сливок.

— Наша встреча со Скобелевым была очень оригинальна, — начал дон Алаиз.

— В каком отношении?

— Он приехал тогда из Байонны с рекомендательным письмом от одного из наших. Его, разумеется, арестовали на аванпостах, завязали ему глаза и, несмотря на его протест, в таком виде доставили ко мне. Он тотчас же отрекомендовался русским путешественником.

«Вы военный?» — спрашиваю его.

«Был!.. Теперь в отставке!..» — Только потом он сообщил мне, что он служит, что он полковник.

«Генерал?..»

«Нет...»

Мне помнится, что он тогда назвал себя полковником. С первого же разу он как мне, так и нашему королю — да хранит Господь его на многие лета! — почел необходимым сообщить, что он вовсе не сочувствует нашему движению и если бы не мы вели горную войну, а мятежники, то он присоединился бы к ним.

«Зачем же вы приехали?» — спросили мы у него.

«Во-первых, я люблю войну, это моя стихия, а во-вторых, нигде в целом мире теперь нет такой гениальной

обороны гор, как у вас. По вашим действиям я вижу, что каждый военный должен учиться у вас, как со слабыми силами, сплошь почти состоящими из мужиков, бороться в горах противу дисциплинированной регулярной армии и побеждать ее. Вот видеть это я и приехал сюда».

«А если мы вас не пустим?»

«Я не уеду отсюда».

«А если вас за ослушание расстреляют?»

«Я военный и смерти не боюсь, только не верю тому, чтобы это могло случиться. Я ваш гость теперь и потому совершенно спокоен.— И он положил на стол револьвер.— Вот и оружие свое сдаю вам».

Нам он очень понравился тогда, а в тот же вечер мы научились и уважать его исправно. Мятежники атаковали нас. Скобелев, совершенно безоружный, с таким спокойствием пошел под пули, что хоронившимся за камнями карлистам даже стало стыдно и они тоже бросили свои убежища. Ваш генерал спокойно сел на скале под выстрелами и, вынув записную книжку, стал что-то заносить в нее. По нему стреляли залпами, но он не оставил своей удобной, хотя и убийственной позиции до тех пор, пока не кончил работу... Один из наших подал ему ружье.

«Зачем?» — удивился Скобелев.

«Стрелять... Во врагов...»

«Они для вас враги. Я не дерусь с ними. Меня интересует война, а принимать в ней участие я не имею права».

Но раз и его увлек бой.

Это было в ущельях Сиерры Куэнцы. Наши, подавляемые значительным численным превосходством неприятеля, побежали. Вдруг откуда ни возмись сам генерал крикнул на них, пристыдил, выхватил черное знамя у здорового пиренейского крестьянина и пошел с ним вперед. Его, разумеется, догнали вернувшиеся карлисты, и мятежники (так дон Алаиз называл правительственные войска) были отбиты,

«Ну что, не выдержали?» — спрашивал я его потом.

«Не могу видеть трусов, к какой бы они партии ни принадлежали».

Это был совершеннейший тип рыцаря. Два или три дня спустя наши напали на путешественников, между которыми были дамы. Разумеется, к святому делу нашего короля приставали вместе с благороднейшими и убежденными защитниками его прав всякие другие люди. Случались беглые, разбойники. К таким-то в руки попались туристы. Скобелев

случайно наехал на это приключение и с револьвером в руках бросился на защиту женщин. Если бы не подоспели мы, ему пришлось бы плохо.

— Почему?

— Видите ли, бандиты ведь не рассуждали. Все, что ни попадало в их руки, они считали своею законною добычей. Нас, испанцев, не удивить храбростью, мы умеем прямо смотреть в лицо смерти, но Скобелев и, нас изумлял. В нем было что-то рыцарски-поэтическое. Он был красив в бою, умел сразу захватить вас, заставлял любоваться собою. Вы знаете, наши пиренейские крестьяне как его прозвали?

— Как?

— Братом дон Карлоса! Они так и говорили: русский брат нашего короля!

У меня чуть не сорвалось с языка, что такое сравнение вовсе не польстило бы Скобелеву, да вовремя я удержался.

— Почему он так рано уехал от вас?

— Да распространился слух, что русские прислали его на помощь нашим. Ну он и уехал. Могли бы выйти затруднения, а ему не хотелось подавать повод к разным толкованиям.

— Много работал он?

— Ведь вы знаете, что мы очень старательно укрепляли горы. Так он, бывало, после утомительного боя не пропустит ни одной там работы. Следил за всем. Изучал. Тоже ни одного горного перехода не упустил, до мелочности наблюдал, как мы организовывали перевозку артиллерии, снарядов по козьим тропинкам. Раз он даже, когда лошадь сорвалась в кручу, вовремя обрезал ей построжки и таким образом спас медную пушку, которую надо было доставить на скалу. Одного он не любил.

— Именно?

— Много пешком ходить. Бывало, во что бы то ни стало, а добудет себе лошадь. Раз даже на муле взобрался на одну гору. И ездить же он мастер был! Такого неутомимого всадника даже между нами не оказывалось. Он нам очень много помог даже. Оказалось, что ему хорошо известен был способ фортификации в горах

— По Туркестану, верно?

— Да. Он у нас учился нашим приемам, а нам сообщал свои. Он первый научил наших топливо носить в горы на себе, по вязанке на человека. Таким образом, уходя от мятежников на вершины наших сьерр, мы не страдали там от холода и от недостатка горячей пищи. Потом это усвоили

у нас все... Меня в нем поражала одна замечательная черта — Скобелев способен был *con amore** работать, как простой солдат. Сколько раз мы его заставляли за, по-видимому, мелочными делами, в которые он уходил, как в крупные. Еще одна черта была в нем. Он чувствовал какую-то неодолимую потребность узнать все *à fond*** в местности, куда попадал случайно. Что ему, например, до вашего пиренейского крестьянина? По-видимому, дела нет, а уже в конце второй недели там он подарил нас сведениями о быте, знанием мельчайших потребностей испанского солдата. Я уже не говорю о его военной учености. История наших войн была ему известна, так что он не раз вступал в споры с Педро Гарсиа, много писавшим у нас по этому предмету, и как это ни обидно для испанского самолюбия, а нужно сказать правду, Скобелев выходил победителем из таких споров. У нас в горах среди страшно пересеченной местности он умел так запоминать самый незначительный уклон или извилину ущелья, фигуру горного хребта, что там, где он раз проехал, уже не надо было делать рекогносцировок и посылать летучие отряды для освещения местности. Я еще тогда в нем предвидел великого полководца и государственного человека!

— Вот это последнее многие именно и отрицают в нем.

— Я могу сказать только одно. У нас в отряде он сумел нравственно подчинить себе почти всех, хотя все знали, что он нашему делу вовсе не сочувствует и считает победу его гибельной для Испании...

Когда я уходил отсюда, дон Алаиз вышел проводить меня.

Золотой рог луны уже высоко поднялся над великолепной массой громадного собора. Толпы на улицах становились малочисленнее и реже. Изредка звучали счастливые праздничные напевы благополучной Италии. Не хотелось уезжать из этого уголка.

* Самоотверженно. (Ред.)

** Досконально. (Ред.)

Содержание

П. Н. Краснов. Атаман Платов	5
В. И. Немирович-Данченко. Скобелев	275

Литературно-художественное издание

«Всемирная история в романах»

«Великие полководцы России»

П. Н. Краснов
Атаман Платов

В. И. Немирович-Данченко
Скобелев

Исторические романы

Редактор *С. Тимченко*
Художник *Н. Егоров*

Лицензия ЛР 063930 от 9 марта 1995 г

Формат 84x108 1/32. Гарнитура “Таймс” Подписано в печать 6.05.95 г

Тираж 13.000 экз. Объем 27,72 усл. печ. л. Заказ 3648.

Издательский дом “Новая книга”

125047, Москва, 1-я Тверская-Ямская, 18.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ИПП “Зауралье”
640627, г. Курган, ул. К. Маркса, 106





